Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы имени А.М. Горького
Российской академии наук

На правах рукописи

ТУФАНОВА Ольга Александровна

ДРЕВНЕРУССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН

Специальность 10.01.01 – русская литература

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Москва – 2019

Оглавление

Введение ……..... 4
Глава 1 Памятники Смутного времени как литературный цикл ……. 22
1. Понятие древнерусского литературного цикла:
вопросы терминологии …… 22
2. Специфика цикла памятников о Смуте ……. 29
3. Роковая вина царей и самозванцев: истоки …….. 37
4. Тема греха и покаяния …… 60
5. Ощущение безысходности ……. 75
Глава 2 Трагедия городов как трагедия людей: цикл в цикле …… 88
1. «Око земли Русской»: портрет Москвы эпохи Смутного времени …….. 90
2. «Иду на престол»: Москва как символ политического
притяжения в «Ином сказании» …… 105
3. Плач Великого Новгорода во «Временнике» Ивана Тимофеева …… 112
4. Изображение городов и населенных пунктов
как мест ссылок и заключений в «Ином сказании» ……. 120
5. Сакральные объекты городов и населенных пунктов
в «Ином сказании» и их роль в повествовании …… 121
6. Исторически и символически детерминированные перечни городов и
населенных пунктов в «Ином сказании» …….. 123
7. Воюющие «правильные» и «неправильные» города
Северской земли (Новгород Северский и Кромы) …… 128
Глава 3 Жанровые конфронтации: в поисках новых форм запечатления …….. 137
1. Жанровое своеобразие памятников цикла ……. 137
2. Жанровая загадка псковской летописной повести
«О бедах и скорбех и напастех…» …….. 144
3. «О царском избрании на Московское государство» и «О бедах и скорбех
и напастех…» как два самостоятельных текста ……. 178
4. Политическая легенда в исторических повествованиях
первой трети XVII в. …… 195
5. Рассказы об избрании на царство в «Рукописи Филарета» как важная
Церемония …… 210
6. Политические плачи в «Рукописи Филарета» …….. 216
Глава 4 Приемы изображения исторических событий …… 223

1. Библейские сюжеты как ключ к повествовательным моделям в цикле сочинений о Смуте ……. 223
2. Христианские мотивы в рассказе о народном ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце» …… 241
3. Натурализм и умолчание как контрастные принципы изображения событий (на примере рассказов о голоде 1601–1603 гг.) ….. 250
4. Лаконизм, религиозный символизм и «раскадровка» (на примере рассказов о смерти Лжедмитрия I) …….. 257
5. Реализм рассказов об убийствах в «Рукописи Филарета» …….. 268
6. Политический мифологизм рассказов о чудесах в «Рукописи Филарета» . 274

Глава 5 Приемы изображения исторических лиц ……. 281
1. Творческие открытия: история вопроса ……. 281
2. Библейские образы как средство оценки исторических лиц …… 285
3. Символы царей и самозванцев по «Временнике» Ивана Тимофеева …….. 312
4. Гендерный подход как новый принцип изображения героев во «Временнике» Ивана Тимофеева ……. 343
5. Орнаментальные и реалистические приемы создания образа в «Повести о победах Московского государства» …… 351
6. Изображение народа в «Повести о победах Московского государства» … 369
7. «Буіи народ» и «добрые люди» в псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства» ……. 376
8. «Негеройские» герои: Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский в исторических повествованиях первой трети XVII в. ……. 385

Заключение …… 400

Список литературы ……... 407

Введение

Древнерусская литература на протяжении многовекового пути развития всегда очень чутко реагировала на важнейшие исторические события, связанные с потрясением основ жизнедеятельности государства.

События Смутного времени, ознаменовавшие династический, социальный, экономический и культурный кризис конца XVI – начала XVII вв., польско-литовская интервенция, раскол русского общества и, по сути, гражданская война активизировали все сословия Московского государства и вызвали настоящий средневековый литературный бум. Писали все: цари и самозванцы, князья и воеводы, иерархи церкви и монахи, дворяне и приказные дьяки, посадские люди, — начиная от грамот, воззваний, подметных писем и кончая объемными историческими сочинениями. Так было во время Смуты 1598–1613 гг., так продолжалось и после нее на протяжении двух последующих десятилетий.

На основе публицистических и исторических сочинений современников о Смуте были созданы первые истории государства Российского. Соответствующие главы и разделы есть в «Истории Российской»[1] В.Н. Татищева, «Истории государства Российского»[2] Н.М. Карамзина, «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»[3] Н.И. Костомарова, «Истории России»[4] С.М. Соловьева, «Курсе русской истории»[5] В.О. Ключевского, «Истории России»[6] Д.И. Иловайского и других обстоятельных работах, написанных в XVIII – начале XX вв.

Историография Смуты XX–XXI вв. насчитывает десятки работ. Важнейшие среди них: в советское время — исследования М.Н. Покровского[7], И.И. Смирнова[8], В.И. Корецкого[9], Р.Г. Скрынникова[10] и др., с 1989 по настоящее время — исследования Б.Н. Флори[11], В.Н. Козлякова[12], И.О. Тюменцева[13], В.И. Ульяновского[14], Я.Н.

---

[1] *Татищев В.Н.* История Российская: в 7 т. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. Т. 1. 500 с.

[2] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1997. Т. V–VIII. 576 с. Т. IX–XII. 592 с.

[3] *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2009. 1024 с.

[4] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. Кн. IV, т. 7–8. 778 с. 1961. Кн. V, т. 9–10. 754 с.

[5] *Ключевский В.О.* Курс русской истории: в 5 ч. СПб.: 1904–1922.

[6] *Иловайский Д.И.* История России: в 5 т. М.: тип. Грачева и К°, 1876–1905.

[7] *Покровский М.Н.* Русская история в самом сжатом очерке: От древнейших времен до конца XIX столетия. 4-е изд., стер. М.: Гос. изд-во, [1924]. 251 с.

[8] *Смирнов И.И.* Восстание Болотникова. 1606–1607. Л.: Лениздат, 1949. 528 с.

[9] *Корецкий В.И.* Формирование крепостного права и первая Крестьянская война в России. М.: Наука, 1975. 390 с.

[10] *Скрынников Р.Г.* 1) Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. 327 с.; 2) Россия в начале XVII в. «Смута». М.: Мысль, 1988. 283 с.; 3) Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. 238 с. И др. работы.

[11] *Флоря Б.Н.* Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М.: Индрик, 2005. 416 с.

[12] *Козляков В.Н.* Смута в России. XVII век. М.: Омега, 2007. 528 с.

Рабиновича[15], Ч. Даннинга[16], Г.-Г. Нольте[17] и др. Особняком, по мнению Я.Г. Солодкина[18], В.Н. Козлякова[19], А.А. Селина[20], в историографии Смуты XXI в. стоят работы Л.Е. Морозовой[21].

Сегодня можно констатировать, что корпус публицистических и исторических произведений о Смуте обстоятельно изучен с точки зрения их исторической достоверности (С.Ф. Платонов[22]), идей (А.И. Яковлев[23], Л.В. Черепнин[24]) и мировоззренческих установок средневековых книжников (Л.Н. Пушкарев[25], М.Н. Шалак[26]). На их основе реконструированы биографии многих участников событий 1598–1613 гг.

Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что произведения первой трети XVII в., посвященные событиям Смутного времени и обстоятельно изученные как исторические источники, недостаточно исследованы, с одной стороны, как памятники литературы, а с другой — как единый нарративный текст о Смуте, отразивший значимый в эволюции древнерусской словесности этап.

Общий, сравнительно обстоятельный и полный обзор публицистики и исторических сочинений современников о Смуте дан коллективом авторов в 10-томной «Истории русской литературы». Однако мир идей памятников заслоняет в этом обзоре специфику формы, хотя написанные в середине XX в. эти главы содержат ценный материал по жанровой атрибуции текстов, отдельным литературным параллелям и заимствованиям.

---

[13] *Тюменцев И.О.* Смутное время в России начала XVII столетия. Движение Лжедмитрия II. М.: Наука, 2008. 686 с.

[14] *Ульяновский В.* Смутное время. М.: Европа, 2006. 456 с.

[15] *Рабинович Я.Н.* 1) Малые города Псковской земли в Смутное время. Псков: Псковская обл. тип., 2014. 253 с.; 2) Малые города Новгородской земли в смутное время / под ред. Г.М. Коваленко. Великий Новгород: НовГУ, 2013. 433 с. И др. работы.

[16] *Даннинг Ч.* Была ли в России в начале XVII века крестьянская война? // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 21–33.

[17] *Нольте Г.-Г.* Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы истории. 1994. № 11. С. 31–38.

[18] *Солодкин Я.Г.* Рец.: Л.Е. Морозова. Смута начала XVII века глазами современников. М.: Изд-во «Наука», 2000. 464 с. // Вопросы истории. 2002. № 3. С. 168–171.

[19] *Козляков В.Н.* Рец.: Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича / Институт российской истории РАН. М.: Наука, 2005. 467 с. 700 экз. // Отечественные архивы. 2006. № 2. С. 109–114.

[20] *Селин А.А.* Смутное время в историографии последних лет // Смутное время в России. Конфликт и диалог культур. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2012. С. 260–261.

[21] *Морозова Л.Е.* 1) Смута начала XVII века глазами современников. М.: Наука, 2000. 464 с. 2) Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича. М.: Наука, 2005. 467 с. И др. работы.

[22] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник // *Платонов С.Ф.* Собр. соч.: в 6 т. М.: Наука, 2010. Т. 1 / сост. В.В. Морозов, А.В. Смирнов. С. 187–528.

[23] *Яковлев А.И.* «Безумное молчание» // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. М.: Тов-во «Печатня С.П. Яковлева», 1909. С. 651–678.

[24] *Черепнин Л.В.* «Смута» и историография XVII века (из истории древнерусского летописания) // Исторические записки. М., 1945. № 14. С. 81–128.

[25] *Пушкарев Л.Н.* Ментальность русского общественного сознания на рубеже XVI–XVII веков (Эпоха Смуты) // Ментальность в эпохи потрясений и преобразований. М.: Ин-т российской истории РАН, 2003. Вып. 4: Мировосприятие и сознание русского общества. С. 11–22.

[26] *Шалак М.Н.* Русская Смута и общественная мысль XVII века: суждения, оценки, концепции: дис. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2004. 183 с.

Вместе с тем круг источников, освещенных в этом обзоре, естественным образом определяется знаниями науки на тот период. Спустя время были открыты и другие, не рассматриваемые по понятным причинам памятники, например, «Повесть о победах Московского государства».

Исследование памятников первой трети XVII в. на протяжении всей истории их изучения идет по нескольким генеральным линиям.

Прежде всего, в оптике пристального внимания как историков, так и филологов постоянно находится идейное содержание публицистических и исторических сочинений современников о Смуте. Специфике общественного сознания и политических учений в эпоху Смутного времени посвящены работы В.Н. Бочкарева[27], П.Г. Васенко[28], Л.В. Черепнина[29], Е.П. Семеновой[30], Н.И. Воскобойник[31], М.Е. Шалак[32] и др. Анализ «массовых представлений современников об исторических событиях Смутного времени, отраженных в сюжетах видений и знамений»[33], представлен в работе Б.В. Кузнецова, продолжающей корпус исследований жанра видений в литературе XVII в. о Смуте, в частности, не потерявшие своей актуальности труды Н.И. Прокофьева[34] и Е.К. Ромодановской[35]. Исследование Л.В. Титовой[36] развивает дальше научные изыскания в рамках этого жанра.

---

[27] *Бочкарев В.Н.* Современники и смута // Смутное время в Московском государстве: сб. ст. с иллюстрациями. М.: Задруга: Тип. П.П. Рябушинского, 1913. С. 258–284.

[28] *Васенко П.* Общественное разложение в Смутное время (в изображении Авраамия Палицына) // Русское прошлое. Ист. сб., V / под ред. С.Ф. Платонова, А.Е. Преснякова и Юлия Гессена. М.; Пг.: Петроград, 1923. С. 24–34.

[29] *Черепнин Л.В.* Тема государства в русской публицистике начала XVII в. // Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции). М.: Наука, 1976. С. 175–178.

[30] *Семенова Е.П.* Русская общественная мысль первой половины XVII века: творчество С.И. Шаховского и И.А. Хворостинина: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1982. 19 с.

[31] *Воскобойник Н.И.* Отражение общественного сознания Смутного времени в агиографии: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993. 19 с.

[32] *Шалак М.Е.* Смутное время в оценках русских современников и историческое сознание российского общества XVII века // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов н/Д, 2004. № 1 (125). С. 36–40.

[33] *Кузнецов Б.В.* События Смутного времени в массовых представлениях современников: «Видения» и «Знамения», их значение в этот период: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997. С. 4–5.

[34] *Прокофьев Н.И.* 1) «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII века (Из истории жанров литературы русского средневековья): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1949. 32 с.; 2) Образ повествователя в жанре «видений» литературы Древней Руси // Ученые записки МГПИ имени В.И. Ленина. Очерки по истории русской литературы. М., 1967. Т. 256. С. 36–53. 3) Видение как жанр в древнерусской литературе // Ученые записки МГПИ имени В.И. Ленина. Вопросы стиля художественной литературы. М., 1964. Т. 231. С. 35–56.

[35] *Ромодановская Е.К.* Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск: Наука, 2002. 390 с.

[36] *Титова Л.В.* Жанр «Видения» в историко-публицистических текстах XVII в.: Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиевой лавры и Послание дьякона Федора сыну Максиму // Труды Отдела древнерусской литературы. М.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 248–253.

Особенности мировоззрения и общественной позиции Авраамия Палицына, Ивана Тимофеева, И.А. Хворостинина изучали с разных сторон И.И. Полосин[37], О.А. Державина[38], Я.Г. Солодкин[39], И.О. Тюменцев[40], М.Е. Шалак[41] и др.

Ряд историко-культурологических исследований посвящен вопросам отношения церкви и государства в Смутное время, роли священнослужителей (А.П. Смирнов[42], М.С. Могилев[43], В.В. Маландин[44], Э.Э. Шульц[45] и др.).

Особняком на этом фоне стоит работа Д.И. Антонова, в которой на широком историко-культурном фоне с привлечением большого количества источников рассматривается эволюция древнерусских мифологем, актуализированных книжниками для осмысления кризиса конца XVI – начала XVII вв. В результате исследования Д.И. Антонов приходит к выводу, что Смутное время — «один из уникальных, “осевых” периодов русской истории»[46], в котором проявилась утрата «критериев, которые веками служили ориентиром для разграничения верного / неверного социального поведения»[47]. Важнейшими феноменами Смуты, по мнению исследователя, стали «“конкурирование” двух моделей обретения истинного царя», «ретроспективное осмысление Смутного времени при Филарете» и «апокалиптические настроения, актуализированные в начале века» и не исчезнувшие в обществе до нового «великого Раскола»[48].

Второе значительное направление — текстологическое изучение памятников о Смуте, краткие итоги которого по каждому произведению с приведением списка наиболее значительных работ отражены в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» (вып. 3). В частности, на сегодняшний момент обстоятельно исследованы творческие истории

---

[37] *Полосин И.И.* Иван Тимофеев — русский мыслитель, историк и дьяк XVII века // Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. М., 1949. Т. 60, вып. 2. С. 135–192.

[38] *Державина О.А.* «Сказание» Авраамия Палицына и его автор // Палицын Авраамий. Сказание Авраамия Палицына / подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и Е.В. Колосовой; под ред. Л.В. Черепнина; Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 16–63.

[39] *Солодкин Я.Г.* Философско-исторические взгляды Авраамия Палицына // Историографический сборник. Саратов, 1983. Вып. 10. С. 49–63.

[40] *Тюменцев И.О.* Авраамия Палицын — портрет писателя и церковного деятеля Смутного времени // Мир православия. Волгоград, 2000. Вып. 3. С. 101–128.

[41] *Шалак М.Е.* И.А. Хворостинин как создатель образа Смуты // Человек второго плана в истории: сб. науч. ст. Ростов н/Д: Ростовский гос. ун-т, 2005. Вып. 2. С. 266–277.

[42] *Смирнов А.П.* Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России. М.: Тип. и лит. А.В. Кудрявцева, 1874. [2], II с., 135, 233; 22.

[43] *Могилев М.С.* Русское духовенство в Смутное время. Петрозаводск: Олонец. губ. тип., 1905. 20 с.

[44] *Маландин В.В.* Церковь и государство в патриаршество Филарета: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996. 16 с.

[45] *Шульц Э.Э.* Отношения церкви и государства в России в первой трети XVII века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2001. 23 с.

[46] *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси: Эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII века. М.: РГГУ, 2009. С. 207.

[47] Там же. С. 208.

[48] Там же. С. 210–212.

«Временника» Ивана Тимофеева в работах Я.Г. Солодкина[49], «Сказания» Авраамия Палицына — в трудах П.Г. Васенко[50], И.О. Тюменцева[51], Я.Г. Солодкина[52], «Нового летописца» — в монографии В.Г. Вовиной-Лебедевой[53], «Пискаревского летописца» — в диссертационном исследовании С.И. Хазановой[54]. Текстологию «Летописной книги» и проблему авторства рассматривали Н.К. Гудзий[55], О.А. Державина[56], В.К. Зиборов[57], М.В. Кукушкина[58], И.Ю. Серова[59] и др.

В отечественной медиевистике по отношению к памятникам начинает применяться метод «компьютерной текстологии», который приводит к пересмотру ряда решенных вопросов и далеко не бесспорных утверждений, поскольку ЭВМ не учитывает специфики средневекового материала. Так, например, Г.П. Саркисова на основе компьютерной обработки повестей о Смутном времени пришла к заключению о том, что князь С.И. Шаховской не имеет никакого отношения к «Летописной книге»[60]. Все чаще заявляет о себе количественный метод, используемый для «анализа нарративных источников», в том числе и по отношению к памятникам древнерусской литературы. Так, О. Квирквелия, пытаясь реконструировать процесс создания «Иного сказания», по результатам применения

---

[49] *Солодкин Я.Г.* 1) «Временник» Ивана Тимофеева и «История» Авраамия Палицына: (К вопросу об источниках произведений) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма России. Новосибирск: Наука, 1984. Вып. 8. С. 12–23; 2) «Временник» Ивана Тимофеева: Источниковедческое исследование. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2002. 179 с.; 3) К вопросу об источниках «Временника» Ивана Тимофеева // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 115–127. И др. работы.

[50] *Васенко П.Г.* «Забелинская» редакция первых шести глав «Истории» Палицына // Сборник статей в честь А.И. Соболевского / под ред. В.Н. Перетца. Л.: АН СССР, 1928. С. 100–102.

[51] См., например: *Тюменцев И.О.* 1) Датировка и атрибуция первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицына // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2000. Т. 27. С. 64–69; 2) Из истории создания «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 234–247.

[52] *Солодкин Я.Г.* 1) О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1977. Т. 32. С. 290–304; 2) О спорных вопросах происхождения Истории Авраамия Палицына // Источники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма. Новосибирск: Наука, 1991. С. 13–36; 3) История Авраамия Палицына в рукописной традиции // Рукописная и печатная книга в России: Проблема создания и распространения: сб. науч. тр. Л.: БАН СССР, 1988. С. 109–117. И др. работы.

[53] *Вовина-Лебедева В.Г.* Новый летописец: история текста. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 400 с.

[54] *Хазанова С.И.* Пискаревский летописец: происхождение, источники, проблемы авторства: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. 22 с.

[55] *Гудзий Н.К.* К вопросу о составе «Летописной книги» приписываемой князю Катыреву-Ростовскому // Труды Отдела древнерусской литературы М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. Т. 14. С. 290–297.

[56] *Державина О.А.* К истории создания «Летописной книги», приписываемой кн. Катыреву-Ростовскому // Ученые записки Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. М., 1955. Т. XLVIII, вып. 5. С. 29–45.

[57] *Зиборов В.К.* Об авторе так называемой повести Катырева-Ростовского // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 244–250.

[58] *Кукушкина М.В.* Семен Шаховской — автор Повести о Смуте // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М.: Наука, 1975. С. 75–78.

[59] *Серова И.Ю.* История текста «Летописной книги» // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1990. Т. 44. С. 269–283.

[60] *Саркисова Г.П.* Повести о «Смутном времени»: к проблеме авторства И. Хворостинина, И. Катырева-Ростовского, С. Шаховского // От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства / [Л.В. Милов, Л.И. Бородкин, Т.В. Иванова и др.]; под ред. Л.В. Милова. М.: Прогресс, 1994. С. 282–290.

количественного метода делает вывод, говорящий сам за себя: «При анализе комплекса памятников Смутного времени первое, что бросается в глаза — большое сходство между всеми ними, выраженное как дословным совпадением отдельных фрагментов, так и сходством структуры произведений, последовательности в изложении событий, оценками главных действующих лиц. Сомнений в том, что здесь из произведения в произведение кочуют некие образцы, нет»[61]. Остается только надеяться на то, что математические и компьютерные методы не станут определяющими в текстологии литературы Древней Руси.

Третье направление — изучение собственно литературных особенностей памятников — представлено значительно меньшим количеством работ.

Первые исследования по поэтике русской литературы XVII в. были посвящены рассмотрению отдельных вопросов стиля и формы в конкретных памятниках. Так, П.Г. Васенко в работе «Заметки к статьям о смуте, включенным в Хронограф редакции 1617 года», сосредоточивает внимание на сравнениях и уподоблениях, специфических особенностях характеристик исторических лиц, в частности, он отмечает почтительное отношение автора к патриарху Иову и противоречивость характеристики Бориса Годунова, подчеркивает, что «в статьях о Смуте мы имеем дело с произведением первоклассного художника слова»[62]. В другой своей статье — «Дьяк Иван Тимофеев — автор “Временника” (к истории перелома в развитии древнерусской исторической мысли)» — исследователь лишь отчасти касается вопросов литературной специфики памятника. В частности, опираясь на труд С.Ф Платонова, П.Г. Васенко одним из первых заговорил о «новаторском способе расположения исторического материала»: «Выйдя из роли старого летописца, став историком, Тимофеев и формой своего “Временника” избрал отдельные очерки и характеристики, не стремясь “к фактической полноте показаний” и не стесняясь “хронологической последовательностью”. Такой способ изложения крупных исторических эпох был на Руси новостью, неизвестной, насколько мы знаем, писателям XVI века»[63]. «Временник» Ивана Тимофеева, по справедливой мысли исследователя, «как все произведения переходной эпохи», «представляет собой сочетание старины и новизны»[64]. Сознательно отказываясь от поиска литературных источников новизны стиля Тимофеева, П.Г. Васенко полагал, что причиной ее явились «исключительные тревоги и бедствия

---

[61] *Квирквелия О.* История и методы ее измерения. URL: http://libed.ru/knigi-nauka/877954-4-o-kvirkveliya-istoriya-metodi-izmereniya-vvedenie-istoriya-nauka-ponimayuschaya-ili-obyasnyayuschaya-osoznanie-specifiki.php (дата обращения: 02.09.2019).

[62] *Васенко П.Г.* Заметки к статьям о смуте, включенным в Хронограф редакции 1617 года // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пб.: Огни, 1922. С. 261.

[63] *Васенко П.Г.* Дьяк Иван Тимофеев — автор «Временника» (к истории перелома в развитии древнерусской исторической мысли) // Журнал министерства народного просвещения. 1908. Новая серия, Ч. XIV. С. 117.

[64] Там же. С. 119.

Смуты»[65]. По сути, это исследование ученого заложило главную линию в изучении поэтики не только «Временника» И. Тимофеева, но и других произведений о Смуте. Практически все последующие работы о литературе первой трети XVII в. фиксируют в каждом памятнике сочетание традиционных и новаторских средств изображения современных авторам событий и исторических лиц.

Так, например, О.А. Державина в диссертационном исследовании «Историческая повесть первой трети XVII века (Опыт литературного анализа “Летописной книги”, приписываемой И.М. Катыреву-Ростовскому, “Временника” дьяка Ивана Тимофеева и “Сказания” Авраамия Палицына)» отмечала две противоположные тенденции в изображении исторических лиц: с одной стороны, книжники в соответствии литературной традицией дают параллели при характеристике исторических деятелей конца XVI – начала XVII вв., взятые из Хронографа, Библии, с другой — в авторских оценках событий и участников Смуты находит выражение новый, субъективный подход[66].

В статье «К проблеме поэтического стиля исторической повести начала XVII в.» О.А. Державина на основе анализа образов из мира природы, встречающихся в памятниках о Смуте, приходит к выводу о том, что многие из них «не принадлежат именно писателям XVII в. и известны из других памятников древнерусской литературы»[67], восходят к Библии, Хронографу, народному творчеству, литературным источникам. Но в то же время книжники XVII в. «стремятся в своих описаниях к конкретности, к реалистической детали»[68], и это сближает литературу с реальной действительностью[69].

В другой своей работе — «К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести начала XVII века» — О.А. Державина отмечает сочетание традиционных и новаторских черт в памятниках о Смуте и обращает внимание на то, что «новый подход к действительности способствовал зарождению и новых литературных форм, в частности привел к многожанровости даже в произведениях одного типа — таких, например, как повествование об исторических событиях. Жанровое своеобразие исторической повести начала XVII века, в свою очередь, привело к поискам новых

---

[65] Там же. С. 120.

[66] *Державина О.А.* Историческая повесть первой трети XVII века (Опыт литературного анализа «Летописной книги», приписываемой И. М. Катыреву-Ростовскому, «Временника» дьяка Ивана Тимофеева и «Сказания» Авраамия Палицына): дис. … д-ра филол. наук. М., 1958.

[67] *Державина О.А.* К проблеме поэтического стиля исторической повести начала XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 14. С. 301.

[68] Там же. С. 302.

[69] Там же. С. 303.

художественных приемов…»[70]. Не случайно в ряде произведений, в частности во «Временнике» Ивана Тимофеева, наблюдается «творческое овладение традицией»[71].

Н.В. Трофимова в книге «Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв.» отмечала, что «Сказание» Авраамия Палицына «продолжает традицию внелетописных воинских повестей с линейным сюжетом. Но при этом в нем появляются новые черты, связанные с тенденциями XVII в., — исчезает главный герой — полководец и вводится большое количество детальных батальных описаний, проникающих в эту эпоху во все жанры», однако «в использовании художественных средств Палицын идет в русле традиции, намеченной в “Казанской истории”…»[72].

В диссертационных исследованиях последних двух десятилетий в центре внимания постоянно оказывается сочетание «старины» и «новизны». Так, например, А.М. Зотов приходит к мысли о том, что в «Новом летописце» сохраняется традиционная, характерная для агиографии система оценок исторических лиц, но при этом происходит разрушение стереотипной фразеологии[73]. А.П. Дудко, исследовавшая мемуарно-автобиографическое начало в исторических сочинениях о Смуте, отмечала, что «формы хроникального построения» в них были унаследованы «от летописного канона», но в памятниках «проявляется индивидуализированность восприятия времени и событий: произвольный отбор исторических фактов и обозначение дат, обусловленные личными целями и художественными установками авторов»[74]. Отдельный параграф в своем исследовании А.П. Дудко посвятила оригинальным в истории древнерусской литературы формам представления автобиографического материала, таким, как умолчание, исповедальность и самооправдание[75].

Не менее важной тенденцией, начиная с работы С.Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник», в исследовании поэтической специфики памятников о Смуте стал поиск литературных и документальных источников, которые книжники использовали в качестве образцов, что приводило к совмещению различных методов анализа.

Так, на стыке текстологии и поэтики выполнено исследование А.С. Орлова «Повесть кн. Катырева Ростовского и Троянская История Гвидо де Колумна». Сопоставив

---

[70] *Державина О.А.* К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести начала XVII века // Ученые записки Московского городского педагогического института имени В.П. Потемкина. М., 1957. Т. LXVII, вып. 6. С. 79.

[71] Там же. С. 91.

[72] *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв.: Курс лекций; Развитие исторических жанров: Материалы к спецсеминару. М.: Флинта: Наука, 2000. С. 165.

[73] *Зотов А.М.* «Новый летописец» как памятник литературы первой трети XVII века: дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 1999. 228 с.

[74] *Дудко А.П.* Мемуарно-биографическое начало в исторических повестях начала XVII века о Смуте: автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2013. С. 7.

[75] Там же. С. 10–13.

фразеологию памятника XVII в. с русским переводом «Троянской истории» по целому ряду тематических групп (подготовка боя, разряжение полков, нападающие и победители, подробности боевых описаний, речи на воинских собраниях и др.), исследователь пришел к выводу о том, что «князь И.М. Катырев сделал из нея (Из Троянской истории. — *О.Т.*) образец нового повествовательного стиля»[76] и создал свой текст «почти наполовину» из заимствованного «риторического и лексического материала»[77]. Продолжением этой работы явилась статья «“Летописная книга” Катырева-Ростовского и “Троянская история” Гвидо де Колумна» И.Ю. Серовой, заключившей, что «разделение повести на главы в Пространной редакции, содержащаяся в ней “ссылка” на Трою свидетельствуют о том, что Пространная редакция сохранила более полное и последовательное использование источника» и «является первоначальной редакцией» «Летописной книги»[78].

Г.П. Енин, открывший «Повесть о победах Московского государства», указал три вида источников, которые использовал автор: «богатства собственной памяти» и «сведения, полученные от земляков»[79], «документальные материалы», в частности разрядные записи, и произведения древнерусской литературы, среди которых — «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, по прозвищу Скопина», «Повесть о житии царя Федора Ивановича», «Повесть о взятии Царьграда в 1453 г.».

По мнению М.А. Коротченко, авторы исторических повестей о Смуте «осознанно или неосознанно обращались к трудам» Иосифа Волоцкого и «находили в них ответы на вопросы, которые задавала историческая действительность начала XVII в.»[80]

Работы о микропоэтике памятников о Смуте составляют отдельный блок в отечественной медиевистики о Смуте: это статья Н.И. Прокофьева «Символико-аллегорическая образность в литературе начала XVII века»[81], работа М.А. Коротченко «Композиционная роль повторяющихся мотивов в “Истории в память предидущим родом” Авраамия Палицына»[82], исследование библеизмов во «Временнике» И. Тимофеева и «Сказании» Авраамия Палицына, элементов воинской поэтики и ораторской прозы,

---

[76] *Орлов А.С.* Повесть кн. Катырева Ростовского и Троянская История Гвидо де Колумна // Сборник статей в честь Матвея Кузмича Любавского. Пг.: Тип. Б.Д. Брукера, 1917. С. 79.

[77] Там же. С. 75.

[78] *Серова И.Ю.* «Летописная книга» Катырева-Ростовского и «Троянская история» Гвидо де Колумна // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 114.

[79] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы // Повесть о победах Московского государства. Л.: Наука, 1982. С. 106.

[80] *Коротченко М.А.* Влияние сочинений Иосифа Волоцкого на исторические повести о Смутном времени // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 2000. Сб. 10 / отв. ред. М.Ю. Люстров. С. 426.

[81] *Прокофьев Н.И.* Символико-аллегорическая образность в литературе начала XVII века // Вопросы русской литературы: Ученые записки / МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1966. Т. 248. С. 29–44.

[82] *Коротченко М.А.* Композиционная роль повторяющихся мотивов в «истории в память предидущим родом» Авраамия Палицына // Вестник общества исследователей Древней Руси за 2000 г. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 16–30.

агиографических топосов в диссертации Е.В. Логуновой[83], назначение и своеобразие «малого» жанра молитвы в составе воинского повествования в «Сказании» Авраамия Палицына, наряду с другими памятниками, в обобщающей работе Н.В. Трофимовой «Поэтика древнерусского воинского повествования»[84], анализ ведущих символов на общелитературном фоне в «Очерках поэтического стиля Древней Руси» В.П. Адриановой-Перетц[85] и др.

Важным этапом в исследовании публицистических и исторических сочинений о Смуте стали работы О.А. Державиной и Д.С. Лихачева, в которых убедительно описана одна из главных литературных новаций начала XVII в. — «открытие человеческого характера».

Наконец, ряд исследований посвящен проблемам формирования образа того или иного исторического лица и структурообразующих компонентов повествований в синхроническом (М.А. Коротченко[86]) или диахроническом аспекте (М.Г. Лазуткина[87]).

Таким образом, усилиями многих ученых добыт драгоценный материал по вопросам текстологии отдельных памятников, уточнены датировки и жанровые дефиниции, определены авторы и реконструированы, насколько позволяют дошедшие до нас источники и документы, их биографии и истории текстов, выявлены главные литературные новации начала XVII в. и востребованные книжниками традиции. Отечественная медиевистика вплотную подошла к необходимости создания работ обобщающего характера.

Степень научной разработанности проблемы. Однако, несмотря на то что публицистические и исторические сочинения современников о Смуте, созданные в первой трети XVII в., постоянно находятся в оптике внимания историков и литературоведов, работ обобщающего характера, посвященных вопросам поэтики, не так уж и много.

Прежде всего, это исследование Д.С. Лихачева «Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили», в которой дается, в частности, общая характеристика литературного процесса в XVII столетии. Так, Д.С. Лихачев отмечал, что в жанрах XVII в. «усиливается индивидуальное начало. Автобиографические элементы проникают в исторические сочинения, посвященные событиям “Смуты”…»[88], появляется новый «тип писателя, осознающего значимость того, что он пишет и делает, необыкновенность своего

---

[83] *Логунова Е.В.* Поэтика русского исторического повествования 20-х годов XVII века: Топика и библеизмы: дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 170 с.

[84] *Трофимова Н.В.* Поэтика древнерусского воинского повествования. М.: МПГУ, 2017. С. 128–149.

[85] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 188 с.

[86] *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени (проблематика, проблема авторской позиции, влияние церковной публицистики конца XV – начала XVI вв.): дис. … канд. филол. наук. М., 1998. 224 с.

[87] *Лазуткина М.Г.* Формирование художественного образа самозванца Лжедмитрия I в русской литературе XVII–XIX веков: дис. … канд. филол. наук. М., 2003. 208 с.

[88] *Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. С. 141.

положения и свой гражданский долг»[89]. «Раскрепощение человеческой личности в литературе было и своеобразной конкретизацией ее изображения. Человек все более начинал восприниматься как конкретный индивидуум, в сложной “раме” быта и общества»[90]. Следствием нового отношения к человеку стало устранение дистанции между действующими лицами произведения и читателями, герой в литературе XVII в. лишается ореола[91]. Однако по-прежнему в повестях о Смуте герои «говорят, но не разговаривают. В их речах нет живых интонаций и нет индивидуальной манеры»[92].

Все эти основополагающие наблюдения Д.С. Лихачева нашли в дальнейшем подтверждение в работах многих исследователей, рассматривавших конкретные памятники первой трети XVII столетия.

Иной тип обобщения представлен в книге А.С. Демина «Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и изображения)». Если Д.С. Лихачев выдвигал общие теоретические положения, то А.С. Демин во главу ставит художественное источниковедение, которое подразумевает «смысл форм и выразительных средств, а также изобразительные темы и мотивы в произведении»[93]. На основе анализа старопечатных книг, повестей, исторических и стихотворных памятников, грамот ученый прослеживает эволюцию общественных настроений XVII в. В частности, применительно к интересующему нас периоду А.С. Демин, сосредоточив внимание на «настроениях читательской массы»[94], отмечает, что для литературы начала XVII столетия характерно «представление о неокончательности и даже случайности отпадения массы людей от основ православия и царепочитания»[95], конец же 1610-х – 1630-е гг. проходят под знаком «повышенной внимательности авторов к “простцам” и к читателям»[96], что было обусловлено нараставшим в обществе социальным обострением при внешнем преобладании настроения благополучия[97].

Таким образом, в работах Д.С. Лихачева, А.С. Демина, намечающих возможные пути обобщения, памятники Смутного времени и присущая им художественная специфика рассматриваются в контексте эволюции всей древнерусской литературы.

Среди работ, непосредственно посвященных поэтике и специфике русской литературы первой трети XVII в., обобщающий характер, пожалуй, носит диссертация М.А. Коротченко «Публицистика смутного времени (проблематика, проблема авторской

---

[89] Там же. С. 146.
[90] Там же.
[91] Там же. С. 147.
[92] Там же. С. 155.
[93] *Демин А.С.* Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и изображения) / отв. ред. д-р филол. наук В.П. Гребенюк. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 9.
[94] Там же. С. 358.
[95] Там же. С. 367.
[96] Там же. С. 392.
[97] Там же. С. 393.

позиции, влияние церковной публицистики конца XV – начала XVI вв.)», в которой проводится системный анализ шестнадцати памятников о Смуте и ставится вопрос об их общей идеологической основе. По мнению исследовательницы, «Смутное время можно охарактеризовать как время разделения, распада старых властных структур и общественных отношений, именно в хаосе возникают и выдвигаются вперед определяющие черты нового времени, новой России»[98]. Исходя из этого убеждения, М.А. Коротченко рассматривает все памятники сквозь призму понятия «разделение», преподносимого во многих случаях через телесный код, и выделяет три этапа Смуты (первый этап – внутреннее разделение личности как следствие развития «греха гордыни и своеволия»[99], т. е. «разделение человеческой личности между тайной, внутренней жизнью и явной этикетно-иерархической»[100], второй этап – внешнее разделение народа (междоусобная война), третий этап – выход из Смуты – внутреннее тождество личности и внешнее единение народа) и, соответственно, экстраполирует эту реконструируемую идеологию на все анализируемые памятники.

Другие диссертационные исследования носят более локальный характер и либо посвящены рассмотрению только нескольких памятников, выборка которых осуществляется в соответствии с анализируемой проблемой, как, например, работа А.П. Дудко, либо освещают один из образов в широком контексте, на фоне историко-литературного процесса XVII–XIX вв. (например, работа М.Г. Лазуткиной[101]).

Специальных обобщающих работ по поэтике корпуса сочинений о Смутном времени нет.

В настоящем диссертационном исследовании подвергается проверке следующая **теоретическая гипотеза**: памятники первой трети XVII в., посвященные событиям Смутного времени, представляют собой уникальный в истории литературы Древней Руси макроцикл, который отразил переходный характер русской литературы от эпохи Средневековья к ранней Новой литературе. Сочетание традиционных и новаторских подходов к изображению исторических событий и лиц, обращение к литературной традиции XI–XVI вв. и взрывание ее изнутри на уровне формы и содержания, поиск новых жанровых форм запечатления важнейших исторических событий и приемов изображения свидетельствуют о том, что эти произведения стоят у истоков зарождения новой русской исторической прозы.

---

[98] *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени (проблематика, проблема авторской позиции, влияние церковной публицистики конца XV – начала XVI вв.). С. 47.

[99] Там же. С. 104.

[100] Там же.

[101] *Лазуткина М.Г.* Формирование художественного образа самозванца Лжедмитрия I в русской литературе XVII–XIX веков... Указ. соч.

Объектом исследования являются сочинения современников о Смуте, созданные в первой трети XVII столетия.

Материалом исследования послужили публицистические и исторические памятники, созданные непосредственно в эпоху Смутного времени и в последующие два десятилетия. Ряд произведений анализируется в работе подробно: это малоизученные с литературоведческой точки зрения «Иное сказание», «Рукопись Филарета», псковские летописные повести «О бедах и скорбех и напастех…», «О смятении и междоусобии и отступлении Псковичъ от Московского государства», «О царском избрании на Московское государство», «Повесть о некоей брани», или изученные в ином ключе, среди них — «Временник» Ивана Тимофеева, «Повесть о победах Московского государства», «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престолъ Борисъ Годуновъ», «Повесть, како отомсти…», «Повесть о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия, «Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире». Отдельные памятники, не подвергаясь детальному анализу в силу высокой степени их изученности в отечественной медиевистике, рассматриваются в связи с прояснением складывавшейся традиции изображения событий и лиц: это «Сказание» Авраамия Палицына, «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства», «Послание дворянина к дворянину», «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Новая повесть о преславном Росийском царстве», «Хронограф 1617 года», «Летописная книга», «Бельский летописец», «Новый летописец», «Пискаревский летописец», «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, по прозвищу Скопина». Для прояснения в ряде случаев специфики повествовательной манеры русских источников о Смуте привлекались сочинения иностранных авторов, такие как «Московская хроника» К. Буссова, «Состояние Российской державы и великого княжества Московского» Ж. Маржерета, «Краткое известие о Московии» И. Массы, «Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем» Э. Геркмана, «Мемуары из русской истории» Арсения Елассонского, «Летопись Московская, с 1584 года по 1612» М. Бера.

Предметом исследования является совокупность традиционных и новаторских макро- и микропоэтических средств изображения исторических событий и лиц в корпусе сочинений о Смутном времени.

Цель исследования состоит в том, чтобы показать сочинения современников о Смуте, созданные в первой трети XVII столетия, как уникальный древнерусский литературный цикл, пронизанный внутренне едиными и в то же время противоречивыми художественными тенденциями, свидетельствующими о зарождении нового вида русской исторической прозы.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие **задачи**:

– систематизация различных точек зрения и уточнение понятия «древнерусский литературный цикл», характеристика специфики «цикловедческих» направлений в отечественной медиевистики;

– анализ корпуса разноплановых сочинений современников о событиях 1598–1613 гг. как макроцикла на основе ведущих топосов и мотивов Смуты;

– описание микроциклов и интерпретационный анализ истории городов Московского государства как микроцикла в цикле;

– классификация памятников цикла по жанровому признаку и анализ необычных жанровых форм в неизученных или мало изученных произведениях;

– характеристика ведущих моделей повествования и приемов изображения исторических событий в памятниках о Смуте;

– выявление традиционных и новаторских приемов изображения исторических лиц в цикле сочинений о Смуте.

Научная новизна исследования заключается в том, что корпус публицистических и исторических сочинений современников о Смутном времени впервые в отечественной медиевистике рассматривается как древнерусский литературный макроцикл, зафиксировавший момент начала трансформации традиционных для средневековой словесности жанровых форм и приемов изображения исторических событий и лиц. На основе анализа овеянных традицией макро- и микропоэтических средств изображения и новых приемов повествования в малоизученных и исследованных с иных позиций памятников ставится вопрос о зарождении в русской литературе первой трети XVII в. нового вида исторического повествования, по-старому называемого книжниками повестью. Преодоление сложившегося подхода рассмотрения памятников о Смуте либо с точки зрения содержания, либо с точки зрения формы, комплексный анализ поэтики произведений создает предпосылку для теоретического осмысления проблемы древнерусских литературных циклов, имеющих иной характер по сравнению с циклами в литературе XIX–XXI вв., их классификации и художественной специфики.

Методология исследования определяется необходимостью одновременного применения нескольких методов. В ходе исследования памятников были использованы:

– *сравнительно-исторический метод*, позволивший выявить традиционно общее и особенное в изобразительной манере книжников;

– *метод имманентной поэтики*, предполагающий целостный анализ конкретных памятников, при котором учитываются факторы, описанные А.П. Скафтымовым: «Состав произведения сам в себе носит нормы его истолкования. Все части произведения находятся в некоторых формально-определенных отношениях. Компоненты даются и берутся во всей

сложности контекста, льют свет друг на друга, и через сопоставление частей, через целостный охват всего создания неминуемо должны раскрываться центральная значимость и эстетический смысл как отдельных частностей, так и всего целого»[102];

– *герменевтический метод,* суть которого состоит в истолковании особо важных текстов, «которые передаются из поколения в поколение» и «требуют не просто сохранения и восстановления изначального смысла», но и «новых истолкований»[103] на основе «герменевтического круга», суть которого — анализ и синтез, приводящие к целостному пониманию текста.

Теоретической и методологической основой исследования стали труды теоретиков и историков литературы И.П. Еремина, Д.С. Лихачева, Н.И. Прокофьева, А.М. Панченко, А.С. Демина, А.В. Каравашкина, Н.В. Трофимовой, И.Н. Данилевского, А.П. Скафтымова, Ю.М. Лотмана, М.Л. Гаспарова, В.Е. Хализева, С.Н. Зенкина и др.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем обосновывается, с одной стороны, необходимость нового подхода к характеристике историко-литературного процесса в русской средневековой словесности XVII в., с другой стороны, потребность теоретического осмысления проблемы древнерусских литературных циклов, выработки критериев для разграничения понятий цикл и сборник и др., методологии описания их художественной специфики, а также остро стоящий сегодня в отечественной медиевистике вопрос создания новой, с учетом важнейших научных достижений, исторической поэтики древнерусской литературы.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно намечает дальнейшие пути исследования проблемы для разъяснения пока еще не решенных в науке вопросов, в частности, что из открытий литературы первой трети XVII столетия о Смуте получило продолжение в исторической литературе второй половины XVII в., а что осталось невостребованной новацией. Результаты исследования могут быть использованы в работах по теории и истории древнерусской литературы, при создании теоретической и исторической поэтики средневековой русской словесности, а также в академических курсах, учебниках и учебных пособиях.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Корпус повествовательных публицистических и исторических сочинений современников о Смутном времени представляет собой уникальный древнерусский литературный цикл, структурообразующим элементом которого являются события 1598–1613 гг.

---

[102] *Скафтымов А.П.* Поэтика художественного произведения / сост. В.В. Прозоров, Ю.Н. Борисов; вступит. ст. В.В. Прозорова. М.: Высшая школа, 2007. С. 30.

[103] *Зенкин С.Н.* Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 30.

2. Макроцикл имеет внутренние скрепы — сквозные темы роковой вины царей и самозванцев, общенародного греха и искупительного покаяния, идеи богоустановленности царской власти, Божьего батога и патриотизма, мотивы безысходности и трагического положения людей в эпоху «нестроения» Русской земли, которые обеспечивают единство разножанровых произведений.
3. Цикл памятников о Смуте включает микроциклы, структурообразующим элементом которых является либо конкретное историческое лицо (князь М.В. Скопин-Шуйский, Лжедмитрий I, царевич Дмитрий и др.), либо определенное историческое событие (например, голод 1601–1603 гг.). Открытием литературы первой трети XVII столетия стал трагический микроцикл, посвященный судьбам городов Московского государства в эпоху Смуты, стоящий у истоков развития урбанистической темы в русской литературе.
4. Разрушение жанровой формы классической древнерусской исторической повести, публицистический характер и политизация ряда обособившихся «малых» жанров, равнодушие к соблюдению традиционных жанровых канонов, поиски новых форм повествования о событиях, потрясших государственные, социальные, экономические и культурные устои общества, свидетельствуют о зарождении в русской литературе первой трети XVII столетия нового вида исторического повествования.
5. Обилие различных моделей повествования о современных книжникам исторических событиях привело к стилистической полифонии памятников о Смуте; в них переплетаются приемы, характерные для стиля монументального историзма, экспрессивно-эмоционального стиля, доминантным становится реалистический подход к изображению исторических событий и лиц, несмотря на большую востребованность библейских интертекстуализмов.
6. При изображении исторических лиц сталкиваются, сосуществуют и дополняют друг друга два основных принципа — древнейший прием абстрагирования и новый реалистический подход, в основе которого лежит открытие противоречивой сущности человеческого характера и взаимообусловленности поступков и личных качеств исторического лица; как следствие, доминантным становится прием контраста, пронизывающий практически все памятники о Смуте.
7. В цикле сочинений о Смуте изображается большое количество исторических лиц, но единственным безупречным героем является только князь М.В. Скопин-Шуйский. Открытием литературы первой трети XVII столетия стало использование приемов дегероизации и депоэтизации прославляемых организаторов народного ополчения. В цикле сочинений о Смуте появляется новый герой — народ, изображению которого уделяется значительное внимание в целом ряде памятников.

Апробация работы состоялась на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях и симпозиумах: «Макариевские чтения» (Можайск, 2008, 2010, 2012, 2015, 2016), «Древнерусская литература как литература» (Литературный институт им. А.М. Горького, 2008, 2010, 2011), «Творчество А.П. Сумарокова в контексте мировой литературы и культуры» (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2008), «Древнерусская литература и литература Нового времени» (МПГУ, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018), XVII Международные образовательные Рождественские чтения. Круглый стол «Христианская культура и славянский мир» (ГАСК, 2009), «Традиция в развитии славянских культур» (НИЦ «ЭСТРИКА»; Славянские культуры: корни и крона) (Ин-т славяноведения РАН, ГАСК, 2009), XVIII Международные образовательные Рождественские чтения. Круглый стол «Христианская культура и славянский мир» (ГАСК, 2010), «Москва в русской и мировой литературе» (ИМЛИ РАН, 2010), «Древнерусская литература и телевидение» (МГУ, 2010), Первый Международный симпозиум «Славянороссика» (ГАСК, 2011), VI Международная конференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси» (Ин-т российской истории РАН, журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 2011), VIII Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси» (Ин-т российской истории РАН, журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 2015), «Первые московские Анциферовские чтения» (ИМЛИ РАН, 2012), V Международная славистическая интердисциплинарная научная конференция «Концепции и Концепты в истории и культуре славян» (Ин-т славяноведения РАН, 2012), «Язык и литература в поликультурном пространстве» (Львов, 2014), «Современные научные исследования представителей филологических наук и их влияние на развитие языка и литературы» (Львов, 2014), «О художественности древнерусской литературы (к 80-летию доктора филологических наук, профессора Анатолия Сергеевича Демина)» (ИМЛИ РАН, 2015), «Кусковские чтения. Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения – 2015)» (Московский государственный ин-т культуры, 2015), «Культурное и духовное наследие Древней Руси: к 1000-летию преставления святого князя Владимира» (Московский дом национальностей, ГАСК, 2015), «Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность» (МГУДТ, 2016), «Творческая история произведения как историко-литературная и теоретическая проблема: фольклорный, биографический, социокультурный, текстологический аспекты» (МПГУ, 2016), «Славистические чтения народов славянских государств» (Московский дом национальностей, МГУДТ, 2017), «Литература. Кино. Телевидение» (МГУ, 2018), «Славянский мир в третьем тысячелетии» (Московский дом национальностей, 2018), V Всероссийская научно-практическая конференция «Христианская культура и славянский мир» (РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт славянской

культуры, 2019) «Славянский мир в третьем тысячелетии»: «Проблемы интеграции и дезинтеграции славянского мира: политика и культура» (Ин-т славяноведения РАН, РГУ им. А.Н. Косыгина, Московский дом национальностей, 2019), «Древнеславянская литература и книжность: новейшие исследования и научные проекты» (ИМЛИ РАН, 2019). Отдельные положения исследования неоднократно были представлены на заседаниях Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН.

Материалы диссертации изложены в монографии «Древнерусская литература о Смутном времени как художественный феномен» и статьях, опубликованных в российских журналах и сборниках.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы.

В **первой главе** диссертации рассматриваются вопросы терминологии понятий «цикл» и «древнерусский литературный цикл», дается обзор работ по теме, обосновывается применение по отношению с публицистическим и историческим сочинениям современников о Смуте понятия «цикл», анализируются сквозные темы и мотивы.

Во **второй главе** исследуется трагический микроцикл в составе корпуса памятников о Смуте, посвященный истории городов Московского государства.

В **третьей главе** диссертации приводится классификация памятников по жанровому принципу и рассматриваются оригинальные жанровые формы повествования в неизученных или мало изученных памятниках.

В **четвертой главе** диссертации дается анализ традиционных и новаторских приемов изображения исторических событий, характеризуются ведущие повествовательные модели.

Пятая глава посвящена анализу традиционных и новаторских приемов изображения исторических лиц в памятниках о Смуте.

В **заключении** подводятся итоги исследования.

Список литературы, в том числе источники и работы автора, насчитывает 457 наименований.

Глава 1 Памятники Смутного времени как литературный цикл

1. Понятие древнерусского литературного цикла: вопросы терминологии

Литературный цикл. В современном отечественном литературоведении существует множество различных определений понятий «цикл» и «циклизация». В зависимости от сферы употребления и приложения этого понятия к различным явлениям литературного творчества или к конкретному объекту изучения, термин «цикл» получает широкую и узкую трактовку.

В широком значении «цикл» выступает синонимом «понятий “ряд”, “группа”, “круг” произведений»[1]. Именно в таком ключе трактуется понятие «цикл» (от греч. κύκλος — круг) в «Литературной энциклопедии», изданной в 1925 г.: это «в применении к литературе, ряд произведений, связанных общим сюжетом и составом действующих лиц»[2]. Похожее определение дает А. Головенченко в «Словаре литературоведческих терминов»: цикл — это «несколько художественных произведений, объединенных общим жанром, темой, главными героями, единым замыслом, иногда рассказчиком, исторической эпохой (в прозе и драматургии), единым поэтическим настроением, местом действия (в лирике)»[3].

В узком, терминологическом, значении «цикл», по мнению Л.Е. Ляпиной, — это «тип эстетического целого, представляющий собой ряд самостоятельных произведений, принадлежащих одному виду искусства, созданных одним автором и скомпонованных им в определенную последовательность»[4]. Аналогичное определение «цикла» приводится в книге «Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины»: «под литературным циклом обычно подразумевается группа произведений, составленная и объединенная самим автором и представляющая собой художественное целое»[5]. Сходное объяснение термина «цикл» дает В.А. Сапогов в «Литературном энциклопедическом словаре»: цикл — это «группа произв., с о з н а т е л ь н о объединенных автором по жанровому (стихотв. сб-ки романтиков), идейно-тематич.

---

[1] *Фоменко И.В.* Поэтика лирического цикла: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М.: Изд. центр «Академия», 1990. С. 35.

[2] Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. / под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Т. 2: П – Я. Стб. 1083.

[3] *Головенченко А.* Цикл // Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. С. 456.

[4] *Ляпина Л.Е.* Проблема целостности лирического цикла // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк: Изд-во «Радянська Донеччина», 1977. С. 165.

[5] *Дарвин М.Н.* Цикл // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: учеб. пособие / Л.В. Чернец [и др.]. М.: Высшая школа, Академия, 1999. С. 482.

(“Записки охотника” И.С. Тургенева) принципу или общностью персонажей (серия романов и новелл о Форсайтах Дж. Голсуорси), а чаще всего — по неск. принципам (“Ругон-Маккары” Э. Золя)»[6], при этом цикличность «воспринимается как особая худож. возможность: каждое произв., входящее в Ц., может существовать как самостоят. худож. единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть своей эстетич. значимости…»[7].

Несмотря на довольно продолжительную историю существования «цикловедческого» направления в отечественном литературоведении, «представления о художественной циклизации находятся в сильной зависимости от индивидуальных пристрастий литературоведов»[8] либо «к ограниченным участкам истории поэзии»[9], либо к истории эпических или драматургических произведений, поэтому, наряду с общим определением понятия «цикл», существуют термины:

- «лирический цикл», под которым чаще всего понимается «жанровое образование, созданный автором ансамбль стихотворений, главный признак которого — особые отношения между стихотворением и контекстом, позволяющие воплотить в системе определенным образом организованных стихотворений целостную и как угодно сложную систему авторских взглядов»[10], некая «совокупность взаимосвязанных между собой стихотворений, которая была способна воплотить целостный взгляд на мир (“поэма души”, “поэтическая идеология”, “роман”, “трактат” в стихах), выразить художественную волю автора»[11];
- и «прозаический цикл», т. е. такая «особая форма нарративной организации текста, особая целостность», которая совмещает, по мнению А.С. Янушкевич, «риторическую и стилистическую стихию через рамочную композицию»[12].

Циклы и циклизации в творчестве поэтов, писателей, драматургов неоднократно становились предметом рассмотрения в работах многих историков и теоретиков литературы. Изучение циклизации как историко-литературного явления, начиная с конца XIX столетия и особенно с 60-х гг. XX в., шло в двух направлениях. Первое связано с изучением циклов в творческом наследии различных писателей и поэтов XIX–XX вв. и

---

[6] *Сапогов В.А.* Цикл // Литературный энциклопедический словарь / под общ ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева; редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 492.

[7] Там же.

[8] *Тюпа В.И., Фуксон Л.Ю., Дарвин М.Н.* Литературное произведение: проблемы теории и анализа. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. Вып. 1. С. 125.

[9] Там же.

[10] *Фоменко И.В.* Поэтика лирического цикла... С. 35.

[11] *Белоусова О.О., Дашевская А.А.* Поэтика цикла и книги в современном литературоведении // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. С. 7.

[12] *Янушкевич А.С.* Три эпохи литературной циклизации: Боккаччо — Гофман — Гоголь // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 2. С. 66.

представлено как диссертационными работами[13], так и статьями и монографиями[14], второе — с теоретическим исследованием цикла как литературной формы, вопросами текстологии и поэтики, классификацией, типологией, генезисом[15].

Однако, как можно заметить из далеко не полного перечня работ, посвященных проблеме литературного цикла, все определения, классификации и типологии, среди которых выделяют, например, авторские и читательские циклы[16] (М.Н. Дарвин), «авторский цикл», «рецептивный цикл» и «рецептивный метацикл»[17] (С. Абишева), «структурированные циклы», «циклы с рамой», «циклы-сборники», «циклы-романы»[18] (С.В. Нестерова), «циклы со сквозными персонажами» и «циклы с линейным построением системы персонажей»[19] (Е.Ю. Афонина) и др., даются на основе анализа русской прозы и поэзии XIX–XX вв. И при общей теоретико-методологической разработанности проблемы циклизации в русской литературе данные типологии и классификации, определения и приемы изучения оказываются применимы исключительно для анализа литературных циклов в поэзии и прозе XIX–XX вв. Между тем проблема определения художественной специфики циклов актуальна и для отечественной медиевистики.

Древнерусский литературный цикл. Сегодня существует довольно большое количество исследований по средневековой русской словесности, в которых встречается термин «цикл». Прежде всего, это работы, посвященные памятникам Борисоглебского

---

[13] См., например: *Егорова О.Г.* Проблема циклизации в русской прозе первой половины XX века: дис. … д-ра филол. наук. Астрахань, 2004. 529 с.; *Ляпина Л.Е.* Лирический цикл в русской поэзии1840–1860-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1977. 11 с.; *Кулик А.Г.* Лирическая циклизация как особый тип текстопостроения (на материале третьего тома «Лирической трилогии» А. Блока): дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2007. 167 с. И мн. др.

[14] См., например: *Боброва Е.В.* Функция мотива в лирическом цикле (на примере цикла стихотворений «Курганная царевна» Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 818–820; *Виноградов В.В.* О литературной циклизации (По поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси) // *Виноградов В.В.* Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 38–43; *Дарвин М.Н.* Лирический цикл: часть и целое («Северное море» Г. Гейне) // Типологические категории в анализе литературного произведения как целого. Кемерово: КемГУ, 1983. С. 21–43; *Ложкова Т.А.* «Ямбы» В.К. Кюхельбеккера как лирический цикл // Уральский филологический вестник. 2016. № 4. С. 56–69; *Ляпина Л.Е.* Русские литературные циклы (1840–1860 гг.). СПб.: Изд-во РГПУ, 1993. 114 с. И мн. др.

[15] См., например: *Гареева Л.Н.* Вопросы теории цикла (лирического и прозаического) // «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева: Вопросы поэтики. Ижевск: УдГУ, 2004. С. 19–82; *Коваленко А.Г.* Циклизация в современной прозе (Проблема целостности) // Филологические науки. 1987. № 3. С. 3–9; *Ляпина Л.Е.* Жанровая специфика литературного цикла как проблема исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1990. С. 220–230; *Ляпина Л.Е.* Литературная циклизация: (К истории изучения) // Русская литература. 1998. № 1. С. 170–179; *Пепеляева Е.В.* Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема // Вестник Пермского университета. 2012. Вып. 2 (18). С. 174–180; *Флёрко Л.В.* Классификация и типология лирических циклов в литературоведении // Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2011. № 1 (131). С. 61–65. И мн. др.

[16] См.: *Дарвин М.Н.* Русский лирический цикл: проблемы истории и теории. На материале поэзии первой половины XIX века. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 137 с.

[17] *Абишева С.Д.* Поэтическая система «Мир природы»: структура и семантика. Алматы: Алматинский гос. ун-т им. Абая, 2002. 268 с.

[18] См.: *Нестерова С.В.* Циклическое текстопостроение в малой эпической прозе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2012. 23 с.

[19] *Афонина Е.Ю.* Поэтика авторского прозаического цикла: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2005. 24 с.

цикла, в рамках которого, как правило, рассматривают «Сказание об убиении Бориса и Глеба», «Чтение о Борисе и Глебе», написанное Нестором, «Сказание о чудесах Романа и Давыда», краткие (проложные) жития, летописную повесть в составе «Повести временных лет» под 6523 г., паремийные чтения и службы. Среди важнейших работ, посвященных этому циклу, — исследования А.А. Шайкина[20], А.М. Ранчина[21], С.А. Бугославского[22], М.Ю. Парамоновой[23], В. Биленкина[24], Г. Ленхоффа[25], Дж. Ревелли[26] и др. Цикл молитв Кирилла Туровского стал предметом неоднократного рассмотрения в исследованиях Е.Б. Рогачевской[27]. Поэтика гимнографического цикла, посвященного великому киевскому князю Владимиру Святославичу, находится в оптике пристального внимания в многолетних научных изысканиях В.М. Кириллина[28]. «Внешняя история» и особенности цикла повестей о Николе Заразском основательно были изучены Д.С. Лихачевым, отмечавшим, что этот цикл «заключает в себе много летописного» и «носит характер “свода” — в данном случае “свода” различных рязанских повестей, разновременно сложившихся и разновременно связанных с иконою Николы Заразского»[29]. Анализу кипрского цикла в древнерусской литературе посвящена одноименная работа

[20] *Шайкин А.А.* 1) Способы и формы проявлений авторской позиции в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора // Ученые записки Орловского государственного университета. 2018. № 3 (80). С. 166–172; 2) Способы характеристики героев и осмысления событий в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2017. № 5. С. 55–62; 3) Духовное и телесное как элементы повествования в «Сказании о Борисе и Глебе» и других борисоглебских текстах // Вестник славянских культур. 2015. № 3 (37). С. 129–143; 4) Авторские позиции в борисоглебских текстах: летопись и анонимное сказание // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 3 (61). С. 141.

[21] *Ранчин А.М.* 1) Памятники Борисоглебского цикла: текстология, поэтика, религиозно-культурный контекст. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 512 с.; 2) Символика «младшинства» в памятниках борисоглебского цикла: библейский и древнерусский контексты // Авраамиевская седмица. Материалы II Международной научной конференции / под ред. Л.В. Павловой, И.В. Романовой. 2018. С. 69–77; 3) Вертоград Златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 576 с. И др. работы.

[22] *Бугославский С.А.* Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе: историко-литературное исследование // *Бугославский С.А.* Текстология Древней Руси. М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. 2: Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе / сост. Ю.А. Артамонов. С. 7–360.

[23] *Парамонова М.Ю.* Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: Сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М.: ИВИ РАН, 2003. 405 с.

[24] *Биленкин В.* «Чтение» прп. Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 47. С. 54–64.

[25] *Lenhoff G.* The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts. Columbus: Ohio, 1989. 168 p. (UCLA Slavic Studies. Vol. 19.)

[26] *Revelli G.* Monumenti letterari su Boris e Gleb / Univ. degli studi di Genova. Dip. di ling. e lett. straniere mod. Sez. di slavistica. Genova: La Quercia, Cop. 1993. XI, 706 c.

[27] *Рогачевская Е.Б.* 1) Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М.: Языки славянской культуры, 1999. 268 с.; 2) Цикл молитв Кирилла Туровского в южнославянских рукописях, хранящихся в Болгарии // *Palaeobulgarica,* XX-3, 1996. Pp. 76–84; 3) The Concept of Sin in Kirill of Turov's Writings' // Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer. Slavica Bergensia 2, Univeristy of Bergen, 2000. Pp. 204–220. И др. работы.

[28] *Кириллин В.М.* 1) Оценки Владимира Святославича посредством исторических аналогий в ранних русских гомилиях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2016. № 2 (64). С. 90–97; 2) Развитие состава эпитетов, характеризующих Владимира Святого в посвященной ему древнерусской гимнографии // Вестник славянских культур. 2018. Т. 48. С. 113–136; 3) Именования Владимира Великого в прославляющих его гимнографических текстах как рефлекс восприятия русским общественным сознанием исторического и инобытийного служения князя // Studia Litterarum. 2019. Т. 4, № 1. С. 176–201. И др. работы.

[29] *Лихачев Д.С.* Повести о Николе Заразском (тексты) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. Т. 7. С. 257.

О.А. Белобровой[30]. Большой блок исследований в отечественной медиевистике связан с памятниками Куликовского цикла, в частности, это работы Л.А. Дмитриева[31], М.А. Салминой[32], Д.С. Лихачева[33], А.Н. Робинсона[34] и др., с «азовским» циклом — исследования А.С. Орлова[35], А.Н. Робинсона[36] и др., с циклом повестей о начале Москвы — работы С.К. Шамбинаго[37], М.Н. Тихомирова[38] и др. Древнерусский «судебный цикл» на примере «Повести о Петре, царевиче Ордынском» и «Повести о Ерше Ершовиче» был рассмотрен Д.С. Менделеевой[39]. Вопросам поэтики фантастического в древнерусских житийных циклах посвящена статья В.И. Мокляк[40].

Вне зависимости от того, используется ли термин «цикл» только в названии работы (как, например, в статье В.И. Мокляк), или употребляется по мере изложения научных изысканий, или вовсе отсутствует (как, например, в работе С.К. Шамбинаго), в данных исследованиях представлен богатейший материал по истории отдельных древнерусских циклов. Но ни в одном из них не дается определение самому понятию. Укоренившиеся же в науке названия циклов свидетельствуют о безусловном принятии многими медиевистами широкой трактовки понятия «древнерусский литературный цикл» (к чему отчасти подталкивает и специфика анализируемых памятников), мало чем отличающейся от определения циклизации в «Литературной энциклопедии терминов и понятий», под которой понимается «объединение нескольких самостоятельных произведений в особое целостное единство»[41]. И в то же время приводимые в словарях и энциклопедиях определения терминов «цикл» и «циклизация» не совсем отражают то явление, с которым имеют дело исследователи средневековой русской словесности. Наиболее точным, с нашей точки зрения, можно считать определение, которое дают М.Н. Дарвин и В.И. Тюпа в работе

---

[30] *Белоброва О.А.* Кипрский цикл в древнерусской литературе. М.: Наука, 1972. 112 с.

[31] *Дмитриев Л.А.* Литературная история памятников Куликовского цикла // Сказания и повести о Куликовской битве. Л.: Наука, 1982. С. 306–359.

[32] *Салмина М.А.* Летописная повесть о Куликовской битве и «Задонщина» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л.: Наука, 1966. С. 344–384.

[33] *Лихачев Д.С.* Черты подражательности «Задонщины» (к вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве») // Русская литература. 1964. № 3. С. 84–107.

[34] *Робинсон А.Н.* Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве // Куликовская битва в литературе и искусстве. М.: Наука, 1980. С. 10–38.

[35] *Орлов А.С.* Исторические и поэтические повести об Азове (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.). Тексты. М.: Синод. тип., 1906. 236 с.

[36] *Робинсон А.Н.* Повести об азовском взятии и осадном сидении. Исследование и тексты // Воинские повести Древней Руси / ред. В.П. Адрианова-Перетц. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 47–112, 166–243.

[37] *Шамбинаго С.К.* Повести о начале Москвы // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1936. Т. 3. С. 59–98.

[38] *Тихомиров М.Н.* Сказания о начале Москвы // Исторические записки. 1950. Т. 32. С. 233–241.

[39] *Менделеева Д.С.* Древнерусский «судебный цикл»: «Повесть о Петре царевиче Ордынском» и «Повесть о Ерше Ершовиче» // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О.А. Туфанова. С. 446–451.

[40] *Мокляк В.И.* Поэтика фантастического в древнерусских житийных циклах // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 4 (15). С. 8–12.

[41] Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 1190.

«Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания»: в широком понимании древнерусский литературный цикл — это ряд произведений, «сгруппированных вокруг какой-либо эпохи, исторического персонажа или предания»[42].

Сходное, но не тождественное определение приводит Е.Б. Рогачевская в работе «Житие Леонтия Ростовского в программном цикле Андрея Боголюбского», специально оговаривая, что сделанные в статье выводы «будут верны только для таких циклов, которые складывались на протяжении нескольких веков из произведений различных авторов»[43]. На основе исследования «программного цикла» Андрея Боголюбского в статье сделано следующее заключение: «Древнерусские литературные циклы <…> имеют очень сложную структуру, складываются в течение длительного времени из произведений различной жанровой природы. Произведения цикла не обязательно едины в своей идеологической концепции. Более того, они могут быть не всегда связаны тематически между собой <…>. Главным структурообразующим центростремительным элементом является в цикле определенная христианская святыня, по отношению к которой и рассматриваются все человеческие действия. Другим элементом может стать событие или человек, духовно наиболее связанный с этой святыней»[44].

Именно Е.Б. Рогачевская в 1994–1995 гг. поставила в своей статье ряд серьезных теоретических проблем, связанных с циклизацией в древнерусской литературе. В частности, исследовательница отмечала: «К сожалению, проблемы циклизации древнерусских произведений не нашли до сих пор должного отражения при анализе конкретных произведений. Здесь перед нами встает множество проблем: отличие цикла от “макрожанра” (например в отношении к летописи), разграничение цикла и типа сборника, виды циклов, описание структурообразующих элементов цикла и др.»[45]

Решение многих из этих вопросов — перспективная задача будущего отечественной медиевистики. Вместе с тем глубокое рассмотрение одного из глобальных вопросов нашло отражение в ряде работ последних лет А.С. Демина, существенным отличием которых от всех других исследований стало изменение фокуса анализа древнерусских литературных циклов. Если большинство ученых условно-безусловно принимают за основу широкую трактовку термина, то в исследованиях А.С. Демина во главу поставлено узкое, терминологически конкретное определение. В работе «Материалы для монографии о художественной эволюции древнерусской литературы», изданной в 2014 г., А.С. Демин

---

[42] *Дарвин М.Н., Тюпа В.И.* Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, 2001. С. 14.

[43] *Рогачевская Е.Б.* Житие Леонтия Ростовского в программном цикле Андрея Боголюбского. URL: https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1994g-rostov-1995/e-b-rogachevskaya-zhitie-leontiya-rostovskogo-v-programmnom-tsikle-andreya-bogolyubskogo-s-42-45/ (дата обращения: 11.08.2019).

[44] Там же.

[45] Там же.

пишет: «Под древнерусским литературным циклом мы понимаем: 1) цепь отдельных законченных рассказов, 2) на однотипную тему, но о разных событиях, 3) объединенных в составе одного произведения или книги, 4) сходных мотивами, деталями, композицией и — главное — фразеологией. Повторами и определяется содержание цикла»[46]. Сходные мотивы, сравнения, детали, фразеология в произведениях на «однотипную тему» стоят в центре внимания в работах многих медиевистов, но именно А.С. Демин комплексно проанализировал литературные циклы и «прото-циклы» в составе отдельных памятников. Так, при изучении «Лаврентьевской летописи» были систематизированы четыре внутрилетописных повествовательных цикла («трагически-воинский» цикл, «торжественно-похвальный» или «похвально-некрологический» цикл, цикл рассказов о небесных знамениях и цикл-серия рассказов «о каком-либо конкретном герое или событии с повторяющимися сходными сквозными мотивами»[47]). В «Казанской истории», пронизанной трагическими, «гиперболично выраженными» сквозными мотивами, был выявлен «сладостный» цикл[48], в «Летописной книжице» — «украшенный» цикл[49]. В «Житиях» Аввакума и Епифания в «Пустозерском сборнике» обнаружены циклы «свободного типа», а текст «Жития» «огнепального» протопопа «с точки зрения циклообразования» был рассмотрен как «мега-цикл с развивающимся сюжетом»[50].

В 2019 г. вышла новая работа А.С. Демина «Художественная семантика древнерусских литературных форм и средств (часть монографии)», в которой было продолжено изучение древнерусских литературных циклов с точки зрения семантики. В частности, были проанализированы «основные константы обыденной жизни животных и птиц»[51] в цикле рассказов «Физиолóга» по списку XV в., соотносимые со сходными схемами жизни в «Сказании о Дракуле-воеводе» по списку 1491 г., в «Повести о житии Михаила Клопского» по списку первой половины XVI в., в «Хожении» Афанасия Никитина по списку первой четверти XVI в.; искаженный мир в цикле снов царя Шахаиши по списку XV в.; элементы театральности в библейском цикле стихов Мардария Хонькова; мотивы «противной внешности Молодца», «Молодца как деревенщины», «навязчивости упрямого Молодца» в цикле речей Девицы, порожденные «обоюдным упрямством персонажей» в «Сказании о Молодце и Девице». Повести о Николе Заразском были рассмотрены как

---

[46] *Демин А.С.* Материалы для монографии о художественной эволюции древнерусской литературы // Герменевтика древнерусской литературы. М.: [Б.и.], 2014. Сб. 16–17 / отв. ред. М.В. Первушин. С. 649.

[47] Там же. С. 656.

[48] Там же. С. 667–671.

[49] Там же. С. 671–673.

[50] Там же. С. 676.

[51] *Демин А.С.* Художественная семантика древнерусских литературных форм и средств (часть монографии) // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О.А. Туфанова. С. 251.

«трагический» цикл, а в «Рафли», по мнению исследователя, «отразилась беспокойная предметно-бытовая философия жизни второй половины XVII – начала XVIII вв.»[52]

В результате анализа циклов внутри конкретных памятников А.С. Демин пришел к заключению, что «циклы в древнерусской литературе существовали всегда, но очень менялись социально»[53], наблюдаемое же разнообразие форм циклов и причин их появления, вполне вероятно, связано с тем, что «постоянно и многократно действовавшие на душу писателей условия жизни в каждую эпоху и способствовали в произведениях внутреннему циклообразованию»[54].

Таким образом, на сегодняшний момент можно констатировать активное развитие двух «цикловедческих» направлений в отечественной медиевистике: одно связано с изучением циклов, в состав которых входят различные памятники литературы Древней Руси, объединенные одной темой, или событием, или героем; другое — с приложением понятия «цикл» к конкретному произведению. В зависимости от объекта исследования понятие «древнерусский литературный цикл» получает (декларированно или нет) либо широкую, либо узкую трактовку. При этом представители обоих направлений в качестве структурообразующих элементов цикла называют сходные мотивы, детали, фразеологию. Разнообразие же форм циклов во многом обусловлено тем, что «критерии циклизации», как отмечал в «Поэтике русской литературы» В.В. Виноградов, «изменчивы в разные эпохи»[55]. Условия жизни, исторические события, мировоззренческие установки естественным образом оказывали воздействие и на литературное творчество. Поэтому каждый древнерусский литературный цикл имеет свои специфические, только ему присущие особенности.

2. Специфика цикла памятников о Смуте

В исследовательской и учебной литературе сочинения первой трети XVII в., посвященные событиям Смуты, принято делить на группы в зависимости от времени создания, предназначения, полноты и специфики освещения событий.

Первый «систематический обзор» «литературных произведений великорусской письменности XVII века, которые были посвящены изображению и обсуждению событий Смутного времени Московского государства»[56], дал С.Ф. Платонов в работе

---

[52] Там же. С. 271.

[53] *Демин А.С.* Материалы для монографии о художественной эволюции древнерусской литературы. С. 678.

[54] *Демин А.С.* Художественная семантика древнерусских литературных форм и средств (часть монографии). С. 273.

[55] *Виноградов В.В.* Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 54.

[56] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 187.

«Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник». Все памятники исследователь разделил на три группы:

1. произведения, составленные до окончания Смуты,
2. произведения о Смуте времени правления Михаила Феодоровича,
3. произведения о Смуте второстепенные и позднейшие.

В рамках первой группы были рассмотрены:

- «Иное сказание», в основу которого легла «Повесть, составленная в 1606 г. монахом Троице-Сергиева монастыря, в духе правительственных воззрений В.И. Шуйского»[57], «несколько правительственных грамот царя Василия», «Повесть протопопа Терентия о чудесном видении 1606 г.», «несколько статей из Хронографа второй редакции» и летописные заметки[58]. Попутно были проанализированы «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов» («сокращенная переделка» «Повести 1606 г.»), а также «Житие царевича Димитрия 1607 г., внесенное в Минеи Четьи Германа Тулупова», восходящее к той же «Повести 1606 г.»;
- «Повесть о честнем житии царя Феодора Ивановича»;
- «Новая повесть о преславном Росийском царстве»;
- «Плач о пленении и о конечном разорении превысокого и пресветлейшего Московского государства»;
- «Повесть о некоей брани»;
- Сказания о чудесных видениях 1611 г. (нижегородское и владимирское);
- И др.

В рамках второй группы:

- «Временник» дьяка Ивана Тимофеева;
- «Сказание» келаря Авраамия Палицына;
- «Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России» князя И.А. Хворостинина;
- «Повесть» князя И.М. Катырева-Ростовского, внесенная в Хронограф Сергея Кубасова;
- «Рукопись Филарета»;
- Произведения князя С.И. Шаховского;
- «Книга, глаголемая Новый летописец»;
- И др.

[57] Там же. С. 267.
[58] Там же. С. 267–268.

В рамках третьей группы:

- «Повесть о убиении царевича Дмитрия»;
- Житие ростовского затворника Иринарха;
- «Повесть о разорении Московского государства»;
- И мн. др.

Временной принцип классификации (во время Смуты, в правление царя Михаила Федоровича Романова, позднейшие), положенный С.Ф. Платоновым в основание систематического обзора источников, нашел отражение и в работах исследователей XX–XXI вв.

Так, в 10-томной «Истории русской литературы» памятникам Смуты посвящено два раздела: «Литература 1590–1612 гг.» и «“Смутное время” в изображении литературных памятников 1612–1630 гг.».

В «Истории русской литературы XI–XVII веков» (под редакцией Д.С. Лихачева) в основу типологии произведений о Смуте лег жанрово-временной принцип, памятники были разделены на две группы. «К первой принадлежат произведения, возникшие до 1613 г., до избрания на престол Михаила Романова. Это — непосредственные отклики на события, мгновенный отпечаток социальных и политических страстей и пристрастий. Это — публицистика, в которой все подчинено конкретной агитационной задаче»[59]. Соответственно, в разделе «Публицистика Смутного времени» были рассмотрены произведения малых жанров: «Повесть о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия, «Новая повесть о преславном Росийском царстве», «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства». Тексты второй группы, созданные в 10–20-х гг. XVII в. и также написанные «участниками и современниками Смуты», которые пытались уже «философски, исторически и художественно осмыслить “лихие лета”»[60], стали предметом анализа в разделе «Исторические произведения о Смуте». Особое внимание было обращено на то, что среди писателей, «творивших уже после избрания на царство Михаила Романова»[61], были духовные лица («Сказание» Авраамия Палицына), приказный дьяк («Временник» Ивана Тимофеева), «два князя — Рюриковича»[62] (И.А. Хворостинин и С.И. Шаховской).

Жанрово-временной принцип, вслед за А.А. Назаревским[63], использовала в своей работе и болгарская исследовательница Л. Боева: «Повести Смутного времени можно

---

[59] История русской литературы XI–XVII веков / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др.; под ред. Д.С. Лихачева. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. С. 294.

[60] Там же.

[61] Там же. С. 299.

[62] Там же. С. 302.

[63] *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII в. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1958. 184 с.

подразделить по жанрам на те же две группировки. До 1613 г. пишутся в основном произведения малых жанров, публицистические, полемические заметки, записки о событиях, грамоты, воззвания, широко распространен жанр видения. После 1613 г. создаются более объемные исторические повести с философским, политическим и даже художественно-этическим осмыслением произошедших событий»[64].

Жанрово-временной принцип с учетом функций и идеологических задач лежит в основе типологии сочинений о Смуте, предложенной М.А. Коротченко. Исследовательница разделила памятники на три группы:

1) «Первая группа — грамоты Лжедмитрия I, Василия Шуйского, ополчения Прокопия Ляпунова, ополчения Минина и Пожарского. Это скорее документы, чем литературные произведения. Их функции — агитационные и, частично, разъясняющие. <…> Цель грамот — непосредственное и немедленное воздействие на адресата»[65].
2) «Второй тип памятников — собственно литературные произведения, возникшие во время Смуты, с 1606 по 1612 гг. Это, как правило, сочинения, построенные на основе агитационных грамот, однако уже переступившие грань между литературой и деловой письменностью»[66]. К этой группе относятся «Послание дворянина к дворянину», «Новая повесть о преславном Росийском царстве», «О низведении царского семени и о смятении Русского государства», «Повесть 1606 года», «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства», «Повесть о некоей брани». В них, по мнению М.А. Коротченко, предпринимаются «первые попытки исторически и философски осмыслить Смутное время, выявить некоторые закономерности Смуты, понять ее причины и истоки, а также предсказать дальнейшие пути ее развития и возможности ее преодоления»[67]. К этому типу отнесены и разные повести о видениях.
3) «Третий тип произведений — историко-публицистические сочинения 1617–1620-х годов. <…> Задача сочинений третьего типа — историко-философское и литературно-художественное осмысление событий»[68]. Эту задачу, по мысли исследовательницы, решала «историческая литература Смуты», а именно: «Временник» Ивана Тимофеева, «Сказание» Авраамия Палицына, «Словеса дней

---

[64] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). София: Университетское изд-во им. «Св. Климента Охридского», 1992. С. 47.

[65] *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени // История древнерусской литературы: Аналитическое пособие / отв. ред. А.С. Демин. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 157.

[66] Там же.

[67] Там же. С. 158.

[68] Там же.

и царей и святителей московских» И. Хворостинина, «Повести» С.И. Шаховского, «Летописная книга», «Иное сказание».

Довольно часто при рассмотрении типологии произведений, созданных до 1613 г., используют идеологический принцип. Так, В.В. Кусков в «Истории древнерусской литературы» в группе повестей 1604–1613 гг. выделил «произведения, которые выражают интересы правящих боярских верхов»[69] («Повесть 1606 года», «Иное сказание»), и «повести, отражающие интересы дворянства и посадских торгово-ремесленных слоев населения»[70] («Новая повесть о преславном Росийском царстве», «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства», «Повесть о преставлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского»). Как «оригинальное историческое произведение»[71] было рассмотрено «Сказание» Авраамия Палицына.

О расподоблении авторских стилей и росте субъективного начала в толковании исторических событий в повестях, как выражающих «интересы боярской верхушки» и прославляющих «единение боярского царя Василия Шуйского с народом в борьбе против “расстриги” и “еретика” Гришки Отрепьева»[72], так и антибоярской направленности, писали С.Н. Травников и Л.А. Ольшевская. Отдельно были рассмотрены произведения, представляющие собой «яркий пример самооправдания»[73] («Сказание» Авраамия Палицына) и интересные либо «авторским осмыслением изображаемых… событий и лиц»[74] («Временник» Ивана Тимофеева), либо высоким литературным мастерством, нашедшим отражение в жанре словесного портрета и пейзажа[75] («Летописная книга»).

Таким образом, основные классификации памятников Смутного времени строятся на временном или идеологическом принципе, иногда при характеристике учитываются собственно литературные факторы, но чаще всего это касается отдельных произведений.

Практически все исследователи отмечали новаторский характер сочинений о Смуте, который нашел выражение:

– в «повышенном интересе к человеческой личности»[76];

– в ряде «существенных изменений в общественном сознании»[77];

– в попытках «установить причинно-следственные связи между историческими событиями, между характером и поведением человека без апелляции к “горнему миру”, “божественному промыслу”»[78];

---

[69] *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. 5-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1989. С. 219.

[70] Там же. С. 220.

[71] Там же. С. 222–224.

[72] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. М.: Дрофа, 2007. С. 355.

[73] Там же. С. 357.

[74] Там же.

[75] Там же. С. 358–359.

[76] *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. С. 227.

[77] Там же.

– в «росте субъективного начала»[79] в исторических повествованиях;

– в «росте авторского самосознания»[80], пересмотре принципа анонимности творчества;

– в «трансформации традиционных жанров»[81];

– и др.

Осмысляя произведения Смутного времени как важный этап в развитии литературного процесса, при выявлении главных общих тенденций М.А. Коротченко делает вывод: через всю литературу, посвященную этому периоду, проходят «три основные новаторские черты» — «1. Появление стройной самостоятельной историко-философской картины мира (историзм). 2. Внутренний конфликт как первопричина исторических событий, психологизм повествования. 3. Выдвижение на первый план образа автора, важность авторской позиции»[82].

Многие медиевисты неоднократно отмечали, что памятники, отразившие события 1598–1613 гг., «имеют много общего и тематически дополняют друг друга», при этом «выводы разъясняющей литературы 1617–1620-х гг. нисколько не противоречат положениям агитационных грамот 1606–1612 гг.»[83]

Ни в одной из исследовательских работ нам ни разу не встретилось понятие «цикл». Между тем рассматриваемый комплекс текстов представляет собой огромный по количеству памятников древнерусский литературный цикл в широком понимании данного термина. Памятники первой трети XVII в. объединены одной главной темой — темой Смуты. В них, по верному суждению А.В. Каравашкина, «преобладает типичная для риторической культуры русского Средневековья установка: повествователь вещает от лица вечной и неизменной истины. Следовательно, его взгляд на события объективен и возвышается над большинством персонажей, которые предстают в модусе интенций “абсолютного человека” как несравненно худшие, занимающие в ценностной иерархии низшее положение. При этом во многих памятниках Смуты актуализирована ранняя конвенциональная модель узурпации власти»[84].

Этот литературный цикл складывался постепенно, на протяжении трех десятилетий, из произведений разных жанровых форм. В них, как это видно из вышеприведенных

---

[78] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 355.

[79] Там же.

[80] Там же. С. 359.

[81] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* Русская литература XVII века: трансформация средневековой системы жанров и зарождение новых литературных форм // Древнерусская литература. XI–XVII вв. / под ред. В.И. Коровина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. С. 307.

[82] *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени. С. 157.

[83] Там же. С. 159.

[84] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). Изд. 2-е, доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 586.

классификаций, представлены как общие, так и диаметрально противоположные оценки исторических лиц и взгляды на события, они могут быть посвящены различным периодам в истории Смуты. Но во всех них есть единый структурообразующий элемент: в центре внимания во всех памятниках находятся события 1598–1613 гг. (отдельные или происходящие на протяжении всего периода — в зависимости от времени и цели написания).

При этом в разных произведениях наблюдаются одни и те же идеи и топосы, раскрывающие главную тему цикла, одни и те же оценки определенных исторических лиц, сквозные мотивы и сходные приемы изображения. Так, одним из важнейших топосов в цикле сочинений о Смуте, по мысли Б.А. Успенского, была «идея богоустановленности царской власти», которая определила «актуальную для России — в частности для России XVII в. — дифференциацию царей “праведных” и “неправедных”, где *праведный* означает не “справедливый”, но “правильный”»[85]. С этой идеей в цикле тесно связана оценка самозванчества как «антиповедения»[86], «топосные высказывания о природе власти», «благие» и «злые» клятвы, в том числе и «идея святости присяги», в ряде произведений («Словеса» Ивана Хворостинина, «Сказание» Авраамия Палицына, «Временник» Ивана Тимофеева), исследованные Д.И. Антоновым[87].

Другая главнейшая идея, пронизывающая практически все памятники цикла, — это идея «Божьего батога». Идея отнюдь не новая для древнерусской словесности. Согласно исследованию В.В. Милькова, идея «Божьего батога» начиная с «Повести временных лет» «не сходит со страниц летописей, на многие столетия определив оценки исторической действительности. Правда только дважды, в 1096 и 1223 гг., летописцы принцип теории казней Божиих непосредственно связали с именем Мефодия Патарского. В дальнейшем этот принцип присутствует анонимно, становясь почти повсеместно общим местом в описании нашествий и катаклизмов»[88]. Перманентно используемая в исторической литературе, идея «Божьего батога» актуализируется в особо тяжелые моменты в истории страны, о чем свидетельствуют, например, памятники, посвященные татаро-монгольскому нашествию[89]. Естественным образом эта идея актуализируется и в цикле сочинений о Смуте. Д.И. Антонов, тщательно рассмотревший эту мифологему в произведениях первой трети XVII в., отмечал: «В “Истории” Авраамия Палицына, “Временнике” Ивана Тимофеева, “Ином сказании”, “Плаче о пленении”, “Новой повести о преславнем

---

[85] *Успенский Б.А.* Избранные труды. М.: Гнозис, 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 78.

[86] См. подробнее: *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. С. 82–94.

[87] См. подробнее: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 174–206.

[88] *Мильков В.В.* Осмысление истории в средневековой Руси. Изд-е 2-е, испр., доп. СПб.: Алетейя, 2000. С. 49.

[89] См., например: *Рудаков В.В.* Восприятие монголо-татар в летописных повестях о нашествии Батыя // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 2000. Сб. 10 / отв. ред. М.Ю. Люстров. С. 135–175.

Российском царстве” и других памятниках начала XVII в. события Смуты неизменно трактуются как Божья казнь»[90]. При этом к «старинному положению о казнях Божьих» добавляется «новый образ социума, который своим соглашательством и молчанием довершает всеобщее преступление»[91].

Иной взгляд на ведущие топосы в цикле сочинений о Смуте излагает итальянский славист Рикардо Пиккио. По мнению ученого, в Смутное время произошел возврат к литературным традициям. «Если исключить новаторские “вирши”, письменные сочинения Московии во время и сразу после польских нашествий, — писал исследователь, — исповедуют древнейшие идеалы и традиционные стилистические нормы долгого православного славянского средневековья. <…> Их основной мотив — искренний патриотизм, основанный на религиозном чувстве, который воодушевлял поколения прошлых веков. Писатели выступают против поляков, против католиков, против их союзников внутри страны. <…> Их форма близка к известным риторическим моделям со старой техникой цитат и библейских отсылок, а также призывов к защите наследия предков и святой православной Руси»[92]. На основе анализа «Новой повести о преславном Росийском царстве», «Плача о пленении и о конечном разорении превысокого и пресветлейшего Московского государства» ученый приходит к выводу о том, что одним из главных мотивов в рамках «религиозно-патриотической интонации», «главной для эпохи польских вторжений»[93], является «возврат к представлению о Церкви как высшем синтезе традиции предков»[94].

Не отрицая наличия в цикле всех изложенных выше топосов, М.А. Коротченко отмечает, что все писатели Смуты уделяли «беспримерное по масштабности внимание… внутреннему миру человека. Внутренний конфликт между поведением героев и их тайными помыслами становится движущей силой истории, первопричиной войн и разделений»[95]. Книжники, писавшие о Смуте, «всегда ставят в основу своих историко-философских систем понятие “разделение”, через разделение характеризует Иван Тимофеев царскую власть, через разделение показывает смерть автор “Иного сказания”»[96]. Отсюда вытекают и два главных мотива в сочинениях первой трети XVII в. — своеволия и

---

[90] *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 40–41.
[91] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 580.
[92] *Пиккио Р.* История древнерусской литературы. М.: Кругъ, 2002. С. 248–249.
[93] Там же. С. 252.
[94] Там же. С. 250.
[95] *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени. С. 155.
[96] *Коротченко М.А.* Публицистика Смутного времени... С. 47.

«внутреннего тайного разделения между помыслами и поступками», которые неизбежно находят реализацию в истории[97].

Итак, памятники первой трети XVII в., отразившие события 1598–1613 гг., представляют собой огромный литературный цикл, подчиненный одной главной теме — теме Смуты. Он складывался на протяжении трех десятилетий и, как следствие, неоднороден с точки зрения жанрового состава[98]. Его специфической особенностью является то, что в нем, в отличие от других циклов, наблюдаемых в литературе Древней Руси, главным структурообразующим элементом является не какая-то определенная святыня, или одно событие, или один-два героя, связанные со святыней или с конкретным событием, а довольно продолжительный временной отрезок в истории Московского государства. Единство памятников о Смуте, созданных непосредственно в годину испытаний и написанных в последующие два десятилетия, как цикла обусловлено наличием в них сквозных тем, идей, мотивов. Среди важнейших, постоянно повторяющихся на протяжении всего цикла идей и вопросов, над которыми задумываются книжники, — идея «Божьего батога» и идея «богоустановленности царской власти», патриотизм, основанный на религиозном чувстве. Стремление книжников первой трети XVII в. установить и осмыслить причины Смуты приводит к тому, что сквозь весь цикл проходят топосы роковой вины царей и самозванцев, греха и покаяния. Переживание событий 1598–1613 гг. как трагической страницы в истории Московского государства нашло отражение и в сквозном мотиве безысходности, и в теме трагедии городов земли Русской, которая предстает под пером очевидцев и участников Смуты как трагедия людей и составляет отдельный цикл внутри макроцикла.

3. Роковая вина царей и самозванцев: истоки

Одной из важных сквозных тем в цикле сочинений о Смуте является тема роковой вины царей и самозванцев. В большинстве памятников главным виновником Смуты объявлялся Борис Годунов, и лишь немногие книжники, осмысляя причины династической катастрофы в связи со смертью последнего представителя рода Рюриковичей, бездетного царя Федора Ивановича, повлекшей за собой череду «незаконных», «не сущих» царей, обращали свой взор в прошлое. Во многом это было связано с изменением отношения писателей первой трети XVII в. к пониманию человека и, соответственно, с изменением приемов изображения исторических личностей. Отказавшись от принципа

[97] О реализации этих мотивов в «Новой повести о преславном Росийском царстве», «Сказании» Авраамия Палицына, «Временнике» Ивана Тимофеева см. подробнее: *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени. С. 150–203.

[98] См. главу 3 Жанровые конфронтации: в поисках новых форм запечатления.

«абсолютизации»[99], «абстрагирования, когда герой был либо праведником, либо грешником»[100], книжники открыли живого человека, которого «нельзя уложить в привычную схему»[101], и, как следствие, стали описывать сложные, порой отдаленные по времени причинно-следственные связи между поступками царствующих особ и их влиянием на судьбу страны, хотя и не без постоянной отсылки к идее Божьего промысла. Немногие из авторов, отразивших события 1598–1613 гг., говорили о том, что наказание в виде Смуты, постигшее Московского государство, было послано не только потому, что на царство «наскочи» Борис Годунов, но и за грехи Ивана Грозного.

«Яростивый» царь Иван Грозный[102]. Одним из книжников, решившихся «исповедати» «злотворная» и «добрая» «без прилога» [Временник, с. 63][103], был приказный дьяк Иван Тимофеев.

«Временник» открывается «риторической похвалой»[104] Ивану IV. Царь удостаивается высоких поэтических эпитетов, значение которых усиливается приставкой *пре-* и обобщающим местоимением *всех*: «превысочайшаго во-истинну и преславнейша всех бывших… паче же во благочестних над всеми пресветлыми» [Временник, с. 10]; «Иванна, превеликого царя» [Временник, с. 16]. Данный способ усиления звучания эпитета проявляется и в конце памятника, где Тимофеев, подводя итог своему писанию, кратко повторяет ведущие характеристики царей и лжецарей. Вместо «Грозный» он употребляет здесь эпитет «Всегрозный» [Временник, с. 150]. Другой постоянный эпитет, сопровождающий в памятнике образ Ивана IV, — «благочестний», «благочестивый»: «во *благочестних* над всеми пресветлыми» [Временник, с. 10]; «паче же сроднаго естества причтеся по *благочестии* преже его благоверным бывши; *благочестивых благочестивнейши*» [Временник, с. 11]. Его благочестие подобно благочестию его предков, от них он воссиял, «яко утренняя от солнца восходит заря» [Временник, с. 11]. Твердость царя в вере («самоизвольную его о вере твердость известную» [Временник, с. 16], «за непоколебимое веры столповиднаго его стояния» [Временник, с. 17]) оценивается как положительное качество, отличающее истинного царя всея Руси от неистинного. В «Зачале» снова повторяется эта характеристика: «благочестию твердый рачитель»

---

[99] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. 3-е изд. М.: Наука, 2006. С. 14.

[100] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 355.

[101] *Державина О.А.* Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском // Ученые записки МГПИ. Каф. рус. лит. М.: МГПИ, 1946. Т. 7, вып. 1. С. 30.

[102] В основе этого подраздела — переработанный материал нашей статьи, см.: *Туфанова О.А.* Образ Ивана Грозного во «Временнике» Ивана Тимофеева // Альманах современной науки и образования. Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы: в 3 ч. Тамбов: Грамота, 2008. Ч. 2 (9). С. 218–221.

[103] Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной; под ред. члена-корреспондента АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. 509 с. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[104] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 17.

[Временник, с. 150] — и усиливается информацией о том, что вслед за отцом он под конец жизни принял иночество: «…временное царствие в конец жизни си един по едином, вторый по первом, иночеством измениша обои» [Временник, с. 150]. В этой связи оказывается важным и толкование имени «Иоанн» в тексте: «благодатноименнаго царя» [Временник, с. 11], «Благодати же соименный» [Временник, с. 150].

Иван IV предстает в повествовании царем-воином. Правда, Тимофеев нигде в памятнике не говорит о военных заслугах царя, даже не упоминает о них, но в тексте встречаются косвенные указания на эту отличительную черту. Тимофеев сравнивает славу и величие Ивана Грозного со славой и величием Александра Македонского: «…яко же Макидон некогда, вселенней царствуя…» [Временник, с. 10]. Говорит о том, что Иван Грозный отвоевывал города и земли у других народов и присоединял к своему царству. Его противники — и враги, и соседствующие с Русской землей государства — постоянно ощущали нависший над ними меч: «…егда он жизньствова, тем во мнозех сопротивен бе отъятием градом их, прибавлением же к своему его царьствию; мечь бо десница его с воздуху долу не туне свожашеся на противныя, ниже престая ощути» [Временник, с. 15]. Те же образы использует дьяк и в финальной характеристике царя: так же упоминается ужасающий противников меч, так же сравнивается Иван Грозный с Александром Македонским, так же подчеркивается его непобедимость, непреклонность к врагам, так же царь именуется собирателем Русских земель. При этом Тимофеев отмечает, что крепость в бранях, присущая Грозному, сочетается с мудростью: «…крепок во бранех и мудроумен зело о всех, во всем роде своем изряден быв премудростию, и в силах могутства яко необорим, к варваром в спротивствах земных непреклонен бывая, и в неправдах их мститель неумолим» [Временник, с. 150].

Таким образом, в начале памятника Иван Тимофеев создает привычный для древнерусского читателя образ мудрого и мужественного правителя, получившего свою власть от Бога.

Аналогичным образом характеризует Ивана Грозного и автор второй редакции Хронографа. Д.С. Лихачев первым обратил внимание на то, что изначально в этом памятнике «Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя»[105]. Слагаемый автором Хронографа панегирик имеет много общего с похвалой Ивана Тимофеева: «Онъ же убо имый разумъ благообыченъ, и бысть зѣло благоуменъ, еще же и во бранѣхъ на сопротивныя искусенъ, великъ бѣ въ мужествѣ, и умѣа на рати копіемъ потрясати, воиниченъ бо бѣ и ратникъ непобѣдимъ, храбросердъ же и хитръ конникъ; той убо варварскія страны аки молнія борзо обтече. и вся окрестныя устращи, и прегордыя враги покори. Бысть же и во словесной премудрости риторъ, естествословенъ, и смышленіемъ

[105] Там же. С. 15.

быстроуменъ, доброзраченъ же и благосердъ въ воинствѣ, еще же и житіе благочестиво имый. и ревностью по Бозѣ присно препоясася, иже благонадежныя побѣды мужествомъ окрестныя многонародныя царства пріятъ, Казань и Астарахань, и Сибирскую землю»[106]. При этом автор Хронографа особо обращает внимание на то, что характер и поведение правителя во многом зависят от обстоятельств его личной жизни. Воздав хвалу супруге царя Анастасии Романовне[107], автор отмечает, что именно она «наставляла» и «приводила» Ивана Грозного «на всякія добродѣтели»[108].

Светлый образ царицы Анастасии Романовны, украшенной «душевными добродетельми» [Временник, с. 18], избранной царем от «своея земли», рисует и Иван Тимофеев во «Временнике» и так же, как автор второй редакции Хронографа, показывает, что ее образ просветляет и образ грозного царя. Ранимым и человечным предстает царь в сцене оплакивания смерти младенца Димитрия в лавре преподобного чудотворца Никиты в городе Переяславле: «…горькими рыданьми своего вопля плачь… возвышенными гласы бедне… неприкладную… печаль по бозе нам возложиша всю» [Временник, с. 21]. Рассказ открывает Ивана Грозного с неожиданной стороны: оказывается, он не только мудрый и мужественный правитель, но и человек, способный испытывать глубокие нежные чувства. Так же, как другим людям, ему ведомы душевные муки, боль, он скорбит о преждевременной кончине сына, плачет горько пред Господом и совершает совместную с супругой молитву о даровании им дитя.

Рассматривая проблему характера в исторических произведениях начала XVII в., Д.С. Лихачев справедливо отмечал: «Человеческий характер объявляется автором второй редакции Хронографа сотканным из противоречий, сложным, в известной мере “относительным”, соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка»[109]. И если «человеческий характер формируется жизнью»[110], то характер правителя, перефразируя слова Д.С. Лихачева, формирует жизнь в государстве. Автор Хронографа выводит закономерность: психологическое состояние народа и положение государства напрямую зависят от личностных качеств и поведения царя. Добрый нрав Ивана Грозного в начале правления способствовал укреплению и процветанию царства, пребыванию народа в состоянии ликования и радости: «И тако Рускія земли держава пространствомъ разливашеся и народи веселіемъ ликоваху и

---

[106] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869. С. 183.

[107] Царица Анастасия Романовна (урожденная Захарьина-Юрьева) (1530/1532–1560) — первая жена царя Ивана Васильевича Грозного (1530–1584).

[108] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей... С. 182–183.

[109] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 14–15.

[110] Там же. С. 15.

побѣдныя хвалы къ Богу возсылаху: царская бо храбрость и мужество его — земли свѣтлость, и народомъ живущимъ на ней — великая радость»[111].

Перемена, произошедшая в характере Ивана Грозного после смерти супруги Анастасии Романовны, явила собой «живой пример» «“совращения” доброго нрава на злой»[112]: «не вѣмъ како превратися многомудренный его умъ на нравъ яръ, и нача сокрушати отъ родства своего многихъ, такоже и отъ велможъ синклитства своего <…>. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во единомъ градѣ едины люди на другія поусти, и прочая опричиненныя нарече, другія же собственны себе учини, земщиною нарече. И сицевыхъ ради крамолствъ сына своего болшаго царевича Ивана, мудрымъ смысломь и благодатію сіяюща, аки недозрѣлый гроздъ дебелымъ воздухомъ отрясе, и отъ вѣтви житія отторгну, о немъ же нѣціи глаголаху, яко отъ отца своего ярости пріяти ему болѣзнь, отъ болѣзни же и смерть, въ лѣто 7089 Ноября въ 19 день»[113].

В характеристике Ивана Грозного автор второй редакции Хронографа прибегает, по меткому наблюдению Д.С. Лихачева, к распределению добродетелей и злодейств по времени царствования[114] и, добавим, связывает с обстоятельствами личной жизни[115]. При этом, прямо не говоря о вине Ивана Грозного в событиях Смуты, автор Хронографа протягивает невидимые нити из прошлого в настоящее. Угасание и в итоге прерывание династии Рюриковичей берет истоки в деяниях Ивана IV.

Точно так же, как автор Хронографа, Иван Тимофеев, отдав дань уважения Грозному как истинному царю всея Руси, далее переходит к описанию его вины перед людьми и государством. Риторическая похвала сменяется резкой критикой царя, в правлении которого видятся Ивану Тимофееву истоки Смуты, а сам образ «превысочайшаго… и преславнейшаго всех бывших царей» [Временник, с. 10] «превращается под его пером в “венценосного злодея”»[116].

За что осуждает Ивана Грозного писатель? Что ставит ему в вину? Прежде всего, «удобоподвижность к злобе». В юности, пишет Тимофеев, Иван Грозный часто пребывал в состоянии гнева и чрезмерной ярости, не знающей милосердия. Страницы глав, посвященных царю, пестрят эпитетами «пламенна гнева» [Временник, с. 11], «ярость

---

[111] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей... С. 183.
[112] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 15.
[113] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей... С. 183.
[114] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 16.
[115] Любопытно, что Н.М. Карамзин, очевидно, вслед за Хронографом, дает аналогичную трактовку. Завершая рассказ о похоронах царицы Анастасии Романовны, он пишет: «Иоанн шел за гробом: братья, князья Юрий, Владимир Андреевич и юный царь казанский, Александр, вели его под руки. Он стенал и рвался: один митрополит, сам обливаясь слезами, дерзал напоминать ему о твердости христианина… Но еще не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу! Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только супруги, но и добродетели…». См.: *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1997. Т. V–VIII. С. 563.
[116] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 358.

гнева» [Временник, с. 13], «зельныя ярости» [Временник, с. 11], «во гневе презельныя» [Временник, с. 11], «без милосердия его ярости» [Временник, с. 11] и т. д. Эпитет практически «срастается» с именем Ивана Грозного в тексте. Пытаясь установить причинно-следственные связи между характером исторической личности и его поведением, Тимофеев дает вполне реалистическое объяснение ярости царя: «к ярости удобь подвижен бе, купно по естеству и за гнев» [Временник, с. 11], т. е. причины частого гнева царя — природная склонность к злобе и грехи подчиненных. Подобного объяснения не знала литература предшествующего периода развития: поведение человека в письменности Древней Руси объяснялось влиянием «горнего мира», Божьим промыслом или дьявольским умыслом. Здесь же мы встречаем попытку объяснить характер человека добродетелями и пороками, присущими человеку от рождения, являющимися отличительными чертами его индивидуального характера.

Одержимый приступами ярости, Иван Грозный, по мысли Тимофеева, возненавидел города земли своей и разделил людей, одних приблизив, других изгнав и казнив: «От умышления же зельныя ярости на своя рабы подвигся толик, яко возненавиде грады земли своея вся и во гневе своем разделением раздвоения едины люди раздели и яко двоеверны сотвори… и всю землю державы своея, яко секирою, наполы некако разсече» [Временник, с. 11–12]. Лексические повторы, используемые писателем, такие, как «земли вся», «всю землю» и «разделением – раздвоения – раздели – разсече», а также «зельныя ярости – во гневе», не следует рассматривать как признак невладения художественным мастерством. По наблюдениям О.А. Державиной, «язык “Временника” Тимофеева — очень сложен»[117]: писатель использует различные виды иносказаний, приемы игры слов, нанизывания одного слова на другое, внутрифразовые рифмовки, многие его предложения начинаются с череды придаточных и т. д. Здесь же мы имеем дело с намеренным стилевым приемом, цель которого — создать эффект катастрофичности содеянного царем Иваном Грозным в Русской земле. Путем лексических повторов Тимофеев проводит своеобразный словесный гипноз, стараясь убедить читателя в том, что именно Иван Грозный положил начало русской Смуте.

Одним их неблаговидных поступков, ярко характеризующих царя, стало разорение Новгорода. Тимофеев с болью в сердце пишет, что «яростивый царь» [Временник, с. 15] «упоил бо всю землю мою кровми, различными муками вся люди моя умучая, нетокмо сушу покры, но и водное естество ими згусти» [Временник, с. 13]. Писатель и в данном фрагменте использует прием лексических повторов («всю» – «вся»; «муками умучая») с

[117] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник» // Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной / под ред. члена-корреспондента АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. С. 405.

той же целью создания масштабности трагедии, переживаемой теперь уже отдельно взятым городом. Дальнейшее повествование усиливает изобразительный эффект: «Яко всяко место телес наполнися падших ото убивающих рук, до толика бе, яко не мощи пожирати трупия мертвых всея твари животным, яже по земли рищущим, и яже в водах плавающим, и яже по воздуху парящим» [Временник, с. 13]. Ряды однородных членов, раскрывающие понятие «всея твари животным», контрастно оттеняют заявленную в начале фразы метафору «яко всяко место телес наполнися падших». Завершает эпизод числовой мотив, ставящий финальную точку в эпизоде гибели жителей Новгорода: «не бе возможно… кому от земных количество погубления людей исчести» [Временник, с. 14], их же число — общее число погибших, «сожранных» птицами и животными, оставшихся непогребенными, — только Божий суд объявит.

Будучи «разжен… яростию» [Временник, с. 23], Иван Грозный поверил клевете и уничтожил всю семью своего брата — князя Владимира Андреевича Старицкого: «порази брата си напоением смертным купно з женою и с сыном: вси принуждены быша испити смертные горести чашу от повеления руки его» [Временник, с. 23]. Верный принципу иносказательности, Тимофеев использует в рассказе о гибели князя Старицкого и его близких сразу два символических образа: традиционный для средневековой литературы образ «смертной чаши» и образ льва, применяемый в памятнике весьма индивидуально. Последний является во «Временнике» символом лжецарей. Первым в галерее лжецарей, сравниваемых со львом, пред взором читателя предстает Борис Годунов: «сий убо по естеству лев» [Временник, с. 39]; «яко комар лва не дошед порази», — говорит Тимофеев о свержении Бориса самозванцем [Временник, с. 83]. Льву уподобляется и Гришка Отрепьев: «по сем воста от ложа своего скимен лют» [Временник, с. 83]; «скимен злый иже священно- и мнихоругатель Гришка Розстрига» [Временник, с. 94]. Символом же истинных правителей в памятнике был образ «инорога»[118]. Но в рассматриваемом фрагменте мы имеем дело с неожиданным сравнением: не распознавший лукавого умысла и поразивший своего брата Иван Грозный сравнивается именно со львом. В данном случае очевидно сближение образа царя, упрекаемого писателем в казни родственника[119], с отрицательными образами самозванцев по степени злобности и характеру преступлений. Снижение высокого образа происходит за счет использования нетипичного для описания истинного правителя символического сравнения, значение которого проясняется не мгновенно, а только после прочтения всего произведения. Страдали от «пламенна гнева» царя не только подчиненные, дальние родственники, но и сыновья Ивана Грозного. Так, «моленный» сын Грозного — Иван Иванович — был «троебрачен», и не потому, что его жены умирали «в

[118] Подробнее о символах льва и «инорога» см.: Глава 5.
[119] См.: *Державина О.А.* Историческая повесть первой трети XVII века... С. 404.

мужестве лет», а потому, что «за гнев еже нань они свекром своим постригаеми суть» [Временник, с. 19].

Надо заметить, что устрашал людей не только сам царь, но и его верные воины-опричники. Описание их под стать описанию самого царя. Согласно тексту, «яростивый царь» [Временник, с. 15] Иван Грозный и по отношению к «сопротивным», и особенно по отношению к «присноверным» был «суров» и «неприступен» [Временник, с. 11]. Он был настолько «страшен всем» [Временник, с. 16], что мог бы «страхом своея власти», если бы захотел, в людях «о вере немужество обнажити» [Временник, с. 16]. Таковы и опричники: «воины тмообразны… вся от главы и до ног в черное одеяние облек, сообразны же одеждам их и коня им своя имети повели… яко нощь темна» [Временник, с. 12–13], «от немилосердия работающе… страшаху люди» [Временник, с. 13]. Создавая образ царя, автор «Временника» показывает его в окружении слуг. Одетые во все черное, имеющие черных коней, немилосердные, они внушали подданным не меньший ужас, чем сам «неприступный» царь. «По всему воя своя вся яко бесоподобны слуги сотвори» [Временник, с. 13] — заключает их характеристику и через них косвенную характеристику царя Тимофеев.

Таким образом, и автор второй редакции Хронографа, и дьяк Иван Тимофеев во «Временнике» рисуют «жизненно-противоречивую» характеристику Ивана IV, наглядно демонстрируя мысль о косвенной виновности «яростивого» царя в событиях начала XVII в. Расправа с ближайшими родственниками отчасти способствовала угасанию рода Рюриковичей, введение опричнины привело к разделению земли, появлению различных противоборствующих группировок[120]. Вместе с тем и противоречивые характеристики царя, и происходившие и во время правления Ивана Грозного, и в эпоху Смутного времени события в обоих памятниках связаны с представлением о неисповедимости путей Господних, на что применительно к «Временнику» указывал Д.И. Антонов[121].

Более отчетливо мысль о том, что именно деяния Ивана Грозного вызвали гнев Божий, звучит в псковской летописной повести «О бедах и скорбех и напастех…». Автор, не прибегая к развернутой характеристике Ивана IV, прямо обвиняет его в том, что Господь «изволившу попустити» «нѣкоего новаго Святополка Бориса»[122] [О бедах и скорбех, с. 56] на царя Федора Ивановича и царевича Дмитрия. «На отмщеніе отцу ихъ, еже сотвори много убійство безъ правды братіи своей и дяди» [О бедах и скорбех, с. 56], — так объясняет

---

[120] Обзор основных точек зрения на опричнину в отечественной историографии см.: *Бушуев С.В., Миронов Г.Е.* История государства Российского: в 2 кн. М.: Книжная палата, 1991. Кн. 1: IX–XVI вв. С. 261–267.

[121] *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 130.

[122] О бедах и скорбех и напастех… // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 55–62. Здесь и далее текст повести цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

автор псковской повести организованное, согласно тексту, Борисом Годуновым убийство царевича Дмитрия и царя Федора Ивановича: «преже беззлобиваго яко агнъца закалаетъ царевича Димитрія, <…> потомъ же и царя благочестиваго напаяетъ злымъ зеліемъ и ко Господу и той отъиде съ миромъ…» [О бедах и скорбех, с. 57]. Предельная лаконичность изложения подчеркивает ясность мысли: истоки событий 1598–1613 гг. восходят к преступным деяниям Ивана Грозного, именно они «вызвали Божий гнев и легли в основу Смуты, пришедшей в Россию»[123].

О «древнем змии» или Борисе Годунове[124]. Главным виновником, на которого во многих произведениях рассматриваемого цикла «возлагалась ответственность как за смерть царевича Дмитрия, так и за исчезновение с исторической сцены всей династии великих московских князей»[125], в сознании современников стал Борис Годунов.

Книжники начала XVII в., создавая портрет того или иного государственного деятеля эпохи Смутного времени, постоянно включали в повествование «интертекстуальные фрагменты»[126], восходящие к библейским сюжетам и образам. Такие «отсылочные», по определению И.Н. Данилевского, сравнения помогали выразить субъективное отношение к происходящему, дать нравственную оценку деяниям исторических лиц и событиям «как посредством нахождения у них общих черт с соответствующими персонажами и сюжетами библейскими, так и через их противопоставление»[127], соединить «единичное “сейчас” с вневременными библейскими событиями»[128].

В этом смысле весьма символично, что уже в ранних памятниках цикла (например, в «Повести 1606 года», дошедшей до нас в составе «Иного сказания») Борис Годунов уподоблялся Иуде-предателю и древнему змию.

Начиная рассказ о событиях Смуты, автор «Иного сказания» сразу же воскрешает в памяти читателя историю грехопадения Адама и Евы: «И уподобися той Борисъ древней зміи, иже прежде въ раи прелсти Евву и прадѣда нашего Адама и лиши ихъ пищи райскія

---

[123] *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 130.

[124] В основе этого подраздела — переработанные публикации наших статей, см.: *Туфанова О.А.* 1) О «древнем змии» или Борисе Годунове (на материале «Иного сказания») // Макариевские чтения. Можайск: [Б.и.], 2009. Вып. XVI: Христианская символика: Материалы XVI Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. С. 517–524; 2) Символика литературы Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 282–290.

[125] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 581.

[126] *Михайлова Т.В.* Свидетельства праведности царской власти в повестях Смутного времени // Религия и нравственность в секулярном мире. Материалы научной конференции. 28–30 ноября 2001 года. Санкт-Петербург. Вып. 20. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 210.

[127] *Данилевский И.Н.* Библеизмы Повести временных лет // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Тип. Мин-ва культуры СССР, 1997. Сб. 3 / отв. ред. А.Н. Ужанков. С. 82.

[128] *Михайлова Т.В.* Свидетельства праведности... С. 211–212.

наслажатися»[129] [Иное сказание, стб. 3]. В соответствии с литературной традицией появлению образа змия в памятнике предшествует провиденциальная мотивировка поведения персонажа: «вниде зломысленный діяволъ въ сердце тому же отъ велможъ преже реченному Борису Годунову» [Иное сказание, стб. 3]. При всей традиционности образная триада начальных фраз («зломысленный дьявол» – «сердце вельможи Годунова» – «древний змий») весьма симптоматична: если Годунов — древний змий, а змий — дьявол, вошедший в сердце Годунова, то Годунов в представлении автора — это и есть дьявол. Последнее утверждение, несомненно, требует проверки.

В Книге Бытие, в главе, раскрывающей историю грехопадения Адама и Евы, к которой адресует автор читателя, отсутствует определение «древний», которое есть в «Ином сказании», не сказано ни слова, кем был змей. В «Законе Божьем»[130], в трудах отцов церкви, например Иоанна Златоуста[131], в «Палее Толковой»[132] в комментариях к данному библейскому сюжету встречается уточнение: дьявол позавидовал райскому блаженству первых людей, вошел в образ змея и прельстил. Отдельные детали (лишение райского блаженства, вошел в змея – вошел в сердце) совпадают, но они являются все-таки косвенными указателями. Мысль о том, что змей — это дьявол, наиболее определенно выражена в «Откровении» Иоанна Богослова: «великий змии древнии, нарицаемыи диаволъ и сатана» (12: 9), «змию древнюю, еже есть диаволъ и сатана» (20: 2)[133]. Очевидно, именно этот архетипический образ древнего змия-дьявола, способного принимать любые обличия, и воскрешает в своем тексте автор «Иного сказания». Следовательно, утверждая, что Годунов «уподобися <…> древней зміи», писатель пытается убедить читателя в том, что Годунов — это дьявол.

В этом контексте типичная речевая формула «вниде зломысленный діяволъ въ сердце» приобретает дополнительный смысловой оттенок. В Евангелии от Матфея сказано: «от *сердца* (выделено нами. — *О.Т.*) бо исходятъ помышления зла, оубийства, прелюбодеяния, любодеяния, татбы, лжесвидетельства, хулы, и я суть скверняшаа

---

[129] Такъ называемое Иное сказание // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 1–144. Здесь и далее текст «Иного сказания» цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и столбцы.

[130] «Диаволъ завидовалъ райскому блаженству первыхъ людей и задумалъ лишить ихъ райской жизни. Для этого он вошелъ въ змия и спрятался въ ветвяхъ дерева познания добра и зла» // Законъ Божий для семьи и школы / сост. Протоиерей Серафимъ Слободской. Репринт. изд-е Николо-Волосовского монастыря, 1999. С. 128.

[131] *Иоанн Златоуст.* Беседа XVI. О падении первозданных // Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского избранные творения. Беседы на Книгу бытия. Т. 1. Репринтное издание. М.: Издат. отдел Московского Патриархата, 1993. С. 126–137; Иоанна архиепископа Златоустаго слово в великий вторник // Успенский сборник XII–XIII вв. М.: Наука, 1971. С. 319.

[132] Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н.С. Тихомирова. М.: Тип. О. Гербека, 1892. Стб. 144–145.

[133] Библия. Острог, 1581.

человека» (15: 19, 20)[134]. Те же два образа употребляет и автор «Иного сказания». «Зломысленный діявол» вошел в сердце Годунова, «осквернил» его, и с этого момента мотив зломыслия (злого умышления) становится одним из ведущих в характеристике Годунова: «умышляетъ злоковарными своими умышленіи» [Иное сказание, стб. 5], «Борисова злаго запрещенія» [Иное сказание, стб. 12], «зломысленный пронырь лукавый» [Иное сказание, стб. 12], «его злаго и лукаваго промысла» [Иное сказание, стб. 13] и др. Налицо довольно устойчивая параллель: зломысленный дьявол – зломысленный Годунов.

Другим ведущим мотивом, тесно связанным с мотивом зломыслия, является мотив прельщения. Он впервые появляется в тексте в характеристике деяний змия — «прелсти» — и выявляется в дальнейшем в повествовании благодаря многочисленным повторам. Однако если в библейском тексте прельщение означало искушение, то в «Ином сказании» мотив прельщения оказывается многозначным. Прежде всего, «прельщение» толкуется как «лесть», с помощью которой Годунов многих бояр и дворян превратил в своих союзников, совратив «с истинного пути все высшие чины иерархии»[135]: «Тако же сій Борисъ нача прелщати многихъ <…> боляръ и дворянъ, такоже и отъ властей и отъ гостей многихъ прелестію присвоивъ къ себѣ» [Иное сказание, стб. 3–4]. Второе значение «прельщения» в тексте — подкуп: «овыхъ дарми преодолѣхъ» [Иное сказание, стб. 4]. Третье значение — угрозы, запугивание: «а иныхъ прелщеніемъ, аки змій свистаніемъ, угрози» [Иное сказание, стб. 4]. Повторное упоминание змея в данном контексте свидетельствует о том, что автор вполне осознанно и намеренно проводил сопоставление Бориса Годунова с древнейшим библейским образом.

В то же время выбор образа змия в качестве ведущего символа при изображении Годунова вполне может быть обусловлен и широко распространенными на Руси народными представлениями о душегубце-змии, отличительной чертой которого была способность свистеть. Не случайно фраза «аки змій свистаніемъ, угрози» в той или иной степени обнаруживается в целом ряде фольклорно-литературных источников. Так, в памятнике «Чудо, бывшее с святымъ великомученикомъ Георгиемъ о змии» с этим образом тесно связан мотив смерти: «змий великъ <…> людей града того изъядаше. Инѣхъ же свистаниемъ уморяше, другихъ же удавляя восхищаще въ езере»[136]. Характеристика «страшен» («Змий есть страшен»), упоминание ужасающего, смертоносного свиста («свистаниемъ уморяше <…> се бо змий свища грядетъ») встречаются и в другом

[134] Там же.

[135] *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени... С. 55.

[136] Текст цит. по: Чудо, бывшее с святымъ великомученикомъ Георгиемъ о змии // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 5: XIII век. С. 448.

древнерусском памятнике — в «Послании» Даниила Заточника: «Яко же бо змии страшен свистанием своим, тако и ты княже нашъ, грозенъ множествомъ вои»[137].

Согласно народным представлениям, свист влечет недобрые, демонические, часто губительные последствия. Отчетливо это видно в народных приметах: «не свисти в ключ — потеряешь память», «не свисти там, где сидит на яйцах наседка, — цыплята замрут», «не свисти в избе — все высвищешь». У моряков, согласно наблюдениям А.Н. Афанасьева, существовало поверье о том, что свистом можно вызвать сильную бурю; в быличках часто встречаются сюжеты о мести водяных свистунам — водяной лодку опрокидывает, а пловца топит[138]. Существовали запреты на свист в избе — иначе от дома отвернется Богородица; запреты на свист в поле во время весеннего сева — иначе зерно будет вывеяно ветрами[139]. Наконец, в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» трижды описывается губительное воздействие свиста Соловья-разбойника на природу:

А то свищет Соловей да по соловьему,
Ён крычит злодей-разбойник по-звериному,
И от него ли-то от посвисту соловьего,
И от него ли-то от покрику звериного,
То все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки отсыпаются,
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертвы лежат[140].

городские строения, людей:

Засвистал как Соловей тут по-соловьему,
Закрычал разбойник по-звериному,
Маковки на теремах покривились,
А околенки во теремах рассыпались
От него от посвисту соловьего
А что есть-то людюшок, так вси мертвы лежат[141].

---

[137] Послание Данила Заточенаго к великому князю Ярославу Всеволодичю // Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII вв. / сост. Н.К. Гудзий, коммент. А.М. Ранчина. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 142.

[138] *Афанасьев А.Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М.: Изд-е К. Солдатенкова, 1865. Т. I, глава VI: Гроза, ветры и радуга. С. 308.

[139] Там же.

[140] Былина «Илья и Соловей» цит. по: Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия для филол. фак-тов пед. ин-тов / под ред. проф. Н.И. Кравцова. М.: Просвещение, 1971. С. 171.

[141] Там же. С. 176.

Довольно устойчиво в разных вариантах былины свист связан с мотивами смерти и разрушения, онемения человеческого тела: «бивал свистом за двенадцать верст»; «Ой еси ты, Илья Муромец, — молит князь Владимир богатыря, — уйми ты Соловья-разбойника, не можно мне от ево свисту в тереме ни стоять, ни сидеть». Так или иначе во всех источниках змей выступает либо прямо, либо опосредованно демоническим существом, устрашающим людей и несущим своим свистом гибель. То же самое наблюдается и в тексте «Иного сказания»: те же мотивы устрашения, смерти, вводимые через образ змия. Вероятно, в данном случае следует говорить о многоуровневом подтексте символа змия в памятнике с несомненной доминантой семантики библейского образа.

К этой мысли подводит и сходство характеристик змия в Библии и Бориса Годунова в «Ином сказании». В Книге Бытие, во фрагменте, описывающем грехопадение, о змии говорится, что он «был хитрее всех зверей полевых» (Бытие 3: 1). В «Ином сказании» эпитеты «лукавый», «злохитрый» постоянно сопровождают имя Годунова: «умысли лукавствомъ своимъ» [Иное сказание, стб. 4], «лукавая уста своя» [Иное сказание, стб. 5], «лукавый Борисъ» [Иное сказание, стб. 6], «имелъ нравъ лукавъ и пронырливъ» [Иное сказание, стб. 12], «восхищаетъ царство лукавствомъ» [Иное сказание, стб. 14], «Онъ же лукавый» [Иное сказание, стб. 15] и т. д., что вполне соответствует библейской характеристике змея, поскольку одно из значений слова «хитрость» в древнерусском языке — «лукавство, обман»[142], глагол «хытрити» означал «обманывать»[143], многозначное прилагательное «лукавый» имело ряд сходных отрицательных значений — «ложный, лживый», «дурной, злой, коварный»[144].

Таким образом, все три ведущих мотива — зломыслия, прельщения, лукавства и хитрости — восходят к тексту Священного Писания и определяют первичную семантику символа змия в памятнике.

Третий раз образ змия появляется в тексте, когда автор переходит к подробному рассказу о деяниях Годунова: «И паки нача отверзати лукавая уста своя и изблева, яко змія, смертоносный ядъ свой» [Иное сказание, стб. 5]. С этого момента в повествование прочно входит еще один важнейший мотив в характеристике Годунова — мотив смерти. Он получает свое развитие в яркой оценочной характеристике — «окаянный святоубійца» [Иное сказание, стб. 6]. Описывая историю гибели царевича Дмитрия и акцентируя внимание читателя на причастности Годунова к ней, автор «Иного сказания» насыщает художественное пространство дополнительными символами, восходящими к Священному

---

[142] *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1912. Т. III: Р – Я. Стб. 1429.

[143] Там же. Стб. 1427.

[144] *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1902. Т. II: Л – П. Стб. 51.

Писанию. Царевич Дмитрий уподобляется в тексте «богоизбранному царскому корню» [Иное сказание, с. 6], «младорастущей и краснорасцветаемой ветви», «несозрелому классу», «агнцу» [Иное сказание, стб. 7], «солнцу» [Иное сказание, стб. 9]. Дважды в тексте автор приводит развернутое сравнение поступка Бориса с предательством Иуды: «Воставаетъ предатель, яко Іюда Искаріоцкій на учителя своего Іисуса Христа Сына Божія, такоже и той Борисъ вооружается убійствомъ на государя своего царевича князя Дмитрея» [Иное сказание, стб. 6]; «о лукавый Борисе, вторый Іюдо предателю» [Иное сказание, стб. 9]. Обращаясь в данном случае к традиционным библейским образам и вспоминая один из трагических моментов русской истории — убийство Святополком окаянным братьев Бориса и Глеба[145], автор таким способом «маркирует» на шкале ценностей поступок Годунова. Традиционные светлые образы, применяемые по отношению к царевичу Дмитрию, оттеняют трагическую тему «святоубийства» в тексте. Не случайно для описания убийства царевича и для выражения личного отношения к свершившейся трагедии автор использует довольно разнообразную лексику: от слов с прямым значением, содержащих в своей основе лексемы «смерть», «убийство» («вооружается убійствомъ» [Иное сказание, стб. 6], «предати смерти» [Иное сказание, стб. 7], «смертоноснаго яда вкушеніе <…> посылая» [Иное сказание, стб. 7], «смерти предаша» [Иное сказание, стб. 8] и др.), до метафорической глагольной лексики: «отторгнути», «пожати», «заклати» [Иное сказание, стб. 7] — и даже целого каскада риторических вопросов: «почто еси погубилъ младенца незлобива, паче реку, государя своего? кую ти досаду сотворилъ, или чимъ тебѣ оскорбилъ?» [Иное сказание, стб. 9–10].

По замечанию автора, Борис Годунов верно угадал свое время: «узнаючи къ погубленію его время» [Иное сказание, стб. 6]. Его деятельность в изображении составителя не отличается многообразием; по сути, единственное, о чем довольно подробно в разных фрагментах памятника повествует автор, — это всякого рода убийства. Так, описывая движение Годунова к власти, составитель вспоминает о том, что «лукавый Борисъ» князя Ивана Петровича «злою нужною смертію уморити» [Иное сказание, стб. 6], так же он поступил и с князем Андреем Ивановичем: «уморити смертію нужною» [Иное сказание, стб. 6]. Князя Василия Ивановича Шуйского и «единокровныхъ его братію» по разным городам «разосла <…> въ заточеніе» [Иное сказание, стб. 6]. Многих посреди града «казнити повеле», «женъ осиротилъ и дѣтей опустошилъ», дома казненных «въ расхищеніе предложи» [Иное сказание, стб. 6]. В данном случае и самая насильственная смерть, и ссылка, и сиротство, и расхищение имущества уравниваются и становятся материальным выражением «смертоносного яда», который «изблева» Годунов.

[145] Борис Годунов именуется в тексте вторым «Свѣтополче по святоубійству» [Иное сказание, стб. 9].

Начав свой путь к власти убийствами, «восхитив» «царство лукавствомъ» [Иное сказание, стб. 14], Годунов и во время своего правления не изменяет однажды выбранному принципу: «много боляръ и велможъ и воеводъ розсылая по далнымъ и рознымъ городомъ и злыми разными смертьми умерщвляя и родъ царский искореняя» [Иное сказание, стб. 16]. Картина мести Годунова жителям «Комарицкія волости» [Иное сказание, стб. 34] за то, что они оказали поддержку Лжедмитрию I, создана с апокалипсическим размахом и во многом напоминает описания деяний войск Батыя в литературе периода татаро-монгольского нашествия: «жителей Комарицкія волости <…> повеле <…> всехъ православныхъ христіянъ посѣтчи отъ мала и до велика, а иныхъ всякими различными муками умучити» [Иное сказание, стб. 34]. Фразой, организующей дальнейший подробный рассказ о муках, принятых от Бориса жителями, становится традиционная речевая формула «гнѣва своего ярость излія» [Иное сказание, стб. 34]. Сравнение же, предваряющее рассказ о трагедии жителей Комарицкой волости («яко же и иноплеменницы поганіи языцы тако не могутъ творити» [Иное сказание, стб. 34]), демонстрирует не столько жестокость Годунова, сколько иную — нечеловеческую — природу злобы и установки на смертоносность деяний Бориса.

Мотив смерти получает в этом эпизоде широкое развитие: «многимъ разнымъ мученіемъ безъ милости умучи и горькимъ убійствомъ убивая не токмо мужей, но и женъ, и безлобивыхъ младенецъ, ссущихъ млеко, и поби отъ человѣка и до скота. И имѣнія ихъ расхищена быша, и домове до конца разорены быша и огнемъ пожжены; вся въ прахъ преврати» [Иное сказание, стб. 34–35]. Под смертью понимаются и мучения людей, и убийство всего живого (от человека до скота), и расхищение имущества, и разорение и сожжение домов. Тавтологические повторы [«муками умучити», «мучениемъ <…> умучи», «убійствомъ убивая»], речевые формулы размаха, масштабности [«всехъ <…> отъ мала и до велика», «отъ человѣка и до скота»] и, наконец, упоминание «праха», в который превратилось все и вся, рождает страшный образ «царюющего неправдою» Годунова. Тем, кто распускал слухи о том, что к Москве идет не «росстрига», а чудом оставшийся в живых царевич Дмитрий, Годунов повелел «языки рѣзати», «иныхъ же многими разными муками смерти предая» [Иное сказание, стб. 38]. Автор сознательно подчеркивает, что Годунов с того момента, как дьявол «вниде» ему «въ сердце», сеет повсюду только смерть.

Трагичность мотива усиливается в тексте еще одним символическим образом, косвенно связанным с образом древнего змия. Повествуя о кровожадных, смертоносных устремлениях и деяниях Годунова, автор дважды в одном и том же предложении употребляет образ «утробы», сопровождая его отрицательными эпитетами: «И еще тою кровію и слезами не наполни ненасыщаемыя утробы своея <…> и никоторою кровію славобѣсныя утробы своея не удовли…» [Иное сказание, стб. 6]. Ненасытная жажда крови,

убийств, которую невозможно удовлетворить, — вот одна из причин лютости Годунова, одна из причин, заставляющая его воздвигать «многу вражду», предавать многих «различнымъ смертемъ» [Иное сказание, стб. 6].

Причину такого смертоносного и для прямых наследников престола, и вообще для всех граждан страны поведения Бориса автор проговаривает в рассказе о смерти царевича Дмитрия: «по немъ желая царства собѣ получити» [Иное сказание, стб. 7]. У истоков смертоносного поведения Годунова стоит жажда власти. Связь мотивов смерти и жажды власти особенно хорошо прослеживается в следующем авторском рассуждении: «явити еще вамъ хощу злаго и лукаваго злое умышленіе, изумлена о суетной славѣ міра сего и поострившаго злый ядъ свой на праведныхъ, и симъ наведе кровопролитіе всей Руской земли» [Иное сказание, стб. 10]. В этом авторском комментарии происходящих событий сходятся воедино все ведущие мотивы, характеризующие образ Годунова-змия: лукавство и злое умышление, жажда славы, смертоносный яд и смерть. Его винит автор в кровопролитии по всей Русской земле.

Совмещение мотивов можно наблюдать и в другом авторском комментарии. Рассуждая о причинах поступков Гришки Отрепьева, автор снова обращается к истории погибели первых людей. И снова в повествовании переплетаются мотивы прельщения, дьявольского умысла и жажды славы: «Яко же древле прелсти въ началѣ міра родоначальниковъ Адама и Евву отпасти райскія породы и наведе ему смерть, тако же той научаетъ и умудряетъ угодника своего ростригу; прелсти славою міра сего скоротекущаго…» [Иное сказание, стб. 42]. В данном примере слово «прельщение» получает дополнительное и весьма важное уточнение: как древний змий-дьявол «в начале мира» прельстил первых людей знанием, так и в начале XVII в. он прельстил своих угодников — Отрепьева и Годунова — «славою мира». Мотив прельщения, впервые появляющийся в начале повествования о Борисе Годунове, постепенно становится своеобразным символическим знаком всех самозванцев, претендовавших на российский престол.

Дьявольское, бесовское начало как первопричина деяний, поддерживаемое мотивом прельщения славой, неоднократно подчеркивается в тексте. Зачастую автор использует составной эпитет, соединяющий два понятия — бесовство и славу: «нача славобѣсія дыхания обуреватися» [Иное сказание, с. 4], «злораспалаемаго своего огня славобѣсія» [Иное сказание, стб. 5], «славобѣсныя утробы своея» [Иное сказание, стб. 6] и др. Именно бесовская жажда славы и власти являются, по мнению автора, первопричиной и деяний Годунова и других самозванцев, и первопричиной трагедии Смутного времени.

Об этом свидетельствуют и жанрово-стилевые совпадения текста «Иного сказания» с русским Хронографом, в ранних редакциях которого была использована греческая

хроника Константина Манассии. По мнению И.П. Еремина, В.Л. Комаровича, С.К. Шамбинаго и др.[146], именно в рассказах Хронографа о византийских узурпаторах был найден русским автором литературный образец для характеристик Годунова и Лжедмитрия I. В частности, было отмечено, что «упрощенная характеристика Годунова с помощью двух-трех повторяющихся эпитетов-сравнений»[147] восходит к рассказу Хронографа о Маврикии и Фоке, а наиболее употребительное сравнение Бориса с библейским змием обнаруживается уже в характеристике Фоки[148]. И действительно, автор «Хронографа» редакции 1512 г. именует Фоку «человѣкоубийственым зміем»[149] [Хронограф 1512 г., с. 302], вся глава 142 «Царство 62 Фоки мучителя» построена на семантике смерти: «повелѣ главы отсѣщи звѣрообразно <…> повелѣваетъ и тѣхъ посѣщи <…> вся погуби <…> оубійца <…> многи изби <…> инѣм же ноги и руки отсѣкъ <…> инѣмъ главы отсѣче, а инѣхъ <…> в море погрузи, инѣхъ же в темници затвори…» [Хронограф 1512 г., с. 302–303]. Аналогичное доминирование семантики убийства, смерти, мучения наблюдается в рассказе о Борисе Годунове в «Ином сказании».

Образ древнего змия-дьявола — символ лукавства, зломыслия, хитрости[150] — становится в «Ином сказании» своеобразным символическим знаком Бориса Годунова, искушающего власть предержащих лестью, дарами и угрозами, знаком «зломысленного» человека, в сердце которого вошел дьявол и вложил богопротивную жажду суетной славы и власти, знаком человека, изрыгающего смертоносный яд, человека, виновного в начале Смуты в Московском государстве.

«Кровоядный лвичищ» Гришка Отрепьев[151]. Если мысль о виновности Бориса Годунов и его образ раскрываются в тексте «Иного сказания» в основном благодаря одному символическому образу древнего змия, то для характеристики Гришки Отрепьева автор избирает несколько символов. Отрепьев ассоциируется и с «кровоядным лвичищем» [Иное сказание, стб. 32], и с ехидной [Иное сказание, стб. 39], и с бурей [Иное сказание, стб. 47], и с угрызающим змием [Иное сказание, стб. 53, 57], и с волком [Иное сказание, стб. 56], и с диким зверем [Иное сказание, стб. 57]. Обилие символов во многом обусловлено особым взглядом автора «Иного сказания» на историческую роль Лжедмитрия I в событиях Смуты:

---

[146] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* Литература 1590–1612 гг. // История русской литературы: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. II, ч. 2: Литература 1590-х – 1690-х гг. С. 32.

[147] Там же. С. 33.

[148] Там же.

[149] Русский хронограф (Полное собрание русских летописей. Т. XXII). М.: Языки славянских культур, 2005. 896 с. Здесь и далее текст Хронографа редакции 1512 г. цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и столбцы.

[150] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 94.

[151] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* «Кровоядный лвичищ» Гришка Отрепьев // Вестник славянских культур. 2009. № 1 (XI). С. 89–103. См. также: *Туфанова О.А.* Символика литературы Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 290–296.

«Видѣвъ же сіе всевидящее недреманное око Христосъ, яко неправдою восхити скипетръ Російския области, и восхотѣ ему отомстити пролитіе неповинныя крови…» [Иное сказание, стб. 16]. Гришка Отрепьев, по меткому выражению А.М. Панченко, выполняет роль Божьей метлы[152], он — орудие мести Господа за пролитую Борисом Годуновым кровь неповинных, но одновременно и сам «проклятый еретик» [Иное сказание, стб. 31], проливший «рѣки неповинныя христіянскія крови» [Иное сказание, стб. 32]. За каждым из символов стоит лишь одно, максимум — два значения. Но весь комплекс символов и множество их значений создают монументальный образ злодея в тексте.

Одним из центральных символов в характеристике Отрепьева является символ «кровоядного лвичища» [Иное сказание, стб. 32]. Он появляется в самом начале главы «О второй брани на Добрыницах» и сразу же поражает своей необычной для памятников первой трети XVII столетия словообразовательной формой и тесной связью с эпитетом «кровоядный». Уподобление Лжедмитрия I льву встречается во многих произведениях, посвященных событиям Смуты. Например, во «Временнике» Ивана Тимофеева — «скимен лют» [Временник, с. 83], «скимен злый <…> Гришка Розстрига» [Временник, с. 94]; в «Хронографе 1617 года»[153] — «кровояднаго лвичнаго щонка Розтриги» [Хронограф, с. 332]. Но ни в одном более памятнике не употребляется это слово с увеличительным суффиксом. Данный прием укрупняет фигуру злодея и подготавливает читателя к еще более страшной характеристике — «сатанин угодник» [Иное сказание, стб. 33]. И если в эпизоде осады города Новый Северский составитель «Иного сказания» упоминал человеческое имя противника Годунова — Гришка, Гришка Отрепьев и т. д., то в этом эпизоде автор ни разу не называет самозванца по имени-фамилии, а для именования персонажа использует исключительно оценочные метафоры. Благодаря этому приему в эпизоде рождается страшный образ врага как некоего мифического, адского существа, питающегося кровью и плотью человеческой.

К этой мысли подталкивает и тесно связанный с образом «лвичища» эпитет «кровоядный». Мотив крови, один из ведущих в характеристике Григория Отрепьева, однозначно определяет семантику символа «лвичища». Лжедмитрий I со своими воинами-«зверями» «яко на бракъ, на кровопролитіе тщится, лакати крови христіянскія и поядати плоти человѣческія» [Иное сказание, стб. 32]. Он охватывает практически весь ряд сюжетных положений рассказа о битве. Открывая эпизод битвы при Добрыницах, мотив

---

[152] *Панченко А.М.* Литература первой половины XVII столетия. Агитационная письменность Смутного времени // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. URL: http://panchenko.pushkinskijdom.ru (дата обращения: 20.08.2019).

[153] Из хронографа 1617 года // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 318–357. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

крови является своеобразным средством мотивации действий и московских воевод, и московского войска, а через нее — и средством оценки деяний Лжедмитрия I. Так, Шуйский «не мога видѣти крови проливаемыя, возъярися сердцемъ» [Иное сказание, стб. 33], и «Московстіи Борисовы воеводы <…> тщатся <…> отомстити <…> прежде пролитую кровь христіянскую» [Иное сказание, стб. 32]. Однако отмщение приводит к новому кровопролитию, и потому данный мотив становится в эпизоде и средством оценочной характеристики жестокости брани: «брань велика зѣло и <…> жестока, и кровь проливашеся многа» [Иное сказание, стб. 33]. Этот же мотив завершает эпизод: несмотря на большое количество погибших среди «бесовозлюбленного воинства», несмотря на храбрость московских воинов, не все враги были уничтожены: «но грѣхъ ради нашихъ на пролитіе крови христіянскіе еще остася» [Иное сказание, стб. 34]. Поэтому эпизод не имеет традиционной для воинских повестей[154] концовки — похвалы храбрым русичам, не поется слава московским воеводам, не оплакиваются погибшие, отсутствуют и авторское умозаключение и оценка битвы. Концовка эпизода свидетельствует о том, что это не последняя битва; в умолчании таится предчувствие: вновь будет литься кровь христианская. И причина этого — «кровоядный лвичищ».

С мотивом крови тесно связан мотив смерти. Все происходящее мыслится автором как смертоубийство. Лжедмитрий I со своим войском «тщится» «лакати крови христіянскія и поядати плоти человѣческія» [Иное сказание, стб. 32]. Московские воеводы «не страшатся его уядения» и «тщатся противу его» [Иное сказание, стб. 32]. Жажда убийства движет и теми, и другими, у каждого войска свои причины, но «тщание» одно — «уядение». Трагедия происходящего подчеркивается числовым указателем. Автор не называет конкретное число погибших с той и другой стороны, отсутствуют имена, в произведении есть только общая характеристика — «множество»: «многое же множество обѣихъ странъ людей падающе, яко древесъ кланяшеся, или сноповъ по забраломъ валяющеся» [Иное сказание, стб. 33]; «многое множество ихъ (воинов Лжедмитрия I. — *О.Т.*) бесчисленно побиша, и много живыхъ взяша; мало же ихъ и спасошася» [Иное сказание, стб. 34].

Аналогичным образом была описана предшествующая этой брани битва под Новым Северским[155]. С того момента, как Лжедмитрий I «съ хитростію на бой нарядився», в

---

[154] О жанрообразующих признаках и стилеобразующих воинских формулах см. подробнее: *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. Указ. соч. См. также: *Пауткин А.А.* 1) Батальные описания «Повести временных лет» (своеобразие и разновидности) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1981. Т. 9, № 5. С. 13–21; 2) Воинские описания в «Повести временных лет» // Русская речь. 1980. № 3. С. 104–108.

[155] Новгород Северский — второй по значимости город Черниговского княжества, расположенный на правом берегу р. Десны (ныне — город в Черниговской области Украины, административный центр Новгород-Северского района). Впервые упомянут в 1044 г. в «Летописи путей» Владимира Мономаха, с 1098 г. — столица Северского княжества. После разорения войсками Батыя в 1239 г. город принадлежал

повествование прочно входят мотивы смятения, битья и смерти. Кони московского войска «начаша зело мятися» [Иное сказание, стб. 31], московскую силу, находившуюся «во смятении», воины Лжедмитрия «начаша болѣ побивати <...> и во смятенiи томъ много войска побиша» [Иное сказание, стб. 31]; в результате «Московская сила смятеся» [Иное сказание, стб. 31]. Чтобы подчеркнуть безумие и трагичность происходящего, автор вновь употребит уже звучавшее в эпизоде традиционное для воинских повестей[156] сравнение: «и трупомъ человѣческимъ землю помостиша, яко мостомъ» [Иное сказание, стб. 31] — и усилит его значение, повторив сравнение и добавив пространственно-числовой мотив: «Онъ же ихъ девять верстъ гнаша и болѣ, въ тылъ побивающее и сѣкуще; трупу же человѣческаго яко лѣсу кипарису подсѣкоша и мостомъ на девять верстъ и болѣ помостиша» [Иное сказание, стб. 31].

Применение одного и того же образа по отношению к погибшим — и к воинам Лжедмитрия I, и к московским ополченцам — уравнивает противников и подводит читателя к пониманию авторской позиции. Повествователю одинаково жалко всех погибших в этом столкновении, ибо не их это битва, а «проклятого еретика со святоубiйцею» [Иное сказание, стб. 31]. Лжедмитрий I с Годуновым «не сами собою сражаются, но человѣцы отъ нихъ умираютъ и кровь проливаютъ» [Иное сказание, с. 31–32]. В этом контексте мотив пролития крови человеческой и связанный с ним традиционный образ «рек крови»: «крови же человѣческiя по земли источницы протекоша» [Иное сказание, стб. 31], «кровiю же человѣческою вся земля обогрися» [Иное сказание, стб. 31], «пролiя рѣки неповинныя христiянскiя крови» [Иное сказание, стб. 32] — выполняет несколько функций в тексте. С одной стороны, он является традиционной речевой формулой отражения смертоносных событий, средством создания масштабности, грандиозности творящейся в Русской земле трагедии. С другой стороны, применение одного и того же образа по отношению к противникам указывает на яркую антитезу: «злонравным», «злохитрым», сеющим смерть Годунову и Лжедмитрию I противопоставляются обычные «человецы». Автору одинаково жаль погибших «отъ полковъ множество воинъ» [Иное сказание, стб. 32], поскольку и те, и другие — «лоза насажденнаго винограда Христова», ни в чем не повинные «овча <…> стада Христова» [Иное сказание, стб. 32].

Брянскому княжеству, позже — Великому Княжеству Литовскому. В результате Ведрошской битвы (14 июля 1500 г.) вошел в состав Московского княжества, но во время Смуты был захвачен Польшей. По условиям Андрусовского перемирия 1667 г. город вновь вернулся в состав России. В тексте «Иного сказания» город назван «Новый Сѣверский град».

[156] О стереотипных воинских формулах см. подробнее: *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М.: Имп. Об-во истории и древностей рос. при Московском ун-те, 1902. 50 с.

Зеркальные эпизоды двух битв имеют разные финалы: в первой битве победа досталась Лжедмитрию, чьи войска «смятоша» Московскую силу, во второй битве — царю Борису, который в свою очередь «смятоша» «бесовозлюбленное войско». Но ни одна из побед не радует автора. Ему словно все равно, кто одерживает победу. Действия победителей уравниваются благодаря умело найденному художественному приему: автор характеризует их одинаково жестокие поступки, практически в одних и тех же бесстрастных выражениях. Оба войска бегут: «Борисово же войско побѣгоша» [Иное сказание, стб. 31], «все войско его <…> побѣгоша» [Иное сказание, стб. 34]. Бегущих преследуют победители: «Они же ихъ девять верстъ гнаша и болѣ» [Иное сказание, стб. 31], «Они же ихъ гнавше, и досягаше» [Иное сказание, стб. 34]. Азарт «уядения» заставляет победителей сечь и побивать бегущих с тыла: «въ тылъ побивающе и сѣкуще» [Иное сказание, стб. 31], «въ тылъ безъ милости сѣкуще ихъ, и многое множество <…> побиша» [Иное сказание, стб. 34]. В обоих случаях автор использует традиционную метафору для характеристики множества погибших — «лѣсу кипарису подсѣкоша» [Иное сказание, стб. 31], «яко древесъ кланяшеся» [Иное сказание, стб. 33]. В контексте общего гуманного умонастроения автора «Иного сказания» метафора приобретает дополнительный смысловой оттенок. Для Бориса Годунова и для Лжедмитрия I воины — лишь средство достижения амбициозного желания власти. Автору принципиально важно подчеркнуть мысль о том, что «человецы» сражаются не во имя высокой патриотической идеи, они только средство в борьбе «еретика со святоубійцею» [Иное сказание, стб. 31], а потому их жизнь ничего не стоит. Они деревья в лесу, каковых «многое множество», снопы «валяющиеся», их телами мостятся версты. В этом перевернутом мире борьбы за власть одинаково страшных незаконных претендентов — «змия» и «лвичища» — нет места подвигу. Да, автор отмечает доблесть отдельно взятого города — Новгорода Северского, отдельно взятых воевод, но в целом все происходящее получает негативную оценку благодаря ведущим в обоих эпизодах мотивам крови и смерти. Доминирование же этих мотивов, отказ автора от воспевания славы русского оружия в финале второго эпизода, публицистическое авторское отступление в конце первого эпизода ведут к представлению о трагизме совершающегося в Русской земле. Бессмысленность гибели людей — вот главная мысль обоих эпизодов, которой автор дорожит и которую выражает прямо и косвенно. «Злохитрство» Бориса Годунова и Лжедмитрия I, их жажда власти и крови превратили людей в марионеток, чья жизнь не имеет никакого значения. Искоренение «винограда», насажденного «десницею вседержащаго превѣчнаго Бога» [Иное сказание, стб. 32], — такова сопутствующая желанию власти сверхзадача и таков характер разыгравшейся в Русской земле драмы Смутного времени.

Семантика «кровоядного лвичища», повсюду сеющего смерть, поддерживается и дальнейшим повествованием. В рассказах о московском правлении самозванца, где также доминирует мотив смерти в характеристике деяний Лжедмитрия I, появляется и еще один символ — «угрызающего змія» [Иное сказание, стб. 53], который становится художественным продолжением символа «лвичища». Он также связан с семантикой смерти, также в этом образе подчеркивается установка на «уядение» «плоти человеческия». Лжедмитрий I приказывает казнить боярина Василия Ивановича Шуйского: «посредѣ града смерти предати, мечемъ главу ему отсѣкнути» [Иное сказание, стб. 52]. Но Господь «преложи угрызающаго змія въ мало сокрощеніе, еже не ухапити его своими челюстьми отверстыма» [Иное сказание, стб. 53]. Этот же образ стремящегося все и вся поглотить змия появляется и в рассказе о гибели Отрепьева: «ему злому змію, зіяющу ны поглотити» [Иное сказание, стб. 57].

Взаимодополняющие и проясняющие друг друга символы «кровоядного лвичища» и «угрызающего змия» восходят к тексту Священного Писания. В Книге пророка Иеремии тема смерти устойчиво связана с образом льва — губителя и истребителя рода человеческого: «и пожре мечь вашъ пророкы ваша, яко левъ и губитель род ваш»[157] (2: 30); «взыиде левъ отъ ложа своего, и хищникъ людскии въздвижеся… да поставитъ землю твою въ пустыню, и гради твои опустеютъ…» (4: 7); «сего ради побилъ их левъ от леса…» (5: 6) и др. То же — в Первом соборном послании святого апостола Павла: «супостатъ вашъ диаволъ яко левъ рыкая ходитъ искы кого поглотити» (5: 8). В соответствии с этим и семантика смерти, крови, дьявольщины становится определяющей в характеристике Лжедмитрия I.

Не менее значимые параллели обнаруживаются и с текстом «Хронографа» редакции 1512 г. Здесь так же, как и в «Ином сказании», в описании царства Фоки-мучителя, которому автор уподобляет Лжедмитрия I, мотив крови тесно переплетается с образом льва:

«Иное сказание»	*«Хронограф» 1512 г.*
«…кровоядный лвичищъ <…> на кровопролитіе тщится, лакати крови христіянскія и поядати плоти человѣческія…» [Иное сказание, стб. 32]	«…кровопийца, яко тяжкоумъный левъ плоти снедати погубляемыхъ человекъ и кровь питии сладчайши мъста въменяше…» [Хронограф 1512 г., с. 302]

Мотив смерти в обоих памятниках становится центральным при создании образов Отрепьева и Фоки:

[157] Библия. Острог, 1581.

«Иное сказание»	*«Хронограф» 1512 г.*
«всехъ православныхъ христіянъ побити» [Иное сказание, стб. 56]; «посѣкати и до остатка насъ православняхъ христіянъ» [Иное сказание, стб. 57]; «всѣхъ подъ мечь клонити» [Иное сказание, стб. 57]; «многимъ различнымъ мукамъ предастъ ихъ <…> а иныхъ безъ милости смерти преда…» [Иное сказание, стб. 54] и др.	«всехъ вкупе собравъ <…> повеле главы отсещи зверообразно <…> и техъ посещи <…> вся погуби <…> нравы оубийца» [Хронограф 1512 г., с. 302]

В деяниях и облике обоих правителей подчеркивается звериное начало и лютость:

«Иное сказание»	*«Хронограф» 1512 г.*
«и не попусти дивіему звѣрю поядати избраннаго своего стада словенскаго овчате» [Иное сказание, стб. 57]; «лютѣ палимъ бывъ огнемъ ярости» [Иное сказание, стб. 54]	«обънажи Фока зверя горкосердаго <…> зверообразный Фока» [Хронограф 1512 г., с. 302]; «лютый Фока» [Хронограф 1512 г., с. 302]

В обоих памятниках описывается бедственное положение народа во время правления мучителей:

«Иное сказание»	*«Хронограф» 1512 г.*
«николи такія бѣды находящія на ны» [Иное сказание, стб. 55]	«многи беды постиже человекы» [Хронограф 1512 г., с. 303]

В обоих памятниках авторы указывают, что именно Господь освобождает бедствующий народ от мучителя:

«Иное сказание»	*«Хронограф» 1512 г.*
«И обрати Господь Богъ изостренный имъ мечь на его выю и на единомысленниковъ его, окаянныхъ поганцовъ» [Иное сказание, стб. 58]	«Отвръзе очи свои Богъ и виде злобу, оущедри закланиа раздробляемыхъ, судъ изнесе на акаяннаго» [Хронограф 1512 г., с. 303]

Обнаруженные параллели свидетельствуют о том, что автор «Иного сказания» вполне осознанно сближал образ Отрепьева с Фокой-мучителем, подчеркивая дьявольское начало через обращение к образу льва.

В этом ключе любопытной представляется еще одна деталь, связанная с образом Отрепьева. В начале рассказа о самозванце автор «Иного сказания», описывая происхождение «врага», пишет: «законопреступника ростригу Гришку Отрепьева, родомъ Росiйскiя же области, града зовомаго Галича, отъ младыя чади Юшку Яковлева сына Отрепьева… Той же Юшка остася послѣ отца своего младъ зѣло съ матерью…» [Иное сказание, стб. 17]. Странное именование Отрепьева Юшкой, не встречающееся в других памятниках, таит некий подтекст. Юшка — это кровь, животворящая жидкость. В «Ином сказании» Лжедмитрий I, наряду с Годуновым, постоянно выступает в роли кровопускателя, по его воле текут «реки крови» во всей Русской земле, гибнет бесчисленное множество людей. И как человеческому организму большая потеря крови грозит смертью, так и безмерное кровопролитие на государственном уровне грозит смертью всей стране. В этом смысле выбор имени Юшка в самом начале рассказа о самозванце предвосхищает кровавую, смертную семантику символа льва.

Таким образом, образ «кровоядного лвичища» Гришки Отрепьева становится в тексте «Иного сказания» аллегорией смерти, разрушения, опустошения и одновременно аллегорией средства борьбы, очищения, сметания с престола детоубийцы Бориса Годунова. Роль «Божьей метлы» не снимает с Лжедмитрия I вины незаконного «наскочения» на царство, пролития крови ни в чем не повинных людей.

Роковая вина Бориса Годунова и Гришки Отрепьева состоит не только в том, что они подняли руку на представителей царского рода, посягнули на российский престол, что неоднократно с разных позиций освещалось в исследовательской литературе. Значимые в культуре Древней Руси библейские образы, ставшие символами Годунова и Отрепьева, указывают на то, что их главная вина — в «распространении и умножении всеобщего хаоса»[158], в том, что в борьбе «еретика со святоубiйцею» [Иное сказание, стб. 31] гибнут «человецы» — «лоза насажденнаго винограда Христова», ни в чем не повинные «овча <…> стада Христова» [Иное сказание, стб. 32], в том, что их преступные деяния сеют смерть и разрушение.

4. Тема греха и покаяния

А.И. Яковлев в работе «Безумное молчание» дает блестящий анализ устойчивых в цикле сочинений о Смуте «провиденциалистических рассуждений о грехах»[159]. Впервые мысль о том, что «Смута ниспослана в наказание и в назидание», появляется в «Повести

---

[158] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 581.

[159] *Яковлев А.И.* «Безумное молчание» // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. М.: Тов-во «Печатня С.П. Яковлева», 1909. С. 654.

1606 года», а «первым заметным выражением сознания своей вины является видение протопопа Терентия <…>. Эти сильные обличения суть первый переход к новой мысли, к мысли о виновности в смуте русского общества…»[160].

Современная наука располагает весьма скудными биографическими сведениями о протопопе Терентии[161]. Но уже один факт сохранения в истории его имени говорит о многом, поскольку почти все произведения, созданные непосредственно в эпоху Смуты (1598–1612), остались безымянными, в лучшем случае нам известно, что написано то или иное произведение монахом Троице-Сергиева монастыря. Среди таких «безымянных» памятников эпохи — «Повесть 1606 года», «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов», «Новая повесть о преславном Росийском царстве», «Повесть о видении мниху Варлааму в великом Новгороде», «Плач о пленении и о конечном разорении превысокаго и пресветлейшаго Московского государства» и т. д. Особняком на этом фоне стоит «Повесть о честнем житии царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии», составленная патриархом Иовом, но она отличается от вышеназванных произведений и содержательно, и стилистически, поскольку «носит характер официозного “хвалословия”»[162]. Объяснять этот факт исключительно средневековой литературной традицией умалчивания имени автора или относить на счет монашеской скромности вряд ли возможно. Почти все памятники Смутного времени (в данном случае имеются в виду тексты, созданные в 1598–1612 гг.) преследуют ту или иную агитационную цель, в них довольно ярко выражены политические пристрастия авторов, бесконечная же смена правителей, означающая для многих, особенно приближенных, и смену вектора оценки их деятельности, могла обернуться гонениями и смертью. Поэтому подпись имени под тем или иным публицистическим сочинением означала, что автор должен был обладать известной смелостью и быть готовым к суровым жизненным испытаниям. Таковой смелостью обладали патриархи Иов, Игнатий, Гермоген, Филарет Никитич, и среди них — протопоп Терентий, занимавший пост протоиерея Благовещенского собора Московского Кремля и при Лжедмитрии I, и при Василии Шуйском[163].

---

[160] Там же. С. 655.

[161] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Литературный облик протопопа Терентия // Писатель в контексте времени: проблема научного комментария: сб. статей / отв. ред. и сост. В.И. Мельник; ред. О.А. Туфанова. М.: ГАСК, 2011. С. 6–20. См. также: *Туфанова О.А.* Предвидения протопопа Терентия в контексте сочинений современников о Смутном времени // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О.А. Туфанова. С. 413–438.

[162] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* Литература 1590–1612 гг. С. 28.

[163] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий и его сочинения о смуте в рукописях Публичной библиотеки // Исследования памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Л.: ГПБ, 1988. С. 18.

Положение главы домового храма русских царей и цариц, казалось бы, должно было способствовать сохранению значительных биографических сведений о нем, но все они ограничиваются, что неоднократно отмечалось исследователями[164], исключительно скудными фактами, которые протопоп Терентий сообщил о своей жизни в трех дошедших до нас произведениях, кроме одного, известного благодаря указу Сигизмунда III от 30 ноября 1610 г., согласно которому «велено протопопу Терентию быти по прежнему у Благовещенья, а Благовещенскому протопопу велено быти у Спаса на Дворце»[165]. Вопрос же, когда протопоп Терентий был смещен с должности протоиерея Благовещенского собора и сколько раз, относится к разряду спорных.

По мнению Г.П. Енина, это событие произошло после 1606 г.[166] В. Ульяновский предполагает, что опала постигла протопопа Терентия дважды. Первый раз — «не позже конца ноября 1605 г., когда Лжедмитрий I начал осыпать милостями владимирский Рождественский монастырь, архимандрит которого Исайя стал его духовником»[167], т. е. фактически после подачи царю первого из известных на сегодняшний момент произведений протопопа Терентия — «Лета 7114 году послание благовернейшему и вышнему царю и богохранимому государю великому князю Димитрию Ивановичю всея Россия иже во священницех наименший грубый Терентие метание еже о Господе смиренне творю», если принять в качестве даты создания памятника июнь – ноябрь 1605 г.[168] К этой мысли подводит и вторая челобитная Терентия на имя Лжедмитрия I, которая была опубликована в «Актах, собранных в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук»[169], в 1836 г. как приветственное слово протопопа вступившему в Москву Самозванцу. И, соответственно, «витиеватая речь» воспринималась долгое время как первое произведение протопопа Терентия, в котором оратор «умолял царя о помиловании народа, по неведению преступившего клятву», и не раз упоминал «о людях, которые хотят поссорить царя с его народами…»[170]. Однако это ошибочное мнение было опровергнуто С.Ф. Платоновым в работе «Древнерусские

---

[164] См., например: *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 18; *Ульяновский В.* Смутное время. С. 185.

[165] Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. Т. 4: 1588–1632. С. 389.

[166] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 18.

[167] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 206.

[168] Там же. С. 186. Г.П. Енин называет иную дату создания послания «Лета 7114 году…» — конец 1605 или начало 1606 г. (см.: *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 19), что представляется ошибочным, поскольку именно в ноябре 1605 г. у Самозванца появляется новый духовник — архимандрит Исайя, это, с одной стороны, подтверждает факт временного возобновления традиции назначения царского духовника из благовещенских протопопов, идущей со времени правления великого князя Василия III, прерванной Борисом Годуновым, а с другой — свидетельствует о возможном удалении с поста протоиерея Благовещенского собора протопопа Терентия на время правления Лжедмитрия I.

[169] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836. Т. 2. С. 383–385. № 224.

[170] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. IV, т. 7–8. С. 427.

сказания и повести о Смутном времени как исторический источник»[171], убедительно доказавшим, что челобитная тесно связана с первым посланием и является попыткой протопопа оправдаться, испросить милости, что подтверждают и Г.П. Енин, и В. Ульяновский. Следовательно, подана она была царю в конце ноября 1605 – начале 1606 гг.

Что произошло дальше — неизвестно. В. Ульяновский утверждает, что «челобитная не принесла желаемого прощения и снятия опалы. Протопоп был удален от двора, с должности царского духовника и из Благовещенского собора»[172], однако никаких данных, свидетельствующих о правоте предположения, исследователь не приводит, кроме одного, весьма косвенного, — он упоминает царскую жалованную грамоту причту Благовещенского собора — протопопу Терентию «с братией» — от 26 июля 1606 г., на основании которой делает заключение о последовавшем восстановлении Терентия в качестве настоятеля Благовещенского собора в правление Василия Шуйского. Однако утверждать однозначно, был ли смещен протопоп Терентий Лжедмитрием I с занимаемой должности или только удален от двора, какой именно опале он был подвергнут, на основе столь скудных исторических данных не приходится. Вместе с тем эта же самая грамота является неопровержимым свидетельством того, что как минимум с июля 1606 г. Терентий вновь оказывается настоятелем Благовещенского собора (если он вообще смещался с этой должности) и, более того, находится среди приближенных к царю Василию Шуйскому и патриарху Гермогену. Второе, и пожалуй главное, свидетельство пребывания Терентия на посту протоиерея Благовещенского собора осенью 1606 г. содержится в третьем из дошедших до нас сочинений протопопа — «Повести о видении мужу духовну». В ней прямо названо имя записавшего видение от тайнозрителя, а также содержится указание на факт близости к царю и патриарху: «Нѣкоторому мужу духовну явися таково видѣніе во снѣ, и той мужъ то видѣніе сказавъ Благовѣщенскому протопопу Терентью. И то писмо Терентей писалъ у нево, и то писмо написалъ, да отдалъ патріарху, да и царю сказывалъ»[173] [Повесть о видении, стб. 177]. Как и в случае с первым сочинением, «Повесть» не осталась без внимания царя. Но если Лжедмитрий I подверг после получения послания «Лета 7114 году…» протопопа Терентия опале, то Василий Шуйский временно принял прямо противоположное решение: по велению царя «Повесть» была прочитана публично в Успенском (по одному из списков — в Успенском и Благовещенском) соборе 14 октября 1606 г., а с 14 по 19 октября 1606 г. был установлен всенародный пост.

---

[171] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 247 (примечание 115).

[172] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 206.

[173] Повесть о видении некоему мужу духовну // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 177–186. Здесь и далее текст «Повести о видении…» цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и столбцы.

Однако положение Терентия как царского духовника оказалось весьма непрочным. Он снова был смещен с должности протоиерея Благовещенского собора, вероятно в 1607 или самом начале 1608 г., поскольку на свадьбе царя с М.П. Буйносовой-Ростовской 17 января 1608 г. присутствовал уже протопоп Кондратий. Ни причин, ни точных дат этого события ученым пока не удалось обнаружить. Существует только «рабочая» версия В. Ульяновского, согласно которой «Терентий в одном важном моменте (в тексте «Повести». — *О.Т.*) пошел вразрез с официальной линией. Имеется в виду отсутствие адресного осуждения в тексте Терентия — неназывание имени Лжедмитрия I. Грамоты царя Василия Ивановича были наполнены убийственными характеристиками расстриги, но в “Повести” всего этого нет. Терентий сознательно не включился в злободневную акцию всеобщего порицания исключительно одного Самозванца. Возможно, это вторично и погубило его карьеру»[174].

Как складывалась далее судьба протопопа Терентия — неизвестно вплоть до конца ноября 1610 г., когда вышел указ Сигизмунда III, восстанавливавший Терентия в должности протоиерея Благовещенского собора и подтверждающий опальное положение протопопа в правление Василия Шуйского по крайней мере точно с 1608 г. Это последнее официальное свидетельство о жизни благовещенского настоятеля из обнаруженных на сегодня реальных фактов. Как долго занимал протопоп Терентий должность настоятеля на сей раз — вопрос открытый, но уже в феврале 1613 г. в качестве протоиерея упоминается Иоанн, принимавший участие в избрании на царство Михаила Федоровича Романова[175]; последующие перипетии жизни талантливого писателя начала XVII столетия нам неизвестны.

Если вопрос личной непростой судьбы протопопа Терентия, исполненной «взлетов» и «падений», довольно типичных для многих церковных деятелей эпохи Смуты, остается во многом нерешенным, то его литературный облик вполне может быть восстановлен благодаря трем очень разным по своей тематике и характеру произведениям.

В 1605 г. в непростой для русского общества, потрясенного «странными» забавами и склонностями венчанного 21 июля на царство Лжедмитрия I, во всем следовавшего иноземным обычаям, открыто презиравшего законы нравственности и смеявшегося над «суеверием набожных россиян»[176], ситуации протопоп Терентий пишет свое первое послание царю «Лета 7114 году…», в котором, апеллируя сначала к имени авторитетного для царя древнегреческого философа Платона, а затем опираясь на теологическую идею

---

[174] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 210.

[175] Благовещенский собор // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: http://www.pravenc.ru/text/149295.html (дата обращения: 31.08.2011).

[176] См. подробнее: *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1997. Т. IX–XII. С. 407–416; *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. IV, т. 7–8. С. 432–435.

«Третьего Рима» старца Елеазарова монастыря Филофея, последовательно развивает идею главенства «священства» над «царством», указывая отдельно на необходимость соблюдать «учение и наказание святых апостол и святых отец о многоразличных чинех святыя церкви»[177], тем самым в слабо завуалированной форме упрекая царя «в низведении с патриаршей кафедры Иова, незаконном поставлении патриархом Игнатия»[178]. На первый взгляд упрек, брошенный протопопом Терентием Лжедмитрию I, в избрании патриарха минуя Собор русских святителей стоит в одном ряду с аналогичными, читаемыми и в «Ином сказании», и во «Временнике» И. Тимофеева, и в «Сказании о Гришке Отрепьеве» и т. д. Но все эти произведения были созданы уже после смерти «неправого» царя, а протопоп Терентий почти открыто бросает ему обвинение, словно продолжая дело патриарха Иова, по приказу которого во всех русских церквях проклинали самозванца Гришку Отрепьева и всех «хотящихъ озлобити церкви Божіи, и государевыхъ измѣнниковъ, которые Государю измѣнили, а тому вору и богоотступнику послѣдствуютъ и именуютъ его Княземъ Дмитріемъ, и впередъ кто учнетъ на то прелщатися и ему вѣрити и Государю похочетъ измѣнити, соборнѣ и всенароднѣ прокляли и впередъ проклинати велѣли, да будутъ они вси прокляты въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ»[179].

В послании Терентия наблюдается сложное переплетение двух семантических рядов. Один ряд (тот, что лежит на поверхности и отчасти был обозначен в заглавии — «метание о Господе») представляет собой прямое поучение, как должен вести себя царь — наследник многовековых традиций русского двора. Начиная с элементарных требований соблюдать хотя бы внешнюю обрядовую сторону русской православной традиции, Терентий, убеждая царя в необходимости следовать в своем каждодневном поведении глубинным, укоренившимся в русской культуре христианским нормам и правилам жизни в миру, менторски поучает явно находящегося вне «русского контекста» Лжедмитрия I: «Подобает убо тебе царю сие держати со страхом Божиим, убоися Бога, давшаго ти сия, неуповаи на злато и богатство и славу: вся бо сия зде собрана и на земли зде остают <…>. Вся убо твоя к Богу чистая вера, и любовь ко святым Божиим Церквам. Слыши и вонми о боголюбивыи и премудрыи царю и разсудив царскии душеполезная и вечная избери, а тленная и мимо текущая мира сего нивочтоже царю полагаи, зане преходна суть, но едина добродетел и правда пребывает во веки»[180]. Второй семантический ряд — это неявно выраженное обличение царя, попирающего русские традиции церковно-религиозного

[177] Цит. по: *Ульяновский В.* Смутное время. С. 199.

[178] *Иванов Ф., свящ.* Церковь в эпоху Смутного времени на Руси. Екатеринослав: Типо-Литография Губернского Правления, 1906. С. 44.

[179] 1605, января 14. Грамота патриарха Иова в Сольвычегодский Введенский монастырь, о ежедневном молебствовании, по случаю войны Царя Бориса Феодоровича с Гришкою Отрепьевым, и о проклятии Самозванца со всеми его сообщниками // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... № 28. С. 80–81.

[180] Цит. по: *Ульяновский В.* Смутное время. С. 198.

благочестия и бытового уклада, пытающегося привить русскому обществу иную, чуждую по своему духу культуру. Традиционные для жанра челобитной, умело использованные высокие положительные эпитеты, возвеличивающие и превозносящие царя, не смягчают жесткости обличения-поучения Терентия, позволяющего себе даже «предостерегающий намек на несчастную судьбу царственных гонителей православия: “святии мученицы и отцы много потрудишася и вседушно сташа противу нечестивых царей и мучителей”»[181].

Был ли Терентий одинок в осуждении странного поведения царя? Нет, хорошо известен факт боярской оппозиции во главе с В.И. Шуйским, известно благодаря записям иностранцев и мнение простого народа. Но так открыто выступить с обличительно-поучительным посланием (письменным сочинением, а не устной речью!) решился только протопоп Терентий (по крайней мере других подобных памятников письменности, датируемых 1605 г., нам неизвестно). В этом проявилась не только смелость обличителя, но и глубоко ответственное отношение к своей миссии как царского духовника, ибо Терентий, очевидно, хорошо осознавал, что от духовного здоровья царя во многом зависит и духовное здоровье всего государства. Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением С.Ф. Платонова, который отнес протопопа Терентия к числу тех сторонников Лжедмитрия I, «которые мягко и дружески подавали самозванцу совет держаться старых правил московской жизни строже, чем он это делал»[182]. Не «мягко» и не «дружески» звучал голос Терентия, взволнованного тем, что Самозванец, по выражению священника Феодосия Иванова, отнял «у Церкви основной ее закон жизни — свободу ее действия…»[183].

Лжедмитрий I не стерпел обличительного менторства благовещенского протопопа, который ни разу, призывая царя к уважению писаных и неписаных законов бытия московской жизни, не упомянул в послании имена величественных благочестивых предшественников — Ивана IV, его сына Федора Ивановича, — что не осталось незамеченным. И Терентий, вероятно всерьез опасаясь за свою жизнь, пишет второе послание царю, опубликованное как «Приветствие Благовещенского протопопа Терентия Димитрию Самозванцу». Но по форме и содержанию это не приветственное слово, а, как справедливо было отмечено С.Ф. Платоновым[184], позже Г.П. Ениным[185], «литературно написанная челобитная», в которой сталкиваются разные стили и приемы организации речи[186]. По мнению Г.П. Енина, Терентий в этой челобитной «фактически признает себя виноватым. Уже не уверенный в своей правоте ментор, а перепуганный подданный

---

[181] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий... С. 22.
[182] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 247.
[183] *Иванов Ф., свящ.* Церковь в эпоху Смутного времени на Руси. С. 44.
[184] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 247.
[185] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 24.
[186] См. подробнее: *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 23.

обращается к царю с униженными заверениями в преданности…»[187]. На прямо противоположный смысл второго послания указывал и В. Ульяновский[188]. Исследователи делают подобный вывод на основе двух фактов. Во-первых, в челобитной Терентий клянется: «…никогда бо твоей царьстѣй власти зла сотворихомъ ни сотворимъ, токмо припадаемъ сокрушеннымъ сердцемъ и со слезами и молимъ всещедраго Владыку всегда за твое царьское многолѣтное здравіе и завсегда тобою желаемое, яже ти Богъ подастъ»[189], — и слезно просит: «Государь умилосердися, Царь смилуйся, благородне ущедри, благочестиве призри, Богомъ помазание, не забуди, якоже обѣщася, Димитріе Ивановичь, всея Великія Росія Самодержче, пожалуй»[190]. Во-вторых, он использует в обращении к царю, по наблюдению В. Ульяновского[191], эпитеты, которые чаще всего применялись в древнерусской книжной традиции по отношению к Христу и святым: «за тебе свѣтлаго Цари», «тебѣ, свѣтиломъ Рускимъ»[192].

Однако и использованные эпитеты, и витийственные обращения к царю в стиле «плетения словес» [например: «Радуемся убо и веселимся мы недостойніи, видяще тебе свѣтлаго храборника, благочестиваго Царя, благороднаго Государя, Богомъ возлюбленнаго Великого Князя и святымъ елеомъ помазаннаго Димитрея Ивановича, всеа Русіи Самодержца и обладателя многихъ государствъ, крѣпкаго хранителя и поборника святыя православныя вѣры христіанскія, твердаго адаманта, рачителя и красителя Христовѣ церкви…»[193]] представляют собой шаблонные обороты речи, «выдохшиеся и обесцвеченные»[194], каковых немало обнаруживается в памятниках древнерусской литературы самых разных жанров, в том числе и в цикле сочинений о Смуте. Прекрасно знакомый с литературной традицией, протопоп Терентий совершенно осознанно использует хорошо известные, проверенные временем приемы усиления эмоциональности повествования, стремясь добиться помилования. Но сквозь эту добровольно надетую литературную маску униженного просителя (Терентий именует себя в тексте: «недостойнѣ нарицатися смиренный Терентіе <…> грубый во освященницѣхъ»[195]) пунктирно проступает иной лик благовещенского протопопа, который предельно лаконично, безапелляционно отчетливо в начале послания обозначает свою позицию: «…призываю и молюся и убѣждаю исповѣдоватись часто Богови и на позорищѣ себе веду: не бо еже открыти человѣкомъ согрѣшенія своя, но совѣсть свою разгнути предъ Богомъ, и тому

[187] Там же.
[188] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 204.
[189] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... С. 385.
[190] Там же.
[191] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 204.
[192] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... С. 385.
[193] Там же.
[194] *Назаревский А.А.* О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1961. С. 64.
[195] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... С. 385.

покажу струпы и отъ него лечбы прошу…»[196]. Он и не «разгнути» «совесть» пред Лжедмитрием I, весь дальнейший текст, в отличие от личностной интонации начала, в том числе и мольбы о помиловании, представляет собой талантливо написанную в соответствии с традициями челобитную, в общей интонации и стилистике которой финальные фразы о несотворении зла царской власти отнюдь не звучат как «униженные заверения в преданности»[197]. Он действительно, требуя соблюдения Закона от новоизбранного царя, уважения к религиозным и культурно-бытовым традициям, не «сотворил» зла. Более того, он почти открыто предостерегал Лжедмитрия I о последствиях предпочтения иноземцев своим гражданам и их культуры — традициям Московского государства. Наконец, сам просительный характер и тон послания весьма тонко перебивается иной интонацией, хорошо просматриваемой в самом начале челобитной: «Внегда услышимъ кого, похваляюща нашего преславнаго Царя, разгараемся любовію ко глаголющему ради яже къ своему владыцѣ любве…» — и тут же: «Сего ради, на всяко время, призываю и молюся и убѣждаю исповѣдоватись часто Богови…»[198]. Хваля царя, призываю, и молюсь, и исповедуюсь пред Господом. Это не отказ от прежних убеждений, он по-прежнему ставит «священство» выше «царства»; трафаретно прося: «отврати отъ насъ праведный гнѣвъ свой!»[199] — призывает уподобиться царя Христу («Христовъ подражателю») и святым («яко же насъ смиренныхъ пощадилъ еси, святымъ подобяся содѣлалъ еси»[200]). Ибо «Человѣцы бо и мы стужаемъ си множицею къ намъ плачущихся и рыдающихъ, и отряжаемъ и отрѣваемъ; Богъ же не тако, но пріемлетъ и привлачитъ; аще и деньствуемъ своя бѣды, тогда насъ ноипаче любитъ и прекланяется молбамъ нашимъ»[201].

Самым значительным и не раз становившимся предметом исследования в отечественной медиевистике произведением протопопа Терентия считается «Повесть о видении некоему мужу духовну» (октябрь 1606 г.), призывающая к всенародному покаянию и объединению общества. Казалось бы, перечисление грехов, частично повторяющее обвинения в адрес Лжедмитрия I, читаемые в грамотах Василия Шуйского и патриарха Гермогена, в публицистических произведениях 1606 г., продолжает общую идеологическую линию, если бы не одна фраза, становившаяся не раз предметом обсуждения исследователей вследствие наблюдаемых в разных списках разночтений: «нѣсть истинны во царѣ(хъ) же и въ патріарсѣ(хъ)»[202].

---

[196] Там же. С. 383.
[197] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 23.
[198] Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи… С. 383.
[199] Там же. С. 385.
[200] Там же.
[201] Там же. С. 384.
[202] Форма единственного числа читается только в Строгановском сборнике, составленном в сольвычегодской канцелярии Строгановых до 1624 г. (См.: *Солодкин Я.Г.* К истории Повести о видении

Кого имел в виду протопоп Терентий? По мнению П. Васенко[203], Е.Н. Кушевой[204], Н.И. Прокофьева[205], упрек, выраженный формой единственного числа, был адресован Василию Шуйскому и патриарху Гермогену. Их точка зрения на основе палеографического объяснения разночтений в указанных списках была опровергнута А.А. Назаревским[206] и поддержана А.И. Копаневым[207], Г.П. Ениным[208], Я.Г. Солодкиным[209], пришедшими к выводу, что форма единственного числа в сольвычегодском списке появилась в результате ошибки переписчика, и предполагавшими, что «Повесть» была написана по заданию правительства. Еще дальше пошел в своих предположениях В. Ульяновский, оценив «Повесть» как «новую попытку (протопопа Терентия. — *О.Т.*) обратить на себя внимание власти церковной и духовной через представление очередного сочинения конъюнктурного характера»[210].

Действительно ли протопоп Терентий помышлял о карьере, когда писал эту «Повесть»? Кем был «тайнозритель», пожелавший остаться неизвестным? Н.И. Прокофьев полагал, что повествователем мог быть архимандрит Старицкого Успенского монастыря, а впоследствии Троице-Сергиевой Лавры Дионисий[211]. По мнению Я.Г. Солодкина, «реального повествователя описанное Терентием “чудо” не имело, придворный протопоп облек в форму “божественных” обличений собственные мысли или же идеи, внушенные ему царем и патриархом»[212].

Нам представляется сомнительным, что «Повесть» была написана под влиянием чьих-либо идей или носила конъюнктурный характер, поскольку, верный своему нравственному принципу («разгнути» «совесть» лишь пред Богом), протопоп Терентий, наблюдая греховное поведение и «верхов», и «низов», призывал всех (без исключения!) к покаянию и единению, стремясь предотвратить в условиях гражданской войны распад страны. Его произведение гениально предугадывало духовно-нравственные потребности народа, «ошеломленного чрезвычайными явлениями самозванщины и междоусобной смуты»[213], смущенного «нестроениями» и на уровне «царства» (убийство царевича

некоему мужу духовну // Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск: Наука, 1988. С. 16.)

[203] *Васенко П.* Заметки к статьям о Смуте, включенным в Хронограф редакции 1617 года. С. 266.

[204] *Кушева Е.Н.* Из истории публицистики Смутного времени XVII века // Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1926. Т. V. С. 96–97.

[205] *Прокофьев Н.И.* Видение как жанр в древнерусской литературе. С. 44.

[206] *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII века. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1958. С. 115–116.

[207] *Копанев А.И.* Новые списки «Повести о видении некоему мужу духовному» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 16. С. 477–480.

[208] *Енин Г.П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий… С. 26–27.

[209] *Солодкин Я.Г.* К истории Повести о видении некоему мужу духовну. С. 17–21.

[210] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 206.

[211] *Прокофьев Н.И.* Образ повествователя в жанре «видений» литературы Древней Руси. С. 48–51.

[212] *Солодкин Я.Г.* К истории Повести о видении некоему мужу духовну. С. 22.

[213] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 249.

Дмитрия, чреда неправых царей, начиная с Бориса Годунова), и на уровне «священства» (например, поляки в записках московским боярам в 1608 г. отмечали: «И такъ теперь живыхъ патріарховъ на Москвѣ четыре маете»[214]), и на уровне вынужденных клятвопреступлений[215] простого люда.

Примечательно, что именно в «Повести о видении некоему мужу духовну», стоящей у истоков трансформации традиционного для древнерусской словесности жанра видения, существовавшего в предшествующей литературной традиции в рамках житий, летописей, в воинских и легендарно-исторических повестях, протопоп Терентий разрабатывает новый, приобретающий элементы публицистичности сюжетный стереотип, состоящий из двух сюжетных узлов: прегрешения и покаяния и молитвы, — оказавшийся востребованным в литературной практике спустя время.

Памятник был использован при составлении «Нижегородского видения» (июнь-июль 1611 г.) и «Владимирского видения» (август 1611 г.)[216], когда в общественном сознании в условиях иноземной интервенции созрела патриотическая идея единения всего народа, всех слоев общества для освобождения страны.

Во всех трех видениях центральным мотивом является мотив всенародного покаяния[217]. И это отнюдь не случайно. Все они появляются в сложные, критические моменты истории. Видение «некоему мужу духовну» написано в октябре 1606 г. «Выкрикнутый» на царство Василий Шуйский, непрочно утвердившийся на русском престоле, рассылает по стране грамоты с разъяснениями, что убитый 17 мая 1606 г. царь — не сын Ивана Грозного, а «прямой воръ» Гришка Отрепьев, который «Московское государьство хотѣлъ до основанія разорити, и крестьянскую вѣру попрать, и церкви разорити, а костелы Римскіе устроить…»[218]. В поддержку нового царя появляется целый ряд публицистических произведений, «толковавших происходившие события в самом благоприятном для него (Василия Шуйского. — *О.Т.*) освещении»[219], среди них — «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Новая повесть о Росийском царстве» и др., которые «сливались в согласный хор, на все лады повторяя похвалы Шуйскому, как “мужу праведну и благочестиву”, “первострадальцу” <…> “истинному заступнику и пастырю словесным

---

[214] Цит. по: *Иванов Ф., свящ.* Церковь в эпоху Смутного времени на Руси. С. 88.

[215] См. подробнее: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси… С. 174–202.

[216] Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 235–242.

[217] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Мотив покаяния в общегосударственных видениях Смутного времени // Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения – 2015): материалы научной конференции (20–23 сентября 2015) / Московский городской психолого-педагогический университет; [сост. И.В. Дергачева]. М.: Буки Веди, 2015. С. 70–75.

[218] Царская грамота в Пермь Великую… 6 июня 1606 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836. Т. 2. С. 107, № 48.

[219] *Кушева Е.Н.* Из истории публицистики Смутного времени XVII века. С. 95.

овцам своим, а не наимнику", и т. д. с рядом вариантов»[220]. Среди народа зреет недовольство боярским правительством В. Шуйского, которое вылилось в восстание под предводительством Ивана Болотникова, войско которого в начале октября 1606 г. осадило Москву.

В еще более трагический момент русской истории были даны видения в Нижнем Новгороде «человѣку благочестиву, именемъ Григорью» (май 1611 г.) и во Владимире некоей Мелании, жене Бориса Мясника (август 1611 г.). Москва, с согласия боярского правительства, оказалась во власти поляков, патриарх Гермоген, призывавший народ к освобождению «царствующего» града от врагов, был низложен и заточен в Чудовом монастыре, русский престол пытался захватить король Сигизмунд III. Фактически видения появляются в тот момент, когда «самостоятельного и независимого Российского государства <…> уже не существовало»[221].

Все анализируемые видения содержат сходные сюжетные элементы, характерные в целом для жанра видения в древнерусской литературе[222]. Каждый из этих элементов по-своему отражает основной мотив повестей — призыв к всенародному нравственному покаянию.

Во всех видениях прослеживается определенная, повторяющаяся логика покаянного процесса. По словам священника Дмитрия Юревича, «Первым логическим этапом покаяния является раскаяние — т. е. осознание человеком (или даже общностью людей) порочности своего образа жизни, видение грехов как конкретных нарушений заповедей Божиих…»[223]. Мотив осознания греховности многогранно представлен во всех рассматриваемых видениях. Экспозиционная часть «Повести о видении некоему мужу духовну» практически дублируется во вводном повествовании к «Повестям о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире»: одинаковые отрицательные эпитеты — «нынѣшнему роду лукавому и непокоривому», общее указание на уклонение от исполнения Божьих заповедей и, как следствие, от милости Господней, многоликость греха характеризуют духовно-нравственное состояние общества и объясняют появление в начале текстов мотива полезности знакомства с видениями.

Практически все «тайнозрители», будучи людьми благочестивыми, осознают бедствия Русской земли как результат греховности. О многих грехах рода человеческого

---

[220] Там же.

[221] *Перевезенцев С.В.* Уроки Смуты: народ и вера. URL: http://www.pravmir.ru/uroki-smuty-narod-i-vera/ (дата обращения: 15.02.2015).

[222] *Прокофьев Н. И.* Видение как жанр в древнерусской литературе. С. 40.

[223] *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния // V Международная богословская конференция Русской православной церкви «Православное учение о церковных таинствах. Москва, 13–16 ноября 2007. URL: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/pokayanie2/pokayanie1-all.shtml (дата обращения: 11.06.2015).

свидетельствуют и высшие силы. В «Повести о видении некоему мужу духовну» Богородица в присутствии целого сонма святых трижды молит Сына своего пощадить «родъ крестьянскій» [Повесть о видении, стб. 184], который «раздражил» Господа «злобами своими и лукавыми нравы» [Повесть о видении, стб. 182], «окаянными и студными дѣлы» [Повесть о видении, стб. 183]. В ответах Господа Богоматери прочитывается огромный перечень прегрешений московского люда и основная цель страшного испытания — «да накажутся малодушніи и пріидутъ въ чювство» [Повесть о видении, стб. 183]. В нижегородском и владимирском видениях нет пространных перечней, но, как и в видении «мужу духовну», мотив греха напрямую связан с мотивом праведного гнева Божия: «отврати отъ нихъ праведный гнѣвъ свой», — молит умильным гласом Богородица Сына «вселюбезного» в повести протопопа Терентия; если покаются, «отвращу отъ нихъ праведный гнѣвъ свой»[224], — обещает Господь в нижегородском видении; исповедуй, — говорит жена в светлых ризах Мелании, — миру о необходимости покаяния, и тогда Господь «отвратитъ праведный гнѣвъ свой»[225]. Вне зависимости от способа указания на греховность людей во всех видениях звучит мысль о необходимости осознать порочность подобного поведения, которая ведет к преданию отдельных городов и, шире, всей земли врагу. Историософия такой трактовки бед, происходящих в Русской земле, восходит к Ветхому Завету, не говоря уже о многовековой литературной традиции, ведущей свое начало от «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. В частности, «Книга Судей описывает цикл, который многократно повторялся в домонархический период истории Израиля: отпадение народа от Бога — тяжелые многолетние бедствия как наказание Божие к вразумлению — покаяние народа и призыв к Богу о помощи — освобождение через судию — и многолетнее благоденствие, сочетающееся с богопочтением»[226]. В рассматриваемых видениях хорошо просматривается тесная взаимосвязь первых двух этапов цикла.

Во всех видениях именно высшие силы указывают способ избытия бед и очищения от греха. В финале видения «мужу духовну» мы узнаем, что Господь дает людям еще один шанс: «Тебе ради Мати моя пощажу ихъ, аще покаются…» [Повесть о видении, стб. 183]. О формах покаяния не сказано ни слова. Но произведение протопопа Терентия стало предвестником совершенного 20 февраля 1607 г. в Успенском соборе Московского Кремля уникального в истории русской церкви обряда прощения и разрешения всего народа от клятв, проведенного патриархами Гермогеном и Иовым с освященным собором, имевшего целью не только покаяние, но и единение народа и власти, пробуждение чувства

[224] Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире. Стб. 237.
[225] Там же. Стб. 241.
[226] *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния. Указ. соч.

«раскаяния и верности царю хоть на будущее время»[227]. В 1607 г. эта попытка нравственного оздоровления общества провалилась: спустя непродолжительное время большая часть войска Василия Шуйского перешла на сторону И. Болотникова. Но сама идея всенародного покаяния в грехах, единения путем искреннего очищения, провозглашенная впервые в «Повести» протопопа Терентия, не исчезла бесследно, как не исчезла и объявленная официальными властями форма всенародного покаяния: общенародный многодневный покаянный пост и соборование.

Таким образом, «второй этап покаяния» («обращение к Богу с просьбой о помиловании и прощении») и третий этап — «исповедание, при котором кающийся прибегает к различным формам выражения своего раскаяния», — не привели в 1606–1607 гг. к закономерному «этапу очищения», т. е. таинственному воздействию «благодати Божией на кающегося, при котором Бог исцеляет пораженную грехом природу, прощает грехи и дарует силы для делания добрых дел»[228]. Не привели потому, что все действия были «активированы» сверху, это было еще только «неоткристаллизовавшееся представление, которое спустя пять лет нашло свое окончательное выражение в организации земских ополчений»[229], а не истинное покаяние народа, совершаемое «с безмерной сердечной искренностью»[230].

В этом смысле появление нижегородского и владимирского видений, составленных на основе видения «мужу духовну», когда в общественном сознании в условиях иноземной интервенции созрела патриотическая идея единения всего народа, всех слоев общества для освобождения страны, закономерно. И не случайно именно в этих видениях существенное внимание уделяется формам покаяния. Если в видении «некоему мужу духовну» звучит общий призыв покаяться, то во владимирском и нижегородском видениях мотив покаяния конкретизируется путем указания на приемлемую форму: «Человѣче, проповѣждь по градѣ семъ, чтобъ приняли постъ и молитву съ покаяніемъ. <…> Да аще будетъ покаются что и вѣрою отъ всего сердца своего во всѣхъ грѣсѣхъ своихъ, и постятся, и молятся Богу три дня и три нощи неумолкно и не ядуще, не піюще, старыя и младые дѣти…»[231]; «…исповѣдай <…> чтобъ постилися и молилися со слезами…»[232]. Внутреннее раскаяние каждого представителя народа как необходимый элемент искреннего покаяния рассматривается как важнейшее условие для прощения, самый факт, что Господь говорит с «тайнозрителем» в нижегородском видении в образе крылатой птицы, расположившись на его груди, свидетельствует о том, что внутренняя чистота делает внешнее покаяние в форме строгого

---

[227] *Могилев М.С.* Русское духовенство в Смутное время. Петрозаводск: Олонец. губ. тип., 1905. С. 12.
[228] *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния. Указ. соч.
[229] *Прокофьев Н.И.* Видение как жанр в древнерусской литературе. С. 44.
[230] *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния. Указ. соч.
[231] Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире. Стб. 237.
[232] Там же. Стб. 241.

поста и молитв осмысленным (аналогичным образом прочитывается и указание на необходимость молиться со слезами во владимирском видении) и приводит к последнему этапу — «укоренению в добродетели», т. е. «предполагает уклонение раскаявшегося человека от прежних злых дел и делание противоположных дел добра»[233]. Первое «дело добра» тоже было заповедано в явленном видении — это построение храма в Москве, куда следовало перенести икону Владимирской Божией Матери.

И нижегородское, и владимирское видения получили широкий общественный резонанс, отразив вполне определенные патриотические настроения всего народа, осознавшего необходимость внутреннего и внешнего покаяния. Они были восприняты как прямое руководство к действию: тексты видений распространялись вместе с грамотами-воззваниями, и их широкое хождение в земском ополчении, приятие идей и их добровольная, а не инициированная сверху реализация привели к страстно желаемому катарсису — освобождению Москвы, а в дальнейшем и всей Русской земли от врагов, а также к обретению царя, угодного Богу и людям. В этом смысле искреннее покаяние всего народа обусловило и кардинальные перемены в жизни страны.

Таким образом, мотив покаяния, будучи центральным в рассмотренных видениях эпохи Смутного времени, восходя в своей основе к библейскому архетипу покаянного процесса, по-разному реализуется в нравственно-логических схемах в рамках заданной в текстах художественности. А сам зачинатель новой сюжетной разновидности публицистических видений, протопоп Терентий, предугадав в эпоху «нестроений» еще не осознаваемые отчетливо в 1606 г. духовно-нравственные потребности народа в покаянии, очищении и мире, сыграл не последнюю роль в грядущем победном возрождении народа и русской государственности, что нашло выражение спустя время, в 1611–1612 гг.

Тема же греха, появившаяся в первых памятниках цикла, получила развитие в других произведениях о Смуте. «Шаткость всего общества, шаткость боярства» — вот причины Смуты, по мнению автора «Новой повести о преславном Росийском царстве»[234]. В этом памятнике наблюдается, по справедливому суждению А.И. Яковлева, «переход к новой мысли: виноват в смуте не Борис или кто-нибудь другой, виноваты мы сами»[235]. «Плач о пленении» — это «момент превращения формулы “по грехам” в реальное суждение. <…> Понятие “греха” здесь дифференцировано <…>. Согрешили цари, а за грехи их наказано все общество»[236]. В попытках найти ответ на вопрос, «откуда пошла смута в Московском государстве», Иван Тимофеев приходит во «Временнике» к выводу, что всему причина молчание: «не смолчи мы в свое время перед злодеяниями Бориса, не

---

[233] *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния. Указ. соч.
[234] *Яковлев А.И.* «Безумное молчание». С. 658.
[235] Там же.
[236] Там же. С. 658–659.

было бы и зол Смутного времени»[237]. Ему вторит и «Сказание» Авраамия Палицына: «Всего мира безумное молчание»[238]. Рассуждения о том, «откуда пошла Смута и кто виноват в ней», встречаются, пишет А.И. Яковлев, «во многих других сказаниях, но они обычно замыкаются все в ту же безжизненную застывшую формулу, являясь вариациями на одну и ту же тему о Промысле, диаволе и грехах»[239]. Именно в таком ключе предстает один из главных топосов Смуты в «Рукописи Филарета», «Летописи о многих мятежах» и других поздних сочинениях.

5. Ощущение безысходности

Чем больше проходило времени с момента начала Смуты, чем больше страдало Московское государство в огне интервенции и гражданской войны, тем все чаще и чаще возникало в обществе ощущение безысходности.

Этим ощущением проникнута «Новая повесть о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском»[240], созданная на рубеже 1610–1611 гг.[241] Оппозиционно настроенный по отношению к боярству, анонимный автор именно с их «безумными», «глупыми» поступками связывает сиротство государства и народа. Он гневно осуждает «путь национального предательства, на который вступило московское боярское правительство» в 1610 г., «призывает соотечественников к вооруженному сопротивлению иноземным оккупантам», как справедливо отмечал С.К. Россовецкий в комментариях к «Новой повести о преславном Росийском царстве»[242]. Но сквозь эти осуждения и призывы прорывается неявно выраженный мотив безысходности. Это чувство рождается в ответ на то, что «земледержъцы» превратились в «землесъѣдцев» и «умъ свой на послѣднее безумие отдали, и к нимъ же, ко врагомъ, пристали <…> и государъское свое прирожение пременили в худое рабское служение, и покорилися, и поклоняются невѣдомо кому <…>. И тако тѣ наши благороднии зглупали и душами своими пали и пропали навѣки, аще от

---

[237] Там же. С. 659–662.

[238] Там же. С. 663.

[239] Там же. С. 664.

[240] Новая повесть о преславном Российском царстве // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 24–57. Комментарии к повести: С. 546–553. Далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[241] Взгляды ученых на датировку памятника разнятся. С.Ф. Платонов на основе анализа упомянутых в тексте исторических событий полагал, что «Новая повесть…» была составлена во второй половине декабря 1610 г. – начале января 1611 г. (См.: *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 275–280). Н.Ф. Дробленкова называет иную датировку — конец 1608 – начало 1609 гг. (*Дробленкова Н.Ф.* «Новая повесть о преславном Российском царстве» и современная ей агитационная письменность. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 239 с.). Я.Г. Солодкин считает, что памятник был написан не ранее февраля 1611 г. и не позднее 19 марта 1611 г. (*Солодкин Я.Г.* К датировке и атрибуции «Новой повести о преславном Росийском царстве» // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1981. Т. 36. С. 103–113).

[242] Новая повесть о преславном Российском царстве. С. 546.

того зла и худа на добро не обратятся. Горши же намъ всего учинили, что нас всѣхъ выдали, да не токмо выдали, ино заедино с ними, со враги, вооружилися вкупѣ, и хотятъ насъ всѣхъ погубити, и вѣру християнъскую искоренити» [Новая повесть, с. 46]. Ощущение безвыходности связано с болезненным переживанием предательства интересов государства теми, кто должен бы по чину защищать: «А сами наши земледержъцы и правители (нынѣ же, яко и преже рѣхъ, — землѣсъѣдцы и кривители), тѣ, яко ослѣпоша или онемотѣша, паче же рещи, не смѣютъ ни единъ тому врагу воспретити и великому государству ни в чемъ пособити» [Новая повесть, с. 52].

Предание интересов народа приводит к тому, что православные непрестанно терпят «гонение» и «утеснение»: «Всегда многимъ смертное посечение, а инымъ зѣлное ранение, а инымъ грабление, и женамъ безчестие и насилавание» [Новая повесть, с. 48]. Насмерть запуганные молчат «избраннии» представители боярства. Они хотя и «по всѣхъ по нас жалѣютъ», «но не могутъ ничево учинити и не смеютъ стати» [Новая повесть, с. 46]. Обираемый купеческий люд («куплъствуютъ не по цѣнѣ, отнимаютъ силно; и паки не цѣною цѣнятъ и сребро платят, но с мечемъ над главою стоятъ над всякимъ православнымъ християниномъ» [Новая повесть, с. 48]) тоже молчит, «не смѣет инъ и устъ своихъ отверсти, бояся смерти, туве живота своего сступается и толко слезами обливается» [Новая повесть, с. 48]. Не смеет, опасаясь, что враги могут «осиротити» его жену и детей, «межъ дворъ пустити или, будетъ всего того горши, — на позоръ дати» [Новая повесть, с. 54], открыть свое имя и автор повести-воззвания.

В ситуации такого «великого одоления» государства у всех православных христиан рождается стойкое ощущение сиротства и беззащитности: «…видѣ свое осиротѣнение, и беззаступление…» [Новая повесть, с. 48]. Но ни плач, ни душевные и телесные страдания, ни гибель родных и близких не подвигают народ подняться на борьбу с внешними и внутренними врагами: «А аще и плачемъ, аще и рыдаемъ, аще и в перси биемъ, аще и от сердца воздыхаемъ, и зелно ему досаждаемъ, а подвигу и радѣния не сотворяемъ, и къ богу не прибѣгаемъ, и его не умоляемъ, и над ними, враги, ничего не промышляемъ, и все в презорство пущаемъ, и сами в свою землю и вѣру злое семя вкореняемъ» [Новая повесть, с. 50]. Ощущение безысходности как следствие сиротства и беззащитности лишает народ внутренних сил, и в результате все говорят одно, а «в дѣлехъ вашихъ, господь вѣсть, что у васъ будетъ» [Новая повесть, с. 46].

В псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и отступлении Псковичъ от Московского государства…», созданной в 20-е гг. XVII в., автор неоднократно пишет о том, что странные на первый взгляд действия горожан во время Смуты обусловлены тем же чувством сиротства и ощущением безвыходности. Так, например, псковичи «не имѣющи же помощи ниоткуду, послаша въ Ливонскую землю къ пану

Хоткѣевичю Максима Карповского, дабы имъ помоглъ»[243] [О смятении и междоусобии, с. 70], «Гражане же Псковстіи недоумѣющеся, что сотворити и куда приклонитися, ниоткуду же помощи надѣющеся, понеже Москва бѣ за Литвою, а въ Новѣградѣ Нѣмцы, яко окружени отвсюду, и положиша на томъ, еже призвати къ собѣ ложного царя» [О смятении и междоусобии, с. 72].

И даже в частном «Послании дворянина к дворянину» и первую часть, где Иван Васильевич Фуников повествует «шутовским гаерским тоном»[244] о своих бедах от восставших крестьян, и вторую часть, в которой описываются в книжном стиле беды всей Русской земли, пронизывает ощущение безысходности. И чем сильнее балагурит в первой части послания автор, тем безвыходнее кажется его положение:

Да немало, государь, лѣтъ,
а разума нѣтъ, и не переписать своих бѣдъ.
Розванъ, что баранъ, разорен до конца, а сѣдъ, что овца.
Не оставили ни волосца животца, и деревню сожгли до кола.
Рожь ратные пожали, а сами збежали.
А нынѣ воистинну живем в погребище и кладем огнище,
а на ногах воистинну остались однѣ голенища, и обились голенища.
Зритель, государь, сердцам богъ: не оставили шерстинки,
ни лошадки, ни коровки, а в земли не сѣяно ни горстки.
Всего у меня было живота корова, и та не здорова.
Видит богъ — сломило рогъ.
Да богъ сердца вѣсть — нечего ѣсть[245].

Перечисляя во второй части беды, постигшие Московское государство, Иван Фуников неоднократно замечает, что он «не всѣ беды и разорения» описал, ибо «умъ» его не может их все «постигнути или писанию предати»[246], ибо превосходит его плач о земле Русской и Вифлеемский плач, и плач жителей Херсонеса: «Превосходит бо плач нашъ паче Вифлеомскаго плача, там обо токмо едини младенцы убиваеми бываху и се число прииде, здѣ же старии и совершении умом и боголѣпныи образом и юннии лѣты и образом и всяк

[243] О смятении и междоусобии и отступлении Псковичъ от Московского государства… // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 66–73. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[244] *Буланин Д.М., Панченко А.М.* Фуников Иван // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т – Я. С. 188.

[245] Послание дворянина к дворянину // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 534.

[246] Там же. С. 535.

возрастъ не пощадѣнъ бысть. Превосходит воистинну и Херсонскаго Устиниянова убиения: там обо токмо един град страдаше, здѣ же не мала часть вселенныя в запустѣние положись»[247].

Гиперболизм сравнений, подкрепленный объяснением, создает в «Послании дворянина к дворянину» масштабную картину бед и скорбей страны, в которой личная драма автора — лишь один из немногих частных примеров, из которых и рождается трагическое ощущение безысходности, ибо нет ни одного человека, ни одного города, которые бы не были «разорены и пожжены», «восхищени», «раздробляеми»[248].

Один из памятников, в которых наиболее полноценно реализуется мотив безысходности, — «Повесть о некоей брани…»[249]. Посвященная событиям 1608 г., она была написана неким Евстратием после восшествия на престол Михаила Федоровича Романова. Биографических сведений об авторе сохранилось крайне мало, и, по сути, единственный достоверный источник их — это текст самой «Повести…», из которого следует, что в 1608 г. Евстратий «служил в Посольском приказе»[250]. С.Ф. Платонов, несмотря на то что ему не удалось обнаружить ни в приказной, ни в церковной среде деятеля по имени Евстратий Стефанов, полагал, что автор «Повести…» «открыл читателям свое “прямое”, церковное имя и отчество, а в жизни действовал под иным, житейским прозвищем»[251]. Его гипотезу поддержал А.А. Назаревский, утверждавший, что вскоре после описанных в «Повести…» событий автор постригся в монахи[252]. О.А. Белоброва, сопоставив три известных списка «Повести…», пришла к заключению, что автора следует искать «не в деловых и не в церковных кругах», а «среди образованных книжников рубежа XVI–XVII столетий»[253]. Исследовательница привела довольно веские аргументы в защиту того, что автор «Повести о некоей брани» и составитель и переписчик Азбуковника начала XVII в. (ГПБ, Q. XVI. 21) Евстратий — одно лицо. Позднее, отталкиваясь от исследования О.А. Белобровой, Г.П. Енин также пришел к выводу, что «“Стефанов” не имеет отношения к автору “Повести о некоей брани”»[254].

---

[247] Там же.

[248] Там же.

[249] Первая публикация материала этого раздела: *Туфанова О.А.* Мотив безысходности в «Повести о некоей брани» // Макариевские чтения. Священные войны России. Можайск: ООО «ИПК Р+Парето-Принт», 2013. Вып. XX: Материалы XX Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. С. 436–444.

[250] *Енин Г.П.* Евстратий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 1: А – З. С. 285.

[251] Повесть о некоей брани, с предисловием проф. С.Ф. Платонова // Старина и новизна. Исторический сборник, издаваемый при обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. Кн. 15. С. 24.

[252] *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести... С. 149–150.

[253] *Белоброва О.А.* К изучению «Повести о некоей брани» и ее автора Евстратия // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1970. Т. 25. С. 152.

[254] *Енин Г.П.* О Выдубецком списке «Повести о некоей брани» и ее авторе // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 243.

По своему содержанию «Повесть…» примыкает к жанру видений, поскольку основу ее «составляет рассказ о знаменательном видении, которое имело место за несколько лет до ее появления»[255]. Летом 1608 г. Евстратий, посланный вместе с немецким толмачом Посольского приказа Григорием Кропольским из осажденной Москвы «во многіе грады съ царскими епистоліями на собранія чина воинского въ сопротивленія»[256] [Повесть о некоей брани, стб. 254] войску «тушинского вора», Лжедмитрия II, оказался свидетелем необычной брани облаков в виде противостоящих друг другу льва и змея, окруженных различными зверями и малыми змеями и готовых «единъ единого восхити и разтерзати» [Повесть о некоей брани, стб. 255].

Обращение автора «Повести…» к жанру видения с целью выражения политических симпатий[257] — явление отнюдь не редкое в цикле сочинений о Смуте. Более того, именно в начале XVII в. видения выделяются в самостоятельный жанр[258]. Д.И. Успенский, одним из первых обратившийся к изучению видений и знамений Смутного времени, отмечал, что никогда ранее в истории Руси «не появлялось столько рассказов о чудесном, никогда до такого напряжения не доходила мистическая настроенность русского народа, и без того, как известно, никогда не переставшего видеть чудесные видения и слышать таинственные голоса»[259], как в эпоху Смутного времени. «Фантастические образы призрачного мира, — пишет Д.И. Успенский, — как бы сходились на борьбу с новыми нарождавшимися политическими идеями. Видения Смутной эпохи не только показатель тогдашней психической настроенности народа, но вместе с тем, в известной степени, и характеристика народного политического самосознания…»[260]. Среди таких видений, которые, по мнению исследователя, являются лишь показателем «психической настроенности народных масс»[261], — видение ночного дворцового караула 1602 г., видения в «Сказании» Авраамия Палицына, видение преподобного Иринарха. Рассматриваемый нами памятник Д.И. Успенский причисляет к группе видений «политического характера, которые появляются лишь с развитием событий Смуты»[262].

Действительно, в эпоху Смутного времени видения начинают восприниматься и использоваться не только как один из наивысших способов откровения, но и как средство

---

[255] *Енин Г.П.* Евстратий. С. 285.

[256] Повесть о некоей брани // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 249–260. Здесь и далее текст «Повести о некоей брани» цитируется по этому изданию с указанием источника и столбцов в квадратных скобках.

[257] *Енин Г.П.* Евстратий. С. 286.

[258] *Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков... С. 141.

[259] *Успенский Д.И.* Видения Смутного времени // Вестник Европы. 1914. С. 135.

[260] Там же.

[261] Там же.

[262] Там же. С. 167.

политической пропаганды[263]. Г.П. Енин указывал, что автор «Повести о некоей брани» был явным приверженцем царя Шуйского и «выразил свое расположение к бывшему монарху, поместив его полный, торжественный титул и генеалогическую справку, согласно которой Василий Шуйский был прямым преемником русских царей», а говоря о его свержении, «откровенно» выразил «сожаление о его судьбе и осуждение в адрес заговорщиков»[264].

Вместе с тем не следует, на наш взгляд, сводить смысл видений исключительно к политическим симпатиям и антипатиям авторов, поскольку чудо в первую очередь представляет собой «определенный метод интерпретации событий»[265], выполняет «функцию толкования истории в периоды кризисов», выступая «как экстремальный резерв социальной адаптации» и демонстрируя психологическое и нравственное «состояния общества в периоды социальных катаклизмов»[266]. По мнению Н.И. Прокофьева, видения, «более тонкий легендарный жанр, чем, скажем, “чудеса”», представляют собой идеологическую, художественную форму «выражения и представления идей»[267]. В этом смысле «Повесть о некоей брани» как раз и является отражением народных представлений о противостоянии Василия Шуйского и Лжедмитрия II. Причем как сама народная оценка противостояния, так и рассказ о событиях 1608 г. не имеют яркого выражения в произведении, «идея» оказывается глубоко сокрытой, завуалированной. Возможно, поэтому С.Ф. Платонов дал весьма жесткую оценку «Повести…», назвав ее историческую ценность ничтожной и отказав автору в литературном даровании, поскольку памятник «не обладает ни внутреннею стройностью, ни внешней правильностью изложения»[268].

Внешне «Повесть…» в самом деле не отличается стилистической однородностью, на что неоднократно указывали исследователи, диаметрально противоположно оценивая этот факт. Начало «написано языком торжественных грамот того времени. Рассказ о разорении России, “видение” и его истолкование, выраженное в диалогической форме, изложены, по словам А.А. Назаревского, сравнительно “простым, но все же книжным языком, с обилием славянизмов”. Завершают стилистическую характеристику Повести патетические восклицания автора, книжные сравнения, многочисленные цитаты из библейских текстов и заключительная молитва, в которой находится традиционная, уничижительная формула с

---

[263] В частности, Д.С. Лихачев полагал, что видения представляли собой «остро политические произведения, рассчитанные на то, чтобы заставить читателей безотлагательно действовать…» (*Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков... С. 141).

[264] *Енин Г.П.* Евстратий. С. 286.

[265] *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа // *Лосев А.Ф.* Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 147.

[266] *Кузнецов Б.В.* Видения и знамения в контексте массовых представлений в Смутное время в России. URL: http://www.portal-slovo.ru/history/43770.php (дата обращения: 12.02.2012).

[267] *Прокофьев Н.И.* «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII века... С. 9.

[268] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 304.

просьбой Евстратия к читателям не бранить его за возможное “недостаточноумие”»[269]. Однако, несмотря на обилие разностилевых фрагментов, отражающих желание автора, по выражению С.Ф. Платонова, «следовать литературной вычурности своего времени»[270], композиционная структура «Повести…», по мнению Г.П. Енина, «проникнута внутренней логикой»[271], объясняющей присутствие автора в месте, где случилось видение[272].

Принимая утверждение исследователя о внутренней логике архитектоники «Повести о некоей брани», мы вместе с тем не можем согласиться с его объяснением. Разностилевые фрагменты «Повести…» объединяются мотивом безысходности, отражающим именно народное восприятие событий 1608 г.

На первый взгляд доминантным мотивом в «Повести…» является, как и во многих других памятниках эпохи Смуты, мотив греха, появляющийся уже в пространном названии: «Счинена повѣсть сия о нѣкоей брани, належащей на благочестивую Росію грѣхъ ради нашихъ…» [Повесть о некоей брани, стб. 249]. И далее, в предисловии к рассказу о видении, автор вводит сопутствующий ему мотив наказания, утверждая, что Господь «за нечестіе же милостивно наказуя, приводя ко спасенію всяко свое созданіе», «наказуя насъ овогда гладомъ, овогда огненными запаленіи, овогда же безбожнымъ нахоженьми, и межиусобною бранію, и прочими таковыми…» [Повесть о некоей брани, стб. 250]. И поскольку русские люди «согрѣшиша отъ главы до ногу, сіирѣчь, отъ великихъ и до нижайшихъ», то «таковый грѣхъ не можетъ очиститися ничимъ же, точію огнемъ и мечемъ и прочими таковыми, яко же содѣяся во дни наша» [Повесть о некоей брани, стб. 250]. С.Ф. Платонов, первым обративший внимание на особенность мировосприятия автора, глубоко убежденного в «неизбежности скорого небесного возмездия за грехи»[273], писал: «Но в своем изложении автор не развивает этой мысли: он прямо переходит к описанию своего видения, и хотя часто отвлекается от него, но не для того, чтобы убедить читателя в греховности русских людей, и не для того, чтобы показать им всю картину заслуженных ими бедствий»[274]. Действительно, ни перечислений грехов русских людей, как, например, в «Повести о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия, ни широкой исторической картины изображения бедствий в тексте нет. Отсутствует даже более или менее обстоятельный рассказ о том, как была осаждена Москва, о противоборстве Василия Шуйского и «тушинского вора» и т. д. Ничего этого в «Повести…» нет, да и, очевидно, не могло быть, поскольку мотивы греха и наказания используются автором для решения иной идейно-художественной задачи — показать необходимость и неизбежность наказания.

---

[269] *Енин Г.П.* Евстратий. С. 286.
[270] Повесть о некоей брани, с предисловием проф. С.Ф. Платонова. С. 22.
[271] *Енин Г.П.* Евстратий. С. 287.
[272] Там же.
[273] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести… С. 116.
[274] Там же.

Именно эту неизбежность в трансцендентном плане и безысходность положения русских людей в человеческом, психологическом отношении автор «Повести…» обозначил финальной фразой в предисловии: «И таковый грѣхъ не можетъ очиститися ничимъ же, точію огнемъ и мечемъ и прочими таковыми, яко же содѣяся во дни наша» [Повесть о некоей брани, стб. 250].

Греховность русских людей, принятая как константа Смутного времени, предполагает только один путь — избытие греха, — а по сути, неизбежность беды; страдания, смерть, реки крови необходимы. Эта мысль находит свое развитие после упоминания в «Повести…» об осаде «тушинским вором» Москвы: «…и мнози падутъ отъ меча; крови же человѣческія, яко водныя источницы, течаше и земля трупіемъ мертвыхъ, яко древіемъ и листвіемъ, покрышася, и главы, яко класіе, по земли валяхуся» [Повесть о некоей брани, стб. 253]. Привычная для древнерусских книжников и читателей формульность описания масштабности трагедии снимает в данном случае эмоционально накаленное восприятие рассказа о событии и сосредоточивает внимание на главном — на дóлжности, неизбежности противостояния Василия Шуйского и Лжедмитрия II, влекущего гибель и страдания людей.

Острота факта, обозначенного традиционными речевыми формулами, снимается и за счет того, что само противостояние царя и самозванца толкуется как исполнение евангельского Христова слова: «И збышася Евангельское Христово слово, якоже речеся: “востанетъ царьство на царьство, языкъ на языкъ, и будут труси и пагубы, и страхованія по мѣстомъ”» [Повесть о некоей брани, стб. 253]. До этого автор буквально одним предложением расшифровывает, что вкладывается в понятие одного из противостоящих «царств»: «И совокупя множество воинъ, Поляковъ, и Литвы, и Угрянъ, и Черкасовъ Запорожскихъ, и прочихъ языкъ, пришедше подъ царьствующій градъ Москву, и сташа отъ Москвы 12 верстъ по Можайской дорогѣ, именуемо весь Тушино, понеже то мѣсто вельми крѣпостно, и учиниша тамо съ таковымъ злохитрстнымъ своимъ, царемъ, лживымъ царемъ Димитріемъ свои Литовскіе таборы» [Повесть о некоей брани, стб. 252].

В этой характеристике «царства» Лжедмитрия II нет ни одного «живого», «нетрафаретного» (в данном случае имеются в виду речевые характеристики, ставшие уже к моменту написания «Повести…» клишированными) слова, кроме единственной бытовой детали, почему было избрано в качестве места стояния Тушино — «понеже то мѣсто вельми крѣпостно». Еще более безжизненно-литературно выглядит описание деяний войска Лжедмитрия II: «И разліяшася, яко вода, и разсыпашася, яко прахъ, по Російскому царьствію, и устремишася, яко неуталимая ехидна, и яко зміи прелютіи, яко злiи волцы, и кровопивцы, христіанскому роду губителіе, по градомъ и по честнымъ обителемъ и по весемъ…» [Повесть о некоей брани, стб. 252–253]. Приемы описания действий

Лжедмитрия II и его войска практически полностью дублируют приемы характеристики личности и деяний Лжедмитрия I, которые обнаруживаются в ряде памятников, например, в «Повести, како восхити царский престол Борис Годунов…», «Ином сказании», «Временнике» Ивана Тимофеева и др. Но, в отличие от них, в «Повести о некоей брани» характеристика «царства» Лжедмитрия II, представленная каскадом сконцентрированных в одном предложении традиционных негативных сравнений, поддерживаемых глагольной рифмой, ими и ограничивается, выполняя сугубо атрибутивно-оценочную роль: «царство» Лжедмитрия II однозначно определяется как «чужое», «неправославное», сеющее смерть.

В древнерусской литературе «чужое» всегда противопоставляется «своему» пространству, которое имеет исключительно положительные характеристики. В «Повести о некоей брани» «чужому» «царству» Лжедмитрия II противополагается «свое» «царство» Василия Шуйского. При этом формально характеристика В.И. Шуйского по объему существенно превышает скудную информацию о Лжедмитрии II. Однако пространное титулование, заимствованное из грамот того времени, также не содержит «живого» слова, как не отличается оригинальностью подачи материала и рассказ о генеалогии В.И. Шуйского, поскольку подобного рода пассажи обнаруживаются в ряде других памятников, созданных в поддержку царя. Следовательно, подобная сухая, трафаретная характеристика В.И. Шуйского не может служить доказательством того, что автор «Повести…» был приверженцем бывшего монарха, как утверждал Г.П. Енин. Скорее, перед нами две трафаретно-безликие характеристики двух противников, противопоставляемых в целом по трем критериям: законный – незаконный, пришлый; православный – неправославный, нехристь; свой – чужой. Соответственно, рождается и определенное однозначное восприятие двух «царств» и двух противников: В.И. Шуйского и его царства как положительного, Лжедмитрия II и его «царства» как отрицательного. Но эта положительность и отрицательность, носящие условный характер, проявляются только в сопоставлении «царств» друг с другом, и не более того. В «Повести…» через трафареты скрытно выражается авторское негативное отношение и к Шуйскому, и к Лжедмитрию II, совпадающее с общенародной точкой зрения. Согласно многим источникам, народ не принял В.И. Шуйского, несмотря на его принадлежность к древнему царскому корню, законность и пр., поскольку он не был избран всенародно. Дьяк Иван Тимофеев и вовсе причисляет В. Шуйского к разряду самозванцев, «наскочивших» на царство, и ставит его в один ряд с Б. Годуновым, Лжедмитрием I. В «Повести о некоей брани» автор словно уравнивает по значимости в истории Московского государства В. Шуйского и Лжедмитрия II, поскольку «царства» обоих воспринимаются как исторически необходимая реализация евангельского пророчества для избытия беды.

Одинаково изображаются эти царства и на символическом уровне в самом видении. По толкованию Григория Кропольского, «левъ превеликій — то есть нашъ благочестивый христіанскіе вѣры поборникъ, царь и великій князь Василій; окрестъ же его звѣріе — его подручьники <…> змій же прелютый и прегордый — Тушинской царь коварственный, лживый царевичь Димитрій, а окрестъ его множество змій — споборатели съ нимъ…» [Повесть о некоей брани, стб. 256]. В толковании находит подтверждение и высказанная нами ранее мысль о критериях противополагания двух «царств»: если царство Шуйского представляют «православніи народи», то царство Лжедмитрия II — «окоянніи… богоотметніи языцы» [Повесть о некоей брани, стб. 256].

Выбор образов льва и змия, увиденных в очертаниях облаков, тоже вполне традиционен для цикла сочинений о Смутном времени. Практически во всех памятниках самозванцы уподобляются змию, образ которого возводится либо к змию из Ветхого Завета, увлекшего в грехопадение первых людей, либо к змию из Апокалипсиса, грозящего гибелью мира. Сложнее дело обстоит с образом льва, имеющим в древнерусской литературе диалектическую традицию использования: он может восприниматься и как символ положительный, что восходит в своей основе к Библии, и как символ отрицательный, что также находит отражение в корпусе библейских текстов. Но в цикле сочинений о Смуте лев выступает исключительно как символ глубоко отрицательный и применяется только по отношению к самозванцам. Вряд ли Евстратий, писавший «Повесть…» уже в эпоху правления Михаила Федоровича Романова, не был знаком с подобной традицией использования символов в памятниках Смуты, тем более что весь его текст служит как раз подтверждением, что он был человеком начитанным и умело применял устойчивые, отлитые в готовую форму к моменту окончания Смуты изобразительно-выразительные средства. Следовательно, лев был выбран в качестве символа царя Василия Шуйского отнюдь не случайно: в положительном своем значении он противопоставлен отрицательному змию, что в свою очередь поддерживает условное разделение «царств» на положительное и отрицательное. Исходное расположение фигур и сопровождающие их эпитеты в видении также подчеркивают эту антитезу: «…зрю льва, звѣря зело превелика и пречюдна, одесную страну стояща, а ошуюю страну, прямо его, недалече, змія прелюта и прегорда, стоящихъ неподвижно…» [Повесть о некоей брани, стб. 255]. С другой стороны, в отрицательном своем значении символ льва приближает нас к пониманию истинного авторского отношения к В.И. Шуйскому, что в видении подчеркивается и центральным положением фигур льва и змия, и идентичным расположением вокруг них подданных: «…а окрестъ льва великого множество звѣрей различными образы, зміи же прелютаго окрестъ множество змій малыхъ» [Повесть о некоей брани, стб. 255].

Произведение имеет название «Повесть о некоей брани», но именно брань и не изображается ни на символическом уровне, в видении, ни в реальности, на уровне повествования о событиях. В видении лев и змий, готовые растерзать друг друга, так и не вступают в поединок, они исчезают каждый сам по себе: «…змій опружишася выспрь ногами и нача помалу изчезати, левъ же припаде на чрево и нача помалу убывати…» [Повесть о некоей брани, стб. 255]. Истолковавший видение Григорий Кропольский так объясняет их исчезновение: «…оба изгибше, левъ и змій, и прочіи окрестъ звѣріе и зміи такожде — то есть показуетъ вскорѣ обоимъ царемъ будетъ измѣненіе и прекращеніе, а ни единъ кождого не одолѣетъ» [Повесть о некоей брани, стб. 256]. Завершает это толкование рассказ автора о реальных событиях, произошедших далее: Лжедмитрий II был убит Петром Урусовым, а Василия Шуйского свергли его же подручники, насильно постригли в монахи и «къ Полскому и къ Литовскому къ Жигимонту королю отдаша» [Повесть о некоей брани, стб. 256].

Таким образом, символы льва и змия в облачном видении показывают, что Василий Шуйский и Лжедмитрий II, как и их царства, равно малы, равно неправы и равно бессильны. Их величие и устрашающий вид — одна только видимость: было и исчезло. Историческая ситуация, изображенная в видении, демонстрирует отсутствие реальной политической силы в стране, царишек много, а настоящего царя нет, нет героя, способного избыть беду, нет Человека. Собственно говоря, неявно выраженный мотив безысходности и отражает это глубоко спрятанное, но трагически переживаемое в этот период времени чувство безлюдья, отсутствие Человека, который бы смог объединить раздираемую интервентами и гражданской войной (ведь в лагере Лжедмитрия II были не только иностранцы, но и подданные Московского государства) страну.

Желаемый катарсис оказывается невозможен: в 1608 г. страна оказалась фактически на грани уничтожения, а последующее в дальнейшем явление семибоярщины, междуцарствия как нельзя лучше демонстрирует безвыходность ситуации, в которой оказались русские люди. На трансцендентном уровне это и есть продолжение того страшного очищения, которое должно было пройти Московское государство, чтобы избыть грех. Не случайно автор «Повести о некоей брани» завершает сюжетную часть своего произведения надеждой на то, что Господь «по доволнѣмъ наказаніи» отвратит «отъ насъ гнѣвъ своего праведнаго прещенія…» [Повесть о некоей брани, стб. 257]. В заключительной же пространной молитве автор страстно просит от имени всей земли о настоящем православном царе: «…способствуй вѣрному слузѣ своему, православному царю нашему, и христолюбивому его воинству храбрость и помощь и одолѣніе подаждь на видимыя и невидимыя враги наша…» [Повесть о некоей брани, стб. 258]. Это не только просьба о подаче храбрости и помощи вновь избранному всей Русской землей царю

Михаилу Романову, первые годы правления которого отнюдь не были спокойными, это и прошение о явлении настоящего, сильного Человека, который смог бы заградить Россию от любой «брани», в применении ко времени 1608 г.

Таким образом, при всей «бесхитростности»[275] этой «Повести…», распадающейся на не связанные, казалось бы, друг с другом стилистические фрагменты, она скрытно, но достаточно определенно выражает ощущение безвыходности, безнадежности, растерянности, которое испытывали русские люди в описываемый период времени, вследствие отсутствия на политическом олимпе страны Человека, который действительно отвечал бы русскому православному представлению об истинном царе, защитнике, освободителе, объединителе разобщенных сил народа.

***

Итак, памятники первой трети XVII в., посвященные событиям Смутного времени, представляют собой макроцикл, главным структурообразующим элементом которого становятся события 1598–1613 гг. Сквозные темы (роковой вины царей и самозванцев, греха и покаяния и др.), идеи (идея «Божьего батога», «богоустановленности царской власти», патриотизма и др.), мотивы (например, безысходности) обеспечивают внутреннее единство разножанровых произведений как цикла. Различие идеологических позиций, с которых освещаются те или иные события Смуты, не исключает использования в разных памятниках сходных приемов и способов изображения исторических событий[276] и лиц[277]. Так, например, в целом ряде произведений по отношению к одним и тем же историческим лицам разные книжники применяют одни и те же символические сравнения. Одно из таких «типовых» сравнений — это сопоставление Бориса Годунова с древним змием и со Святополком Окаянным[278], другим постоянным символом-сравнением является уподобление Гришки Отрепьева либо «кровоядному лвичищу» и змию, либо Юлиану Отступнику[279].

Произведения, входящие в макроцикл, делятся на две группы в зависимости от времени создания, предназначения, полноты и специфики освещения событий. Первую

---

[275] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. // История русской литературы: в 10 т. / ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 2, ч. 2: Литература 1590–1690 гг. С. 50.

[276] См. главу 4 Приемы изображения исторических событий.

[277] См. главу 5 Приемы изображения исторических лиц.

[278] О сравнении Годунова со Святополком Окаянным см. подробнее: *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 582–583.

[279] О сравнении Гришки Отрепьева с Юлианом Отступником см. подробнее: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 99.

группу составляют публицистические памятники, созданные в период Смуты и представляющие собой отклики очевидцев на события. Агитационная направленность сочетается в них с первыми попытками осмыслить события 1598–1612 гг. Ко второй группе относятся исторические сочинения о Смуте, написанные в последующие два десятилетия. В них, как правило, на широком диапазоне событий ушедшей эпохи авторы пытаются дать историко-философский, литературно-художественный анализ главной темы макроцикла — темы Смуты. Идеи, темы и мотивы, впервые появившиеся в памятниках первой группы, находят свое дальнейшее развитие и углубление в произведениях второй группы.

Обилие же исторического материала, стоящего в центре внимания книжников, приводит к тому, что внутри макроцикла, под которым понимается ряд произведений, посвященных Смутному времени, выделяются микроциклы, которые формируются либо вокруг какого-либо исторического лица, либо вокруг события, поразившего современников. Самыми значительными среди них являются микроциклы, посвященные князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, царевичу Дмитрию, Лжедмитрию I, голоду 1601–1603 гг. во время правления Бориса Годунова, народному ополчению и князю Д.М. Пожарскому и Кузьме Минину. В их состав могут входить как отдельные памятники, посвященные конкретным историческим лицам и событиям, так и фрагменты и целые главы в составе обобщающих сочинений о Смуте, в том числе и в составе летописцев. Другим структурообразующим элементом для микроцикла может служить сквозная тема. Одна из таких важных циклообразующих тем — урбанистическая. Ей и будет посвящена вторая глава нашего исследования.

Глава 2 Трагедия городов как трагедия людей: цикл в цикле

В разных памятниках трагические истории городов Московского государства предстают как трагедии людей и составляют отдельный микроцикл, по сути, цикл в цикле. И если корпус сочинений о Лжедмитрии I и феномене самозванства, о смерти и погребении князя М.В. Скопина-Шуйского довольно хорошо изучен, о чем свидетельствуют, например, работы Е.Н. Кушевой[1], В.П. Адриановой-Перетц[2], И.Ю. Серовой[3], С.В. Лихолата[4], М.Г. Лазуткиной[5], Г.П. Ламкиной[6], А.С. Логиновой[7], не говоря уже о неоднократно цитированной работе С.Ф. Платонова и многих других исследованиях, то тема трагедии городов земли Русской как трагедии людей не получила освещения в трудах филологов.

Удивительной особенностью цикла сочинений о Смутном времени является вплетение в контекст повествования о современных трагических событиях своеобразных «портретов» городов земли Русской. Это не портреты в собственном смысле данного термина. В русских сочинениях о Смуте, за редким исключением, отсутствуют подробности городского ландшафта. Степень актуализации и разработки темы и образа того или иного города разнится в памятниках. Да и сама урбанистическая тема занимает в целом периферийную позицию. Интервенция, гражданская война, череда царей и самозванцев на русском престоле — вот основные события, которые оказывались в центре внимания всех авторов, писавших в первой трети XVII в. о Смуте. Но сквозь эти генеральные линии повествований просвечивает иная тема. История Смуты показывается время от времени в памятниках сквозь призму истории городов Русской земли, но истории, рассказанной фрагментарно, порой и вовсе намеченной рядом событий или представленной одним-единственным событием. Такая разрозненная мозаичность, с одной стороны, не позволяет проследить в полном объеме все события, всю историю жизни того или иного упоминаемого в памятниках города на протяжении всего периода Смутного времени. С другой стороны, жизнь конкретного города представляется наиболее ярким трагическим событием в его истории.

---

[1] *Кушева Е.Н.* Из истории публицистики Смутного времени XVII века. С. 65–95.

[2] *Адрианова-Перетц В.П.* Исторические песни XVII века и устное народное творчество // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 9. С. 67–96.

[3] *Серова И.Ю.* Новые списки Повести о М.В. Скопине-Шуйском // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 1992. Т. 45. С. 44–46.

[4] *Лихолат С.В.* Сказание о Гришке Отрепьеве как историко-публицистический памятник начала XVII века // Збірник наукових праць аспірантів в філології Київського держ. ун-ту. 1963. № 18. С. 46–52.

[5] *Лазуткина М.Г.* Формирование художественного образа самозванца Лжедмитрия I в русской литературе XVII–XIX веков. Указ. соч.

[6] *Ламкина Г.П.* Самозванство в XVII веке: идеологическое и социально-политическое содержание: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2012. 28 с.

[7] *Логинова А.С.* Провинциальные «лжецаревичи» Смутного времени и отражение самозванчества в русской общественной мысли первой трети XVII века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Нижневартовск, 2004. 25 с.

«Реальные образы»[8] (Н.П. Анциферов) городов вовсе не встречаются в русских сочинениях; из иностранных авторов, писавших о русской Смуте, панорамное описание внешнего облика отдельных русских городов обнаруживается лишь в сочинении П. Петрея[9], в произведениях других авторов: И. Массы[10], Ж. Маржерета[11], К. Буссова[12] и др. — отмечаются лишь отдельные, поразившие воображение иностранцев детали городской архитектуры. Основное же направление раскрытия урбанистической темы в русских и иностранных сочинениях о Смуте определяется конкретными историческими событиями, к которым тот или иной автор проявляет интерес. Города во всех этих случаях выступают чаще всего как географический указатель, а их жители оцениваются с политической точки зрения в их отношении к правящим царям и самозванцам. Вместе с тем в ряде источников отдельные города, благодаря ярко выраженному авторскому[13] неравнодушному отношению к их судьбе, начинают выступать в роли полноценных художественных образов. Многолетняя история Смуты и судьбы людей раскрываются в крупных произведениях очень часто сквозь призму локальных топосов. При этом в сочинениях как русских, так и иностранных авторов отсутствуют полноценные поэтапные рассказы об истории городов в течение всего периода Смутного времени. Исключение, пожалуй, составляет история Москвы как «сердца», «ока» Московского государства, которая вырисовывается благодаря фронтальному прочтению большинства источников. История остальных городов и характеристика их жителей даже в крупных историко-публицистических произведениях представлена фрагментарно, рассказ о них в большинстве случаев обусловлен конкретными, значимыми для того или иного автора событиями Смуты, а порой и вовсе ограничивается одним коротким фрагментом, посвященным одному событию и выписанным в соответствии с тем или иным жанровым каноном.

---

[8] *Анциферов Н.П.* Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций / сост., подгот. текста, послесловие Д.С. Московской. М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2009. С. 30.

[9] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии / Исаак Масса. Петр Петрей. М.: Фонд Сергея Дубова. Рита-Принт, 1997. С. 151–464. Далее текст цитируется по данному изданию.

[10] *Масса И.* Краткое известие о Московии // Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск: Русич, 2003. С. 77–256. Далее текст цитируется по данному изданию.

[11] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского // Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск: Русич, 2003. С. 10–76. Далее текст цитируется по данному изданию.

[12] *Буссов К.* Московская хроника // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 9–158. Далее текст цитируется по данному изданию.

[13] О склонности древнерусских книжников давать оценки описываемым событиям см., например: *Иванова М.В.* Древнерусская житийная традиция как основа последующей русской прозы // Функциональная семантика, семиотика знаковых систем и методы их изучения. М.: РУДН, 2009. С. 186–189.

1. «Око земли Русской»: портрет Москвы эпохи Смутного времени[14]

«Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» — писал А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»[15]. Эти слова, сказанные великим русским поэтом в XIX в., как нельзя более точно отражают отношение русских людей к Москве в эпоху Смутного времени. Сквозь весь цикл сочинений первой трети XVII в. лейтмотивом проходит тема и образ Москвы. Обзор источников выдает, пусть и невольно, особое отношение к столице и особое ее восприятие в контексте истории страны.

С образом «царствующего» города связано довольно большое количество тем: это география и архитектура, социально-экономические особенности жизнедеятельности, социальный состав москвичей и особенности бытовой жизни, голод в Москве 1601 г., чудеса и видения во время правления Лжедмитрия I, осада и разорение столицы в 1606, 1608–1610, 1611 гг., возрождение после восшествия на престол Михаила Федоровича Романова и др.

Наиболее полно в памятниках Смуты представлены темы, связанные с внешним обликом города, пережившего пожары и реконструкцию времен Бориса Годунова, а также разорение поляками в 1611 г. и возрождение после воцарения Михаила Федоровича Романова.

В публицистике, агитационных и исторических сочинениях, мемуарах, путевых заметках, оставленных как русскими, так и иностранными авторами, Москва предстает как полноценный персонаж, чей облик непрестанно менялся. Каков же исторический портрет Москвы, увиденный глазами сочинителей разных социальных сословий, профессий?

Русские источники о Смуте не дают подробного или краткого *описания города*, в отличие от иностранных текстов, что обусловлено и разными целями авторов, и особенностями жанров, и разницей исходных позиций повествователей. Для русских текстов агитационно-публицистической направленности характерен взгляд как бы изнутри событий, взгляд, исполненный боли, а порой и отчаяния. Потому в них редко встречаются бытописательские картины, если это только не касается нарушения традиционных обрядов. Например, бытовые сцены весьма часто появляются у русских авторов в связи с описанием жизни Лжедмитрия I в Москве, но подаются они сквозь призму идеи развенчания ложного царя в качестве демонстрации его «антиповедения», поведения «не по чину».

---

[14] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Образ Москвы в литературе эпохи Смутного времени // Литература Древней Руси и Нового времени. Сборник материалов VIII научно-практической конференции «Древнерусская литература и литература Нового времени», посвященной памяти профессора Николая Ивановича Прокофьева. М.: МПГУ, 2015. С. 94–113.

[15] *Пушкин А.С.* Соч.: в 3 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 2: Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения. С. 307, гл. VII, строфа XXXVI.

Иностранные авторы, ставя перед собой цель описать события Смуты, свидетелями которых они вольно или невольно оказались, занимая позицию сторонних наблюдателей, даже если они и являлись непосредственными участниками событий, описывали природу и жизнь России, быт и нравы ее жителей, веру и богослужебные обряды, особенности правления и государственного устройства как представители другой культурной среды, которых поражала и удивляла неизвестная Московия. Об этом, в частности, писал придворный историограф, шведский дипломат, агент личной канцелярии герцога-правителя Карла IX, четыре года прослуживший в Москве (к. 1601 – к. 1605), позже дважды приезжавший в Москву (1608 и 1611 гг.) в качестве дипломатического курьера П. Петрей, полагавший, что иностранцы располагают весьма скудными сведениями о Русской земле, поскольку никому из чужеземцев, кроме послов, не дозволялось свободно путешествовать по ней и потому, что «сами жители ее невежественный, грубый и варварский народ, иностранным языкам не учатся, а только свой считают первым <…> и никого не допускают любопытствовать о своих делах и поступках»[16].

В стиле путевых заметок знакомят своих читателей иностранные авторы с *особенностями топографии и архитектуры Москвы*. Жак Маржерет (1550-е гг. – после 1618 г.) — француз по происхождению, профессиональный солдат-наемник, дважды нанимавшийся на службу в России (первый раз — 1600–1606, второй раз — 1608–1611) сначала к Борису Годунову, Лжедмитрию I, позже к Лжедмитрию II и польскому королю Сигизмунду III, — в своей книге «Состояние Российской державы и Великого княжества Московского» приводит краткое описание общего плана застройки города. По его словам, «Москва — город обширный, посередине ее протекает река, которая гораздо шире нашей Сены. Весь город окружен деревянной оградой, а окружности, как я полагаю, более чем Париж; внутри его находится другая стена в половину менее первой, не переходя, однако ж, за реку. Затем имеется из кирпича еще третья, окружающая все каменные купеческие лавки. Сверх того, есть крепость, построенная при Василии Ивановиче, родителе Ивана Васильевича, одним итальянцем»[17].

Пространное описание Москвы первой четверти XVII столетия, построенное по принципу от главного к второстепенному и от общего к частному, снабженное богатым фактическим материалом, дает П. Петрей в «Истории о великом княжестве Московском». В отличие от Ж. Маржерета, охарактеризовавшего столицу Московии в самых общих чертах, П. Петрей весьма внимателен к мельчайшим деталям географии, внешнего облика. Он начинает свой рассказ о Москве с самого ее сердца: «На самом высоком месте, посреди города, построена четвероугольная крепость из кирпича и извести; у русских называется

[16] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 154.
[17] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы... С. 26.

она иначе и ограждена глубоким рвом и крепкою стеною…»[18]. А затем переходит к рассказу о стратегически важных объектах: о реках, протекающих через город, их направлении, о водяных мельницах, рвах и оборонительных стенах. Последнее описывается детально, и описание выдает в авторе человека, хорошо знакомого с военным искусством: «У рва построена крепкая стена, в 10 футов толщины, со множеством бойниц и башен; между каждою башнею бастион, тоже с бойницами, да и везде по стене до самой земли внизу проделаны отверстия, чтобы солдаты и военные люди могли стоять там и обороняться длинными пиками, копьями, каменьями и другим оружием, употребляемым при нападениях, приступах и покорении городов. Ниже этой укрепленной стены построена еще другая, где находится множество больших пушек, таранов и разной величины мортир»[19].

Кратко описав главные достопримечательности крепости (дворец великого князя, большой колокол, женский и мужской монастырь с пятью церквами), Петрей приступает к подробной характеристике трех частей или округов города. Последовательно, с обязательным указанием оборонительных сооружений, их толщины, оборудования шведский дипломат описывает Китай-город, Большой город или Скородом, Стрелецкий город или Горбат. В каждом московском округе Петрей выделяет самые важные, с его точки зрения, объекты. В Китай-городе его внимание привлекли «красивой постройки церковь», «называемая Иерусалимом»[20], и княжеская оружейная. В Большом городе он отметил великокняжескую литейную на реке Неглинной, где льют пушки и колокола. В Стрелецком городе его заинтересовали высокие башни, на которые «привозят пушки, когда приближается неприятель»[21].

Практицизм и стремление дать максимально точное представление о Москве приводят к тому, что он подробнейшим образом описывает, какие товары продаются на каждой улице. Например, из 20 торговых улиц Китай-города в «Истории…» охарактеризованы 12; приведем короткий пример: «На одной можно покупать разные пряности, благовония; на другой разное сукно и полотно всяких цветов и красок…»[22] и т. д. При этом Петрей не единожды отмечает, что на каждой московской улице встречаются свои, особые товары, не повторяющиеся на других.

Дав представление в целом о внешнем облике Москвы, оба иностранных автора переходят к описанию особенностей московского домостроительства. П. Петрей отдельно характеризовал высокие деревянные дома знати и курные избы бедняков. О деревянной

---

[18] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 159.
[19] Там же.
[20] Там же. С. 159–160.
[21] Там же. С. 160.
[22] Там же.

застройке Москвы писал и Ж. Маржерет: «Город застроен деревянными домами; каждый дом только в два этажа, но с большим двором, для предупреждения пожара, которые весьма часто бывают»[23]. Оба автора упомянули и о состоянии московских дорог, указав, что главные улицы вымощены деревянными досками[24].

Поразительным показалось и то, что в Москве встречаются «большие луга, порожние места, много деревьев и увеселительных садов»[25]. Не случайно П. Петрей развенчивает ошибочное представление иностранцев о том, что в России, и в частности в Москве, не растут ни плодовые деревья, ни зелень.

Многих иностранцев Москва поражала большим количеством церквей. Кто-то, как Ж. Маржерет, только констатировал этот факт: «В ней (в Москве. — *О.Т.*) много церквей каменных, четыре из которых покрыты золоченой медью. <…> За последнее время построено много каменных церквей, деревянных же церквей имеется бесчисленное количество…»[26]. Другие, как П. Петрей, стремились поразить воображение читателей, называя их число: «Церквей, монастырей и часовен внутри и вне города до 4500…»[27]. При этом свидетельства иностранных авторов существенно расходятся в указании их количества. Так, К. Буссов в «Московской хронике» упоминает иное число: «…во всех церквях (каковых в Москве около 3000…)»[28].

Еще большее удивление вызывало обилие колоколов. П. Петрей весьма эмоционально указал на это отличие русских церквей от немецких: «…не встречается также ни одной церкви, на которой не висело бы по крайней мере четырех или пяти колоколов, на других даже 9 или 12, смотря по величине церкви, так что, когда эти колокола зазвонят все вместе, поднимается такой звон, что никак нельзя расслышать друг друга»[29]. Информативно сухо об этом же факте писал и К. Буссов: «…на каждой колокольне по крайней мере 5 или 6, а смотря по церкви, и 10 или 12 колоколов…»[30].

Если описание географии и особенностей застройки Москвы встречается только в отдельных иностранных источниках, то *тема украшения Москвы во время правления Бориса Годунова* звучит во многих русских и иностранных сочинениях. Но оценки сделанного им напрямую зависят от особенностей восприятия самого царя Бориса.

Одни авторы документально сухо констатируют самый факт, не указывая, что конкретно было построено в этот период времени в Москве, за исключением упоминания о строительстве оборонительной стены. Таково, например, сообщение И. Массы: «Борис

---

[23] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы... С. 26.
[24] Там же. С. 26; *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 161.
[25] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 161.
[26] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы... С. 26.
[27] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 161.
[28] *Буссов К.* Московская хроника. С. 62.
[29] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 161.
[30] *Буссов К.* Московская хроника. С. 62.

воздвиг вокруг Москвы большую стену, называемую царскою стеною, сложена она была из белого плитняка и проходила близ вала, который повелел насыпать Иван Васильевич…»[31].

В других сочинениях иностранных авторов короткое сообщение об украшении Москвы открывает ряд перечислений, что и где было возведено во время правления Годунова. Например, в этом ключе рассказывает об украшении Москвы немецкий наемник на русской службе К. Буссов, предваряя повествование указанием на желание русского царя прославиться таким образом: «В общем, этот Борис стремился так править, чтобы его имя восхваляли во многих землях, а в его земле была тишина и подданные благоденствовали бы. Он возвел и укрепил много городов и крепостей в стране. Весь большой главный город Москву он велел украсить и укрепить высокой и толстой обводной стеной из тесаного камня, а также обнести такой же очень высокой стеной толщиною в 23 фута город и крепость Смоленск…»[32]. Аналогичным образом трактует этот факт П. Петрей: «Вообще этот великий князь старался своим правлением приобрести себе великую славу и имя у иноземных народов и заботился о пользе и благосостоянии подданных. Он поправил и построил не только много зданий и домов в Москве и Смоленске, но и толстые крепкие стены…»[33]. В обоих памятниках тема строительства в Москве, ее украшения открывает ряд перечислений, носящий в целом довольно схематический характер, поскольку в нем указываются только самые крупные постройки, произведенные в Московии в период правления Годунова. Кроме того, оба автора сосредоточивают внимание на строительстве оборонительных сооружений, новых городов-крепостей.

На этом фоне выделяются «Мемуары из русской истории» архиепископа елассонского и димоникского Арсения. Автор последовательно перечисляет сделанное Борисом Годуновым именно в Москве, уделяя особое внимание деталям украшения, в качестве материала для которых чаще всего используется золото. Особый подбор глагольной лексики, постоянные упоминания о красоте построек, многочисленные повторы говорят о восхищении автора богатством и красотой сооружений: «Он возобновил и *украсил* многие церкви и монастыри, храм Богородицы, патриархию покрыл железною крышею, *украсил*, возвысил и *покрыл золотом* большую колокольню, в большом дворце внутренние *палаты золотые расписал живописью*, *воздвиг* вновь большой дворец близ реки Москвы, *построил* большой мост в средине Москвы со многими камарами, еще *воздвиг* с основания большой храм иже во святых отца нашего Николая чудотворца в Москве на Арбате, *устроил* много *сребровызолоченных рак*, *украсив* их многочисленным *жемчугом* и *драгоценными камнями* <…> *устроил* и другие многие *ковчеги из чистого*

[31] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 39.
[32] *Буссов К.* Московская хроника. С. 62.
[33] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 283.

золота и положил в них все святые [частицы] мощей <…>. Этот же царь *устроил плащаницу* с изображением Господа Христа с Божиею Матерью, двенадцатью апостолами и Иосифом и Никодимом *из чистого кованного золота, тонкой работы, достойной удивления*. На изображение Господа Христа пошло *чистого золота* 200 литр и на каждого апостола по 200 литр. Он же *отлил* два колокола, один для Москвы в патриархию, в который звонят в великие праздники, а другой в монастырь святой Троицы. Подобной величины и такой *красоты* нельзя найти в другом царстве во всем мире. Он возобновил и *украсил* девичий монастырь близ Москвы и совершил многочисленные другие *прекрасные дела и украшения*»[34] (курсив мой. — *О.Т.*).

Об украшении Москвы Борисом Годуновым писал в «Повести о житии царя Федора Ивановича» и Иов, митрополит Московский и всея Руси с 11 декабря 1586 г., первый русский патриарх, посвященный в сан в кремлевском Успенском соборе 25 января 1589 г., сведенный с патриаршего престола в июне 1605 г. приверженцами Лжедмитрия I. Неподдельное восхищение автора содеянным выражается и путем сравнения Москвы с невестой, и лексическими повторами слов «красота», «величие», и через употребление слов с приставкой *пре-*: «И самый царьствующи богоспасаемы град Москву, *яко* некую *невѣсту, преизрядною лепотою* украси: многия убо в нем *прекрасные* церкви *камены* созда и *великие* полаты устрои, яко и зрѣние их *великому удивлению* достойна; и стены градные окрестъ всея Москвы *превелики камены* созда и *величества* ради и *красоты* проименова его Царьград; внутрь же его и полаты купѣческии созда во упокоѣние и снабдение торжникомъ…»[35] (курсив мой. — *О.Т.*) [Повесть о житии, с. 88]. Несмотря на отсутствие в данном описании конкретики, что и где было сооружено, в нем, благодаря постоянным упоминаниям о том, что все сделано из камня, подчеркивается основательность построенного, что было весьма актуально для деревянной Москвы, которая часто страдала от пожаров.

В отличие от архиепископа Арсения и патриарха Иова, Элиас Геркман — голландский поэт, проживавший в России при царе Михаиле Федоровиче, автор «Исторического повествования о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем», написанного в 1625 г. с опорой на рассказы очевидцев Смуты, — иронично-зло описал замысел царя Бориса построить «церковь, которая своим видом и устройством

---

[34] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 174–175.

[35] *Иов.* Повесть о житии царя Федора Ивановича // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 74–129. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

походила бы на храм Соломона»[36], увидев в этом намерении исключительно желание увековечить свое имя. Укрепляя читателя в этой мысли, Э. Геркман приводит и курьезный пример с изваянием ангела из чистейшего золота, которое Годунов хотел поставить в еще недостроенный храм: лицо этого ангела должно было походить на лицо царя[37].

О роскошном убранстве и величии Москвы начала XVII столетия можно судить и по лирическому «Плачу о пленении и о конечном разорении Московского государства». Произведение было написано неизвестным русским автором в 1612 г., после сожжения столицы и взятия Смоленска. Здесь совершенно иной тон и стиль повествования, что обусловлено не только особенностями жанра. Здесь каждое слово исполнено боли. Здесь Москва — не только и не столько «царствующий» град, сколько «самой земли око»[38] [Плач о пленении, с. 132]. И потому здесь, в отличие от текстов иностранных авторов, редко, когда топоним Москва появляется без сопроводительной лексики «царствующий град» или дополнительных высоких положительных эпитетов: «высокоименитыи и преславно царъствующии град Москва» [Плач о пленении, с. 132], «царствующии и преимянитыи град Москву» [Плач о пленении, с. 142]. Этот же принцип именования города встречается и в других русских источниках; например, в «Повести о житии царя Федора Ивановича»: «царьствующи богоспасаемы град Москву» [Повесть о житии, с. 88]; в «Летописной книге»: «превеликой Москвѣ»[39] [Летописная книга, с. 358].

В «Плаче о пленении…» Москва, как и все Московское государство, ассоциируется со светом. Уже в названии появляются эпитеты света и далее используются в качестве постоянных на протяжении всего текста: «превысокаго и пресвѣтлѣйшаго Московъскаго государства», «преславныя ясносияющия превеликия России» [Плач о пленении, с. 130], «пресвѣтлым и предивнымъ государъством», «Како твой <…> град Москва <…> вселѣннѣй свѣтлость угасе?» [Плач о пленении, с. 132] и т. д. Былое величие и богатство Москвы в «Плаче…» явлено рядом риторических восклицаний, построенных на приеме синтаксического параллелизма с использованием явных и скрытых элементов цветописи: «Колики быша царския многоцѣнныя полаты, внутрь златомъ украшении и шары доброцвѣтущими устроены! Колико сокровищь чюдныхъ царскихъ диадимъ, и

---

[36] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 218.

[37] Там же.

[38] Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 130–145. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[39] *Шаховской С.И.* Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 358–427. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

пресвѣтлыхъ царскихъ багряницъ и порфиръ, и камения предрагаго, и всякаго бисера многоцѣннаго бысть преисполнено! Какови быша доми благородныхъ — двоекровныя и троекровныя, богатством и честию кипящая!» [Плач о пленении, с. 130–132].

Резко контрастируют с этими красочными описаниями убранства Москвы *картины разорения города во время трагических событий 19 марта 1611 г.* Противоречивы свидетельства русских и иностранных источников о том, кто был зачинщиком. По мнению К. Буссова, «сам патриарх — зачинщик всего мятежа и подстрекает народ к тому, чтобы, раз в Вербное воскресенье мятеж не состоялся, поднять его на Страстной неделе»[40], кровавую бойню же начали сами московиты. Архиепископ елассонский и димоникский Арсений отмечал, что «без всякого совета или боярского согласия русских или поляков или богатых хороших людей, было учинено восстание немногими неизвестными людьми, людьми без роду и племени, глупыми и пьяными холопами»[41]. Э. Геркман, путаясь в датировке (он называет датой разорения 24 марта 1612 г.), утверждал, что поляки, извещенные о намерении русских освободить город и Кремль, «придумали для своей защиты следующее»: утром, часов в 9 или 10, «вышли из Кремля» и «напали с оружием в руках»[42].

Иначе о событиях вторника Страстной недели повествуют русские авторы. Например, автор «Плача о пленении…», как величайший трагический момент в русской истории, описывает вступление в Москву в сентябре 1610 г. поляков, умысливших «разорити средоградия стѣны, и погасити славу христоимянитаго царствующаго града» [Плач о пленении, с. 142]. Та же самая мысль звучит и в «Летописной книге» С.И. Шаховского[43], и в «Хронографе 1617 года»[44].

Разорение Москвы и в русских, и в иностранных сочинениях описывается при помощи одних и тех же мотивов огня, пролития крови, смерти, разграбления, но степень развития их разная. В русских текстах эти мотивы тесно переплетены друг с другом и носят в основном обобщенно-лапидарный характер. В иностранных источниках мотивы конкретизированы, описание расцвечено бытовыми подробностями.

Лаконично, в общих чертах описывается разорение Москвы в «Хронографе 1617 года»[45]. Болью и негодованием пронизан рассказ автора «Плача о пленении…» о разграблении и сожжении Москвы поляками и немцами в Страстную неделю Великого поста[46]. Благодаря концентрации на сравнительно небольшом текстовом фрагменте

---

[40] *Буссов К.* Московская хроника. С. 150.
[41] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории. С. 189.
[42] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском… С. 253.
[43] *Шаховской С.И.* Летописная книга. С. 408.
[44] Из хронографа 1617 года. С. 350.
[45] Там же.
[46] См.: Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства. С. 142–144.

специфической лексики рождается ощущение бесповоротного уничтожения города и его жителей, а вместе с ним и «превысокаго и славою превознесеннаго царства падение» [Плач о пленении, с. 142].

Рассказ о разорении Москвы предваряет ряд эмоциональных горестных восклицаний: «горе, горе! увы, увы! ох, ох!» [Плач о пленении, с. 142]. Это впечатление становится более острым при сопоставлении начала и конца «Плача…», имеющего двойное композиционное кольцо. Первое, наиболее явное, — типичные для жанра плача, сходные по тематике и стилистике риторические восклицания (начало: «Откуду начнемъ плакати, увы! толикаго падения преславныя ясносияющия превеликия России?..» [Плач о пленении, с. 130]; финал: «И кто не исполнится от християнъ плача и рыдания?..» [Плач о пленении, с. 144]). Второе, скрытое, — два описания «ока» земли Русской, построенных на приеме антитезы: в начале — описание роскошного, богатого убранства столицы, в финале — жуткие картины опустошения.

Более пространное и эмоциональное описание разрушения Москвы представлено в «Летописной книге» С.И. Шаховского. Контрастно оттеняет светозарный пейзаж утра вторника Страстной недели свершившуюся трагедию. Умиротворенная картина раннего утра предстает в сиянии солнечного света [Летописная книга, с. 408]. Естественны и спокойны «людие ж грацкие», которые, «по обычаю своему, изшедше из домовъ своих: на церковное правило, овии ж на куплю» [Летописная книга, с. 408]. Резким диссонансом врывается в эту гармоничную слитность природы и москвичей описание нервных, «неистовых», стремительных действий поляков, переданных с помощью жесткой глагольной лексики разрушения и смерти: «Поляцы ж <…> дыхая на пролитие крови и на восхищение <…> сокровища <…> оружия препоясают, и на кони <…> восходят, и <…> пламень <…> возжигают. И елика людей обрѣтают, и <…> мечем погубляют, и богатество <…> грабятъ, церковная здания раскопавают, отроковицы <…> из домовъ изводят и поимают в жены себѣ не в завѣщателном соузе…» [Летописная книга, с. 408].

Здесь, как и в других русских текстах, трагическое «пленение» города изображается в тесной взаимосвязи мотивов огня, смерти, разграбления, растления. Но в этом памятнике повествование достигает высокого эмоционального накала другими средствами: и благодаря глубине развития вышеназванных мотивов[47], и за счет введения дополнительных

[47] Например, в «Летописной книге» более развит мотив смерти. Впервые он появляется в этом фрагменте в общем ряду рассказа о действиях поляков. Если вначале они посекали мечом только тех людей, кого находили, то затем весь город исполнился криков убиваемых: «Вопль убо велий избыточествуетъ повсюду от гласов убиваемых <…> всѣхъ смерти предают и разсужение возраста не имѣютъ…». Кульминационное развитие мотив смерти достигает в череде риторических восклицаний, построенных от общего к частному и обратно (от общей трагедии города к частным судьбам людей и обратно). От изображения картины всеобщего убийства [«Оле, великое падение бысть и убийство!»] Шаховской переходит к изображению трагедии отцов и матерей, видящих гибель своих детей [«пред отцы сынове убиваеми, живота гонзнуша… О, бѣдныя матери, великою болѣзнию сердецъ ваших внутренняя разсѣкаяте, зане чад ваших

сквозных мотивов. В частности, это проявляется в том, что рассказ о падении Москвы в «Летописной книге» пронизывает многозначный мотив величия, который и способствует отчасти созданию особой трагедийной эмоциональности. Он находит выражение в эпитетах, сопровождающих название города. Если до этого момента Шаховской употреблял либо просто топоним Москва (например, «град Москву» [Летописная книга, с. 408], «на Москвѣ» [Летописная книга, с. 382]), либо сопровождал его типичным для русской литературы начала XVII столетия словосочетанием «царствующий град» [Летописная книга, с. 366, 382, 384, 386 и т. д.], то в этом повествовании имя Москва на протяжении всего отрывка неизменно слито с эпитетом «великая»: «…великий царствующий град <…> вся великая Москва <…> на великую Москву <…>. О, преславная, наипаче, превеликая Москва <…> превеликая Москва <…> Превелицая Москва…» [Летописная книга, с. 408–410]. Этот отсвет величия распространяется и на городские сокровища («великого сокровища») и богатства («богатество велие»), и на здания («великия полаты», «стрѣлницы высокия» [Летописная книга, с. 408]). Величию города соответствует и великое его разрушение. Поляки, задумавшие уничтожить город, «подкладаниемъ огненым, пламень велий возжигают» [Летописная книга, с. 408]. Падение Москвы тоже изображается как «великое». Матери, оплакивающие гибель своих детей, испытывают «великою болѣзнию сердецъ».

Величие трагедии подчеркивает и другой повторяющийся эпитет — «вечный». Патриарх, увидев злобность поляков, во все города Российской державы отправлял послания, чтобы не дали «в расхищение и в вѣчное падение царствующаго града Москвы» [Летописная книга, с. 408]. Во время уничтожения города поляки юных прекрасных отроковиц «повинующе <…> вѣчной срамотѣ и работѣ» [Летописная книга, с. 408]. Свершившееся в Москве привело к «конечному разорению» и «домов <…> вѣчному падению» [Летописная книга, с. 410].

Не менее эмоционально описание разорения Москвы у Арсения Елассонского. Название главы вторит русским источникам: «Разорение великого и царствующего города Москвы. Увы, горе!»[48] Неподдельным сожалением исполнены и риторические восклицания, завершающие рассказ о трагических событиях: «О, какое разрушение произошло в славной и великой Москве! Царица и госпожа многих городов сделалась поношением и уничижением у многих народов!»[49]

чресла зрите изторгаема и по *удом* раздробляеми. И толико *возможете изнести* слез в разорении чад ваших, их же разсѣкают немилостивно кровавыи мечи!»]. И затем снова возвращается к общему, говоря о погибели всего рода московского: «О роде слепый и жестокия смерти невѣдуще! <…> От них же ныне зристе *конечное разорение* и домов своих вѣчное падение!»

[48] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории. С. 189.

[49] Там же. С. 191.

Типичные в рассказе о падении Москвы мотивы огня, разграбления и смерти приобретают в текстах иностранных авторов иной характер. Так, например, мотив огня в сочинении Арсения Елассонского сводится к констатации факта, кем был совершен поджог и что было сожжено: «Рабы польские, поджегши внешнюю большую крепость, при сильном ветре, сожгли множество домов и церквей. Пламя едва к вечеру потухло, пожигая дома и церкви»[50]; на следующий день «снова подожгли и сожгли внешнюю большую крепость <…> пылали дома и церкви»[51]. В отличие от русских источников, А. Елассонский распространяет этот мотив и на людей: «народ и все жители Москвы были истреблены <…> огнем <…> бежали <…> более всего от огненного пламени…»[52]. Но и в этом случае он носит в основном ознакомительно-информативный характер.

Аналогичным образом использован мотив огня в «Историческом повествовании…» Э. Геркмана, в котором он напрямую сопряжен с характеристикой действий поляков: «Затем из Китай-города они (поляки. — *О.Т.*) ворвались в город [Кремль], зажгли его с четырех сторон, наконец вернулись снова в Китай-город и затворили его [ворота]»[53]; «На следующий день поляки <…> снова подожгли со всех сторон город, быстро вернулись в Китай-город и затем в Кремль»[54].

В обоих памятниках встречается одна и та же деталь, отсутствующая в русских сочинениях. Оба автора упоминают о сильном ветре, бывшем 19 марта 1611 г., но комментируют этот факт по-разному. Если в изображении А. Елассонского сильный ветер, способствовавший распространению пожара, — трагическое стечение обстоятельств, то для Э. Геркмана сильный ветер, раздувший пламя, превратившее город «в груды тлеющих углей», — справедливая кара Божия. К этому выводу голландский поэт приходит на основании того, что «поляки, бывшие в Кремле и Китай-городе, находящиеся в центре пылавшего города, не пострадали ни от дыма, ни от искр. Отсюда [москвитяне] должны были бы лучше понять судьбы Божии, так как они слепы в делах веры. Явление ветра могло бы невольно заставить их осязательно почувствовать, справедлива ли кара Божия…»[55]. Аналогичную, провиденциальную, трактовку уничтожения города огнем дает и К. Буссов: «Нашим воинам помогал и ветер и огонь, и куда бы московиты не отступали, за ними гнались ветер и пламя, и ясно было, что Господь Бог хочет покарать их за кровавые убийства, клятвопреступления, лихоимство и эпикурейское содомитство»[56].

---

[50] Там же. С. 189.
[51] Там же. С. 190.
[52] Там же.
[53] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах… С. 253.
[54] Там же. С. 254.
[55] Там же.
[56] *Буссов К.* Московская хроника. С. 153.

В большей части источников XVII столетия причины поджога Москвы замалчиваются, что является, очевидно, следствием отсутствия действительных знаний о реальных событиях тех двух дней. В русских текстах прослеживается неявно выраженная, но довольно прямолинейная причинно-следственная связь: поляки задумали уничтожить «царствующий» город — и подожгли его. Метод простой и действенный, ведь Москва имела в основном деревянную застройку. Среди иностранных сочинений выделяется «Московская хроника» К. Буссова, где приводится вполне рациональное, если, конечно, это слово вообще применимо к событиям тех времен, объяснение: «московиты» соорудили на улицах «шанцы», через которые не могла пройти конница, и тогда полковник Борковский «приказал поджечь на всех улицах угловые дома»[57]. На следующий день в Москву пришел из Можайска пан Струсь с 1000 отборных конников, которые «стали рыскать по городу, где им вздумается, жечь, убивать и грабить все, что им попадалось». Немецкие солдаты, сровняв с землей Чертолье, отправились на другую сторону Москвы-реки и «тоже подожгли шанцы и все дома, до которых они не могли добраться»[58].

Разными художественными средствами реализуется в русских и иностранных сочинениях и мотив разграбления. В русских текстах он имеет двоякое проявление: либо мотив носит схематический характер, когда автор лаконично сообщает о разграблении города, сводя рассказ к констатации факта; либо основное внимание уделяется разграблению царских сокровищниц, но и в этом случае бытовая подробность воспринимается, скорее, как художественная «изюминка», нежели как специфический прием. В иностранных текстах, в сравнении с русскими источниками, мотив разграбления представлен более развернуто. В них всегда сообщается, кто грабил, где и что. Именно такая схема реализации мотива использована А. Елассонским: «…одни солдаты убивали народ, другие грабили дома и церкви. <…> солдаты учинили бесчисленные грабежи: они ограбили и разрушили центральную часть города, церкви, базар, все лавки и боярские дома. Лавки разрушили до основания, отыскивая сокровища»[59].

Эта же схема лежит в основе мотива разграбления в «Московской хронике» К. Буссова: «Воинские люди захватили в этот вечер в ювелирных и других лавках огромную и превосходную добычу золотом, серебром, драгоценными каменьями, жемчугом, дорогими украшениями, парчой, бархатом, шелком и т. п.»[60]. Но здесь автор, вообще склонный к дотошному изложению, уделяет большое внимание, какую именно добычу искали солдаты, поэтому его повествование отличают довольно длинные перечни и склонность к конструкциям с разными рядами однородных членов. Особенно ярко эта

[57] Там же. С. 151.
[58] Там же. С. 153.
[59] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории. С. 190.
[60] *Буссов К.* Московская хроника. С. 152.

особенность реализации мотива видна в рассказе о последующих за трагическими московскими событиями 14 днях «дикого» разгула: «Так как в течение четырнадцати дней не видно было, чтобы московиты возвращались, воинские люди только и делали, что искали добычу. Одежду, полотно, олово, латунь, медь, утварь, которые были выкопаны из погребов и ям и могли быть проданы за большие деньги, они ни во что не ставили. Это они оставляли, а брали только бархат, шелк, парчу, золото, серебро, драгоценные каменья и жемчуг. В церквах они снимали со святых позолоченные серебряные ризы, ожерелья и вороты, пышно украшенные драгоценными каменьями и жемчугом. Многим польским солдатам досталось по 10, 15, 25 фунтов серебра, содранного с идолов, и тот, кто ушел в окровавленном, грязном платье, возвращался в Кремль в дорогих одеждах…»[61].

В отличие от других русских и иностранных авторов, К. Буссов детализирует, что именно было похищено из царской сокровищницы: «Семь царских корон и три скипетра, из них один – из цельного рога единорога, очень богато украшенный рубинами и алмазами, а также несказанно много редкостных драгоценных изделий…»[62]. Наконец, Буссов, один из немногих авторов, упоминает о расхищении богатейшей царской казны. Ее богатство подчеркивается и поэтическими, и прозаическими средствами: «…на расхищение свою богатую казну (которая неисчислима, а для многих — невероятна). Из нее оплатили все королевское воинство до 1612 г.»[63]

В результате всех этих преступных действий иноземцев «великий царственный город», по словам А. Елассонского, «был совершенно доведен до убожества»[64].

Иностранные источники умалчивают о дальнейшей судьбе города, делая основной акцент на положении поляков, оказавшихся в осажденной русскими войсками под предводительством П. Ляпунова Москве.

Что же касается русских сочинений, то и в них эта тема практически не развивается. Исключение, пожалуй, составляет «Летописная книга», где тема гибели Москвы прочно связана с идеей национального гнева и возрождения. Не случайно в этом памятнике описывается состояние русских людей, узнавших, что «Превелицая Москва разрушена бысть и раскопанна» [Летописная книга, с. 410]. О падении Москвы услышали «во всѣхъ градѣхъ московских», и оплакали это поражение «вси людие» [Летописная книга, с. 410]. Повтор местоимений «всех», «все» приоткрывает не выраженное явно в тексте особое отношение к Москве русских людей. Падение «царствующего» города не только вызвало плач во всей стране, но и побудило русских людей сплотиться и подняться на борьбу с общим врагом. Воевода и управитель Рязанской земли Прокопий Ляпунов «от града своего

[61] Там же. С. 154–155.
[62] Там же. С. 154.
[63] Там же.
[64] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории. С. 190.

востает, множество воин собирает»; другое войско, под предводительством Дмитрия Тимофеевича Трубецкого «восташа от града Колуги»; «и тако иныя воини под воеводством <…> Ивана Заруцково»; вслед за ними и другие воеводы и начальники «от всѣхъ градов востают скоро» [Летописная книга, с. 410]. Параллелизм синтаксических конструкций, использование одного и того же глагола «восстают», а также кольцевое употребление местоимений «всех», «все» в данном периоде как бы сжимают время и создают ощущение стремительности объединения всех русских сил, поднявшихся на «отомщение враговъ своих».

Незадолго до этого, во время правления Василия Шуйского, Москва уже переживала тяжелую осаду войсками Лжедмитрия II, о чем упоминает в своем «Сказании» Авраамий Палицын. Скупо, без живых деталей и подробностей описывается в памятнике бедственное положение города: «…ради неимѣниа всяких потребъ конечнѣ град Москва во озлоблении бывает», «Царствующий же град Москва <…> всяко колеблется…»[65] [Сказание А. Палицына, с. 166]. Тем более значимым становится в «Сказании» обобщенный образ «доброхотствующих по правде», желающих помочь «царствующему» городу. Немногим удавалось это сделать, ибо «труден <…> путь бывает отвсюду приходити к Москвѣ всѣмъ доброхотъствующимъ по правдѣ: облегоша бо врази царствующий град вокругъ, и на всѣхъ путѣхъ хотящеи к нему притекати побиваеми бываютъ», «И прилежащеи убо отвсюду пути полских ради приходов затвержены бывают» [Сказание А. Палицына, с. 166].

И тем не менее Москва не осталась без помощи: огромную поддержку городу оказывал, по словам А. Палицына, Троице-Сергиев монастырь, да и вообще вся Россия. Палицын приводит довольно продолжительный перечень земель, пришедших на помощь Москве: «Иже бо к морю на полнощь живущии людие на краех Студеного моря и Окиана къ царству всякъ промыслъ возвѣщаютъ и способляют. От Великого бо Новаграда, и от Вологды, и по Двинѣ рѣцѣ до моря, и на востокъ вся Сибѣрская земля и яже за нею вси способствоваху к Москвѣ. Такоже и от Нижегородския земли и от Казани вси безизмѣнно служаще» [Сказание А. Палицына, с. 166–168]. Есть в «Сказании» и объяснение единения людей в желании «способствоваху» Москве: «Вся же Росиа царствующему граду способствующе, понеже обща бѣда всѣмъ прииде» [Сказание А. Палицына, с. 168].

Ранее в памятнике А. Палицын отмечал, что вся Россия мучительно страдает от ложных царей, что нещадно разоряются «тушинским вором» все русские города. Бедственное положение осажденной Москвы в этой длинной цепочке несчастий кажется лишь одним из звеньев разыгравшейся в пределах Русской земли трагедии. Но именно это

[65] Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 162–281. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

звено и является одним из важнейших, а может, и самым важным, поскольку беда царствующего города воспринимается повсеместно, согласно «Сказанию», как «обща бѣда всѣмъ», а раз она общая, то и бороться с ней надо сообща.

Таким образом, и А. Палицын, и С.И. Шаховской утверждают идею значимости Москвы для всей Российской державы, падение и горестное положение «ока» земли Русской воспринимается как общерусская трагедия, в которой таятся и зачатки грядущего возрождения. Не случайно разрушение «великой» Москвы вызывает у всех, согласно русским источникам, желание отомстить за нанесенное оскорбление и приводит к консолидации всех русских сил для борьбы с интервентами. Не случайно и то, что в ряде русских текстов Москва именуется «матерью городов русских». Например, в «Хронографе 1617 года» Москва изображается как женщина, которая состарилась, осиротела в тяжких бедах, но снова превратилась в «предобрую отроковицу и преукрашенную невѣсту» после восшествия на престол Михаила Федоровича Романова: «Преславное же и великое мѣсто и многонароднаго христианства селение, еже есть мати Русъским градовом Москву, юже от невѣрныхъ латинъ пленениемъ запустошенную и от русских мятежниковъ тяжким озлоблением состарѣвшуюся и осиротѣвшую, паки младозрачну тогда, аки предобрую отроковицу и преукрашенную невѣсту сотвори» [Хронограф, с. 356]. К сожалению, ни в русских, ни в иностранных источниках не встречается ни краткого, ни подробного описания восстановления разрушенной Москвы, поэтому приходится довольствоваться только символическим изображением, созданным автором «Хронографа 1617 года».

Итак, обзор сочинений эпохи Смутного времени показывает различное восприятие Москвы русскими и иностранными авторами. Для большинства иностранцев Москва — это просто «царюющий» город «варварской» Московии, поражающий своими несметными богатствами, лакомая добыча для наемных солдат. И потому в их сочинениях Москва изображается то в стиле путевых заметок, рисующих подробности градостроительства наряду с бытовыми картинами, то в духе отчетов тайных военных агентов, интересующихся в первую очередь стратегическими объектами, особенностями оборонительных сооружений и др. Но и в том, и в другом случае авторы занимают позицию сторонних наблюдателей, иногда сочувствующих беде «московитов», как А. Елассонский, иногда, что чаще, злорадствующих, как Э. Геркман или К. Буссов.

Для русских авторов Москва — это не столько «царствующий» город, сколько «матерь земли русской». И потому основной принцип изображения в русских текстах носит символико-обобщенный характер; описания города, рассказы о его судьбе всегда глубоко эмоциональны, проникнуты личностным отношением, будь то восхищение величием и красотами или негодование и боль от вида разрушения «ока» земли Русской.

В целом же, сопоставление источников авторов разной культурной среды на одну и ту же тему позволяет получить многоликое изображение того или иного события, в данном случае дает возможность представить лики Москвы начала XVII столетия во всем многообразии событий.

2. «Иду на престол»: Москва как символ политического притяжения в «Ином сказании»[66]

Особая значимость столицы в сложные исторические периоды, сопряженные с испытаниями народа, нашла широкое отражение в русской литературе различных периодов. М.Н. Гурари и Н.С. Лащенко справедливо отмечали: «Роль Москвы как символа России особо выявляется в минуты опасности, при угрозе потери национальной независимости…»[67]. Не является исключением в этом смысле и компилятивный памятник так называемое «Иное сказание», составленный предположительно в 20-е гг. XVII столетия в Троице-Сергиевом монастыре книгохранителем обители Стахием. Именно к столице Московского государства оказывается приковано его внимание, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что история Москвы, ее образ интересуют компилятора исключительно в историко-политическом аспекте.

Почти все фрагменты текста, посвященные столице, содержат краткие или пространные рассказы о покорении Москвы или попытках ее захватить. При этом близкие по тематике эпизоды неоднородны в художественном плане, отличаются степенью развернутости повествования. Так, рассказы о воцарении Бориса Годунова, Василия Шуйского, утверждении правления семи бояр, добровольно впустивших в Москву поляков, отличаются лапидарностью, в них основное внимание уделяется не столько самому городу, сколько москвичам, их реакции; порой топоним Москва и вовсе не упоминается, как в случае повествования о восшествии на престол Василия Шуйского, которого составитель считал законным правителем, ибо он принадлежал «святому кореню». Иной тип повествования наблюдается в рассказах о Лжедмитрии I, восстании Ивана Болотникова и Петра Горчакова, а также в главе, повествующей о владении Москвой «литовскими людьми». Эти рассказы отличаются от первых развернутым повествованием о том, как идущие на престол покоряли Москву или пытались ее захватить. В обоих типах повествования Москва предстает как символ русского престола, символ власти, символ

---

[66] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* «Иду на престол»: Москва как символ политического притяжения в так называемом «Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2016. № 2 (40). С. 193–202.

[67] *Гурари М.Н., Лащенко Н.С.* Москва — лицо России, материализованный компонент общенациональной идеи // Национальная идея России: материалы Всеросс. науч. конф., 12 ноября 2010 г. М.: Научный эксперт, 2010. С. 485.

всего Московского государства. Различие в описании частично обусловлено вполне конкретными исходными позициями жаждущих власти, а именно их местоположением: изнутри или извне предпринимались попытки захватить престол.

Повествуя о трагических событиях конца XVI – начала XVII столетий, составитель подчеркивает, что Смута зарождается в столице Московского государства. Именно в Москве Годунов, возжелавший «суетной славы мира», «нача прелщати многихъ отъ царскіе полаты пріобщателей боляръ и дворянъ» [Иное сказание, стб. 3]. Примечательна первая реакция москвичей, решивших расправиться и с самим претендентом на престол, и с его родственниками: «и восхотѣша его со всѣми сродницы безъ милости побити каменіемъ» [Иное сказание, стб. 4]. Годунов, осознавший серьезность угрозы «отъ всего народнаго множества», «прельстил» многих бояр, которые и «учинили» в народе проповедь, и «Московстіи людіе премѣнишася еже на Бориса от гнѣва» [Иное сказание, стб. 5]. За прельщением последовали жестокие меры устрашения: казни, ссылки, разорение домов, убийство царевича Дмитрия… При этом в начале рассказа о действиях Бориса Годунова составитель «Иного сказания», вслед за автором «Повести, како восхити царский престол Борис Годунов…», легшей в основу компилятивного сочинения, уподобляет виновника разразившейся в дальнейшем трагедии древнему змию[68], некогда прельстившему Адама и Еву, а само повествование выстраивает в соответствии с библейским архетипом. Борис Годунов изображается не только в роли организатора, лукавого искусителя, преподнесшего и царствующим особам, и в конечном счете всем русским людям чашу со «смертоносным ядом», но и в роли исполнителя дьявольского замысла. В обоих случаях деятельность Годунова оценивается книжником как первопричина трагедии Смутного времени, по сути же он выполняет ту же самую роль, что и змий в истории изгнания первых людей из рая[69]. И в этом контексте отнюдь не случайно составитель акцентирует внимание на месте действия, первые люди лишились рая, и все последующие поколения мучительно движутся в поисках его. Прельщение и устрашение жителей Москвы, вслед за всем царским синклитом, приводит сначала к всеобщему молчанию: «и никто не смѣя противу его рещи» [Иное сказание, стб. 12], а затем к тому, что «Борисъ на Москвѣ восхищаетъ царство лукавствомъ и неправдою» [Иное сказание, стб. 14]. Незаконное воцарение на московском престоле воспринимается и прочитывается в памятнике как начало «неправых», трагических событий. Именно «на Москвѣ», согласно тексту «Иного сказания», было «восхищено царство», в Москве царство и восстановится, когда на престол взойдет избранный всей землей законный представитель царской ветви Михаил Федорович

[68] См.: Глава 1, раздел 3.

[69] См.: *Туфанова О.А.* Библейские сюжеты и образы в литературе Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 129–181.

Романов. А сам «царствующий» город, показанный в этом фрагменте изначально как символ русского престола, становится и символом всего Московского государства. Статус Москвы как столицы государства (составитель многократно на протяжении всего текста напоминает: «по царствующему граду Москвы» [Иное сказание, стб. 12], «въ царствующемъ градѣ Москвѣ» [Иное сказание, стб. 17, 18, 105], «ко царствующему граду Москвѣ» [Иное сказание, стб. 61], «во царъствующій <…> градъ Москву» [Иное сказание, стб. 95] и т. д.[70]) делает ее особо привлекательной в глазах тех, кто хотел захватить русский престол. Именно поэтому в начале XVII столетия Москва становится центром притяжения и русских людей, и самозванцев, и иностранцев и одновременно тем центром, от состояния которого зависело положение других русских городов и населенных пунктов.

Когда на политическом горизонте появляется Григорий Отрепьев (его путь как монаха тоже так или иначе связан с Москвой, местом притяжения), многие люди, что «про Бориса добрѣ вѣдаютъ, яко неправдою восхити царство» [Иное сказание, стб. 28], «радѣюще его прихода къ Москвѣ» [Иное сказание, стб. 38]. Цель Отрепьева — Москва, где царский престол. Покорение Москвы, по сути, означает воцарение. Общее «нерадѣніе» к Борису Годунову, а затем к его сыну, вера народа (или желание поверить в чудо) в «грядущаго нарещающагося царевича Дмитрея» [Иное сказание, стб. 39] в конечном итоге приводят к тому, что в московском войске «Московстіи воеводы» увидели сомнение и смятение [Иное сказание, стб. 40], «Рустіи людіе зъ грады предаются <Отрепьеву. — *О.Т.*>, да и вси Російского государства люди стояти противу его не хотятъ» [Иное сказание, стб. 40].

Опуская ряд последовавших за этим, хорошо известных событий, перейдем к главному. При почти всенародной поддержке Отрепьев пишет «къ царствующему граду» [Иное сказание, стб. 42]. Зачем он посылает грамоту москвичам? Насколько это было необходимо, если учесть, что Борис Годунов к тому моменту «смертоноснымъ зеліемъ упоивъ себе» [Иное сказание, стб. 39], а его сыну Федору, названному государем, присягнули не все, впав в сомнение [Иное сказание, стб. 40]? Очевидно, что в тексте «Иного сказания» воспроизводится некий церемониал во взаимоотношениях Отрепьева и городов земли Русской. Вступив в пределы Московского государства с войском, собранным королем «Литовским» [Иное сказание, стб. 26], и «пришедъ подъ Муромескъ градъ», Лжедмитрий I «нача досылати писанія и прелщати прелестію вражіею <…> въ

[70] Аналогичным образом подчеркивается особый статус Москвы как столицы государства и в других памятниках эпохи Смутного времени. Ср.: в «Плаче о пленении и о конечном разорении Московского государства» — «высокоименитыи и преславно царъствующии град Москва» [Плач о пленении, с. 132], «царствующии и преимянитыи град Москву» [Плач о пленении, с. 142]; в «Повести о житии царя Федора Ивановича» — «царьствующи богоспасаемы град Москву» [Повесть о житии, с. 88]; в «Летописной книге» С.И. Шаховского — «превеликой Москвѣ» [Летописная книга, с. 358].

Муромъ, и въ Черниговъ и въ Курескъ, и въ иныя грады, воеводамъ и приказнымъ и всякимъ служилымъ людемъ, и всѣмъ гостемъ и торговымъ и чернымъ людемъ…» [Иное сказание, стб. 26].

Первое действие — «досылати писанія». Второе — чтение при народе / приведение в памятнике текста писания, в котором выделяется ряд семантически значимых моментов:

1) Отрепьев именует себя «царем и великим князем Дмитрием Ивановичем» [Иное сказание, стб. 27];
2) он упоминает о чуде: «меня, государя вашего прироженнаго, Богъ невидимою силою укрылъ» [Иное сказание, стб. 27];
3) «прироженный» царь идет «на престолъ прародителей <…> на Московское государство» [Иное сказание, стб. 27];
4) вскользь упоминает об изменнике Годунове;
5) призывает узнать «своего государя государевича» и служить «государю своему прироженному» [Иное сказание, стб. 27)], как когда-то служили царю и великому князю Ивану Васильевичу;
6) обещает «все православное христіянство въ тишинѣ и въ покои и во благоденственномъ житіи учинити» [Иное сказание, стб. 28].

В. Ульяновский, анализируя эту первую окружную грамоту Лжедмитрия I к народу, отмечал, что в ней «налицо все стереотипы российского православного осмысления царской власти, идеологически и в сакральном отношении развитые и обоснованные именно Иваном Грозным — отцом царевича Дмитрия»[71]:

1) объяснение чудесного спасения от рук убийц «Божиим произволением»;

2) призыв узнать после покаяния своего «прироженного» государя;

3) «призыв к христианской справедливости»[72];

4) упоминание о том, что «православный “правдивый” государь, несмотря на вины подданных, жалеет их, напоминает о православной вере <…>, что должно было выразиться <…> в делегации от всего народа, возглавляемой слугами Божьими “митрополиты и архиепископы”»[73].

Знание «типичного представления о царской власти», подводит итог исследователь, «замыкало временную идейно-сакральную связь» и делало обращение самозванца по языку и смыслу понятным его современникам в Московском государстве[74].

Текст первой грамоты оказывается психологически в художественном и языковом отношении точно выверенным, что сказывается в нарочитой повторяемости значимых

[71] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 322–323.
[72] Там же. С. 322.
[73] Там же.
[74] Там же. С. 323.

слов-маркеров. Так, дважды самозванец именует себя «царем и великим князем Дмитрием Ивановичем»; дважды напоминает об Иване Грозном, отце; пять раз пишет с небольшими вариациями, что он «прироженный» государь, Божиим милосердием (3 раза) сохраненный и теперь «съ Божіею помощію» идущий на престол «прародителей». Эти маркеры формируют главную идею грамоты: идущий на престол — законный, ибо «прироженный», государь.

Психологический расчет Лжедмитрия I оказался верен, так как затронул не только глубинные представления о царской власти, но и потаенные чаяния «всенародного множества», уставшего от Борисова кровопролития; и потому грамота в большинстве случаев (исключение, согласно тексту «Иного сказания», составил Новгород Северский) вызвала тот отклик, на который самозванец и рассчитывал.

Третье действие церемониала — размышления людей: «Людіе же въ тѣхъ градѣхъ <…>, слышавше сія, быша тогда въ размышленіи и паки положишася на щедроты Божія, мнѣвше то вправду быти…» [Иное сказание, стб. 28].

Итог — четвертое действие — непротивление Лжедмитрию I, открытие градов и поклонение как царю: «И никто же ста братися противу его: аможе пріиде, грады ему вездѣ отворяху и подобное поклоненіе и дары приношаху ему, якоже подобаетъ царскому величеству» [Иное сказание, стб. 28].

Данный церемониал, судя по тексту «Иного сказания», был направлен на добровольное принятие городами земли Русской самозванца как «прироженного» государя, или по крайней мере именно так изображает это составитель, таким своеобразным способом подчеркивая хитроумие Отрепьева и сложность психологической ситуации, в которой людям из разных городов земли Русской приходилось делать свой выбор. А выбор был действительно непростой, и потому, очевидно, составитель избегает прямых оценок городов, покорившихся самозванцу без боя, ограничиваясь сухим изложением факта открытия городов и приятия Лжедмитрия I как царя. И в то же время повторяемый с каждым городом один и тот же церемониал каждый раз был ступенькой, звеном на пути к престолу (напомним: в окружной грамоте была точно обозначена цель пути — иду на престол прародителей, т. е. иду на Москву).

Чтобы достичь желаемого, мало было подчинить города земли Русской, надо было покорить Москву как символ Русского государства, как его сердце, как место, где находится царский престол. А для этого надо было убедить, как прежде жителей других городов, в законности претензий «царя» москвичей — «первое народу Московскаго государства» [Иное сказание, стб. 42]. «Первый» — потому что у Москвы особый статус «царствующего» города», потому что именно в Москве находится царский престол, потому что Москва — «матерь городов» русских. Именно в этом фрагменте составитель

использует важнейшую метафору: «къ царствующему граду, еже есть матере градовомъ, къ Москвѣ» [Иное сказание, стб. 42]. В его восприятии официальный статус «царствующего града» сопрягается с иной характеристикой. Для него это не затертая метафора, это — олицетворение самой жизни Русского государства. Сходное отношение к Москве обнаруживается во многих памятниках Смуты. Так, например, в «Хронографе 1617 года» используется эта же метафора: «мати Русъским градовом Москву»[75]; в «Плаче о пленении и о конечном разорении Московского государства» Москва называется «самой земли око» [Плач о пленении, с. 132]; Арсений Елассонский именует Москву «царицей и госпожой многих городов»[76] и т. п. Все эти метафоры подчеркивают особое, сыновнее отношение авторов к городу.

Не случайно, уже завершая рассказ о Смуте, составитель «Иного сказания» еще раз обратится к метафоре «матерь городов», художественно емко, но ярко, вслед за автором «Хронографа 1617 года», охарактеризует историю «царствующего» города в указанный период: «Преславное же и великое мѣсто и многонароднаго христіянъства селеніе, еже есть мати Рускимъ градовомъ Москву, юже отъ невѣрныхъ Латинъ плѣненіемъ запустошеную и отъ Рускихъ мятежниковъ тяшкихъ озлобленіемъ осквернившуюся и осиротѣвшую, паки младозрачну тогда, аки предобрую отроковицу и преукрашенную невѣсту, сотвори» [Иное сказание, стб. 130][77].

Актуализация в тексте «Иного сказания» древнейших метафор (город-женщина, город-мать, город-невеста), восходящих в своей основе к Библии[78], имеет особый смысл в идейно-художественной структуре памятника. Образ Москвы выстраивается составителем по аналогии с ветхо- и новозаветными текстами городов, в которых «земной Иерусалим» персонифицируется «в женском образе, выступающем в роли матери народа и супруги Иеговы»[79], что отмечал в своей статье «Женщина-город в библейской эсхатологии» И.Г. Франк-Каменецкий. В тексте же «Иного сказания» статус Москвы как столицы и матери городов делает ее слово законом для «детей» — городов земли Русской, которые не столько убедились, сколько «чаяху его быти сущаго прироженнаго своея христіянскія вѣры

---

[75] Из хронографа 1617 года. С. 356.

[76] *Елассонский А.* Мемуары из русской истории. С. 191.

[77] Этот фрагмент, очевидно, заимствован составителем «Иного сказания» из более раннего памятника — «Хронографа 1617 года». Ср.: «Преславное же и великое мѣсто и многонароднаго христианства селение, еже есть мати Русъским градовом Москву, юже от невѣрныхъ латинъ пленениемъ запустошенную и от русских мятежниковъ тяжким озлоблением состарѣвшуюся и осиротѣвшую, паки младозрачну тогда, аки предобрую отроковицу и преукрашенную невѣсту сотвори”». См.: Из хронографа 1617 года. С. 356.

[78] «В Библии большие города — Вавилон, Рим и Иерусалим — часто сравниваются с женщинами. И в Старом, и в Новом Завете Иерусалим называется в женском роде, как невеста, девушка или мать. В Откровении Иоанна, например, говорится о новом Иерусалиме: “приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». См.: *Корнель П.* Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. СПб.: Азбука, 1999. С. 27–28. № 30.

[79] *Франк-Каменецкий И.Г.* Колесница Иеговы. Труды по библейской мифологии. М.: Лабиринт, 2004. С. 227.

царевича» [Иное сказание, стб. 28]. И потому Отрепьев пишет грамоту, которую читали «на Лобномъ мѣстѣ предъ всѣмъ множествомъ Московскаго народа» [Иное сказание, стб. 47].

Текст грамоты к москвичам, сохраняя в основе своей текст первой окружной грамоты к другим городам, отличается обстоятельностью в перечислении предшествующих событий и наличием новых слов-маркеров, направленных на более серьезное психологическое воздействие, формирующих комплекс одновременно вины и жалости к «сироте», «законно» идущему на престол. Это и постоянные упоминания родства: «отца нашего великого государя царя и великому князя Ивана Васильевича <…> братъ нашъ великій государь царь и великій князь Феодоръ Ивановичь <…> а государыню мою мать царицу и великую княгиню иноку Марфу Федоровну…» [Иное сказание, стб. 43]; и постоянное употребление эпитета «великий» и по отношению к «родственникам», и при именовании себя (27 раз в тексте грамоты употребляется эпитет «великий» и поддерживается 6 раз упоминанием «царского величества»); и повторение определений «христианский» (5 раз) и «прирожденный» (3 раза). В этой грамоте все: и повторы, свидетельствующие о величии и законности пишущего, и перечисление преступлений москвичей пред царским родом, и упоминание о том, что другие города «добили челом», и обещание милости — направлено на достижение главной цели — престола [Иное сказание, стб. 42–47].

Вновь, таким образом, мы наблюдаем повторение уже известных церемониальных действий: расстрига пишет к «царствующему» граду грамоту-прельщение («И сицевою прелестію прелстити первое народу Московскаго государства покусися» [Иное сказание, стб. 42]). Далее приводится текст грамоты (читается публично на Лобном месте), повторяющий главную идею первой окружной грамоты. Затем воспроизводятся и последующие действия церемониала — размышления москвичей («Егда же слышавше посланіе сицево, Московстіи народи и вси Рустіи людіе мнѣвше по правду быти» [Иное сказание, стб. 47]) и приятия самозванца как царя: «И возрадовашася ему радостію великою» [Иное сказание, стб. 47]. Теперь уже «Московстіи» бояре, воеводы, дворяне, весь царский «синглит» подчиняются народному мнению. Узнав мнение москвичей, «еретикъ поиде къ царствующему граду <…> безо всякого опасенія» [Иное сказание, стб. 50] и «вниде въ онъ 113 году, мѣсяца іюня въ 20 день четвертка» [Иное сказание, стб. 51].

Таким образом, Москва, «царствующий град», как и другие города и населенные пункты земли Русской, приняла правду, воплощенную в «царе-Рюриковиче», и этот жест был всеобщим[80]. Но радость москвичей была недолгой. Составитель «Иного сказания» умело обыгрывает фразы из грамот-посланий Лжедмитрия. В первой окружной грамоте он

[80] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 161.

призывал: «И вы нынѣ насъ узнайте, своего государя государевича…» [Иное сказание, стб. 27]. Примечательно, что в грамоте, адресованной москвичам, этот призыв отсутствует. Но именно «Московстіи людіе» познали его: «И начаша Московстіи людіе, знающе его, мнози познавати его» [Иное сказание, стб. 51]. И познание омрачило первую радость: «Люди же <…> во удивленіи быша и ужасѣ» [Иное сказание, стб. 52], поскольку Лжедмитрий I повторил по сути деяния Бориса Годунова; чувства москвичей оказываются сходными с теми, что они испытывали при власти предыдущего «царя»: «И вонзи страхъ и трепетъ въ сердца человѣча» [Иное сказание, стб. 54]. Но долго москвичи не могли терпеть чинимые в городе безобразия, и «Въ десятый день послѣ своея женидбы, 114 году, мѣсяца маія въ 16 день, <…> мечемъ и прочимъ убійствомъ, оружіемъ убіенъ бысть…» [Иное сказание, стб. 58].

В целом, в тексте «Иного сказания» различными художественными средствами подчеркивается особый статус Москвы как символа политического притяжения для претендующих на царский престол. Каждый из них использует свои методы покорения города, от словесного убеждения до прямых угроз и расправ с жителями. И каждый из них придает особую значимость покорению именно Москвы не только потому, что это «царствующий» град, но и потому, что это «матерь» городов земли Русской. В зависимости от их исходного местонахождения и идейных установок составитель избирает различные, а порой и вовсе контрастные модели повествования — от библейских архетипов до протокольных церемониалов, как в случае с покорением Москвы Борисом Годуновым и Лжедмитрием I.

3. Плач Великого Новгорода во «Временнике» Ивана Тимофеева[81]

Совершенно иначе изображается в памятниках Смутного времени Великий Новгород. Наиболее развернуто образ города представлен в двух источниках — в «Истории о великом княжестве Московском» П. Петрея и во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева. Весьма лаконичные характеристики новгородцев обнаруживаются также в «Хронографе 1617 года» и «Новом летописце». В духе летописных погодных записей упоминается Новгород в сочинении К. Буссова. Трафаретный плач о Великом Новгороде читается в

[81] Первые публикации материала см.: *Туфанова О.А.* 1) Великий Новгород и новгородцы в литературе XVII в. о Смуте / Материалы международной научной конференции «Первые московские анциферовские чтения» Н.П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. ИМЛИ РАН, 25–27 сентября 2012 г. Тезисы докладов // Новые российские гуманитарные исследования. 2012. № 7. 0, 005 п.л. 2) Великий Новгород и новгородцы в литературе XVII в. о Смуте // Н.П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. По материалам международной научной конференции «Первые московские Анциферовские чтения. Москва, 25–27 сентября 2012 г. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 339–343.

«Рукописи Филарета». Однако только во «Временнике» Ивана Тимофеева данная тема разработана художественно выразительно.

В памятнике ему посвящены как отдельные главы, например, «О новгородцком пленении, о пролитии крови острия меча во гневе ярости царевы на град святый», «Плачь из среды сердца глубок и рыдание горко от лица града святаго великаго…», так и фрагменты разного объема — от краткой записи до пространных рассуждений внутри других глав. Благодаря частотности обращения автора к этому образу создается впечатление, что образ Великого Новгорода, наряду с образом автора-повествователя, является сквозным в памятнике, что в целом не типично для цикла сочинений о Смутном времени. Еще более нетипичным и оригинальным представляется постоянно используемый в произведении прием одушевления города. Повествование о его судьбе практически всегда идет от первого лица, порой голос города перебивается авторским голосом, но чаще всего образы города и автора, по меткому замечанию О.А. Державиной, сливаются. Вместе с тем в памятнике не прочитывается полноценный рассказ о судьбе города на протяжении всего периода Смутного времени. История города ограничивается четырьмя знаковыми событиями: 1 временной план — о пролитии ярости царя Ивана Грозного на Новгород, 2 — о событиях 1608 г., когда окольничий Михаил Татищев убедил М.В. Скопина-Шуйского бежать из города, 3 период, наиболее подробно представленный, — пленение Новгорода шведами в 1611 г., 4 период, охарактеризованный предельно лаконично, — освобождение Новгорода от шведов.

Впервые о Новгороде Иван Тимофеев упоминает в связи с рассказом о деяниях царя Ивана Грозного. В названии главы встречается высокий положительный эпитет «град святый», и далее в тексте «Временника» он становится постоянным, наряду с другим — «великий» («от лица града святаго великаго…» [Временник, с. 78]), часто замещающим само название города. Оба эпитета обращают на себя внимание, поскольку другие города в памятнике либо называются кратко, без сопроводительных эпитетов, например, «града Переяславля» [Временник, с. 20], «от Плескова» [Временник, с. 128]; либо вместо топонимов Тимофеев употребляет парафразы, толкующие их именования, например, Ивангород, расположенный на пути из Великого Новгорода к Нарвской и Ревельской гаваням, обозначается пространным описательным оборотом: «град, — человеческа имени наречения, еже благодати имя бе» [Временник, с. 130]; либо автор сталкивает парафразовые названия городов внутри одного предложения, и тогда возвышение Великого Новгорода ощущается подспудно благодаря неизменности высокого положительного эпитета, часто замещающего название города, и отсутствию подобного при именовании другого. Так, например, поступает Тимофеев, сопоставляя пленение Великого Новгорода и Москвы: «И не токмо же о велицем граде сем, но и о матере градом и всеа земля»

[Временник, с. 117]. О.А. Державина, первой отметившая, что к Великому Новгороду у Тимофеева наблюдается «в продолжение всей его работы особое отношение», нашедшее выражение не только в сопровождающих высоких эпитетах, но и в сравнении его с древним Римом и намеченным противопоставлением Москве[82], высказала в связи с этим предположение, что Великий Новгород мог быть родным городом писателя, поскольку он «очень глубоко переживает несчастья, выпавшие на долю Новгорода» и «пишет о городе всегда в первом лице, так что город и автор как бы сливаются»[83].

В дальнейшем этот намеченный способ возвышения города углубляется. Тимофеев сознательно говорит о его древности («именем убо глаголют мя — нова, вещию же древним спребытна» [Временник, с. 78]). Постоянно указывает на особую заботу о городе Бога, определившего ему такое название («сицев образ имяни моего исперва богоумышлен бысть» [Временник, с. 78]), сопоставляет его судьбу с городами и реками, имеющими огромное значение в библейской и в целом в христианской истории. Так, глава «Плачь из среды сердца…», повествующая о пленении Великого Новгорода шведами в 1611 г., открывается библейской реминисценцией: «Тит, древле за превозшедшая жидом грехи Иерусалим разби…» [Временник, с. 78] и завершается надеждой, что Господь избавит город от захватчиков и исцелит, «иже древле от работы фараоня всего избавлей Израиля» [Временник, с. 80]. В другом фрагменте Тимофеев уподобляет реку Волхов, на которой располагался город, реке Иордан: «…яко со оного полу Иердана, глаголемаго реки Волхова…» [Временник, с. 97]. На протяжении всего текста Тимофеев неоднократно напоминает о том, что судьба Великого Новгорода находится во власти Господа: по воле Бога шведы захватили город, и по его воле будут изгнаны: «Един аз, глаголемый се, обладая Еллины и не могу сих из себе истребити, дондеже введый иже в ми благоволих о мне, тех вне изрынет» [Временник, с. 125].

Здесь же впервые мы встречаемся с оригинальным для цикла сочинений о Смуте приемом одушевления города. Рассказ о трагедии города ведется от его лица, хотя в этой главе прием до конца и не выдержан, поскольку голос города периодически перебивается голосом автора: «Множае же всея земля, ненавидимых царем всех, яже на люди моя ярость гнева своего некогда излия…» [Временник, с. 13]. Этот же прием использует Тимофеев, рассказывая о периоде правления городом воеводой М.В. Скопиным-Шуйским: «Мною же преобладающу и о мне промышляющу и власти правящу <…> вправду истовый воевода князь Михайло Васильевичь Шуйский…» [Временник, с. 128]. В главе «Плачь из среды сердца глубок и рыдание горко от лица града святаго великаго…», повествующей о захвате

[82] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 363.
[83] Там же. С. 364.

шведами в июле 1611 г. Великого Новгорода, прием одушевления города выдержан от начала до конца.

Художественный образ города в этом «Плаче…» тесно связан с особенностями создания образа врагов-шведов, которых ни разу на протяжении всего фрагмента Тимофеев не называет своим именем, используя различные метафорические замещения. В зависимости от наличия-отсутствия метафорического называния врага, меняется и принцип изображения Великого Новгорода.

Когда шведы уподобляются какому-либо животному или смертельной болезни, на первый план выходит символический принцип изображения города: «…и якоже инок дивий, пояде, ныне же и кости ми оглада <…> омочи убо в мене вселукавый, яко в елей, ногу свою многолетно, некако яко гагрена жир обрет <…> уже от сухих костей, подобно псу, тех ссет мозги убо» [Временник, с. 78], «доселе от главы и до ноги злолютне мя, яко змий, держася, обвив хоботом своим» [Временник, с. 79]. В этих характеристиках Великий Новгород предстает как некое существо, у которого есть голова, ноги, кости, подобие плоти — елей. Намеченный писателем телесный код создает довольно странный, но оригинальный образ города как человекоподобного существа, гибнущего в объятиях то ли пса, то ли змея, то ли самого «ада» и из последних сил пытающегося рассказать о своей беде. Именно благодаря телесному коду становится понятен и основной принцип рассказа о событии — ведение повествования от лица Великого Новгорода, и наличие в композиционной структуре всего «Плача…» элементов народной похоронной причети, весьма существенно измененной, поскольку рассказ о гибельном пленении воспроизводится от имени умирающего, но еще живого города, и слова эти — выражение истинного горя и страдания.

Во время похоронного обряда звучал ряд плачей: плач-вопрошание, плач-оповещение, плач при вносе, а затем при выносе гроба, плач по дороге на кладбище, плач при опускании гроба в могилу и надмогильный, плач при возвращении с кладбища и поминальный[84]. Тимофеев, используя только отдельные плачи, выбирает наиболее важные для раскрытия трагедии города тематические линии, искажая последовательность плачей,

[84] См. подробнее: *Чистов В.К.* Русская причеть // Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учеб. пособие / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. Круглов, Т.В. Смирнова; под ред. Ю.Г. Круглова. М.: Высшая школа, 2003. С. 111–117; *Чистов К.В.* Причитания у славянских и финно-угорских народов (некоторые итоги и проблемы) // *Чистов К.В.* Фольклор. Текст. Традиция. М.: ОГИ, 2005. С. 186–198; *Кремлева И.А.* Похоронно-поминальные обряды у русских: связь живых и умерших // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков. Итоги этнографических исследований. М.: Наука, 2001. С. 72–87; *Кремлева И.А.* Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М.: Наука, 2005. С. 517–532; *Харитонова В.И.* К вопросу о функциях причети в обрядах и вне их // Полифункциональность фольклора / сост. М.В. Потявина. Новосибирск: НГПИ, 1983. С. 20–32; *Васильев А.Г.* Композиционные особенности похоронных причитаний // Русский фольклор. Л.: Наука, 1971. Т. XII. С. 91–101; *Успенский Д.И.* Похоронные причитания // Этнографическое обозрение. 1892. № 2–3. С. 98–111; *Малиновский Н.Л.* Причитания или заплачки по умершим // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1886. Вып. 2. Отд. 2. С. 42–47; и др. работы.

порой смешивая их. В результате границы оказываются настолько размытыми, что не всегда ясно, где заканчивается одна тема и начинается другая. За счет такой размытости повествования сопоставление анализируемого фрагмента с похоронными причетами может показаться натяжкой, тем более что фольклорный подтекст завуалирован традиционными для древнерусской литературы частотно встречающимися упоминаниями древнего врага злобы, однако сам принцип подачи материала, сочетание символических сравнений и конкретных зооморфных образов вкупе с хорошо просматриваемыми тематическими совпадениями позволяют предположить, что Тимофеев искал новые приемы для изображения трагедии города, который, в силу постоянной обращаемости к его судьбе, очевидно, был высоко поставлен в иерархии городов в сознании автора, и он намеренно, отталкиваясь от композиционной структуры похоронных плачей, обусловленных самим ходом обряда, адаптирует, вероятно, хорошо ему известный обряд к описанию событий лета 1611 г.

В частности, фольклорный мотив констатации смерти преобразуется в памятнике в мотив констатации пленения города: «Мене же новый подобосенахиримль и прочих по них на востоце разорших земный Сион дьявол, неже тех слуга, рачитель злу, всех злых бывших и будущих превозшед злобою, Мартиниянин ересию, бездушен же, обаче озоба мя всего лукавне, яко вепрь, тайно нощию от луга пришед, и якоже инок дивий, пояде, ныне же и кости моя оглада. Не о бозе, но льстивне стену прелез, вшед в мя…» [Временник, с. 78]. Точно так же, как в фольклорных плачах, мотив констатации пленения практически сливается с мотивом оповещения, предусматривающим эпический горестный рассказ о том, как наступила смерть, в данном случае — о том, как был пленен город. При этом доминантной характеристикой врага и его действий становятся эпитеты «злой», «лукавый», что совпадает с часто встречающимися в народных плачах характеристиками смерти. В то же время рассказ о пленении города и положении оставшихся в нем жителей представляет собой литературную трансформацию фольклорного плача при выносе гроба, содержащего рассказ о горестном положении оставшихся в живых. Наконец, глава «Плач…» включает в себя и присущие похоронным плачам некрологические мотивы похвалы, находящие выражение в упоминании о богатстве и красоте древнего города.

Помимо символического принципа изображения картины пленения, в «Плаче…» наблюдается и реалистический подход к созданию образа страдающего города, проявляющийся в тех случаях, когда шведы не упоминаются, например: «Не о бозе, но льстивне стену прелез, вшед в мя, запаленьми множайшую часть града испепеля… вся корысти моя обидя и поплени, и в запустение всяко вся моя и обитель моих потреби, и основания их раскопа…» [Временник, с. 78]. Конкретно-бытовые детали: стена, жилища,

богатства — проясняют символическое изображение, благодаря их наличию в тексте становится понятно, что речь идет именно о разорении плененного города.

Здесь же, в этом фрагменте, мы встречаем отрывочные характеристики горестного положения оставшихся в живых горожан: «…оставшая люди моя вся, священныя же, и иноки, и бельцы, сребро ненасыщанне погубляя в конец, голени их сокрушая…» [Временник, с. 78], «Но и лаврския вся мнихожителя моя неимущая изыскав всюду обоего полу, мужеска же и женска, иже чюждь во-истинну хлеб ядущих непретерпимому игу с могущими иногда, ныне же со изнурившемися, единако и тех с сими тому же ярму под дань подложи…» [Временник, с. 79]. Фрагмент вводит два постоянно звучащих мотива: сокрушения, дробления костей (голени), т. е. нанесения увечий, и рабства, необходимости платить подати, с одним отличием: чем более проходило времени с момента пленения города, тем более жестокими становились «миротворцы», как иронично называет шведов автор.

Одинаково тяжело приходилось всем сословиям, но особо Тимофеев выделяет положение простого народа и честных священников и начальников над монахами в великих лаврах: «Оставшую же во мне чадь, подъяремныя люди вся, нестерпимым утягчением в конец погрузиша игом, до сего тем нанесоша зло, яко паличием голени сих сокрушая. Равно же с сими и священнопастыря честныя, чредоначальники мнихом великих лавр, иже по архиереи первыя, сребрениц ради безчестне ударением болезнене пребиша, неже сих послушных, не могущем яко на долзе и к обычней воздвигнутися им молитве… тако от волков и псов немилостивне биением влачимы. Мнози же в сих муках и живота гонзнуша иноки и бельца злых не претерпеша мук» [Временник, с. 97]. И если при первом упоминании Тимофеев дает обобщенную картину страданий людей, то в последующих описаниях он частично конкретизирует положение каждого сословия и драматизирует повествование путем введения мотива смерти. При этом углубляется и расширяется и мотив жестокости врагов, косвенно характеризующий положение оставшихся в городе людей. Введенное в «Плаче…» символическое уподобление шведов псам, развернутое практически сразу же в яркую бытовую картинку, наглядно иллюстрирующую поведение захватчиков в городе, получает развитие в последующем повествовании: они превращаются в псов-волков, которые не щадили тех, от кого кормились: «Ими же поядающии кормяхуся, сих и пожираху, яко ото овец кротких млеко ссавше, волною же согревающемся, но ни сего ради тех щадяху» [Временник, с. 97–98], «словесныя пожирающим моя овца» [Временник, с. 98]. Примечательно здесь и само казалось бы традиционное для древнерусской литературы уподобление новгородцев овцам. Старая метафора — новое содержание!

Не менее тягостным, чем рабство, представляется Тимофееву полная изолированность новгородцев от других русских городов и отсутствие возможности не

только выйти за пределы города, но и получать более-менее достоверную информацию о событиях за его пределами. Так, приступая к рассказу об осаде Москвы, он с горечью пишет, что не может дать подробного описания ни падения царствующего города, ни низложения царя Василия Шуйского, поскольку «о всех сих быхом зде от плена яко во мраце внутрь стен неведени затворени» [Временник, с. 106]. Возникающий в повествовании образ стены с крепко запертыми затворами («заклепы тверде затворением сущеми» [Временник, с. 106]), будучи символом отсутствия воли, свободы для новгородцев («не бе воля в нас» [Временник, с. 106]), становится непреодолимой преградой на пути к сообщению с другими городами, известия о положении которых изредка случайно «по аеру чрез забрала» [Временник, с. 106] проникали в виде недостоверных слухов. В другом фрагменте символом несвободы оказывается железная цепь, спутавшая ногу и обвившаяся вокруг шеи: «яко в сети, увязе ми нога <…> о всех бо купно преграда днесь, яко о выи верига некая железна, облажися нашего несвобождения, по реченному: “сеть препяша ногам моим и при стези соблазны положиша ми”» [Временник, с. 114–115].

Рефреном звучащий в рассказах о Новгороде мотив несвободы постоянно переплетается с другими мотивами, каждый из которых в разных фрагментах памятника приоткрывает все новые и новые тяготы плена. Если в приведенном выше фрагменте мотив несвободы поддерживает тему изолированности города, то в главе «О царе Василие же Ивановиче» он становится своеобразным объяснением пребывания новгородцев, и в частности самого автора «Временника», в страхе, и объяснением мотива скудости, отсутствия не только бумаги, но даже необходимого для телесных нужд: «…пленожительнаго ради во граде обдержания, иже несвободне нашего во страсе пребывания, и хартейныя от изнурения в затворе скудости, неже телесных потреб» [Временник, с. 118]. Незначительный по степени разработанности этот мотив органично дополняет и развивает заданный изначально при описании положения захваченного шведами города мотив разорения, раскрывающийся в тексте от общего к частному. Если при первом упоминании о захвате Новгорода Тимофеев сообщает о разорении города в общих чертах: «…вся корысти моя обидя и поплени, и в запустение всяко вся моя и обитель моих потреби, и основания их раскопа…» [Временник, с. 78], то в дальнейшем он конкретизирует, что именно и как было увезено из города. В частности, в тексте довольно подробно повествуется о том, что шведы сняли со всех церквей колокола и вместе с медными стволами стенобитных машин увезли на кораблях и на санях в свою землю [Временник, с. 97]. Часто мотив разорения города предвосхищает появление мотива нанесения увечий жителям, причем объединяет их, как правило, указание на ненасытное сребролюбие захватчиков: «…церкви святыя раскопаша, и великообительная с малыми места вся иноких развлекоша со основаньми, доброты же их, иже вся имяше град, зле

расхитиша и градожителей имении, и изнурившее муками, погубиша, голени же их паче паличным биением сребрениц ради столкоша, градохранителная же, иже во время брани обраняющая град, и сопротивная творящих стенобитств рыкающих сосуд тяжестных великая премногая телеса и со иже о них потребами во своя им соотслаша и с собою отвезоша…» [Временник, с. 115]. При этом ведущие мотивы свободы / плена и соответствующие им мотивы изобилия / разорения, скудости тесно связаны друг с другом. Если пленение ассоциируется с разорением, запустением, то свобода — с ушедшим или грядущим процветанием и красотой: «…и паки совершене станет нога плененых на своей правоте свободнаго жития нашего первых широты…» [Временник, с. 119], «бывшую <…> неисповедимую толико града и яже о нем красоту…» [Временник, с. 115].

Первоначально единое представление о тягостном положении всех новгородцев в плененном городе не остается в тексте неизменным. По ходу повествования выясняется, что находящиеся в плену не все были в равных условиях: «…овы убо алчют нищенствующе, овы же в богатствах упиваются излишествующе; и бысть сим таковый плен лучше свободнаго всяко жития, ибо в жизнь богаторадостну им се бываше, прочим же скорбь на скорбь протяжением дней в потребах скудости» [Временник, с. 120]. Неодинакова была жизнь тех и других, и продолжение плена «первым бяше прибавление богатству, другим же приложение печалем» [Временник, с. 120]. Разбогатевшие во время плена, «свой живот судив вмениша паче всего мира», «лестию лукавствоваша» и со своими, и с чужими, «на обою ногу храмлюще» [Временник, с. 120]. Нищенствующие же постоянно испытывали чувство страха. И если кого-то, замечает Тимофеев, смущают сии слова, раздражая слух слушающих, то пусть они взглянут на лица и увидят «богатых благоденства румянство и обнищавших злоденства дряхлость и плоти от сухости бледность обоих лиц» [Временник, с. 120]. Гнев автора вызывают не столько материальные различия между горожанами, сколько то, что «обогатевшеи» принимали участие в кознях «еллинов» против новгородцев. В частности, объясняя читателю, почему его описания событий Смутного времени не были объединены и представляли собой отдельные друг от друга отрывки, Тимофеев пишет, что он вынужден был часто переносить свои бумаги из одного уединенного места в другое, поскольку постоянно боялся принять смерть («страхом в смерти чаяния» [Временник, с. 119]) от рук и чужих, и своих. От чужих — потому что они «град враждебно, яко змиеве, своими зубы держащих», от своих — «своеверных, враждующих ми, стращахся, иже приседят о нас тайно в ловителех ко Еллином: ловят бо и убивают, яко лев во ограде, сице они во дни и в нощи християном душа с телесы неповинныя» [Временник, с. 119].

В целом, ведущие приемы создания образа города во «Временнике» (повествование от лица города, описание его страданий сквозь призму телесного кода, введение в рассказ

элементов похоронных плачей, употребление высоких положительных эпитетов, богатая россыпь различных мотивов, переплетающихся друг с другом и рисующих тягостное положение города и оставшихся в живых горожан, прием контраста при изображении представителей разных сословий среди плененных) свидетельствуют о том, что для Тимофеева, пережившего многолетнюю осаду города и испытавшего все тяготы плена, Великий Новгород становится своего рода историческим лицом, чья история достойна описания не менее чем деяния и судьбы царей и самозванцев. Особое, трепетное отношение автора к городу, судьба которого словно отражает судьбу всех русских городов и людей, обусловила и появление новых, оригинальных приемов его изображения.

4. Изображение городов и населенных пунктов как мест ссылок и заключений в «Ином сказании»[85]

«Иное сказание» — один из немногих памятников цикла, в котором тема изображения городов и населенных пунктов звучит наиболее отчетливо. В нем, в отличие от других произведений, встречается довольно большое количество топонимов, при этом они не только являются географическими указателями места событий, но и играют немаловажную роль в художественно-публицистическом замысле составителя.

В памятнике обнаруживается несколько типов изображения городов и населенных пунктов, выделяемых на основе специфики введения в повествование городской темы.

Первый тип — далекие от Москвы города как места ссылок и заточений. Этот тип изображения отличается предельным обобщением и символизмом и проявляется в тексте «Иного сказания» при описании деяний Бориса Годунова. Как правило, в этом случае упоминаемые города остаются безымянными, им предшествует либо эпитет «разным», либо эпитет «дальным»: «И потомъ сродниковъ его, князя Василія Ивановича Шуйского и единокровныхъ его братію, розосла по разнымъ городомъ въ заточеніе <…>. Такоже и гостей <…> иныхъ по далнымъ городомъ въ заточеніе розосла» [Иное сказание, стб. 6]; «…по дальнымъ по рознымъ городомъ розослати въ заточеніе» [Иное сказание, стб. 53]. Если город или населенный пункт назван, то он оказывается тесно связан с мотивом насильственной смерти: «…въ заточеніе посла того на Бѣлоозеро и тамо злою нужною смертію уморити того <…>, а брата же ихъ князя Андрѣя Ивановича отосла въ Буй-городъ и тамо повелѣ его уморити смертію нужною…» [Иное сказание, стб. 6]. При этом ни описаний внутреннего устроения городского ландшафта, ни минимально развернутого рассказа о происшедшем не наблюдается, что в целом типично для исторических текстов

[85] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Изображение городов и населенных пунктов в «Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2015. № 3 (37). С. 144–154.

древнерусской литературы: место, где происходило то или иное событие, называется, но не описывается. Однако устойчивость речевой формулы, в которую в принципе можно подставить название любого города, свидетельствует о проявлении в этих фрагментах особого символизма, символизма фольклорного типа, когда за образом скрывается вполне определенное одно-единственное значение (невеста — лебедь, жених — сокол, хлеб-соль — символ гостеприимства). Так и здесь отдаленные от Москвы города становятся символами смерти и ссылки знатных особ. Если же в тексте и появляются упоминания таких компонентов городского ландшафта, как дом, площадь, то они оказываются устойчиво связаны с мотивом разорения или насильственной смерти: «Такоже и гостей многихъ посредѣ града казнити повелѣ, а домы ихъ въ расхищеніе предложи» [Иное сказание, стб. 6]; «…по дальнымъ по рознымъ городомъ розослати въ заточеніе, а домы ихъ и имѣнія повелѣ расхитити и растощати…» [Иное сказание, стб. 53].

5. Сакральные объекты городов и населенных пунктов в «Ином сказании» и их роль в повествовании[86]

Второй тип изображения городов и населенных пунктов в «Ином сказании» обнаруживается во фрагментах, знакомящих читателя с биографией Григория Отрепьева, и в «Извете» старца Варлаама. Составитель последовательно перечисляет монастыри, в которых подвизался будущий самозванец, и каждый раз упоминает город, где находилась та или иная обитель: «И отъиде во градъ Суждаль и нача пребывати во обители Всемилостиваго Спаса въ Еуфиміевѣ монастырѣ, и исъ того монастыря пріиде въ томъ же уѣздѣ въ монастырь ко Спасу, по слытію на Куксу» [Иное сказание, стб. 17]; «И по малѣ времени изыде отъ Николы Чюдотворца со Угрѣши и вселися въ предѣлахъ града Костромы во общее мѣсто въ монастырь Иванна Предтечи на Желѣзномъ Борку» [Иное сказание, стб. 18], точно так же — в «Извете» [Иное сказание, стб. 18–25]. Аналогичного типа упоминания городов появляются и в связи с отдельными историческими лицами, вводимыми в повествование, например: «…Вятскіе области града Хлынова Успенского монастыря со игуменомъ Трифономъ» [Иное сказание, стб. 17]. Важным в этом случае является не сам город или населенный пункт, а обитель, город же оказывается представлен одним-единственным сакральным объектом.

К. Линч в книге «Образ города», посвященной особенностям восприятия визуальной формы городского ландшафта, отмечал: «Для “работающего” образа необходима, во-первых, опознаваемость объекта, предполагающая его различение среди других. Во-

[86] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Изображение городов и населенных пунктов в «Ином сказании». С. 144–154.

вторых, образ должен включать в себя пространственную или формальную соотнесенность объекта с наблюдателем и другими объектами. В-третьих, объект должен иметь какое-то практическое или эмоциональное значение для наблюдателя»[87]. Для составителя «Иного сказания», как и для его предшественников, чьи тексты легли в основу памятника, такими доминантными точками становятся храмы и обители. И это отнюдь не случайно, французский исследователь Жак Ле Гофф, давший краткий обзор городской темы и сюжетов в Библии в книге «Средневековый мир воображаемого», пришел к выводу, что особое положение в средневековом городе «занимают два сооружения <…> Храм и Дворец, церковь и замок»[88]. В этом смысле составитель «Иного сказания» практически полностью следует сложившейся традиции. Однако, как справедливо отмечал К. Линч, «наше восприятие города отнюдь не последовательно, оно скорее фрагментарно, переплетено с другими заботами»[89].

В «Ином сказании» повышенное внимание к сакральным объектам городов и областей обусловлено не только родом деятельности автора-составителя, не только стремлением к объективности повествования (дать краткий обзор биографии Григория Отрепьева — в основном тексте, детализированный — в челобитной Варлаама), но и неявно выраженной художественной задачей. С одной стороны, непостоянство Григория Отрепьева («По многимъ монастыремъ жительство преходя имый…» [Иное сказание, стб. 17]), беспричинный переход из одной обители в другую, отсутствие указаний в основном тексте, сколько времени он пребывал в том или ином монастыре, создают впечатление невероятной быстроты передвижения героя в пространстве и служат косвенно средством отрицательной характеристики Лжедмитрия I. Легкость, с которой Отрепьев оставлял одну обитель за другой, говорит об отсутствии такого положительного качества у него, как «укорененность в бытии», если воспользоваться термином М. Хайдеггера[90]. Немецкий философ в работе «Отрешенность», перефразируя слова Иоганна Гебела «Мы растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет — должны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды», задается вопросом: «Есть ли еще родина, в почве которой — корни человека, в которой он укоренен?»[91] Гришка Отрепьев, согласно

---

[87] *Линч К.* Образ города / пер. с англ. В.Л. Глазычева; сост. А.В. Иконников; под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982. С. 20.

[88] *Ле Гофф Ж.* Средневековый мир воображаемого / пер. с фр. Е.В. Морозовой; общ. ред. С.К. Цатуровой. М.: Издат. группа «Прогресс», 2001. С. 285.

[89] *Линч К.* Образ города. С. 15.

[90] М. Хайдеггер в работе «Отрешенность» писал о том, что человек в эпоху быстрого развития науки и техники оказался на пороге забвения своей «глубочайшей сущности», что ведет к состоянию забвения и бытия как такового, и сущностной связи с бытием, отличающей человека от всего остального. См.: *Хайдеггер М.* Отрешенность. Перевод с издания: Heidegger Martin. Gelassenheit. Gunther Neske. Pfullingen, 1959. S. 11–281 / пер. А.Г. Солодовникова, 1991. URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/gelassen.txt (дата обращения: 19.01.2015).

[91] *Хайдеггер М.* Отрешенность. Указ. соч.

тексту «Иного сказания», имеет русские корни: «…законопреступника ростригу Гришку Отрепьева, родомъ Росiйскiя же области, града зовомаго Галича, отъ младыя чади Юшку Яковлева сына Отрепьева…» [Иное сказание, стб. 17]. Но у него, в отличие от истинных царей, представителей древнего «святаго корени», и возвышаемого в памятнике Василия Шуйского, происходящего также, согласно тексту, от прежних благоверных царей «корене», от великого князя Владимира и от великого князя Александра Ярославича Невского, отсутствует чувство родины, укорененность в своей почве. Он не приживается ни в одной обители, стремительно в начале своего пути движется за пределы Московского государства, а воцарившись, делает все, чтобы уничтожить русские традиции (достаточно вспомнить хотя бы описанное в «Ином сказании» венчание на царство Лжедмитрия I и его свадьбу с Мариной Мнишек). Легкость, с которой он перемещается из одной обители в другую, обернется потом откровением для его современников: практически все авторы, в том числе и составитель «Иного сказания», будут писать об осквернении русских церквей, черниц, желании искоренить православную веру и уничтожить православный люд.

По сути, в данном случае города, представленные одним сакральным объектом, в рассказе о Лжедмитрии I выполняют важную художественную задачу (имеют значение, по К. Линчу): они не только служат средством косвенной отрицательной характеристики Григория Отрепьева, но и предваряют последующий рассказ о его деяниях, главная цель которых в символическом плане — разрушение сакрального пространства Московского государства.

6. Исторически и символически детерминированные перечни городов и населенных пунктов в «Ином сказании»[92]

Третий тип введения в повествование городов и населенных пунктов появляется во фрагментах, изображающих противоборство Бориса Годунова и Лжедмитрия I. Это перечни: «…пришедъ подъ Муромскъ градъ и нача досылати писанiя и прелщати прелестiю вражiею <…> въ Муромъ, и въ Черниговъ и въ Курескъ, и въ иныя грады…» [Иное сказание, стб. 26]; «Людiе же въ тѣхъ градѣхъ: въ Муромѣ, и въ Черниговѣ, и въ Курецкѣ, и Комарицкiя волости, и въ Путимли, и въ Рылескѣ, и въ Стародубѣ, и въ Ромѣхъ, слышавше сiя, быша тогда въ размышленiи…» [Иное сказание, стб. 28] и др. Как видно из приведенных примеров, и здесь отсутствуют какие-либо индивидуальные или типовые, шаблонные характеристики городов, относящиеся к материально-культурной сфере (планировка, особенности застройки, дома, улицы и пр.), это сухие перечни-списки. Но в

[92] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Изображение городов и населенных пунктов в «Ином сказании». С. 144–154.

общем контексте повествования о борьбе Б. Годунова и Лжедмитрия I города Северской земли, ставшие центром измены и преступления, противостоят Москве как «города-блудницы» «городу-деве». Исходя из мифопоэтических и «исторических», библейских предпосылок, В.Н. Топоров выделял «два образа города, два полюса возможного развития этой идеи — город проклятый, падший и развращенный, <…> и город преображенный и прославленный, новый град, спустившийся с неба на землю. Образ первого из них — Вавилон, второго — Небесный Иерусалим»[93]. Города Северской земли и есть в изображении составителя «Иного сказания» русский Вавилон эпохи Смутного времени. В тексте наблюдается ряд перекличек с Откровением Иоанна Богослова, подтверждающих возможность такого истолкования. Так, в Откровении сказано: «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесам и пристанищем всякому нечистому духу…» (Откр. 18: 2). Города Северской земли принимают Лжедмитрия I, которого составитель именует в тексте не иначе как «сатанин угодник» [Иное сказание, стб. 33], «вавилонское семя» [Иное сказание, стб. 50], а иностранцев, пришедших с ним на Русскую землю, как «бесовозлюбленное его войско» [Иное сказание, стб. 33]. Примечательно, что в тексте «Иного сказания» будет показано (правда, частично) и исполнение пророчества о гибели Вавилона: «…пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу <…>. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. <…> За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем <…>. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой…» (Откр. 2–10).

Страшным судом покарал Борис Годунов жителей Комарицкой волости за то, что «ростригѣ предалися и служатъ» [Иное сказание, стб. 34]. Объятый гневом и яростью, Годунов «повелѣ ея великимъ плѣномъ плѣнити и до конца опустошити <…> и всѣхъ православныхъ христіанъ посѣтчи отъ мала и до велика, а иныхъ всякими различными муками умучити, еже и бысть» [Иное сказание, стб. 34]. В начале эпизода задается сквозной мотив «великого», т. е. «злого», пленения, который выдерживается на протяжении всего небольшого фрагмента: «…великимъ плѣномъ плѣнити <…> каково плѣненіе бысть Комарицкіе волости <…> злое то плѣненіе…» [Иное сказание, стб. 34–35]. Но это не пленение в прямом смысле слова: в «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского глагол «плѣнити» представлен тремя значениями: «взять въ плѣнъ»,

[93] *Топоров В.Н.* Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста: сб. ст. / под ред. Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1987. С. 122.

«завоевать, покорить» и «увлечь, соблазнить»[94]. Это не просто завоевание, это покорение до полного уничтожения: «…многимъ разнымъ мученіемъ безъ милости умучи и горькимъ убійствомъ убивая не токмо мужей, но и женъ, и безлобивыхъ младенецъ, ссущихъ млеко, и поби отъ человѣка и до скота» [Иное сказание, стб. 34]. Восходящая градация человеческих страданий и насильственной смерти сменяется далее в эпизоде градацией уничтожения и городского ладшафта: «И имѣнія ихъ расхищена быша, и домове до конца разорены быша и огнемъ пожжены; вся въ прахъ преврати» [Иное сказание, стб. 34–35]. Такое стилистическое строение эпизода создает страшный образ мертвой волости, сходный по силе описания с мертвым городом Рязань, уничтоженным Батыем[95]. Судьба комаричан становится прообразом возможной грядущей судьбы для жителей всех городов и населенных пунктов, поддержавших Лжедмитрия I, символами грядущей беды «великой», смерти. У них есть только один выход: «…единъ путь намъ ко спасенію, иже тя не отпустити отъ себе, да Борису добити челомъ, а тобою заплатити вину свою» [Иное сказание, стб. 35]. Весь эпизод пронизан двойственной, противоречивой символикой, проявляющейся в оценках автора-составителя: с одной стороны, Комарицкая волость, как и другие добровольно принявшие власть Лжедмитрия I города, — это волость-преступник, волость-«блудница», а с другой стороны, здесь отчетливо проявляется иной аспект урбанистического цикла, впервые отмеченный еще Фукидидом: «Ведь город — это люди, а не стены и не порожние корабли»[96], и потому на первый план в авторской оценке произошедшего выходит мотив сострадания, невозможности описать словами великую трагедию комаричан.

Перечни городов в рассказах о первых военных победах Лжедмитрия I обнаруживаются во многих русских и иностранных сочинениях о Смуте. Русские авторы, как правило, упоминают два–три города и далее употребляют обобщающую формулу «и иные многие»: «Градъ Царевъ, Бѣлградъ и иные многіе грады такожде ему предашася и съ селы» [Иное сказание, стб. 28]; «…и предаша ему грады в руцѣ его: Путивль и Черниговъ и иныя грады страны Сѣверския» [Летописная книга, с. 370]. Иностранные авторы приводят обыкновенно довольно длинный перечень сдавшихся Лжедмитрию крепостей. Так, Жак Маржерет сообщает, что самозванцу покорились Чернигов, Путивль, «Рыльск, Кромы, Карачев, а также с татарских границ Царев Борисов, Белгород, Ливны и другие»[97]. Аналогичный перечень покорившихся городов (Путивль, «Брянск, Рыльск, Чернигов,

[94] *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. II: Л–П. Стб. 976.

[95] См., например: Повесть о разорении Рязани Батыем // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 5: XIII век. С. 140–155.

[96] *Фукидид.* История / пер. и примеч. Г.А. Стратановского. М.: Наука, 1981. С. 348 (кн. VII, 77, 7).

[97] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы... С. 54.

Карачев и многие другие»[98]) дает Исаак Масса. По степени распространенности перечня «Иное сказание» оказывается ближе к иностранным источникам, а по восприятию и изображению событий — к русским. Если иностранцы дорожат документальной точностью, фактичностью, что демонстрируют пространные перечни городов, позволяющие представить реальную расстановку сил, предшествующую осаде Новгорода Северского, то для русских авторов принципиально важно: не какие именно города предались во власть Отрепьеву (довольно и количественно-бесстрастной характеристики «многие», которая уже сама по себе таит трагический подтекст), а почему русские города в большинстве оказывали почет Лжедмитрию I и сдавались без боя.

На первый план в мотивировке поступков жителей в русских текстах выходят эмоции. Так, С.И. Шаховской в «Летописной книге», рассказывая о расправе жителей Чернигова с местными воеводами, пишет о чрезмерной радости, которую испытали горожане, узнав, что на город идет спасенный Божьей милостью от Борисова убиения царевич Дмитрий: «…возрадовашася о том радостию великою зело» [Летописная книга, с. 370]. На руководство чувствами, а не разумом указывал и автор «Хронографа 1617 года»: «…подыхаша о немъ: мняху бо, яко той есть им же пронарицается» [Хронограф, с. 328]. Создатель «Плача о пленении и о конечном разорении Московского государства», вспоминая факт «бесстыдного» вторжения Лжедмитрия I в грады Северские, столь же эмоционально описывает причины принятия Отрепьева жителями тех мест, дважды указывая на их суетное безумие, отсутствие ума-разума, малодушие: «Живущии же людие во странахъ тѣхъ осуетишася помышлением и обьюродѣша умомъ, и малодушством обязашася…» [Плач о пленении, с. 136].

На этом фоне творческий метод составителя «Иного сказания» стоит особняком. Книжник совмещает оба подхода: фактологичность и эмоциональность. Люди в городах Северской земли: «въ Муромѣ, и въ Черниговѣ, и въ Курецкѣ, и Комарицкія волости, и въ Путимли, и въ Рылескѣ, и въ Стародубѣ, и въ Ромѣхъ» [Иное сказание, стб. 28] — вынуждены были решать сложную задачу, получив послание от Лжедмитрия: сын ли он государя царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича или нет: «…быша тогда въ размышленіи» [Иное сказание, стб. 28]. Положившись на «щедроты Божія», они «мнѣвшу то вправду быти <…> и чаяху его быти сущаго прирожденнаго своея христіянскія вѣры царевича» [Иное сказание, стб. 28].

В «Ином сказании», как и в большинстве других русских сочинений, вопрос веры и неверия в чудесное спасение царевича, вопрос истинности Димитрия стоит для жителей пограничных городов на первом месте. Но решающим аргументом добровольного и мирного предания во власть Отрепьева для жителей становится, согласно тексту, точное

[98] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 152.

знание: «А про Бориса добрѣ вѣдаютъ, яко неправдою восхити царство и потаенно подсѣче древо благоплодія <…> и много бесчисленно пролилъ неповинныя христіянскія крови, доступаючи великого государства» [Иное сказание, стб. 28]. Составитель «Иного сказания», в отличие от многих русских авторов, не ограничивается исключительно династическим объяснением причин быстрых побед Лжедмитрия I. Пролитая Борисом Годуновым кровь неповинных христиан — это едва ли не главная причина того, что никто из жителей не стал биться против войска Отрепьева: «И никто же ста братися противу его» [Иное сказание, стб. 28]. Таким образом, отталкиваясь от сухих перечней городов-преступников, составитель «Иного сказания» вводит важнейшую тему: город — это прежде всего люди; именно их эмоции, их поступки предопределяют и двойственное восприятие городов: с политической точки зрения, города Северской земли — преступники, «блудницы», с гуманной точки зрения, это люди, решавшие для себя далеко не простые вопросы.

Наконец, упомянутые в перечнях топонимы при изображении деяний Лжедмитрия I полностью совпадают с названиями городов, поддержавших Илейку Горчакова (настоящее имя — Илья Иванов сын Коровин, по прозвищу Муромец), выдававшего себя за царевича Петра, и Ивана Болотникова. И это отнюдь не случайно. Коренным населением Северской земли были севрюки, один из трех субэтносов, по мнению Л.Н. Гумилева, оказывавших активную поддержку самозванцам[99], люди свободолюбивые и воинственные[100]. Именно они станут центрами военно-политического противостояния власти Москвы, опорой самозванцев разного толка, неоднократно Лжедмитрий I будет отсиживаться в Путивле[101]. Но если в первом случае люди Северских городов предались самозванцу по глубокому размышлению и вследствие Борисова кроволюбия, то во втором случае — это результат страха и безумия среди севрюков, донцов и рязанцев: «Овіи безъ ума прелстишася, овіи страха ради множества ихъ предашася имъ, обнищаша бо разумы и поползоша въ погибель сами: градъ Путимль, и Рылескъ, и Черниговъ, и Муромескъ, и Курескъ, и Стародубъ, и Кромы, и всѣ грады Сѣверскіе, и Шатцкіе мѣста и Резанскіе, и вси улусы и земли» [Иное

[99] По мнению Л.Н. Гумилева, «Активную же помощь Самозванцу оказали только три субэтноса: севрюки; обитатели нижнего Дона — потомки хазар, говорившие по-русски, но, как и севрюки, не считавшие себя великороссами, — и рязанцы — воинственные жители степной окраины. Рязанцы постоянно отражали татарские набеги, отвечая нападениями не менее жестокими, и вообще привыкли к войне настолько, что для них все были врагами: и степные татары, и мордва, и московиты, и казанцы». См.: *Гумилев Л.Н.* От Руси до России. URL: http://gumilev.narod.ru/p3ch02.htm (дата обращения: 19.01.2015).

[100] «Знаток курской старины, писатель и историк Е.Л. Марков писал о них: “Постоянная жизнь на пустынных рубежах земли русской, среди глухих лесов и болот, вечно настороже от воровских людей, вечно на коне или в засаде с ружьем или луком за спиною, с мечом в руке, постоянные схватки с степными хищниками, ежедневный риск своей головой, своей свободой, всем своим нажитком, выработали в течении времени из севрюка такого же вора и хищника своего рода, незаменимого в борьбе с иноплеменными ворами и хищниками, все сноровки которых им были известны, как свои собственные”». См.: Севрюки — коренное население Северской земли // Сборник статей и материалов, посвященный деревне Любощь и местам, ее окружающим. РГАДА. URL: http://diderix.petergen.com/rgd-svr.htm (дата обращения: 19.01.2015).

[101] См.: [Иное сказание, стб. 34, 36, 38, 41, 47–48 и др.].

сказание, стб. 99]. В обоих случаях нулевой дифференцирующий потенциал отличительных знаков городов, входящих в перечень, компенсируется обобщенными характеристиками жителей, что, с одной стороны, вводит в повествование важный тематический аспект (город — это люди), а с другой — вписывает упоминаемые города в создаваемую автором-составителем идеологическую парадигму как города, исторически и символически детерминированные.

Все вышеизложенное приводит к выводу, что городская тема, художественно скупо представленная в «Ином сказании», включена в единый интерпретирующий события русской истории код и играет важную роль в публицистическом замысле составителя. Благодаря приему предельного обобщения города воспринимаются как некое целое, как единый живой организм, как активные участники развернувшейся борьбы Б. Годунова и Лжедмитрия I. Они персонифицированы в истории Смуты как города «правильные» и «неправильные» по отношению к законной власти.

7. Воюющие «правильные» и «неправильные» города Северской земли (Новгород Северский и Кромы)[102]

В «Ином сказании» обнаруживается несколько типов изображения городов и населенных пунктов Северской земли, что обусловлено не только ее пограничным положением между Московией и Речью Посполитой, стратегической важностью этих земель как «одной из лучших областей Московии»[103], по словам И. Массы, но и необыкновенной активностью севрюков в событиях Смутного времени. Отсюда представляется вполне закономерным, что, повествуя о событиях, связанных с тем или иным городом Северской земли, составитель прибегает весьма часто к жанру воинской повести. Рассмотрим наиболее ярко представленные эпизоды осады Новгорода Северского и Кромы[104].

Оба эпизода, как и перечни городов, и играют важную роль в публицистическом замысле составителя. В тексте они воспринимаются как зеркальные, поскольку Новгород Северский остался верен Борису Годунову и оказывал сопротивление Лжедмитрию I, а в городе Кромы осело еретическое войско, возглавляемое казачьим атаманом Гришкой

---

[102] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* 1) Воинские повести об осаде городов Северской земли в составе «Иного сказания» (тезисы) // Древняя Русь. 2015. № 3 (61), сентябрь. С. 119–120; 2) Идейно-художественное своеобразие повестей об осаде в так называемом «Ином сказании» (статья) // Преподобный Иосиф Волоцкий и Московская Русь. Материалы Российской научной конференции «Макариевские чтения». 25–27 июня. Можайск: [Б.и.], 2016. Вып. 23. С. 386–394.

[103] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 152.

[104] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Традиции воинской повести в «Ином сказании» (на примере анализа эпизода осады Новгорода Северского) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве: сб. ст. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2009. С. 237–250.

Корелой. Эпизод осады Новгорода Северского близок по типу к воинским повестям событийного типа, поскольку в нем представлено относительно развернутое повествование, сюжет развивается напряженно и мотивированно, а эпизод осады Кромы — к воинской повести информативного типа, отличительной особенностью которой является ослабленное сюжетное действие, краткая передача основных фактов, обобщенное описание битвы (осады)[105]. Хотя в данном случае следует говорить именно о близости к определенной жанровой разновидности, но не о полном следовании сложившемуся в предшествующие периоды развития древнерусской литературы жанровому канону.

В обоих эпизодах границы формы воинской повести несколько размыты, достаточно в этой связи отметить тот факт, что, вопреки традиции, выявленной Н.В. Трофимовой, в эпизоде осады Новгорода Северского герои «названы, но не охарактеризованы», а в эпизоде осады Кромы «герои характеризуются различными приемами»[106]. Эта особенность становится хорошо заметна на фоне помещенного вслед за эпизодом осады Новгорода Северского рассказа, исполненного в лучших традициях жанра древнерусских воинских повестей, свидетельствующего о том, что и составитель «Иного сказания», и его предшественники, чьи тексты легли в основу компилятивного памятника, были хорошо знакомы с жанровыми и художественными особенностями создания воинских повестей. Размывание же границ воинского повествования наводит на мысль о том, что жанр постепенно начинает претерпевать еще пока не осознаваемые изменения и трансформируется под воздействием конкретных подробных сведений о событии и влиянием определенных идей. Сама же логико-хронологическая трехчастная структура (рассказ о подготовке битвы, описание осады (сражения), рассказ о последствиях столкновения), формально соблюдаемая в самом общем виде, становится определенным маркером в обозначении судеб конкретных городов. Важным для составителя оказывается не как произошло военное столкновение, а кто и почему принимал в нем участие, как себя повел в создавшейся ситуации, к какому финалу это привело. По сути, воспроизведение модели воинской повести в этих эпизодах обусловлено жанрообразующим объектом повествования — осада, — но имеет целью показать суть трагического противостояния Бориса Годунова и Гришки Отрепьева, которое приводит к наводнению Московского государства «иными» народами, к интервенции, и расколу страны, вылившемуся в жесточайшую гражданскую войну. В этом смысле эпизоды осады дополняют друг друга, поскольку защитники Новгорода Северского противостоят внешнему врагу, а защитники Кромы — своим, московскому войску.

---

[105] *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. С. 10–12.
[106] Там же. С. 12.

Традиционно в первой части воинской повести (краткой или пространной) давались сведения, более или менее документально точные, о составе и численности войск, цели похода. В избранных для анализа эпизодах данная схема соблюдена только в самом общем виде. В обоих случаях мы имеем дело с четкой фиксацией расстановки сил через мотивы сидения и приступа, вводимые посредством традиционных речевых формул. В эпизоде осады Новгорода Северского: «…въ немъ воеводы сѣдѣли бояринъ князь Никита Романовичь Трубецкой да Петръ Федоровичь Басмановъ…» [Иное сказание, стб. 28–29]. В эпизоде осады Кромы: «Во градѣ же Кромы сѣдяше еретическаго же войска атаманъ казачей Гришка Корѣла съ казаки и съ Кромляны» [Иное сказание, стб. 36].

Сама манера имяпредставления тех, кто возглавлял оборону городов, указывает на однозначное ясное отношение составителя к ним. И дело тут не только и не столько в том, что они принадлежали разным социальным сословиям: князь — казачий атаман. Они оказываются по разные стороны по отношению к закону: воеводы закон защищают, казачий атаман нарушает. В контексте общего повествования о Смутном времени это означает верность и противодействие власти Бориса Годунова, который в тот момент занимал царский престол.

Аналогичным образом представлены и имена осаждавших. В эпизоде осады Новгорода Северского: «И паки той Гришка поиде къ Новому Сѣвѣрскому граду <…>. Онъ же нача ко граду съ войскомъ крѣпко приступати…» [Иное сказание, стб. 28–29]. В эпизоде осады Кромы: «Царь же Борисъ посылаетъ подъ градъ въ Кромы воеводъ своихъ, боярина Федора Ивановича Шереметева, съ великимъ войскомъ. И, пришедъ, градъ осади и приступы творя…» [Иное сказание, стб. 36]. В обоих эпизодах расстановка сил показана через прием антитезы, а сопоставительный анализ позволяет выявить намечающуюся зеркальность в изображении осад этих городов.

Начало обоих эпизодов формально не дает представления о численности и составе войск. В то же время расширение контекста в случае с осадой Новгорода Северского позволяет составить более-менее понятное представление о составе войск. Составитель «Иного сказания» прямо пишет о том, что «король Литовскій собра ему (Гришке Отрепьеву. — *О.Т.*) довольно войскія силы, елико ему годѣ» [Иное сказание, стб. 26]. В дальнейшем при описании попытки захватить город появляется первый числовой указатель: всего врагов «убиша у нихъ до четырехъ тысящъ» [Иное сказание, стб. 29]. Защитникам города противостоит, согласно концовке эпизода, многочисленный враг. На это указывает не только количество погибших во время неудачного штурма (четыре тысячи), но и последующее замечание автора: «Онъ (Отрепьев. — *О.Т.*) же много, стоя подъ градомъ, главъ кладуще» [Иное сказание, стб. 30].

Мотивировка осады Новгорода Северского выглядит искусственной: Гришка пошел к городу, в нем сидели воеводы Н.Р. Трубецкой и П.Ф. Басманов, и те не захотели ему сдаться [Иное сказание, стб. 28]. Очевидно, в данном случае составитель «Иного сказания» либо был плохо осведомлен об этом событии, либо его мало интересовали причины интереса Лжедмитрия к этому городу, как и кем была организована оборона города и т. д. Формальность, искусственность этой мотивировки проявляется при сопоставлении текста «Иного сказания» и сочинения И. Массы, который акцентирует внимание на важности и самой Северской земли в силу богатства и изобилия этой стороны, и главного ее города как для московских властей, так и для Лжедмитрия I. Последний, чтобы продвинуться дальше, понимая важность подчинения «одной из лучших областей Московии»[107], сам предпринял поход против города. «Московиты весьма страшились за эту землю и послали туда доблестного витязя Петра Федоровича Басманова с войском»[108]. Редкие детали, встречающиеся в текстах иностранных авторов, касающиеся и географического положения, и важности города как стратегического объекта в борьбе с Лжедмитрием I, и тяжести положения осажденных, остаются без внимания в «Ином сказании». На первый план здесь выходит яркая антитеза: если все другие города и села Северской земли добровольно поклонялись Лжедмитрию I и приносили ему дары, как это было в обычае встречи царствующей особы на Руси, то жители Новгорода Северского, возглавляемые выше упомянутыми воеводами, покориться не захотели.

Общие сведения приводит составитель «Иного сказания» и о составе и численности войск в эпизоде осады г. Кромы. Численный состав «еретического войска» вкупе с горожанами не упоминается в тексте вовсе, как не упоминается и численность защитников Новгорода Северского, и тем значительнее становится числовой эпитет в определении московского войска: «съ великимъ войскомъ» [Иное сказание, стб. 36]. Но такого «великого» войска, как выясняется в дальнейшем, оказывается мало для того, чтобы одолеть мятежников. Царь Борис «еще ту воеводы присла, князя Федора Ивановича Мстиславского, да князя Дмитрея Ивановича Шуйсково со многими воинствы…» [Иное сказание, стб. 36]. К «великому» войску на помощь приходит «многое» воинство. Два абстрактных числовых эпитета «великое» и «многими» должны были бы создавать эффект масштабности военной операции. Но намеренно или случайно, вводя их, составитель добивается эффекта иного характера. Осаду города теперь уже возглавляют три князя и еще какие-то безымянные воеводы, теоретически люди, которые должны были овладевать военным искусством с детских лет, им дано огромное войско, и вроде бы они приступают к городу «храбро и мужественно» [Иное сказание, стб. 36]. Но взять город не могут! Четко

[107] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 152.
[108] Там же.

обозначенная цель осады — желание Бориса Годунова поскорее подчинить взбунтовавшийся город: «…хотяше градъ вскорѣ взяти» [Иное сказание, стб. 36], — несмотря на очевидные преимущества, так и не будет достигнута, о чем составитель и сообщит в конце эпизода: «И никако же града у нихъ взяти не возмогоша» [Иное сказание, стб. 36].

Не добьется своей цели и Гришка Отрепьев. Составитель «Иного сказания» и здесь в финале эпизода сообщит: «Онъ же много, стоя подъ градомъ, главъ кладуще, ничто же поспѣваше» [Иное сказание, стб. 30]. В обоих случаях подчеркивается, вольно или невольно, бездарность осаждающих воевод, которые бессмысленно губят своих людей. Противостояние Бориса Годунова и Лжедмитрия I, вылившееся в интервенцию и гражданскую войну, горячо осуждается на страницах «Иного сказания»: «Отъ страха и ужасти полна та бяше борба проклятаго еретика со святоубійцею; не сами собою сражаются, но человѣцы отъ нихъ умираютъ и кровь проливаютъ» [Иное сказание, стб. 31–32].

Образы осаждающих в обоих эпизодах имеют как черты сходства, так и явные различия, во многом обусловленные их отношением к законной власти Бориса Годунова. С одной стороны, их роднит общий тип действий. И те, и другие бьют по городу. В обоих случаях мотив битья концентрируется вокруг многократно повторяемого слова «град». В эпизоде осады Новгорода Северского: «приступати и бити <…> разбиша градъ до обвалу земнаго <…> градское разбиение <…> град биюще» [Иное сказание, стб. 29]. В эпизоде осады Кромы: «…градъ осади и приступы творя <…> на градъ крѣпко налягаху <…> исъ наряду біюще по острогу и по граду и всякими стѣнобитными хитростми налегая, и острогъ и градъ разбиша и до основанія» [Иное сказание, стб. 36]. Вместе с тем, несмотря на очевидное типологическое сходство мотива битья, он получает разную детализацию. В эпизоде осады Новгорода Северского создается коллективный образ врага — это некие «бьющие по граду» [Иное сказание, стб. 29]. По Кромам же бьют воеводы [Иное сказание, стб. 36]. При этом образ противников Новгорода Северского представлен богаче. Не ограничиваясь абстрактным указателем на тип действий («бьющие по граду»), составитель далее углубляет характеристику противника горожан при описании попытки захватить город через отворенные по собственной воле защитников ворота, давая яркое метафорическое сравнение: «…яко диви гладнии зверие къ снеди» [Иное сказание, стб. 29]. Уподобление героя «дивию зверю» по степени жестокости и злобности встречается довольно устойчиво в древнерусской литературе начиная с XI в.[109] Но в данном случае известное сравнение приобретает характер имянаречения врага. Сопутствующие сравнению эпитет «гладнии» и образ «снеди» углубляют негативную характеристику

[109] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 93.

осадивших город и проясняют расстановку сил: жителям противостоят некие голодные «дивии» звери, бьющие беспрестанно по городу с целью добычи — «снеди».

Дальнейшее описание действий нелюдей подчеркивает их звериную натуру, напоминает действия стаи в погоне за добычей: «…другъ предъ другомъ поскоряюще напредъ во градъ внити, и поидоша тесно, другъ друга угнетающе» [Иное сказание, стб. 29]. Теснота, скученность и давка, возникшие в стане врага вследствие жажды наживы, превращают их из пусть и странных, но живых существ в неподвижный неодушевленный предмет: горожане «начаша по всему войску бити, аки въ стену» [Иное сказание, стб. 29]. И далее, описывая последствия боя, составитель «Иного сказания» использует традиционную воинскую формулу описания битвы[110]: «…и яко мостомъ предъ стенами града и во вратехъ людми его помостивше» [Иное сказание, стб. 29].

Еретическому войску, осевшему в Кромах, изначально противостоят люди, христиане. Составитель не показывает их в действии, в отличие от воинов Лжедмитрия I. Он упоминает о гибели большого количества людей: «…изъ града же на приступѣхъ много войска побиша и крови христіянскія пролишася» [Иное сказание, стб. 36] — не только в бою, но и из-за страшного мороза: «И много же тогда войскихъ людей изомроша стужи ради настоящія зимнаго времени, яко время то зѣло студено бысть и ядовиты мразы быша» [Иное сказание, стб. 36]. Такая сухая на первый взгляд констатация высокой смертности в московском войске, подчеркиваемая словом «много», на деле оказывается скрытой негативной характеристикой московских воевод. Если смерть в бою — дело обычное в условиях военного времени (еще Владимир Мономах в письме к Олегу Святославичу писал: «Дивно ли, оже мужь умерлъ в полку ти? Лѣпше суть измерли и роди наши»[111]), то смерть от обморожения — преступление военачальников. Составитель не комментирует этот факт прямо, но сравнительно развернутая характеристика зимнего времени на фоне общего скудного на подробности повествования об осаде становится в тексте «говорящей»: она по сути обличает московских воевод. Не случайно именно их упоминает каждый раз составитель, когда приступает к рассказу о действиях московского войска: «Воеводы же ополчевашеся… Московскіи же воеводы стояху и до весны» [Иное сказание, стб. 36].

Иначе выстраивает составитель «Иного сказания» характеристику защитников города. Практически отсутствуют какие-либо эпитеты, сравнения в описании горожан. Герои обороны города охарактеризованы лишь через действия, авторская оценка которых также отсутствует. Подчеркивается инаковость поведения жителей Новгорода Северского по сравнению с жителями других русских городов и сел этой области. Если «градъ Царевъ,

---

[110] *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей... С. 22–24.

[111] Поучение Владимира Мономаха // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII века. 543 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874 (дата обращения: 22.05.2015).

Белгородъ и иные многие грады» [Иное сказание, стб. 26] «предашася и съ селы» [Иное сказание, стб. 28] Лжедмитрию I, то Новгород Северский «здатися не восхотеша» [Иное сказание, стб. 29].

Все защитники города представлены в эпизоде как единое целое — «граждане» [Иное сказание, стб. 30], хотя автор и упоминает руководителей обороны города — бояр Н.Р. Трубецкого и П.Ф. Басманова. «Вси единосердно сташа и биющеся <…> крепце» [Иное сказание, стб. 30] с врагом. Мотив единосердия, единения в описании защитников города будет косвенно подчеркнут автором и в рассказе о военной хитрости, придуманной горожанами. Не будет названо ни одного имени, из текста останется непонятным, кто был автором идеи заманить врага в ловушку, кто вел переговоры, кто был исполнителем. Есть только общее указание — «воеводы и граждане», «они» [Иное сказание, стб. 29]. Представляется сомнительным, что составитель не знал о довольно широко распространенных в народе слухах о подвиге П. Басманова, о котором пишут С.И. Шаховской [Летописная книга, с. 370] и И. Масса[112]. Очевидно, для него важнее была идея единства в борьбе с еретиком и расстригой, идея тем более ценная, что в других городах и селах Северской земли жители так же единосердно принимали Лжедмитрия I, как единодушно дали ему отпор жители Новгорода Северского. Поэтому автор словно намеренно избегает прямых оценок. Но именно их отсутствие на фоне отрицательных характеристик войска Лжедмитрия I становится косвенным свидетельством симпатии книжника по отношению к обороняющимся. В то же время единственное на весь отрывок сравнение защитников с волками — «яко волцы» [Иное сказание, стб. 29] — отнюдь не случайно, «если не брать в расчет их буйный нрав и прочие производные — скорее всего оно имеет более глубокие корни, уходящие в глубь веков к поклонению славянами и тюрками (половцами-анимистами) как двух основных составляющих севрюцкого суб-этноса, культу волка. Волк (хорт) особо почитался и у Запорожцев»[113].

Положительную оценку обороняющих подтверждает и пространный риторический авторский комментарий противостояния горожан и войска Лжедмитрия I, построенный на приеме синтаксического параллелизма с использованием развернутых метафор: «Гришка же ростригa, видяще стремленіе ихъ и подобную честь себѣ отъ гражданъ: въ крестовъ мѣсто и образовъ копія и сабли, въ кандила же мѣсто пушки и пищали, вмѣсто же благоуханнаго фиміяну зелной дымъ и смрадъ, вмѣсто же сладкаго овощу вкусившее пушечные и пищальные ядра, вмѣсто же меду смертнымъ ядомъ помазаны быша…» [Иное сказание, стб. 29–30]. Метафорические антитезы ярко описывают обманутые надежды,

[112] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 153.

[113] Севрюки — коренное население Северской земли // Сборник статей и материалов, посвященный деревне Любощь и местам, ее окружающим. РГАДА. URL: http://diderix.petergen.com/rgd-svr.htm (дата обращения: 19.01.2015).

чувства самого Лжедмитрия I и его воинов, ожидавших теплого приема, подобного тому, который им оказывали в других городах Северской земли, а вместо «даров» получивших только «пушечные и пищальные ядра» и «смертный яд».

Характеристика обороняющих Кромы строится иначе. Во-первых, из начала эпизода мы узнаем, что в городе оказываются заперты горожане («съ Кромляны») и «еретическое» войско во главе с Гришкой Корелой. При этом из текста абсолютно непонятна роль самих горожан: принимали ли они участие в обороне города, куда они ушли (и ушли ли?) после того, как город был полностью разрушен, до такой степени, что казаки отсиживались «въ норахъ земныхъ, и бои <…> чиниша исъ-подъ земли» [Иное сказание, стб. 36]. Непонятно из текста и почему «кромляны» не захотели спасти свой город, как жители Новгорода Северского. Составитель словно забывает о них и на протяжении всего эпизода речь ведет исключительно о казаках, давая им обобщенную, коллективную характеристику путем нанизывания оценочных отрицательных эпитетов: «Они же казаки, зломыслены и коварливы и безстрастны къ смерти и непокориви и къ нужамъ терпѣливы…» [Иное сказание, стб. 36]. Не менее важным представляется и тип действия казаков. Если учесть, что в древнерусской воинской повести «ситуация испытания нашествием врага описывается как развертывающийся во времени сюжет» и «первым способом переживания испытания становится *действие*»[114] (курсив автора. — *О.Т.*), то приходится признать, что, давая в целом отрицательную характеристику казакам, составитель «Иного сказания» не может не подчеркнуть их достойные если не восхищения, то во всяком случае запечатления на страницах исторического сочинения активность и инициативность: «…изъ града же на приступѣхъ много войска побиша <…> бои съ ними чиниша исъ-подъ земли, тако же и на выласку вонъ изъ града битися выхожаху» [Иное сказание, стб. 36]. Их активный способ «переживания испытания» — столкновение с московскими воеводами — становится в действительности испытанием для войска Бориса Годунова.

Таким образом, противники, представленные изначально зеркально, в обоих эпизодах в конечном счете получают сходную характеристику: защитники городов оказываются храбрее, мужественнее и умнее осаждающих с той лишь разницей, что жители Новгорода Северского открыто прославляются, поскольку остаются верны венчанному на царство Борису Годунову, а казаки, осевшие в Кромах, невольно оказываются выше осаждавших.

Благодаря такому предельному обобщению, наблюдаемому в обоих эпизодах, несмотря на вписываемые имена, отсутствию индивидуальных характеристик и наличию

---

[114] *Терешкина Д.Б.* «На Господа уповал — и не погибну»: Будущее в мотиве испытания в древнерусской воинской повести // Будущее как сюжет: Статьи и материалы. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2014. С. 15.

коллективных (в этом смысле воеводы — тоже коллектив, хоть и немногочисленный), города воспринимаются как некое целое, как единый живой организм, как активные участники развернувшейся борьбы Б. Годунова и Лжедмитрия I. Они оказываются персонифицированы в истории Смуты как города «правильные» и «неправильные» по отношению к законной власти. Использование же жанра воинской повести для рассказа о роли городов в истории Смуты обусловлено конкретными историческими событиями, связанными с каждым из городов.

***

Итог. Историко-публицистическая литература первой трети XVII столетия, по справедливому замечанию Д.С. Лихачева, была «литературой одной главной темы — темы “Смуты”, ее истоков, причин, характера, описания событий и поисков вин и виноватых»[115]. В этом контексте закономерным представляется распространенный во всех русских сочинениях подход к изображению исторических событий, согласно которому на общем фоне развернутых рассказов о царях и самозванцах, гражданской войне и интервенции, расколе страны, бедствиях и страданиях народа тема и образ города занимают, казалось бы, периферийную позицию. Однако, по справедливому суждению Б.А. Успенского, «История по природе своей семиотична в том смысле, что она предполагает определенную семиотизацию действительности — превращение не-знака в знак, не-истории в историю»[116]. В этом смысле города в памятниках Смутного времени становятся своеобразными знаками тех или иных исторических событий, а их истории, лаконичные или развернутые, неравномерно встречающиеся в разных произведениях, составляют отдельный трагический цикл внутри основного цикла. Рассказ о каком-либо городе или городах в большинстве случаев обусловлен конкретными, значимыми для того или иного автора событиями Смуты, порой ограничивается коротким эпизодом, посвященным одному событию и выписанным в соответствии с тем или иным жанровым каноном. Во всех этих случаях города являются географическими указателями, а их жители оцениваются с политической точки зрения в их отношении к правящим царям и самозванцам. И в то же время в ряде источников отдельные города, благодаря ярко выраженному авторскому неравнодушному отношению к их судьбе, начинают выступать в роли полноценных художественных образов, а сама манера изображения того или иного города земли Русской эпохи Смутного времени зависит от конкретных художественно-публицистических задач автора и составителя.

---

[115] *Лихачев Д.С.* Подступы к решительным переменам в строении литературы // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 12.

[116] *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. С. 11.

Глава 3 Жанровые конфронтации в поисках новых форм запечатления

1. Жанровое своеобразие памятников цикла

Традиционно в обобщающих исследованиях, посвященных памятникам Смутного времени, используется общее для всего цикла жанровое определение: «Повести Смутного времени» или «Повести и сказания о Смутном времени». Эта общая жанровая атрибуция во многом обусловлена тем, что названия большинства произведений о Смуте начинаются именно с этих слов. Вместе с тем, как справедливо отмечал Д.С. Лихачев в работе «Система литературных жанров Древней Руси», «жанровые определения в рукописях отличаются необыкновенной сложностью и запутанностью»[1], «Под одним названием могут находиться совершенно различные произведения»[2]. Признают этот факт и исследователи цикла сочинений о Смуте, в частности, Л. Боева писала: «Повести Смутного времени — это условное название группы произведений, объединяющей различные виды повестей: подметные или “прелестные” письма восставших крестьян, воззвания, послания, грамоты, видения, плачи, пародии, подложные грамоты, сказания, летописные формы, собственно повести и т. п.»[3]

Сложность жанровой атрибуции того или иного памятника XI–XVII вв. связана в первую очередь с общей методологической проблемой описания и систематизации жанров, обусловленной подвижностью жанровых определений в самих древнерусских текстах и невозможностью дать однозначное определение тому или иному средневековому нарративу в силу того, что в нем порой содержатся разные жанровые формы. Да и сам термин «жанр» в применении к произведениям средневековой словесности уже давно вызывает много вопросов и побуждает искать ему замену[4]. Не менее дискуссионным является вопрос соотношения понятий «жанр» и «канон», обстоятельно изложенный Л.В. Левшун в статье «Категория жанра в средневековой восточнославянской книжности: жанр и канон»[5].

---

[1] *Лихачев Д.С.* Система литературных жанров Древней Руси // Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 58.

[2] Там же. С. 59.

[3] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 47.

[4] См., например: *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Orthodox Slavdom // American Contributions to the Seventh Congress of Slavists. II. The Hague – Paris, 1973. P. 439–467; *Lenhoff G.* Categories of Early Russian Writing // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 259–271; *Ingham N.W.* Genre-Theory and Old Russian Literature // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 238–341; *Seemann K.-D.* Genres and the Alterity of Old Russian Literature // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 246–258; *Конявская Е.Л.* Комплексный подход и основные направления в изучении древнерусской литературы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 3 (9). С. 18–21. И др. работы.

[5] *Левшун Л.В.* Категория жанра в средневековой восточнославянской книжности: жанр и канон // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 4 (26). С. 101–116.

Учитывая условность оригинальных названий памятников о Смуте и зачастую их компилятивный характер, исследователи проделали колоссальную работу по жанровой атрибуции целого ряда произведений, выявлению в них элементов различных жанровых форм. Благодаря этой работе сегодня сочинения о Смуте можно разделить на несколько групп в зависимости от их жанровой специфики.

1 группа — *исторические повести (без вставных элементов, близких к другим жанровым формам)*:

1) «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов…»,
2) «Повесть, како отмсти всевидящее око Христово Борису Годунову пролитие неповинные крови новаго страстотерпца благовернаго царевича Дмитрея Угличьскаго»;
3) «Повесть 1606 года» в составе «Иного сказания»;
4) «Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Москве, и о разстриге Гришке Отрепьеве, и о похождении его»[6];
5) «Повесть о некоем мнисе, како посласе от бога на царя Бориса во отмщение крове праведнаго царевича Дмитрия» С.И. Шаховского, которая является «непосредственным продолжением»[7] «Повести известно сказуема на память великомученика благовернаго царевича Дмитрия»;
6) псковская летописная повесть «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства».

2 группа — *памятники биографического характера* — жития или близкие к ним тексты:

1) повесть «О рожении воеводы князя Михаила Васильевича Шуйского Скопина», представляющая собой «написанный в агиографическом стиле рассказ о жизненном пути и подвигах князя»[8];
2) «Житие царевича Дмитрия», внесенное в Минеи Германа Тулупова;
3) «Повесть о честнем житии царя Феодора Ивановича» патриарха Иова, «по жанру почти без отклонений повторяющая схему традиционного жития или похвального слова о житии»[9];

---

[6] См. подробнее: *Енин Г.П.* «Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Москве, и о разстриге Гришке Отрепьеве, и о похождении его» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 386–388.

[7] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 401, 411–414.

[8] *Енин Г.П.* Повесть о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 137.

[9] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 57.

4) «Повесть известно сказуема на память великомученика благовернаго царевича Дмитрия» («Житие царевича Дмитрия») князя С.И. Шаховского, близкая по жанру к «мартирологу, рассказу о мученике, о его гибели», но осложненная авторским образом и «личными моментами», «воспоминаниями о событиях», что приближает текст «к исторической повести»[10];
5) и др. памятники[11].

3 группа — *видения как самостоятельная жанровая форма*[12]:

1) «Повесть о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия;
2) Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире;
3) «Повесть о некоей брани, належащей на благочестивую Россию».

4 группа — *публицистические памятники малого объема и крупные исторические произведения, в основу которых положена какая-либо традиционная жанровая разновидность, осложненная другими жанровыми элементами*:

1) «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства», в основе которого лежат «грамоты прощальные Иова, Гермогена, посыльные грамоты Ляпунова и Пожарского» и в котором появляются «жанровые элементы “похвалы”»[13], а также церковной проповеди[14];
2) «Сказание о приходе польско-литовских войск под Устюжну Железопольскую», посвященное «борьбе земского ополчения с тушинцами в Устюжском крае в декабре 1608 – феврале 1609 гг.», представляющее собой историческую повесть «с повествовательными элементами, свойственными сказаниям о чудотворных иконах»[15];
3) псковская историческая летописная повесть «О царском избрании на Московское государство», в составе которой обнаруживается политическая легенда, ей будет посвящен отдельный раздел в этой главе;

---

[10] Там же. С. 84.

[11] См. подробнее: *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 440–501.

[12] О специфике жанра видений см.: *Прокофьев Н.И.* 1) Видение как жанр в древнерусской литературе. С. 35–56; 2) Образ повествователя в жанре «видений» литературы Древней Руси. С. 48–51.

[13] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 68.

[14] См. подробнее: *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII в. С. 89–91.

[15] *Солодкин Я.Г.* Сказание о приходе польско-литовских войск под Устюжну Железопольскую // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 435–437.

4) «Повесть о убиении царевича Димитрия Угличского», передающая подробности событий от 15 мая 1591 г. в Угличе, которую рассматривали как «пример переделки данных “Следственного дела”, предпринятой “в обвинение Бориса”»[16] либо, наоборот, отвергали ее зависимость от «документальных материалов» и выделяли фольклорные мотивы[17] и признавали, что это «простое предание с примесью благочестивой легенды»[18];
5) «Новая повесть о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском», в которой обнаруживаются черты послания, воззвания, памфлета, подметных писем, официозной прокламации[19];
6) «Послание дворянина дворянину», в первой части которого использована «форма послания из стереотипного письмовника», написанная «раешной скороговоркой»[20], а во второй части — книжный стиль, близкий к форме литературных плачей[21];
7) «Иное сказание», в состав которого вошла историческая «Повесть 1606 года», «Повесть о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия», летописные заметки и правительственные грамоты, «Извет» старца Варлаама, повествование о движении Болотникова, воинские повести[22] и др.;
8) «Словеса дней и царей и святителей Московских, еже есть в России» князя Ивана Андреевича Хворостинина, состоящие из «общих характеристик» деятелей Смуты[23] и представляющие собой «автобиографическое» произведение[24] в «стиле оправдывающегося мемуариста», в котором отбор излагаемого исторического материала «намеренно подчинен той или иной роли в событиях самого автора»[25];
9) «История в память предыдущим родом» («Сказание») Авраамия Палицына, первые шесть глав которой связаны с житийной традицией, главы 7–52, повествующие об осаде поляками Троице-Сергиева монастыря, написаны в жанре внелетописной воинской повести, в составе которой обнаруживаются

---

[16] *Иконников В.С.* Новые исследования по истории Смутного времени Московского государства. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1889. С. 44.
[17] *Солодкин Я.Г.* Повесть о убиении царевича Димитрия Угличского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 203–204.
[18] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 456.
[19] См. подробнее: *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII в. С. 46–53.
[20] См.: *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 48–49.
[21] См.: *Буланин Д.М., Панченко А.М.* Фуников Иван. С. 187–190.
[22] См. подробнее: *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 197–268.
[23] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 358–376.
[24] См.: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси… С. 31–32, 174–206.
[25] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 58–59.

молитвы и послания, характерные для агиографической литературы, бытовые сцены, главы 53–77 представляют собой рассказ о событиях после осады, низведении с царства Василия Шуйского, разорении и освобождении Москвы, Деулинском перемирии[26]. Сочетание и развитие традиций «житийной и церковно-учительной литературы, летописей, воинских повестей», автобиографические элементы повествования, творчески переработанные троицкие патриотические грамоты 1611–1612 гг., записи и воспоминания участников обороны монастыря и др. превратили памятник в «глубоко оригинальное произведение», в котором «осязаемо проступают новые черты русской историографии»[27];

10) «Повесть о победах Московского государства», в составе которой обнаруживаются записи из Рязрядной книги, воинские повести, в том числе и воинская повесть об осаде, биографические панегирики, плачи-причеты, политические легенды, сказание о даре шаха Аббаса[28];
11) «Рукопись Филарета», распадающаяся на ряд тематических рассказов, о чем пойдет речь отдельно, в составе которой выделяются также плачи и воинские повести.

5 группа — *оригинальные в художественном отношении памятники, в составе которых обнаруживаются различные жанровые формы без ярко выраженной жанровой доминанты*:

1) «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» — необычное жанровое определение памятника связано с тем, что автор «писал не повесть и не похвалу, а рассказ о взволновавшем его событии»[29], который не имел «аналогий в литературной традиции», поскольку в нем использованы не только стилистические средства Степенной книги и княжеских житий, лирические плачи[30], но и устное народное творчество[31];

---

[26] См. подробнее: *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. С. 158–165.

[27] *Солодкин Я.Г.* Авраамий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 1: А – З. С. 40.

[28] См. подробнее: *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 106–122.

[29] *Енин Г.П.* «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П–С. С. 37.

[30] Там же. С. 36.

[31] См. подробнее: *Адрианова-Перетц В.П.* Исторические песни XVII века и устное народное творчество. С. 67–96; *Ржига В.Ф.* Повесть и песни о князе Михаиле Скопине-Шуйском // Известия по отделению русского языка и словесности. 1928. Т. 1, кн. 1. С. 81–107.

2) «Временник» дьяка Ивана Тимофеева, название которого, по словам О.А. Державиной, «уводит нас к летописи <…> или хронографу, но оно не соответствует даже первой законченной части произведения. Это не повествование, построенное по годам, в хронологическом порядке, а ряд самостоятельных очерков на исторические темы и размышлений над событиями родной истории»[32], в составе которых встречаются и биографические очерки, и плач, и притчи, и др. Художественная специфика памятника не раз становилась предметом пристального внимания исследователей, которые давали различные интерпретации, рассматривая его то как несостоявшийся историографический проект начала XVII в.[33] (Д.А. Рыбаков), то как «собранье пестрых глав», представляющих по сути «лирический монолог, полный покаянных самобичеваний, тяжеловесных метафор, темных и весьма надуманных перифрастических оборотов»[34] (А.В. Каравашкин);

3) «Летописная книга», создание которой приписывается то С.И. Шаховскому[35], то И.А. Хворостинину[36], то И.М. Катыреву-Ростовскому[37], то С. Кубасову[38], рассматривается как «беспристрастная хроника событий»[39], являющая «цельное описание всей эпохи»[40], состоящее из нескольких частей, «каждая из которых отличается своими особыми жанровыми признаками: историческое повествование, полные негодующего лиризма “укоры и поносы”, составленные в форме иконописного подлинника характеристики царей в “Написании вкратце о царях московских” и, наконец, вирши. Это не только внешнее объединение жанрово различных частей: на протяжении всего повествования, внутри каждой из этих частей встречаются элементы разных жанров и стилей»[41];

---

[32] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 358.

[33] *Рыбаков Д.А.* «Временник Ивана Тимофеева» — несостоявшийся историографический проект начала XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). С. 60–65.

[34] *Каравашкин А.В.* Риторика Смуты: «Временник» Ивана Тимофеева // Древняя Русь: Пространство книжного слова. Историко-филологические исследования / отв. ред. В.М. Кириллин. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 337–338.

[35] См., например: *Кукушкина М.В.* Семен Шаховской — автор Повести о Смуте // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М.: Наука, 1975. С. 75–78.

[36] См.: *Строев П.М.* Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, правоведения, до начала XVIII столетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. 1. § 150. С. 173. § 167. С. 175.

[37] См., например: *Серова И.Ю.* «Летописная книга» (из истории русской литературы первой трети XVII века): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1992. 21 с.

[38] См.: *Попов А.* Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869. С. 231–236.

[39] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 389.

[40] Там же. С. 388.

[41] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 62.

4) псковская летописная повесть «О бедах и скорбех и напастех…», которой будет посвящен специальный раздел этой главы.

6 группа — *хронографы и летописцы*:

1) «Хронограф 1617 года»;
2) «Бельский летописец»;
3) «Пискаревский летописец»;
4) «Книга, глаголемая Новый летописец».

Предложенная классификация по жанровому признаку охватывает основные памятники цикла сочинений о Смуте и, безусловно, не может претендовать на бесспорность прежде всего в силу сложности жанровой атрибуции самих синкретичных текстов. Однако она позволяет проследить основные тенденции: тяготение к традиции (собственно исторические повести, жития и близкие к ним повести и сказания[42], хронографы и летописцы — 1, 2, 6 группы), начавшуюся трансформацию жанровой системы, нашедшую отражение в том, что малые жанровые формы, существовавшие в рамках житийной, летописной, легендарно-исторической литературы, такие, как видение, плач, обретают «жанровую самостоятельность»[43] (3 группа), и, наконец, новаторские поиски новых форм запечатления исторических событий (4, 5 группы). Для большинства памятников, как справедливо отмечала Л. Боева, «типична в жанровом отношении характерная смешанность. <…> Большое влияние оказывает на жанр повести документ, чаще всего грамота, прокламация, сообщение. Многое берется от старой летописной манеры»[44]. В произведениях, созданных после 1612 г., наблюдается «рост личностного, творческого начала», оказывшего влияние и на их жанровую специфику[45], и, как следствие, усиливается мемуарно-биографическое начало[46].

Далее речь пойдет о необычных жанровых формах повествования в неизученных или мало изученных памятниках.

---

[42] Термины «повесть» и «сказание» в данном случае можно рассматривать как взаимозаменяемые из-за отсутствия в литературе Древней Руси строгой дифференцированности самих этих жанровых форм. Так, Н.И. Прокофьев отмечал, что к повестям «как литературному жанру близко стоят сказания, которые древнерусские “списатели” и читатели не выделяли в отдельную литературную форму». См.: *Прокофьев Н.И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. // Литература Древней Руси. М., 1975. Вып. 1. С. 32.

[43] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 352.

[44] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 72.

[45] Там же. С. 75.

[46] См. подробнее: *Дудко А.П.* Мемуарно-биографическое начало в исторических повестях начала XVII века о Смуте. 18 с.

2. Жанровая загадка псковской летописной повести «О бедах и скорбех и напастех…»[47]

Одним из интересных в художественном плане сочинений о Смутном времени является псковская летописная повесть «О бедах и скорбех и напастех», созданная после 1625 г.

В отечественной историографии она получила негативную оценку. Так, С.М. Соловьев утверждал, что сказание «составлялось по стоустой молве народной»[48]. Его точку зрения поддержал С.Ф. Платонов, писавший, что автор повести «внес в свое повествование много басен, примером которых может служить его рассказ о свержении Шуйского»[49].

Иная оценка содержится в работе «“Смутное время” в изображении литературных памятников 1612–1630 гг.»: признавая правоту С.М. Соловьева, В.П. Адрианова-Перетц вместе с соавторами отмечала, что произведение «довольно искусно по форме и языку»[50]. Его автор «отступает от традиционной точки зрения, чрезвычайно обобщавшей и абстрагировавшей причины божьего гнева общею греховностью людей. По существу автор считает греховной лишь одну часть русского общества — “бессловесных зверей” — бояр, “сильных градодержателей”, “нарочитых людей”»[51]. Аналогичным образом оценивал сказание и М.Н. Тихомиров[52].

Прямо противоположное мнение о повести высказал исследователь Г.В. Петров, полагавший, что «в повести о бедах и скорбях патриотизм псковичей, не теряя своего гражданского пафоса, поднимается на общерусскую высоту. Это плач по разоренной России»[53].

Среди этих исследовательских работ, посвященных в первую очередь оценке достоверности излагаемых в повести событий и освещению главной идеи, выделяется

---

[47] Первые публикации материалов этого раздела см.: *Туфанова О.А.* 1) Загадка псковской летописной повести «О бедах и скорбех…»: предисловие и текст // Вестник славянских культур. 2018. Т. 47. С. 159–168; 2) Летописная повесть «О бедах и скорбех…»: особенности включения прямой речи // Русская речь. 2019. № 3. С. 96–104; 3) «Несостоявшаяся» новелла в составе псковской летописной повести «О бедах и скорбех…» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2019. Т. 78, № 1. С. 64–71; 4) Повесть о преступлениях царя в составе исторического нарратива «О бедах и скорбех...» // Литература Древней Руси: материалы X Всероссийской конференции «Древнерусская литература и ее традиции в литературе Нового времени», посвященной памяти профессора Николая Ивановича Прокофьева, г. Москва, 6–7 декабря 2018 г. / сост. Н.В. Трофимова. М.: МПГУ, 2019. С. 65–77.

[48] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. V, т. 9–10. С. 349 (т. 9, гл. 5).

[49] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 500.

[50] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 70.

[51] Там же.

[52] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 48.

[53] *Петров Г.В.* Патриотические мотивы в памятниках древнепсковской культуры // Псков. 2003. № 18. С. 15.

работа А.С. Демина «Русские старопечатные предисловия и послесловия начала XVII в. (“великая слабость” в Смутное время)», в которой лаконично характеризуются собственно поэтические особенности произведения. По мнению исследователя, «Адресаты предисловия в повести “О бедах и скорбех” также мыслились переживающими и ужасающимися одинаково с автором»[54].

Обзор научной литературы, посвященной повести «О бедах и скорбех…», показывает, что она практически не изучена с точки зрения особенностей поэтики. А между тем это небольшое по объему произведение таит в себе немало загадок и вызывает много вопросов, и среди них — вопрос жанровой атрибуции этого исторического повествования.

История вопроса. Текст, включенный в Псковскую летопись и выделенный заголовком «О бедах и скорбех…», получил различную жанровую атрибуцию в работах немногих исследователей, которые обращались к нему. Так, С.М. Соловьев[55], С.Ф. Платонов[56], В.П. Адрианова-Перетц[57] определяли жанр этого памятника как «сказание», М.Н. Тихомиров[58], А.С. Демин[59], Г.В. Петров[60] — как «повесть». Однако, когда мы говорим, что тот или другой исследователь определил жанр так, а не иначе, мы имеем в виду способ называния: «Сказание о бедах и скорбех и напастех, иже бысть в Велицей России» или «Повесть о бедах и скорбех». Специальных исследований, посвященных проблемам жанра этого текста, не проводилось.

В «Краткой литературной энциклопедии», изданной в 1965 г., О.А. Державина указала на синкретический характер и размытость жанровых границ древнерусской повести, объединяющей «повествовательные произ.<ведения> разного характера (собственно повесть, житие, летописная повесть, сказание, “поведение”, “слово”)»[61]. Более четкое определение древнерусской повести дал Н.И. Прокофьев, отметив, что «это эпическое повествовательное произведение о событиях исторической жизни, в которых участвуют исторические лица и стоящие над ними внеисторические силы. В центре древнерусской повести стоят сами исторические события, а лица показываются лишь как участники этих событий и занимают по отношению к событиям служебное положение»[62].

---

[54] *Демин А.С.* Русские старопечатные предисловия и послесловия начала XVII в. («великая слабость» в Смутное время) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 203.

[55] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. V, т. 9–10. С. 349.

[56] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 500.

[57] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 70.

[58] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 16.

[59] *Демин А.С.* Русские старопечатные предисловия и послесловия начала XVII в. С. 203.

[60] *Петров Г.В.* Патриотические мотивы в памятниках древнепсковской культуры. С. 15.

[61] *Державина О.А.* Повесть древнерусская // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1965. Т. 5. С. 818–820.

[62] *Прокофьев Н.И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. // Литература Древней Руси. М., 1975. Вып. 1. С. 32.

Текст «О бедах и скорбех…» на первый взгляд соответствует этой жанровой характеристике, если бы не три существенные особенности памятника. Во-первых, произведение посвящено не одному, а нескольким событиям Смутного времени, в нем упоминается большое количество исторических лиц, но хорошо известные факты их биографии и связанные с ними события рассказываются не в соответствии с действительной историей, а сквозь призму авторской трактовки. Во-вторых, эпизоды неодинаковы по объему, степени освещенности событий, манере повествования. В-третьих, отличаясь друг от друга структурными повествовательными моделями, все фрагменты объединены довлеющим над действительными историческими событиями мотивом мести Бога, предопределяющим авторскую интерпретацию Смуты.

Попытаемся разобраться, какие жанровые формы представлены в тексте «О бедах и скорбех…». В памятнике отчетливо выявляется несколько эпизодов, каждый из которых посвящен одному знаковому событию Смуты:

1. смерть Рюриковичей и воцарение Бориса Годунова;
2. смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I;
3. смерть Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского;
4. избавление Москвы от нашествия «Полскихъ и Литовскихъ людей» и смерть М.В. Скопина-Шуйского;
5. пленение и последующее освобождение Москвы вторым ополчением.

Соответствуют ли эти эпизоды традиции написания летописных повестей или сказаний? Нет!

И.П. Еремин, анализируя художественные особенности «Повести временных лет», разделил формы летописного повествования на пять групп: «1) погодная запись; 2) летописное сказание; 3) летописный рассказ; 4) летописная повесть; 4) документы из княжеских архивов: договоры, уставные грамоты»[63]. По мнению ученого, летописное сказание представляет собой «устное историческое предание в “книжной”, литературной переработке летописца»[64], летописный рассказ «прежде всего документален <…>, в нем нет ничего выдуманного, сочиненного, “литературного”»[65], а летописная повесть — это «повествование особого типа, посвященное рассказу о смерти того или иного князя, своеобразный некролог»[66]. Это деление в той или иной мере приложимо практически ко всем последующим летописям, что подтверждают и работы других исследователей. Так, В.В. Кусков выделял в летописи аналогичные первичные жанровые формы, такие как погодную запись, исторические, топонимические и агиографические предания (легенды),

[63] *Еремин И.П.* Лекции по древней русской литературе. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 52.
[64] Там же. С. 53.
[65] Там же. С. 55.
[66] Там же. С. 59.

историческое сказание (рассказ) и повесть[67]. К первичным жанрам, лежащим в основе летописи, относил повесть и сказание Н.И. Прокофьев[68]. Рассматривая особенности исторических повестей в составе летописей раннего периода, большинство ученых выделяет два основных типа: повести о княжеских преступлениях и воинские повести[69]. В последнее время появляются работы, в которых поднимается вопрос о необходимости пересмотра двух жанровых разновидностей исторической повести в составе летописных сводов. В частности, Н.А. Сочнева пишет о том, что среди исторических повестей следует выделять «традиционные воинские повести», «повести о княжеских преступлениях», а также повести, занимающие «промежуточное положение между двумя выше названными» и посвященные «описанию междоусобных битв русских князей»[70].

Если принять это деление за аксиому, то мы вынуждены будем констатировать, что памятник «О бедах и скорбех…» не может быть однозначно атрибутирован ни как летописный рассказ, ибо он не документален, а составлен «по стоустой молве»[71]; ни как летописная повесть, ибо это не некрологи о смерти князя, хотя о смерти царей и самозванцев говорится постоянно; это не воинская повесть, хотя в тексте содержатся упоминания о битвах; и это не повесть о междоусобной войне, хотя в центре внимания — трагический рассказ о череде самозванцев на русском престоле. Наконец, жанр памятника «О бедах и скорбех…» невозможно определить и как летописное сказание, ибо здесь нет типичного для этого жанра эпического героя[72]. Таким образом, помещенный в Псковскую летопись текст не укладывается в привычные летописные формы повествования.

Более того, в памятнике отчетливо выделяются пространное предисловие и собственно повесть, в которой лаконично освещаются знаковые события Смуты.

Предисловие и текст. «Обращение к читателю, предваряющее книгу и ведущее свое начало со времен античности в XVI–XVII вв., считалось обязательным. Трудно найти сочинение того времени, которое не открывалось бы многословным или кратким рассуждением о пользе чтения, о смысле произведения», — писала в работе «Польские старопечатные предисловия XVI–XVII вв. (литературные и филологические функции)»

---

[67] *Кусков В.В.* Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII в.: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1980. С. 25.

[68] *Прокофьев Н.И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. С. 28–32.

[69] См., например: *Лихачев Д.С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 215–247; *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. С. 55–80; *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. Указ. соч.

[70] *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести в древнерусском летописании домонгольского периода // Вестник Омского государственного университета. 2013. № 3. С. 154.

[71] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Т. 9, гл. 5. С. 349.

[72] *Творогов О.В.* Литература Киевской Руси (XI – начало XIII в.) // История русской литература XI–XVII веков / под ред. Д.С. Лихачева. М.: Просвещение, 1985. С. 67–69.

Л.А. Софронова[73]. Но задолго до XVII в. уже в четьих рукописях Древней Руси XI–XII вв., согласно исследованию А.С. Демина, «предисловия являлись относительно самостоятельной частью рукописных книг»[74]. В сущности, они могут рассматриваться как малая литературная форма, «как своего рода “жанр”»[75], который играет в конкретном памятнике «значительную роль в передаче идейно-содержательной значимости»[76]. Не случайно, рассматривая историографию славянского Возрождения, А.Н. Робинсон отмечал: «Изучение славянской историографии невозможно без выяснения тех общих проблем и конкретных задач, которые ставили перед собою сами историографы и которые они декларировали в исключительно интересных предисловиях и послесловиях к своим сочинениям»[77].

Как правило, предисловие, преследуя «определенные цели и задачи», «формирует читательское восприятие и представление о книге»[78] и является «своеобразной» формой, имеющей «функцию посредника между книгой и ее создателями и издателями — с одной стороны, и читателями — с другой»[79]. Весьма часто предисловие и текст в древнерусских памятниках связаны не только формально, но и содержательно-стилистически. Предисловие, предваряя текст, задает основной тон и интонационно-смысловые координаты дальнейшего повествования.

В псковской летописной повести «О бедах и скорбех…» отчетливо выделяются пространное предисловие и собственно повесть, в которой лаконично освещаются знаковые события Смуты. Казалось бы, они должны составлять единое целое, но предисловие и текст, как справедливо отмечал А.С. Демин, «различаются по тону»[80].

Более того, на первый взгляд именно в предисловии задаются основные библейско-литературные координаты, с ориентацией на которые автор повести и будет рассказывать далее, «како и откуду начашася сія злая быти» [О бедах и скорбех, с. 55] в Великой России.

Первая «координата» — Иерусалимское пленение: «Якоже сотворися древле на Востоцѣ, и во Іерусалимстѣй странѣ, и во Александріи, и во Антіохіи, потомъ же и въ царствующемъ велицѣмъ градѣ Констянтинѣ, запустѣніе и плѣненіе градовомъ и всѣмъ сущимъ ту живущимъ <…> подобно же сему и здѣ сотворися, въ нынѣшняя времена, въ

---

[73] *Софронова Л.А.* Польские старопечатные предисловия XVI–XVII вв. (литературные и филологические функции) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 100.

[74] *Демин А.С.* Древнерусские рукописные книжные предисловия XI–XII вв. (на пути к массовому читателю) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 13.

[75] Там же; *Сазонова Л.И.* Украинские старопечатные предисловия конца XVI– первой половины XVII в. (особенности литературной формы) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 153; и др. работы.

[76] *Сазонова Л.И.* Украинские старопечатные предисловия… С. 154.

[77] *Робинсон А.Н.* Историография славянского Возрождения и Паисий Хилендарский: Вопросы литературно-исторической типологии. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. С. 12.

[78] *Сазонова Л.И.* Украинские старопечатные предисловия... С. 155.

[79] Там же. С. 156.

[80] *Демин А.С.* Древнерусские рукописные книжные предисловия XI–XII вв. С. 191.

Рустѣй земли» [О бедах и скорбех, с. 56]. Это пространное историческое сравнение следует сразу же за не менее пространным названием; далее на протяжении почти всех эпизодов, из которых и состоит повесть, автор ни разу не вспоминает об этом сопоставлении и обращается к нему вновь только в последнем эпизоде, рассказывающем о пленении Москвы, но несколько в ином ключе: «…но Богу тако изволившу, якоже древле Іерусалиму и Царюграду кровію очиститися отъ грехъ» [О бедах и скорбех, с. 60–61]; «И сбысться на царствующемъ градѣ Москвѣ якоже и на Іерусалимѣ, иже плѣненъ бысть въ самый праздникъ Пасхи Антіохомъ; такоже и сему бысть» [О бедах и скорбех, с. 61]. В конце эпизода, который одновременно является и концовкой повести, автор еще раз, уже назидательно, обращается к данному сравнению: «Зрите, братіе, по всему подобно разореніе Московского государства и всея Рускія земля Іерусалимскому плѣненію отъ Антіоха, еже бѣ во опрѣсночный праздникъ, сіирѣчь Пасхи…» [О бедах и скорбех, с. 62]. Таким образом, повесть начинается и завершается на первый взгляд одинаковым сравнением, косвенно отсылающим читателей к возможным источникам сведений о пленении / падении Иерусалима — «Истории Иудейской войны» и «Иудейским древностям» Иосифа Флавия.

Однако сопоставление текста псковской повести с «Историей…» и «Иудейскими древностями» не выявило сходных стилистических приемов и композиционных схем. Единственное обнаруженное сходство — это перекликающаяся эмоциональная формула выражения скорби «О горе, горе, увы, увы!» с предсказаниями в «Истории…» Исуса, сына Анана, кричавшим «жалостным» гласом: «Люте, люте Иерусалиму!», «Увы, увы граду и людемъ и цръкви!», «Увы, увы мнѣ!»[81] Вместе с тем интонационное и тематическое сходство (но не тождество!) не позволяет говорить о ее прямом заимствовании, поскольку эта формула в том или ином виде встречается и в Библии («Горе тебе, Иерусалим!» — Книга пророка Иеремии 13: 27; «Горе, горе тебе, великий город» — Откровение святого Иоанна Богослова 18: 16), и в фольклоре (например, в песнях: «О горе, горе! // То невѣстино! // О горе, горе! // Ты невѣстушка, // О горе, горе! // Ты ластушка!»[82]), и во многих древнерусских памятниках (например, в «Слове о исходе души и страшном суде» свт. Кирилла Александрийского неоднократно повторяется формула «О, го́ре, го́ре!», «Увы, увы!»[83]), особенно часто в цикле произведений первой трети XVII в. о Смутном времени (например, «Ох, ох, увы, увы! Горе, горе лютѣ-лютѣ!» [Новая повесть, с. 50] — в «Новой

[81] Цит. по: Из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия» // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1999. Т. 2: XI–XII века. С. 292.

[82] О горе, горе! URL: http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/p10/p1040564.htm?cmd=2 (дата обращения: 09.08.2017).

[83] *Свт. Кирилл Александрийский.* Слово о исходе души и страшном суде // Святоотеческое наследие. URL: http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.v.k_02_0031 (дата обращения: 09.08.2017).

повести о преславном Росийском царстве», «Охъ, увы! горе!», «горе, горе! увы! увы! ох, ох!» [Плач о пленении, с. 142] — в «Плаче о пленении и о конечном разорении Московского государства» и т. д.).

Общих мотивов в повести «О бедах и скорбех и напастех» и в «Истории Иудейской войны» и в «Иудейских древностях» практически не выявлено, кроме последнего эпизода, где прослеживается тематическое сходство. Захват поляками сердца Москвы — «градъ Китай и Кремль» [О бедах и скорбех, с. 61] — уподобляется пленению Иерусалима. При этом автор компилирует и варьирует мотивы, относящиеся к разным периодам истории Иерусалима, — пленению города правителем Селевкидской державы Антиохом IV Епифаном (175–163 гг. до н. э.) и осквернению им Храма 25 декабря 167 г. до н. э. (он приказал установить греческий алтарь Зевса на месте жертвенника и заклать на нем свинью) и уничтожению города римлянами в 70 г. н. э. Именно в такой причудливой комбинации и обнаруживаются сходные идейно-тематические моменты.

Время захвата / пленения / падения городов наделяется авторами особой значимостью. Так, в псковской повести, согласно тексту, пленение Москвы приходится на Цветоносную и Страстную неделю, на главный христианский праздник Пасху, время особого душевного напряжения и радости: «Пришедши же великой Цвѣтоносной недѣли <…> умыслиша же Полстіи людіе въ той день посѣщи всѣхъ во градъ собравшагося народа» [О бедах и скорбех, с. 61]; «Наутрія же самыя Христовы страсти <…> Полстіи людіе, начаша сѣщи безъ милости…» [О бедах и скорбех, с. 61]. Завершая рассказ о поведении поляков в Москве, автор пишет: «И сбыться на царствующемъ градѣ Москвѣ якоже и на Іерусалимѣ, иже плѣненъ бысть въ самый праздник Пасхи Антіохомъ» [О бедах и скорбех, с. 61]. Ни в «Истории Иудейской войны», ни в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия, ни в Первой, ни во Второй книге Маккавейской не говорится о пленении Иерусалима в Пасху.

Однако в «Истории Иудейской войны» есть фрагмент о знамениях перед погибелью Иерусалима в 70 г. н. э.: «Ни разумѣша, егда ста звѣзда над градомъ, подобна копию, и пребы лѣто все, ейже имя комитисъ наречемаа, вся власятая. И пакы, прежде заротѣния съвокупляющимся людемъ *къ опресночному празднику*, въ 8 день мѣсяца ксанфика, иже есть априль, въ девятый час нощи, толикъ свѣтъ въсия на жрътвеницѣ и на цръкви, яко мнѣти дни быти свѣтлу, и продлъжися до получаса. <…> *В той же праздникъ* корова нѣкымъ приведена бысть на заколение, и посреди цръкви стоящи роди агньца. <…> *По малѣ же дневъ от праздника*, въ 21 день мѣсяца артемисия, иже есть май, видѣние нѣкое дѣмонское явися паче вѣры. <…> Преже бо слънечьнаго захождения явишася по аеру и по небу по всей иудѣйстей земли колесници и полци съ оружиемъ, скачюще сквозѣ облакы и обступающе грады. *Въ праздникъ же нареченный Пянтикостий*, нощию иерѣи влѣзше въ

внутренюю црьковь по обычаю на службу, пръвое очютиша подвизание и громъ, потом же и глас внезаапу слышаша глаголющь: “Отступимъ отсюду”. Иже страшнѣйши сих» (курсив мой. — *О.Т.*)[84].

Вот здесь-то, видимо, и кроются истоки нарочитого повтора в псковской повести: «Пришедши же великой Цвѣтоносной недѣли… Пришедшимъ же душеспасительнымъ днемъ, въ онъ же Христосъ Богъ возлеже на вечери, и умы нозѣ ученикомъ своимъ, и вдастъ имъ тѣла своего божественныхъ таинъ Новаго завѣта, въ самый великій четвертокъ… Наутрія же самыя Христовы страсти… къ свѣтлому великому празднику пасхи Воскресенія Христова… и сице творяху всю святую недѣлю… еже бѣ во опрѣсночный праздникъ… [О бедах и скорбех, с. 61–62].

Псковский автор явно путает события далекой древности: осквернение Храма в Иерусалиме Антиохом IV Епифаном пришлось не на Пасху, а на Рождество, а знамения, связанные по времени с Пасхой, о которых пишет Иосиф Флавий, предшествуют началу войны, приведшей к разрушению Иерусалима в 70 г. н. э. Вероятнее всего, автор псковской повести перепутал имена агрессоров и вместо императора Тита вписал несколько раз имя Антиоха. Вместе с тем вполне вероятно и иное объяснение: действия интервентов во время Смуты, по свидетельству современников, описывавших трагические события начала XVII в., имели целью не только обогащение и захват территории, но и искоренение православной веры. В этом смысле становится понятно, почему автор псковской повести обращается именно к Антиоху IV Епифану, который притеснял иудеев и насаждал эллинизм. Во Второй книге Маккавейской говорится: «Спустя немного времени царь послал одного старца, Афинянина, принуждать Иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божиим» (6: 1), «Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться Иудеем» (6: 6). Аналогичным образом поступают и «Полстіи людіе» в Москве, создавая условия, при которых невозможно было осуществить обрядовые действия, подготовиться к главному христианскому празднику. Так, патриарх, узнавший, что «поганіи» хотят «посѣщи всѣхъ», отменил «святителское шествіе на осляти» [О бедах и скорбех, с. 61]. Пришедших на площадь за покупками к Пасхе людей поляки секут без милости. Настойчивое же повторение того, что события пришлись на время наивысшего смирения и светлой радости для христиан, становится ярким художественным приемом, подчеркивающим, с одной стороны, контраст должного (правильного) и реального, поведения своих и чужих, а с другой стороны, размах трагедии в Москве и жестокость мести Бога за предательство своего царя: «Зрите же, братіе, отъ Бога скораго отмщенія человѣкомъ, своего царя возненавидѣша и крестное цѣлованіе и обѣщаніе къ нему преступивше, какому месть воспріяша?» [О бедах и скорбех, с. 61].

[84] Из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия». С. 290.

Причудливое сочетание мотивов, восходящих к разным источникам и разным периодам, позволяет автору показать разные грани «скорбей, и бедствий, и напастей» в Москве и одновременно наводит на мысль о том, что предисловие и повесть были написаны разными авторами.

Таким образом, указанная в самом начале предисловия «координата» не является «ключом» ко всему тексту повести, а оказывается востребованной в художественном плане только в последнем эпизоде. Обнаруженные сходства не позволяют говорить об «Истории Иудейской войны» как о полноценном «нарративном ключе» к пониманию содержания повести или как об источнике повествовательной модели хотя бы для последнего эпизода в силу того, что приводимые автором сведения о падении Иерусалима были широко известны и могли быть почерпнуты из других источников, стилистических же заимствований выявить не удалось. В то же время предисловие и повесть, состоящая из ряда относительно самостоятельных эпизодов, описывающих кратко конкретные события Смуты, и концовка явно отличаются друг от друга по стилю и «по тону», в чем нельзя не согласиться с А.С. Деминым. Осмелимся предположить, что изначально текст повести, более простой по стилю, имеющий единый повествовательный ключ к прочтению, не имел предисловия и концовки, представляющих собой прямое уподобление «запустения» и «пленения» Русской земли, и в частности Москвы, падению Иерусалима и написанных, скорее всего, позже текста повести другим книжником, более начитанным, нежели автор основного текста. Следовательно, заданная в предисловии «координата» в действительности не является ключом к пониманию авторской интерпретации событий Смуты и дает лишь представление о трагедии Москвы в последнем эпизоде, позволяя автору (или соавтору, редактору) вписать событие русской истории в контекст мировой, что соответствует древнерусской историографической традиции.

В предисловии задается и вторая «координата» — ориентация на корпус библейских книг: «якоже великій пророкъ Іеремія плакася о Іудейстѣй земли, такоже и въ Руси <…>. И сбысться по великому апостолу и евангелисту Ивану Богослову <…> иніи же каменіемъ отъ небеси якоже Содомъ побіени быша…» [О бедах и скорбех, с. 56].

В первом и втором эпизодах, повествующих о воцарении Бориса Годунова и Лжедмитрия I, соответственно, библейские образы и сюжеты не упоминаются. В третьем эпизоде, рассказывающем о смерти Лжедмитрия I и воцарении Василия Шуйского, используется историческое сравнение: «воздвиже на него (Отрепьева. — *О.Т.*) отъ благочестивыхъ князей Рускихъ Шуйского князя Василія и прочихъ съ нимъ, поборающихъ по благочестіи, якоже древле въ Грецѣхъ на Уліяна законопреступнаго великого царя Ѳеодосія» [О бедах и скорбех, с. 57].

В четвертом эпизоде, посвященном теме избавления Москвы от нашествия «Полскихъ и Литовскихъ людей» и смерти М.В. Скопина-Шуйского, появляется первое в основном тексте сравнение с библейскими персонажами: «…его (Скопина-Шуйского. — *О.Т.*), его славѣ и чести и храбръству и мужеству, яко Саулъ Давыду пастырю сущу, и уби Голіяѳа, и пояху Саулу дѣвицы, въ тысящахъ побѣду, а Давыду во тмахъ» [О бедах и скорбех, с. 58]. В пятом и шестом эпизодах — о свержении В. Шуйского и оккупации страны и пленении и последующем освобождении Москвы вторым ополчением — библейские образы и сюжеты снова не упоминаются. В шестом эпизоде используется историческое сравнение, о котором речь шла выше.

Таким образом, вторая «координата» тоже не является «нарративным ключом» к основному тексту повести. Нет повторов библейских образов, не выявлено и мотивных и стилистических совпадений с текстами Священного Писания. То есть и в этом случае мы вынуждены констатировать, что текст повести и предисловие существуют отдельно, не имея внутренних связей, и, вполне вероятно, их следует рассматривать как самостоятельные свидетельства и интерпретации событий Смуты. Вместе с тем нельзя не учитывать тот факт, что, «говоря о событиях истории, древнерусский книжник никогда не забывает о движении истории в ее мировых масштабах. Либо повесть начинается с упоминания о главных мировых событиях (Сотворении мира, Всемирном потопе, Вавилонском столпотворении и воплощении Христа), либо повесть непосредственно включается в мировую историю: в какой-нибудь из больших сводов по всемирной истории»[85]. Но в цикле сочинений о Смутном времени наблюдается иной принцип вплетения событий русской истории в контекст мировой, чаще всего книжники, употребляя тот или другой библейский образ, вспоминая какой-либо библейский сюжет, реализовывали его на новом материале. Здесь же упомянутые в предисловии библейские образы и сюжеты не только не реализуются внутри основного текста повести, но отсутствуют даже формальные повторы.

Характеризуя особенности древнерусской словесности XI–XVII вв., Д.С. Лихачев в книге «Великое наследие» писал: «Литература обладала всеохватывающим внутренним единством, единством темы и единством взгляда на мир»[86]. В цикле произведений о Смутном времени, несмотря на противоречивые оценки событий 1598–1612 гг., наблюдается именно такое единство. Все памятники этого периода и частично последующих 10–15 лет освещают события Смуты, и во всех них обнаруживается традиционный для древнерусской литературы мотив Божьего наказания за грехи, по-разному реализуемый в памятниках, — от абстрактного обобщенного объяснения до

[85] *Лихачев Д.С.* Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси // *Лихачев Д.С.* Избранные работы: в 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 2. С. 11.

[86] Там же. С. 8.

конкретизации причин происходящего[87]. Не является исключением в этом смысле и предисловие, и текст псковской повести. Так, в предисловии читаем о том, что «въ Рустѣй земли» [О бедах и скорбех, с. 56], как и в древности, «запустѣніе и плѣненіе градовомъ» [О бедах и скорбех, с. 56]. Автор предисловия твердо убежден: «…гдѣ что бысть отъ Бога за грѣхи ихъ, якоже и у насъ быша…» [О бедах и скорбех, с. 56]. Аналогичным образом объясняются события и в эпизодах повести.

В первом эпизоде: «И грѣхъ ради нашихъ поядаетъ волкъ Христова непорочная овчата единого по единому, царей тѣхъ…» [О бедах и скорбех, с. 56–57].

Во втором эпизоде: «Пріиде бо съ поганою Литвою на Русь воцарися же и той злый змій грѣхъ ради нашихъ…» [О бедах и скорбех, с. 57].

В пятом эпизоде: «Царь же Василей посла своего брата князя Димитрія и иныхъ многихъ съ ратію, и срѣтошася Литва съ Русью, и грѣхъ ради нашихъ побіени быша Рустіи полцы… <…> Нѣмцы <…> за грѣхи наша, засѣдоша Великій Новградъ…» [О бедах и скорбех, с. 59], «Се же все бысть грѣхъ ради нашихъ» [О бедах и скорбех, с. 59].

В шестом эпизоде, во фрагменте, повествующем о том, что нижегородская рать подошла к Москве только «въ третій день по разорені», но сделать ничего не могла, ибо «грѣхъ ради нашихъ не быше въ нихъ миру» [О бедах и скорбех, с. 61].

В третьем и четвертом эпизодах в таком обобщенном виде мотив греховности не используется. Вплетенный в контекст, он носит характер точечного объяснения конкретного события и тоже не является ключом к пониманию авторской интерпретации событий Смуты в повести.

Вполне вероятно, что в указанные выше фрагменты он был включен позднее основного текста, поскольку внутри эпизодов автор «не работает» с этим мотивом, а выстраивает повествование в границах иных мотивов, которые отличаются от мотивов, имеющихся в предисловии.

Таким образом, предисловие и текст псковской летописной повести «О бедах, и скорбех, и напастех…», формально объединенные в один текст и внешне написанные на одну тему, в действительности не имеют внутренних связей, о чем свидетельствует отсутствие общих мотивов и образов. Задаваемые в предисловии «координаты», которые можно было бы рассматривать, по аналогии с другими памятниками Смуты, как «ключи» к авторской интерпретации событий начала XVII в.[88] в основном тексте повести, в действительности таковыми «ключами» не являются. Благодаря им в произведении реализуется традиционный для русской средневековой историографии принцип вписывания любого события русской истории в контекст мировой. И вместе с тем

[87] *Яковлев А.И.* «Безумное молчание». С. 651–678.

[88] *Туфанова О.А.* Библейские сюжеты и образы в литературе Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 129–181.

реализация этой традиции носит формальный, поверхностно архаичный характер, поскольку в других памятниках эпохи Смуты библейские темы, сюжеты и образы получают глубокую проработку на новом историческом материале. В повести же «О бедах, и скорбех, и напастех…» на первый план выходит совершенно нетрадиционный даже для памятников, посвященных событиям Смуты, мотив мести Бога.

«Несостоявшаяся» новелла. Композиционный анализ эпизодов псковской летописной повести «О бедах и скорбех…» приводит к выводу о том, что в тексте обнаруживаются повествовательные структуры, восходящие к различным жанровым формам, а именно: 1) к структуре новеллы, 2) к структуре повести о княжеских преступлениях, трансформированной и переработанной в повесть о преступлениях царя, 3) к структуре повести об осаде, преобразованной в повесть о бедственном положении населения в осажденном городе. Перед нами оказывается художественный текст, сочетающий в себе различные, неявно выраженные жанровые формы, наиболее необычной из которых является первая, представляющая собой «несостоявшуюся» новеллу. Характеризуя таким образом жанровую природу первых трех эпизодов текста памятника «О бедах и скорбех…», мы имеем в виду прежде всего особенности поэтики жанра «новелла»[89], нашедшие причудливое воплощение в памятнике XVII в.

Согласно характеристике А.М. Панченко, для новеллы, как и для жанра анекдота, «характерна однотемность. Фабула ограничивается одним событием, хотя бы и состоящим из нескольких эпизодов. В связи с этим и в анекдоте, и в новелле занято малое число персонажей (как правило, от двух до четырех). Все они — марионетки сюжета, их характер определяется одним штрихом. Им не свойственны ни сложность, ни рефлексия»[90]. С этой точки зрения, первые три эпизода практически полностью соответствуют приведенной характеристике. Все они посвящены одной теме — неправому воцарению, в них упоминается малое количество персонажей, поведение и сущность которых определяется одним чувством — завистью, и все они являются «марионетками сюжета» «о бедах и скорбех» Русской земли. Ключ к прочтению структурно-жанровой модели трех фрагментов обнаруживается в первом, самом лаконичном рассказе о воцарении Бориса Годунова. В остальных двух эпизодах эта модель повторяется и развивается.

Рассказ, несмотря на краткость, имеет экспозицию, в которой рисуется идиллическая картина жизни в Русской земле: «Послѣ отца своего царя Ивана на царство сѣдшу благочестивому царю Ѳеодору Ивановичю всеа Русіи, брату же его меншему царевичю

---

[89] По определению Б. Эйхенбаума, новелла или «Short story — исключительно сюжетный термин, подразумевающий сочетание двух условий: малый размер и сюжетное ударение в конце». См.: *Эйхенбаум Б.М.* О. Генри и теория новеллы. URL: http://www.opojaz.ru/ohenry/ohenry02.html (дата обращения: 25.04.2018).

[90] *Панченко А.М.* Литература «переходного века» // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. С. 77.

Дмитрію 9-ти лѣтъ сущу, на удѣлѣ во градѣ Углечѣ съ матерію живущимъ, иже тогда сущу православію въ тишинѣ и во смиреніи и въ благоденствѣ пребывающу…» [с. 56]. Здесь нашли отражение основные представления о благополучии государства, которые читаются и в других памятниках эпохи Смуты: законное наследование престола («Послѣ отца своего…»), благочестие, тишина (т. е. мир), — которые воспринимаются как некое правильное, идеальное течение жизни в государстве.

Завязкой эпизода является традиционное трансцендентное объяснение дальнейших событий, носящее амбивалентный характер. С одной стороны, идиллическая картина благоденствия раздражает дьявола, ибо он «не престая ратуя на родъ праведныхъ завистію и убійствомъ, власти ради, наводя злыхъ и лукавыхъ человѣкъ отъ древнихъ лѣтъ во всей вселеннѣй, якоже и нынѣ бысть» [О бедах и скорбех, с. 56]. Но, приводя в целом типичное объяснение, автор проговаривает важнейшие для его интерпретации событий причину и цель — зависть «власти ради». В последующих эпизодах эти причина и цель превращаются в мотивы, объясняющие действия героев. С другой стороны, дьявол, согласно тексту, действует по Божьему попущению. Это вроде бы не новое для древнерусской литературы сочетание трансцендентных сил получает в эпизоде довольно оригинальную детализацию. Господь мстит через дьявола людям за грехи. Именно мстит, а не карает: «Что же, Господь сотвори има? Діяволъ позавидѣ доброродству ихъ и благочестію, якоже въ началѣ Рустѣй земли праведнымъ страстотерпцемъ Борису и Глѣбу: подведе лукавую лису, нѣкоего новаго Святополка Бориса, Богу тако изволившу попустити, на отмщеніе отцу ихъ, еже той сотвори много убійство безъ правды братіи своей и дяди» [О бедах и скорбех, с. 56]. Как видно, в завязке Борис Годунов, будучи «лукавой лисой», становится орудием действий дьявола и одновременно орудием мести Бога за многие убийства, его роль здесь пассивна, он исполнитель воли трансцендентных сил.

Кульминация эпизода — предельно краткий рассказ об убийстве Рюриковичей и «владомыхъ», которые были к ним близки и могли претендовать на власть: «…поядаетъ <…> единого по единому, царей тѣхъ: преже беззлобиваго яко агнъца закалаетъ царевича Димитрія, <…> потомъ же и царя благочестиваго напаяетъ злымъ зеліемъ и ко Господу и той отъиде съ миромъ, и прочихъ такоже владомыхъ овыхъ погуби, инѣхъ же поточи въ затоки…» [О бедах и скорбех, с. 56–57]. Примечательно, что, рассказав о преступлении Годунова так, как будто он собственноручно заколол царевича Дмитрия, отравил царя Федора Ивановича и погубил прочих возможных законных, видимо, претендентов на трон, автор псковского текста вновь возвращается к цели: «…хотя воцаритися самъ во вѣки съ родомъ своимъ» [О бедах и скорбех, с. 57]. Цель — это воцарение, власть.

Развязка эпизода — буквально одно слово — «Егда же воцарися…» — одновременно становится завязкой второго эпизода.

И снова перед нами — идиллическая картина в экспозиции, но ее идиллия обманчива: «Егда же воцарися, начатъ церкви созидати и красити, и милостыню давати монастыремъ и церквамъ и нищимъ и гладнымъ…» [О бедах и скорбех, с. 57]. Из полного набора «благоденствия» мы видим здесь только показное благочестие, неискренность которого автор раскрывает тут же, объясняя цель «благочестивых» действий нового царя: «…люди же приводя на любовь къ собѣ…» [О бедах и скорбех, с. 56].

Далее следует, как и в первом эпизоде, пространная завязка, в которой автор снова возвращается к мотиву мести Бога за убийства, совершаемые власть предержащим: «…но ни что же успѣ, ни преодолѣ убіству и Божію суду. Зрите, что же и тому окаянному воздастъ Богъ месть <…>» [О бедах и скорбех, с. 57]. Кульминация — косвенный рассказ о смерти-убийстве Бориса Годунова: «…но убіенія ради праведныхъ воспріятъ тая же злая, яже самъ сотвори <…> отъ мнимаго предтечи антихристова Гришки Отрепіева, нарицающагося именемъ предиреченнаго страстотерпца царевича Димитрія» [О бедах и скорбех, с. 56]. И здесь, как и в первом эпизоде, орудие мести Бога за убийство праведных — Григорий Отрепьев — играет, скорее, пассивную, чем активную, роль, с той лишь разницей, что автор, видимо совершенно не осведомленный о ходе борьбы Годунова и Лжедмитрия I, опускает вообще все детали и указывает на пассивность Отрепьева не в завязке, а в кульминации эпизода. Развязка опять краткая — воцарение — снова знаменует собой начало нового эпизода.

В третьем эпизоде также обнаруживается идиллическая экспозиция, но, в отличие от первых двух фрагментов, она более краткая и таит в себе идею обманчивого благополучия: «…воцарися же и той злый змій грѣхъ ради нашихъ, преже благъ показася и благочестивъ, потомъ же золъ гонитель и разоритель христіянской вѣрѣ» [О бедах и скорбех, с. 57]. Эта идея реализуется при помощи метафорического замещения имени Отрепьева («злый змій») и упоминания о показном благочестии, которое практически сразу же сменяется типичной для цикла памятников о Смуте характеристикой нового царя как «гонителя» и «разорителя» христианской веры. Кульминация эпизода — убийство Лжедмитрия I — лаконична, но по сравнению с первыми двумя эпизодами ярче в художественном плане: автор выстраивает повествование на контрасте благочестие – зло. Но и здесь, как и в предыдущем эпизоде, Василий Шуйский с соратниками изображаются пассивными исполнителями воли Бога, выступая в роли орудия защиты (а не мести!): «Не помяну Богъ согрѣшенія людій своихъ <…> не предаде своей церкви и людей въ Латынство превратити, но разруши его злый совѣтъ, и самъ превращенъ бысть съ царства: воздвиже на него отъ благочестивыхъ князей Рускихъ Шуйского князя Василія и прочихъ съ нимъ, поборающихъ по благочестіи <…> и убіенъ бысть сій злочестивый, злѣ животъ свой сконча и онамо вовѣки въ геену огненую вселися, по своимъ злымъ дѣломъ» [О бедах и скорбех, с. 57].

Развязка — воцарение Василия Шуйского — вновь знаменует концовку одного эпизода и одновременно является экспозицией следующего.

Таким образом, первые три эпизода отличаются лаконизмом повествования, отсутствием какой-либо детализации и конкретики, что в целом не характерно для памятников Смуты, освещающих эти же события. Эпизоды имеют простую композицию с минимальным набором элементов, повторяющихся во всех трех фрагментах:

1) идиллическая экспозиция;
2) сочетание трансцендентного (мотив мести Бога) и реалистического (зависть, желание власти) объяснений в завязке;
3) убийство предшественника как яркий, но максимально сжатый кульминационный момент;
4) воцарение после убийства в развязке.

Три рассмотренных фрагмента представляют собой трехчленную конструкцию, генетически восходящую к анекдоту и новелле и по аналогии с ними приглашающую к «предсказанию»[91], мы понимаем, что во втором и третьем эпизоде «произойдет то же самое, что и в первом», как отмечал А.М. Панченко применительно к древнерусским переводным и оригинальным новеллам. Но парадокс в том, что автор, осознанно или нет, творчески трансформировал специфику развлекательного жанра, выстроив повествование на композиционных принципах новеллы, но одновременно кардинально изменив отличительную особенность ее развязки. Простой по форме, но невероятный в сравнении с предшествующей XVII столетию русской историей восшествий на княжеский престол и воцарений сюжет в каждом эпизоде имеет ожидаемый, а не неожиданный финал, «соколиный поворот» отсутствует, вместо него новый виток спирально развивающихся событий Смуты. Более того, «смеховой импульс» замещен трагическим пафосом, а повторяемость парадоксальных для истории Руси сюжетов преступного воцарения рождает представление о масштабности разворачивающейся в Русской земле трагедии, нескончаемости «бед и скорбей и напастей».

Не случайно во всех трех эпизодах, имеющих одинаковую сюжетно-композиционную структуру, наблюдается один и тот же подход к освещению и интерпретации событий. «Ящик Пандоры» со скорбями и бедами для Русской земли открывает царь Иван Грозный убийствами «братіи своей и дяди» [О бедах и скорбех, с. 56], вызывая своими действиями месть Бога, обрушившуюся на его сыновей, погибающих друг за другом от руки Бориса Годунова, которому суждено было сыграть странную роль в истории. С одной стороны, он стал орудием мести Бога, с другой стороны, осмелившемуся убить законных престолонаследников «окаянному» Борису Годунову, несмотря на попытки

[91] *Панченко А.М.* Литература «переходного века». С. 378.

править благочестиво, и самому пришлось изведать месть Бога в лице Гришки Отрепьева, на которого впоследствии снова Господь «воздвиже» уже Василия Шуйского. Убийство царей и их родственников, попытки уничтожить христианскую веру вызывают, согласно интерпретации автора, месть Бога. Убийцы, жаждущие власти, недолго властвуют и караются Божьим судом. Предельный лаконизм повествования высвечивает единую повествовательную модель, выстраиваемую в границах двух ведущих мотивов: греха (убийства) и жажды власти, которая обретается в развязках эпизодов после совершения преступления. Все развязки играют двойную роль: завершая один краткий эпизод, они становятся экспозицией другого, следующего. Отсутствие деталей, повторение одной и той же повествовательной модели, обнажающей авторскую трактовку исторических событий, создают эффект стремительности совершаемых преступлений «власти ради» и мести Бога за них. При этом ни истинное благочестие, как у царя Федора Ивановича, ни показное, как у Бориса Годунова («на Бога не упова, но на силу и на богатство упова» [О бедах и скорбех, с. 57]) или у Гришки Отрепьева («преже благъ показася и благочестивъ» [О бедах и скорбех, с. 57]), не спасают и не «преодолѣ убійству и Божію суду» [О бедах и скорбех, с. 57]. А следующая за воцарением идиллия, по мере появления на престоле вместо истинных царей цареубийц, носит все более обманчивый характер и по времени длится все меньше и меньше, о чем свидетельствуют экспозиции эпизодов.

Почему автор обратился к поэтике жанра новеллы для рассказа о трагических событиях Смутного времени? Почему только первые три эпизода в составе исторического повествования «О бедах и скорбех…» имеют такую жанровую форму? Однозначно ответить на эти вопросы не представляется возможным, но очевидно следующее. Текст «О бедах и скорбех…» был создан после 1625 г., т. е. прошло более десяти лет с воцарения Михаила Романова и завершения страшной эпохи Смутного времени. История и трагедия начала XVII столетия к середине 20-х гг. получила уже широкое и разнообразное освещение в литературе. Но память о тяжелых годах интервенции и гражданской войны, вызванных прерыванием династии Рюриковичей и «культурно-историческим феноменом» самозванчества[92], все еще тревожила народные массы, тем более что десятилетие после восшествия на престол Михаила Романова нельзя было назвать спокойным и мирным. Взгляд на эти события со стороны, знание о них на основе общих, поверхностных сведений приводит к тому, что они оказываются легко вписываемыми в одну простую сюжетную схему, представляющую «одно неслыханное событие» (Гете). В данном случае в трех эпизодах таковым «неслыханным событием» выступает каждый раз убийство царя (при этом уже неважно, истинного или ложного). Подобные короткие рассказы-новеллы, тоже с

[92] *Успенский Б.А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. С. 75–109.

ожидаемым финальным убийством разными способами, составляют первую часть «Повести о Дракуле», получившей широкое хождение в XVI столетии. Поэтому вполне вероятно, что автор текста «О бедах и скорбех…», знакомый и с литературный традицией создания цепочки эпизодов-новелл, и с народной новеллистической сказкой, сознательно прибегает к этой жанровой форме. В то же время перед нами не «чистый» жанр новеллы, да он и не мог быть таким, первые древнерусские оригинальные и переводные новеллы появляются позднее, во второй половине XVII в. Однако несомненно и другое: парадоксальность и необычность событий Смуты приводит автора к поискам адекватной формы их запечатления. В недрах исторического повествования начинает вызревать новый беллетристический жанр. Но этот исходный авторский текст, скорее всего, был подвергнут редакторской правке (см. об этом выше), вследствие которой произошло невероятное: в развлекательный по своей природе жанр была привнесена религиозная трактовка событий (мотивы мести Бога и зависти дьявола). В результате перед нами оказался текст, в котором обнаруживается «несостоявшаяся» новелла из трех эпизодов с ожидаемыми финалами и трактовками, цель которой — показать апокалипсический размах трагедии, развернувшейся в Русской земле, трагедии, закончившейся освобождением Москвы, но умолчавшей о разрешении проблемы избрания настоящего царя, с восшествием на престол которого наступит катарсис.

Повесть о преступлениях царя. В составе исторического текста «О бедах и скорбех…» обнаруживается еще одна любопытная жанровая форма — повесть о преступлениях царя, наследующая признаки особой разновидности летописной исторической повести, а именно повести о княжеских преступлениях[93], которая возникла «из потребностей феодальной борьбы: для доказательства нравственной и юридической справедливости войны одного князя против другого, виновности одних и правоты других…»[94]. Н.А. Сочнева, рассматривая вопросы жанрово-литературной типологии летописной исторической повести домонгольского периода, выделила наиболее характерные жанрообразующие композиционные мотивы. Это «мотив заговора, перечисление имен убийц, характерное описание убийства самого князя в несколько этапов и княжеского любимца, мотив обращения с телом убитого князя»[95]. В трансформированном виде эти мотивы обнаруживаются и в эпизоде, рассказывающем о смерти М.В. Скопина-Шуйского. Вместе с тем в этом фрагменте отчетливо видны и новые для этой жанровой формы, но характерные в целом для цикла сочинений о Смуте мотивы.

---

[93] О специфике повести о княжеских преступлениях в составе «Повести временных лет» см., например: *Пауткин А.А.* «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского. Культурно-исторический контекст и структура летописной статьи 6605 г. // *Пауткин А.А.* Горизонты прочтения: Историко-филологические заметки и размышления. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. С. 20–52.

[94] *Лихачев Д.С.* Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 66.

[95] *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести... С. 149.

Рассказ о преступном отравлении и смерти М.В. Скопина-Шуйского предваряет довольно пространное для этого исторического повествования сообщение о «повреждении царя» Василия Шуйского, сыгравшего не последнюю роль в судьбе удачливого «благоверного князя». Василий Шуйский, позиционируемый в предыдущем эпизоде как «благочестивый князь», «иже зла врага сокруши» (имеется в виду Лжедмитрий I), поначалу довольно успешно, согласно тексту, боровшийся с лжецарями, ухищрениями «Литовского короля и своихъ враговъ христіянскихъ» [О бедах и скорбех, с. 57], оставляет свое войско, ибо «видѣ діяволъ, яко не преможе одолѣти христіянству, разже царя похотію на блудъ» [О бедах и скорбех, с. 57], и «пріиде въ царство свое и поятъ жену, и начатъ оттолѣ ясти и пити и веселитися, а о брани не бреже» [О бедах и скорбех, с. 57]. Трансцендентное объяснение, типичное для средневековых памятников, не снимает парадоксальности в изложении событий. Как в принципе возможно в разгар военных действий, если следовать буквально тексту, оставить царю войско, тем более что это борьба за престол? Почему воинство, оставленное царем, «воеводъ и началниковъ не восхотѣ слушати» [О бедах и скорбех, с. 57] и разошлось по своим городам, а иные подались к «ложному царю», желая временной чести? И почему законная женитьба царя именуется «блудомъ»? Это тем более непонятно, если учесть, что начиная с самых ранних памятников литературы Древней Руси блудниками именовали безнравственных, развратных людей, преданных мирским похотям[96]. И, наконец, совсем уже неясно, почему после женитьбы царь только тем и занимался, что ел, пил и веселился… Ответ в самом тексте только один: «…діяволъ <…> разже царя похотію на блудъ» [О бедах и скорбех, с. 57].

Из контекста следует, что «блудъ» царя имел весьма серьезные последствия для всей страны: «А поганые Латина разыдошася и Русь разсѣяшася по лицу всея земли Рускія, грады и веси плѣняюще, ови взятіемъ взяша, иніи же сами предашася, и оттолѣ бысть раздѣленіе во всей странѣ Рустѣй, другъ друга убивающе, братъ брата, сынъ отца, и мучаху всякими различными муками злыми и грабяще имѣнія, и бысть таково зло въ Руси, яко ни отъ начала Рускія земли не бысть такова междоусобіе» [О бедах и скорбех, с. 57–58]. Да и сам царь, запертый в Москве, «терпяху гладъ и всякую нужду» [О бедах и скорбех, с. 58]. В этом фрагменте прямо выражена нравственная оценка автором (или редактором) текста произошедшего: интервенция, разделение и «междоусобие» именуются «злом» «въ Руси». В пространном введении, предваряющем рассказ о М.В. Скопине-Шуйском, таким образом, появляется мотив преступления против родной земли[97]. Это преступление носит двоякий

[96] См. подробнее: *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1: А–К. Стб. 116–117; Словарь древнего славянского языка, составленный по Остромирову Евангелию. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1899. С. 37–38.

[97] Мотив преступления против родной земли как один из характерных жанрообразующих мотивов в повестях о княжеских преступлениях отмечен был Н.А. Сочневой в «Повести временных лет» под 1078 г., в

характер: преступное небрежение царя своими прямыми обязанностями, сосредоточенность на обустройстве личной судьбы (женитьба) и чревоугодие приводят к преступному поведению всех — и своих, и чужих.

По закону дуальности, в рамках которого в той или иной степени существует вся древнерусская словесность, на фоне преступного царя и преступного сообщества неизбежно должен был появиться герой, способный восстановить порядок, нарушенный дьявольским вмешательством и преступной волей людей. Особенности же компоновки текста в этом фрагменте заставляют предположить, что в данном случае при внешней простоте изложения мы имеем дело с причудливым переплетением письменных литературных и фольклорных приемов. С одной стороны, в тексте наблюдается постоянная апелляция к трансцендентным силам как непосредственным, и весьма деятельным, участникам событий. С другой стороны, в тексте просматривается противопоставление двух героев — ложного и настоящего, — восходящее к народным волшебным сказкам[98]. В роли такого «ложного» героя выступает в тексте царь Василий Шуйский. Не случайно, сообщая о его воцарении, автор пишет, что он «не многими избранъ бысть грады, но единымъ Московскимъ государствомъ, а не всею землею; того ради не возлюбиша его мнози на земли Рустѣй» [О бедах и скорбех, с. 57]. В роли же истинного героя в этом контексте выступает «благоверный» князь М.В. Скопин-Шуйский, который, «видѣ царъствующій градъ обстоимъ и изгибающъ от глада», «поиде… въ Латюню, въ Свею, за море, и наятъ 12.000 людей и пріиде съ ними въ Великій Новградъ, и собравъ Русь пріиде в Тверь, и поби множество Полскихъ и Литовскихъ людей» [О бедах и скорбех, с. 58]. И такой он «страхъ и ужасъ» нагнал на воинство «Литовскихъ и Рускихъ людей», что они убежали из Москвы, «всѣ разгнани быша» [О бедах и скорбех, с. 58]. В тексте образ М.В. Скопина-Шуйского не конкретизируется, а создается по тому же типу, что и образы Ивана-царевича, Ивана – крестьянского сына, Андрея-стрельца и других. Перед нами — обобщенный образ положительного героя, отличающегося мужеством вести за собой, смелостью решать трудные задачи, верный чувству долга, «беззлобивый» [О бедах и скорбех, с. 58]. И, казалось бы, далее, по законам волшебной сказки, герой должен был бы получить награду — в контексте непрестанной борьбы за русский престол это должно было быть воцарение, тем более что в трех предыдущих эпизодах текста «О бедах и скорбех…» именно такую награду и получал расправившийся с незаконным царем (ненадолго — но получал). Такой мотив действительно появляется в памятнике, но не в качестве счастливого финала, а в виде мотива заговора, характерного для повестей о княжеских преступлениях.

Лаврентьевской летописи под 1149 г., Ипатьевской летописи под 1174 г. и 1176 г. См.: *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести... С. 151–153.

[98] См.: *Пропп В.Я.* Русская сказка. М.: Лабиринт, 2005. С. 185–270.

И примечательно, что именно здесь фольклорное развитие событий прерывается при помощи литературной традиции. Возникает эффект обманутого ожидания. М.В. Скопин-Шуйский не станет новым царем всея Руси. Сказочное развитие сюжета будет прервано; и вовсе не потому, что герой, наделенный «премудростію и храбръствомъ» [О бедах и скорбех, с. 58], согрешил, отнюдь, до конца рассказа о его судьбе автор будет постоянно повторять эпитеты «беззлобивый», «незлобивый», а потому, что «его славѣ и чести и храбрьству и мужеству» [О бедах и скорбех, с. 58] «позавидѣша три братія». Сюжет, начатый в религиозно-дидактическом ключе («…діяволъ <…> разже царя похотію на блудъ» [О бедах и скорбех, с. 57]), продолженный в стилистике волшебной сказки, вновь переключается на религиозно-литературный, и перед нами оказывается продолжение повести о преступлении царя, вплетенное в контекст общемировой истории, берущей свои истоки в корпусе библейских книг. Не случайно в роли такого символического переключения выступает прямая и косвенная апелляция к деяниям дьявола: «Но не престая врагъ діяволъ смущая землю, не любяй мира въ человѣцѣхъ, но отъ начала созданія свѣту позавидѣ братъ брату, такоже и въ началѣ Рускаго княженія уби братъ дву братовъ, славы ради тлѣнныя…» [О бедах и скорбех, с. 58]. Приводит автор и библейские аналогии: «…яко Саулъ Давыду пастырю сущу, и уби ГоліяѲа, и пояху Саулу дѣвицы въ тысящахъ побѣду, а Давыду во тмахъ» [О бедах и скорбех, с. 58], — характерные для повестей о княжеских преступлениях[99].

Любопытно, что автор нигде напрямую не распространяет мотив зависти на царя Василия Шуйского. Зависть к чести и славе М.В. Скопина-Шуйского обуревает, согласно тексту, трех его братьев. И они «вознегодоваша на него <…> и оклеветаша его къ царю…» [О бедах и скорбех, с. 58]. Однако, приведя в виде прямой речи клевету: «слышахомъ, царю, яко племянникъ твой и нашъ хощетъ царемъ быти, въ тебе мѣсто» [О бедах и скорбех, с. 58], автор тут же пишет: «…слышаху бо тіи завистницы, дядія его, въ народѣ глаголющихъ, “яко достоитъ сицевый князь и силный мужъ и храбрый быти царемъ, яко избави насъ отъ нашествія Латынъ и градъ нашъ свободи отъ обстоянія и отъ глада”» [О бедах и скорбех, с. 58]. Дядья по-прежнему именуются завистниками, они передают царю разговоры, ходящие среди народа, клевещут на самого князя, который «ничесоже не вѣдущу» и не подозревает, что его задумали погубить. Но нигде автор не говорит о том, что и царь Василий исполнился зависти, нигде, ни в одном фрагменте, не сказано, что он поверил своим братьям.

Царь Василий Шуйский вообще удивительно пассивен после женитьбы и прихода «ложного царя» под Москву. Последнее активное его действие — раздача царских сокровищ воинам и сбор всего драгоценного по церквям: «Царь же Василей своя

[99] См.: *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести... С. 150.

сокровища царьская раздастъ воемъ, и изъядено бысть все; видя же царь, яко не облегчаетъ граду, собравъ по монастыремъ и церквамъ сосуды златыя и сребряныя и кузни и оклады у святыхъ иконъ и честныя кресты, раскова все и истощи воемъ, и ничтоже успѣ» [О бедах и скорбех, с. 57]. Не преуспев в деле защиты Москвы путем раздачи сокровищ воинам, царь более ничего не предпринимает: «Царю же сѣдящу въ царьствѣ отъ Латынъ и Поляковъ и Рускихъ враговъ своихъ и со гражданы, и терпяху гладъ и всякую нужду…» [О бедах и скорбех, с. 58]. В отличие от него, деятельную активность развивают его родственники, но эта активность носит разный характер: если действия М.В. Скопина-Шуйского направлены на борьбу с иноземными и своими врагами, то братья царя сосредоточены исключительно на борьбе с честью и славой своего племянника. Молчание и бездействие царя Василия Ивановича в этом контексте является своеобразной, прямо не выраженной отрицательной характеристикой и трактуется как небрежение власть предержащего своими прямыми обязанностями. Отсутствие словесной реакции царя на клевету тоже стоит в этом же ряду и воспринимается как молчаливое согласие с тем, что задумали его братья. Формально автор нигде не говорит о том, что царь Василий Шуйский поверил своим братьям. Нигде не упоминает о его зависти к славе и чести племянника. Но именно его действия, внешне носящие вполне пристойный характер, способствуют реализации преступного заговора братьев-завистников: «…царь бо Василей посылаетъ посланіе къ нему, и повелѣваетъ ему къ собѣ въ царствующій градъ Москву пріити, дара ради и чести и цѣлованія, и возвеселитися съ нимъ вкупѣ и поздати ему побѣдителная» [О бедах и скорбех, с. 58].

Кульминацией рассказа о смерти М.В. Скопина-Шуйского становится пир, на котором ему и подносят «чашу меду со отравою» [О бедах и скорбех, с. 59]. И опять здесь мы можем наблюдать типичный для повести о княжеских преступлениях мотив перечисления имен причастных к убийству. Пир организовывают «дядія его, не яко любве ради желаху его, но убійства…» [О бедах и скорбех, с. 58]. Появляется и главная «змія лстивая» — «княгиня Дмитреева Шуйского Христина» [О бедах и скорбех, с. 58]. При этом автор воскрешает в памяти читателей былые преступления «злаго корене»: «Христина, Малютина дочь Скуратова, иже бысть наперстникъ и злый совѣтникъ и убійца при великомъ цари Иванѣ и гонитель роду христіянскому, той же и преосвященнаго митрополита Филиппа затуши, ходатайствуя отъ царя <…>; сего злаго плода и лютаго варвара злыя отрасли, новыя Иродіяды, иже бѣ сестра Борисовы жены Годуновы, иже отравою окорми праведнаго царя Ѳеодора» [О бедах и скорбех, с. 58–59]. Контекст оказывается значимым, исторические параллели не только способствуют реализации типичного для средневековой литературы приема вписывания конкретного современного повествователю события в контекст русской и мировой истории, но и показывают, что именно с молчаливого согласия царей происходят многие династические преступления.

Царь Василий Шуйский оказывается в одном ряду с великим царем Иваном Грозным, Борисом Годуновым, царствования которых были ознаменованы убийствами. При каждом из них, как следует из контекста, были свои убийцы. Есть они и у бессловесного и формально бездействующего в этом эпизоде царя Василия Шуйского.

Сцена отравления лаконична, но исполнена трагизма. Она построена на ярком контрасте злых намерений княгини, имеющей «лесть» в душе, и незлобивости князя М.В. Скопина-Шуйского, в чистоте души и помыслов не подозревающего коварства: «…сія же злая діяволя совѣтница яко медъ на языцѣ ношаше, а въ сердцы мечь скова и пронзе праведнаго и храбраго мужа, пріиде къ нему съ лестію, нося чашу меду со отравою. Онъ же незлобивый, не чая въ ней злаго совѣта по сродству, вземъ чашу и испитъ ю…» [О бедах и скорбех, с. 59].

Развязка эпизода — сцена смерти М.В. Скопина-Шуйского — носит церемониально-ритуальный характер: «…въ томъ часѣ начатъ сердце его терзати, вземше его свои ему принесоша и въ домъ, и призвавъ отца своего духовнаго и исповѣда ему вся своя согрѣшенія, и причастився божественныхъ таинъ Христовыхъ, и предастъ духъ свой Господеви» [О бедах и скорбех, с. 59]. И снова в этом фрагменте автор ни слова не говорит о царе Василии Шуйском.

Таким образом, типичные для повести о княжеских преступлениях «характерное описание убийства самого князя в несколько этапов» и «мотив обращения с телом убитого князя»[100] не наблюдаются в анализируемом фрагменте. Формально есть и сцена отравления, и рассказ о последних часах жизни князя М.В. Скопина-Шуйского. Есть и пространный рассказ о последствиях совершенного преступления, открывающийся авторской оценкой: «И оттолѣ возгорѣшася злая горши первыхъ въ Руси, ихже подобну не мощи изрещи, что сотворися тѣма злыма убійцама, или како разорено бысть Московское государъство отъ Полского короля» [О бедах и скорбех, с. 59]. В эпизоде отчетливо выявляются мотивы заговора князей Шуйских, перечисления имен убийц, приводятся исторические аналогии, упоминается дьявол как первопричина разгоревшейся зависти, и над всем этим довлеет мотив преступления перед Русью. Перед нами стандартный набор жанрообразующих признаков повести о княжеских преступлениях. Тогда при чем здесь повесть о преступлении царя?

Все дело в том, что рассказ об отравлении М.В. Скопина-Шуйского существует в тексте не как самостоятельное целое, а включен в виде иллюстративного эпизода, демонстрирующего именно преступления царя Василия Шуйского. Не случайно он имеет пространное обрамление. Ему предшествует подробный рассказ о повреждении царя вследствие того, что дьявол «разже» его «на блудъ», о чем мы писали выше. А завершает

[100] *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести... С. 149.

его рассказ о мятеже великом в людях. Огорченные поражениями братьев Шуйских и измученные междоусобием и иностранной интервенцией, не ожидающие ниоткуда помощи, они обращаются к царю Василию Шуйскому с гневной обвинительной речью. Прямая речь, исполненная одновременно и страшных обвинений, и горечи, стилистически очень точно организована: короткие, как выстрелы, повествовательные предложения содержат народную оценку происходящего, каждое из них — о конкретном преступлении царя пред народом; далее — череда предельно лаконичных риторических вопросов, подчеркивающих сиротство народа в отсутствии защитника, завершающихся вновь повествовательным предложением, горько констатирующим масштаб бедствия; и, наконец, вновь короткие, как выстрел, но уже побудительные предложения, требующие от царя оставить царство: «тебе ради кровь христіянская проливается, тебе ради еже есть земля раздѣлися, что не по избранію всея земля на царство воцарися, и множество людей погубилъ еси неповинныхъ, твоя братія своего племянника, а нашего государя оборонителя и заступника, отравою окормиша; къ кому нынѣ прибѣгнемъ? къ кому припademъ? кто насъ избавитъ отъ сихъ поганыхъ, нашедшихъ на ны? нѣсть намъ нынѣ надежда и нѣсть упованія: сойди съ царства и положи посохъ царъской, да соединится земля и умирится» [О бедах и скорбех, с. 59]. Далее в тексте автор будет оценивать как величайший грех желание бояр посадить на царство иноверца. Но одновременно с этим назидательно расскажет о том, что ни одно преступление не остается безнаказанным: не захотевшие видеть в великой славе своего родственника «дядія» М.В. Скопина-Шуйского лишатся не только царства, но и смерть примут в чужой стране, да и сам царь Василий Иванович будет сведен с царства руками своих же граждан.

Еще в начале повести «О бедах и скорбех…» автор декларативно отметил, что «врагъ діяволъ не престая ратуя на родъ праведныхъ завистію и убіствомъ, власти ради, наводя злыхъ и лукавыхъ человѣкъ…» [О бедах и скорбех, с. 56]. Все дальнейшее повествование — это рассказы о преступлениях ради власти власть предержащих или стремящихся к ней. И анализируемый фрагмент — это тоже рассказ о преступлении прежде всего царя, с молчаливого согласия которого и было совершено убийство единственного защитника Руси. Воцарение Василия Шуйского не принесло мира Русской земле, герой оказался ложным, а тот, кто мог бы стать героем истинным, убит с его молчаливого одобрения. Перед нами, таким образом, новый вид исторического повествования, в котором причудливо переплетаются литературная традиция написания летописных повестей о княжеских преступлениях с характерными жанрообразующими мотивами и фольклорная, с элементами волшебной сказки. Оно имеет тематически значимое обрамление, содержащее авторскую оценку событий: мерой положительности/отрицательности царя становится положение Русского государства. В центре внимания оказываются не частные

преступления против отдельной личности, а преступления перед всем народом — это незаконное занятие престола (избрание только «единымъ Московскимъ государствомъ» сродни незаконному воцарению Лжедмитрия I и иных самозванцев), небрежение своими царскими обязанностями и молчаливое согласие с преступными действиями родственников. Пассивность героя в этом контексте тоже является своего рода преступлением. Условно этот новый вид исторического повествования можно назвать повестью о преступлениях царя, преступлениях не явных, находящих выражение в конкретных смертоносных деяниях, а скрытых под маской внешнего благообразия.

Разрушение жанровой формы воинской повести об осаде. В последнем фрагменте этого необычного в жанровом отношении текста «О бедах и скорбех…», повествующем о пленении и последующем освобождении Москвы вторым ополчением, наблюдается разрушение формы воинской повести об осаде. Эпизод весьма сильно отличается от всех предыдущих фрагментов, во-первых, своими перекличками с предисловием, о чем было сказано выше, в разделе «Предисловие и текст», вызывающими благодаря развернутому сравнению в памяти читателей историю пленения и падения Иерусалима, во-вторых, «рыхлой» композицией, отсутствием ярко выраженных жанрообразующих мотивов, в-третьих, объемом. Если предшествующие эпизоды в большинстве своем лаконичны и имеют строгую композицию, то здесь трудно выявить единую логико-хронологическую структуру, что во многом обусловлено как спецификой самих описываемых событий, так и авторской трактовкой их.

Данный фрагмент состоит из трех «микросюжетов», объединенных одной темой. В центре внимания оказывается судьба Москвы, отданной некими «отъ болярска роду» [О бедах и скорбех, с. 60] без боя полякам. В первом «микросюжете», используя формы коротких монологов и диалога, автор рассказывает о том, что предшествовало сдаче города гетману Жолкевскому. Во втором описывается положение москвичей, когда хозяевами Москвы становятся поляки. В третьем говорится об осаде Москвы русскими войсками и освобождении города вторым ополчением.

Выбор того или иного жанра древнерусским книжником во многом зависел от предмета, темы, «которой было посвящено произведение», как отмечал в «Поэтике древнерусской литературы» Д.С. Лихачев[101]. Объект повествования и назначение произведения, как полагал Н.И. Прокофьев, «сюжетно-композиционная структура, способ литературного обобщения, тип повествователя и язык» в качестве «дополнительных признаков»[102], выделенные Н.В. Трофимовой, являлись важнейшими жанрообразующими

[101] *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. С. 58.
[102] *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. С. 6–7.

признаками. Воинскую же повесть в системе жанров древнерусской литературы «выделяет объект повествования — сражение, поход, осада города»[103].

Что мы видим в анализируемом фрагменте? Его тема — бедственное положение Москвы, пленение, осада и освобождение города вторым ополчением. А единого объекта повествования нет, он постоянно мигрирует. В первом «микросюжете» объектом повествования являются герои (участники диалога и произносящий монологи польский король). Во втором «микросюжете» — снова герои: автор рассказывает о положении москвичей в плененном городе, уподобляя захват поляками «градъ Китай и Кремль» [О бедах и скорбех, с. 61] пленению Иерусалима (о характере этого сравнения см. выше, в разделе «Предисловие и текст»), и поведении поляков. И, наконец, только в третьем «микросюжете» в качестве объекта повествования вроде бы выступает осада Москвы с целью освобождения от иноземцев.

Специфика объекта повествования последнего «микросюжета» и ассоциативные связи второго «микросюжета» с «Историей Иудейской войны» Иосифа Флавия позволяют, хотя и с натяжкой, говорить о том, что перед нами — жанровая форма воинской повести об осаде, имеющая весьма специфическое воплощение и демонстрирующая скорее ее разрушение, нежели следование жанровому канону.

Н.В. Трофимова, исследуя особенности воинских повестей XI–XVII вв., выделила два основных типа: повести информативного типа, которые «характеризуются ослабленным сюжетным развитием, краткой передачей основных фактов в виде сообщений»[104], обобщенным описанием битв, и повести событийного типа, отличающиеся «развернутым повествованием, сюжет которого развивается более напряженно и мотивировано, что, как правило, связано со значительным вниманием повествователя к персонажам; подробным изображением битв, соединяющим воинские формулы с конкретными деталями реальных событий»[105].

Анализируемый фрагмент повести «О бедах и скорбех…» невозможно подвести ни под один тип воинской повести. Это связано прежде всего с тем, что автор, очевидно, не располагал сведениями о реальном ходе событий и потому отчасти придал своему повествованию легендарный характер, основываясь не столько на фактах, сколько на «стоустой молве народной»[106]. Во-вторых, это вызвано, на наш взгляд, поисками новых способов изображения событий, не укладывавшихся в привычную для древнерусского читателя жанровую форму. Поэтому на протяжении всего текста, и в данном фрагменте в частности, мы видим, как автор создает новый вид исторического повествования в

---

[103] Там же. С. 8.
[104] Там же. С. 11.
[105] Там же.
[106] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Т. 9, гл. 5. С. 349.

отталкивании от апробированных веками жанровых форм. Рассказываемые им события, связанные в его сознании причинно-следственными отношениями, требовали осмысления и объяснения. И потому рассказ о бедственном положении Москвы начинается именно с «микросюжета», состоящего из диалога и монологов, которые проясняют последующее странное событие — пленение города без боя, без сопротивления москвичей.

В работе «Коммуникативное событие в представлении древнерусского книжника (по материалам “Повести временных лет”)» В.С. Савельев отмечал, что «первичной причиной коммуникации служит **экстралингвистическая** (выделено автором. — *О.Т.*) ситуация — некое положение дел в окружающем мире (во внеязыковой действительности), побуждающее Коммуниканта-1 вступить в контакт с Коммуникантом-2. <…> в ПВЛ ситуациями, провоцирующими общение, служат войны, борьба за (пре)столонаследие, поиски веры и немногие другие. Разумеется, эти ситуации были не единственными в жизни героев ПВЛ, заставлявшими их говорить, однако для летописи релевантными оказались именно эти ситуации, поскольку они заставляли персонажей выполнять определенные **социальные функции** (выделено автором. — *О.Т.*) — князя, дружинника, священнослужителя…»[107]. Нечто подобное наблюдается и в историческом повествовании «О бедах и скорбех…». Диалоги появляются в тексте исключительно в ситуациях, связанных с борьбой за престол.

В анализируемом фрагменте первый диалог происходит между «вси людіе всѣхъ чиновъ» [О бедах и скорбех, с. 59] и патриархом Гермогеном. Точнее, перед нами не полноценный развернутый диалог, представляющий собой цепь лаконичных высказываний, когда каждая «последующая реплика зависит от предыдущей, отзываясь на нее»[108], а всего три реплики, идейно-тематически связанные друг с другом, но не создающие впечатления непрерывности речевого акта. Вместе с тем все реплики коммуникантов имеют четко определенную цель: «или побудить собеседника к действию, или поделиться с ним своим знанием, мнением или эмоцией»[109]. При этом Коммуникант-1 — это не конкретный человек, а собирательное множество людей всех чинов, пришедших к патриарху Гермогену, чтобы выразить свою волю и желание: «не хотимъ сего царя Василія видѣти на царствѣ, и да послеши къ Полскому королю Жикгимонту, да вдастъ намъ на царъство сына своего Владислава» [О бедах и скорбех, с. 59]. С этой реплики и начинается диалог между людьми всех чинов и патриархом. Но диалог носит весьма условный характер, поскольку первая реплика Коммуниканта-1 не содержит приветствия, не вводит в ситуацию общения, а сразу заключает в себе идею, цель. Словесный ответ патриарха Гермогена приводится не

---

[107] *Савельев В.С.* Коммуникативное событие в представлении древнерусского книжника (по материалам «Повести временных лет») // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Сб. 14 / отв. ред. Ф.С. Капица. С. 486–487.

[108] *Хализев В.Е.* Теория литературы. 4-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2004. С. 217.

[109] *Савельев В.С.* Коммуникативное событие в представлении древнерусского книжника... С. 487.

сразу, автор сначала дает обобщенный вариант, видимо, продолжительного монолога через введение косвенной речи: «Патріархъ же наказуя много глагола имъ, еже бѣ преже пакости много отъ нихъ Полскихъ людей, егда пріидоша съ Гришкою Отрепьевымъ» [О бедах и скорбех, с. 59]. И только после этого в тексте появляется ответная реплика: «а нынѣ же чего еще чаете, токмо конечного разоренія царъству и христіянству и вѣрѣ? или не возможно вамъ избрати на царство изъ князей Рускихъ?» [О бедах и скорбех, с. 60]. Перед нами, таким образом, оказывается фрагмент, сочетающий нарративный режим диалоговедения, отличительной особенностью которого является «установка на монологическую речь в условиях непосредственного контактного диалогического общения»[110], и реплицирующий, поскольку участники диалога с обеих сторон «стремятся достичь перлокутивного эффекта, т. е. быть действенными»[111]. У них общая когнитивная база, т. е. информация, которой они владеют, но диаметрально противоположные целевые установки.

Из всего потенциально долгого диалога автор приводит только те реплики участников, которые максимально точно представляют их коммуникативные намерения. «Согласно теории речевых актов, каждое произнесенное **высказывание** (выделено автором. — *О.Т.*) отражает коммуникативное намерение говорящего — то, ради чего он это высказывание произносит: это могут быть просьба, совет, предложение, угроза, согласие и другие **иллокутивные функции**»[112]. Если собирательное множество добивается внешнего перлокутивного эффекта[113], пытаясь заставить наделенного властью собеседника направить послов к польскому королю, чтобы он дал своего сына на царство, то ответная реплика патриарха Гермогена, состоящая из двух вопросительных предложений, в действительности выполняет косвенную иллокутивную функцию. Он не требует от пришедших ответа на вопросы: на самом ли деле они хотят окончательно разорить царство и погубить христианскую веру и почему не могут избрать на царство русского князя. Он утверждает, что их желание посадить на царский престол сына польского короля Владислава приведет к «конечному» разорению царства и уничтожению христианской веры, и призывает подумать, кого они могут избрать на царство из русских князей. Увещевания патриарха, приводящего, казалось бы, разумные аргументы, напоминающие недавнюю историю «пакостей» поляков в эпоху правления Гришки Отрепьева, и оказавшегося провидцем, что продемонстрировали последующие события, остаются тщетными. «И рѣша отъ княжеска и болярска роду патріарху, глаголюще ему: “не хощемъ своего брата слушати; ратніи людіе Рускаго царя не боятся его и не слушаютъ и не служатъ

---

[110] *Борисова И.Н.* Русский разговорный диалог. Структура и динамика. М.: Либроком, 2005. С. 183.

[111] *Савельев В.С.* Коммуникативное событие в представлении древнерусского книжника... С. 503.

[112] Там же. С. 489–490.

[113] То есть «изменений, которые речевой акт вызывает в ситуации общения, и в первую очередь в мыслях, чувствах и поведении адресата». См.: *Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 260.

ему”» [О бедах и скорбех, с. 60]. Примечательно, что в обоих случаях реплики собирательного множества начинаются с глагола «не хотимъ», «не хощемъ». Автор словно подчеркивает таким способом эмоционально-чувственную основу намерения людей всех чинов, и особенно «отъ княжеска и болярска роду». Цель Коммуниканта-1 обусловлена эмоциями, а доводы рассудка, приводимые Коммуникантом-2, оказываются бессильны, и потому его коммуникативное намерение остановить очередное преступление, в центре которого все тот же объект (царский престол), не достигает цели. В результате патриарх подчиняется мнению большинства и отправляет послов к польскому королю, «да дастъ имъ сына своего на царство, и да крестится по закону Греческому» [О бедах и скорбех, с. 60]. На этом ситуация диалога заканчивается.

И в эпизоде появляется монолог польского короля: «чему мнѣ вѣрити вамъ? у васъ царь сидитъ на царствѣ, а просите у меня сына моего на царство свое; аще ли приведете его сѣмо и съ братіею его, то азъ дамъ сына моего вамъ на царство» [О бедах и скорбех, с. 60]. Монолог является ответом на обращение послов, но в тексте отсутствует рассказ о посольстве, о приеме его королем, не излагается и сама просьба, она в косвенной форме представлена в предыдущем диалоге. Перед нами — монолог обращенный[114], требующий от адресатов не ответных реплик, а конкретных, но не сиюминутных действий, которые не заставили себя долго ждать. Вернувшиеся в Москву послы «глаголюше всѣмъ, еже реклъ король. И нѣцыи собравшеся отъ болярска роду, измѣнницы и нарушители христіянству, любяще поганскія обычаи и законы, устремишася въ царъскія полаты къ царю, и исторгоша отъ рукъ у него посохъ царъскій, и сведоша ú съ царства и посадиша ú на своемъ дворѣ за стражи, и постригоша ú во иноческій образъ; и не по мнозѣ времени послаша его съ братіею къ королю подъ Смоленско» [О бедах и скорбех, с. 60].

Диалог между патриархом Гермогеном и людьми разных чинов и монолог польского короля составляют экспозицию эпизода пленения Москвы, который завершается гипофорой, предельно откровенно выражающей авторское отношение к событиям: «Зрите же, братіе, что сотворися тѣмъ убійцамъ, дядіямъ Михаиловымъ? нетокмо царъства лишены быша и своими людми обругани, но въ чюжую страну отданы быша и нужную смерть пріяша тамо, убіенія ради своего сродника, яко не восхотѣша его видѣти въ велицѣй славѣ» [О бедах и скорбех, с. 60]. На протяжении всего текста автор последовательно проводит мысль о том, что одно преступление влечет за собой другое. И чем больше проходит времени с момента воцарения первого преступника — Бориса Годунова, — тем серьезнее становятся «скорби и беды» Русской земли, ибо преступления носят уже не

[114] В.Е. Хализев писал: «Различимы монологи *обращенные* и *уединенные*. Первые включены в общение людей, но иначе, чем диалоги. Обращенные монологи определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Здесь один из участников коммуникации активен (выступает в качестве непрерывно говорящего), все иные пассивны (остаются слушателями)». См.: *Хализев В.Е.* Теория литературы. С. 219.

единичный, а массовый характер. Не случайно автор как будто намеренно одним из участников диалога делает не конкретное/ых историческое/их лицо/-, а некое собирательное множество, пришедшее к патриарху с преступным предложением свергнуть с престола царя Василия Шуйского и пригласить на царство иноверца. Столь же показателен в этом контексте и тот факт, что монолог польского короля обращен тоже к некоему множеству — русским послам — и исполнителем его воли также становится некое множество: «И нѣцыи собравшеся...» [О бедах и скорбех, с. 60]. Далее мотив множества находит реализацию в перечне тех, кто составил новое посольство к польскому королю: «...избраша отъ всѣхъ чиновъ всякихъ людей, послаша къ королю по сына его на царство, Ростовского Филарета митрополита да князя Василья Голицына, и иныхъ многихъ, и дворъ царъской, столниковъ и стряпчихъ и чашниковъ и ключниковъ и сытниковъ...» [О бедах и скорбех, с. 60] — и в новом монологе короля, недовольного тем, что «крестъ цѣловаша сыну его на Москвѣ и въ Великомъ Новѣградѣ; а протчіи гради не восхотѣша» [О бедах и скорбех, с. 60].

Второй монолог короля состоит из риторических вопросов, основанных на фактах, небезосновательно обличающих преступность поведения русских людей, и конкретного требования всеобщего подчинения: «что ко мнѣ пріидосте, моляща мене дати ми сына моего на царство вамъ? како ми дати его? вы Рустіи людіе преже сего своего царя убисте, а нынѣ же своего царя Василія сами своими руками емше, предаша его мнѣ яко плѣнника: что же сотворите сыну моему? ни вамъ единовѣренъ, ни Русинъ родомъ, но часа того злѣйши того сотворите ему, еже сотвористе своимъ царемъ единовѣрнымъ: но аще вся Русь цѣлуютъ крестъ мнѣ королю, то дамъ имъ сына моего на царъство» [О бедах и скорбех, с. 60]. Произнося эту речь, польский король, очевидно, добивался вполне конкретного внешнего перлокутивного эффекта — «аще вся Русь цѣлуютъ крестъ мнѣ королю» [О бедах и скорбех, с. 60], но этот же монолог демонстрирует его недоверие к русским послам, да и вообще ко всем русским людям, ибо они убили одного своего царя, а другого привели к нему в качестве пленника. Поэтому данный монолог, обращенный, конечно, к русским послам, которые должны донести его «королевское повелѣніе всѣмъ людемъ» [О бедах и скорбех, с. 60], в действительности не был рассчитан на полноценный коммуникативный успех. Каждое упоминание в тексте «О бедах и скорбех...» польского короля сопровождается употреблением по отношению к нему отрицательных, ругательных эпитетов: «Король же поганый умысли, лестію глаголя... Онъ же (король. — *О.Т.*) безбожный... онъ же умысли поганый...» [О бедах и скорбех, с. 60], однозначно демонстрирующих авторское отношение к нему. Но при этом его речи, приводимые в эпизоде, отличаются здравомыслием, объективностью оценки происходящего и элементарным трезвым расчетом, не говоря уже о том, что они демонстрируют его

отцовские чувства. Роль этого монолога несколько иная в эпизоде, в нем содержится объяснение дальнейших действий короля, приведших к пленению Москвы: «И посла гетмана пана Жолтовского на Московское государъство со многими людми, повелѣ ему привести вся люди ко крестному цѣлованію на его королевское имя» [О бедах и скорбех, с. 60]. Гетман беспрепятственно «пріидоша къ Москве и повѣдаша королевское повелѣніе всѣмъ людемъ, и не восхотѣша сего вси людіе, рекоша: “не цѣлуемъ креста королю Полскому”» [О бедах и скорбех, с. 60]. На этом первый «микросюжет», содержащий разные формы речи, завершается.

Роль этой первой части в общем сюжете фрагмента огромна.

Во-первых, автор на протяжении всего текста, рассказывая о том или ином событии, исходит из того, что все происходящее — «грѣхъ ради человѣческихъ» [О бедах и скорбех, с. 56]. «Вси людіе всѣхъ чиновъ» [О бедах и скорбех, с. 59], пришедшие к патриарху Гермогену и потребовавшие пригласить на царство иноверца при живом, действующем царе Василии Шуйском, несомненно, грешат, и их преступное желание вызывает очередные страшные «беды и скорби».

Во-вторых, по мере развития ситуации, автор показывает, что преступное желание владеет не всеми русскими людьми, а только «отъ княжеска и болярска роду» [О бедах и скорбех, с. 60]. Произведение проникнуто «антибоярскими настроениями». На эту особенность текста одним из первых обратил внимание М.Н. Тихомиров, писавший: «Бедствия, претерпеваемые Великой Россией, представляются автору результатом боярских насилий <…>»[115]. Страдают же от боярского «попечения» «вси людіе», не желающие на царство иноверца.

В-третьих, появление в Москве поляков и пленение города происходит, согласно тексту псковского автора, без боя. Польский король посылает гетмана Жолкевского со «многими людми» привести «вся люди ко крестному цѣлованію» [О бедах и скорбех, с. 60]. Эти действия вызваны просьбой русских послов дать на царство королевича Владислава, т. е. изначально речи о захвате города не было, соответственно, отсутствовала и необходимость вводить важнейший компонент трехчастной структуры воинской повести, представляющий собой рассказ о подготовке битвы. Реальными событиями продиктованы изменения, вносимые автором в жанровый канон. Вместо рассказа о подготовке к битве мы видим здесь речи, объясняющие дальнейший ход событий, по крайней мере в интерпретации псковского автора.

Второй «микросюжет» открывается сообщением о том, что получивший отказ гетман Жолкевский вместе «со враги креста Христова, съ Рускими измѣнники съ боляры» [О бедах и скорбех, с. 60] решают «обладати такимъ великимъ государствомъ и толикимъ

[115] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 17.

народнымъ множествомъ» [О бедах и скорбех, с. 60]. Для этого они «начатъ изъ Околнего города древянаго и каменнаго нарядъ волочити въ Кремль, такоже изъ Китая города» [О бедах и скорбех, с. 60], собирают все оружие, имевшееся у москвичей, вплоть до того, что «ножи собрати въмалѣ оставити, въ дву или въ трехъ домѣхъ сѣкиру и ножъ потребы ради» [О бедах и скорбех, с. 60]. И далее автор довольно подробно рассказывает о ненормальном поведении поляков[116], которые, с одной стороны, «яко скоти ядяху и піяху и веселяхуся» [О бедах и скорбех, с. 60], а с другой стороны, решают «посѣщи всѣхъ во градъ» на «великой Цвѣтоносной недѣли» [О бедах и скорбех, с. 61]. В итоге, поляки «околній градъ древяный зажгоша», «каменный градъ пожгоша», «жгуще домы и плѣняюще и людей побивающе, дондеже до конца разориша вся святыя Божія церкви и монастыри и весь градъ» [О бедах и скорбех, с. 61]. А сами «сѣдоша во внутреннихъ градѣхъ, въ Китаѣ и въ Кремлѣ» [О бедах и скорбех, с. 61].

Второй «микросюжет», таким образом, тоже не содержит батальных сцен, перед нами — рассказ о тягостном положении мирных жителей в оккупированном городе, обусловленном ненормальным, но в целом типичным для захватчиков поведением поляков, что подчеркивают традиционный эпитет «поганіи», употребляемый автором для их характеристики, и столь же традиционные сравнения врагов: «яко скоти» [О бедах и скорбех, с. 60], «яко волцы взрыкавше» [О бедах и скорбех, с. 61], «выскочиша изъ Кремля, яко звѣріе дивіи» [О бедах и скорбех, с. 61].

Этот «микросюжет» завершает риторический авторский комментарий, приглашающий читателя, «братію», оценить закономерности исторических событий: «Зрите же, братіе, отъ Бога скораго отмщенія человѣкомъ, иже своего царя возненавидѣша и крестное цѣлованіе и обѣщаніе къ нему преступивше, какову месть воспріяша? а иже дерзнуша кои возложити руцѣ на царя, и поругашася ему и предаша въ поганыя руки, отъ своихъ людей побіени быша послѣди» [О бедах и скорбех, с. 61]. Все события эпохи Смутного времени псковский автор оценивает сквозь призму идеи мести Бога за совершаемые преступления против царей, и трагедия Москвы в авторской интерпретации событий стоит в этом же ряду.

Отсутствие датировок того или иного события в тексте, предельный лаконизм в освещении важнейших этапов Смуты, дефицит подробностей существенно обедняют повествование и делают не совсем ясными многие фрагменты, но такая манера изложения позволяет максимально прозрачно представить позицию автора и его взгляд на события. Все «скорби и беды» Московского государства имеют причиной преступления против власти и, шире, всего народа, который оказывается, сам того не желая, втянут в борьбу. За грехи власть предержащих расплачиваются не только сами преступники, но и простые

[116] Подробнее об этом см. в разделе «Предисловие и текст».

люди, даже если они не согласны с желаниями, волей и деяниями первых. Ненависть бояр к своему царю Василию Шуйскому, сведение его с трона, постриг и отправка в плен к польскому королю, посольство с просьбой дать на царство иноверца приводят, как и предсказывал патриарх Гермоген, к тяжелым последствиям — новым бедам и скорбям. В этом смысле пленение Москвы поляками становится закономерным этапом в череде преступлений и одновременно последней каплей для простого народа.

Второй «микросюжет» по сути являет собой ту часть жанрового канона воинской повести, в которой обычно рассказывается о последствиях взятия осажденного города, т. е. перед нами только элемент, что связано в первую очередь со спецификой самих событий. Он необходим в общем сюжете анализируемого фрагмента, как и первый, для того, чтобы объяснить особенности третьего «микросюжета», в котором рассказывается о том, как русское войско осаждало столицу своего же государства.

Третий «микросюжет» наиболее близок по своей логико-хронологической структуре к жанровому канону воинской повести об осаде, но, в отличие от первых двух, в нем отсутствуют детали и подробности. Общая схема предполагает рассказ о подготовке битвы, описание осады (сражения), рассказ о последствиях столкновения. Что мы видим в анализируемом эпизоде? Рассказ о подготовке к битве есть, но какой!

Согласно реальным историческим событиям, осенью 1610 г. бояре впустили в Москву войско гетмана Жолкевского. Первое земское ополчение под руководством Прокопия Ляпунова весной 1611 г. потерпело поражение, а сам воевода был убит. Большая часть войска разошлась по своим домам, и под Москвой остались только казаки во главе с Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким. Летом 1612 г. нижегородское ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина выступило по направлению к Москве из Ярославля. И только 27 октября (6 ноября) 1612 г. второе народное ополчение вошло в Кремль, Москва была окончательно освобождена от захватчиков. Таким образом, реальные исторические события пленения и освобождения Москвы продолжались два долгих года.

В тексте «О бедах и скорбех…» рассказ обо всех попытках освободить Москву напоминает череду погодных записей. Так, о первом ополчении сказано: «собравшеся нѣцыи на Низу ратніи, слышаще, яко поганіи Латина хотяху разорити Московское государство, и поидоша на помощь христіянству, но не успѣша, Бога тако изволившу; и пріидоша подъ Москву въ третій день по разореніи, и осадиша градъ Китай и Кремль, но грѣхъ ради нашихъ не бяше в нихъ миру, понеже не имяху главы содержащей, но по своей воли вси хождаху, мучаху и грабляху своихъ единовѣрныхъ» [О бедах и скорбех, с. 61] (речь идет о том, что войско П. Ляпунова не успело к началу восстания москвичей и подошло к Москве, когда оно уже было подавлено). О приходе князя Дмитрия Трубецкого:

«И потомъ пріиде къ нимъ князь Дмитрей Трубецкой съ войскомъ, иже бѣ служилъ у ложного царя подъ Москвой; и стояху около града Москвы много, и ничтоже успѣша» [О бедах и скорбех, с. 61]. И, наконец, о сборе нижегородского ополчения псковский автор сообщает следующее: «И услышаша сіе нѣцыи православніи на Низу, въ нихъ же бѣ началникъ нѣкто отъ простыхъ людей, но теплый вѣрою поборая по христіянствѣ, именемъ Козма Мининъ: собравъ множество имѣнія по градомъ на людехъ, и наятъ рати и вдастъ я князю Дмитрію Пожарскому, и самъ съ нимъ, и поидоша къ Моковскому государству на помощь сущимъ ту Рускимъ ратнымъ людемъ…» [О бедах и скорбех, с. 61–62].

Формально все эти три сообщения лаконично свидетельствуют в тексте о ходе подготовки к решающей битве за Москву, а по сути перед нами погодные записи, не позволяющие даже представить реальный ход развития событий, это только констатация факта — было это в такой-то последовательности.

Далее автор приводит обобщенное описание битвы за Москву, которое «предстает как статический эпизод»[117] и выполнено с использованием традиционных воинских формул и сравнений: «вси яко лвы ревуще, конные и пѣшіе ратніи поидоша на поганыхъ <…> и въ той часъ бысть предивно одолѣніе на поганыхъ Полскихъ людей, побіено бысть безчисленно» [О бедах и скорбех, с. 62]. Большая часть рассказа о битве посвящена индиценту с князем Дмитрием Трубецким, которого «діяволъ возмути» и на которого он «возложи древнюю гордость» [О бедах и скорбех, с. 62], когда объединенное войско «начаша гонити» врага. Князь «не изыде въ помощь брату своему, не любяше бо, понеже самъ себе бóлша творя: “яко азъ градъ обсѣдохъ”» [О бедах и скорбех, с. 62]. И тогда Кузьма Минин, пришедши в полк к князю Д. Трубецкому, «начатъ со слезами молити ратныхъ о любви, да помогутъ другъ другу, и обѣщеваше имъ великія дары» [О бедах и скорбех, с. 62]. Воины вняли призыву Минина, и Москва была совместными силами освобождена.

Третий «микросюжет» завершается обобщенным рассказом о последствиях победы: «И оттолѣ собрашася вси во едино ратніи людіе и началницы, и стояще у града, многое промышленіе положиша и многи крови проліяша за святыя Божія церкви и за все христіянство, и многи побѣды показаша на невѣрныхъ, и взяша царъствующій градъ взятіемъ у поганыхъ Полскихъ людей 121, мѣсяца октября въ 22 день» [О бедах и скорбех, с. 62].

В целом, можно сказать, что третий «микросюжет» укладывается в выработанную схему жанра воинских повестей информативного типа. Имена руководителей ополчений упоминаются, но им не уделяется существенного внимания, и это приводит к почти полному отсутствию изобразительно-выразительных средств, используемых для их

[117] *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв. С. 11.

характеристики. Более того, псковский автор явно симпатизирует Кузьме Минину как представителю простого народа, что находит выражение в эпитете «христолюбецъ» [О бедах и скорбех, с. 62] и характеристике «теплый вѣрою поборая по христіянствѣ» [О бедах и скорбех, с. 61], что на фоне отсутствия вообще какой-либо характеристики князя Д. Пожарского и упоминания о дьяволе, который «возложи древнюю гордость» [О бедах и скорбех, с. 62] на князя Д. Трубецкого, является, несомненно, определенным способом выражения авторского отношения к руководителям ополчения как к представителям разных социальных слоев. Наконец, в третьем «микросюжете» меняется общая тональность дидактических отступлений и вкраплений. По мнению автора, войско на очищение Московского государства собирается «Божіею милостію и пречистыя Богородица и великихъ чюдотворцовъ молитвами» [О бедах и скорбех, с. 61]. Минину удается убедить ратных помочь воинам князя Д. Пожарского потому, что он «начатъ со слезами молити ратныхъ о любви» [О бедах и скорбех, с. 62]. Идя на бой, воины «со слезами молящеся Господу Богу и пречистѣй его Матери и великимъ чюдотворцомъ, еже подати имъ помощь на невѣрныя» [О бедах и скорбех, с. 62]. И, наконец, победив, они «воздаша хвалу Богу и пречистѣй Богородицы и великимъ чюдотворцемъ» [О бедах и скорбех, с. 62].

Завершается текст ретроспективной исторической аналогией, о которой было уже сказано в разделе «Предисловие и текст», — сопоставлением разорения Московского государства и всей Русской земли с Иерусалимским пленением от Антиоха.

Таким образом, фрагмент, посвященный пленению и освобождению Москвы вторым ополчением, так же, как и другие фрагменты исторического нарратива «О бедах и скорбех», не может быть рассмотрен исключительно в рамках одного жанра. Общая тема фрагмента и объекты повествования во втором и третьем «микросюжетах», а также композиция последнего свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с жанром воинской повести информативного типа, подвергнутой переосмыслению и разрушению в связи со спецификой самого исторического материала и индивидуально авторской трактовкой событий.

Выводы. Памятник «О бедах и скорбех и напастех…» представляет собой уникальное явление среди других сочинений о Смутном времени.

Во-первых, в этом необычном в жанровом отношении произведении выделяются предисловие и собственно текст, формально объединенные в один памятник и написанные вроде бы на одну тему. Но они не имеют внутренних связей, о чем свидетельствует отсутствие общих мотивов и образов. Предположительно предисловие и текст, посвященный знаковым событиям Смуты, написаны разными авторами.

Во-вторых, текст «О бедах и скорбех…» был изначально атрибутирован первыми исследователями как повесть или как сказание, что нашло отражение в названиях текста в

работах ряда исследователей. Но он не может быть однозначно отнесен ни к одной из известных летописных жанровых форм, поскольку не соответствует жанровым канонам.

В-третьих, текст памятника распадается на ряд эпизодов, в которых обнаруживаются черты разных жанровых форм. Первые три эпизода представляют собой «несостоявшуюся» новеллу с ожидаемыми финалами и трактовками, осложненную элементами народной новеллистической сказки и религиозной трактовкой событий (мотивы мести Бога и зависти дьявола). Следующий эпизод, посвященный избавлению Москвы от нашествия «Полскихъ и Литовскихъ людей» и рассказывающий о смерти М.В. Скопина-Шуйского, имеет стандартный набор жанрообразующих признаков повести о княжеских преступлениях. Но, включенный в виде иллюстративного эпизода, демонстрирующего преступления царя Василия Шуйского, являет собой иной тип исторического повествования, а именно повесть о преступлениях царя, с именем которого связаны мотивы и сюжетные ходы, восходящие в своей основе к народной волшебной сказке. Последний эпизод, посвященный пленению и освобождению Москвы вторым ополчением, тоже не может быть рассмотрен исключительно в рамках одного жанра воинской повести информативного типа, поскольку в нем наличествуют иные формы, тяготеющие к самостоятельности, такие как диалог и монолог, погодные записи, а также рассказ о положении мирных жителей в плененном городе.

Таким образом, парадоксальность и необычность событий Смуты приводит псковского автора к поискам адекватной формы их запечатления. Памятник «О бедах и скорбех…», в котором наблюдается взаимодействие различных жанровых форм, являет собой новый вид исторического повествования, в котором переплетаются литературные и фольклорные традиции и в недрах которого начинает вызревать новый беллетристический жанр.

3. «О царском избрании на Московское государство» и «О бедах и скорбех и напастех…» как два самостоятельных текста

Начало, или во всем виноваты бояре. В истории отечественной медиевистики рассмотрению псковских летописных повестей (или сказаний), отразивших события первой трети XVII в., посвящено сравнительно с другими памятниками немного исследовательских работ. Одним из первых, кто обратился к этим текстам, был знаменитый русский историк С.М. Соловьев. В своем фундаментальном труде «История России с

древнейших времен» ученый упоминает «два сказания, составленные во Пскове»[118], — «О смятении и междоусобии и отступлении пскович от Московского государства…» и «О бедах и скорбех и напастех…». «Они замечательны потому, — пишет С.М. Соловьев, — что в них высказались взгляды двух противоположных, враждебных сторон, стороны лучших и стороны меньших людей»[119]. Далее историк приводит обширные выписки из этих текстов, сопровождая их небольшими комментариями, и приходит к выводу: «Если на известия, заключающиеся в предыдущем сказании (имеется в виду «О смятении и междоусобии…». — *О.Т.*), мы сочли себя вправе смотреть подозрительно, подметивши односторонний взгляд партий, то еще с большей подозрительностью должны смотреть на известия второго сказания, ибо здесь встречаем явные искажения событий»[120]. При этом, цитируя и комментируя текст «О бедах и скорбех и напастех…», С.М. Соловьев в отдельный абзац (без всяких попутных замечаний!) выделяет фрагмент, который предваряет записью: «Об избрании царя Михаила Сказание говорит следующее…»[121]. Это было начало странной истории двух самостоятельных текстов «О бедах и скорбех и напастех…» и «О царском избрании на Московское государство», непонятно на каком основании объединенных в один, — истории, получившей продолжение в другом фундаментальном труде, к которому так или иначе обращаются все исследователи, занимающиеся изучением памятников, отразивших события Смутного времени.

С.Ф. Платонов в работе «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник» упоминает те же «два известных сказания», которые, по его мнению, были «достаточно» характеризованы С.М. Соловьевым[122]. И, вслед за предшественником, ссылаясь на его работу, Платонов повторяет, что сказания «отличаются друг от друга основною точкой зрения»[123], и фактически отказывает им в исторической ценности. Текст «О царском избрании на Московское государство» не был упомянут и в этой работе. Однако в комментарии к утверждению о «довольно позднем происхождении»[124] сказания «О бедах и скорбех и напастех…» ученый пишет: «Последнее известие Сказания, изложенное с общей тенденциозной точки зрения, касается смерти Марии Долгорукой, жены царя Михаила. Она умерла в 1625 г. <…>; стало быть, ранее этого года не могло быть написано Сказание»[125].

Далее еще одна работа — «Псковские повести о крестьянской войне в России начала XVII в.» академика М.Н. Тихомирова. В отличие от С.Ф. Платонова и С.М. Соловьева,

---

[118] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. V, т. 9–10. С. 343.
[119] Там же.
[120] Там же. С. 346.
[121] Там же. С. 348.
[122] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 500.
[123] Там же.
[124] Там же.
[125] Там же.

которых этот текст/тексты интересовал с точки зрения достоверности приводимых исторических сведений, М.Н. Тихомиров оценил «Повесть о бедах и скорбех» (именно таким лаконичным названием пользуется ученый) как «произведение во многом замечательное, а в некоторых отношениях исключительное в русской литературе»[126]. Как и С.М. Соловьев, М.Н. Тихомиров дает обзор содержания, правда без обширных выписок, включая в него и события не упомянутой повести «О царском избрании на Московское государство». Как и С.Ф. Платонов, ученый отмечает, что повесть «заканчивается рассказом о смерти первой жены Михаила Федоровича царицы Марии Долгоруковой и замечанием, что только избрание царя “от своих единоверных христиан” спасло Русскую землю», а значит, она была написана «уже по смерти царицы Марии Владимировны, т. е. после 1625 г.»[127] И с такой датировкой нельзя не согласиться, если бы не одно маленькое обстоятельство. Этим событием завершается не повесть «О бедах и скорбех и напастех…», а совершенно другой текст — повесть «О царском избрании на Московское государство».

Рассматривая содержание памятника с идеологических позиций, М.Н. Тихомиров отмечает: «Главная тема повести — это вопрос о роли бояр и боярских козней. Повесть проникнута антибоярскими настроениями и в этом отношении она является чрезвычайно интересным произведением, крайне редким, если не уникальным, в русской письменности…»[128]. Подтверждая такой вывод, ученый приводит веские, убедительные аргументы, опираясь на конкретные цитаты из текста.

К аналогичному заключению на основе тех же примеров приходит в работе «“Смутное время” в изображении литературных памятников 1612–1630 гг.» и В.П. Адрианова-Перетц: «По существу автор считает греховной лишь одну часть русского общества — “бессловесных зверей” — бояр, “сильных градодержателей”, “нарочитых людей”»[129]. Анализируя псковские сказания, она упоминает все те же два памятника — «О смятении и междоусобии и отступлении пскович от Московского государства…» и «О бедах и скорбех и напастех…».

При этом и М.Н. Тихомиров, и В.П. Адрианова-Перетц совершенно справедливо обращали внимание на яркие сравнения в тексте памятника. Так, М.Н. Тихомиров отмечал: «Резню, устроенную польскими интервентами в Москве в марте 1611 г., автор приравнивает к Иерусалимскому пленению от царя Антиоха, очищение Москвы от интервентов — к освобождению Константинополя от крестоносцев. Все исторические примеры, приводимые автором “Повести о бедах и скорбех”, уместны и продуманны, более

---

[126] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 16.
[127] Там же. С. 17.
[128] Там же.
[129] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 70.

продуманны, чем такие же примеры других русских авторов XVII столетия»[130]. Еще ярче об этом же сравнении писала В.П. Адрианова-Перетц: «Сказание рассматривает события “Смутного времени” как знамения, предваряющие конец мира. Автор пытается найти аналогичные предвестия конца и за пределами России: “мню же тако и во всей вселенной творится ныне”. Он приводит примеры прошлого “запустения и пленения градов” — Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя. Стиль вступления во многом следует библейской и апокалипсической лирике. Из апокалипсиса заимствован образ ангела, возливающего фиалы “на землю и в море и на всю тварь да погибнет, да останет третья часть во всей твари живущих” (Апокалипсис, гл. 16). Во вступлении близка к плачу пророка Иеремии о Иудейской земле лирическая картина разорения России: “О горе, горе, увы, увы! земля вся Руская пуста от востока и до запада, от севера и до юга, и не оста место, не токмо град, ни веси, но и сущии бежащии в горах и в пустынях и во островех не укрышася от поганых и злых человек, словесных зверей, все горко замучени, погублени быша...”. Таким образом, вступительной части Сказания придан характер речи библейского пророка, тесно связанный с изобличительным содержанием последующего изложения»[131]. Добавим к этим наблюдениям: в конце повести «О бедах и скорбех и напастех…» автор возвращается к этому же сравнению: «Зрите, братіе, по всему подобно разореніе Московского государства и всея Рускія земли Іерусалимскому плѣненію отъ Антіоха…» [О бедах и скорбех, с. 62]. Она начинается и заканчивается одним и тем же сравнением, а не рассказом о смерти Марии Долгорукой! Им завершается совсем другой текст — повесть «О царском избрании на Московское государство».

И С.М. Соловьев, и С.Ф. Платонов, и М.Н. Тихомиров, и В.П. Адрианова-Перетц абсолютно правы: текст/тексты пронизан антибоярскими настроениями. Но по факту наличия в памятнике/памятниках доказательств мы имеем следующее. В повести «О бедах и скорбех и напастех…» есть всего несколько (да и то коротких) примеров боярских злодеяний, о которых писали М.Н. Тихомиров и В.П. Адрианова-Перетц: «Свержение царя Василия Шуйского произошло от изменников “болярска роду”. Польский гетман Жолкевский начал замышлять, как бы обладать таким великим государством, как Россия, “с русскими изменники з боляры”»[132]. Все остальные, очень яркие высказывания о боярах автора повести, согласно мнению В.П. Адриановой-Перетц, приходятся на конец: «Чем ближе к своему времени, тем все более конкретны и резки антибоярские тенденции

---

[130] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 19.

[131] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 70.

[132] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 17–18.

составителя сказания»[133]. И действительно, повествуя об избрании на царство Михаила Федоровича Романова и первых годах его царствования, автор много внимания уделяет «боярскому попечению» о земле Русской. Но дело в том, что последнее — это не завершающий рассказ повести «О бедах и скорбех и напастех…», а самостоятельный текст. Не оспаривая все, абсолютно верные, на наш взгляд, наблюдения над содержанием отдельных фрагментов, оценки знаменитых исследователей, относясь к их работе с глубоким уважением, мы не можем согласиться только с одним: перед нами не один, а два разных текста.

К истокам. Чтобы разобраться в интересующем нас вопросе, вернемся к первым изданиям текстов. Критический обзор изданий псковских летописей в XIX в. был дан А. Насоновым: «Псковские летописи, — писал исследователь, — издавались дважды. Первый раз в 1837 г. проф. Моск. Университета М. Погодиным; второй раз в 1848–1853 гг. Археографической комиссией в серии “Полное собрание русских летописей”. Погодин издал псковские летописи по трем спискам: Архивскому 1-му, Архивскому 2-му и Синодальному. В основание положен Архивский 2-й сп. (сер. XVII в.). Начало и конец этого списка издателем опущены»[134]. И далее: «Археографической Комиссией была издана в 1848 г. Псковская 1-я летопись, в одном томе с Новгородской 4-й летописью — в IV т. ПСРЛ, а в 1851 г. — Псковская 2-я летопись в одном томе с Софийской 1-й летописью, в V т. ПСРЛ. При издании Псковской 1-й лет. были привлечены восемь списков: Архивский 1-й (“Арх. XIX”), Архивский 2-й (“Арх. IV”), Строевский (“Стр. II”), Румянцевский 2-й (“Эрм.”), Карамзинский (“Кар. I”), Академический 2-й (“Акад. XVIII”), Снегиревский (“Снег. II”), Бальзеровский (“Бал.”). Псковская 2-я летопись издана по Синодальному списку».

В 1941 г. вышло в свет еще одно издание — «Псковские летописи. Выпуск первый»[135], подготовленное А. Насоновым на основе анализа 24 списков[136].

Интересующие нас тексты были опубликованы в двух изданиях: 1) в Полном собрании русских летописей (далее — ПСРЛ), т. 5[137] — в разделе «Прибавления» — по Снегиревскому списку (Снег. II), описание которого приводится в Полном собрании

---

[133] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 71.

[134] Псковские летописи. Выпуск первый / изд. подгот. А. Насонов; отв. ред. изд. акад. Б.Д. Греков. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941. С. IV.

[135] Псковские летописи. С. V.

[136] См. подробнее: Псковские летописи. С. VI–XXVIII.

[137] Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. 275 с.

русских летописей, т. 4[138]; 2) в книге «Псковские летописи. Выпуск первый» — в разделе «Прибавления. Окончание списка Оболенского» с вариантами по Архивскому 3 списку.

В кратком описании Снегиревского 2 списка в ПСРЛ, т. 4, содержится следующая запись: «л. 310. О прежнемъ пришествіи Нѣмецкомъ и о нынѣшнемъ на Новгородскую землю, и о нашествіи богомерзскаго Свійскаго короля Густафа съ погаными Латины на Рускую землю, и о клятве ихъ (отдельная повесть о делах Смутнаго періода)»[139]. В не менее лаконичном описании списка Оболенского в ПСРЛ, т. 5, зафиксировано, что этот список является «точной копией» Снегиревского 2 списка, который оканчивается «отдельными повестями о делах Смутного периода и об осаде Шведским королем Густавом Адольфом Пскова» (л. 310–352)[140]. Как видно, в этих описаниях весьма общо упоминаются повести о Смуте. Более подробная роспись повестей, помещенных в «Прибавлениях», содержится в начале ПСРЛ, т. 5. Среди них упомянуты следующие: «а) Об осаде Пскова Шведским королем Густавом Адольфом и о военных действиях Шведов в Псковской области в 1615 году, о Московских событиях во время Смутного периода и о восшествии на престол царя Михаила Федоровича, и б) Об отступлении Пскова от Московского государства в эпоху Междоцарствия, и о последовавших оттого безначалии и народных бедствиях…»[141].

В реальности мы имеем следующие повести (приведем их в той последовательности, как они размещены в ПСРЛ, т. 5, с параллельным указанием в издании А. Насонова):

– «О прежнемъ пришествіи Нѣмецкомъ и о нынѣшнемъ на Новгородскую землю, и о нашествіи богомерзкаго Свейскаго короля Густафа съ погаными Латыни на Рускую землю, и о клятвѣ ихъ» (с. 51) – аналогично в списке Оболенского (л. 691 об., с. 117);

– «О нашествіи поганые Литвы и Нѣмець на обитель Пречистыя Богородица на Печерской монастырь, во псковской области» (с. 54) – аналогично в списке Оболенского (л. 701, с. 120);

– «О бѣдахъ и скорбехъ и напастехъ, иже бысть въ Велицѣй Росіи Божіимъ наказаніемъ, грѣхъ ради нашихъ, напослѣдокъ дній осмаго вѣка, а въ началѣ второсотного лѣта, и како и откуду начашася сія злая быти, многая кровопролитія и неповиннымъ человѣкомъ великимъ и малымъ горкія муки отъ царей, потомъ же и междоусобныя брани, и нашествіе поганыхъ Агарянъ и Латынъ и своихъ злыхъ нечестивыхъ и скверныхъ ругателей и убійцъ Рускихъ враговъ на всю Рускую землю» (с. 55–56) – аналогично в списке Оболенского, но непосредственно перед таким же названием слово «Предисловие» (л. 705 об., с. 122);

---

[138] Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1848. Т. 4: IV.V. Новгородские и Псковские летописи. С. 171.

[139] Там же.

[140] Полное собрание русских летописей. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 49. Орфография упрощена.

[141] Там же. С. VI. Орфография упрощена.

– «О царъскомъ избранiи на Московское государъство» (с. 62) – аналогично в списке Оболенского (л. 728 об., с. 129);

– «О смятенiи и междоусобiи и отступленiи Псковичь отъ Московскаго государъства, и како быша послѣди бѣды и напасти на градъ Псковъ отъ нашествiя поганыхъ и плѣненiя, пожаръ, гладъ, и откуду начаша злая сiя быти и въ кое время» (с. 66) – аналогично в списке Оболенского (л. 742 об., с. 134).

В постраничных примечаниях к двум интересующим нас текстам А. Насонов особо обращает внимание на то, что первые буквы в названиях не были выделены киноварью[142].

Представленный выше перечень названий повестей приводит к двум очевидным выводам:

1) все названия повестей отличает единоначатие: они начинаются с предлога «О»;
2) в названиях дается аннотированная тема, четко обозначающая, о чем будет идти речь в текстах и какой период времени будет описываться.

В аннотированном названии к повести «О бедах и скорбех и напастех…» в центре внимания — беды от царей, междоусобица и нашествие иноземцев, аннотированное название повести «О царском избрании на Московское государство» говорит само за себя. Перед нами — два абсолютно разных текста, что подтверждает и логика начала и конца каждой из повестей:

1) повесть «О бедах и скорбех и напастех…» начинается и завершается одним и тем же сравнением разорения Москвы с пленением Иерусалима (см. выше);
2) повесть «О царском избрании на Московское государство» начинается рассказом о выборе царя, а завершается следующим пассажем: «Но и еще примилостивый Владыка Господь не изволи разорити вѣры христiянскiя отъ Латинъ, и вложи во умъ православнымъ избрати и посадити на царство отъ своихъ единовѣрныхъ христiянъ царя въ Русiи, а ихъ окаянный и злый совѣтъ отвергоша и не восхотѣша…»[143] [О царском избрании, с. 66].

Следовательно, текст «О царском избрании на Московское государство» не может рассматриваться как часть повести «О бедах и скорбех и напастех…», это два абсолютно самостоятельных текста. Отмеченная же, и справедливо, антибоярская направленность обоих памятников не может, на наш взгляд, служить причиной для объединения текстов. К такому выводу подталкивают и жанровые особенности двух произведений.

Жанровая подсказка. Памятник «О бедах и скорбех и напастех…» действительно представляет собой явление «исключительное» в цикле сочинений о Смутном времени. В

---

[142] Псковские летописи. С. 122, 129.

[143] О царском избрании на Московское государство // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 62–66. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

нем отчетливо выделяются предисловие и собственно текст. Весьма необычна его жанровая форма. Произведение состоит из эпизодов, в которых обнаруживаются черты разных жанровых форм[144].

Принцип эпизодической организации повествования сохраняется и в повести «О царском избрании на Московское государство». Она состоит из четырех эпизодов:

1) В первом рассказывается о совете бояр и князей, решивших призвать на царство «Свейского королевича, Анны Карлусова сына, меншаго брата Густавова, Филипа» [О царском избрании, с. 62] и с этой целью дважды отправлявших послов «въ Свею»;
2) Во втором говорится об избрании на царство Михаила Федоровича Романова всем народом вопреки желанию бояр призвать «царя отъ иновѣрныхъ» [О царском избрании, с. 63];
3) В третьем повествуется о начале царствования Михаила Федоровича Романова, который в то время был «младъ», и о «попеченiи» боярском о себе и земле Русской в этот период;
4) Четвертый, последний, эпизод посвящен истории женитьбы царя Михаила Федоровича.

Как и в повести «О бедах и скорбех и напастех…», в основу каждого эпизода легло одно из знаковых исторических событий. Но ни один из этих эпизодов не может быть атрибутирован как самостоятельная жанровая форма или по крайней мере хотя бы как тяготеющий к конкретной форме. Они имеют внутренние «скрепы» — сквозные мотивы и образы, подобный композиционный прием не наблюдается в тексте «О бедах и скорбех и напастех…». Каждый эпизод в повести «О царском избрании на Московское государство» добавляет нечто новое, углубляя и развивая заявленную в предыдущем эпизоде идею, что будет показано ниже. Использование типичной для древнерусских исторических повестей композиционной структуры приводит к тому, что в основе повествования во всех эпизодах лежит один главный художественный прием, в то время как в тексте «О бедах и скорбех и напастех…» даже внутри отдельных эпизодов прослеживается сложное и порой весьма тонкое взаимодействие различных приемов и жанровых форм.

В силу и этих причин повествование «О царском избрании на Московское государство» не может, на наш взгляд, рассматриваться как завершающий фрагмент повести «О бедах и скорбех и напастех…». Оно проще и «прозрачнее» и с точки зрения формы, и с точки зрения идей. В нем наблюдаются иные сюжетообразующие элементы и приемы изображения.

[144] См. подробнее: Глава 3, раздел 2.

Приемы изображения. Взаимодействие различных жанровых форм в разных эпизодах повести «О бедах и скорбех и напастех…» приводит к тому, что в ней нет одного доминирующего приема изображения, нет сходных сюжетообразующих элементов.

В отличие от повести «О бедах и скорбех и напастех…», в основе рассказа о событиях в каждом эпизоде повести «О царском избрании на Московское государство» лежит принцип контраста.

Первый эпизод открывает и завершает антитеза «боярский совет» – «совет всей земли Русской»: в начале — «и совѣтъ сотворше въ себѣ боляре паки по прежнему, кромѣ всей земли Рустѣй совѣту…» [О царском избрании, с. 62]; в конце — «…и избрали ратные люди и всѣ православные на Московское государъство царемъ отъ царска роду, царя Ѳеодора Ивановича племянника Михаила Ѳеодорова сына Никитича Романовыхъ <…> и не сбысться ихъ злый боярской совѣтъ…» [О царском избрании, с. 63]. Аналогичной антитезой начинается и второй эпизод: «И восхотѣша началницы паки себѣ царя отъ иновѣрныхъ, народи же и ратніи не восхотѣша сему быти…» [О царском избрании, с. 63].

Автор последовательно противопоставляет бояр, начальников народу всей земли Русской. И те, и другие проявляют невероятное упорство в достижении цели. Так, первый эпизод открывается лаконичным упоминанием о стоянии под Москвой «полтора лѣта» [О царском избрании, с. 62] с целью «выстояти градъ и взяти у Литвы» [О царском избрании, с. 62], а завершается столь же кратким сообщением о том, что «Московское государство Рускіе люди у Литвы взяли и очистили…» [О царском избрании, с. 63]. Пока «Рускіе люди», ратные и «всѣ православные» бились за освобождение царствующего града, бояре в это время с не меньшим упорством стремились пригласить на царство «меншаго брата Филипа Карлусова на царъство Московское» [О царском избрании, с. 62]. Первому посольству, которое бояре отправили в «Свею», «король… отказалъ» [О царском избрании, с. 62]. На обратной дороге «ратніи полониша ихъ всѣхъ и приведоша во Псковъ» [О царском избрании, с. 62]. Это не остановило бояр и князей, они «написавше крѣпость за своими руками» и повторно «послаша въ Новгородъ», чтобы те шли «въ Свею с тою ихъ крѣпостію королевича просити на Московское государство» [О царском избрании, с. 63]. Королевичу, отправившемуся было на Русь, пришлось «назадъ воротися», поскольку Москву «у Литвы взяли и очистили» [О царском избрании, с. 63].

Примечательно, что в первом эпизоде повести антитеза «боярский совет» – «всей земли Рустѣй совѣтъ», бояре – «Рускіе люди» практически предстает в чистом виде, она не поддерживается дополнительными изобразительно-выразительными средствами. Только в самом конце эпизода проявляется авторское отношение к описываемым событиям благодаря двум приемам, объединенным в одном предложении: «…и не сбысться ихъ злый боярской совѣтъ, но его же (Михаила Федоровича Романова. — *О.Т.*) Богъ избра и восхотѣ,

той и бысть» [О царском избрании, с. 63]. Контрастность оценок достигается за счет использования прямой и косвенной характеристик. Первая реализуется в эпитете «злый» по отношению к боярскому совету. Вторая дана опосредованно сквозь призму мотива Божьего участия и в непрямой форме свидетельствует о восприятии деяний русских людей как угодных Богу и, более того, освященных Его волей и желанием. Не случайно первый и второй эпизоды имеют сходные концовку и начало: «…но его же Богъ избра и восхотѣ, той и бысть. И послы пріидоша въ Великій Новградъ. И паки напредъ возвратимся (концовка первого эпизода). Что же по сихъ бысть? но якоже Богъ изволи преже быти, тако и бысть» (начало второго эпизода) [О царском избрании, с. 63].

Мотив деятельного участия Бога в избрании Михаила Федоровича Романова и в судьбе страны, впервые появляющийся в тексте в конце первого эпизода, становится ведущим во втором фрагменте. Исходное противостояние «начальницы» – «народи» находит разрешение в мотиве Божьего участия, которым освящены действия «народов»: «Народи же и ратніи не восхотѣша» царя «отъ иновѣрныхъ» [О царском избрании, с. 63], и «Богъ воздвиже втораго Михаила нечаемаго, его же и самъ избра: и испаде на него жребій…» [О царском избрании, с. 63]. Далее идея о воздвижении Михаила Федоровича Романова и возрождении Московского государства самим Богом многократно повторяется на протяжении всего второго эпизода, пока не находит эмоционального разрешения в финальной фразе: «воздвиже Богъ паки преже падшее его царство и обнови въ Росіи, и посади на престолѣ царя благочестива и благородна, великого князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи <…> возвиже Богъ на царъство тезоименитаго Архистратига силы его Михаила, зѣло кроткаго, тихаго царя, Христова подражателя и дяди своего наслѣдника <…>, и далъ Богъ благодать и въ мирѣ тишину и благоденство <…>. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе его. <…> Елма же Богъ воздвиже рогъ спасенія людей своихъ мышцею своего, и всѣ православніи христіяне возрадовашася и Богу хвалу воздаша о семъ, что Господь Богъ воскресилъ въ Руси паки отъ своихъ Рускихъ людей и отъ царска роду, и обновися имъ царство» [О царском избрании, с. 63].

В начале третьего эпизода повести, по аналогии с первыми двумя, автор снова использует антитезу «царь» – «бояре и вельможи». Однако, в отличие от первых двух эпизодов, здесь сразу же противодействующие силы получают прямые авторские оценки, выраженные положительными и отрицательными эпитетами и сравнениями. Вместе с тем даже положительная характеристика царя и отрицательная характеристика бояр и вельмож выстроены на приеме контраста. Так, автор замечает: «Бѣ же царь младъ, егда сѣде на царство, яко лѣтъ 18, но бѣ благъ, тихъ, кротокъ и смиренъ и благоувѣтливъ, всѣхъ любя и всѣхъ милуя и щедря, по всемъ подобенъ бѣ прежнему благовѣрному царю и дяди своему Ѳеодору Ивановичю всеа Русіи…» [О царском избрании, с. 63–64]. Бояре же и вельможи

«окаянніи, аки волцы тяжцы восхитающе <…>, понеже страхъ Божій преобидѣша и забыша свое прежнее безвремяніе и наказаніе, что надъ ними Господь за ихъ насилство сотвори, отъ своихъ рабъ разорени быша; и паки на то же подвигошася…» [О царском избрании, с. 64].

Противостоянию царя и бояр автор дает трансцендентное и реалистическое объяснение. С одной стороны, «сему благочестивому и праведному царю смиренія его ради, не безъ мятежа створи ему державу врагъ діаволъ древній» [О царском избрании, с. 64]. С другой стороны, бояре «царя нивочтоже вмѣниша и не боящеся его, понеже дѣтексъ сый» [О царском избрании, с. 64]. Молодость царя явилась, по мнению автора, главной причиной новых преступных деяний бояр, руководствующихся во всех своих поступках личными, а не государственными интересами и нуждами. Не случайно на протяжении всего этого эпизода лейтмотивно будет повторяться фраза: «Сицево бѣ попеченіе боярско…». Воспользовавшись тем, что царь «всѣхъ любя и всѣхъ милуя и щедря» [О царском избрании, с. 64], бояре, как только Михаила Федоровича Романова «на царство посадиша», «лестію уловивше» и «къ ротѣ приведоша, еже отъ ихъ велможска роду и болярска, аще и вина будетъ преступленію ихъ, не казнити ихъ, но разсылати въ затоки» [О царском избрании, с. 64], а если кому-то из них и случится оказаться в заточении, то они, ходатайствуя друг о друге пред царем, «на милость» его обращали. Незнание молодого царя о порядке собирания оброков во всей Русской земле на царские потребы и расходы приводит к тому, что «окаянніи» бояре «всю землю Рускую раздѣливше по своей воле» [О царском избрании, с. 64].

Своеволием бояр объясняет автор и события под осажденным Смоленском. Царь «посылалъ <…> своихъ государевыхъ воеводъ, князя Дмитрия Мастрюкова да князя Ивана Троекурова…» [О царском избрании, с. 64]. И те воеводы «государевымъ дѣломъ промышляли съ радѣніемъ» и едва не взяли Смоленск, а бояре без всяких на то объективных причин «тѣхъ воеводъ перемѣнили да иныхъ посадили», в результате «нападоша на нихъ Литва и самихъ осадили» [О царском избрании, с. 64]. В изображении автора повести бояре намеренно выстраивали стену между царем и народом, не допуская гонцов страждущих к царю и утаивая от него правду. Более того, бояре постоянно чинили расправу над вестниками, что нашло выражение в мотиве предательства. Так, из осажденного Смоленска, в котором «гладъ бысть великъ», «къ государю многажды посылаху о хлѣбѣ», а бояре тех гонцов «въ крѣпости сажаху, а от государя царя таяху» [О царском избрании, с. 64]. Когда Псков осадил «Свійской король», «велика туга и печаль отъ гладу» была в городе. И псковичи, как и смоляне, «посылаша» гонцов к государю, «и всѣхъ тѣхъ посланниковъ бояре и царю не показаша, держаху въ запорѣ и государя утѣшаху отъ печали…» [О царском избрании, с. 64]. Подобными действиями бояре

разжигали в ратных людях гнев. Например, под Смоленском ратные, «не стерпя гладу», отошли от города и «начаша свою землю воевати и людей мучити, гнѣвающеся на бояръ» [О царском избрании, с. 64]. Именно после этого автор гневно-иронично восклицает: «Сицево бѣ попеченіе боярско о земли Руской!» [О царском избрании, с. 64]. Аналогично автор завершает рассказ об осаде Пскова: «Сицево бѣ попеченіе боярско о градѣ, аще не бы Господь самъ сохранилъ градъ: но того ради и Богъ призрѣ своего милостію на градъ, видѣ отъ своихъ единовѣрныхъ предаемъ…» [О царском избрании, с. 64].

Предавая людей и государя, бояре стремились исключительно к одной цели — к власти. И на этом пути одни не гнушались ничем. Не случайно мотив предательства тесно связан в данном эпизоде с мотивом лжи: «отъ государя царя таяху» [О царском избрании, с. 64], «глаголаху ему, повѣдающе поганыхъ немного, а во градѣ людей много, и людскія печали и гладу не повѣдаху ему…» [О царском избрании, с. 64]. Самый характерный пример подобного сочетания мотивов наблюдается во фрагменте, повествующем о желании неких «вои, въ Поморьи суще» [О царском избрании, с. 65], искупить свою вину пред царем: «пойдемъ ко царю и умолимъ его, да послетъ насъ на испорученіе Пскову и на Свейскую землю воевати» [О царском избрании, с. 65]. Бояре, узнав, что воины послали к царю доложить о своем намерении, «начаша совѣтовати собѣ, какъ сія волныя люди собѣ поработити» [О царском избрании, с. 65]. Они призывают «головъ их» и «глаголюще: “хощетъ Богъ и государь вас жаловати”» [О царском избрании, с. 65]. Поверившие им воины вошли в город — «и переимаша ихъ и перевязаша, а на прочихъ ратію изыдоша, и разгромиша ихъ и многихъ переимаша…» [О царском избрании, с. 65]. Бояре снова солгали и предали интересы государя и русских людей. И вновь автор повести показывает, к чему приводят подобные преступные деяния бояр. Каждый раз тесно связанные мотивы лжи и предательства находят своеобразное разрешение в мотиве бед и скорбей, имеющем различное воплощение. Желание бояр поработить «вольных людей», хотевших искупить вину доброй службой на благо государства, приводит к тому, что они не только «разгромиша» вполне боеспособное войско и «перевязаша» их руководителей, но и к уходу 15000 воинов в Литву, к «отшествию» русских людей от Смоленска и к тому, что «королевичь Литовской и съ ними пріиде ратію на Рускую землю, и много пакости учиниша, и грады поимаша и поплѣниша, и к царъствующему граду приступиша…» [О царском избрании, с. 65].

Эгоистичное намерение бояр обернулось новой большой бедой для Русской земли, снова люди испытали «страхъ и трепетъ и ужасъ, нашествія ради поганыхъ» [О царском избрании, с. 65], «такоже и царю съ матерію велія скорбь бѣ и туга» [О царском избрании, с. 65], поскольку во имя восстановления мира им пришлось, согласно тексту, отдать королевичу 12 пограничных городов. Наконец, как и в первых двух эпизодах, спасает

царствующий град Божья помощь: «и незамного Богъ укры своею милостію царствующій градъ…» [О царском избрании, с. 65].

В четвертом, последнем, эпизоде повести, посвященном женитьбе Михаила Федоровича Романова, автор последовательно противопоставляет поступки «благочестивого» царя и «злыхъ чаровниковъ и звѣрообразныхъ человекъ» [О царском избрании, с. 66], а также царя Михаила и его родителей. Царю, пожелавшему сочетаться законным браком, «обручена бысть царица Анастасія Иванова дочь Хлоповыхъ» [О царском избрании, с. 65]. Но племянники матери царя «чародѣйствомъ ненависть возложиша, и разлучиша ю отъ царя и послаша въ затокъ» [О царском избрании, с. 65]. В начале эпизода автор, объясняя поступок племянников матери царя, использует широко распространенную в древнерусских памятниках формулу: «врагъ же діяволъ научи», но не развивает ее, и этот факт позволяет предположить, что ссылка на дьявола здесь скорее дань литературной традиции, нежели глубинное убеждение автора, тем более что далее на протяжении всего эпизода и вплоть до его конца в тексте не встречается более ни одного подобного объяснения. Наоборот, по возвращении «отца царева», митрополита Филарета, поставленного вскоре патриархом, было проведено, согласно тексту, «испытаніе», в ходе которого выяснилось, что «тіи же окаянніи Михайловы дѣти Салтыкова, 2 брата, царевѣ матери племянники, Борисъ да Михайло, повинушася о семъ, “яко сего ради тако сотворихомъ, понеже намъ удаленомъ быти царева лица и сана своего лишитися”» [О царском избрании, с. 66]. Как и бояре, родственники государя по материнской линии, не смирившись со своим положением, «нанесоша» царю «печаль и скорбь велію» [О царском избрании, с. 65].

Вторая царица — Мария, дочь князя Владимира Долгорукого, — с которой сочетался царь законным браком, преставилась «по трехъ мѣсяцехъ» после свадьбы. И снова царю «скорбь велія бысть» [О царском избрании, с. 66].

Подводя итог рассказу о неудачных женитьбах царя, автор пространно излагает свой взгляд на события: «А все то зло сотворися от злыхъ чаровниковъ и звѣрообразныхъ человѣкъ, не хотящихъ видѣти христіянского покою и тишины, и гнушахуся своего государя и гордяхуся, не хотяще въ покореніи и въ послушаніи пребывати и не боящеся отнюдь, понеже милостивъ бѣ, и любяше и миловаше ихъ и вся подаваше имъ, яже они прошаху, и своеволни бѣша, якоже и преже рѣхъ…» [О царском избрании, с. 66].

По глубокому убеждению автора повести, своеволие и бояр, и родственников матери избранного царя, их «окаянный и злый совѣтъ» [О царском избрании, с. 66] являются главной причиной зла на Руси. Издавна они «похотѣша собѣ государя взяти отъ чюжихъ странъ, просиша многажды изъ Полши и изъ Свеи» [О царском избрании, с. 66]. Своего царя Василия, вспоминает автор, «въ Литву отдаша и Литовского короля возлюбиша» [О

царском избрании, с. 66], от него и «разорени быша» [О царском избрании, с. 66]. «Православные», вопреки желанию бояр, избрали на царство «отъ своихъ единовѣрныхъ христіянъ царя въ Русіи» [О царском избрании, с. 66] — и бояре, не желая «покоя» и «тишины», его «гнушахуся» и постоянно предавали. Молодость, благочестие, беспредельное милосердие избранного царя, о которых постоянно пишет автор, не вызывает у них уважения, напротив, отсутствие страха перед царем ведет к непокорности и преступлениям. По сути, автор на протяжении всей повести противопоставляет «народи», избравшие царем всея Руси по воле Бога и во имя интересов государства «отъ своихъ единоверныхъ», и бояр, которые всегда и во всем руководствовались личными интересами. Первые — показаны патриотами, которые полтора лета отстаивали Москву у Литвы, несли повинные головы и желали «с радением» послужить царю и государству. Вторые — предатели, которые постоянно лгали царю и народам, добивались всяческих благ для себя, провоцировали новое «нестроение» Русской земли. Повесть пронизана глубочайшим осуждением бояр и неявно выраженным уважением к «народам». При этом автор нигде не употребляет эпитеты для характеристики «народов», а по отношению к боярам использует два — «злые» и «окаянные», которые практически срастаются с их именованием. Однако на протяжении всего текста автор последовательно выражает свое отношение к «народам» и боярам через ряд антитез, о которых было сказано выше.

Царь Михаил Федорович Романов, с одной стороны, противопоставлен боярам по целому ряду моральных качеств (милость – подлость, забота о людях – попечение о себе, забота о благе государства – личные интересы и т. д.), а с другой стороны, избранный «народами» молодой государь априори в концепции автора оказывается в положении человека, который сполна испытает и как правитель, и как человек предательство и подлость бояр. Царь удостаивается в повести исключительно положительных оценочных эпитетов, но у него есть один недостаток в глазах автора — молодость и, как следствие, неопытность. Бояре «гнушахуся» своего государя, ибо «не боящеся отнюдь» [О царском избрании, с. 66]. Таким образом, подспудно автор провозглашает две важные идеи.

1) Чтобы в государстве были «покой» и «тишина», бояре должны бояться государя, их своеволие должно быть подавлено. Эта мысль во многом восходит к публицистике XVI в. с идеей «царской грозы», без которой царство невозможно удержать. В то же время автор глубоко убежден в том, что история не учит «звѣрообразныхъ человѣкъ». В финале повести он вспоминает о том, что бояре «возлюбиша» Литовского короля, «отъ него же и разорени быша» [О царском избрании, с. 66], но это ничему не научило их: пока русские воины пытались освободить Москву, бояре вновь просили на царство «иноверца».

2) Избранный всем народом царь — фигура для автора «священная», и потому по отношению к царю он употребляет исключительно положительные эпитеты, жалеет его, видит в нем единственного защитника. По сути, в повести нашла отражение глубокая вера народа в доброго царя-батюшку. И потому даже сомнительные его поступки — в частности, ублажение бояр — преподносятся в тексте со знаком плюс и возводятся в ранг добродетели, наглядно демонстрирующей щедрость и милосердие «благочестивого» царя.

Восхваляя избранного народом царя Михаила Федоровича Романова, автор противопоставляет его не только боярам, но и родителям. Все его поступки проникнуты глубокими человеческими чувствами. Испытывая «печаль и скорбь велію» [О царском избрании, с. 65] из-за неудавшейся женитьбы на Анастасии Хлоповой, молодой царь «беззлобивый благодарнѣ терпяше сія» и «не восхотѣ иныя поняти» [О царском избрании, с. 65] до тех пор, пока Литовский король не отпустит из плена домой, на Русь, его отца — митрополита Филарета. По прошествии времени, уже будучи патриархом, отец «глаголати сыну своему царю Михаилу о совокупленіи брака: аще хощетъ поняти королеву Литовского короля, да тѣмъ примиритъ его къ собѣ, и грады возвратитъ плѣненныя и отданныя паки собѣ» [О царском избрании, с. 65]. Предложение патриарха обусловлено политической необходимостью, он смотрит на брак сына как на дело государственное. Царь же Михаил Федорович «сего не восхотѣ» [О царском избрании, с. 66]. Автор, лаконично сообщив о нежелании молодого государя «поняти королеву Литовского короля» [О царском избрании, с. 65], никак не комментирует этот факт и сразу переходит к рассказу о том, что царевы мать и отец «посласта къ Датцкому королю о поиманіи дщери его за царя…» [О царском избрании, с. 65]. Датский король отказал, причем автор приводит его ответ в форме прямой речи, а о реакции самого молодого царя не сообщает ни слова. Желание породниться с представителями европейских королевских династий, несомненно, освящено традицией заключения браков царствующими особами и обусловлено не только личными амбициями родителей, но и определенными политическими причинами. Последнее не интересует автора, но в ответе датского короля упоминается царь Борис Годунов, который хотел выдать свою дочь Ксению замуж за его брата, и это косвенно свидетельствует о негативном отношении автора к предложению родителей молодого царя.

Когда отец и мать в третий раз, согласно тексту, начинают уговаривать царя сочетаться законным браком, государь снова отказывается, автор приводит в тексте его слова, исполненные глубокого достоинства: «сочетался есмъ бракомъ по закону Божію и по преданію Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ, и обручена ми есть царица; кромѣ еѣ иные не хощу поняти» [О царском избрании, с. 65]. На протяжении всей повести автор постоянно по отношению к царю Михаилу употребляет эпитеты «благочестивый», «праведный»,

«благоверный» («царя благочестива и благородна, великого князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи» [О царском избрании, с. 63], «благочестивому и праведному царю» [О царском избрании, с. 64], «благочестивому царю» [О царском избрании, с. 65] и т. д.), именует его «Христовым подражателем» [О царском избрании, с. 63], сравнивает с царем Федором Ивановичем («во всемъ подобенъ бѣ прежнему благовѣрному царю и дяди своему Ѳеодору Ивановичю всеа Русіи» [О царском избрании, с. 64]). Его ответ родителям — это ответ истинного христианина, который хранит верность обрученной супруге.

Странно другое: в третьем эпизоде автор писал о том, что мать царя — «боголюбивая <…> инока великая старица Марѳа» [О царском избрании, с. 64], а в четвертом эпизоде она, словно забыв об обручении царя с Анастасией Хлоповой, вместе с патриархом Филаретом не единожды настаивает на сочетании браком то с «королевой Литовского короля», то с дочерью Датского короля. Наконец, когда по приказу Филарета доктора «изврачеваша» обрученную царицу, именно мать «клятвами закля себе, еже не быти ей въ царствѣ предъ сыномъ, аще тое быти у царя царицы» [О царском избрании, с. 66]. И в этой связи уже не кажется странным, что царицу «чародѣйствомъ» «остудити» племянники матери царя. Автор никак не комментирует все эти поступки матери — исполненные человеческой гордыни, но не иноческого смирения и приятия. Отсюда и странность: ведь изначально автор характеризует мать царя как «боголюбивую». Повторим, автор не поясняет поступки матери царя, но высоко оценивает ответные действия молодого государя: «Царь же презрѣ себе Бога ради, и матерня любве не хотѣ презрѣти и разлучитися отъ нея, ни оскорбити ю, но самъ все терпя, человѣческое существо матере не раздражи и царицы не поятъ…» [О царском избрании, с. 66]. Это косвенно указывает на не выраженное открыто в тексте негативное отношение автора к действиям матери царя, или если не негативное, то во всяком случае не положительное.

Этот же прием (некомментируемый и, следовательно, формально не оцениваемый рассказ о действиях матери царя и описание чувств ее царственного сына) использует автор во фрагменте, повествующем о второй женитьбе государя: «…увѣща мати его поняти дщерь князя Владимира Долгорукого Марью; онъ же благочестивый царь, аще и не хотя, матере не преслушавъ, поятъ вторую царицу Марью» [О царском избрании, с. 66]. Отсутствие авторских комментариев как своеобразный прием умолчания отрицательного отношения, является, на наш взгляд, несомненной художественной находкой. На преднамеренное его использование в тексте проливает свет небольшая авторская оговорка. Завершая фрагмент о расследовании «чародейства» «окаянных» братьев Салтыковых, автор замечает: «…и осудиша ихъ в затокъ со очей царевыхъ, а смерти ихъ не осудиша царева ради родства…» [О царском избрании, с. 66]. Вероятно, из-за близкого родства автор и не осмеливается открыто комментировать действия родителей государя, и прежде всего его

матери. Но яркое противопоставление поведения матери и сына, поддерживаемое приемом умолчания и обязательным рассказом о чувствах и желаниях/нежеланиях государя, свидетельствует о том, что интриги, кто бы ни был их организатором (родственники, ближние или дальние, царя, бояре, вельможи), осуждаются автором, поскольку в них он видит основную причину «зла» на Руси. Он же, будучи, видимо, представителем народа, как и все православные «народи» Московского государства, мечтает об установлении «покоя» и «тишины» как единственных условий нормального жизнестроения и жизнедеятельности государства.

Итак, повесть «О царском избрании на Московское государство» **—** это самостоятельный оригинальный текст, который не может рассматриваться как часть повести «О бедах и скорбех и напастех». Специфика названий повестей, аннотированная в них тематика и временные границы повествований, жанровая природа, а также характер используемых изобразительно-выразительных приемов свидетельствуют о том, что текст «О царском избрании на Московское государство» может и должен занять свое почетное место в ряду других памятников, посвященных событиям Смутного времени, поскольку он продолжает и развивает идеи, особо актуальные именно для этой литературы.

И в повести «О бедах и скорбех и напастех», и в повести «О царском избрании на Московское государство» отразилось «глубоко народное воззрение на ход политической жизни», которое, по мнению С.Ф. Платонова (писавшего цитируемые фрагменты в отношении первой повести), «отнимает» у них «значение исторического “источника”», но «сообщает» «историко-литературный интерес»[145]. Оба памятника являют собой любопытное с художественной точки зрение явление в цикле сочинений о Смутном времени. И если повесть «О бедах и скорбех и напастех…» интересна в первую очередь с точки зрения взаимодействия различных жанровых форм, свидетельствующих о творческом поиске новых путей рассказывания о необычных исторических событиях, то классическая историческая повесть «О царском избрании на Московское государство» поражает своей цельностью благодаря сквозному приему контраста, реализованному в тексте на разных уровнях. Что же касается странной истории этих повестей, то вполне вероятно, что яркая антибоярская направленность обоих текстов привела к тому, что они в какой-то момент стали восприниматься как один текст, оцененный в свое время М.Н. Тихомировым как «выдающееся произведение русской публицистики XVII в.»[146]

---

[145] *Платонов С.Ф.* Московское правительство при первых Романовых. СПб.: Сенат. тип., 1906. Из журн. Мин-ва народ. просв. за 1906 г. С. 23.

[146] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 19.

4. Политическая легенда в исторических повествованиях первой трети XVII в.[147]

В отечественной медиевистике неоднократно отмечалось, что словесное искусство Древней Руси не допускало литературного вымысла[148]. Вместе с тем средневековый историзм, проявляющийся прежде всего в том, что героями литературы XI–XVII вв. «являются преимущественно исторические личности»[149], носит весьма своеобразный характер, поскольку очень часто «в произведении самым причудливым образом переплетались два плана: реально-исторический и религиозно-фантастический»[150]. И если в древнерусской литературе старшего периода вымысел «проникает из фольклора или встречается в переводных произведениях»[151], то в XVI–XVII вв. появляется целый ряд произведений, написанных на вымышленные сюжеты или включающих подобного рода эпизоды. И в этом смысле развитие древнерусской литературы можно рассматривать как движение от факта к вымыслу.

В памятниках, посвященных событиям Смутного времени, в сжатом виде наблюдается именно эта тенденция. Литературу 1598–1612 гг. отличает злободневность, стремление зафиксировать факт, эмоцию, она содержит порой жесткие оценки исторических деятелей и страстные призывы. В исторических сочинениях, созданных после 1612 г., авторы старались осмыслить причины Смуты, дать обстоятельные биографические очерки, развернутое описание событий. Именно на этом этапе и появляются в отдельных памятниках эпизоды, в которых (правда, не всегда отчетливо) проступают контуры новой для цикла сочинений о Смуте литературной формы — политической легенды. Под политической легендой мы подразумеваем в данном случае легендарный политический эпизод со специфическим набором формальных признаков.

Легенда обнаруживается в трех памятниках: Хронографе второй редакции по списку Московской Синодальной библиотеки, опубликованному А. Поповым, «Повести о победах Московского государства» и псковской повести «О царском избрании на Московское государство», — но имеет разное художественное воплощение.

Самый ранний и самый лаконичный текст легенды о том, что последний из Рюриковичей царь Федор Иванович, не оставивший наследника по себе, передал жезл правления Романову, читается в Хронографе второй редакции: «Благословилъ же

---

[147] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* 1) Легендарный политический эпизод в «Повести о победах Московского государства» // Вестник Костромского государственного университета. 2019. Т. 25, № 2. С. 98–101; 2) Политическая легенда в исторических повествованиях первой рети XVII в. // Новый филологический вестник. 2019. № 4.

[148] См., например: *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 7.

[149] *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. С. 8.

[150] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 7.

[151] История русской литературы XI–XVII веков. С. 6.

приказалъ быти по себѣ на престолѣ Московского Государьства Рускія земли братаничю своему по матери Феодору Никитичю Романова, племяннику родному благовѣрныя царицы и великія княгини Анастасіи матери своея, обаче же кознію лукавою и предкновеніемъ Московского болярина и конюшего Бориса Годунова таковаго дара не сподобился еще же и злострадательствомъ злѣ пострада»[152] [Изборник, с. 188].

Легенда привязана к конкретному историческому времени. Ей предшествует краткая запись о смерти царя Федора Ивановича: «В лѣто 7106 Генваря въ 7 день угасе свѣща страны Рускія, померче свѣтъ православія, Государь царь и великій князь Ѳеодоръ Ивановичь всея Русіи самодержецъ пріемлетъ нашествіе облака смертнаго, оставляетъ царство временное и отходитъ въ жизнь вечную, былъ на господаръствѣ 13 лѣтъ и 7 мѣсяцей и 10 дней, отрасли же сродствія своего не оставилъ по себѣ, и тако Руськихъ царей родъ конецъ доздѣ ста» [Изборник, с. 88].

Форма представления легендарной информации напоминает своим лаконизмом летописные погодные записи, у которых, как отмечал И.П. Еремин, «своя особая сфера повествования: она регистрирует смерть того или иного князя, митрополита, игумена; рождение у князя сына или дочери, основание церкви, те или иные стихийные бедствия <…>»[153].

В приведенных выше фрагментах на первый взгляд мы имеем дело именно с такой «регистрацией» смерти и передачи власти родственнику. Запись носит строго документальный характер, отсюда и «характерная протокольность изложения, фактографичность». Само построение: сообщение о смерти царя/князя (называется точная дата — год события, день и месяц), обозначение времени правления (какое количество лет, месяцев, дней царствовал), имя того, кому передал власть или кто ее законно/незаконно унаследовал, — традиционно для Хронографа второй редакции.

Так, рассказывая о смерти царя Ивана Васильевича, составитель использует ту же самую схему: сообщение о смерти царя (называется точная дата — год события, день и месяц: «Въ лѣто 7092 марта въ 19 день» [Изборник, с. 185]), обозначение времени правления («былъ на царствѣ 49 лѣтъ» [Изборник, с. 185]), имя того, кто законно унаследовал власть («и по немъ сяде на престолъ Россійскаго царства благородный сынъ его государь, царь и великій князь Феодоръ Ивановичь» » [Изборник, с. 185]), наконец, упоминание о том, что Иван Васильевич перед смертью «приказалъ правити по себѣ» [Изборник, с. 185], т. е. передал власть.

---

[152] Хронограф второй редакции цит. по: *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей… Здесь и далее в квадратных скобках указывается издание [Изборник], по которому цитируется памятник, и страницы.

[153] *Еремин И.П.* Лекции по древней русской литературе. С. 52.

Аналогичным образом строится запись о смерти царя Бориса Годунова: «Въ лѣто 7112 государь царь в великій князь Борисъ Федоровичь всея Русіи Самодержецъ преставися Маія въ 13 день, во иноцѣхъ Боголѣпъ; 6ылъ на Московскимъ государьствѣ 7 лѣтъ и 6 мѣсяцъ, а всего поживе 53 лѣта, и по немъ сяде на государство Московское сынъ его Федоръ Борисовичь» [Изборник, с. 191]. Тот же принцип записи — в рассказе о смерти сына Бориса Годунова и воцарении Лжедмитрия I[154].

И даже рассказывая о событиях, далеких по времени от написания Хронографа, составитель частично воспроизводит эту же схему. В рассказе о восшествии на престол князя Ивана Васильевича составитель отмечает точную дату смерти великого князя Василия Васильевича (год события, день и месяц), а также называет имя того, кто законно унаследовал власть: «Въ 6970 преставися на Москвѣ князь великій Василій Васильевичь марта въ 28 день. <…> А во немъ сяде на великое княженіе болшій сынъ его князь Иванъ Васильевичь...» [Изборник, с. 168].

На основании вышеприведенных примеров можно с уверенностью утверждать, что текст рассматриваемой легенды тематически соответствует аналогичным записям, завершающим тот или иной рассказ о правлении князя/царя и, строго говоря, не может восприниматься как легендарный, ибо наделен всеми фактографическими качествами, что и другие фрагменты. Вместе с тем перед нами именно политическая легенда, если учесть как минимум два факта: время составления Хронографа второй редакции, а также отсутствие информации не только о передаче власти Романову, но и вообще о самом факте передачи власти царем Федором Ивановичем в цикле сочинений о Смутном времени. Исключение составляет «Повесть о житии царя Федора Ивановича» патриарха Иова, написанная между 1598 и 1605 гг.[155], в которой автор тоже сокрушается о том, что «по немъ царъского его корени благородных чад не остася», и потому он «по себѣ вручив скифетръ благозаконной супруге своей благоверной царице и великой княгинѣ Иринѣ Федоровне всеа Русии» [Повесть о житии, с. 118].

Сюжетно легенда практически не разработана в Хронографе второй редакции, но в ней обнаруживаются значимые компоненты:

1) мотив отсутствия прямого наследника престола: «отрасли же сродствія своего не оставилъ по себѣ» [Изборник, с. 188];
2) мотив называния имени преемника: «…приказалъ быти по себѣ… Феодору Никитичю Романова…» [Изборник, с. 188];
3) мотив родства, передачи власти дальнему родственнику вследствие отсутствия прямого наследника: «Благословилъ же *приказалъ быти* по себѣ на престолѣ

[154] См.: *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей… С. 191–192.
[155] Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков. С. 559.

Московского Государьства Рускія земли *братаничю своему по матери* Феодору Никитичю Романова, *племяннику родному* благовѣрныя царицы и великія княгини Анастасіи матери своея…» [Изборник, с. 188, курсив мой. — *О.Т.*];

4) оценочный мотив власти как дара: «таковаго дара не сподобился»;
5) мотив злого страдания вместо получения дара царского венца: «обаче же козниѭ лукавою и предкновеніемъ Московского болярина и конюшего Бориса Годунова таковаго дара не сподобился еще же и злострадательствомъ злѣ пострада» [Изборник, с. 188].

В легенде, приводимой в Хронографе второй редакции, практически отсутствуют какие-либо изобразительно-выразительные средства, за исключением книжного эпитета, которым составитель сопроводил имя княгини («благовѣрныя царицы и великія княгини Анастасіи матери своея»), а также традиционного для литературы о Смутном времени тавтологического выражения: «злострадательствомъ злѣ пострада» [Изборник, с. 188]. Обращает на себя внимание и отсутствие сакрального начала.

Перед нами — неразвитый сюжет, сведенный по типу изложения к традиционной летописной жанровой форме погодной записи, цель которой — зарегистрировать «определенный исторический факт, не входя в подробности»[156], а потому почти лишенный эмоциональности. Но факт этот носит легендарный характер, поскольку не встречается в более ранних текстах и имеет специфический набор структурных компонентов.

Таким образом, приведенный в Хронографе второй редакции текст, очевидно намеренно не выделенный составителем из ряда аналогичных фрагментов, излагает события маловероятные, но представлены они как действительный исторический факт. И потому все детали и мотивы выверены, легенда строго привязана к конкретным историческим лицам и времени, и «протокольная» фактографичность подчеркивает важность сообщаемой информации.

Несколько иначе представлена эта легенда в двух других памятниках — псковской повести «О царском избрании на Московское государство» и «Повести о победах Московского государства». В этих произведениях легендарный факт из Хронографа второй редакции о передаче престола Федору Никитичу Романову трансформируется в полноценные политические легенды об избрании на царство Михаила Федоровича Романова — сына Федора Никитича.

Наиболее близок к первоначальному варианту текст в псковской повести. Но, в отличие от Хронографа, автор художественно оформляет эту информацию не как исторический факт, а как пророческое предсказание: «Его же (т. е. Михаила Романова. — *О.Т.*) отцу Ѳеодору Никитичю братъ по матери блаженныя памяти царь Ѳеодоръ

[156] *Еремин И.П.* Лекции по древней русской литературе. С. 52.

Ивановичь якоже пророчествуя и провидя… <…>. Того же блаженнаго царя <…> Господь Богъ прослави <…> вдаде ему на исходъ души даръ пророчествія, иже и сбысться по пророчеству его…» [О царском избрании, с. 63].

Оно более развернуто в сюжетном плане, чем текст в Хронографе, но в целом столь же лаконично[157]. Здесь можно выделить аналогичные Хронографу значимые компоненты, хотя и в частично трансформированном виде:

1) царь Федор Иванович пророчествует «на исходъ души»; о его смерти прямо не упоминается, не сообщается точная дата, не обозначается, какое количество лет правил, но событие сравнительно точно исторически локализовано: упоминаются конкретные исторические лица в конкретной исторической ситуации;
2) мотив отсутствия прямого наследника престола: «видѣ бо себе единого послѣдняго сына царска роду скончевающася, а по немъ иного не остающася» [О царском избрании, с. 63];
3) мотив называния имени преемника; точнее, в тексте нет прямого именования, но есть указание на то, что «от сѣмени его (Федора Никитича. — *О.Т.*) воцаритися иматъ въ Руси на Московскомъ государствѣ» [О царском избрании, с. 63];
4) мотив родства, передачи власти дальнему родственнику: «Его же (т. е. Михаила Романова. — *О.Т.*) отцу Ѳеодору Никитичю *братъ по матери* блаженныя памяти царь Ѳеодоръ Ивановичь <…> вдаде ему жезлъ свой царъской…» [О царском избрании, с. 63]. Причем автор дважды на сравнительно небольшом отрезке упоминает о том, что царь Федор Иванович «вдаде» «жезлъ свой царъской», т. е. добровольно передал власть двоюродному брату.

Оценочные мотивы власти как дара и злого страдания вместо получения царского венца в тексте самой легенды отсутствуют. Имя Бориса Годунова не упоминается. Вместо этого — пророческое предвидение о том, что власть раба временна: «и раба своего видѣ возвысящася и воцарюющася, но на время се бысть» [О царском избрании, с. 63], а в дальнейшем — упоминание о возвращении патриарха Филарета (в миру — Федора Никитича Романова) из плена. И под «даром» в тексте понимается не власть, а способность человека прозревать будущее, дар предсказания. Для характеристики же власти автор использует традиционный библейский символ — «рогъ царства».

Если в Хронографе второй редакции легенда завершает рассказ о правлении царя Федора Ивановича, то в псковской повести она вписана в контекст рассказа об избрании на царство Михаила Федоровича Романова. Роль своеобразного зачина в легенде выполняет сообщение о том, что народ воспротивился желанию бояр и избрал на царство не иноверца, а «втораго Михаила». Столь же своеобразна и довольно пространная, по сравнению с

[157] См.: О царском избрании на Московское государство. С. 63.

текстом самой легенды, концовка: «…воздвиже Богъ паки преже падшее его царство, и обнови въ Росіи, и посади на престолѣ царя благочестива и благородна, великого князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи. Якоже древле Царьградъ очистися Михаиломъ царемъ отъ Латинъ, такоже и нынѣ въ Руси бысть: возвиже Богъ на царьство тезоименитаго Архистратига силы его Михаила, зѣло кроткаго, тихаго царя, Христова подражателя и дяди своего наслѣдника <…>, и далъ Богъ благодать и въ мирѣ тишину и благоденство <…>. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе его» [О царском избрании, 63].

В обрамлении к основному тексту легенды автор дает исторический контекст и проводит значимые параллели, играя именем Михаил. В результате получается любопытная триада, проливающая свет на авторское восприятие событий: храбрый князь Михаил Скопин-Шуйский, которого прочили царем Руси, — царь Михаил, очистивший Царьград (вероятнее всего, автор псковской повести имел в виду императора Никеи Михаила VIII (1261–1282) Палеолога, который летом 1261 г. отвоевал Константинополь (Царьград, как называли его на Руси) и благодаря этому смог восстановить, хотя и не полностью, Византийскую империю), — Архистратиг Михаил, глава святого воинства ангелов. В этом контексте становится понятна и завершающая концовку фраза: «…Богъ воздвиже рогъ спасенія людей своихъ мышцею своею, <…> Господь Богъ воскресилъ въ Руси паки отъ своихъ Рускихъ людей и отъ царска роду, и обновися имъ царство» [О царском избрании, с. 63]. В псковском варианте легенды, таким образом, особенно в обрамлении, большую роль играет сакральное, автор многократно подчеркивает участие Бога в возрождении Московского государства и избрании на престол Михаила Романова. Имя избранного народом царя вызывает положительные воспоминания о деятельности храброго Михаила Скопина-Шуйского, о восстановлении Византийской империи. Его родство с увядшей ветвью Рюриковичей, подчеркиваемое многочисленными эпитетами и прямыми сравнениями с царем Федором Ивановичем, освящает законность его власти и объясняет «тишину и благоденство», которое обрела Русь.

В целом, политическая легенда, впервые появившаяся в Хронографе как исторический факт, в псковской повести получает вполне определенную литературную форму, нашедшую выражение в композиции: зачин – собственно текст легенды, запечатленный в виде пророческого предсказания, – пространная концовка. В псковском тексте более развита система изобразительно-выразительных средств, представленная и эпитетами, и сравнениями. Огромную роль здесь, в отличие от Хронографа, играет сакральное, а именно хорошо развитый мотив Божьего участия в избрании на царство Михаила Романова, пронизывающий все три части легенды. Вместе с тем все ведущие мотивы, встречающиеся в Хронографе, воспроизводятся и в псковском варианте, хотя и в трансформированном виде. Поэтому мы можем, правда, весьма осторожно, говорить в

данном случае о том, что эти памятники зафиксировали разные стадии формирования необычной для исторических сочинений о Смуте литературной формы политической легенды.

Дальнейшее развитие этой «малой» формы отразила «Повесть о победах Московского государства»[158], сохранившаяся в единственном списке середины XVIII в. (ГПБ, Собрание М.П. Погодина, № 1501)[159]. Она весьма сильно отличается от других произведений, входящих в цикл сочинений о Смутном времени, не только своим названием, но и хронологическими рамками (памятник охватывает период 1606–1625 гг., начинается «рассказом о подавлении восстания И.И. Болотникова», а заканчивается повествованием о принесении «в Москву дара шаха Аббаса в 1625 г.»[160] Как и многие другие памятники первой трети XVII в., «Повесть…» отличается «сложной сюжетно-композиционной структурой»[161], в которой обнаруживаются различные стили: «неукрашенный» повествовательный, опирающийся на деловую письменность; стиль церковной книжности, нашедший проявление прежде всего в панегирических портретах идеализированных образов М.В. Скопина-Шуйского и Кузьмы Минина; стиль воинских повестей[162], а также различные литературные формы, такие как «самостоятельные завершенные рассказы» (например, рассказ о приходе под Москву М.В. Скопина-Шуйского в 1610 г., рассказ о приходе под Москву Лжедмитрия II и др.)[163], воинская повесть, плачи, сказание о даре и др.

Среди этих традиционных литературных форм несколько особняком стоят эпизоды, представляющие собой легендарные политические предсказания. Таковых в «Повести…» два: предсказание о будущем воцарении Михаила Романова и предсказание о будущей судьбе Филарета.

В «Повести о победах Московского государства» легенда о будущем воцарении Михаила Романова, как и в псковской повести, имеет трехчастную структуру:

– зачин с доминантным мотивом Божьего участия в избрании на царство Михаила Романова («И божиею милостью, помощию пречистыя Богородицы и заступлением московских чудотворцев изобрал господь бог государя царя и великаго князя Михаила

---

[158] Повесть о победах Московского государства. Л.: Наука, 1982. 166 с. Далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[159] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 96.

[160] Там же.

[161] *Енин Г.П.* Повесть о победах Московского государства // Повесть о победах Московского государства // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 165.

[162] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 127.

[163] Там же. С. 123.

Феодоровича всеа России на Московское государство февраля в 22 день» [Повесть о победах, с. 35];

– собственно текст легенды (пророческого предвидения);

– пространная концовка, содержащая рассказ о поведении самого избранного и народа в связи с его воцарением, характеристику молодого царя.

Сакральная тема в «Повести о победах…» ослаблена, мотив Божьего участия появляется только в зачине (в концовке используется один эпитет — «богоизбранный») и довольно быстро сменяется мотивом родства Михаила Романова с Рюриковичами, пронизывающим все три части. Так, в зачине автор повести пишет о том, что «всем государством» просили «у матери его, инокини Марфы Ивановны», чтобы он «сел бы на престол деда своего, блаженныя памяти государя царя и великаго князя Иоанна Василиевича, и дяди своего, царя и великаго князя Феодора Иоанновича, <…> понеже он, государь, ближняго корени царска и ближний сродник царю Феодору Иоанновичю…» [Повесть о победах, с. 35]. В тексте самой легенды упоминается, что царь Федор Иванович передает царство «своему ближнему сроднику» [Повесть о победах, с. 36]. В концовке автор снова акцентирует внимание на том, что избранный царь «ближняго сродника блаженной памяти государю царю и великому князю Иоанну Васильевичу и сыну его, царю и великому князю Феодору Ивановичу всея России…» [Повесть о победах, с. 36].

В концовке легенды в «Повести о победах…», как и в концовке псковского варианта, звучит мотив радости людей по поводу избрания Михаила Романова. В псковской повести он представлен довольно скупо, а в «Повести о победах…» более развернут: «О се бо государе вси людие возрадовашася <…> яко некое безценное сокровище от многих лет обретоша и всю печать свою, и скорбь, и многое разорение забывающе…» [Повесть о победах, с. 36].

Текст собственно легенды имеет внутреннюю драматургию. Здесь смешиваются принципы рассказывания Хронографа и псковского автора, и вместе с тем наблюдается и нечто новое, что не встречалось в двух предыдущих вариантах. Автор называет точную дату — год — события: «Во 106 (1598) году тогда той благочестивый государь издалеча провиде духом от бога избраннаго сего благочестиваго царя, еще тогда сущу ему быти по младенчестве…» [Повесть о победах, с. 35]. И, судя по финальной фразе, завершающей собственно текст легенды, царь Федор Иванович пророчествует незадолго до смерти. Однако если в Хронографе второй редакции и в псковской повести царь Федор Иванович передавал так или иначе престол Федору Никитичу Романову, то в «Повести о победах…» он велит «пред себя принести богоизбраннаго сего царя и великаго князя Михаила Феодоровича» [Повесть о победах, с. 35]. И далее автор рисует весьма пафосную сцену: царь Михаил Федорович «возложив руце свои на него и рече: “Сей есть наследник царскаго

корени нашего, о сем бо царство Московское утвердиться, и непоколебимо будет, и многою славою прославится. Сему бо предаю царство и величество свое по своем исходе, своему ближнему сроднику". Сие слово тайно рек и отпусти его» [Повесть о победах, с. 36]. Пророческое предсказание облекается в форму монолога царя, но в этой речи и в авторских комментариях, обрамляющих ее, сохраняются знакомые по двум другим текстам мотивы: мотив пророческого предсказания в преддверии смерти, мотив называния имени преемника, мотив родства, передачи власти дальнему родственнику. Сохраняется и мотив страдания, но в обобщенном, неконкретном виде, упоминается имя Бориса Годунова, в царствование которого и начинаются многие беды; из контекста не совсем понятно, кто принимает страдания, предположительно автор имел в виду избранного еще во младенчестве Михаила Романова, хотя прямо об этом не говорится.

Легенда в «Повести о победах…» столь же бедна изобразительно-выразительными средствами, как и два другие варианта. Автор использует в качестве постоянного эпитета, тесно слитого с именами царей Федора Ивановича и Михаила Федоровича Романова, эпитет «благочестивый» (дважды по отношению к Федору Ивановичу и дважды по отношению к Михаилу Романову), кроме того, в разных вариациях по отношению к Михаилу Федоровичу применяется эпитет «богоизбранный».

Г.П. Енин, открывший «Повесть о победах Московского государства», анализируя источники, которые мог использовать в работе над своим сочинением автор, одним из первых обратил внимание на легенду, поскольку она неизвестна была по другим сочинениям о Смуте. Он писал, что легенда, «посвященная Михаилу Романову, исправляет другую легенду о передаче престола Федором Ивановичем боярину Федору Никитичу, отцу Михаила Романова, содержащуюся в мемуарах Конрада Буссова и в Хронографе редакции 1617 г.»[164] Нам представляется сомнительным утверждение об исправлении легенды.

Во-первых, легенда о передаче скипетра Федору Никитичу в изложении Конрада Буссова, в отличие от русских вариантов, носит явно травестийный характер, да и весьма сильно отличается по содержанию. Согласно «Московской хронике», царица Ирина Федоровна обратилась с просьбой к смертельно больному супругу передать скипетр ее брату. «Но царь, — пишет далее К. Буссов, — этого не сделал, а протянул скипетр старшему из четырех братьев Никитичей, Федору Никитичу, поскольку тот был ближе всех к трону и скипетру. Но Федор Никитич его не взял, а предложил своему брату Александру. Тот предложил его третьему брату, Ивану, а этот — четвертому брату, Михаилу, Михаил же — другому знатному князю и вельможе, и никто не захотел прежде другого взять

[164] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 115.

скипетр, хотя каждый был не прочь сделать это <…>. А так как уже умиравшему царю надоело ждать вручения царского скипетра, то он сказал: “Ну, кто хочет, тот пусть и берет скипетр, а мне невмоготу больше держать его”. Тогда правитель (так К. Буссов называет Бориса Годунова. — *О.Т.*) <…> протянул руку и через голову Никитичей и других важных персон, столь долго заставлявших упрашивать себя, схватил его»[165]. С легендой из Хронографа второй редакции этот текст сближают только имена: в «Московской хронике» царь «протягивает скипетр» Федору Никитичу Романову, а в Хронографе он «приказалъ быти по себѣ» ему. Но на этом сходства и заканчиваются.

Во-вторых, сопоставление трех русских вариантов легенды о передаче власти/пророческом предсказании приводит к выводу о том, что русский вариант в трех разных памятниках имеет самостоятельное, и вполне вероятно более позднее, происхождение и никоим образом по содержанию и стилистике не связан с легендой, излагаемой К. Буссовым. Более того, все три варианта в древнерусских исторических сочинениях при некоторой разнице художественного воплощения пронизывают сходные мотивы, следовательно, они, скорее всего, имели один и тот же, к сожалению, не обнаруженный пока устный источник.

Трудно не согласиться с Г.П. Ениным в том, что в основе легенды (добавим, во всех трех вариантах) лежит цель «доказать законность его избрания царем»[166]. Этой цели не было у К. Буссова, который довольно часто в разных фрагментах своей книги иронично-презрительно описывал наблюдаемые в Московском государстве события. Поэтому, на наш взгляд, неверно утверждать, что в «Повести о победах…» содержится исправленный вариант легенды, очевидно, что перед нами — оригинальные тексты, имевшие один источник.

Таким образом, рассмотренные варианты политической легенды демонстрируют два процесса: в Хронографе второй редакции легенда оформляется в виде исторического факта по аналогии с другими записями о передаче власти в связи с приближением смерти царя, в псковской повести «О царском избрании на Московское государство» и в «Повести о победах Московского государства» легенда, как новая для сочинений о Смуте «малая» литературная форма, обретает законченный вид и развивает заложенные еще в Хронографе ведущие мотивы. Чем более времени проходит с момента воцарения Михаила Федоровича Романова, тем более совершенную художественную форму обретает легенда и тем «большим разнообразием и большей смелостью в обновлении традиций»[167] отличаются варианты. Несомненно одно: данная литературная форма восходит к древнерусской

---

[165] *Буссов К.* Московская хроника. С. 13.

[166] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 116.

[167] *Демин А.С.* Древнерусская литература как литература... С. 125.

традиции «предсказания судьбы человека с целью объяснить события божественной предопределенностью»[168], но имеет свой композиционный и тематический канон, обусловленный конкретным политическим заказом — необходимостью обосновать разными способами законность власти Михаила Федоровича Романова.

В «Повести о победах Московского государства» включено и другое легендарное политическое предсказание — о будущей судьбе Филарета. Суть его состоит в том, что патриарх Гермоген «на исходе» жизни тайно нарек патриархом всея Руси ростовского митрополита Филарета Никитича (в миру — Федора Никитича Романова): «Призвав же к себе святителя честна, праведна и свята, ростовскаго митрополита Филарета Никитича, и благославляет его по своем исходе на свой святителский престол, и тайно нарекает его, по отшествии своим, патриархом, и исповедает ему вся будущая, прозряше бо еще издалеча сий великий святителие и духом святым прозреша лесть и лукавство полскаго короля Жигимонта и его королевских людей к православным христианом» [Повесть о победах, с. 24].

В этом пророческом предсказании обращают на себя внимание два момента. Во-первых, это предсказание касается судьбы Филарета. В нем содержится положительная характеристика будущего патриарха: «святителя честна, праведна и свята» [Повесть о победах, с. 24], — каждый элемент которой будет развит в дальнейшем. Практически сразу за легендарным предсказанием автор «Повести…» помещает рассказ о посольстве митрополита Филарета Никитича под Смоленск в 1610 г. к польскому «королю Жигимонту и к сыну его Владиславу» [Повесть о победах, с. 24], цель которого состояла в том, чтобы «просить королевича» на царство. Далее повествование строится на яркой антитезе: «Послы же просиша Владислава, сына его (польского короля. — *О.Т.*), на царство Московское» [Повесть о победах, с. 25], а митрополит Филарет «исповеда пред ним (польским королем. — *О.Т.*) православную христианскую веру и их латынство изобличил хотяше крестити королевича против их крестнова целования и видети их безмерную веру и правду» [Повесть о победах, с. 24–25]. Действия и слова митрополита Филарета расходятся со словами других послов: они «просиша», а он «изобличил». В результате «полски король Жигимонт, от его святителския проповеди посрамлен бысть и не возможе противу богомудрых его словес отвещати…» [Повесть о победах, с. 24–25]. По сути, данный фрагмент иллюстрирует эпитеты, при помощи которых был охарактеризован митрополит Филарет в предсказании. По мнению Г.П. Енина, помещая легенду перед рассказом о

[168] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 116.

посольстве к польскому королю, автор «подчеркивает таким образом значительность личности Филарета, которому он дает панегирическую характеристику»[169].

Второй момент в предсказании связан с грядущими деяниями польского короля, его «лестью и лукавством». Он тоже находит продолжение в последующем рассказе о посольстве и его результатах[170]. Польский король, разраженный тем, что был «посрамлен» «богомудрыми словесами» митрополита Филарета, «от многаго своего срама ярости и дмения наполнися, и забыв свое крестное целование, и не даде крестити сына своего, и многую свою неправду яви Московскому государству против крестнаго целования: королевича не крестил и на царство его не дал, и против своего договору в правде не устоял, и многую лесть и злобу явил» [Повесть о победах, с. 25]. Более того, польский король, согласно тексту, «повеле суды… преизготовити» и отправил «вниз по Днепру», в Литву, сначала царя Василия Шуйского, а следом за ним и митрополита Филарета. То есть косвенным образом автор подчеркивает знакомый и по другим поздним сочинениям о Смуте мотив страдания за веру, правду и Московское государство, который является своеобразным знаком отличия «прямых» от «кривых». Завершая рассказ об отправке в плен митрополита, автор «Повести…» снова подчеркивает его праведность: «Он же, государь, яко чадолюбивый отец, всех благословляше и прощаше, со слезами в вере утвержая их, дабы в вере христианстей непоколебимы были» [Повесть о победах, с. 25].

Величие митрополита подчеркивается в памятнике и при помощи пространной титулатуры. Так, в «Повести…» автор постоянно пишет: «Пойде же велики господин и государь, преосвященный митрополит Филарет Никитич Ростовский…» [Повесть о победах, с. 24], «Пришед великий господин и государь к полскому королю…» [Повесть о победах, с. 24], «По сем же великаго господина, святителя Филарета Никитича, митрополита Ростовскаго, ведяше» [Повесть о победах, с. 25], «велики святитель» [Повесть о победах, с. 25]. Аналогичным образом в обрамляющих текст предсказания фрагментах именуется и патриарх Гермоген. Русские люди, узнав о том, что бояре хотят просить на царство королевича, отвечали, что спросят об этом «великаго господина святейшаго Иермогена, патриярха Московскаго всея России, он бо есть великий святитель праведен и свят…» [Повесть о победах, с. 23]. В рассказе о совете автор пишет: «Великому же господину святейшему патриарху… великий святитель…» [Повесть о победах, с. 24]. Само предсказание начинается словами: «Святейший же патриарх Иермоген…» [Повесть о победах, с. 24]. С одной стороны, перед нами типичная титулатура священнослужителей, с другой — сходство упоминаемой титулатуры патриарха и митрополита в «Повести…»

[169] Там же.
[170] См. подробнее: *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. IV, т. 7–8. С. 587–600.

имеет, очевидно, вполне конкретную цель — «доказать правомерность и даже необходимость принятия Филаретом высшего духовного звания»[171].

Любопытно, что автор «Повести…» приводит предсказание о судьбе Филарета дважды в тексте. Второй раз оно включается в повествование после рассказа об избрании на царство Михаила Федоровича Романова и возвращении из плена его отца — митрополита Филарета Никитича, который «приял патриаршеский престол» [Повесть о победах, с. 39]: «Он же, великий государь и святитель, не презрев многаго моления освященного собора и всего христианскаго народа, воспоминая прежнее к нему благословение Иермогена, патриарха Московскаго и всея России. Он бо, великий господин, святейший Иермоген, патриарх, прежде отшествия своего к богу, великому государю, святителю Филарету Никитичу, патриаршеский престол дале, и, по отшествии своем к богу, его, государя, патриархом нарече, и на своем престоле быти благослови великому господишу и государю, святейшему патриарху Филарету Никитичу Московскому и всея России, издалеча бо прежде провиде и духом святым прорече великаго господина и государя, святейшего Филарета Никитича, по себе на патриаршеский престол благослови» [Повесть о победах, с. 39–40].

Здесь полностью повторяются важнейшие элементы:

1) пространная одинаковая титулатура, с той лишь разницей, что она приводится многократно;
2) судьбу митрополита Филарета патриарх Гермоген «издалеча бо прежде провиде» [Повесть о победах, с. 39] (ср. в первом варианте: «прозряше бо еще издалеча» [Повесть о победах, с. 24]);
3) тайное действо происходит незадолго до смерти патриарха Гермогена: «прежде отшествия своего к богу» [Повесть о победах, с. 39] – «благославляет его по своем исходе» [Повесть о победах, с. 24];
4) патриарший престол передается добровольно: «патриаршеский престол даде, и, по отшествии своем к богу, его, государя, патриархом нарече, и на своем престоле быти благослови <…> по себе на патриаршеский престол благослови» [Повесть о победах, с. 39] – «тайно нарекает его, по отшествии своим, патриархом» [Повесть о победах, с. 24].

Последнее оказывается настолько значимым в представлении автора, что, завершив собственно рассказ о предсказании, он снова повторяет: «Великий же господин, государь, святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России, по благословению великаго господина, святейшаго Иермогена, патриарха, и по изобранию освященнаго

[171] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 116.

собора и всего народа, восприя от бога данную ему паству, и сяде на патриаршеский престол в царствующем граде Москве того же году июля 24 дня, и нача пасти церковь божию со многим благочестием, утверждающи православную христианскую веру и людей ко благочестию наставляющи и поучающе божественным писанием сияние» [Повесть о победах, с. 40]. Фрагмент сообщает о том, что предсказание сбылось, Филарет Никитич «сяде» на патриарший престол, но не по собственной воле, а потому, что его благословил на это патриарх Гермоген и он был избран «освященным» собором. Идея законности наследования престола, не только царского, но и патриаршего, является одной из главнейших как в публицистике Смутного времени 1598–1612 гг., так и в более поздних исторических сочинениях об этом периоде, созданных в 1613–1630/1632 гг.

Заданные в первом рассказе о предсказании важнейшие мотивы повторяются и здесь. Прежде всего, это мотив праведности Филарета Никитича, его безупречного с точки зрения служения православной вере поведения. Как и в первый раз, автор после текста предсказания подчеркивает стремление вновь избранного патриарха обличать ересь и «утвержать» в православной вере паству: «Сей бо велики господин и государь, святейший Филарет Никитич, патриарх Московский и всея России, пребыв в Полше во многом утеснении, много равно апостолом уподобяся, и, яко столп непоколебимый, исповедуя православную христианскую веру, и у иноверных многия неподобныя их веры провидев, и злую ересь их изобличи, и на обличение ересь их книги устроив, и обличающи их козни, и твердо подътверждающи православную христианскую веру, и от соборныя и апостолския церкви всяку ересь отгоняющи, яко добр воин Христов, восприя пастыря добраго Христова стада словесных овец» [Повесть о победах, с. 40]. (Ср. в первом рассказе: «Он же, государь, яко чадолюбивый отец, всех благословляше и прощаше, со слезами в вере утвержая их, дабы в вере христианстей непоколебимы были» [Повесть о победах, с. 25]).

Звучит здесь и мотив страдания за веру, правду и Московское государство: «пребыв в Полше во многом утеснении, много равно апостолом уподобяся» [Повесть о победах, с. 40].

Любопытно, что в этом смысле «Повесть о победах…» близка «Рукописи Филарета» — памятнику, дошедшему до нас тоже в единственном списке (ЦГАДА, Древлехранилище, ф. 135, отд. V, руб. 11, ед. хр. 23), созданному в середине 1620-х гг., охватывающему период «от начала правления Василия Шуйского до воцарения Михаила Федоровича»[172] и носящему официальный характер. В частности, в этом произведении, в рассказах об избрании на царство, подчеркивается, что избранный должен был пострадать за народ. Так, согласно тексту, Василий Иванович Шуйский сам «до смерти мало не пострада отъ

[172] *Зиборов В.К.* Рукопись Филарета // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 318.

плотояднаго того медвѣдя (имеется в виду Лжедмитрий I. — *О.Т.*), и за избавленіе Росіискаго народа живота своего не пощадѣ…»[173] [Рукопись Филарета, с. 3]. В рассказе об избрании Михаила Романова тоже звучит мотив страдания, но не самого молодого царя, а его отца, Федора Никитича Романова, который «много пострада отъ царя Бориса и заточенъ бысть, тамо жъ и облеченъ во мнишескій образъ» [Рукопись Филарета, с. 67–68].

Очевидно, в середине 1620-х гг. начинает складываться новый взгляд на события Смуты, поразившей русское общество явлением самозванчества. А.М. Панченко, рассматривавший специфику русской культуры в канун петровских реформ, отмечал, что «в отличие от Западной Европы русские источники до начала XVII в. не знают ни одного самозванца, хотя в историческом бытии ситуации, “предрасполагавшие” к самозванству, возникали многократно»[174]. В начале XVII столетия появляются, согласно классификации ученого, два типа самозванцев: «тип нарушителя канонов»[175], каковым был, например, Лжедмитрий I, который «демонстративно нарушал царский и православный этикет, т. е. вел себя как реформатор»[176], и «тип народного, точнее крестьянского “царя-батюшки”», сценарий поведения которого определяется «легендой о “возвращающемся избавителе”» и «русской концепцией “истинного царя”»[177]. В памятниках, посвященных Смутному времени, обнаруживается своя «система общих мест», «типичных объяснений и мотивов», к каковым, например, относится «утверждение роковой вины Бориса Годунова» или «инфернальные мотивы» в характеристике Лжедмитрия I[178]. «К объяснению династической катастрофы конца XVI в., — по мнению А.В. Каравашкина, — была привлечена традиционная конвенциональная модель, известная древнерусской книжности еще со времен формирования комплекса текстов о князьях-страстотепцах Борисе и Глебе…»[179]. Возвращение же к «нормальному» течению событий предполагало соблюдение законов, в том числе и соблюдение принципа законного наследования престола, и царского, и патриаршего.

В этой связи, на наш взгляд, становится понятно, почему именно в поздних сочинениях о Смуте появляются легендарные политические эпизоды, имеющие важное идеологическое значение — «доказать законность»[180] избрания Михаила Романова царем, а Филарета Никитича — патриархом. Легендарное обоснование передачи власти (царской,

---

[173] Рукопись Филарета, патриарха Московского и всея Руси. М.: В тип. Лазаревых Ин-та восточных языков, 1837. [2], X, 79 с., 6 л. ил. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[174] *Панченко А.М.* Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. Работы разных лет. СПб.: ЗАО «Журнал “Звезда”», 2008. С. 95.

[175] Там же. С. 96.

[176] Там же.

[177] Там же. С. 98.

[178] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 579–586.

[179] Там же. С. 581.

[180] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 116.

патриаршей), личные заслуги (страдание за народ и Московское государство, достойное поведение, служение православной вере и др.) восстанавливают принцип законности, нарушенный в эпоху Смутного времени. И лучшей литературной формы для создания новой, политически маркированной идеологии обоснования законности власти молодого царя и патриарха трудно, наверное, было придумать. Нельзя сказать, что эта форма встречается во многих памятниках Смуты. Нам удалось обнаружить ее черты только в трех текстах: «Повести о победах Московского государства», Хронографе второй редакции и в псковской повести «О царском избрании на Московское государство», в двух последних приводится только легенда об избрании Михаила Романова. Но сама тенденция использовать в целях политической пропаганды форму легендарного предсказания свидетельствует о своего рода литературном поиске новых методов и средств воздействия на читателя. Добиваясь определенного общественного эмоционального резонанса, безоговорочной веры в законность власти патриарха и молодого царя во имя порядка в стране, книжники апеллировали к древнейшим приемам «предсказания судьбы человека с целью объяснить события божественной предопределенностью»[181], но облекали их в новую литературную форму, обладающую рядом новых формальных признаков.

5. Рассказы об избрании на царство в «Рукописи Филарета» как важная церемония[182]

«Рукопись Филарета» охватывает «промежуток времени от начала правления царя Василия Шуйского до воцарения *Михаила Феодоровича* (1606–1613 гг.)»[183] Полное название памятника, переданного Президентом Общества Истории и Древностей Российских А.Ф. Малиновским для опубликования бывшему председателю археографической комиссии П.А. Муханову, — «Повѣсть о бывшихъ в Россіи послѣ кончины царя Бориса Годунова до избранія Государя Царя Михаила Ѳеодоровича замѣшательствахъ и бѣдствіяхъ, сочиненная (витіевато) при Патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его рукою (уповательно) исправленная» [Рукопись Филарета, с. i]. В Примечаниях к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин дал сокращенное

[181] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 116.

[182] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Специфика рассказов об избрании на царство в «Рукописи Филарета» // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2019. № 2 (20). 0,4 п.л. URL: http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1503633

[183] *Зиборов В.К.* Рукопись Филарета. С. 318.

название — «Рукопись Филарета», которое закрепилось в отечественной медиевистике за этим произведением[184].

С момента опубликования рукописи не прекращаются попытки установить точную датировку и определить степень ее самостоятельности и оригинальности. А.А. Кондратьев полагал, что она написана между 1630 и 1633 гг.[185], С.Ф. Платонов раздвигает хронологические рамки периода, когда мог быть создан этот текст, называя в качестве таких граней промежуток времени с 1626 г., когда «была составлена Повесть Катырева, легшая в основание Рукописи», по 1633 г., ибо в самом тексте содержится указание на то, что он составлен «в патриаршество Филарета Никитича, стало быть, не позже 1633 г.»[186] По мнению Л.Е. Морозовой, работа над текстом рукописи «велась в Посольском приказе под руководством патриарха Филарета» в 1626 г.[187]

Расходится мнение исследователей и в определении функции этого памятника в общем массиве текстов, посвященных событиям Смутного времени. Так, А.А. Кондратьев пришел к выводу, что «Рукопись эта есть официальная летопись, составленная в патриаршество Филарета Никитича»[188]. Его точку зрения поддержали С.Ф. Платонов, подтвердивший, что «Рукопись Филарета есть памятник официального происхождения»[189], и Л.Е. Морозова, на основе изучения «особенностей рукописи» пришедшая к заключению, что данный текст можно «считать одним из первых официальных произведений о Смуте, созданных в середине 20-х гг. XVII в.»[190] Несколько иной точки зрения придерживались Е.Н. Кушева[191] и Л.В. Черепнин, полагавшие, что памятник был «одним из черновых проектов задуманного в конце 20-х годов XVII в. при патриаршем дворе официального “Летописца” (будущего “Нового летописца”)»[192].

Исходя из того, что в «средневековом обществе не существовало понятия авторского права» и переписчики «зачастую выступали в роли редакторов и соавторов», изменяя порой «идейную направленность» произведения, его стиль[193], и признавая, что «Рукопись Филарета» носит компилятивный характер и имеет целый ряд совпадений с «Повестью

---

[184] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов: в 3 кн. Изд. 5-е. М., 1988. Кн. 3. Т. IX, X, XI, XII. Примечания к XII т. № 10, 23, 25, 27, 28, с. 7–12.

[185] *Кондратьев А.* О так называемой Рукописи Филарета // Журнал Министерства народного просвещения. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1878. Ч. CXCIX. С. 83.

[186] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 401.

[187] *Морозова Л. Е.* Смута начала XVII века глазами современников. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2000. С. 261, 245.

[188] *Кондратьев А.* О так называемой Рукописи Филарета. С. 82.

[189] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 396.

[190] *Морозова Л.Е.* Смута начала XVII века глазами современников. С. 261.

[191] *Кушева Е.Н.* Из истории публицистики Смутного времени XVII века. С. 65–70.

[192] *Черепнин Л.В.* «Смута» и историография XVII века... С. 101.

[193] *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. С. 6.

книги сея…» И.М. Катырева-Ростовского[194], мы рассматриваем данный памятник как самостоятельное целое, имеющее свои художественные особенности.

Специфика описанных в рукописи событий предопределила и особенности жанровой формы. С точки зрения композиции перед нами компилятивное составное произведение, «тяготеющее к хроникальному сюжету», в котором «ход времени организует повествование»[195], что в целом соответствует древнерусской традиции составления летописных сводов. С другой стороны, в памятнике нашли отражение «новые моменты», проявившиеся в «тенденциозном подходе к описанию событий», «отборе обобщенных и кажущихся ему (автору. – *О.Т.*) закономерных явлений»[196], а также в выборе жанровых форм для их представления.

В памятнике отчетливо можно выделить несколько жанровых форм: рассказы об избрании на царство, рассказы об убийствах, плачи, воинские повести, чудеса, речи. В большинстве из них традиционные элементы переплетаются с новаторскими, в ряде случаев мы очень условно можем говорить, что перед нами фрагмент, соответствующий определенному жанровому канону.

В «Рукопись Филарета» включены два рассказа об избрании на царство. Первый читается в начале текста и посвящен избранию царем всея Руси Василия Ивановича Шуйского (далее — эпизод 1). Второй завершает «историю» и посвящен избранию на царство Михаила Федоровича Романова (далее — эпизод 2). Оба рассказа имеют сходную, но не тождественную структуру, наводящую на мысль о том, что эти два события превращаются в тексте в две уникальные церемонии, возможные только в эпоху Смутного времени. Не случайно в обоих случаях, но по-разному в тексте памятника сообщается об «очищении» царского престола, которое предшествует церемонии избрания. Так, начало церемонии избрания В.И. Шуйского приходится, согласно тексту, на «четвертый же день по убіенію отступника отъ православія, (нового Лютаря) еретика многосквернаго Гриши Отрепьева», когда «великій престолъ Росіскаго царъствія Богъ очисти» [Рукопись Филарета, с. 1]. Церемония избрания М.Ф. Романова состоялась сразу после освобождения Москвы и бегства из страны «безбожны король» [Рукопись Филарета, с. 66].

Обе церемонии начинаются с того, что собирается некое множество людей, облаченных в той или иной степени властью, и решает разослать грамоты во все города Московского государства.

---

[194] См. подробнее: *Кондратьев А.* О так называемой Рукописи Филарета. С. 82; *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 399–401; *Морозова Л.Е.* Смута начала XVII века глазами современников. С. 243–245, 260–261.

[195] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 55.

[196] Там же.

Эпизод 1	Эпизод 2
«…пріидоша на крайнево мѣсто, глаголаше лобное, весь синклитъ царьскаго величества, митрополити и архіепискупы и епискупы и архимориты и игумены и всякихъ чиновъ люди Московского государства, и собрашась весь народъ отъ мала жъ и даже и до велика и нача глаголати о томъ, дабы разослаша грамоты во всѣ окрестныя грады Московскаго государъствія…» [Рукопись Филарета, с. 1–2].	«Посемъ же повелѣваютъ начальницы и властели во всѣ грады Московского царьства посылати писаніе…» [Рукопись Филарета, с. 67].

В обоих случаях кратко и четко сообщается цель — сбор людей для избрания царя.

Эпизод 1	Эпизод 2
«…чтобы изо всѣхъ градовъ съѣзжалися въ царьствующій градъ Москву вси народи для ради царьсково обиранія и да быша избрали въ соборную апостольскую церковь патріарха…» [Рукопись Филарета, с. 2].	«…дабы людіе снимались въ царьствующій градъ Москву, о избраніи царьскомъ» [Рукопись Филарета, с. 67].

При всем сходстве этого этапа церемонии в тексте наблюдается и существенное различие, обусловленное, скорее всего, тем, кто стоял у истоков церемонии. Если инициаторами рассылки «писаний» по окончании Смуты выступают исключительно люди светские — «начальницы и властели», — то зачинателями церемонии по смерти Г. Отрепьева являются не только светские, но и церковные деятели, причем должности последних автор довольно скрупулезно перечисляет. Соответственно, и цели изначально разнятся: в первом случае собираются для избрания патриарха, во втором — для избрания царя. Однако первоначальную цель царского синклита и духовных лиц меняет народ, «отвѣщаху: яко напреди да избирется самодержавный царь <…> и той убо да изведетъ патріарха пастыря Богомъ снабдимой церъкви» [Рукопись Филарета, с. 2]. Слово народа «угодно бысть» оказалось и светской, и духовной власти, и целью рассылки грамот стало избрание царя всем миром.

Далее в обоих эпизодах рассказывается о выборе царя. В первом эпизоде имя претендента названо было практически мгновенно: «…бысть благородный князь Василей Ивановичь Шуйской <…> да врученно будетъ ему царъствія Росіискаго скипетродержанія» [Рукопись Филарета, с. 3]. Во втором эпизоде рассказ об этом этапе церемонии более пространный и сам выбор характеризуется как довольно продолжительный по времени. Автор сообщает о сборе людей из всех городов и совете между ними (попутно отметим, что в первом эпизоде выпущена информация о прибытии в Москву представителей всех городов Московского царства): «Въ малѣ жъ времяни собрашась людіе отъ всѣхъ градовъ въ царьствующій градъ Москву, и ту совѣтуютъ, да изберетца царь на царьство. И тако *по многи дни* (курсив наш. — *О.Т.*) бысть собраніе людемъ, дѣлажъ толикія вещи утвердити не возмогутъ. Во единый жъ день снидошася вси людіе въ сонмъ едину по обычаю своему, и начаша совѣтовати, и завѣщаніе полагаютъ: но да неотступимъ отъ мѣста сего прежъ дажъ не изберетца царь Московскому царьству. И помышляше людіе на долгъ часъ, и посемъ отверзаютъ уста своя единогласно вси народи вопіяху, да помажутъ на царьство царя Михаила…» [Рукопись Филарета, с. 67]. В обоих эпизодах автор многократно акцентирует внимание на том, что избрание царей происходит «единогласно», а сами выборы осуществляются «всеми людьми» из «всех градов» Московского государства.

Обязательным элементом в обоих фрагментах становится и обоснование выбора, представляющее собой, по сути, перечень положительных качеств и свойств, которыми должен обладать избранный на царство. В обоих эпизодах автор упоминает о благородном происхождении избранных, их прямом отношении к прежнему «корени царьскому»:

Эпизод 1	**Эпизод 2**
«…еще же и отрасль благороднаго корени царьскаго изчадія великихъ государей Росіискихъ…» [Рукопись Филарета, с. 3].	«…да помажутъ на царьство царя Михаила, прежъ бывшаго великого болярина сынъ Ѳедора Никитича Романова. Той жъ великій боляринъ Ѳедоръ Никитичь единокровенъ бысть, прежъ бывшему великому государю, царю и великому князю Ѳедору Ивановичю всеа Русіи…» [Рукопись Филарета, с. 67].

В обоих фрагментах подчеркивается, что избранный на царство должен был пострадать, и пострадал, за народ. Но если Василий Иванович Шуйский, согласно тексту, сам «до смерти мало не пострада отъ плотояднаго того медвѣдя, и за избавленіе Росіискаго народа живота своего не пощадѣ…» [Рукопись Филарета, с. 3], то во втором эпизоде автор

пишет о том, что не сам царь Михаил, а его отец, Федор Никитич Романов, «по успеніи его (царя Федора Ивановича. — *О.Т.*) много пострада отъ царя Бориса и заточенъ бысть, тамо жъ и облеченъ во мнишескій образъ» [Рукопись Филарета, с. 67–68]. Очевидно, по мнению автора, в эпоху «нестроений», каких ранее не ведала Русь, царского престола по-настоящему достоин только тот, кто готов не щадить живота своего во имя народа. Царь Михаил — «юноша зѣло младъ бысть въ тыя дни» и, соответственно, не мог принимать участия в событиях Смуты, поэтому автор пишет не о его страданиях за народ, а о том, что претерпел его отец, а значит, и вся его семья и сам будущий царь всея Руси. В первом эпизоде упоминаются и личные заслуги В.И. Шуйского, который был «обличителъ и посрамителъ нечестиваго богопротивника Гришки Отрепьева» [Рукопись Филарета, с. 3], а также его личные достоинства: «многаго ради мужества и благородія…» [Рукопись Филарета, с. 3]. Во втором эпизоде личные заслуги и достоинства не упомянуты в силу молодости и, как следствие, того, что он лично не принимал участия в событиях Смуты.

Завершают оба рассказа о церемониях сообщения о венчании царским венцом и принятии царского скипетра:

Эпизод 1	**Эпизод 2**
«Нареченный же царь и великій князь Василий Ивановичь всеа Русіи <…> вступаетъ въ царъскій чертогъ и скиѳетръ царь въ руцѣ своя пріемлетъ и восходитъ на свой Богомъ порученный ему, царьскій и пре и вѣнчася царьскимъ вѣнцемъ іюня въ 1 день…» [Рукопись Филарета, с. 3].	«…Богоизбранный царь Михаилъ <…> бысть на царьскій престолъ Богомъ направляемъ въ лѣто 7121 царьскій скиѳетръ пріемлетъ и вѣнецъ державный на главу свою возлагаетъ, и пользуютъ его мүромъ во царьствующемъ градѣ Москвѣ…» [Рукопись Филарета, с. 68].

Финальным аккордом в обоих рассказах является сообщение о радости всех людей по поводу избрания царей:

Эпизод 1	**Эпизод 2**
«И въ тыя же дни бысть смиренія и радость въ людехъ велія» [Рукопись Филарета, с. 4].	«И тако возрадовахусь вси людіе радостію веліею зѣло и отъ скорби бывшея уповаху утѣшишися о немъ…» [Рукопись Филарета, с. 68].

Таким образом, рассказы об избрании на царство Василия Ивановича Шуйского и Михаила Федоровича Романова имеют сходную структуру, важнейшими элементами которой являются:

1) свободный престол и необходимость избрания царя;
2) собрание начальствующих и рассылка посланий во все города Московского государства;
3) четко обозначенная цель — избрание царя;
4) сообщение о том, как осуществлялся выбор, и о критериях, которым должен соответствовать избранный;
5) сообщение о венчании царским венцом;
6) сообщение о радости всех людей по поводу избрания.

Структурированность этих рассказов позволяет предположить, что избрание правильных с точки зрения автора царей в эпоху Смутного времени изображается в «Рукописи Филарета» как важнейшая церемония, в которой обязательно должен принимать участие весь народ. Всенародное избрание царя, который так или иначе имеет отношение к династии Рюриковичей, а следовательно, законно может претендовать на царский престол, является залогом порядка в государстве и прекращения гражданской войны. Эта идея, актуальная во время Смуты, утверждается автором не прямо назидательно, а опосредованно — через изображение церемонии избрания, не названной опять же прямо. Очевидно, и в «Рукописи Филарета» мы имеем дело с новым, только зарождающимся способом рассказывания об исторических событиях, когда автор отказывается от прямого комментария и дает возможность читателям самим оценить прошедшее и сделать выводы на будущее.

6. Политические плачи в «Рукописи Филарета»

В «Рукописи Филарета» одним из сквозных мотивов является мотив плача. «Съ плачемъ и воплемъ» хоронили царевича Дмитрия и о «пренесеніи его плачевне рыдаху» [Рукопись Филарета, с. 6]; «многу плачю и рыданію бывшу» у русских людей, что «бѣгали въ Тушино», а потом каялись пред государем [Рукопись Филарета, с. 23]; «рыдаху <…> вси людіе царствующего града» по умершему князю М.В. Скопину-Шуйскому. Когда «Литва начатъ на Москвѣ самовольствомъ имѣніе грабити и всяко насилованіе чинити», «Людіе Московстіи <…> плачющесь неутѣшно» [Рукопись Филарета, с. 40–41]. «Плакашеся» «вси людіе» о разрушении Москвы [Рукопись Филарета, с. 48]. «Плачюшца» и «Поляцы» в царствующем граде, когда к нему подошло ополчение во главе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и Кузьмой Мининым [Рукопись Филарета, с. 62]. И др.

Помимо сквозного мотива, в памятнике приводятся три полноценных плача. Первый, правда перечеркнутый рукой редактора, — плач о пленении Великого Новгорода; второй — плач царицы и великой княгини Марьи Петровны в связи с насильственным постригом Василия Ивановича Шуйского; третий — плач о пленении и разорении Москвы. Однако если плач царицы атрибутирован автором («плакася по немъ плачемъ веліимъ» [Рукопись Филарета, с. 32]), то плачи о пленении городов не имеют подобной атрибуции, но их начало выделяется характерными для этой жанровой формы восклицаниями, не тождественными, но близкими по тематике и стилистике: «Увы! увы! великій граде Новгородъ!» [Рукопись Филарета, с. 30] — «Оле велико паденіе бысть и убивство! <…> О преславная ноипачъ, превеликая Москва!» [Рукопись Филарета, с. 46].

Все три плача имеют довольно четкую структуру, но единая композиционная схема не просматривается в них. И даже плачи о пленении городов весьма сильно отличаются друг от друга в мотивно-образном отношении.

Так, плач о пленении Великого Новгорода членится на две тематические части при помощи темпоральных указателей: «от начала убо еже по великомъ потопѣ, прежъ всѣхъ Російскихъ градовъ начало пріятъ…» [Рукопись Филарета, с. 30] — «нынѣ жъ…» [Рукопись Филарета, с. 30]. В первой части автор создает величественный образ древнего города при помощи мотивов:

- древности: «прежъ всѣхъ Російскихъ градовъ начало пріятъ…» [Рукопись Филарета, с. 30];
- непобедимости: «и силою всюду преодолѣва и вездѣ поборая <…>, самъ же ни отъ кого жъ ратуемъ бываше, и во крѣпости своей особъ пребываше…» [Рукопись Филарета, с. 30];
- царственного величия: «и возвысія въ царстей степени <…>, дажъ и на Царѣградѣ велицемъ дани и выходы по всѣ лѣта взимая…» [Рукопись Филарета, с. 30];
- благочестия: «и во благочестіи просія, <…> и всякими божественными лѣпотами и многоцѣлебными мощми святыхъ и всякого церковною тварью, яко великое свѣтило подъ небесемъ сіяя…» [Рукопись Филарета, с. 30].

Называет, что в целом нетипично для цикла сочинений о Смутном времени, Великий Новгород матерью российских городов: «мати всѣмъ Російскимъ градовомъ нарицаяся» [Рукопись Филарета, с. 30].

Во второй части плача, весьма лаконичной по сравнению с первой, создается образ плененного города при помощи мотивов поругания святых церквей и истощения сокровищ: «нынѣ жъ отъ худыхъ сія богомерскихъ людей плѣненъ бысть, и святыя Божія церкви

опоруганы быша и многолѣтная собранная сокровище истощи…» [Рукопись Филарета, с. 30].

Завершается плач приведением фрагмента молитвы иудейского царя Манасеи, углубляющей и в некотором смысле цементирующей мысль о том, что пленение столь древнего величественного города «попусти Богъ грѣхъ ради нашихъ» [Рукопись Филарета, с. 30].

В целом, плач представляет собой типичный образец ораторского искусства и не содержит оригинальных образов, ярких риторических приемов. Вполне вероятно, что отсутствие конкретики в плаче и побудило редактора вычеркнуть данный текст, тем более что его включение разрывает повествование о действиях поляков в пределах Московского государства, а сами подробности пленения не приводятся.

Иначе в художественном плане организован плач о пленении Москвы, что видно даже на пунктуационном уровне. Если первый плач, за исключением вступительных риторических восклицаний, представляет собой длинное повествовательное предложение, в котором изложено и прошлое, и настоящее города, то плач о пленении Москвы содержит и риторические восклицания, и риторические вопросы. В первом плаче автор практически нигде не ритмизирует текст, в плаче о Москве встречаются и глагольные рифмы («предъ отцы сынове убив**аеми**, живота гонзнуша, отроковицы жъ отъ матерей отторг**аемы** и блудному растлѣнію прелаг**аеми**» [Рукопись Филарета, с. 46], «чадъ вашихъ чресла зрише исторг**аеми** и по удомъ разрабл**яеми**» [Рукопись Филарета, с. 46], «почто нынѣ насилованные руки не разумѣ**ете**, и ухищренія неправедного короля не позна**ете**» [Рукопись Филарета, с. 47]) и рифмованные отглагольные существительные («нынѣ зрите конечное разор**еніе** и домовъ своихъ вѣчное пад**еніе**» [Рукопись Филарета, с. 47]).

Плач отличает обилие контрастных оценочных эпитетов, используемых для характеристики города («преславная», «превеликая Москва» [Рукопись Филарета, с. 46], «превеликая Москва» [Рукопись Филарета, с. 47]), москвичей («бѣдныя матери» [с. 46], «бѣдные граждане» [Рукопись Филарета, с. 47], «о роде слѣпый», «жестокіе смерти» [Рукопись Филарета, с. 47]), врагов и их действий («неправедного короля» [Рукопись Филарета, с. 47], «немилостивый и кровавый мечь» [Рукопись Филарета, с. 47]).

Плач о пленении Москвы, как и плач о Великом Новгороде, имеет двухчастную структуру. Но если в плаче о Великом Новгороде изображается в общих чертах величественное прошлое и горестное настоящее именно города, то плач о пленении Москвы — это плач о ее жителях. Вся первая часть плача, состоящая из череды риторических восклицаний, проникнута глубочайшим сопереживанием «болѣзни сердецъ» родителей, которые видят убийство сыновей и растление дочерей. Дважды пишет об этом автор и особо оплакивает «бѣдныхъ» матерей, с трудом представляя, «коликою болѣзнію

сердецъ» их «внутренняя разсѣкаете» [Рукопись Филарета, с. 46] и «толико возможете изнести въ разореніи чадъ вашихъ ихъ жъ разсѣкаете немилостивый и кровавый мечь!» [Рукопись Филарета, с. 46–47].

Вторую часть плача открывает риторическое восклицание, резко меняющее тональность: глубокое сопереживание к москвичам сменяется гневным обличением: «о роде слѣпый и жестокіе смерти не вѣдуще!» [Рукопись Филарета, с. 47]. И далее следует каскад обличительных риторических вопросов: «почто нынѣ насилованные руки не разумѣсте, и ухищренія неправедного короля не познаете, прежъ дажъ не ускорилъ мечъ сей острый и въ вашей кровѣ не воскипѣлъ? или мнили есте, яко нашествіе иноплеменныхъ, безъ тяжкія казни и жестокого отмщенія возможетъ пройти? почто убо бѣдные граждане, не отринули есте немилостиваго трупа отъ домовъ своихъ, отъ нихъ жъ нынѣ зрише конечное разореніе и домовъ своихъ вѣчное паденіе» [Рукопись Филарета, с. 47].

Завершив сопереживательно-обличительный плач, автор рисует картину разрушения и разграбления города: «И тако разрушенна бысть превеликая Москва, и пограбленну всему сокровищу, и сѣдоша Поляцы въ нутреннемъ градѣ въ превысокомъ Кремлѣ, и ту раздѣлиша грабленія по всему войску и начаша веселитеся, яко побѣдницы суть и многими изобвильны богатествы» [Рукопись Филарета, с. 47].

Таким образом, плач о пленении Москвы — это, в отличие от плача о Великом Новгороде, плач о людях, отсюда — и иная тональность, использование других изобразительно-выразительных приемов. И если в плаче о Великом Новгороде рисуется картина былого величия и нынешнего разрушения захваченного города, то плач о Москве проникнут глубочайшей болью, которая сквозит и в сопереживании семейным трагедиям москвичей, и в обличении слепоты и неразумия, которые привели город к разрушению и личным страданиям и драмам жителей.

Плач царицы и великой княгини Марьи Петровны по насильственно постриженному государю Василию Ивановичу Шуйскому весьма сильно отличается от плачей по городам. В основе своей он восходит к плачам княгинь по умершим мужьям, встречающимся во многих памятниках древнерусской литературы. Плач предельно эмоционален, что нашло выражение в обилии риторических восклицаний и вопросов.

В то же время этот плач, будучи насыщен конкретными реалистическими деталями и подробностями, имеет глубоко личностный характер. Условно он может быть разделен на две части: в первой — княгиня оплакивает перемены в судьбе супруга Василия Ивановича Шуйского, во второй — свою участь. В основе обеих частей лежит прием контраста: в плаче последовательно сопоставляется и противопоставляется прошлое и настоящее государя: «Самодержецъ всей Руской землѣ былъ еси; нынѣ же отъ рабъ своихъ

посрамленъ еси и ни кѣмъ же владѣяши; многи страны примири… и многи побѣды на сопротивныя показалъ еси, нынѣ же гдѣ что, все мину» [Рукопись Филарета, с. 32], «гдѣ багряницы брачныя и ризы многоцѣнны царъскія? вмѣсто сихъ отъ рабъ своихъ въ чернеческія ризы одѣянъ еси!» [Рукопись Филарета, с. 33], — и царицы: «и за веселіе и радость плачъ и слезы постигоша мя за утѣху же и покой, сѣтованіе болѣзненно и многія труды скорбныя обыдоша мя» [Рукопись Филарета, с. 33].

Сквозной мотив первой части плача — это мотив посрамления от рабов и насильственного пострига. Трижды вспоминает княгиня о том, что перемена в статусе ее супруга — самодержца всей Русской земли — произошла по воле рабов: «нынѣ же отъ рабъ своихъ посрамленъ еси <…>, вмѣсто сихъ отъ рабъ своихъ въ чернеческія ризы одѣянъ еси! <…> како ты отъ рабъ своихъ, отъ безумныхъ Москвичь сего свѣта отреченъ и во мнишескій образъ облеченъ быхъ!» [Рукопись Филарета, с. 32–33]. Не менее важен в первой части и тесно связанный с мотивом посрамления мотив бесчестия постриженного царя: «…гдѣ <…> честь безчисленныя и горденіе въ боляряхъ своихъ? Уже тебѣ не будетъ никогда же! всѣхъ сихъ лишенъ еси!» [Рукопись Филарета, с. 33].

Таким образом, в плаче царицы и великой княгини Марьи Петровны переплетаются типичные для жанровой формы плача образы и приемы с политически маркированными мотивами. При этом плач является логическим продолжением и завершением рассказа о том, кто и почему свел «царя Василья зъ государства» [Рукопись Филарета, с. 31]. В плаче царица во всем винит москвичей — «отъ безумныхъ Москвичь» [Рукопись Филарета, с. 33]. Эту же версию излагает и автор «Рукописи Филарета»: омраченные умом, дерзостные «московстіи жъ народи» [Рукопись Филарета, с. 31], не желая внять ни «многомудрыи словесам» бояр [Рукопись Филарета, с. 31], ни призывам патриарха Гермогена [Рукопись Филарета, с. 31], «разсыпахуся серцы своими, и скрежетаху зубы своими и нелѣпая много глаголаху, и постригоша его великого государя» [Рукопись Филарета, с. 32]. Любопытно, что рассказ о реализованном намерении москвичей свести Василия Шуйского с государства автор предваряет лаконичным описанием, в какой ситуации «Московстіи жъ народи омрачишась умомъ <…> и восколебашесь, аки пьяніи на государя царя…» [Рукопись Филарета, с. 31]. 16 июля 1610 г., согласно тексту, под царствующий град пришел гетман Жолкевский, следом за ним — «ложноназванный царь Дмитрей пріиде исъ Колуги <…>, а съ нимъ веліе собраніе Ляховъ и Рускихъ людей…» [Рукопись Филарета, с. 31]. И «всякъ день» они «творяше… ополченіе» [Рукопись Филарета, с. 31] на город. Вот в этих условиях москвичи и взбунтовались, «безстыдно», по мнению автора, «кричаху: “не хотимъ царя Василья, да царъствуетъ надъ нами, несть ему части въ государствѣ!”» [Рукопись Филарета, с. 31].

Сходство характеристик москвичей в устах царицы («отъ безумныхъ Москвичь» [Рукопись Филарета, с. 33]) и в авторском тексте («омрачишась умомъ» [Рукопись Филарета, с. 31]) во многом объясняет политическую маркированность плача, который художественно завершает пространное повествование об одном из странных событий Смуты. Аналогичным образом плач о пленении и разорении Москвы заключает развернутый рассказ о падении царствующего города. Подобная композиционная особенность не характерна для плача о пленении Великого Новгорода. Вполне вероятно, отчасти это могло послужить одной из причин для устранения текста этого плача из памятника.

Таким образом, в «Рукопись Филарета» изначально были включены три плача, один из которых — плач о пленении Великого Новгорода — был перечеркнут редактором. И, следовательно, в «беловом» варианте в текст вплетены два плача — плач царицы и великой княгини Марьи Петровны и плач о пленении Москвы. Оба плача, в отличие от первого, — это плачи о судьбах людей. Они насыщены реалистическими деталями и историческими подробностями. В них переплетаются сопереживание, боль с негодованием и обличением. Они оба политически маркированы и являются логическим продолжением авторской концепции исторических событий, в художественном плане завершая конкретные повествовательные фрагменты. Сама же жанровая форма плача, более четкая в плаче царицы, отчасти предстает в трансформированном виде, поскольку включает злободневные политические мотивы.

***

Итак, литература первой трети XVII в., посвященная эпохе Смутного времени, ломает многие устойчивые жанровые каноны и стереотипы. Наряду с произведениями, созданными в рамках традиционной для древнерусской литературы жанровой системы, среди памятников этого цикла обнаруживаются новые жанровые формы. Одни из них представляют собой вполне оформленные жанры, к каковым, например, можно отнести видения. В других текстах наблюдается трансформация жанрового канона, выбранного за основу, и они являют собой промежуточный этап в становлении новой жанровой формы. В недрах исторических сочинений о Смуте актуализируются и наделяются специфическим художественным и идейным содержанием жанры политической легенды и политических плачей. Многие авторы ищут новые пути для рассказа о необычных событиях.

В целом, исторические повествования о Смуте, созданные в первой трети XVII в., стоят у истоков литературы раннего Нового времени (термин Л.И. Сазоновой), здесь

«причудливо переплелись концы старого и начала нового»[197], что принесет в будущем кардинальное изменение жанровой специфики исторических повествований. Но истоки будущих историй государства Российского следует искать именно в цикле сочинений о Смуте, изнутри взрывающих веками апробированные жанровые формы и каноны в поисках новых форм запечатления важнейших исторических событий.

[197] *Сазонова Л. И.* Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 14.

Глава 4 Приемы изображения исторических событий

1. Библейские сюжеты как ключ к повествовательным моделям в цикле сочинений о Смуте[1]

В отечественной медиевистике неоднократно отмечалось стремление древнерусских книжников «увидеть во всем “временном” и “тленном” <…> символы и знаки вечного»[2]. При всей новизне подхода к изображению и трактовке событий и характеров (сочетание традиционной для средневековой литературы провиденциальной идеи Божьей кары за грехи с конкретными социально-политическими мотивировками, «открытие» человеческого характера в его противоречивой двойственности, ярко выраженная авторская позиция, личностность и самооправдательность повествований и пр.) в цикле сочинений о Смутном времени вновь актуализируется прием абстрагирования. Оценивая личности и события, публицисты и историографы первой трети XVII столетия обращаются к хорошо известным библейским образам, сюжетам, мотивам, изобразительно-выразительным средствам как к проверенному предшествующими поколениями древнерусских книжников приему, позволяющему определить место и роль тех или иных деятелей эпохи Смуты в координатах непрерывного общемирового процесса. И дело тут не только в «поддержании традиции» и «подкреплении оценочных суждений»[3]. В XVII столетии, как справедливо заметила Н.С. Демкова, «начинается новое по существу и более сложное использование библейских источников»[4]. Частично меняется и цель включения в историческое повествование библейских интертекстуализмов: по мнению Н.И. Прокофьева, писатели «прибегали к символическому характеру изображения действительности не ради развлекательных или абстрактных целей, а для выражения злободневных общественно-политических идей»[5]. Поэтому в литературе о Смуте начала XVII столетия обнаруживаются не только устойчивые стилистические формулы, образы, сравнения,

---

[1] Первые публикации см.: *Туфанова О.А.* 1) Интерпретация сюжета об Адаме и Еве в «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов…» // Филологические науки. 2009. № 3. С. 94–102; 2) Ветхозаветный сюжет о грехопадении во «Временнике» И. Тимофеева и в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» И.А. Хворостинина // Славянский филологический сборник. Выпуск II. Традиция в развитии славянских культур. НИЦ «ЭСТРИКА» (Славянские Культуры: Корни и Крона) / отв. ред. и сост. И.И. Калиганов. М.: ИСл РАН, ГАСК, 2012. С. 114–125.

[2] *Лихачев Д.С.* К изучению художественных методов русской литературы XI–XVII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 20. С. 21.

[3] *Михайлова Т.В.* Свидетельства праведности царской власти в повестях Смутного времени. С. 210–211.

[4] *Демкова Н.С.* Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники: сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. С. 135.

[5] *Прокофьев Н.И.* «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII века... С. 20.

символы, перенос целых отрывков одного произведения в другое[6], но и воспроизведение отдельных повествовательных моделей, восходящих в своей основе к Священному Писанию. Степень востребованности той или иной библейской модели в цикле сочинений о Смуте неодинакова, как неодинакова и степень их разработки.

Одной из наиболее часто используемых писателями Смуты повествовательных моделей является библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы. Он встречается в разных вариациях в ряде памятников, в частности в «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престолъ Борисъ Годуновъ» и «Ином сказании».

В обоих произведениях, несмотря на ведущую роль, отсутствует подробный пересказ ветхозаветной истории. В «Повести, како восхити…» она сведена к одной-единственной емкой формуле, которая приводится в начале рассказа о Борисе Годунове: «И уподобися той Борисъ древней зміи, иже преже въ раи прелсти Евву и прадѣда нашего Адама и лиши ихъ пищи райскія наслаждатися»[7] » [Повесть, како восхити, стб. 147]. В дальнейшем повествовании имена Адама и Евы более не упоминаются; оценивая личность и деяния Годунова, книжник обращается к иным библейским и историческим фигурам. Однако в тексте используется целый ряд исходных библейских сюжетных положений, мотивов и заложенных в них идей.

Все три сюжетных компонента библейского текста: прельщение Евы змием, прегрешение, наказание — находят свою реализацию в «Повести, како восхити…». Борису Годунову отводится в истории русской Смуты роль змия, в которого вошел дьявол. Повествование о нем автор начинает традиционной оценочной формулой «По малѣ же времяни, Богу попущающу, а сотонѣ дѣйствующу, вниде зломысленный дьяволъ нѣкоему отъ велможъ, зовомому Борису Годунову» [Повесть, како восхити, стб. 147]. И далее трижды в памятнике уподобляет Бориса змию. Данный символ не только позволяет «начитанному читателю», по мысли Н.С. Демковой, «мгновенно “принять” семиотический сигнал, отправленный автором»[8], но и показывает, как надо читать данный текст.

Наличие в памятнике библейского символа поддерживается сопутствующими ему мотивами, тоже восходящими к Священному Писанию. В Библии, оправдываясь перед Господом, Ева говорит: «змии прельсти мя и ядохъ»[9]. Вслед за библейским архетипом ведущим мотивом при описании деяний Годунова становится многозначный мотив прельщения. Он впервые появляется в тексте в характеристике деяний змия и затем

---

[6] *Михайлова Т.В.* Свидетельства праведности царской власти в повестях Смутного времени. С. 210.

[7] Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престолъ Борисъ Годуновъ // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 145–176. Здесь и далее текст повести цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и столбцы.

[8] *Демкова Н.С.* Средневековая русская литература. С. 135.

[9] Библия. Острог, 1581. Здесь и далее цитаты приводятся по данному изданию, орфография упрощена.

используется автором в качестве оценки поступков царя Бориса. В библейском тексте прельщение означало искушение. В «Повести, како восхити…» «прельщение» толкуется как угрозы, запугивание, лесть, с помощью которых Годунов многих бояр, дворян и торговых людей превратил в своих союзников[10]: «Тако же убо и сей окаянный Борисъ нача прелщати царскія полаты пріобщателей и многихъ дворянъ, тако же и отъ торговыхъ людей многихъ своею прелестію преодолѣ; а иныхъ, аки змій свистаніемъ, угрози» [Повесть, како восхити, стб. 147]. Далее в тексте семантика мотива прельщения расширяется: к уже названным значениям добавляются подкуп и лицемерие. Расширяется и список прельщенных. Фактически, заключает автор, «не смѣяше *нихто* (курсив мой. — *О.Т.*) противу ему вопреки глаголати» [Повесть, како восхити, стб. 152].

Змей из ветхозаветного сюжета, намереваясь лишить первых людей райского блаженства (по толкованию Отцов Церкви, например Иоанна Златоуста), «рече» к Еве. И она, «увлекшись надеждою на равенство съ Богомъ», «возмечтала наконецъ о себе много»[11]. И Борис Годунов, собираясь «восхити» царский престол, «не угаси злораспаляемаго своего огня славобѣсия и восхотѣ пріобрѣсти славу превыше своея мѣры» [Повесть како восхити, стб. 149], начал с того, что «рече» к «цареву синклиту», к боярам, к торговым людям. Аналогичным образом толкует поступок Евы Иоанн Златоуст в «Беседе XVI. О падении первозданныхъ»: «…диаволъ увелъ жену въ пленъ, увлекъ ея умъ и заставилъ мечтать о себе выше своего достоинства»[12]. В «Беседе XVII», анализируя ответы Адама и Евы Господу, Златоуст отмечает, что ни со стороны змия по отношению к Еве, ни со стороны Евы по отношению к Адаму не было «никакого принуждения, никакого насилия»[13]. Все действия библейского змия ограничиваются исключительно словами — гибельным советом. И вся изначальная деятельность Годунова в изображении автора «Повести, како восхити…» также ограничивается исключительно словами. На первом этапе движения к своей цели он сам не делает ничего, лишь прельщает и угрожает лживыми словесами: «нача прелщати» [Повесть, како восхити, стб. 147], «нача паки прелщати <…> глаголаше» [Повесть, како восхити, стб. 148], «наваждаше <…> лжывыми словесы» [Повесть, како восхити, стб. 150] и т. д. Однако очень быстро манера описания деяний Годунова меняется: вместо глаголов говорения автор начинает использовать в качестве ведущего глагол «повеле», тесно связанный с глаголами, несущими в себе лексему «смерть»: «уморити повелѣ», «казнити повелѣ» [Повесть, како восхити, стб. 149–150]. В описании поступков Годунова появляются глаголы активного действия: «въ заточеніе

[10] *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени... С. 55.

[11] Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского избранные творения. Беседы на Книгу Бытия. Т. 1. С. 131.

[12] Там же. С. 132.

[13] Там же. С. 144–145.

посла», «въ расхищеніе предложи», «женъ осиротилъ», «дѣтей опустошилъ» [Повесть, како восхити, стб. 149–150] и т. п. Вершит этот ряд глагольная лексика со значением «несущий, сеющий смерть»: «Борисъ вооружается убійствомъ на государя своего царевича <…> погубилъ младенца», «до умертвія его сотвори», «уби младенца» [Повесть, како восхити, стб. 151–153] и др. Таким образом, Борис Годунов в «Повести, како восхити…», исполняя дьявольский замысел, выступает в роли лукавого искусителя, преподнесшего и царствующим особам, и многим русским людям чашу со «смертоносным ядом»[14]. Деятельность Годунова оценивается книжником как первопричина трагедии Смутного времени, т. е. он выполняет ту же самую роль, что и змий в истории изгнания первых людей из рая.

Господь заповедал первым людям не есть плоды с древа познания — и перволюди нарушили заповедь. В «Повести, како восхити…» также появляется образ древа с разветвленной системой традиционных для древнерусской литературы символов. По смерти Ивана Васильевича, пишет автор в начале произведения, «осташася его царского корене двѣ пресвѣтлии отрасли, сынове его…» [Повесть, како восхити, стб. 145]. Царевич Дмитрий уподобляется «царской младорастущей и краснорасцвѣтаемой ветви» [Повесть, како восхити, стб. 151], которую «отторгнути» Годунов. Последний из потомков Ивана IV — царь Федор — «приносящее плодъ благородія насажденное древо» [Повесть, како восхити, стб. 152], которое тот же Борис «подсѣче и искорени, даже и до умертвія его сотвори» [Повесть, како восхити, стб. 152]. Данные растительные метафоры, проникшие, согласно наблюдениям В.П. Адриановой-Перетц[15], через Хронограф и Степенную книгу в повести о Смутном времени (и в частности, в «Повесть, како восхити…»), восходят, на наш взгляд, к образу древа из ветхозаветной истории грехопадения Адама и Евы. Ему уделяется особое внимание в Книге Бытия. Древо выделено пространственно: «иже есте посреде рая» — и функционально: у вкусивших плодов с древа «отверзутся очи» и будут они, как боги, ведать добро и зло (мотив открытия умственного зрения в Книге Бытия подчеркнут троичным повторением). Оно имеет яркую характеристику: «И виде жена яко добро древо въ снедь, и яко оугодно очима видети, и красно есть» (аналогичные эпитеты сопровождают образ древа в «Повести, како восхити…»). Но, несмотря на то что оно «добро въ снедь», Адам и Ева не должны были употреблять в пищу его плоды и не имели права даже прикасаться к нему. В Библии называются и противоречивые последствия вкушения плодов: Господь повелел воздерживаться от древа познания, чтобы Адам и Ева через

[14] Ср.: «Наполнивъ чашу гибельнымъ ядомъ, (диаволъ) подалъ ее жене, а та, не обративъ внимание на смертоносное действие, <…> возмечтала наконецъ о себе много» // Иже ко святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского избранные творения. С. 131.

[15] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 55–57.

вкушение от него «не оумрете», т. е. не познали, что есть смерть, не стали смертными; змий, напротив, соблазняя жену, утверждал: «не смертию оумрете», но «будете яко бози».

В «Повести, како восхити…» образ царского древа также занимает центральное место. С ним связана идея богоустановленности царской власти. Власть царя Федора Ивановича — это «власть богоданная»[16], унаследованная от отца и «насажденная» «десницею всещедраго превѣчнаго Бога» [Повесть, како восхити, стб. 152]. Отсюда и сам царский престол имеет особый сакральный смысл, и царь уподобляется Богу, наделяется «особой харизмой»[17], и царская природа приобретает сакральное значение. Царское древо, царский корень священны и неприкосновенны так же, как и райское древо познания добра и зла.

В библейском тексте все действие развивается вокруг древа познания. Аналогичным образом строит повествование о деяниях Годунова и автор «Повести, како восхити…». Рассказывая о том или ином поступке «святоубийцы», он время от времени обращается либо к образу царского престола, либо к образу древа, либо к образу царского корня, постоянно напоминая читателю о том, что именно Борис Годунов «подсѣче древо благоплодия».

Своеобразное отражение на этом фоне получает в «Повести, како восхити…» и библейская идея познания добра и зла. В зависимости от того, кто занимает царский престол, меняется и жизнь государства. Практически во всех памятниках, посвященных событиям Смутного времени, последовательно проводится различие между истинными и ложными царями: «если истинные цари получают власть от Бога, то ложные цари получают ее от дьявола»[18]. Соответственно, если у власти находится истинный царь — представитель древнего царского корня, — то и жизнь в государстве напоминает земной рай. Если же к власти приходит ложный царь, — имеющий иные корни, отличные от царского древа, — то и жизнь в государстве превращается в земной ад. Не случайно в «Повести, како восхити…» при описании времени правления истинных царей доминирует тема благодати, а при описании времени правления Годунова и Лжедмитрия I — тема убийства, кровопролития. И хотя в памятнике отсутствует подробное описание времени правления истинных царей, авторское отношение к царствованию Ивана IV и его сына Федора реконструируется благодаря отдельным деталям. Так, имена представителей древнего царского корня-древа неизменно сопровождает в тексте положительный эпитет «благоверный». Объясняя радостное ожидание прихода к власти Лжедмитрия I, покорение ему без боя многих городов, автор замечает, что все люди склонились до земли пред ним, помня «милость и милосердие» по отношению к себе царя Ивана Васильевича. Повествуя об избрании на

[16] *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. С. 79.
[17] Там же. С. 112.
[18] Там же. С. 120.

царство Василия Шуйского, книжник вновь акцентирует внимание на образе царского корня, указывая на происхождение Шуйского от прежних благоверных царей «корене», от великого князя Владимира и от великого князя Александра Ярославича Невского. Снова использует положительные эпитеты: «мужа праведна и благочестива» [Повесть, како восхити, стб. 168]. Его воцарение оценивается как угодное Богу. И поскольку он происходил от древнего «святаго корени», то и власть свою, по мнению автора, он получил от Бога. Как когда-то царь Федор Иванович олицетворял «насажденное древо десницею всещедраго превѣчнаго Бога» [Повесть, како восхити, стб. 152], так теперь Василий Шуйский принял российский скипетр «отъ всемогущаго Бога во свою десницу» [Повесть, како восхити, стб. 171]. Поэтому и дни его правления для граждан наполнены радостью и весельем.

Авторское отношение к ложным царям однозначно отрицательное. Это находит выражение в выборе негативных эпитетов, которые практически срастаются с именами самозванцев: Борис в тексте всегда «лукавый», Лжедмитрий I — «злонравный», «злохитренный». Оба стали причиной «кроворазлития» в стране. Указывая на их происхождение, автор ни разу не употребляет образы древа, корня, что на фоне постоянного появления данных образов в повествовании об истинных царях особо значимо. Таким образом, идея добра в «Повести, како восхити…» прочно связана с образами истинных царей — представителей «святаго корени», а идея зла — с образами самозванцев, искоренявших старинный род Богом поставленных правителей.

Как и первые люди, Борис Годунов попирает законы. Истребив царский корень[19], представителей древнего царского древа, он не только нарушил заповедь «Не убий!», но и покусился на сакральное. Не случайно поэтому в рассказ о гибели царевича Дмитрия автор включает новую библейскую аллюзию, во многом проясняющую исходную сюжетную модель. Сюжет о грехопадении осложняется другим знаковым рассказом — о предательстве Иудой Иисуса Христа. Эта особенность повествования подтверждает мысль о сакральности царского древа-корня. Однако смерть сыновей Ивана IV знаменовала не только гибель древней династии, но и десакрализацию царского престола, который теперь «неправдою» мог «восхити» любой самозванец: в «Повести, како восхити…» это сначала Борис Годунов, затем Лжедмитрий I. Искоренение сакрального древа правителя обернулось бедами для государства. Годунов не просто совершает грех, он становится основоположником греха, причиной дальнейших страшных событий, произошедших в Русской земле. И поскольку он разными способами, о чем было сказано выше, подчинил себе всех людей, то никто ему не противоречил из опасения за собственную жизнь. Именно

[19] Автор «Повести, како восхити…» винит его и в смерти царевича Дмитрия, и в смерти царя Федора Ивановича.

страхом пред Годуновым и вынужденным вследствие боязни «кроворазлития и междоусобныя брани» молчанием автор объясняет самый факт восшествия Бориса на престол. На метафизическом уровне это значит, что он сделал бояр и «власти и велможи и весь царскій сигклитъ и гости и всенародное множество Московского царства» [Повесть, како восхити, стб. 152–153] соучастниками преступления. Греховен не только Борис Годунов, но и все «прельщенные» им.

Библейский сюжет завершается рассказом о наказании, которое понесли, нарушив заповедь, змий и первые люди. Это и изменение внешнего облика змия, и проклятие его от всех скотов и зверей земных. И утрата человеком не только рая, но и общения с ангелами; утрата способности понимать язык животных и птиц; и жизнь в печали, и утрата бессмертия…

Аналогичную модель наказания можно наблюдать в «Повести, како восхити…». Наказан Годунов — основоположник греха. Узнав, что все русские воеводы и все воинство поклонились Лжедмитрию I, Борис Годунов смертоносным зельем «упокои себе». Суровому наказанию подвергается не только он сам, но и вся его семья. Его жену, царицу Марию, и сына Федора Отрепьев повелел смерти предать, а дочь — в живых оставить, «дабы ему лѣпоты ея насладитися» [Повесть, како восхити, стб. 159]. Завершает рассказ о гибели семьи Годуновых пространное авторское отступление, ставящее итоговую точку в развитии сюжетной линии Годунова: «Се днесь зрите, любимцы мои, какова кончина творящимъ неправедная беззаконія, въ нюже мѣру мѣрятъ, возмѣрится имъ, и кою чашу прочимъ наполняютъ, ту и сами испиваютъ» [Повесть, како восхити, стб. 159]. Годунов, преподнесший древнему царскому роду «смертоносный яд», погибает сам, вместе с ним гибнет и его семья. В данном случае самоубийство и убийство уравниваются, поскольку и то, и другое знаменует собой гибель рода Годуновых. Все, к чему стремился царь Борис, искореняя царское древо: «слава высокоумія», «чертоги златоверхія», «трапезы пресвѣтлые и телцы упитанные», «рабы и рабыни предстоящіи», «порты и обуища дорогоцѣнныя» и пр. — исчезло в один миг. Все материальные блага мира, слава и власть оказались ничтожны пред тем, что по смерти главы семьи некому было «изъяти» жену и детей «отъ руку спекулятора» [Повесть, како восхити, стб. 160]. По сути, здесь реализуется в соответствии с историческими реалиями библейская идея: «донелиже възвратишися въ землю от нея же взятъ бысть».

С другой стороны, наказание за молчаливое согласие и принятие неправедной власти Годунова понесли все жители Русской земли. Их наказание — это неправое правление Лжедмитрия I, творившего исключительно одни «пакости» и «беды» православному христианству. Отрепьев, по мнению автора, такой же враг, и «поругатель», и убийца, как Борис Годунов. Он послан в качестве наказания за прегрешения Годунова, но

в то же время он сам преступник, незаконно захвативший русский престол. И в этом смысле фигуры Бориса Годунова и Гришки Отрепьева оказываются идентичны, что подчеркивает в тексте прием зеркальности. Деяния Лжедмитрия I в описании автора «Повести, како восхити…» подобны деяниям Годунова с той лишь разницей, что он «умыслил» изничтожить во всей Русской земле христианскую веру и «всѣхъ православныхъ христіянъ побити» [Повесть, како восхити, стб. 165]. В целом же, принципы создания образа Отрепьева в памятнике аналогичны принципам создания образа Годунова. Он точно так же неоднократно уподобляется в «Повести, како восхити…» змию. Точно так же при описании его поступков используются глаголы активного негативного действия и лексика со значением «несущий, сеющий смерть». Как и Борис Годунов, он вонзил «страхъ и трепетъ въ сердца человѣча» [Повесть, како восхити, стб. 163]. Как когда-то Годунов «кровію и слезами не наполнилъ ненасыщаемыя утробы своея и паки воздвиже многу вражду» [Повесть, како восхити, стб. 150], так и Отрепьев «велій плачъ и рыданіе сотвори въ людѣхъ» [Повесть, како восхити, стб. 163].

Тот, кто должен был быть благочестив и «благоверен», заботиться о своем народе, не только сам отпал от православной веры, но вознамерился и всю Русскую землю подчинить римскому папе. Приводя свой план в действие, он многие святые места осквернил, монастыри «въ домы и въ жилища поганцомъ» сотворил, иноков умыслил женить, монахинь замуж отдавать, обличающих его ересь смерти предал и в заточения разослал, наводнил Московское государство «погаными иноверцами» и, главное, задумал всех православных христиан «посекати до останка» [Повесть, како восхити, стб. 163–166]. Таким образом, все участники трагических событий начала XVII столетия понесли наказание.

Вынесенная в заглавие «Повести, како восхити…»[20] и неоднократно продекларированная на протяжении всего повествования[21] дуальная идея «преступление – наказание» получит свое дальнейшее развитие в компилятивном памятнике более позднего времени — так называемом «Ином сказании». В главах, посвященных Борису Годунову, составитель «Иного сказания» воспроизводит ту же самую повествовательную модель, которую мы наблюдали в «Повести, како восхити…»: также в сюжетной линии Бориса Годунова выделяются основные компоненты библейского архетипа, также одним из ведущих в его характеристике является мотив прельщения, также все действие

[20] Полное название памятника: «Повѣсть, како восхити неправдою на Москвѣ царскій престолъ Борисъ Годуновъ и како на него попусти Господь Богъ врага и поругателя, еретика, розстригу Гришку Отрепьева, мстя неповинное кровопролитіе новаго своего страстотерпца благовѣрнаго царевича князя Дмитрея Углецкого» [Повесть, како восхити, стб. 145].

[21] Ср.: «Видѣвъ же сія всевидящее недреманное око Христосъ, яко неправдою восхити Російскія области скифетръ, и восхотѣ ему отмстити неповинные крови кровопролитіе новыхъ своихъ страстотерпцовъ <…>. И попусти на него такова же врага и законопреступника <…> Юшку Яковлева сына Отрепьева, яковъ и самъ той святоубійца Борисъ Годуновъ» [Повесть, как восхити, стб. 154].

разворачивается вокруг центрального образа царского древа и т. п. Однако в «Ином сказании», помимо сходства, возникшего в результате почти дословного воспроизведения источника — «Повести, како восхити…», наблюдается и ряд отличий в интерпретации сюжета о грехопадении, обусловленных и широтой охватываемого материала (от смерти Ивана Грозного до царствования Михаила Романова), и углублением центральной идеи «преступление – наказание».

Помимо исходной адресной формулы[22], в тексте «Иного сказания» встречается еще одно упоминание имен Адама и Евы. Но оно связано уже не с Борисом Годуновым, а с Гришкой Отрепьевым: «Яко же древле прелсти въ началѣ міра родоначальниковъ Адама и Евву отпасти райскія породы и наведе ему смерть, тако же той научаетъ и умудряетъ угодника своего ростригу…» [Иное сказание, стб. 42]. Повторная адресация к истории грехопадения первых людей поддерживается в тексте мотивом прельщения, вводимом на сравнительно небольшом текстовом фрагменте каскадом повторов («прелсти… прелсти… прелестию прелстити…» [Иное сказание, стб. 42]), а также дважды встречающимся в памятнике уподоблением Отрепьева змию: «угрызающаго змія» [Иное сказание, стб. 53], «злому змію, зіяющу ны поглотить» [Иное сказание, стб. 57]. При этом семантика мотива прельщения в сравнении с характеристикой Годунова сужается до одного конкретного значения — это прельщение славой мира сего. Но именно это сужение семантического поля делает максимально прозрачным совпадение мотивировок поступков Годунова и Отрепьева в памятнике[23]. Акцентировка именно этого значения мотива усиливается дополнительными негативными образами. Вслед за автором «Повести, како восхити…» составитель «Иного сказания», характеризуя деяния Годунова, использует образ «злораспаляемаго <…> огня славобѣсия» [Иное сказание, стб. 5] и образ «ненасыщаемыя <…> никоторою кровію славобѣсныя утробы» [Иное сказание, стб. 6]. Ненасытная жажда крови («на кровопролитіе тщится, лакати крови христіянскія и поядати плоти человѣческія» [Иное сказание, стб. 32] и др.), дьявольская природа («сатанина угодника» [Иное сказание, стб. 33] и др.) отмечаются составителем и в образе Отрепьева. Нечто подобное наблюдается и в «Повести, како восхити…», но в «Ином сказании» прослеживается более тесная взаимосвязь мотивов жажды власти, славы мира сего и крови. Это единство мотивов, актуализирующее идею преступления через греховность помыслов, желаний, ведущих к преступным, кровавым деяниям, подчеркивается в памятнике не только в характеристике Годунова и Отрепьева.

---

[22] «И уподобися той Борисъ древней зміи, иже прежде въ раи прелсти Евву и прадѣда нашего Адама…» [Иное сказание, стб. 3].

[23] Ср: Годунов «изумлена о суетной славѣ міра сего» [Иное сказание, стб. 10]; Лжедмитрий I «прелсти славою міра сего скоротекущаго» [Иное сказание, стб. 42].

Аналогичный прием составитель использует в рассказе о «безумном» Илейке Горчакове. Как когда-то дьявол вошел в сердце Годунова, так теперь он завладел сердцем Илейки, и он, «ревнуя» Гришки Отрепьева «прелести», «нарече бо ся <…> Петромъ царевичемъ» [Иное сказание, стб. 97], сыном государя и великого князя Федора Ивановича, и собирался всех людей Московского государства «прелстить». И опять «овіи безъ ума прелстишася, овіи страха ради множества ихъ предашася имъ…» [Иное сказание, стб. 99]. И снова мятежники-«кровоядцы» «лакнуша крови христіянскія» [Иное сказание, стб. 99]. Точно так же описываются в памятнике и деяния «дикого вора тушинского». Лжедмитрий II — «инъ злобѣсный кроволакательный песъ или человѣкоядный звѣрь; иже лукавое око отверзе и злое рыканіе испусти, и вся простожительныя люди устраши, а зміеобразныя лукавыя и злыя сихъ къ своему кроволитному нраву своя привратити» [Иное сказание, стб. 117].

Составитель «Иного сказания» использует одну и ту же схему описания для всех самозванцев эпохи Смутного времени, начиная от крупных фигур на исторической арене, таких, как Борис Годунов и Лжедмитрий I, и кончая сравнительно с первыми более мелкими — Илейкой Горчаковым, Иваном Болотниковым и Лжедмитрием II, тушинским вором. Во всех этих случаях в завуалированной форме через сходство мотивов реализуется библейская идея преступления, восходящая к первоисточнику — сюжету об Адаме и Еве. Все претенденты на царский престол эпохи Смуты уподобляются составителем «Иного сказания» согрешившим в раю.

Второе яркое отличие интерпретации сюжета о грехопадении в «Ином сказании» состоит в углублении идеи возмездия-наказания за преступление. Вслед за автором «Повести, како восхити…», настойчиво проводившим мысль о взаимосвязанности деяний и их последствий, составитель «Иного сказания» делает лейтмотивом произведения фразу: «О братіи любовніи! не дивитеся начинанію, но зрите, каково будетъ скончаніе» [Иное сказание, стб. 16][24]. Но, в отличие от «Повести, како восхити…», в «Ином сказании» прослеживаются более тесные причинно-следственные отношения между мотивами жажды славы мира сего и крови, смерти. Эта взаимосвязь просматривается и в риторических авторских отступлениях, и в собственно художественном воплощении библейской идеи познания смерти в результате совершения греха. Как и автор «Повести, како восхити…», составитель «Иного сказания» показывает двойственные результаты стремления к власти. С одной стороны, мечта одного человека о суетной славе мира ведет к «кроворазлитию» во всей Русской земле, с другой стороны, грешник, в котором «неугасимым огнем» разгорелась страсть «къ державству Московского государства», «возмездіе самъ воспрія и

[24] Ср. в «Повести, како восхити…»: «О братія и любовніи! не дивитеся начинанію, но зрите, каково будетъ скончаніе» [Повесть, како восхити, стб. 154].

съ родомъ своимъ на земли во очію нашею, а въ будущемъ вѣцѣ Богъ единъ самъ вѣсть, что воздаяніе ему воздастъ» [Иное сказание, стб. 10]. Наконец, один человек, увлекшийся дьявольскими «сладостными глаголами», не только сам отпадает от ангельского чина и царства небесного «во тлю и въ смерть», но увлекает за собой «прочихъ человѣкъ во свою погибель» [Иное сказание, стб. 42]. И если автор «Повести, како восхити…», реализуя идею наказания, лишь констатировал факты гибели сначала Бориса Годунова и его семьи, затем Лжедмитрия I, то составитель «Иного сказания» идет дальше. Он реализует художественными средствами идею тления и забвения памяти убиенных грешников.

Так, повествуя о самоотравлении Бориса Годунова, составитель пишет об изменении его человеческого облика в результате принятия смертоносного зелья: «…и образу его измѣнитися отъ изломанія, и всему тѣлу во уголь почернѣвшу и виду его: но и сказати не возможно, каковъ бысть отъ лютости зелейной» [Иное сказание, стб. 39]. Членов семьи Бориса Годунова и весь их род постигла та же страшная участь, которую некогда царюющий неправдою Борис уготовил жителям Комарицкой волости: имения и дома Годуновых были разграблены, их самих «переимаша» и предали лютой смерти, «яко буря велія развѣя ихъ, яко прахъ» [Иное сказание, стб. 47–48]. И даже после смерти они не сразу обретают покой. Лжедмитрий I повелел «извлещи съ поруганиемъ на сонмище» [Иное сказание, стб. 51] останки Бориса Годунова из традиционной царской усыпальницы и погрести его и сына в «убоземъ» монастыре.

Еще страшнее участь Отрепьева в изображении и автора «Повести, како восхити…», и составителя «Иного сказания»: мечом и «прочим убійством» разным орудием убиен, он «всяко влекомъ бяше <…> по земли множайшихъ человѣкъ руками» [Иное сказание, стб. 58], и невозможно, страшно живому человеку было не то что касаться его, но и смотреть на лицо его. Три дня нагой труп Отрепьева лежал на «торжищи», никем не брегомый, а после его выволокли и бросили в поле. Примечательно, что в этом фрагменте автор вновь приводит скрытую цитату из сюжета об Адаме и Еве. Но если в библейском тексте говорится, что Адаму суждено уйти в землю, от которой и взят он был, то Лжедмитрию I и в поле не суждено было обрести покой: самая земля «возгнушася» принять «сына погибели», пока не ввергли его «всесквернавое», «злосмрадное», «законопреступническое» тело в ад, сожегши.

Горчаков, согласно «Иному сказанию», увлек за собою «въ ровъ погибелный седмьнадесятъ тысящъ войскихъ людей» [Иное сказание, стб. 112], которым впоследствии царь Василий Иванович Шуйский с войском своим «челюсти <…> растерза» [Иное сказание, стб. 115], а самого разбойника Петрушку по многом истязании повесить повелел. О судьбе «тушинского вора» составитель «Иного сказания» и вовсе умалчивает, но на фоне

красочных повествований о гибели его самозваных предшественников этот рассказ и не требуется: и так понятно, что его удел — небытие.

Таким образом, в основе повествовательных моделей «Повести, како восхити…» и «Иного сказания» лежит библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы. Авторы довольно последовательно воспроизводят на новом историческом материале все основные компоненты библейского рассказа. Выбор же ведущей повествовательной модели во многом объясняется идеологическими установками авторов и самой исторической ситуацией. В начале XVII столетия пошатнулись основы средневековой идеологии, вера в божественное происхождение власти царя. На российский престол стали претендовать представители самых разных сословий. Почти все они выступали в роли нарушителей канонов[25] и с точки зрения писателей Смуты вели себя как вероотступники, еретики, убийцы и враги. Каждый раз, когда такой нарушитель посягал на святой царский престол, он уподоблялся либо змию, либо прельщенным Адаму и Еве. Как перволюди, согрешив, лишили себя возможности пребывать в раю, так и каждый претендент на право назваться царем всея Руси лишал всех граждан государства возможности существовать в земном раю, т. е. жить в покое, тишине и благоденствии. Захват царского престола путем убиения предыдущего царя воспринимался современниками как возврат к первоистокам. Поэтому и в художественном отношении вполне оправданным кажется выбор авторов: история человечества началась с грехопадения Адама и Евы, и новая история Московского государства начинается с прегрешения Бориса Годунова. Многократное же повторение одной и той же модели повествования с незначительными изменениями в тексте «Иного сказания» как нельзя лучше демонстрирует тяжелейший кризис («династический, государственный, социальный»[26]), разыгравшийся в Русской земле в начале XVII столетия.

К библейскому сюжету о грехопадении первых людей обращается при изложении событий эпохи Смутного времени и дьяк Иван Тимофеев во «Временнике».

В главе «О том же царе Василии Ивановиче» приводится сравнительно подробный пересказ библейского сюжета, в котором на первый план выдвигается идея законной власти и следования заповедям господним. История воцарения и падения Адама проецируется на современные автору события. Обустройство жизни в раю до преступления Адама рассматривается как идеальная модель государственного устройства, к которому «была близка Русь до того времени, как ее правители начали “превращать” старые порядки»[27].

Тимофеев проводит ряд недвусмысленных, прозрачных параллелей. Главные из них — «Адам – самодержцы» и «животные в раю – подданные царя». С помощью приема синтаксического параллелизма Тимофеев описывает идеальный политический строй. Как

[25] *Панченко А.М.* Я эмигрировал в Древнюю Русь. С. 96.
[26] Там же. С. 89.
[27] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 368.

созданный «рукою божиею» из земли Адам «надо всеми бывшими яко царь самовластен поставися твари всей», так и «наши самодержавнии во своих державах обладаху нами всеми» [Временник, с. 109].

Тимофеев был ярым сторонником сильной власти единодержавного правителя, получившего свою власть от Бога. В его интерпретации Адам до своего прегрешения и есть идеальный монарх надо всем «тварным» миром. Неоднократно Тимофеев называет его царем, подчеркивает его непререкаемый авторитет путем сравнения власти Адама с властью самого Бога, всякая тварь в раю оказывается послушна его воле: «…птицы, зверие же и гади вси страхом повиновахуся в покорение, якоже своему сотворителю, владыце всех и господу», «…диви вси быша самопокорни о всем…» [Временник, с. 109].

Идеальное обустройство жизни в раю Тимофеев рассматривает сквозь призму яркой антиномии: безграничная власть от Бога – полное послушание. Эта идеальная модель государственного устройства, по мысли дьяка, существовала и на Руси до наступления смутных времен. Так же, как Адаму в раю подчинялись все, «трепетаху» его «повеления», покорны российским самодержцам были подданные. Эта мысль развивается при помощи антитезы «владыка» – «рабы» и посредством сближения образов «твари всей» в раю и подданных российских самодержцев через уподобление последних «скоту», «рыбам безгласным»: «…самопослушни, яко же скот водящему и даже до заколения сопротивитися не совесть; тако безответни быша к ним, яко рыбы безгласни…» [Временник, с. 109], а также семантических «перепевок»: обитатели рая «…вси страхом повиновахуся в покорение, якоже своему сотворителю, владыце всех и господу», и подданные «повинующееся им (царям. — *О.Т.*) во страсе подобне, честь страха ради творяще вмале яко не равну з богом» [Временник, с. 109]. Идея безграничного послушания царям реализуется и через адресацию к Писанию и упоминание о добровольной покорности воле самодержцев до самой смерти: «К ним же быхом от всех много век доселе непрекословни, елико по писанию быти достоит ко своим владыком рабом повиннем, во всех служебне; не уже до крови токмо, но и до самоя смерти быхом им самопослушни…» [Временник, с. 109].

По мысли Тимофеева, идеальная модель государственного устройства напрямую зависит от праведности правителей, соблюдения ими заповедей Господних. Вся тварь райская была послушна Адаму «прежде преступления». Согрешение приводит к перемене полюсов, дестабилизации «правильного», установленного Богом порядка. Если до прегрешения «дивии» боялись Адама, то после преступления заповеди он всех боится: «И донелиже первозданный не запятся всех врагом губителем к первой заповеди преступлению, тогда безсловесная вся, иже по сих ныне и страшащая ны, созданнаго оного трепетаху повеления. Егда же змия Евзе прелесть во уши пошепта, она же научением тоя и

мужа си сопрельсти, — абие оттуду сам новозданный всего царь мира животных онех ужесатися начат…» [Временник, с. 109].

«Падение» царя Адама повлекло за собой и нравственное «падение» всей твари. Согрешивший Адам положил начало бесконечному «падению» всего человечества: «…и от прослушания падению по них быхом оттуду вси причастни доныне» [Временник, с. 109]. В этом же ключе рассматривается и современная Тимофееву политическая ситуация, сложившаяся в Московском государстве. У истоков бед всей земли Русской стоит прегрешение ее правителей. Как только «предержателе наша поелику начаша древняя благоуставления законная и отцы преданая превращати и добрая обычая на новосопротивная изменяти, потолику и в повинующихся рабех естественный страх к покорению владык оскудеваше изчезая…» [Временник, с. 110].

Еще до того, как Тимофеев недвусмысленно жестко обозначил свою политическую позицию, в текст «Временника» была лейтмотивно вплетена идея тесной взаимосвязи поведения правителей и подданных. Законная, «твердая» власть царей, по мысли автора, является залогом и необходимым условием «твердости» государства. В самом начале «Временника» Тимофеев упоминает о древности рода, к которому принадлежал Иван Грозный. Все цари, до Бориса Годунова, «законно же и святолепно сынови от отец доднесь происхождаху» [Временник, с. 11]. Потому и владения их «четырьма краевы вселенныя доныне царствия тех водружена непоколебимо утверждахуся» [Временник, с. 11].

Иван Грозный, введя опричнину и разделив «всю землю державы своея, яко секирою» [Временник, с. 12], вызвал смятение в людях: «Сим смяте люди вся…», «…и усомневатися всем в мыслех своих о бываемом…» [Временник, с. 12]. В греховном поведении царя Ивана Васильевича видятся Тимофееву истоки Смуты, «нетвердости» царства: «…нынешнея всея земля розгласие яко прообразуя оттуду до зде <…> и доныне неутверженым от грех колеблемо, и несть ю до единаго ныне от человек утвердити могущаго, по Христову гласу, яко “всяко царство, раздельшееся на ся, не может стояти”» [Временник, с. 12].

Размышляя на тему целования креста на верность российским самодержцам, Тимофеев отмечает, что прежние, законные, цари приказывали приносить клятву верности в жилых домах [Временник, с. 66, 71]. Борис Годунов заставил подданных приносить клятву в церкви, думая таким образом «твердее же и преждебывших его царей крестную ему в людех утвердити клятву во утверждении царства» [Временник, с. 66]. Он поставил «мнимое утверждение паче божия заповеди» [Временник, с. 67] в почет. Желая таким способом «во царство си утвердити», он тем самым «паче свое укрепление разори» [Временник, с. 67]. Борис не только сам согрешил, замечает Тимофеев, нарушив своим приказом древние установления, но и погубил души тех, кто прикладывался неправо к

кресту. В конце повествования «О крестном целованье Борису» Тимофеев вновь возвращается к уже озвученной в начале главы мысли, углубляя и расширяя мотив «твердости». Вновь противопоставляются автором клятвы «во утверждение» «предваршия же сущия наша цари» и Бориса Годунова. Если первые были «законопреступления свободны» и их клятва действительно «во утверждение» была, то Борис Годунов только думал, что измененное крестное целованье «во утвержение, бог же преврати мнимое его твердое на бывшее людем о нем развращение; вскоре бо сконча живот его, якоже пишет: ”егда глаголете мир и утвержение, тогда найдет на вы всегубительство”» [Временник, с. 71]. Тимофеев открыто и назидательно противопоставляет истинную и мнимую «твердость», имеющую, соответственно, прямо противоположные исходы: первая — «во утвержение» самих царей и царства; вторая — во «всегубительство» и в прямом, житейском, и в сакральном, христианском, смысле.

Аналогичным образом (через антитезу и апелляцию к Писанию) Тимофеев развенчивает еще одно «мнимое» «утвержение» Бориса — «утвержение имени»: «…восхоте сотвори чрез первыя самодержавных уставы в письмянех всяцех свое утвердити имя: полным имянованием в коейждо отроце описоватися повеле <…>. Умысли бо он тоя полности частостию имя свое вкоренити и памятну бытии в роды, не внят о сем ушесы гласа пророческа, яко “в род един потребится имя его”…» [Временник, с. 71]. В этом же ключе Тимофеев толкует и другие деяния Бориса Годунова: надстройку на колокольне Ивана Великого, вскрытие раки св. чудотворца Петра и др.

Своими греховными распоряжениями Борис Годунов постоянно гневал Бога, и в результате «подданные лишились всякой надежды на Господа»[28]. Греховность правителей, по мысли Тимофеева, становится своеобразным ключом, отпирающим греховность в подданных, позволяющим им делать то, на что ранее они никогда бы не осмелились.

Разительна перемена, происходящая в подданных в результате греховных поступков царей: «Рабопослушныя же мнози от сего быша самослабостни и страшиви естества обычаи, и на кождой час изменуеми, и словопревратни удобь, и всяко неутвержени ни в чем, в делех же и словесех нестоятельна, по всему вертяхуся, яко коло, и друг другом защищающееся в находящих» [Временник, с. 110]. Мотив изменения, оскудения «крепости» становится центральным в описании поведения граждан и состояния государства после прегрешения царей. Изменение характера поведения подданных привело «от древняя крепости в худость» [Временник, с. 110]. Некогда бывшая «твердость» превратилась в «немужество» и «слабость»: «…наше предипомянутыя слабости… наше немужество <…> несть отнюдь мужества никоего в нас до единаго, зане от грех готову в себе пристяжахом слабость…» [Временник, с. 110–111]. Это и привело в конечном итоге,

[28] *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 138.

замечает Тимофеев, к появлению самозванцев на русском престоле и «погибельному предкновению совершенаго падения» [Временник, с. 111].

Когда же «первые крепости оскудехом вконец», достоинство окончательно покинуло граждан. Тимофеев рисует поистине сатирическую картину произошедших в людях перемен: «…стари в нас быша слабоумнии, вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долгость, юже являху людем и красахуся тою, яко мудрии; средолетнии же бяху миролюбни и славлюбни, якоже и предиреченнии, и ко властем обои о неправдах самодвижением утреневаху присно…» [Временник, с. 111].

Эта закономерность «прегрешение самодержцев – оскудение крепости в людях» рассматривается Тимофеевым сквозь призму библейской истории. Как только Адам и Ева согрешили, тотчас же и «огорчися», ибо были изгнаны из рая и познали, что есть убийство. Аналогичным образом Тимофеев трактует сложившуюся в эпоху Смуты ситуацию: «…вси бо согрешиша от младенец до старец» и «за грехов презмерия древняя в нас крепость от всех отъяся». Из-за этого, в частности, напавшие на Русь «языцы» всю землю разорили даже более, чем хотели.

Подводя итог сказанному, Тимофеев еще раз напоминает: «Се же все бысть державных малем поползновением, якоже Адамлим ко греху умяхчением…» [Временник, с. 111]. Таким образом, во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева совершенно в ином ключе, по сравнению с «Повестью, како восхити…» и «Иным сказанием», используется библейский сюжет о грехопадении первых людей. Жизнь в раю до прегрешения Адама-царя осмысляется писателем как политический идеал, к которому когда-то приближалась Русь и который был утрачен вследствие «малого поползновения» власть предержащих и греховного «молчания», «шатания» и прочих недостойных дел подданных, идеал, к которому Русь необходимо должна вернуться, чтобы государство вновь обрело «твердость» и «крепость».

К ветхозаветной истории грехопадения первых людей при изложении событий Смутного времени обращается и князь И. А. Хворостинин в «Словесах дней, и царей, и святителей московских», однако использует этот библейский сюжетный архетип несколько иначе. В отличие от авторов «Повести, како восхити…», «Иного сказания», Хворостинин приводит сравнительно подробный пересказ ветхозаветной истории в начале повествования, сразу же после цитаты из сочинений аввы Дорофея о смирении как важнейшей добродетели[29]. Далее следует краткий рассказ о воплощении, принятии крестной муки и воскрешении Бога-Сына, посещении апостолом Андреем Киева и о

[29] Там же. С. 191.

вызволении «от тмы идолския»[30] Русской земли [Словеса, с. 432]. Расположение материала во введении к собственно исторической части памятника, его компоновка восходят к древнерусской летописной традиции; выбор же библейских и исторических сюжетов, как и обилие цитат из Священного Писания внутри исторического повествования, служит «конкретной цели — доказать <…> приверженность православию»[31], что обусловлено реальными биографическими фактами жизни автора: князя Хворостинина обвинили в еретичестве, сослали в монастырь, и его сочинение в первую очередь представляет собой самооправдательное писание, а не подробный исторический рассказ о событиях, участником и свидетелем которых ему довелось быть.

Избираемые для воспроизведения в историческом повествовании детали и элементы библейского сюжета обрамляются авторскими комментариями, которые предопределяют ведущие мотивы в характеристике поведения первых людей и содержат недвусмысленные авторские оценки Адама и Евы. Три основных компонента библейского сюжета оказываются в центре внимания автора: 1) вкушение запретного плода; 2) ответ Адама Богу; 3) ответ Евы Богу.

Вина Адама, по мысли Хворостинина, многоступенчата. Праотец человечества согрешил дважды: первый раз — когда, «помрачившу совесть», преступил заповедь, второй раз — когда вместо покаяния обвинил жену в своем падении. Пересказ этого фрагмента библейской истории колеблется в памятнике между тремя мотивами — гордыни, смирения и покаяния. При этом каждую деталь сюжета библейской истории сопровождает авторский комментарий. Например, говоря о вкушении запретного плода, Хворостинин на первое место выдвигает причину, а затем уже говорит о содеянном: «Сему уже помрачившу совесть и преступившаго заповедь, горкая плода вкусивше…» [Словеса, с. 428].

Адам, пишет Хворостинин, был изгнан из рая, так как «преестественная помыслив поползеся»; он не покаялся из-за «пресущественнаго суеумия», ибо «пребысть выя его высока». Мысль о спасительности смирения пронизывает весь пересказ и трактовку библейского сюжета: «Аще исперва смирил бы себѣ, не бы всему роду навел напасть». Но Адам не «смирил» себя», не услышал Творца, который «подтворял его <…> к смирению винавнаго прощения». И Хворостинин патетически восклицает: «Ни мало смирения! И гдѣ есть еже покаяние и виновное прощение! Но нимало покаяния…» [Словеса, с. 428]. Аналогичным образом воспроизводится ответ Евы, и снова Хворостинин акцентирует внимание на отсутствии смирения, к которому призывал Господь: «“Поне ты покаяние

[30] *Хворостинин И.А.* Словеса дней, и царей, и святителей московских // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 428–463. Здесь и далее текст цитируется по данному изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[31] Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков. С. 660.

принеси и от греха очистившася, да смирится душа твоя, и помилована будеши”. И обаче нигдѣ прощения» [Словеса, с. 430].

Завершает рассказ о прегрешении первых людей целая «проповедь» в утверждение идеи охранительно-защитной функции покаяния и важности смирения в исполнении заповедей для каждого человека как единственного условия достижения «блага»[32].

Особенности изложения и трактовки ветхозаветной истории во многом предопределяют и принципы художественной характеристики Бориса Годунова и Лжедмитрия I в памятнике. В тексте наблюдаются неточные, но весьма характерные стилистические переклички и сходство мотивов, объясняющих либо поведение героев, либо последствия их поступков. Например, описание преступлений Адама и Бориса Годунова объединяет мотив гордости и прямое и косвенное упоминание о неподобающих мыслях. Ср.: Адам «преестественная помыслив <…> пресущественнаго суеумия <…> выя его высока…» [Словеса, с. 428]; Борис Годунов «возвысися зело и почитание сотвори себѣ яко богу, и восписовашеся: “Паче творца тварь почтеся”» [Словеса, с. 436]. Аналогичного типа стилистические совпадения обнаруживаются и в описании сцен наказания первых людей и Годунова, при этом обращает на себя внимание не только тесная связь мотивов гордости, «высокоумия», смерти, но и прямолинейность трактовки судьбы царя Бориса, которая особенно заметна вследствие предельной сжатости повествования, отсутствия временных повествовательных лакун. Ср.: Адам «тлѣнию подлежа греха ради сущаго в раю <…> суеумия… ни един (ни Адам, ни Ева. — *О.Т.*) обретеся имея мало смирения. И сея видѣвъ, господь достиже устроение ваше: в кая и в колика зла внесе вас…» [Словеса, с. 428–430]. О Борисе Годунове: «И видѣ богъ, и не презрѣ <…> и укроти высокоумие его, и уби землю его кровми, и умали дни времени его, и порази поражением лютым, и в темное сенение смерти изринул его…» [Словеса, с. 436]. И даже факт перезахоронения тела Годунова Хворостинин осмысляет сквозь призму мотива наказания за неправедные мысли: «И се показа тѣлом содѣтель всяческих в поношение и по смерти и по смерти его и изверже на обличение всѣмъ неправедно мыслящим и глаголавшим лукавая» [Словеса, с. 438].

Тот же мотив гордости, «высокоумия» пронизывает и повествование о Лжедмитрии I. Так, говоря о склонности Григория Отрепьева к роскоши, Хворостинин замечает: «…нѣкогда же величашеся грядущихъ по себѣ, *видъ* жития своего храмины похвалив, елико благочестием их устрои, яко златоточны простертием украсив…» [Словеса, с. 440]. Его «высительные словеса» [Словеса, с. 440] прерывает некий стоящий поблизости юноша. Но тщетны его увещевания, ибо Лжедмитрий I «мыслию же и тщаниемъ много возвысився» [Словеса, с. 442].

[32] В дальнейшем идее смирения перед властью, как, впрочем, и одной из важнейших проблем клятвопреступления, оказывается подчинено все повествование. См. подробнее: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 174–206.

Таким образом, пересказ ветхозаветной истории грехопадения первых людей в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» И.А. Хворостинина актуализирует важнейшие для трактовки событий эпохи Смуты в данном памятнике идеи гибельности гордыни и спасительности смирения.

В целом, многообразие трактовок сюжета об Адаме и Еве в памятниках эпохи Смутного времени демонстрирует различные подходы к использованию библейской повествовательной модели в художественном пространстве, индивидуальность прочтения и интерпретационного переложения на современные авторам события библейского текста, актуализацию разных мотивных доминант, что обусловлено различными исходными идейными установками авторов. Но сама обращенность многих авторов к одной и той же модели повествования, восходящей к Книге Бытия, весьма примечательна и свидетельствует о стремлении книжников той эпохи не только соотнести современные события с библейской «шкалой» оценок. Рассматривая специфику художественного мышления и эстетического сознания в первой половине XVII в., В.В. Бычков отмечал: «Уже в первые десятилетия ситуация социального и политического кризиса наложилась на активно развивающийся кризис средневековой культуры в целом. В ней возникла защитная реакция — мощная вспышка средневековых интенций, настроений, религиозно-мистических устремлений, которые внутренне были ориентированы на создание нового щита для отступающей в глубь веков, но не сдающейся культуры»[33]. Такой «весомой лептой» в укреплении «щита» уходящей культуры были и используемые книжниками библейские интертекстуализмы, и актуализируемые в памятниках традиционные для средневековой русской словесности христианские мотивы.

2. Христианские мотивы в рассказе о народном ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце»[34]

«Книга глаголемая новый летописец» (далее — «Новый летописец»), датируемая 1630 г., вышла, по мнению многих исследователей, из «правительственных сфер»[35], близких к патриарху Филарету.

---

[33] *Бычков В.В.* Древнерусская эстетика. СПб.: Центр гуманитарных исследований, 2011. С. 596.

[34] Первая публикация материала см.: *Туфанова О.А.* Христианские мотивы в рассказе о народном ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. Т. 24, № 2. С. 171–178.

[35] *Солодкин Я.Г.* Очерки по истории общерусского летописания конца XVI – первой трети XVII веков. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. С. 173. См. также: *Солодкин Я.Г.* Летописец Новый // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII в.), ч. 2: И – О. С. 257–263; *Вовина-Лебедева В.Г.* Новый летописец: история текста. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 400 с.; *Вовина В. Г.* 1) Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского летописания // Отечественная история. М., 1992. № 5. С. 117–130; 2) Новый летописец. Итоги и проблемы изучения // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: сб. ст. М.: Ин-т истории СССР,

В этом «обстоятельном, богатом историческими сведениями повествовании о Смутном времени»[36], состоящем из оглавления и 422 глав[37], рассказу о народном ополчении 1611–1612 гг. и его организаторах уделено значительное внимание. При этом, в отличие от других памятников, таких как «Хронограф 1617 года», «Бельский летописец», «Иное сказание», «Пискаревский летописец», «Летописная книга», «Рукопись Филарета», важную роль в повествовании играют христианские мотивы, пронизывающие рассказ от начала и до конца. В списке князя Оболенского глава, открывающая рассказ об ополчении, начинается примечательной сентенцией: «Богъ же призрѣ на смиреніе рабовъ своихъ и не восхотѣ отчаяніемъ погибнути имъ, даде помощь не единому граду Москвѣ, но всему государству, отнюду же не надѣяхуся. Въ Нижнемъ бо Новѣградѣ людіе тамо сущіи отъ Бога вразумишася…»[38] [Новый летописец, с. 144] — и держат совет, как избавиться от «Латинскаго насилія» [Новый летописец, с. 144] и помочь граду Москве, которым «латини обладаша» [Новый летописец, с. 144]. В дальнейшем весь рассказ об ополчении будет освящаться идеей Божьей помощи, на которую уповают «вразумленные», а сама идея очищения Московского государства в сознании автора «Нового летописца» будет тесно связана с идеей защиты истинной православной веры.

Эта мысль звучит в обращении Кузьмы Минина к нижегородцам: «сіе бо дѣло вѣліе хощете начати, аще Богъ поможетъ, можетъ все сіе сотворити» [Новый летописец, с. 144]. Уже в самом начале идея идти на помощь Москве оценивается в памятнике устами Кузьмы Минина как «дѣло вѣліе», которое, несмотря на все трудности и кажущуюся невозможность достижения, будет иметь успех, «аще Богъ поможетъ». Эта вера в помощь Бога обусловлена благородством цели — «намъ должно православія ради, да не будет насиловано, и мы обладаеми Латини» [Новый летописец, с. 145]. С этой целью вступиться за истинную православную веру Минин призывает изыскать «честнаго мужа, кому заобычно ратное дѣло» [Новый летописец, с. 145]. С этой просьбой приходят посланники к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, который «радъ вѣры ради страдати до самыя смерти» [Новый летописец, с. 145]. Вместе с тем горячее желание защитить православную веру, благородная цель идти «на очищеніе Московскому государству» [Новый летописец, с. 146] не получает всеобщей поддержки. Автор «Нового летописца» рассказывает, например, о прямо противоположном желании дьяка Никонора Шульгина и Ивана Биркина

1987. С. 61–88; *Жарков И.А.* «Новый летописец» по списку М.А. Оболенского // Летописи и хроники. 1973 г. М.: Наука, 1974. С. 293–298; *Зотов А.М.* «Новый летописец» как памятник литературы первой трети XVII века. Указ. соч.

[36] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 65.

[37] *Солодкин Я.Г.* Летописец Новый. С. 260.

[38] Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича, издан по списку князя Оболенского. М.: В Университетской тип., 1855. 190 с. Здесь и далее текст памятника цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

в Казани, которые «желаше видѣти в запустѣніи Московское государство» [Новый летописец, с. 146]. Но, несмотря на противодействие, «Князь Дмитрій же и Кузьма и вси ратніи, слышавше сіе положиша на Бога упованіе свое, воспоминая древле сотворшіяся таковыя жъ вещи, яко малыми людьми Богъ поразити можетъ множество сильныхъ» [Новый летописец, с. 146].

В дальнейшем в рассказе об ополчении мотив упования на Бога князя Пожарского, Минина и всей рати и мотив Божьей помощи им становится одним из ведущих. Например, по дороге к Москве, отпустив рать с князем Иваном Андреевичем Хованским и Кузьмой Мининым, князь Д.М. Пожарский «поиде съ малою дружиною въ Суздаль въ монастырь Всемилостиваго Спаса и Чудотворца Евфимія» [Новый летописец, с. 152]. Из Переславля князь Пожарский и Кузьма Минин и все ратные люди пришли «къ монастырю Живоначальныя Троицы и Чудотворца Сергія» [Новый летописец, с. 153], чтобы взять благословение и поклониться «у мощей чудотворцовъ Сергія и Никона» [Новый летописец, с. 155]. При этом автор являет в тексте не только единение князя с Кузьмой Мининым и войском, но и единение священства с народным ополчением. Так, «королевские люди», услышав, что в Нижнем Новгороде собирается ополчение, пытались заставить патриарха Гермогена их остановить. Он же отвечал им: «да будетъ имъ отъ Бога милость и отъ нашего смиренія благословеніе; на васъ же измѣнникахъ да изліется отъ Бога гнѣвъ…» [Новый летописец, с. 146]. Архимандрит Дионисий «со всею братіею» [Новый летописец, с. 153] Троицкого монастыря взял икону Живоначальной Троицы и чудотворцев Сергия и Никона «пойдоша изъ монастыря, поюще пѣсни духовныя, вси слезяще и вопіюще, да помилуетъ падшій народъ и да возставитъ паки, и противныхъ рогъ да сокрушитъ, и вѣру не нарушену да сохранитъ, и расточенныя паки да соберетъ; вси же ратніи рыдающе моляху Бога, да милостивъ будетъ имъ» [Новый летописец, с. 153]. Дувший от Москвы сильный ветер, воспринятый как знак не на благо, привел все войско в ужас («ратніи же вси во ужасѣ быша» [Новый летописец, с. 153]). Но архимандрит благословлял крестом и кропил водою каждую сотню, подходившую к иконе, «глаголя: идите чада моя, Богъ да поможетъ вамъ, постражите яко добріи воини Христови!» [Новый летописец, с. 153]. Когда прошли все сотни, архимандрит, уже вслед рати, «воздвиже крестъ рече: силою креста Господня да будете вооружени! и кропляше съ слѣдъ ихъ» [Новый летописец, с. 153]. В результате ветер переменился, и «ратніи же абіе вси страхъ отложше <…> почюша въ себе нѣкую сладость, и вси премѣнишася на веселіе…» [Новый летописец, с. 153].

Не желая пропустить гетмана Хоткевича к Москве с припасами, «Вси же людіе начаша со слезами взывати къ Богу да помилуетъ падшихъ и сотретъ рогъ сопротивныхъ, и обѣщашася вси вкупѣ возвигнути храмъ Пресвятѣй Богородицѣ честнаго Ея Срѣтенія, и Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, и Чудотворца Петра Митрополита

Московскаго» [Новый летописец, с. 156]. И точно так же, как была услышана молитва к Сергию, и ветер переменился, вдохновив на подвиг войско князя Д.М. Пожарского, так и теперь искренняя молитва была услышана Богом: «…Богъ же, услыша вопль призывающихъ его съ вѣрою» [Новый летописец, с. 156] и послал помощь, «охрабри» «немощнаго и къ ратному дѣлу неискуснаго» [Новый летописец, с. 156] Кузьму Минина. По согласованию с князем Д.М. Пожарским, он перешел за Москву-реку с тремя сотнями и напустился на литовские роты, стоявшие у Крымского двора, которые «Богъ же устраши… предъ нимъ» [Новый летописец, с. 156], и они побежали к своим таборам. Завершая рассказ об освобождении Москвы, автор пишет: «И тако милостію Божіею и молитвами Чудотворцовъ Московскихъ очистися градъ Москва отъ Латинъ въ лѣто 7121, мѣсяца Октября въ 23 день» [Новый летописец, с. 158].

Таким образом, мотив упования на Божью помощь и мотив помощи Бога и чудотворцев распространяется и на ратных, и на организаторов, пронизывая весь рассказ о сборе и деятельности ополчения 1611–1612 гг. Б.А. Успенский в работе «История и семиотика» писал: «История по природе своей семиотична в том смысле, что она предполагает определенную семиотизацию действительности — превращение не-знака в знак, не-историю в историю»[39]. В 1630 г., спустя почти 20 лет после описываемых событий, деятельность ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Д.М. Пожарского становится уже тем историческим прошлым, которое «не дано <…> в конкретном опыте и поэтому нуждается в дешифровке и реконструкции»[40], сами исторические события и личности превращаются в «дешифруемый текст»[41]. Специфика рассказа о событиях 1611–1612 гг., наблюдаемая в «Новом летописце», нашедшая выражение в сочетании мотивов, отражающих реальную действительность, и мотивов упования на Божью помощь и помощи Бога и чудотворцев, свидетельствует о том, что сравнительно недавнее прошлое вполне сознательно превращается автором из «не-знака» в «знак», в конструируемый в определенной системе текст. Эта система отнюдь не новая в истории древнерусской литературы, на протяжении всего предшествующего периода развития (XI–XVII вв.) задачей древнерусского книжника было «передать “*образ истины*”». «Этой цели, — писал В.В. Кусков, — подчинен средневековый историзм древнерусской литературы, который неразрывно связан с провиденциализмом. Все события, происходящие в жизни человека и общества, рассматриваются как проявление божественной воли. <…> “*Грех ради наших*” бог, по убеждению средневекового писателя, наводит иноплеменных завоевателей, посылает стране “немилостивого” правителя или дарует победу, мудрого князя в награду за

[39] *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. I. С. 11.
[40] Там же. С. 16.
[41] Там же. С. 17.

смирение и благочестие»[42]. Именно в этой системе и осмысливает и описывает события 1611–1612 гг. автор «Нового летописца», именно поэтому на первый план выходят лейтмотивы упования на Божью помощь и помощи Бога и чудотворцев.

Насколько типичны эти мотивы для исторических повествований первой трети XVII столетия, запечатлевших события 1611–1612 гг.? Как ни странно, в таком варианте они не представлены более ни в одном памятнике. Мотив упования на Божью помощь почти не встречается, пунктирно он намечен в «Бельском летописце», автор вскользь говорит о том, что Д.М. Пожарский и Кузьма Минин, придя под Москву, призывали Бога на помощь и Пречистую Богородицу. Мотив Божьей помощи едва намечен в двух самых ранних памятниках, рассказывающих об этих событиях, — «Хронографе 1617 года» и «Пискаревском летописце». В отличие от автора «Нового летописца», автор «Хронографа 1617 года» основное внимание уделяет не князю Д.М. Пожарскому, а Кузьме Минину, при этом при общем лаконизме повествования автор многократно подчеркивает, что Минина даровал Господь тем, кто его призывал: «Но есть **бог** близ всѣмъ, призывающимъ его. Воистиннѣ по *великой* возпростираемѣй убо **милости** своей **даруетъ** ко здравию врачевание. **Воздвизаетъ** бо нѣкоего **от христианска народа**, мужа **от рода неславна,** <…> его же прозваниемъ нарицаху Козма Мининъ, *художествомъ* бяше преже говядаръ» [Хронограф, с. 352].

Аналогичным образом реализуется мотив участия Бога в выдвижении представителя из простого народа в «Пискаревском летописце»: «И некоим смотрением божиим лета 7120-го в Нижнем Новгороде некий торговый человек от простых людей, имянем Козьма, прозвище Минин <…> почал советовати с своею братьею с нижегородцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити Московскому государьству»[43]. Далее в «Пискаревском летописце» интересующие нас мотивы не появляются.

Наконец, в «Бельском летописце», созданном после 1632 г., также встречается мотив Божьей помощи. В финале, завершая рассказ об освобождении Кремля, автор отмечает: «И тако очистил бог дом пречистые Богородицы вселенской и всех московских чюдотворцов от безбожные литвы»[44]. Но, как видно, акценты автор расставляет иначе, чем автор «Нового летописца».

Таким образом, «Новый летописец» — это один из немногих памятников, в котором в рассказе о событиях 1611–1612 гг. доминируют лейтмотивы упования на Божью помощь и помощи Бога и чудотворцев. В других текстах в рассказах о народном ополчении

---

[42] *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. С. 11.

[43] Пискаревский летописец // Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1978. Т. 34. С. 217. Далее в тексте ссылки даются на это издание, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

[44] Бельский летописец // Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1978. Т. 34. С. 261. Далее в тексте ссылки даются на это издание, в квадратных скобках указываются источник и страницы.

используются преимущественно мотивы, отражающие реальную действительность, в этих произведениях мы имеем дело с относительно «чистой» историей. Иначе обстоит дело с «Новым летописцем». В.Г. Вовина, рассматривая данный памятник в ключе спорных вопросов позднего летописания, отмечала: «НЛ не содержит сколько-нибудь оригинальной концепции русской истории за конец XVI – первую четверть XVII в., нет в нем и личного авторского взгляда на события, как, например, во “Временнике” Ивана Тимофеева и в некоторых других сочинениях того периода. Ценность памятника кроме содержащегося в нем богатого фактического материала как раз заключается в отражении наиболее утвердившихся к 30-м гг. XVII в. общепринятых формулировок и оценок Смуты и событий начала царствования династии Романовых»[45]. То есть «Новый летописец» отразил в рассказе о событиях 1611–1612 гг. «утвердившуюся к 30-м гг. XVII в.» трактовку событий, превратив историю народного ополчения в символический «знак»: победа оказалась возможна благодаря «вразумлению» людей, возвращению «падшего народа» к основам добропорядочного православного поведения, которое и было освящено помощью Бога и чудотворцев. По сути, «Новый летописец» «послушно» отреагировал «на изменение в государственной политике»[46], как это делали, по справедливому мнению Я.С. Лурье, и летописцы XVI в.

Вместе с тем автор «Нового летописца», усиливший религиозную трактовку событий, отразил общую тенденцию, характерную для «сравнительно поздних» произведений Смутного времени, в которых, по словам А.С. Демина, «начал формироваться желанный успокоительный образ вполне благопристойного “стада Христова”», в отличие от «старопечатных и рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в.», в которых наблюдалась, «по выражению Гермогена, “великая слабость” российских людей во время Смуты. Верхи общества страшила и тяготила долгая нетвердость множества людей в основах православия и царепочитания, их какая-то легкость в отступлении от этих основ и затянувшаяся нерешительность в возвращении на путь истинный»[47]. В «Новом летописце» на примере рассказа о событиях 1611–1612 гг. мы можем наблюдать, как происходил, с официальной точки зрения, возврат «на путь истинный».

Не случайно и в личностях организаторов ополчения 1611–1612 гг. автор «Нового летописца» подчеркивает исключительно качества, характеризующие их как людей, глубоко верующих и поступающих в непростых событиях Смутного времени в соответствии с основами и правилами православной культуры. Таковы устойчивые мотивы прихода ратных к князю Д.М. Пожарскому и раздачи им жалования. Повествуя о сборе

---

[45] *Вовина В.Г.* Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского летописания. С. 119.
[46] *Лурье Я.С.* Общерусские летописи XIV–XV вв. Л.: Наука, 1976. С. 260.
[47] *Демин А.С.* Древнерусская литература как литература… С. 370.

войска, автор пишет: «первіе пріѣхаша Коломничи, та жъ Рѣзанцы, послѣди же изъ градовъ Украинскихъ многіе люди, и казаки и стрѣльцы, тіи, которые сидѣли въ Москвѣ при Царе Василіи, и всѣмъ дадеся жалованья» [Новый летописец, с. 146]; «На Балахнѣ же пріѣха ко Князю Дмитрію и къ Кузмѣ Матѳеей Плещеевъ и многіе дворяне отъ разныхъ градовъ, они жъ имъ даша жалованья. А въ Юрьевцѣ пріидоша къ нимъ юртовскіе Татарове многіе люди; они жъ имъ даша жалованья…» [Новый летописец, с. 147].

Здесь, как и в других памятниках, настойчиво подчеркивается рационалистический подход Кузьмы Минина и князя Д.М. Пожарского к решению общерусской проблемы. Но мотив раздачи жалования, обусловленный желанием создать боеспособное войско, имеет в «Новом летописце» и другой подтекст — желание помочь людям.

Не случайно этот мотив порой тесно связан с мотивом жалости к людям. Так, прибывшие к Пожарскому и Минину в Ярославль посланники ратных, присоединившихся к князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, которым было «утеснение великое» от И. Заруцкого, — Ивана Кондырева, Ивана Бегичева «съ товарищи», — «плакаша много. <…> егдажъ они о себѣ сказаша, всѣ удивишася толикому ихъ терпѣнію и скорби, и едва ихъ осознаша, и слышаша нужду ихъ и терпѣніе, плакаху; таже давши имъ денегъ и суконъ, отпустиша вспять, обѣщающеся сами вскорѣ быти» [Новый летописец, с. 152].

Параллельно с рассказом о сборе войска, его движении к Москве автор неоднократно пишет о других благородных поступках князя, направленных на защиту людей из городов. Поэтому мотив защиты является одним из важнейших в характеристике деяний князя Пожарского, позиционируемого добропорядочным христианином. Например, когда посланники из Костромы возвестили князю Д.М. Пожарскому «про умыслъ воеводы своего» [Новый летописец, с. 148] Ивана Шереметева, не желавшего впустить рать в город и намеревавшегося противиться, он по просьбе костромчан «даде имъ Князя Романа Гагарина да дьяка Андрея Подлѣсова» [Новый летописец, с. 148], а самого воеводу, которого «едва не убиша», спас от смерти: «Княземъ Дмитріем спасенъ былъ» [Новый летописец, с. 148]. В ответ на просьбу посланцев из Суздаля защитить их от казаков Просовецкого, князь Д.М. Пожарский «посла къ нимъ брата своего Князя Романа Петровича Пожарскаго, а съ нимъ Нижегородскихъ и Болахонскихъ стрѣльцовъ» [Новый летописец, с. 148]. Столь же внимательно князь отнесся к просьбе жителей Переславля Залесского защитить их «отъ насилія Заруцкаго», казаки которого «не точію градъ и посады и весь уѣздъ ихъ запустошиша» [Новый летописец, с. 150], «посла къ нимъ Ивана Ѳедоровича Наумова съ ратными людьми» [Новый летописец, с. 150].

В изображении автора «Нового летописца» князь Д.М. Пожарский отличается невероятным благородством, которое проявляется не только в помощи, финансовой или военной, но и в том, что он позиционируется князем, который умеет договариваться с

противником, а значит, он мирным путем наводит порядок в русских городах. Например, он писал к князю Дмитрию Мамстрюковичу с товарищами, чтобы они шли под Углич и «казаков тамо сущихъ, аще мощно, уговорити или побити» [Новый летописец, с. 149]. В итоге атаманы «Богданъ Поповъ, Ѳедоръ Берескинъ, Алешко Хухтинъ, Максимъ Чекушниковъ, глаголюще: мы и дружина наша отстахомъ отъ казаковъ…» [Новый летописец, с. 149]. Некровожадный по отношению к своим, он способен пойти на обман, на хитрость по отношению к чужим, но лишь затем, чтобы они не помешали достижению цели и не причинили вред городам, оставшимся без ратных, ушедших на «очищение Московского государства». Именно с этой целью Д.М. Пожарский отправил послов к Якову Пунтусову: «того ради тако сотвориша, да не учинятъ имъ Нѣмцы помѣшенія идти подъ Москву; не хотяху бо иноземца видѣти Государемъ своимъ, но хотяху избрати отъ своихъ…» [Новый летописец, с. 150].

По отношению же к своим «неправым» князь Д.М. Пожарский показывается в высшей степени милосердным человеком, который каждый раз, проявляя невероятное благородство, не дает совершить убийство, заняться грабежом, что не всегда согласовывается с желанием ратных. Так, он помог смутьяну, воеводе Ивану Шереметеву; «убити ни единаго не далъ» [Новый летописец, с. 151] из казаков и стрельцов, которые пытались его зарезать; приехавших из-под Москвы в Ростов атаманов, решивших разведать, нет ли против них какого умысла, вместе с Кузьмой Мининым пожаловал деньгами и отпустил; выпущенных из Китай-города боярских жен «пріятъ честно, и проводи кужждо къ пріятелю своему, и повелѣ кормъ даяти имъ. Казаки жъ вси хотяху Князя Дмитрія Пожарскаго убити за сіе, что не допустилъ ихъ боярынь грабити» [Новый летописец, с. 158]. Выведенных из Кремля бояр князь «честно… пріятъ и проводи въ полки свои» [Новый летописец, с. 158]. Наконец, взятый в полк князя Пожарского литовский полк Будилы «ни единаго же не убивъ разослаша всѣхъ въ разные грады» [Новый летописец, с. 158], для сравнения: «…и единаго полковника со всѣми людьми, именемъ Струса, взяша въ полкъ къ Трубецкому и къ казакамъ, его жъ полкъ казаки побиша» [Новый летописец, с. 158].

Немаловажную роль в создании положительного образа князя играет мотив разумной осторожности, который проявляется в отказе князя Пожарского и его рати стоять одним табором с казаками князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого [Новый летописец, с. 154]. Такое осторожное поведение князя Пожарского имело двойной эффект: с одной стороны, князь Трубецкой и его казаки «начаша злобу имѣти» [Новый летописец, с. 154] на князя Дмитрия Михайловича, и на Кузьму Минина, и на ратных людей, а с другой стороны, оно укрепило единство князя Пожарского и его войска. Забота и милостивое отношение князя Пожарского к ратным оборачивается такими же чувствами воинов по отношению к

нему и друг другу. В преддверии боя с гетманом Хоткевичем князь Трубецкой попросил пять конных сотен у князя Пожарского. Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма «надѣяся правдѣ быти, посла къ нему, выбравъ лучшихъ пять сотъ сотенъ» [Новый летописец, с. 154]. Во время же первого боя князь Трубецкой устранился, а его казаки, «яко пси лающіи, поношаху, глаголюще: богати пришли изъ Ярославля и сами едини могутъ отбитися отъ гетмана, и много безчествоваху» [Новый летописец, с. 155]. Видевшие из полка Трубецкого жестокий бой «конныхъ сотенъ головы», присланные от князя Пожарского, «поѣхаша со всѣми безъ повелѣнія его; Трубецкой же не хотяше ихъ пустити; онижъ не послушаша, и пришедъ въ полкъ къ біющимся и велику помощь учиниша» [Новый летописец, с. 155].

Примечательно, что такое отношение к «своим полкам» сотенных Пожарского оказывает влияние и на некоторых атаманов полка Трубецкого, которые проникаются общей целью: «Трубецкаго жъ полку атаманы Филатъ Межековъ, Афонасей Коломна, Дружина Романовъ, Марка Козловъ со всею дружиною своею пойдоша самовольствомъ на помощь къ біющимся, глаголюще къ Трубецкому: въ вашей нелюбви Московскому Государству и ратнымъ людемъ пагуба точію чинится, чесо ради не помогаеши погибающимъ; и пріидоша на помощь къ Пожарскому, и пособіемъ Божіимъ гетмана поразивши отгнаша...» [Новый летописец, с. 155]. Такая самостоятельность оценок и мышления ратных, самовольное поведение — отличительная черта изображения народа на последнем этапе Смуты не только в «Новом летописце», но и в других памятниках цикла. Но здесь важна сама идея защиты Московского государства, которая, несмотря на многое противодействие со стороны своих же, постепенно становится всенародной. С другой стороны, в повествовании опосредованно акцентируется новая для древнерусских исторических сочинений идея: судьбу страны решают не столько единичные личности, сколько народ, ведомый достойными людьми.

А.В. Медведев, рассматривая «роль сакрального в жизни человеческого коллектива и отдельной человеческой личности»[48], отмечал, что «история не безличный процесс, реально она представляет собой конкретную деятельность людей, наделенных свободной волей, но с другой стороны, история есть объективный процесс, что позволяет говорить о ее закономерностях. Вопрос вопросов — совмещение личного, неповторимо-индивидуального и исторической необходимости»[49]. В рассказе о народном ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце» мы видим удивительное совмещение:

– «личного»: подчинение всех действий благородной цели «очищения Московского государства», защиты православной веры;

[48] *Медведев А.В.* Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. С. 3.

[49] Там же. С. 7.

– «неповторимо-индивидуального»: и Кузьма Минин, и особенно князь Дмитрий Михайлович Пожарский предстают в изображении автора «Нового летописца» людьми глубоко верующими и согласующими все свои деяния с православными правилами и нормами поведения;

– «исторической необходимости»: нижегородское ополчение 1611–1612 гг. «находится в ряду-потоке не менее важных фактов самоотверженности, самопожертвования и самоотречения наших предков в деле преодоления Смуты», среди них — «оборона от тушинцев Троице-Сергиева монастыря, “Смоленское сидение”, полководческий талант Скопина-Шуйского, обреченный на поражение порыв Первого ополчения под руководством П.П. Ляпунова, военно-политическая деятельность “Совета всея земли” в Ярославле 1612 г., упорное нежелание новгородцев уйти под власть шведской короны, поступок Ивана Сусанина и героизм защитников Москвы в 1618 г. <…> Без предшествующих проявлений героизма и политической мудрости подвиг ополчения Минина и Пожарского не состоялся бы, а без последующих — он был бы лишен смысла»[50].

Таким образом, в рассказе об ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце» христианские мотивы, а также «набор фактов и способов их объяснения» и личности организаторов, «своей неповторимостью» накладывающие «неизгладимый отпечаток на исторические события, который характеризует не только форму, но и его содержание»[51], создают «своеобразный “канон” событий Смутного времени»[52], утвердившийся к 30-м гг. XVII в. Ход исторических событий решают «люди своей “неожиданной”, из глубины бытия возникающей волей»[53]. И если эта воля совпадает с желанием и волей народа, если они освящены идеей защиты православной веры, помощью Бога и искренним, идущим из глубин души упованием на Бога и чудотворцев, то и «малыми людьми Богъ поразити можетъ множество сильныхъ» [Новый летописец, с. 146].

3. Натурализм и умолчание как контрастные принципы изображения событий (на примере рассказов о голоде 1601–1603 гг.)[54]

Противоречивые события эпохи Смутного времени находят различное художественное воплощение в памятниках цикла. Порой специфические приемы изображения современных книжникам событий становятся заметны только при

[50] *Кузнецов А.А., Морохин А.В.* Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. URL: http://www.unn.ru/books/met_files/opolch.pdf (дата обращения: 12.01.2019).

[51] *Медведев А.В.* Сакральное как причастность к абсолютному. С. 7.

[52] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 577.

[53] *Померанц Г.С.* История в сослагательном наклонении // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 57.

[54] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Изображение голода 1601–1603 гг. в русских и иностранных источниках о Смутном времени // Вестник славянских культур. 2012. № 2 (XXIV). С. 77–83.

сопоставлении с сочинениями иностранных авторов. Различие подходов к представлению тех или иных событий в русских и иностранных произведениях о Смуте обусловлено принципиальным отличием исходных позиций повествователей.

Иностранцы, занимая позицию сторонних наблюдателей, даже если они и являлись непосредственными участниками событий, стремятся в большинстве своем дать зрительное реалистичное представление о событии[55], правда зачастую окрашенное стойким убеждением, что они, находясь в «варварской» Московии, вынуждены иметь дело с «невежественным, грубым и варварским народом»[56].

Сочинения русских авторов отличает особый тип документализма, использование которого приводит к сочетанию двух различных повествовательных систем. С одной стороны, это взгляд на события как бы изнутри, что оборачивается подменой — вместо документально точного рассказа о событии, позволяющего зримо представить, что же в действительности происходило, его лаконичная оценка. С другой стороны, это использование приема умолчания, когда речь идет о нелицеприятных для русских событиях, и еще одна подмена — вместо описания поведения людей провиденциальный или реалистичный рассказ о том, что привело к катастрофе или что явилось ее следствием.

Ярким примером такого противоречивого в изображении и оценке повествования может служить рассказ о голоде (1601–1603) во время правления Бориса Годунова.

Большая часть русских источников о правлении царя Бориса, среди них «Временник» Ивана Тимофеева, «Летописная книга», «Иное сказание» и др., умалчивают об этом трагическом трехлетнем периоде жизни в Московском государстве. Те же немногие источники («Хронограф 1617 года», «Словеса дней, и царей, и святителей» И.А. Хворостинина, «Новый летописец»), в которых тема голода находит отражение, содержат весьма скудную в художественном плане информацию и отличаются использованием в целом одинаковых приемов изображения.

Так, например, во всех трех вышеназванных текстах авторы применяют один и тот же лаконичный оценочный эпитет «велик» для характеристики голода: «гладъ бысть великъ» [Хронограф, с. 326], «глад велик» [Словеса, с. 434], «гладъ велій» [Новый летописец, с. 54, глава 84 «О гладе, и о смертоносии и о каменном доме»].

Все авторы указывают на большую смертность людей, которую вызвал голод. Общим для трех источников является указание на множество погибших и повсеместность распространения голода. В рамках же этого мотива наблюдаются незначительные стилистические отличия. Так, автор «Хронографа 1617 года», указав, что голод испытывали «по всей земли Рустей», использует прием тавтологии и дополнительный, указывающий на

---

[55] См. об этом, например: *Ульяновский В.* Смутное время. С. 153.
[56] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 154.

сверхмножество эпитет: «и многое безчилено множество от того гладу изомроша людей» [Хронограф, с. 326]. И.А. Хворостинин тоже отмечает всеобщность бедствия, но использует прием олицетворения: «Убиенна земля наша гладом…» [Словеса, с. 434]. Столь же бесстрастно-фактографичной выглядит на первый взгляд сообщение «Нового летописца»: «…пребысть же гладъ оный три лѣта и бысть мертвыхъ множество лежащихъ всюду», — сочетающее временной признак (указание на то, что голод продлился в стране три года), неопределенно-количественный (эпитет «множество») и пространственный («всюду»).

Однако сухая информативность соответствующей главы «Нового летописца» при детальном рассмотрении оказывается продолжением заданного в начале повествования изобразительного приема, эмоциональность которого становится заметна только при выявлении доминантных повторов и явных и скрытых параллелизмов. «Бысть же гладъ *велій*… прежде убо быша дождеве *велицыи*, во *все* лето… *всякому* сѣемому хлѣбу зеленѣющеся безъ зрѣлости… въ день же Успенія пресвятыя Богородицы еще *всякому* хлѣбу зелену бывшу и къ полности не пришедшу, паде мразъ *велій*, и прозябе *всякое* прозябеніе хлѣбное, и *все* погибе…» (курсив и подчеркивание мои. – *О.Т.*) [Новый летописец, с. 54].

Фрагмент пронизывает разветвленная система повторов. Это эпитеты, носящие оценочно-фактографический характер, «велик», «всякий» и стоящий в одном ряду с ними повтор местоимения «все», которые служат для выражения одной и той же идеи общей для всех русских людей беды. Стабильно воспроизводится одна и та же грамматическая конструкция, в которой употребляются эти повторы: инверсионное использование эпитета «велик» вкупе с препозитивным употреблением эпитета «всякий» показывают размах бедствия, с помощью оценочного и фактографического эпитетов нагнетая общую трагедийную атмосферу. Второй ряд повторов связан с образом не успевшего созреть, прозябшего «зеленеющего хлеба», который становится своеобразным переходом к описанию людской трагедии. Заявленная в связи с образом «хлеба» тема смерти получает свое разрешение в судьбах людей и поддерживается пронизывающим оба отрывка мотивом лежания на земле: «…все *погибе* и *остася на полѣ* <…> онымъ же прозябшимъ хлѣбомъ сѣяху, чающе ему возрасти, и не взыде ничто, но *все въ земли оста*, и начася быти велій гладъ… и бысть *мертвыхъ множество лежащихъ всюду*» (курсив мой. — *О.Т.*) [Новый летописец, с. 54].

Голод и, как следствие, большая смертность людей, согласно «Новому летописцу», стали результатом вполне конкретного природного явления — «великого» мороза, уничтожившего зазеленевшие посевы. Иную трактовку дают И.А. Хворостинин и автор «Хронографа 1617 года». Она существенно отличается и в содержательном, и в

художественном плане от причин, изложенных в «Новом летописце». В «Хронографе 1617 года» приводится лаконичная традиционная провиденциальная мотивировка разразившегося в стране голода: «грѣхъ ради нашихъ» [Хронограф, с. 326], — какие-либо дополнительные объяснения (за какие именно грехи был наказан народ) в анализируемом фрагменте отсутствуют. В «Словесах дней, и царей, и святителей» дается более пространная мотивировка случившегося, но, как и в «Хронографе 1617 года», она окрашена идеей Божьего наказания за грехи. Голод стоит в одном ряду с другими бедствиями, которые поразили страну: «Всегда *нужа б*ѣ, и растлеваемое богатество, красота и слава оскудеваше, и родоначалие владыческое прииде от земли нашея, изриновени быша от любве человеколюбия, оскудѣша грады, оскудѣша люди…», – и воспринимается как прямое следствие общего «падения» людей, поскольку замыкает цепочку «грехов»: «…не оскудѣ мерзость и возрасте плод греха, взыде дѣло беззакония, и возненавиде друг друга, и умножишася в нас падения. Убиенна земля наша гладом…» [Словеса, с. 434].

Во всех трех памятниках скупо изображается поведение людей во время голода, точнее, о самом поведении речь идет только в «Новом летописце», а в двух других произведениях производится своеобразная подмена: вместо рассказа о поведении людей приводится рассказ о том, чем они питались. Но и в «Новом летописце» о людях сказано очень скупо: «…отцы чадъ своихъ глада ради и мужіе женъ пометаху и помираху…». Самым примечательным в этой фразе является глагол «пометати», означающий «оставить», «покинуть»[57]. Наиболее близкий стилистический пример подобного использования глагола приводится в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского: «Разбѣгошася по чюжимъ городомъ, пометавъ женъ и дѣтеи» (Псков. летопись, 7018 г., по Погод. сп.)[58]. Но в «Новом летописце» фраза носит какой-то странный смысл: лаконичное пояснение «глада ради» не объясняет, почему отцы покинули детей, а мужья жен; совсем непонятно, почему, покинув родных, отцы и мужья «помираху»; умалчивает автор «Нового летописца» и о том, что стало с детьми и женами, такое впечатление, что «помираху» только мужчины, остальных голод не коснулся. Но так или иначе перед нами попытка описать действия людей во время голода через родственные взаимоотношения.

Иной тип повествования о поведении людей обнаруживается в «Хронографе 1617 года». В нем на первый план выходит рассказ о том, чем питались люди во время голода, он содержит скупые детали и завершается указанием на причины умолчания подробной характеристики: «Ядуще же тогда многи псину и мертвечину и ину скареднину, ея же и писати нелѣтъ» [Хронограф, с. 326].

---

[57] *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. II: Л – П. Стб. 1157.

[58] Там же.

Нечто подобное наблюдается и в «Словесах дней, и царей, и святителей» И.А. Хворостинина. Рассказ о поведении голодающих в памятнике сводится к обобщающей характеристике, чем питались люди в этот период времени; при этом, указывая на множество людей, Хворостинин не возводит эту характеристику к всеобщности: многие, но не все. Рассказ о пище, употребляемой людьми во время голода, имеет двухчастную структуру, демонстрирующую два уровня непотребства: 1 – употребление в качестве пищи мертвечины, 2 – употребление растительной пищи, негодной для человека. Каждая цепочка завершается указанием на то, что об этом рассказывается именно в общих чертах, поскольку о подобном непотребстве в повести говорить нельзя и суть происходившего ужаса невозможно передать словом (аналогичным образом завершает фразу о вкушении непотребной пищи и автор «Хронографа 1617 года»): «…и мнози вкусиша от глада лайна, и плотей человеческих, и мертвых телес существа своего, птицъ же, и зверей, и рыбы, и елико слово подробну сказати не может: коры древяные, корение водное, былие непотребное, и елико таковая и множайша сих, елика ни качеству предати возможно» [Словеса, с. 434].

В обоих памятниках отсутствует смакование человеческого безобразия. Правдивый эстетизм, обусловленный нравственной стыдливостью и уважением к человеку как творению Божьему, заставляет авторов прибегать к приему умолчания, который позволяет лишь намекнуть на неподобающее поведение людей, уйдя от излишнего натурализма описаний.

Отчасти именно здесь кроются причины довольно быстрого перехода авторов к реалистичным рассказам о том, что явилось следствием разразившейся в стране катастрофы. В «Новом летописце» и сочинении И.А. Хворостинина рассказ о голоде завершается описанием деяний сжалившегося над «гладными» Бориса Годунова. Автор «Хронографа 1617 года» сосредоточивает внимание на фактах: сколько стоила четверть ржи и в чем отличие прежней меры четверть от нововведенной меры четверик.

Совершенно иначе описали голод 1601–1603 гг. иностранные авторы. В их сочинениях сочетаются два основных принципа описания трагедии. С одной стороны, для изобразительной манеры иностранцев характерна зримость, ужасающая красочность нарисованных образов, создание для большего потрясения сознания читателей страшных бытовых картинок; с другой стороны, трагические бытовые зарисовки соседствуют в их текстах со статистическими данными о количестве погибших в одной только Москве за этот период. Эти цифры вызывают столь же сильное эмоциональное потрясение у читателя под воздействием поэзии факта, как и бытовые сцены убийства.

Практически все иностранцы, оказавшиеся в этот период в Москве, фиксируют регулярные случаи людоедства, обыкновение убивать ближайших родственников. Капитан

Ж. Маржерет в книге «Состояние Российской державы и великого княжества Московского» описывает подобные случаи как «невероятные» для него, иностранца, но «обычные», как казалось ему, для русских: «В эти три года случались события почти невероятные; казалось почти обычным, если муж бросал жену и детей, если жена убивала мужа, а мать — своих детей, и съедали их»[59]. В подтверждение своих слов Маржерет приводит конкретный пример, свидетелем которого, по его словам, он оказался: «Я сам был свидетелем, как четыре женщины, мои соседки, брошенные мужьями, решились на следующий поступок: одна пошла на рынок и, сторговавши воз дров, зазвала крестьянина на свой двор, обещая отдать ему деньги; но только он сложил дрова и зашел в избу, чтобы получить плату, как женщины удавили его и спрятали в погреб, чтобы тело не повредилось: сперва хотели съесть лошадь убитого, а потом приняться за труп. Когда же преступление открылось, они признались, что труп этого крестьянина был уже третьим»[60].

К. Буссов сравнил голод в Московии с тем, какой когда-то испытали жители осажденного Иерусалима, но то, что он увидел собственными глазами (после неудачной попытки весной 1601 г. сдать Борису Годунову г. Мариенбург и Нарву он переселился в Москву), потрясло его. «Большего ужаса и у Иосифа[61] не найти!»[62] — эмоционально восклицает немецкий наемник. Начав с рассказа о единичном случае детоубийства [«…одна дворянка от великого голода зарубила, сварила, поджарила и съела своего собственного ребенка»[63]], он патетически продолжает: «Не сосчитать, сколько детей было убито, зарезано, сварено родителями, родителей — детьми, гостей — хозяевами и, наоборот, хозяев — гостями»[64]. В повествовании К. Буссова поражают и детализированные цепочки действий детоубийц, напоминающие последовательность кулинарных приемов и ужасающие тем, по отношению к кому они применяются, и сама галерея убийц. Создается впечатление, что часть населения страны превратилась в людоедов, которые употребляли «человеческое мясо, мелко-мелко нарубленное и запеченное в пирогах, т. е. паштетах»[65]. Другие же «лежали на улицах и, подобно скоту, пожирали летом траву, а зимой сено. Некоторые были уже мертвы, у них изо рта торчали сено и навоз, а некоторые пожирали человеческий кал и сено»[66].

Очевидно, осознавая ужас и невероятность рассказанного, и Маржерет, и Буссов подтверждают достоверность своих слов при помощи приема, типичного для путевой литературы, когда автор нарочито повторяет, что его рассказ — не выдумка, а правда: «Я

---

[59] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 51.
[60] Там же.
[61] Имеется в виду сочинение Иосифа Флавия «История Иудейской войны».
[62] *Буссов К.* Московская хроника. С. 34.
[63] Там же.
[64] Там же.
[65] Там же.
[66] Там же.

сам был свидетелем…»[67], «Но, клянусь Богом, истинная правда, что я собственными глазами видел…»[68].

Другой особенностью рассказов иностранцев о разразившемся в правление Бориса Годунова голоде является обязательное приведение относительно точных статистических данных о количестве умерших в этот период, правда, данные эти весьма разнятся. Например, Ж. Маржерет писал, что «в одной Москве погибло от него (голода. — *О.Т.*) более 120 тысяч людей; их хоронили за городом на трех кладбищах за счет государя, приказавшего выдавать даже саваны для погребения»[69]. К. Буссов отмечал, что «в одном только городе Москве во время этой дороговизны умерло от голода более 500000 человек, которые при жизни получали от его величества пропитание, а после смерти белый саван и красные башмаки, в которых их на его счет хоронили»[70].

Главной причиной столь большой смертности в Москве, по мнению Маржерета, был приказ Годунова ежедневно раздавать всем бедным жителям столицы милостыню. В результате в Москву потянулись даже те, кто имел возможность «кормиться» самостоятельно, обрекая себя на верную смерть, поскольку существовать на выданную милостыню они не могли и умирали либо в самом городе, либо по дороге домой. Когда же Годунов «повелел раздачи прекратить», взору предстало «небывалое зрелище: всюду по дорогам находили мертвых и умирающих от голода и холода»[71]. Ужасающее количество трупов на улицах Москвы приводит и К. Буссов: «Ежедневно повсюду на улицах по приказу царя подбирали сотни мертвецов и увозили их на таком множестве телег, что смотреть на это было страшно и жутко»[72].

Примечательно, что русские источники, которые дают зачастую нелицеприятные характеристики личности Бориса Годунова, не винят царя в огромной смертности людей, а, наоборот, подчеркивают его необычное поведение в этой сложной ситуации. Так, автор «Нового летописца» замечает, что царь Борис «повелѣ <…> мертвыхъ тѣлеса опрятовати, и погребати во убогихъ домѣхъ, пропитанiя же ради умысли строити каменное зданiе, дабы отъ найма питалися». Почти в тех же самых выражениях эти два факта описываются в «Словесах дней, и царей, и святителей». Хворостинин создает целый панегирик высоко нравственному поведению Годунова в этот период времени, о чем свидетельствует мотив милосердия и жалостливости царя Бориса по отношению к людям, обрамляющий рассказ о его гуманных действиях: «…самодержецъ же в тузе и в болѣзни быв и, видев падения многа, зжалился зело гладных ради, и ниву сердца благоразсуднаго милосердия житом

---

[67] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 51.
[68] *Буссов К.* Московская хроника. С. 34.
[69] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 51–52.
[70] *Буссов К.* Московская хроника. С. 35.
[71] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 52.
[72] *Буссов К.* Московская хроника. С. 35.

насѣяв… И кто изглаголет человѣколюбный его нрав в то время и к нищим благодать? <…> И никто же от прежебывших царей тако сотвори, якоже владыка нашъ над убогими милость яви» [Словеса, с. 434].

Сопоставление русских и иностранных сочинений, с разной степенью полноты повествующих о голоде 1601–1603 гг., демонстрирует принципиально разные подходы к изображению разыгравшейся в Московском государстве трагедии. Сочинения иностранных авторов, во многом руководствующихся в изображении конкретных исторических событий субъективным предубеждением перед «варварским», диким народом, отличает натурализм, тяготеющий к эстетике безобразного, в сочетании с поэзией факта (хотя его достоверность вызывает сомнения, поскольку данные разнятся от одного источника к другому). Русские книжники, в отличие от иностранцев, склонных к бытописательству, предпочитают использовать прием умолчания для описания «падения» людей, заменяя подробные бытовые картины жизни на выработанные предшествующими поколениями древнерусских «списателей» приемы, такие, как лаконичный оценочный эпитет, разветвленная система повторов и др. В целом, иностранные тексты отличаются от русских так же, как картина от эскизных набросков: идея понятна, образ намечен, но отсутствует красочная прорисовка деталей изображения.

4. Лаконизм, религиозный символизм и «раскадровка» (на примере рассказов о смерти Лжедмитрия I)[73]

Не менее любопытная художественная картина вырисовывается при сопоставлении русских и иностранных источников, рассказывающих о Лжедмитрии I. И личность Самозванца, и его первые военные победы и поражения в Северской земле, и въезд в Москву, и церемония коронации, и манера поведения и т. д. получили различное освещение в сочинениях свидетелей и участников Смуты.

Одно из главных отличий рассказов русских и иностранных авторов о Дмитрии Самозванце было отмечено В. Ульяновским: «…иностранцы описывают виденное (или передают рассказы очевидцев), русские авторы оценивают происшедшее»[74]. Именно в таком ключе и прочитываются рассказы о смерти Лжедмитрия I в публицистике первой трети XVII в.

В ряде русских и иностранных сочинений о Смуте содержится весьма лаконичное упоминание о смерти Самозванца. По форме изложения эти краткие, сжатые фразы

---

[73] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Рассказы о смерти Дмитрия Самозванца: раскадровка и символика // Научные и учебные тетради Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова. Тетрадь № 2, январь – май 2010 г. / сост. В.Т. Третьяков. М.: Алгоритм, 2010. С. 164–176.

[74] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 153.

напоминают погодные записи «Повести временных лет», которые в основном только фиксируют исторический факт, но, в отличие от летописи, содержат емкие авторские эмоционально-оценочные характеристики. Например, Жак Маржерет в своем отчете королю Франции писал: «Наконец, 27 мая <…> В 6 утра царь Дмитрий Иванович был бесчеловечно умерщвлен…»[75]. Столь же краток рассказ о смерти Лжедмитрия I в «Плаче о пленении и конечном разорении Московского государства»: «И душа его (Лжедмитрия I. — *О.Т.*) злѣ исторгнуся от него, и срамною смертию от рукъ правовѣрныхъ сконъчася» [Плач о пленении, с. 138].

Ряд источников содержит более пространные повествования о смерти Самозванца. Так, рассказ о погибели Самозванца в «Летописной книге» отличает от предыдущих примеров большее количество деталей. Упоминается множество вооруженного народа, напавшего на дом царя, используется прямая речь, мотивирующая поведение людей, кратко описываются надругательства над трупом убиенного. Наконец, убийство Лжедмитрия I приурочивается к немаловажному для многих русских и иностранных источников событию — свадьбе Отрепьева с Мариной Мнишек [Летописная книга, с. 380].

В «Хронографе 1617 года» смерть Самозванца подается сквозь призму религиозных воззрений составителя: «Но возбранила ему всемогущаго бога непобѣдимая Христова сила и неистовое его стремление въскорѣ сокруши и изщезновениемъ возрази» [Хронограф, с. 332]. Упоминается возмутившееся множество народа с использованием широко распространенной метафоры: «возшумѣша многочисленаго народа волны». Появляется деталь — орудие убийства: «убиша его мечи». Акцентируется внимание на причине народного гнева: «разъярившись на мерзость его»[76].

Арсений Елассонский в «Мемуарах о русской истории», очевидно не располагая подробностями убийства Лжедмитрия I, рассказывает о смерти последнего буквально в двух предложениях: «Через шесть дней бояре и весь синклит двора, устроивши совещание, предали сего царя Димитрия позорной смерти. Скинувши с него царские одежды, нагим тащили его вон из дворца по улице и бросили его нагого на площадь»[77]. Здесь, как и в русском «Хронографе 1617 года», содержится еще одна историческая подробность: вскользь упоминается заговор бояр против Самозванца. Но основное внимание архиепископ Арсений уделяет все-таки не сцене убийства Лжедмитрия I, а насмехательствам народа над его трупом, хотя, справедливости ради, надо заметить, что и рассказ о манипуляциях с трупом Лжедмитрия I выполнен архиепископом в той же лаконичной манере.

---

[75] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 62.
[76] Там же.
[77] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории. С. 183.

Чуть более подробно о финале царствования Лжедмитрия I повествует Элиас Геркман в «Историческом повествовании о важнейших смутах в государстве Русском…»[78]. Однако его рассказ расходится с большинством и русских, и иностранных источников, поскольку Э. Геркман повествует о подмене царя подставным Димитрием. При этом Геркман обращает внимание не только на самый факт подмены царя и его спасения, но и на то, что ситуация с оставлением царства рабу весьма сильно схожа с древним сюжетом о передаче царской власти царем Нином своей наложнице и рабыне Семирамиде. Отыскиваемые Геркманом сходства и различия двух сюжетов занимают все его внимание, и читатель остается в неведении до следующей главы о том, как обличал подставного Димитрия один из главных, по словам Геркмана, заговорщиков, дьяк Тимофей Осипов, как был убит сначала дьяк, потом раб, как отличились в борьбе с русскими братья Вишневецкие[79] и т. д.

На этом историко-литературном фоне особый интерес представляют собой пространные рассказы русских и иностранных авторов о смерти Самозванца. При этом если русским сочинениям присущ символизм, обобщенность, стремление придать религиозно-мифологический оттенок изображаемому, то рассказы иностранцев напоминают готовые картинки для видеокадров.

Одну из таких ярких «раскадровок» событий последних часов жизни Лжедмитрия I дает Петр Петрей. Условно повествование о трагической участи Лжедмитрия I в сочинении П. Петрея «История о великом княжестве Московском» можно разделить на несколько «видеокартинок».

Картина первая. Утро судного дня. Пробуждение. «Сладкий» сон великого князя прерывает набат. П. Петрей точно фиксирует дату и время начала страшных для Лжедмитрия I событий: «…17 мая, ранним утром, около трех часов дня…»[80].

Вся сцена строится на принципе контраста: великому князю и «властям», пребывавшим в «самом сладком сне», Кремлю, «объятому пьяным сном», противопоставляется бегущий «изо всех домов и углов» народ. Контраст состояний углубляется за счет конкретных и символических деталей. «Сладкий», «пьяный» сон Димитрия Самозванца — это не только конкретная деталь в повествовании Петрея, это еще и своеобразный символ «беспечности» Лжедмитрия I, не помышлявшего «ни о чем вредном», не думавшего «ни о каком возмущении и измене», утопавшего в «сладострастии», несмотря на громкие толки народа о том, что «новый великий князь еретик».

---

[78] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском... С. 227–228.
[79] Там же. С. 229–231.
[80] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 309.

Статичной в этой сцене фигуре спящего великого князя, представленного так, словно он один (о других спящих в Кремле Петрей упоминает вскользь, и всего один раз), противостоит динамичное множество народа, бегущего «без памяти». Деталь весьма значима в кадре: Петрей как будто рисует картину всеобщего беспамятства, безумия — князь, одурманенный вином, беспечно спит, народ, озадаченный антиповедением нового царя, недовольный наглостью поляков, которые «напивались до бесчувствия, так что не могли и владеть собою», творили на улицах Москвы «разные <…> дерзости», «рубили, били, силою брали жен и дочерей у дворян из колясок, насиловали их»[81], подстрекаемый Шуйским[82], бежит к Кремлю, вооружившись кто чем мог: «кто с плетью, кто с ружьем и длинною винтовкой, кто с обнаженной саблей, кто с копьем и колом, кто что схватил второпях»[83].

Последняя деталь, касающаяся вооружения бегущего народа, особенно примечательна, поскольку показывает не только спонтанность происходящих событий, но и полное непонимание народом того, что происходит. Вся сцена сопровождается звуковым оформлением — звоном нескольких тысяч колоколов и криками толпы: «Кто хочет убить нашего великого князя?» Трагикомизм сцены углубляется за счет двойного обмана: и великий князь, и народ обмануты боярами и дворянами. Сначала думные бояре убедили Димитрия ни о чем не беспокоиться, солгав ему о готовящемся «возмущении»[84], а потом обманули бегущий в беспамятстве народ, сказав ему, что это поляки хотят убить великого князя. Парадокс сцены и последовавших далее событий в том и состоит, что народ, хотя и возмущенный антиповедением царя и толкующий о том, что он не истинный сын Ивана Васильевича, а «еретик, хуже турки»[85], бежал, вооружившись тем, что под руку попало, защищать великого князя, а в итоге — убил.

Далее П. Петрей скупыми мазками набрасывает картину пробуждения великого князя, кратко указывая на его психологическое состояние: «Проснулся и великий князь, перепугался и послал своего верного камергера, Петра Басманова, узнать, что такое происходит»[86]. Здесь же Петрей вводит еще одно, новое действующее лицо — Петра Басманова, также обманутого собравшимися боярами и донесшего по незнанию великому князю ложную информацию о том, что в набат бьют, поскольку «где-нибудь пожар в городе».

Картина вторая. Это не пожар! Главные действующие лица — великий князь, Басманов, народ. Петрей довольно подробно перечисляет все дальнейшие действия

---

[81] Там же. С. 308–309.
[82] Там же. С. 304–307.
[83] Там же. С. 309.
[84] Там же.
[85] Там же.
[86] Там же. С. 310.

великого князя: «послал Басманова в другой раз разведать, что такое происходит <…> встал и оделся»[87]. Дальнейшая мизансцена имеет пространственную организацию: Басманов выглядывает в окно и видит собравшийся народ, «в числе несколько тысяч, <…> с кольями и пиками, ружьями и саблями». Потрясенный увиденным, Басманов «очень испугался», но попытался выяснить, что «им надо». «Ему, — пишет Петрей, — отвечали красным словцом и требовали, чтобы он выдал им своего негожего и воровского великого князя…»[88]. Поражает в этой сцене прежде всего неожиданная перемена в настроении народа, ничем не объясняемая в повествовании Петрея: великий князь, которого народ собирался защищать, превращается здесь в «негожего и воровского».

Далее Петрей снова кратко, но в то же время скрупулезно фиксирует последовавшие за этим разговором действия Басманова: «Басманов заметил, в чем дело, рвал на себе волосы, велел телохранителям принять все предосторожности и не впускать ни одного человека, вошел к князю и сказал: “Беда, всемилостивейший великий князь и государь! Ты сам виноват, великая измена: сословия и народ вызывают тебя. Ах, ты не хотел верить, что говорили тебе верные твои слуги!”»[89] Примечательно, что, сосредоточивая внимание на фигуре Басманова, Петрей упускает из виду великого князя. Но зато для прорисовки образа верного Лжедмитрию I камергера иностранный автор не жалеет красок. Все повествование пронизывает глубокая эмоциональность: тут и авторский комментарий («рвал на себе волосы»), и прямая речь, насыщенная эмоционально-оценочной лексикой («беда», «великая измена», «ах»), и смена интонаций, прочитываемая косвенно во фразе Басманова (и ужас, и бессильное обвинение в беспечности, и сожаление, и сопереживание).

Наконец, последовавшая за этими словами мизансцена также выполнена с предельным сгущением эмоций. Во время разговора Басманова с великим князем в комнату через телохранителей «продрался» некий дворянин, бросивший гневливые слова Лжедмитрию I: «Негожий великий князь! Что не выходишь и не даешь ответа народу?» Басманов, услышав это, «в горячности и гневе схватил саблю <…> и отнес ему голову от туловища»[90].

Завершается эта картина весьма странной мизансценой, выполненной по контрасту с предыдущей, но эмоционально ее продолжающей. Приведем ее полностью: «Великий князь прыгнул в переднюю, взял у одного телохранителя бердыш, показал его простому народу и сказал: “Не думайте, что я Борис Годунов!” — и заколол некоторых, другие выстрелили по нем и вскоре до того прижали его, что он опять должен был ускользнуть в комнату»[91].

---

[87] Там же.
[88] Там же.
[89] Там же.
[90] Там же.
[91] Там же.

Удивителен подбор глагольной лексики, которую использует Петрей для характеристики сначала поведения Басманова, а затем Лжедмитрия I. Если в действиях первого сквозит величественность, достоинство, осознание трагедийности происходящего, искреннее возмущение, что отражает соответствующая лексика («заметил… велел… вошел… сказал… схватил… отнес… голову…»), то действия Самозванца схожи с поведением «продравшегося» через телохранителей дворянина: «прыгнул в переднюю, взял… бердыш, показал его… заколол… должен был ускользнуть…». Комизм сцены, мелкость фигуры Самозванца на фоне величественности личности Басманова становятся очевидны.

Картина третья. Убийство Басманова. Благородство верного Димитрию камергера подчеркивается и в этой сцене, вновь выполненной в контрастных тонах. Переданной в косвенной форме возвышенной речи Басманова, умолявшего знатных бояр и советников «Богом и ради Бога бросить злую затею и делать только то, что можно похвалить», противопоставлено поведение боярина Михаил Игнатьевича Татищева, в конце своей ответной бранной речи выхватившего «длинный нож» и «проколовшего» камергера «прямо в сердце». Другие бояре сбросили тело Басманова с лестницы, чтобы «простой народ видел, что нет уже отважного боярина, которого мужества, доблести и осторожности боялись все»[92]. Завершается эта короткая мизансцена рассказом Петрея о том, что народ, увидев Басманова мертвым, «ободрился» и «без страха» «большой толпой» вбежал в переднюю.

Картина четвертая. Попытка бегства. Картина открывается рассказом об обороне Димитрия. И вновь Петрей меняет краски — от прежнего комизма не осталось ни следа: великий князь «вышел со своим палашом, рубил во все стороны, сколько было у него силы, однако ж ничто не помогало против такого множества народа». Димитрий оказывается не в силах противостоять осмелевшей после убийства Басманова и озверевшей толпе. «Москвитяне» вырубили топорами доски в передней, разоружили телохранителей, и Димитрию только с 15 телохранителями удается уйти в «самую переднюю комнату», где они и оборонялись, сколько могли.

Мало прорисованной сцене обороны противопоставлена в этой картине сцена бегства Самозванца: «Димитрий бросил свой палаш, рвал на себе волосы и, не сказав ни слова, выпрыгнул в окно на то место, где стояли на страже стрельцы, надеясь найти у них защиту и помощь или же спастись бегством. Но как окно было 15 аршин вышины от земли, то он, выпрыгнув, повихнул себе ногу, так что не мог сойти с места и оставался в лежачем положении»[93]. Редкие бытовые детали, такие, как окно «15 аршин вышины», позволяют представить пусть и скупую, но все-таки наглядную картинку. Некоторые бытовые детали, не давая прямо изображение, тем не менее таят богатую возможность для режиссерской

[92] Там же.
[93] Там же. С. 310–311.

фантазии в организации мизансцены: чего только стоит сама сцена падающего из окна Лжедмитрия I под ноги стрельцам!

Не менее зримой и одновременно не менее трагикомичной представлена у Петрея следующая мизансцена. Пока Димитрий спасался бегством, пока простой люд грабил царские палаты, знатные бояре и дворяне «бросились в женские комнаты». Картина, представшая взору бояр, не только показывает расстановку действующих сил на сцене, не только исполнена драматизма для участников, но одновременно с этим носит гротескный, фарсовый характер. Возвышающаяся над лежащими «от сильного страха, отчаяния и ужаса»[94] на полу девицами фигура престарелой гофмейстерины, под юбку которой спряталась Марина Мнишек, — яркий образец авторского приема Петрея, умеющего скупыми мазками создать сцену, поистине вызывающую смех сквозь слезы. Состоявшийся далее между русскими боярами и польскими дамами диалог оставим без внимания и в силу этических соображений, поскольку он носит скабрезный характер, и в силу того, что это отвлечет нас от главной темы.

В то время как в женских комнатах разыгрывалась своя драма, стрельцы заметили великого князя и хотели ему, стонавшему и надававшему «больших обещаний», помочь, отнести в его комнаты. Но это увидел простой народ и побежал, чтобы убить Димитрия. Произошла перестрелка, но скоро «одолело множество дворян, граждан и черни», стрельцы оставили князя, и простой люд понес его в царские комнаты.

Вся сцена описана очень скупо, как почти и все сцены в рассказе о смерти Самозванца, где встречается множество людское. Как правило, Петрей только называет основные действия, оставляя за текстом подробности. В большей степени его, как автора, интересуют сцены, где можно крупно выделить фигуру какого-либо исторического лица, представить его действия и речь, показать по возможности эмоциональное состояние. Данный эпизод не является исключением. Петрей описывает одного из телохранителей, по имени Вильгельм Фюрстенберг, который «продрался» в комнату, куда принесли Димитрия, и хотел узнать о его дальнейшей судьбе. Русские же «закололи его бердышом у ног великого князя со словами: “Посмотрите, пожалуйста, какие верные собаки иностранцы! Они не могут еще оставить своего плутовского великого князя: надо перебить их всех”»[95].

Картина пятая. Убийство Лжедмитрия I. Сцена открывается описанием переодевания великого князя и рассказом о насмешках простого люда над ним. Обилие, по сравнению с единичными фразами отдельных участников происходящих событий, оскорбительных высказываний, звучавших из уст разгулявшейся черни, окружившей беспомощного Димитрия, создает эффект особого драматизма ситуации для Самозванца:

[94] Там же. С. 311.
[95] Там же. С. 312.

один против толпы. Здесь же, в этой сцене, появляется и главный зачинщик мятежа, Василий Иванович Шуйский, отправившийся по просьбе Димитрия в монастырь к его матери узнать: действительно ли он сын Ивана Васильевича. Диалог Шуйского с «матерью» Димитрия остается за текстом, Петрей только констатирует: мать «решительно отреклась» от него и «клялась торжественно», что ее сын был убит за несколько лет до этого в детском возрасте в Угличе. Ответ «матери», озвученный толпе Шуйским, решил его участь.

С этого момента опять резко меняется манера изложения событий. Склонный к подробной прорисовке особо драматических, диалоговых ситуаций, П. Петрей и здесь остается верен себе. Он вводит в повествование фигуру некоего богатого (но безымянного!) купца, который, услышав ответ «матери» Димитрия, «тотчас же подбежал <…> с пистолетом в руке и вскричал: “Нечего долго толковать и ломаться с еретиком: я покончу с этим изменником и соблазнителем народа!” — и всадил ему пулю в сердце, так что он тут же и протянулся…»[96]. Быстрота произошедшего подчеркивается «стремительностью» действий купца через глагольную лексику: «подбежал», «вскричал», «всадил». Состояние аффекта купца передалось и всем присутствующим, и началась вакханалия: «тут все подбежали к нему и кричали: “Распни, распни!”, — “Не оставляй его живого!” Один рубил его по голове, другой по руке, третий колол его ножом, пятый по спине. Другие потащили его за ноги из комнаты на площадь, где лежал его верный слуга и камергер Басманов, говоря: “За жизни вы были добрыми друзьями и собеседниками, будьте же вместе и по смерти!”»[97] Удивительно ярко прописано в этой сцене стремление каждого из присутствующих приобщиться к убийству Лжедмитрия I, а также стремление нанести уже убитому «великому князю» как можно больше увечий, как будто простой люд старался убить Самозванца наверняка, чтобы не было возможно его новое воскрешение.

Подобный принцип «раскадровки» событий можно наблюдать и в ряде других сочинений иностранных авторов: например, в «Летописи Московския, с 1584 года по 1612» Мартина Бера[98], в «Кратком известии о Московии» Исаака Массы[99], в «Рукописи Яна Велевицкого»[100].

Иной тип подробного рассказа о смерти Самозванца дают русские авторы. Как правило, в русских текстах смерть Лжедмитрия I подается сквозь призму религиозных воззрений авторов и составителей. Поэтому немаловажной в этом контексте оказывается

---

[96] Там же.

[97] Там же.

[98] См.: *Бер М.* Летопись Московская, с 1584 года по 1612 // Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. I. СПб.: Тип. Имп. Рос. Акад., 1831. С. 79–85.

[99] См.: *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 211–216.

[100] См.: Рукопись Яна Велевицкого // Записки гетмана Жолкевского о московской войне. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. Стб. 175–184.

причина «народного гнева». Так, например, составитель «Иного сказания» связывает смерть Самозванца с его намерением «всѣхъ православныхъ христіянъ побити» [Иное сказание, стб. 56], а «радостный день Христова Воскресенія» «предложити въ день плачевный» [Иное сказание, стб. 57]. Собственно говоря, именно это и стало причиной того, что Господь «обрати» «изостренный имъ мечь на его выю и на единомышленниковъ его» [Иное сказание, стб. 58].

Религиозная составляющая в трактовке и самого образа Самозванца, и его смерти предопределяет особенности повествования в русских текстах. Если иностранные авторы, в частности П. Петрей, стараются наполнить свое повествование конкретными историческими подробностями и дать развернутую картинку, чтобы можно было представить, как произошло то или иное событие, то русские авторы, в частности составитель «Иного сказания», отходят от конкретики описания произошедших событий, приводя минимальное количество подробностей.

Например, в тексте «Иного сказания» содержится весьма краткий рассказ о том, как произошло убийство Лжедмитрия I, но даже в этом лаконичном отрывке хорошо видна религиозная составляющая: «Въ десятый день послѣ своея женидбы, 114 году, мѣсяца маія въ 16 день, *на четвертой недѣли послѣ Христовы Пасцѣ* (выделено нами. — *О.Т.*), въ суботу, мечемъ и прочимъ убійствомъ, оружіемъ убіенъ бысть, всяко влекомъ бяше исъ превысочайшихъ пресветлыхъ чертогъ своихъ по земли множайшихъ человѣкъ рукама, имъ же бѣ невозможно живаго и прямо лицу его зрѣти, не точію самому ему касатися» [Иное сказание, стб. 58].

На фоне почти отсутствующих конкретных бытовых деталей в рассказе о смерти Самозванца особо заметно становится символическое истолкование произошедшего. Сама дата гибели Самозванца наделяется мистическим смыслом: составитель «Иного сказания» неоднократно подчеркивает, что все происшедшее с Лжедмитрием — это следствие защиты Господом правоверных христиан, которых еретик хотел погубить. Поэтому день смерти Самозванца назван днем «излюбленным», а приписываемое составителем «Иного сказания» желание Самозванца «пребыти у древніе злобы, у мерзости запустѣнія, у возгордѣвшаго сатаны в нѣдрѣхъ» реализуется в тексте через библейскую цитату «ровъ изрый и ископай, впадеся въ яму, юже содѣла» [Иное сказание, стб. 58]. Замысливший сотворити «злая» «зломысленный волкъ» в итоге сам «со всякою нуждею злосмрадную свою душу изовну злосмраднаго своего тѣлеси испроверже» [Иное сказание, стб. 58].

Аналогичный способ религиозно-символического истолкования (но не описания!) смерти Лжедмитрия I дается в «Сказании о Гришке Отрепьеве». Доминантное восприятие личности Самозванца как средоточия зла и здесь обусловливает особенности рассказа о его гибели. Одной из главных причин народного возмущения автор «Сказания…» называет

«злой» умысел «злого» еретика погубить знатных бояр и вообще искоренить в Московском государстве православную веру. Дальнейший рассказ о погибели Самозванца подается сквозь призму религиозных воззрений автора.

Собственно говоря, религиозно-символическая тема становится ведущей в этом повествовании. Так, Василий Иванович Шуйский, согласно тексту, мотивировал свой призыв к народу свергнуть еретика, «богоотступника» «радением» о вере христианской: «Мы убо готови въ сій часъ пострадати за святыя Божія церкви и за православную истинную христіянскую вѣру…» [Сказание о Гришке, стб. 746][101]. Рассказ об убийстве Лжедмитрия I обрамляют в «Сказании…» пространные молитвы. Сначала народ московский «возопиша» «со слезами ко всемилостивому Спасу и со Пречистой Его Богоматери и ко всѣмъ Московскимъ чюдотворцомъ» [Сказание о Гришке, стб. 747], прося о помощи в избавлении от «злаго законопреступника», от «поганые Литвы». Затем, по окончании задуманного, вновь все принимавшие участие в избиении Отрепьева и «Литвы» (бояре, и воеводы, и «все православное христіянство») по всем «святымъ церквамъ» пали на землю и сотворили благодарственное молебное пение, воздавая хвалу «Спасу, и Пречистой, и Московским чюдотворцомъ, и всѣмъ святымъ» [Сказание о Гришке, стб. 751–752].

Дата смерти Отрепьева дважды в тексте представлена числовым эквивалентом, и дважды автор «Сказания…» напоминает читателю, день памяти какого святого приходится на эту дату: «И свѣтающю утру ведряну маія въ 17 день, на память святаго отца нашего Андронника…» [Сказание о Гришке, стб. 747]; «Се же бысть побѣда и одолѣніе на враги <…> маія въ 17 день, на память святаго отца нашего Андронника…» [Сказание о Гришке, стб. 750–751].

Рассказ о событиях 17 мая начинается с упоминания о молитве В.И. Шуйского и его брата в церкви св. Богородицы. Очень подробно далее в тексте перечисляются церкви, где ударили в колокола, какие сословия принимали участие в борьбе с «Литвой», как были одеты, чем вооружены, какими призывными возгласами обменивались (точнее, автор приводит только одну фразу-призыв, которая также носит сугубо религиозный характер: «Богъ намъ на помощь, и сила Пресвятыя Госпоже Богородицы помогай намъ!» [Сказание о Гришке, стб. 748–749]).

Непосредственно же картина убийства представлена фрагментарно, ее практически приходится собирать по отдельным, разбросанным в разных отрывках повествования фразам, которые затушеваны текстами молитв, рассказами о звоне колоколов, о призывах к

[101] Сказание о Гришке Отрепьеве // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 713–754. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию, в квадратных скобках указываются источник и столбцы.

православным христианам князя В. Шуйского и т. п. Но и собранная воедино сцена не имеет целостности. В одном фрагменте автор говорит, что православные воины с оружием и в доспехах «поидоша во царскiй дворъ къ Ростригѣ, и начаша его въ хоромохъ искати», «Онъ же окаянный нача утекати, бѣгати» [Сказание о Гришке, стб. 748]. В другом месте сказано, что благочестивые князья Шуйские, бояре и «всѣ православные христіяне съ великимъ воинствомъ изымавше злаго еретика Ростригу и убиша его въ полатѣ за дворцомъ» [Сказание о Гришке, стб. 750]. Как искали в царских палатах Самозванца, как он «бегал» от воинства православного, как произошло убийство «законопреступника» — об этом не сказано ни слова. Вряд ли это можно объяснять исключительно отсутствием действительных сведений о гибели Отрепьева у автора «Сказания». Скорее всего, для него важно было представить смерть еретика именно в символико-религиозном плане как наказание за содеянное. Не случайно, подводя итог лаконичному рассказу об убийстве Отрепьева, автор «Сказания…» пишет: «…тутъ испроверже окаянный еретикъ Гриша Ростригa окаянную свою темную душу и злосмрадную, злѣ скончалъ и сниде во дно адово. И извлеча его злосмрадный трупъ изъ града на площадь среди народу… и сожгоша въ его же умышленiи, въ древяномъ адѣ» [Сказание о Гришке, стб. 750]. Таким образом, автор «Сказания о Гришке Отрепьеве», как и составитель «Иного сказания», рассматривает смерть Самозванца как естественное восстановление порядка: сеявший исключительно одну злобу должен был и действительно «злѣ скончалъ» свою жизнь. Отсюда художественно закономерно выглядят финальные строки «Сказания…» — это троекратное проклятие «злонравному» еретику Гришке и его «злокозным умыслы».

Итак, все источники, в которых содержатся рассказы о смерти Лжедмитрия I, условно можно разделить на три группы в зависимости от особенностей повествовательной манеры. Первую группу, самую многочисленную, отличает лаконизм повествования, схожий с лаконизмом погодных записей «Повести временных лет» с той лишь разницей, что все авторы непременно отмечают особую жестокость убийства Самозванца и обязательно упоминают множество людское, принявшее участие в избавлении от мнимого царя. Вторая группа источников, представленная текстами иностранных авторов, дает подробнейшую «раскадровку» того, как произошло убийство; при этом выделение картин, отдельных мизансцен обусловлено сменой места действия, вводом нового действующего лица или уходом персонажа «со сцены»; многие картины строятся на принципе контраста, особенно заметном в диалоговых сценах. Наблюдается также сочетание двух принципов повествования в рамках одной тематической картины — сухое, но скрупулезное описание последовательных действий «толпы», приводимое с позиции стороннего наблюдателя, и драматургическое построение отдельных мизансцен, где в центре внимания оказывается один персонаж. Третья группа источников, представленная сочинениями русских авторов,

как и первая группа, не дает подробных описаний сцены смерти Самозванца, но содержит более или менее развернутую оценку происшедшего, поданную сквозь призму средневекового религиозного символизма, правда отличающего некоторой прямолинейностью.

5. Реализм рассказов об убийствах в «Рукописи Филарета»

Стремление книжников, писавших о Смуте, «сохранить средневековую традицию, которая во многом уже не отвечала духу времени»[102], но приводила к актуализации приема абстрагирования в памятниках, сочеталось с не менее горячим желанием правдиво описать события 1598–1612 гг. Так, дьяк Иван Тимофеев открыто во «Временнике» выдвигал требование неукоснительно следовать принципу правдивости. Писатель-историк, по его мнению, должен рассказывать только о тех событиях, о которых имеет достоверные сведения или участником и свидетелем которых он был сам. Истинное знание о событии провозглашалось во «Временнике» основой исторического труда: «…поносно бо есть писателю, не ясно ведуще, сущая вещи описывать, извет полагая постиженьми, и бывшая деяньми неиспытне воображати» [Временник, с. 167]. Вместе с тем Тимофеев оставлял за писателем право фрагментарно упоминать о тех исторических событиях, о которых хотя и кратко, но достоверно слышал «списатель»: «…и идеже елико слышахом, толико и писмены вместивше издахом…» [Временник, с. 163]. Подобная мысль звучит и в финале «Повести книги сея от прежних лет…», где автор подчеркивал, что изложил события, которые сам «существенно видѣлъ», а об иных «безприкладно слышелъ», и «Елико чего изыскалъ, Толико сего и написалъ»[103]. Стремление к объективности повествования приводит к тому, что во многих памятниках цикла прием абстрагирования причудливо сочетается с реалистическим подходом к описанию и изложению событий. Одно из ярких произведений, в котором наблюдается подобное сочетание, — «Рукопись Филарета».

В памятнике читаются три рассказа об убийствах. Первый посвящен отравлению князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, во втором рассказывается об убийстве «ложноназванного» царя Дмитрия в Калуге, в третьем речь идет об убийстве Прокопия Ляпунова. Рассказы не имеют общей структуры и довольно сильно отличаются друг от друга, поскольку в каждом из них выделена своя доминантная особенность, что связано не только с личностями убитых, но и с тем, подробно или лаконично повествуется об акте убийства. Вместе с тем в этих трех рассказах встречаются общие мотивы, которые

---

[102] *Бычков В.В.* Древнерусская эстетика. С. 623.

[103] Повести книги сея от прежних лет // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 623–624.

позволяют, хотя и условно, в большей степени исходя из центральной темы, объединить их в одну группу. Эти сходные мотивы не являются обязательными элементами повествования во всех трех эпизодах, а могут, и довольно часто, использоваться в двух, каждый раз разных.

Один из таких общих мотивов для первого и третьего эпизодов — это мотив зависти, которая становится причиной организации убийства. Так, в первом эпизоде читаем: «Царь же Василей наполнися зависти и гнѣва и не возлюби его (М.В. Скопина-Шуйского. — *О.Т.*) за сію бывшую побѣду…» [Рукопись Филарета, с. 25]. Текст этот перечеркнут, видимо, рукой редактора, и в следующем за этим фрагменте не только о зависти царя Василия Ивановича Шуйского, но даже о его причастности речи не идет. В исходном же фрагменте мотив усиливается сравнением, восходящим к Библии: «…якожъ и древле Саулъ позавиде незлобивому Давыду, егда уби Голіяда и поюще Саулу въ тысящахъ, а Давыду во тмахъ, тако и сему князю Михаилу Васильевичю…» [Рукопись Филарета, с. 25], — довольно часто употребляемым авторами, писавшими об убийстве Скопина-Шуйского. И, как и у других авторов, это сравнение не получает развития, но завершается риторическим восклицанием, вновь возвращающим к мотиву зависти: «Оле зависти и рвенію, въ колико нечестіе и погибель пореваетъ душа благочестивыхъ и во адъ низводитъ и бесконечному мученію предаетъ» [Рукопись Филарета, с. 25]. Фрагмент завершает перечеркнутую часть.

В третьем эпизоде тоже появляется мотив зависти, но реализуется в традиционном для древнерусской литературы предшествующего периода стиле: «…позавидѣ дьяволъ сему настоящему дѣлу, изрядному ополчителю: той вышепомянутый Иванъ Зарутцкой дьяволимъ наученіемъ, воспрія въ мысль свою, да научитъ казаковъ на Прокофья и повелитъ его убити, да воспріиметъ власть надъ войскомъ единъ…» [Рукопись Филарета, с. 52]. В обоих случаях причиной убийства становится зависть к власти над ратными и к победам талантливых воевод, желание (показанное в первом случае опосредованно, во втором — прямо) единоличной власти, т. е. цель убийств — устранение конкурентов.

Второй эпизод в этом смысле весьма сильно отличается. Согласно тексту, Петр Урусов, служивший в Калуге «ложноназванному» царю Дмитрию, решает «предать сего мятежника смерти» «за нѣкую обиду отъ него» [Рукопись Филарета, с. 42]. При этом во втором и третьем эпизодах автор упоминает о том, что убийства были задуманы и спланированы: «…помысливъ себѣ <…>. Сей же предреченный князь Петръ, своея мысли правленіе отрѣшаетъ, его жъ желательнѣ часы искаху…» [Рукопись Филарета, с. 42] — в третьем эпизоде; «…той вышепомянутый Иванъ Зарутцкой <…> воспрія въ мысль свою <…>. И нача напущати казаковъ на Прокофья…» [Рукопись Филарета, с. 52] — во втором эпизоде. В первом эпизоде вместо этого содержится ссылка на слухи: «…князь Михайло Васильевичъ Шуйскій (и умре глаголютъ убо нѣцыя, яко отравленъ бысть)…» [Рукопись

Филарета, с. 25]. Так или иначе во всех трех эпизодах причиной убийства становится эгоистическое желание удовлетворить свои низменные чувства, зависть ли это, обида — уже не важно. И то, и другое чувство ведет к убийству.

Однако в первом и третьем эпизоде речь идет о предании смерти «изрядных» воевод, а во втором — об убийстве «ложноназванного» царя Дмитрия. Поэтому в первом и третьем эпизодах автор использует высокие положительные эпитеты, отсутствующие во втором эпизоде.

Так, охарактеризовав в начале рассказа Михаила Васильевича Скопина-Шуйского как «храброго и разсмотрительного» воеводу [Рукопись Филарета, с. 25], в финале эпизода автор помещает целый хвалебный некролог, созданный в традициях древнерусской историографии: «Сей жъ непобѣдимый воевода, много подвигъ показа, и попеченіе великое о Російскомъ государствѣ, и много Литвы поби, и на рати много храбствовахъ; бяше бо красенъ лицемъ, милостивъ и увѣтливъ, тихъ же и смиренъ, нищелюбивъ бѣ и добродѣтеленъ; никого жъ оскорби и никого презрихъ, всѣхъ утѣшая и всѣмъ полезная подавая, такожъ и блаженную память пріятъ» [Рукопись Филарета, с. 27].

Подобного некролога не удостаивается П. Ляпунов, но на протяжении рассказа автор неоднократно использует положительные эпитеты для его характеристики: «…на сего изрядного властеля и воеводу Прокофья Ляпунова, и воспоминанія его изрядного и мужественнаго ополченія <…> паде мертвъ на землю славный сей и бодренный воевода Прокофей Ляпуновъ» [Рукопись Филарета, с. 52–53]; «Московского воинства изрядный властель…» [Рукопись Филарета, с. 54].

Как видно из приведенных примеров, эпитеты, применяемые для оценки личных качеств воевод и их воинских заслуг, индивидуальны, автор не стремится к созданию единообразного хвалебного некролога, выделяя в каждом нечто особенное, отличающее его от других. В этом смысле можно, правда весьма осторожно, предположить, что здесь мы можем наблюдать попытку (осознанную или нет — сложно сказать) дать индивидуальные характеристики исторических деятелей.

Кульминацией во всех трех эпизодах является сцена убийства. В первом эпизоде она весьма лаконична, факт отравления на крестинах сына князя Ивана Михайловича Воротынского приводится со ссылкой на слухи («и умре глаголютъ убо нѣцыя, яко отравленъ бысть» [Руокпись Филарета, с. 25]). Весьма осторожно названы имена причастных к отравлению, настолько нейтрально с информативной точки зрения, что, если бы не графическое выделение скобками двух фрагментов, сложно было бы предположить, что речь вообще идет об отравлении. Приведем для наглядности эту сцену полностью: «Малу же времяни минувшу, разболѣся сей храбрый и разсмотрительный воевода князь Михайло Васильевичь Шуйскій (отчество и фамилия вписано сверху. — *О.Т.*), (и умре

глаголютъ убо нѣцыя, яко отравленъ бысть) на крестинномъ пиру, у князь Ивана Михайловича Воротынского, егда кресте сына своего Олексѣя (отъ князя Дмитреевы жены, Ивановича Шуйского, отъ княини Екатерины, въ винѣ на перепиваньѣ)» [Рукопись Филарета, с. 25–26]. Очевидно, что рука редактора или поправщика намеренно вымарывала и затушевывала различными способами все неблаговидные поступки царя Василия Ивановича Шуйского и его ближайших родственников. И в результате этого редактирования широко известный на Руси факт убийства-отравления Михаила Васильевича Скопина-Шуйского превращается в носящей официальный характер «Рукописи Филарета» в факт странной болезни, одолевшей князя на крестинном пиру. Ссылка же на слухи и графические выделения определенных текстовых фрагментов дают возможность читателю самому сопоставить факты и сделать вывод.

Во втором эпизоде сцена убийства выписана максимально ясно и, можно сказать, картинно. Петр Урусов, задумав убить «ложноназванного» царя Дмитрия, «желательнѣ часа искаху» [Рукопись Филарета, с. 42] — и дождался его. Когда «ложноназванный» царь выехал за стены г. Калуги, князь Петр «видѣвъ, яко угодно бѣ время, той и воздвигоша мышцу свою, яко неистовственъ на него нападаетъ, и мечемъ голымъ сего доставаетъ, и разъ къ разу прилагаетъ и тако раздѣляетъ на двѣ части и падъ издше сей проклятый мятежникъ…» [Рукопись Филарета, с. 42].

Как и в первом эпизоде, автор, придавая обстоятельность своим рассказам, указывает, где, когда и как произошло убийство, с той лишь разницей, что во втором эпизоде отсутствуют графические приемы оформления текста, который предстает в чистом, первоначальном, авторском варианте, без каких-либо редакторских помет и правок.

Оба эпизода насыщены физиологическими подробностями. В первом — они характеризуют состояние князя Михаила: «И тако едва доиде до монастырню пазуху, потомъ пустися руда изъ носа и изо рта, и, пребысть похищеніе смертное (последние два слова вписаны другой рукой. — из комментария П. Муханова)» [Рукопись Филарета, с. 26]. Во втором — автор детально рассказывает о действиях убийцы — Петра Урусова, начиная с того, как тот «воздвигоша мышцу свою», и заканчивая тем, как он надвое рассек «ложноназванного» царя.

В третьем эпизоде автор описывает, как Иван Заруцкий, обуреваемый желанием единоличной власти над войском («да воспріиметъ власть надъ войскомъ единъ» [Рукопись Филарета, с. 52]), разворачивает целую подготовительную кампанию. Он «нача напущати казаковъ на Прокофья, и наряди граматы ссыльные съ Литвою и руку Прокофьеву подписати велѣлъ; и тако за ссылкою изъ города отъ Литвы велѣлъ ихъ выдати, будто Прокофей съ ними своими граматы сылаетца, а хочетъ христособраніе воинство, Литовскимъ людемъ въ руцѣ предати и самъ къ нимъ пріобщится» [Рукопись Филарета,

с. 52]. Расчет Заруцкого оправдался: распространенные среди казаков фальшивые грамоты за подписью П. Ляпунова, якобы задумавшего предать воинство Литве, возымели свое действие — «и наполнишась людіе гнѣва и ярости» [Рукопись Филарета, с. 52], и «собрався воинство на уреченное мѣсто, еже есть въ крунъ, по казатцкому обычаю…» [Рукопись Филарета, с. 53]. В этот круг и был приглашен Ляпунов. Сцена расправы с воеводой напоминает скорый военно-полевой суд. Казаки «въ разгореніи мысли своея, начаша его (П. Ляпунова. — *О.Т.*) обличати виновными дѣлы и измѣною, и граматы въ войскѣ честь, яжъ Ивашко наредя, и по семъ яростные на него нападаютъ и трупы его на части раздѣляютъ, и въ скоромъ часѣ смерти горкія предаютъ» [Рукопись Филарета, с. 53].

В отличие от второго эпизода, здесь автор сосредоточивает внимание на чувствах казаков. Если Петр Урусов терпеливо выжидает подходящий момент и затем хладнокровно рассекает надвое «ложноназванного» царя, то казаки вершат суд и убивают воеводу под воздействием сильной эмоции гнева. Сначала, согласно тексту, фальшивые грамоты разожгли в них «гнѣвъ и ярость» [Рукопись Филарета, с. 52], в казацком кругу они «въ разгореніи мысли своея» обвиняют Прокофия, а затем «яростне на него нападают» [Рукопись Филарета, с. 53]. В скорой, под влиянием гнева и ярости, напрасной расправе обвиняет казаков после убийства «нѣкто отъ честныхъ дворянинъ» [Рукопись Филарета, с. 53], который «нача имъ разсужати, дабы не дерзостне сотворили, но со испытаніемъ, дабы напрасно крови неповинные не пролитъ…» [Рукопись Филарета, с. 53].

Во втором и третьем эпизодах использован мотив неведения убиенных о скорой расправе. Ни о чем не догадывающийся «ложноназванный» царь «во единый жъ день <…> ѣхати въ поле за стѣны града, нѣкоего ради утѣшенія своего» [Рукопись Филарета, с. 42]. Прокофий Ляпунов «злаго ихъ ухищренія не вѣдяще, но смерти своей не помышляще», «въ кругъ настоящаго собранія приходитъ» [Рукопись Филарета, с. 53]. В первом эпизоде мотив неведения не употребляется, но, вероятно, это связано не только с тем, что, в отличие от второго и третьего эпизодов, здесь рассказ предстает в максимально сжатом виде, но и с некоторой неопределенностью позиции автора. Факт отравления князя, как и имена организаторов и исполнителей убийства М.В. Скопина-Шуйского, был хорошо известен по целому ряду памятников. Но в «Рукописи Филарета», очевидно создаваемой как официальный исторический текст, посвященный событиям Смуты, нашла отражение новая политическая концепция, отчасти возвращающая к древним приемам изложения исторических событий. Создатель «Рукописи Филарета», который к тому же явно симпатизировал Василию Шуйскому, не мог открыто рассказать о событии, компрометирующем царя или его ближайших родственников. Отсюда — некоторая недосказанность и, как следствие, неразработанность отдельных мотивов.

В финале всех трех эпизодов появляется мотив погребения. При этом независимо от того, кто был убит — «изрядные» воеводы или «ложноназванный» царь, — автор использует одну и ту же речевую формулу «погребенъ честно» с той лишь разницей, что, повествуя о погребении воевод, он называет еще и храм: «И тако погребенъ бысть честно, въ честнемъ храмѣ святаго славнаго и всехвальнаго пророка и предтечи крестителя Господня Иванна, честнаго ея усѣкновенія, въ предѣлѣ архистратига Михаила» [Рукопись Филарета, с. 24] — о погребении М.В. Скопина-Шуйского; «Граждане жъ вземше трупъ его и погребоша во градѣ честно» [Рукопись Филарета, с. 42] — о погребении царя Лжедмитрия II; «Положенъ же бысть во едину грабницу и погребенъ жъ бысть честно у Благовѣщанія Пречистые Богородицы, еже есть на Воронцовскомъ полѣ» [Рукопись Филарета, с. 53] — о погребении П. Ляпунова.

Сообщив о погребении, автор далее во всех трех эпизодах описывает чувства людей в связи со смертью убиенных. Но если смерть «непобѣдимого» воеводы М.В. Скопина-Шуйского вызывает у всех людей «царствующего» града рыдание («И рыдаху по немъ вси людіе царствующего града, мужескъ полъ и женескъ отъ мала и дажъ и до велика» [Рукопись Филарета, с. 27]), то смерть «ложноназванного» царя и «Московского воинства изрядного властеля» П. Ляпунова приводит поляков в состояние великой радости: «Слышано жъ бысть сія во царъствующемъ градѣ, начальницы жъ и воеводы Польского народу радовахуся о томъ радостію велію зело…» [Рукопись Филарета, с. 42] — во втором эпизоде; «Слышано жъ сія бысть во градѣ Полякомъ <…>, и о томъ радовахусь радостію великою зѣло…» [Рукопись Филарета, с. 54] — в третьем эпизоде.

Таким образом, три рассказа об убийствах в «Рукописи Филарета» имеют не полностью выдержанную структуру, повторяющимися элементами которой становятся мотивы, появляющиеся в тексте в определенной последовательности:

1) завязкой во всех трех эпизодах выступает мотив зависти/обиды как причины организации убийства и мотив неведения осужденных на смерть,
2) кульминация — сцена убийства с приведением в первых двух эпизодах и отсутствием в третьем физиологических подробностей,
3) в развязке — мотив погребения, описание чувств своих и чужих в связи с убийством и некрологи (последнее — в первом и третьем эпизодах).

Однако эта структура не отличается жесткостью, не воспринимается как некий довлеющий над автором или созданный специально для этого памятника канон за счет наличия или отсутствия тех или иных мотивов (например, мотива неведения в первом эпизоде), введения отдельных компонентов, соответствующих реальным событиям (например, распространение фальшивых грамот в третьем эпизоде), а также благодаря

индивидуальным характеристикам воевод в первом и третьем эпизодах, слагаемых через определенный подбор эпитетов.

Вместе с тем эти рассказы носят явный отпечаток создания некой официальной версии произошедших событий, которая заставляет в отдельных случаях применять прием умолчания о каких-либо неблаговидных поступках, если они расходятся с новой концепцией событий Смутного времени, но не отменяет в целом стремления правдиво, реалистично поведать об убиении воевод и «ложноназванного» царя.

6. Политический мифологизм рассказов о чудесах в «Рукописи Филарета»

Важную роль в эстетическом сознании книжников первой трети XVII в., по мысли В.В. Бычкова, играл «средневековый мотив чуда», который явился «своеобразной реакцией этого сознания на сложные, трагические события “бунташного века”, — сознания, ищущего опору в прошлом, в освященных многовековой традицией стереотипах художественного мышления и религиозного опыта»[104]. Однако, как и многие другие жанровые формы, рассказы о чудесах приобретают злободневный политический оттенок и служат определенным политическим интересам. Яркий пример таких чудес обнаруживается в «Рукописи Филарета».

В начале и в конце памятника читаются два рассказа о чудесах. Первый посвящен обретению нетленных мощей царевича Дмитрия и исцелению недужных от них, второй — исцелению «Литовских» людей от образа чудотворца Николы Можайского. Рассказы отличаются друг от друга и по объему, и исходными ситуациями. Единая композиционная схема повествования о чудесах не выявляется в них. Даже на уровне формальных компонентов в опубликованном П. Мухановым тексте обнаруживаются различия, в частности, в первом рассказе концовка отсутствует, во втором — имеет назидательный характер. Отличаются и цели включения рассказов о чудесах в текст «Рукописи Филарета»: если первый написан во славу царя Василия Ивановича Шуйского и юного стратотерпца, убиенного царевича Дмитрия, то второй — во славу Божьего чудотворца Николы и в назидание «Литовским» людям.

Тем не менее диалектическое единство и противоположность целей порождает и наличие в эпизодах одинаковых и характерных исключительно для конкретного рассказа о чуде мотивов.

Сходные цели — прославление угодников Божиих — реализуются благодаря двум мотивам. Первый — это мотив исцеления недужных, второй, тесно связанный с ним, —

[104] *Бычков В.В.* Древнерусская эстетика. С. 600.

мотив Божьего прославления чудотворцев. Так, в рассказе об обретении нетленных мощей царевича автор неоднократно акцентирует внимание на этих мотивах: «Человѣколюбецъ же Господь видя вѣру (своихъ рабъ) ихъ и вящше прослави своего угодника и страстотерпца и чюдесы того обогати свыше отъ своея велелѣпныя милости, ижъ убо бѣша слѣпіи и хроміи и инѣми болѣзни одержиміи, прикосновеніемъ святаго тѣлеси его и одра на немъ же лежаше изцѣляхуся…» [Рукопись Филарета, с. 7], «…и чюдо веліе отъ тѣлеси святаго бывающее, яко жъ и во градѣ пріимаху: слѣпіи независто зрѣніе, хроміи безболѣзнено теченіе, прокаженніи внезапное исцѣленіе и вси недугующіи въ разноличныхъ недузѣхъ <…> отъ недуговъ свобожахусь…» [Рукопись Филарета, с. 9], «И Божіею милостію бысте отъ чюдотворного тѣло великого царевича Дмитрея Углицкаго исцѣленіе много: слѣпымъ прозрѣніе, и хромымъ жажденія и всякихъ болѣзней премѣненіе» [Рукопись Филарета, с. 10]. Последний фрагмент перечеркнут рукой редактора, но само троичное использование этих мотивов в исходном тексте указывает на то, какое большое значение придавал автор фактам исцеления. Он то ли не мог удержаться от восхищения явленными в эпоху нестроения земли Русской чудесами и потому все время возвращался к ним, то ли намеренно трижды использовал эти мотивы, чтобы убедить читателей в самом факте чуда.

Аналогичным образом связываются мотивы Божьего прославления угодника и исцеления недужных и во втором рассказе: «Богъ жъ милосердый прославляя угодника своего чюдотворца Николы, аще образъ его и нечестне взяху въ Литву, но тамо чюдеса ото образа бываху толикіе, якожъ удивленію достойно, толикое бысть въ Литвѣ исцѣленіе ото образа того хромымъ, и глухимъ, и нѣмымъ, и прокаженнымъ, и трудоватымъ и всякими недуги одержимымъ, всихъ сихъ исцѣляя…» [Рукопись Филарета, с. 66–67].

Однако во втором рассказе указанные выше мотивы вступают во взаимодействие с другими. Мотив Божьего прославления угодника появляется в тексте в связи с мотивом кражи: «…Семенъ Блиновъ, не благо дѣло содѣяша, сняша съ воротъ образъ великого чюдотворца Николы Можайского, иже многи лѣты пребывая въ Можайскѣ <…>; оніи жъ окаянніи <…> взяша образъ той и положиша на сани и повезоша въ Литву. <…> аще образъ его и нечестне взяху въ Литву…» [Рукопись Филарета, с. 66]. Образ Николы «многи лѣты» пребывал в Можайске и «многое множество чюдесъ сотвориша» [Рукопись Филарета, с. 66]. Украденный и увезенный в Литву, образ, несмотря на нечестное перемещение, не утратил своей силы. Бог прославил угодника Николу Можайского и там для вразумления «безумных». Таким образом, исцеление недужных в Литве связано в представлении автора напрямую не только с Божьим прославлением угодника, но и с вразумлением «безумных»: «…да познаютъ безумніи Литовстіи людіе, колико Богъ въ Рустіи земли святыми своими чюдеса творитъ, да обратятца безумніи къ правому пути, и предстанутъ отъ своихъ скаредныхъ учителей, отъ Римскаго папы и православію истинныя

Христіянскія вѣры приступятъ, да познаютъ разумно истиннаго Бога» [Рукопись Филарета, с. 67].

Следовательно, второй рассказ о чуде построен на взаимодополняющих и взаимообъясняющих мотивах кражи, Божьего прославления угодника, исцеления недужных и вразумления «безумных».

Чудо обретения нетленных мощей царевича Дмитрия и последовавших затем исцелений вплетено автором в своеобразную рамку, представляющую собой средневековый вариант рассказа в рассказе. В обрамлении собственно рассказа о чуде главным действующим лицом является царь Василий Иванович Шуйский. Намерение самодержца найти мощи царевича Дмитрия и предать погребению «со отцы», вызванное божественным озарением, представлено автором «Рукописи Филарета» как первое благое деяние только избранного на царство Василия Шуйского: «И во 114 году озари Господь серце благочестиваго самодержца ежъ снискати мощи праведнаго, и изнести истинну на свѣтъ, и заградити богоборные (еретическіе) кроволіяющіе уста и обличити тмѣ желателей темнаго мрака <…>, потомъ же и со отцы погрести тѣло благовѣрного и боголюбиваго царевича князя Дмитрея Ивановича, сына царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи самодержца…» [Рукопись Филарета, с. 4]. В конце эпизода снова упоминается царь Василий Иванович Шуйский: «Царь же Василей Ивановичь, повелѣ сотворити раку древяну, и убиши отласы залотыми, и положиша тѣло святое благовѣрнаго царевича Дмитрея въ прежнемъ его гробѣ, и поставиша раку чюдотворцу» [Рукопись Филарета, с. 10]. Далее в рукописи текст оборван. Перед этим размещен перечеркнутый редактором фрагмент, в котором также упомянут царь: «И тогда же, егда бысть первое чюдо пріиде царь и великій князь Василей Ивановичь всеа Русіи, со слезами припаде въ чюдотворному тѣлу сотворше молебное пѣніе всѣмъ вселенскимъ соборомъ…» [Рукопись Филарета, с. 10].

Как видно из приведенных примеров, в обрамлении автор особое внимание уделяет поступкам царя Василия Ивановича Шуйского, активность которого подчеркивается соответствующей глагольной лексикой: «пріиде… припаде… сотворше…» [Рукопись Филарета, с. 10] — в перечеркнутом фрагменте; в сохраненной же редактором рамке именно отданные царем приказы побуждают к активным действиям других: «…снискати… изнести… заградити… обличити… погрести… посылаетъ (повелеваетъ)…» [Рукопись Филарета, с. 4], «…повѣле сотворити… и убиши… и положиша… и поставиша…» [Рукопись Филарета, с. 10].

Благодаря этому приему в «Рукописи Филарета» рождается эффект прямого и скрытого прославления. В собственно рассказе о чуде прославляется стратотерпец —

царевич Дмитрий, а в обрамлении — хотя и не столь открыто — царь Василий Иванович Шуйский.

Собственно рассказ о чуде насыщен реалистическими деталями и подробностями. В пространной экспозиции автор приводит подробный перечень лиц, отправленных в Углич «снискати мощи» [Рукопись Филарета, с. 4] царевича: «Преосвященнѣйшему митрополиту киръ Ѳиларету, Никитичу <…> Ростовскому и Ярославскому тогда бывшу <…>, и съ нимъ Астороханскому архіепископу Ѳеодосію да Спаскому архимариту Авраамію <…>, съ ними жъ посылаетъ и своего царъского синклита боляръ: князь Ивана Михайловича Воротынского, да Петра Никитича Шереметева, да Ондрея Александровича да Григорья Федоровича Нагихъ» [Рукопись Филарета, с. 5]. При этом автор не просто перечисляет их имена, а предваряет указанием на сословную принадлежность и духовный сан, придавая этому особое значение, повторяя их (уже без имен) в следующем предложении после представления отправленных в Углич: «(Онижъ) преосвященный жъ митрополитъ и архіепископъ и боляре…» [Рукопись Филарета, с. 5].

Помимо приема представительного перечня, в экспозиции рассказа о чуде автор использует значимое историческое сравнение. Убийство царевича Дмитрия уподобляется гибели князя Глеба Владимировича от руки «повара»: «такожъ и сей отъ своихъ рабъ, кровію обагрѣнный и смерти преданный» [Рукопись Филарета, с. 5].

Обретение нетленных мощей царевича происходит, согласно тексту, в присутствии всех жителей Углича, которые «съ плачемъ и воплемъ» «послѣднее цѣлованіе <…> отдающе своему государю <…> и при погребеніи праведнаго, такожде и нынѣ о пренесеніи его плачевне рыдаху» [Рукопись Филарета, с. 5–6].

Такая концентрация реалистических подробностей в экспозиции обусловлена, на наш взгляд, желанием автора не только добиться эффекта торжественности момента обретения нетленных мощей царевича, но и необходимостью уверить читателей в правдивости явленного чуда.

Любопытно, что далее в тексте, более мелким почерком, приводится совершенно фантастическая история о том, что «святителіи и боляре немогуще обрѣсти и желаемое ими многоцѣлебное тѣло узрѣти» [Рукопись Филарета, с. 6] и «сего ради обратившеся ко Господу, начаша умильно молити богатодавца Бога, да таковое покажетъ имъ безцѣнное сокровище…» [Рукопись Филарета, с. 6]. Несколько раз в этом фрагменте автор повторяет мысль о том, что тело убиенного царевича — это сокровище, которое они никак не могли найти. Наконец, во время молитвенного пения святители и бояре «внезапу узрѣвше изъ десныя страны яко дымъ исходящъ дыханіе благовонно и отъ неначаемыя радости начаша копати мѣсто оно и абіе обрѣтше некрадомое сокровище многобогатый гробъ, вмѣстившій тѣло блаженнаго царевича» [Рукопись Филарета, с. 10].

Все дальнейшее автор атрибутирует как чудо: «…тогда внезапно чюдо явися…» [Рукопись Филарета, с. 10]. Но, рассказывая о нем, создатель «рукописи Филарета» обильно насыщает текст реалистическими деталями, апеллируя к органам чувств. Когда открыли гроб, все почувствовали «ароматы», «тако духъ сладкоуханенъ и благоуханенъ всѣхъ обіятъ» [Рукопись Филарета, с. 6]. Он был настолько силен, что «исполнись весь градъ благоуханія» [Рукопись Филарета, с. 6]. Выражая восхищение «чюдному ти милосердію Христе Боже», автор еще раз подчеркивает: «отъ мертваго тѣлеси вмѣсто смерденія, веліе благоуханіе…» [Рукопись Филарета, с. 6]. Удивили присутствующих не только «ароматы», но и то, что предстало взору: «…и вмѣсто согнитія цѣлость всей плоти по многихъ лѣтехъ цѣлы и невредимы мощи обрѣтошась…» [Рукопись Филарета, с. 6]. Еще больший восторг вызывает и сохранение в целости риз на теле страдальца: «и нетокмо бо плоть бысть въ цѣлости святаго страдальца, но и ризы на тѣлѣ его освятишася и истлѣнія избыша» [Рукопись Филарета, с. 6]. И даже орехи, зажатые в руке, и «убрусъ» (платок, полотенце[105]) оказались целыми и невредимыми: «Но егда убіенъ бысть <…> и тогда ему прилучись держати въ шуйцѣ (шуица — левая рука[106]) своей убрусъ шитъ златомъ и сребромъ пряденымъ, и тогда оставиша въ руцѣ его, и сіе бяше цѣло и невредимо, яко у живаго въ руцѣ держимо во друзей же приключишася плодъ глаголемый орѣхи» [Рукопись Филарета, с. 6–7].

Завершает этот фрагмент многократное упоминание о том, что святители, бояре и все жители Углича стали свидетелями «многоудивленного чюда»: «И сіе чюдо видяше богоносніи отцы и боляре и удивишася <…>. Народи жъ егда узрѣша такое многоудивленное чюдо ноипаче слезы къ слезамъ прилогающе…» [Рукопись Филарета, с. 7].

Рассказав о чуде обретения нетленных мощей царевича, автор далее повествует об исцелении недужных «прикосновеніемъ святаго тѣлеси» [Рукопись Филарета, с. 7]: «Господь <…> вящше прослави своего угодника и страстотерпца и чюдесы того обогати…» [Рукопись Филарета, с. 7], «народи видѣша такова велія чюдеса… боляре <…> извѣстися о принесеніи и о чюдодѣяніи» [Рукопись Филарета, с. 8], «И бѣ видѣти <…> чюдо веліе отъ тѣлеси святаго бывающее…» [Рукопись Филарета, с. 9], «от чюдотворного тѣло… къ чюдотворному тѣлу… от чюдотворцова тѣла…» [Рукопись Филарета, с. 10].

Таким образом, помещенные в начале и в конце «Рукописи Филарета» рассказы о чудесах не имеют общей повествовательной структуры, но в них обнаруживаются сходные мотивы Божьего прославления угодников и исцеления недужных. Вместе с тем в обоих рассказах используется целый ряд мотивов и приемов, свидетельствующих о том, что они

[105] См.: *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. III: Р – Я. Стб. 1117–1118.

[106] См.: Там же. Стб. 1599.

были включены в текст памятника не только и не столько для того, чтобы прославить Божьих угодников, сколько для того, чтобы прославить благие деяния царя Василия Ивановича Шуйского и «вразумить» «Литовских» людей. Рассказы о чудесах приобретают политический оттенок, их сопровождают реалистические мотивы, детали, создающие определенную доказательную базу, призванную убедить читателей в реальности необыкновенных событий. Исторические реалии, заложниками которых в той или иной степени являются книжники, писавшие о Смуте, приводят к тому, что в памятниках находит отражение особый вид мифологизма — политический мифологизм, своеобразный предвестник будущих политтехнологий и наследник «информационных войн», знакомых Древней Руси с XI столетия[107].

***

Итак, в цикле сочинений о Смутном времени при всей новизне трактовки необычных событий 1598–1612 гг. книжники придерживались веками апробированных приемов изображения исторических событий. Они «создали свою систему общих мест, выработали устойчивый набор фактов и способов их объяснения, которые в совокупности образовали своеобразный “канон” событий Смутного времени»[108]. Но эти общие места и «каноны» употреблялись в зависимости от индивидуально авторского отношения к тому или иному описываемому историческому событию.

В памятниках переплелись приемы и подходы, характерные для разных исторических эпох и, соответственно, стилей. По-прежнему востребованным был стиль монументального историзма, что нашло выражение в отсутствии в сочинениях о Смуте «вымышленно-обобщенных образов людей», главными героями в них являются реальные исторические личности, которые вводятся «в круг идеалов»[109] современной писателям действительности. В центре внимания книжников — реальные исторические события, которые трактуются как часть русской и мировой истории, поэтому вновь актуализируется прием абстрагирования, выражающийся в активном использовании библейских повествовательных моделей и христианских мотивов. Наряду с этим набирает силу реалистический подход к изображению исторических событий. Многие книжники не только стремятся следовать принципу правдоподобия, конкретики, наглядности описываемых событий, что находит выражение в обилии реалистических деталей и подробностей, мотивов, но и открыто декларируют свои творческие позиции. Вместе с тем установка на правдоподобие, во многом обусловленная желанием осветить злободневные

[107] См. подробнее: *Первушин М.В.* Информационная война в Древней Руси // Вестник славянских культур. 2016. № 3 (41). С. 24–36.

[108] *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 576.

[109] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 31.

общественно-политические идеи, не приводит русских авторов к грубому натурализму, тяготеющему к эстетике безобразного, и злоупотреблению телесным кодом, хотя в ряде случае в рассказы о тех или иных событиях вплетаются физиологические мотивы. В отличие от иностранных авторов, писавших о Смуте, русские книжники не увлекаются картинными сценами, демонстрирующими нравственное падение людей. Глубинное уважение к человеку, освященное многовековой традицией, делает литературу о Смуте в известной степени высоко нравственной, книжники прибегают к приему умолчания и религиозному символизму, лаконично освещая нелицеприятные бытовые сцены. Одновременно с этим в цикле сочинений о Смуте обнаруживаются и приметы экспрессивно-эмоционального стиля с его гиперболизацией чувств и выдвижением на первый план отношения автора или героя к событиям. Темы живой политической борьбы за царский престол и влияние на народ, которые пронизывают памятники о Смуте, актуализируют такой способ восприятия и описания событий, как политический мифологизм.

В целом, в цикле сочинений о Смуте наблюдается сложное соединение различных стилей и приемов изображения исторических событий, которое свидетельствует о переходном характере литературы этого периода, в недрах которой неспешно трансформируются традиционные модели повествования, приуготавливая дальнейшее развитие русской исторической прозы.

Глава 5 Приемы изображения исторических лиц

1. Творческие открытия: история вопроса

В начале XVII в. в цикле памятников, посвященных событиям Смутного времени, был «открыт» человеческий характер[1]. Это «привело», по мнению Д.С. Лихачева и О.А. Державиной, к ряду знаковых для развития литературы явлений: «1) хотя писатели по традиции и говорят еще о воле божией и внушениях дьявола, они все чаще пытаются объяснить поведение человека, его поступки, его действия свойствами его характера; 2) писателям стало ясно, что характер человека может со временем измениться и что причиной этого является не божественная воля или “действо дьяволе”, а те или иные события, те или иные лица; 3) что особенно важно, писатели видят теперь, что в одном человеке могут сосуществовать и хорошие и плохие черты»[2].

Многие авторы сочинений о Смуте дают историческим лицам двойственные, противоречивые характеристики. Так, в Хронографе второй редакции, согласно исследованию Д.С. Лихачева, Иван Грозный являет «живой пример» «“совращения” доброго нрава на злой»[3], подробные характеристики Бориса Годунова, патриарха Гермогена, Ивана Заруцкого построены на «совмещении положительных и отрицательных качеств» их характеров[4]. Столь же противоречивы и характеристики царей и самозванцев во «Временнике» Ивана Тимофеева[5]. По мысли дьяка, писатель-историк обязан быть беспристрастным в описании исторических деятелей, вне зависимости от общего концептуального подхода к идее власти. Поэтому, воздавая, например, хвалу благочестию и безмятежному царствованию Федора Ивановича, Тимофеев вскользь осуждает последнего представителя династии Рюриковичей за то, что он «земное царство и красное мира совершене оплевав, оттрясе по себе <…> издавна завидящему властолюбцу рабу лесное вся своего владычества остави…» [Временник, с. 25–26], что «Своих же вечноотчьных царств, еще в животе сы, весь о людех правления жезл, начало власти Борисови попусти» [Временник, с. 151].

При этом рассказ о современных книжникам событиях ведется во многих памятниках с разных точек зрения: с позиции повествователя, автора и «ведцев» и

---

[1] *Адрианова-Перетц В.П.* О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 16. С. 30; *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 6–26.

[2] *Державина О.А.* К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести начала XVII века // Ученые записки Московского городского педагогического института имени В.П. Потемкина. М., 1957. Т. LXVII, вып. 6. С. 78–79.

[3] *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 15.

[4] Там же. С. 16.

[5] Там же. С. 17–19.

«нецыих». В Хронографе второй редакции, во «Временнике», в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» И. Хворостинина и др. памятниках «характеры исторических лиц показаны на фоне народных толков о них»[6]. Зачастую эти «толки» расходятся с позицией повествователей, и благодаря этому в исторических и публицистических сочинениях современников возникает эффект полифонии, позволяющий представить различные точки зрения на события и характеры, поступки героев.

Новый подход к изображению человеческого характера обусловил, по мнению А.С. Демина, и «намечавшуюся перемену авторских склонностей от изображения человека покойного к изображению человека энергичного»[7]. Так, в «Сказании» Авраамия Палицына «сцены осады и сражений уже сливались в непривычную по напряженности картину воинского труда»[8].

В памятниках первой трети XVII в. зарождается и «новая манера повествования о чувствах», что «во многом было обусловлено сложившейся тяжелой обстановкой»[9]. «Нагнетательные» образы пронизывают «Новую повесть о преславном Росийском царстве…» и «Писание о преставлении и погребении воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», при этом «если автор “Новой повести” тяготел к изображению человека в его противоположных чувствах и состояниях, то автор “Писания” больше любил нагнетать хотя и разные, но все-таки однотипные явления»[10]. Многие авторы, в частности, создатель «Новой повести о преславном Росийском царстве…», гиперболизировали «физические проявления чувств и состояний персонажей»[11].

Повышенный интерес к человеческой личности приводит к тому, что в ряде памятников цикла появляются полноценные портретные характеристики исторических лиц. Словесный портрет, по мнению А.Б. Никольской, возник уже на раннем этапе развития древнерусской литературы, его черты обнаруживаются в «Повести временных лет», «Девгениевом деянии», Ипатьевской и Никоновской летописях и др.[12] Однако книжники первой трети XVII в. выработали новые «принципы создания словесного портрета: 1. Физиогномические черты, если они и появлялись в произведении, обязательно предваряли характеристику поступков или деяний исторических личностей. 2. В повестях Смутного времени происходит взаимопроникновение описаний внешних и внутренних

---

[6] Там же. С. 21.

[7] *Демин А.С.* О художественности древнерусской литературы / отв. ред. В.П. Гребенюк. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 316.

[8] Там же. С. 315.

[9] *Демин А.С.* О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона до Ломоносова. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 367.

[10] Там же. С. 363–364.

[11] Там же. С. 366.

[12] См.: *Никольская А.Б.* К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литературе // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А.С. Орлова / Акад. наук СССР, Ин-т русской лит. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1934. С. 191–200.

свойств личности»[13]. «Визуально-характерологический» портрет, по мнению А.П. Дудко, появляется в «Летописной книге». В «Словесах дней, и царей, и святителей московских» И. Хворостинина представлены «психологический портрет Бориса Годунова»[14] и построенный «на характерологических деталях» портрет патриарха Гермогена[15]. Но самым «уникальным», с точки зрения исследовательницы, является «характерологический портрет самого автора» — И. Хворостинина, — поскольку «он построен на речевой характеристике»[16]. «Появление развернутого автопортрета, — заключает А.П. Дудко, — <…> знаменует собой качественно новый этап развития русской прозы. Особенно важным в этом отношении оказывается драматургическая основа, использованная Хворостининым не только в прагматических целях (доказать, что он не был соучастником преступлений Лжедмитрия), но и в качестве выразительного художественного приема»[17]. Вместе с тем в цикле сочинений о Смуте встречаются и портреты, которые «не вызывают впечатления телесности и оживленности»[18], в частности, в видениях, по мысли Н.И. Прокофьева, «Повышенный интерес к символу света затмевает индивидуальные черты изображаемого персонажа и делает его внешность “неизреченной” на фоне яркого освещения»[19].

Стремление авторов самых разных социальных слоев, идейных убеждений не только описать, но, главное, осмыслить факт незаконного захвата российского престола, раскол русского общества, польско-литовскую интервенцию, оценить трагические для Московского государства последствия этих «нестроений» приводит к тому, что в литературе вновь актуализируется символический способ характеристики лиц и событий, который довольно устойчиво в большинстве памятников сочетается с попытками установить причинно-следственные связи между характером и поведением человека, раскрыть противоречивую сложность исторической личности. Появляются произведения, пронизанные сложной и многообразной символикой. При этом в символической системе каждого отдельного исторического повествования наблюдаются художественные явления разного порядка. Так, например, символика «Хронографа 1617 года» во многом исторична и восходит к тексту «Хронографа 1512 года». Яркой приметой стиля автора «Иного сказания» является не столько «многозначность символа», сколько «существование многих символов для одного и того же явления»[20].

---

[13] *Дудко А.П.* Портрет как средство выражения субъективного начала в повестях о Смутном времени // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 5 (68). С. 100.

[14] Там же. С. 103.

[15] Там же.

[16] Там же. С. 103–104.

[17] Там же. С. 104.

[18] *Прокофьев Н.И.* Символико-аллегорическая образность в литературе начала XVII века // Вопросы русской литературы: Ученые записки / МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1966. Т. 248. С. 38.

[19] Там же. С. 39.

[20] *Лихачев Д.С.* К изучению художественных методов русской литературы XI–XVII вв. С. 22.

Огромную роль в цикле сочинений о Смуте по-прежнему играют образы животных, символизирующие, по мысли О.А. Державиной, в ряде произведений («Хронограф 1617 года», «Иное сказание», «Временник» Ивана Тимофеева, «Сказание» Авраамия Палицына) «свойства человеческого характера»[21]. Не менее важны в памятниках о Смуте сквозные символы «царского корня», «болезни»[22], а также предметно-конкретные образы, превращающиеся в наполненные глубоким содержанием символические мотивы, например, мотив стены в «Сказании» Авраамия Палицына, тесно связанный с образами рва, дома, церкви, подкопа[23].

Переплетение традиционных (черты средневекового абстрагирования) и новаторских (приметы бытовой и социальной конкретики) приемов изображения человека, смешение разных стилей внутри одного памятника приводит к тому, что характерной приметой русских сочинений о Смуте является «сочетание азиатского стиля (“плетение словес”) с аттическим (деловая проза)»[24]. В литературе актуализируются приемы орнаментальности, восходящие к стилю «плетения словес» и к лаконичным, но значимым повторам, типичным для жанра воинской повести, которые создают единую лейтмотивную систему в характеристике того или иного персонажа.

Наряду с активным использованием библеизмов в цикле сочинений о Смуте набирают силу реалистические тенденции изображения характеров и поступков исторических лиц.

В цикле сочинений о Смуте иначе, по сравнению с предшествующим периодом развития русской литературы, изображаются женские персонажи. Многие авторы уделяют значительное внимание рассказу о трагических судьбах жен и детей царей и самозванцев[25]. Несомненной литературной новацией можно считать гендерный подход, использованный И. Тимофеевым во «Временнике», восходящий в своей основе к образам добрых и злых жен, но переосмысленный в контексте конкретных исторических событий.

Наконец, в литературе о Смуте появляется и новый герой — народ. По мнению В.И. Попкова, первым, кто «показал зависимость царской власти от воли народной»[26], был автор «Повести 1606 года»: «Изображение воли народа, — заключает исследователь, — это новая реалистическая черта повести, суть ее демократического начала»[27].

---

[21] Там же. С. 298.

[22] См. подробнее: *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени. Указ. соч.

[23] *Коротченко М.А.* Композиционная роль повторяющихся мотивов в «Истории в память предидущим родом» Авраамия Палицына. С. 16–30.

[24] *Гордеев Н.П.* Риторика обличителей и почитателей Дмитрия Самозванца // Вестник Общества исследователей Древней Руси за 2001 г. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 77.

[25] См., например: *Архимандрит Макарий (Веретенников).* Монахиня Ольга (Годунова) // Древняя Русь. 2002. № 3 (9). С. 92–97.

[26] *Попков В.И.* Демократические тенденции русской литературы первой трети XVII века. М.: МОПИ, 1984. С. 46.

[27] Там же. С. 47.

В целом, новаторские подходы к изображению исторических лиц, зарождающиеся в цикле сочинений о Смуте, взаимодействуют со всем комплексом традиционных приемов, выработанных в древнерусской литературе предшествующего периода развития. Литература о Смуте, открывая новые приемы и средства изображения человеческого характера, во многом продолжает традиции литературы Древней Руси, неспешно и осторожно взрывая и разрушая каноны изобразительности путем трансформации, углубления, конкретизации типичных приемов.

2. Библейские образы как средство оценки исторических лиц[28]

Единичные библейские образы как средство оценки исторических лиц. Единичные библеизмы как средство маркирования персонажей и событий — это самая многочисленная группа интертекстуализмов в цикле сочинений о Смуте, поскольку библейские образы, сравнения и метафоры включаются в тексты в качестве атрибутивно-оценочных маркеров, носят постоянный характер, но часто не развиваются до изобразительного или прогностического мотива. Система атрибуции, используемая авторами памятников о Смуте, предопределяется предшествующей литературной традицией, а самый подбор атрибутивных библейских образов, применяемых по отношению к конкретному историческому лицу в разных произведениях, отражает две тенденции. С одной стороны, практически во всех произведениях первой трети XVII столетия для характеристики положительных лиц и явлений традиционно используются положительные образы библейских героев, символика света, огня и такие животные, как «овцы», «инороги» и др., для отрицательных — образы библейских злодеев и мучителей, символика тьмы и такие животные, как «львы», «волки», «ядовитые змеи» и др. При этом авторы выбирают для характеристики современных им лиц исключительно знаковые и хорошо известные русскому читателю библейские образы, которые и в Священном Писании, и в предшествующей литературе имели однозначное толкование. С другой стороны, выбор сопоставительных образов во многом отражает индивидуальные пристрастия книжников.

Повествуя об одних и тех же событиях авторы прибегают к разным оценочным образам и, наоборот, рассказывая о разных исторических лицах, используют один и тот же ветхо- или новозаветный образ. Например, дьяк Иван Тимофеев во «Временнике»

[28] В основе раздела — первые публикации: *Туфанова О.А.* 1) Семантика и особенности употребления метафоры «волки» – «овцы» в «Так называемом Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2011. № 1 (XIX). С. 75–81; 2) Мотив «Содома и Гомора оставшую главню…» в «Так называемом ином сказании» // Герменевтика древнерусской литературы: Сб. 16–17 / отв. ред. М.В. Первушин. М.: [Б.и.], 2014. С. 1065–1085; 3) Библейские сюжеты и образы в литературе Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 129–181.

неоднократно говорит о причастности Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия и каждый раз употребляет в качестве оценки новозаветный образ царя Ирода: «…яко Иродоубийственною рукою, от раба царска семени незлобиваго отрока неправедное заколение» [Временник, с. 34]; «По святоубиении же вещати не довляшеся токмо кровию его единого рачитель детоубийца Ирода Борис…» [Временник, с. 43]; «…яко же Евреи фараону в Египте попустиша убивати младенца и при Христе таковыя же в Вифлиоме Ироду, — то не бы предиреченный (Б. Годунов. — *О.Т.*) на фторое дерзнул убийство, еже новомученика царевича Димитрия... Елма Ирод во Иерусалиме некогда вся владущая земли погуби, своея ему смерти сих не радоватися сотвори, сице и той, сего ревнуя злу, такожде» [Временник, с. 94] и т. д. В этом же контексте автор «Повести, как восхити…», а вслед за ним и автор «Повести, како отомсти…» и составитель «Иного сказания» уподобляют Бориса Годунова предателю Иуде: «…о лукавый Борисе, вторый Іюдо по преданію…» [Повесть, како восхити, стб. 151], «…о лукавый Борисе, вторый Іюдо предателю…» [Иное сказание, стб. 9]. Авраамий Палицын использует эти же библейские образы в ином контексте — в рассказе об измене казначея Иосифа Девочкина: «Обрѣтает же диаволъ сосудъ себѣ и научает гонити, яко же Саулъ Давида, неповинно… или яко же Ирода неповинных младенецъ избити устраяет. Яко же не убояся Июда дившаго власть немощным творити чюдеса неизреченная, тако же не устрашися Иосифъ дивных явлений богоносна мужа и уподобися оному еретику чернъцу, крыющу главу Предтечеву, да не славится о ней имя господне» [Сказание А. Палицына, с. 218–220].

В редких случаях наблюдается использование одних и тех же библейских образов в однотематических повествованиях. Так, автор «Летописной книги» уподобляет убиенного царевича Дмитрия Авелю: «Над всѣми ж тѣми праведнаго и без вины закаланнаго царевича Дмитрея отъ неблагодарнаго Бориса возопила кровь его господу, яко праведнаго Авеля» [Летописная книга, с. 366]. Тот же самый образ использует и дьяк Иван Тимофеев: «…на место, идеже непорочнаго младенца и святая душа царева от благоуханнаго телеси его нужно разделися, неведущая злое и греха не познавшая, и новомученическая неповинная кровь излияся, яко же Авеля другаго…» [Временник, с. 30].

В отдельных случаях в текстах наблюдается использование приема амплификации библейских образов. К этому приему, в частности, прибегает автор «Повести о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, по прозвищу Скопина» при описании жалобных причитаний народа по поводу преждевременной кончины воеводы, оставшегося в памяти народной, по выражению В.С. Иконникова, «незапятнанным героем в кратком эпизоде целой драмы»[29], в конце своей яркой, но

[29] *Иконников В.С.* Князь М.В. Скопин-Шуйский. Критико-биографический очерк // Древняя и новая Россия. Иллюстрированный ежемесячный исторический сборник. СПб., 1875. № 6. С. 133.

короткой жизни представшего «сразу в нескольких лицах»: как «правитель огромного края, наставник войска», «удачливый финансист», «умелый дипломат»[30], как «превосходный полководец»[31] и, главное, как «народный герой и надежда России»[32]. Автор нанизывает имена легендарных библейских героев, довольно часто употреблявшиеся в древнерусской литературе для характеристики удачливых полководцев: «…инии же яко новаго Исуса Наввина нарицаху его, инии же яко Гедеона и Варака, или Самсона, побѣдителя иноплеменником, зваху его: отъѣхавше въ малѣ и роспространишеся, и приѣхавше во мнозѣ; овии же яко Давида, отомстителя врагом, зваху или яко Июду Макиавейского, въ толкое в нужное время добре храбровавшего»[33].

Все библейские образы и короткие комментарии выражают одно и то же (скончался великий полководец, защитник земли Русской) и вместе с тем разное. Основная мысль конкретизируется с помощью упоминания различных библейских персонажей, в деяниях которых выделяется главное, в чем сходен с ними Скопин-Шуйский. Имена библейских персонажей автор располагает в порядке усиления их эмоционального звучания. Возникает своеобразная стилистическая градация, при которой каждый последующий образ библейского персонажа повышает значимость деяний Скопина-Шуйского, пока не находит свое разрешение в двух библейских образах: Иуды Маккиавейского, возглавлявшего борьбу народа против царя Антиоха Епифана во II в. до н. э., и Езекии, при котором Иерусалим был спасен от войск ассирийского царя.

Автор, нагнетая имена библейских персонажей и сопровождая их краткими комментариями, перечисляет наиболее значимые в глазах современников деяния князя: сбор боеспособного войска, победа над иноплеменниками, освобождение Москвы от многомесячной осады, а также главное отличительное его качество как полководца — способность взять на себя ответственность и организовать сопротивление.

Таким образом, мысль автора о величии дел и личности Скопина-Шуйского, выраженная путем присоединения имен библейских персонажей, представляет собой явление стилистической «именной» амплификации. В то же время, несмотря на традиционность приема использования образов библейских персонажей для характеристики исторического лица, перед нами — оригинальный некролог, осложненный конкретным историческим содержанием.

---

[30] *Каргалов В.В.* Московские воеводы XVI–XVII вв. Изд. 2-е. М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2006. С. 124.

[31] *Митрофорный протоиерей Александр Соколов.* Поборник Российской Державы в смутное время: (о жизни князя М.В. Скопина-Шуйского). Изд. 2-е. Нижний Новгород: [Б. и.], 2009. С. 21.

[32] *Абрамович Г.В.* Князья Шуйские и Российский трон. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. С. 151.

[33] Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, по прозвищу Скопина // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 68.

В целом, и единичные сопоставительные библейские образы, и амплификационные цепочки, состоящие их хорошо известных русскому обществу имен героев ветхо- и новозаветной истории, служат в памятниках разных авторов вполне определенным художественным целям: они являются либо средством возвышения/уничижения персонажа, либо средством достижения эмоционального (положительного или отрицательного, зачастую трагического) накала повествования, а сами оценочные интертекстуализмы воспринимаются в семантической парадигме заданных Священным Писанием значений.

Иногда библеизмы этого типа образуют контрастные пары и преобразуются в ведущий принцип характеристики персонажей одного типа. Рассмотрим эту особенность использования интертекстуализмов на примере метафоры «волки» – «овцы» в «Ином сказании».

Семантика и особенности употребления метафоры «волки» – «овцы» в «Ином сказании». Впервые антитеза «волк/волки» – «овцы» встречается в «Ином сказании» в финале рассказа о покорении Лжедмитрием I Северской земли в конце 1604 г. Сравнительно с другими историческими событиями длинное повествование о первых военных успехах и поражении Григория Отрепьева в пределах Русской земли имеет сложную ансамблевую четырехчастную структуру. Первая часть, скупо повествующая о победном шествии Отрепьева по Северской земле, имеет характер экспозиции. Вторая часть посвящена осаде Новгорода Северского, единственного города, не захотевшего покориться Лжедмитрию I. Третья часть содержит рассказ о битве подошедшего на помощь городу московского войска с войском Лжедмитрия. Наконец, четвертая часть представляет собой риторическое заключение, подводящее итог описанным событиям.

Именно в последней, четвертой, части и появляется рассматриваемая нами антитеза: «…и овча претворися въ хищника волка, и подщася поядати избраннаго овчате словеснаго стада Христова…» [Иное сказание, стб. 32].

Традиционная для древнерусской литературы антитеза восходит, согласно наблюдениям А.С. Орлова[34] и В.П. Адриановой-Перетц[35], к ветхозаветным текстам Библии и евангельским притчам.

В Псалтири довольно устойчиво народ, верующий в Господа, уподобляется овцам: «…ибо мы — народ паствы Его и овцы руки Его…» (94: 7); «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его…» (99: 3). Аналогичное уподобление народа овцам есть и в Книге пророка Иеремии: «Народ Мой был как погибшие овцы…» (50: 6). Нечто подобное наблюдается и в Книге пророка Иезекииля: «И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит

[34] *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей... С. 32–33.
[35] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 95–102.

Господь Бог, и что вы — овцы Мои, овцы паствы Моей; вы — человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог» (35: 30–31).

Очевидно, составитель «Иного сказания», опуская в данном фрагменте вторую устойчивую параллель традиционной метафоры «пастух – стадо»[36], следует довольно рано сложившейся в древнерусской литературе традиции в особо ответственные исторические периоды возвеличивать русский народ путем уподобления его «Христову стаду». Впервые подобный исторический смысл придал этой метафоре митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати»[37], позднее данная метафора была актуализирована книжниками периода строительства и укрепления Московского государства[38] в XV–XVI вв. В XVII столетии метафоры «народ – овцы», «стадо Христово – государство» становятся, по наблюдениям В.П. Адриановой-Перетц, «постоянным приемом, почти независимым от авторской индивидуальности»[39].

Но здесь, в риторическом заключении к эпизоду погибели Северской земли, наблюдается, на наш взгляд, возврат к первоисточнику — к Библии. Во-первых, в данном фрагменте метафора «овчате словеснаго стада Христова» углубляется за счет другой традиционной метафоры, тоже восходящей к Библии, — «лоза насажденнаго винограда Христова». Например, в Евангелии от Иоанна читаем: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (15: 1), «Я есмь лоза, а вы ветви…» (15: 5).

Семантически метафоры «овчате словеснаго стада Христова» и «лоза насажденнаго винограда Христова» дублируют друг друга, обозначая православный русский народ. Обращают на себя внимание при этом эмоциональные повторы: дважды составитель указывает, что виноград насажден Господом, овцы — «избранное» [Иное сказание, стб. 32] словесное стадо Христово. В данном случае наблюдается намеренное акцентирование внимания читателя на том, что русский народ, как и народ Израиля в Ветхом Завете, — народ Господа и овцы паствы Его.

Расширение границ анализируемого фрагмента подводит к той же мысли. Осуждая страшную, полную «ужасти» борьбу «проклятаго еретика со святоубійцею» в конце третьей части рассказа о битве под Новгородом Северским, составитель замечает, что они «не сами собою сражаются, но человѣцы отъ нихъ умираютъ и кровь проливаютъ» [Иное сказание, стб. 31–32]. Двум самозванцам, дерущимся за власть, составитель противопоставляет обычных «человѣцей». В Книге пророка Иезекииля аллегорическое уподобление народа овцам завершает утверждение: «…вы — человеки, а Я Бог ваш…». То же самое, но в обратной последовательности наблюдается и в тексте «Иного сказания».

---

[36] Там же. С. 99.
[37] Там же.
[38] Там же. С. 101.
[39] Там же. С. 102.

Далее — еще одна примечательная деталь. Помимо метафоры «народ» – «овчате стада», составитель «Иного сказания» употребляет еще одну метафору: «каждый православный христианин» — «овча», «лоза насажденнаго винограда Христова». Причем автор специфически, через мотив оборотничества, вводит данную мысль в анализируемый фрагмент: «Гришка Отрепіевъ, бывый присно лоза насажденнаго винограда Христова, и отторжеся… и овча претворися въ хищника волка» [Иное сказание, стб. 32].

Экспрессивно-негативное отношение составителя «Иного сказания» к Лжедмитрию I проявляется уже в самом начале риторического заключения, которое открывает длинная цепочка отрицательных эпитетов, несущих в себе лексему «зло»: «И тако злонравный отъ злаго своего злохитрства и суроваго обычая Гришка Отрепіевъ…» [Иное сказание, стб. 32]. Она находит свое продолжение и логическое завершение в двух отрицательных образах. Первый образ — «золъ плодъ», второй — «хищник волк».

К первому образу автор подводит путем небольшого биографического экскурса. Некогда Гришка Отрепьев был среди тех, кого составитель называет «лозой насажденнаго винограда Христова». Но затем отрекся от православной веры. Падение Отрепьева, превращение из «овча» в «хищника волка» выделено путем градационной цепочки, где каждое слово усиливает страшный смысл свершившегося видоизменения: «…и отторжеся, и падеся, и лежа, прозябе золъ плодъ, еже вкушающимъ отъ него смертію умирати…». Именно этот прием градации вводит мотив превращения лозы виноградной в «золъ плодъ», «овча» — в «хищника волка». А следовательно, и тему оборотничества: то, что должно было цвести и давать сладкий плод, грозит вкушающим от него смертью; тот, кто должен был быть кроток и невинен, живя во Христе, проливает «рѣки неповинныя христіянскія крови». В конечном итоге в финале эпизода реализуется еще одна обобщающего характера антитеза «жизнь» – «смерть».

В уподоблении «хищник волк» читается двойное указание на злобность и хищничество этого животного. Эта двойственность особенно заметна при сопоставлении с другими эпизодами «Иного сказания», где встречается сравнение «аки волцы». Ни в одном более случае употребления этого сравнения добавочный эпитет «хищник» не упоминается.

Здесь же, очевидно, эта усиленная метафора играет двойную роль. Во-первых, таким способом составитель «Иного сказания» отграничивает ранее трижды использованное в памятнике сравнение «аки волцы» от данной метафоры. Во-вторых, усиленная метафора указывает на источник происхождения данного уподобления. Действительно, в Книге Бытия патриарх Иаков в предсмертном пророчестве своим сыновьям сравнивает хищность колена Вениаминова с хищностью волка: «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу» (49: 27). В Евангелии от Матфея Иисус Христос

предостерегает учеников от лжеучителей: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (7: 15).

Последнее, видимо, особенно актуальным представлялось составителю «Иного сказания»: ведь Гришка Отрепьев, принявший чужое имя, и есть лжепророк в овечьей шкуре. Он назвался святым для многих русских людей именем убиенного царевича Дмитрия, якобы чудом выжившего, т. е. предстал в овечьей шкуре, а реальные дела его показали, что это волк хищный.

Еще одной причиной усиления метафоры может быть желание автора подчеркнуть аллегорично развернутую картину: овцы и волк, нападающий на «стадо Христово» и поедающий его. Данная метафора применялась древнерусскими книжниками изначально «для более наглядного изображения религиозно-нравственных представлений христианства»[40], позднее она переносилась и на «светского главу государства, его подданных и врагов государства»[41].

Источником же этой метафоры в анализируемом фрагменте является евангельский текст. В Евангелии от Иоанна Христос предупреждает учеников: «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их» (10: 12). На жестокость волка указывают и другие библейские тексты. Например, в Книге пророка Иезекииля жестокость гонителей Израиля уподобляется жестокости волка: «Князья у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть» (22: 27).

Очевидно, составитель «Иного сказания», уподобляя Лжедмитрия I хищнику волку, проводит скрытое сопоставление этого исторического лица с библейскими князьями. Устойчивая взаимосвязь образа волка с мотивами крови и смерти в библейском тексте во многом проясняет стереотипность этой взаимосвязи и в тексте рассматриваемого памятника.

Надо сказать, что сравнение «аки волкы» / «аки волк» довольно устойчиво применяется составителем «Иного сказания» по отношению к целому ряду отрицательных персонажей.

Всего в тексте десять случаев использования этого сравнения.

В четырех фрагментах встречается аллегорически развернутая картина — волки, поедающие «овча стадо Христово». В анализируемом эпизоде битвы при Новгороде Северском: «…овча претворися въ *хищника волка* (здесь и далее подчеркивание и курсив мои. — *О.Т.*), и подщася поядати избраннаго овчате словеснаго стада Христова…» [Иное сказание, стб. 32]. В эпизоде нападения на Симонов монастырь о восставших под

[40] Там же. С. 97.
[41] Там же.

предводительством Ивана Болотникова: «Они же богоотступницы и разбойцы <…> нападше на монастырь, *аки волцы*, на расхищеніе Христова стада...» [Иное сказание, стб. 100]. В эпизоде борьбы с мятежниками, руководимыми Петром Горчаковым, назвавшимся царевичем Петром: «Во смятеніи же томъ вси разбойницы изъ града на || пустишася сѣтчи безъ милости, *яко же гладніи волцы нападше*, расторгающе овцы…» [Иное сказание, стб. 113–114]. В четвертом случае два образа сливаются в один: речь идет о воеводе М.В. Скопине-Шуйском, который «супостатныя полки обтече и вся *овцехищныя волки* люто устраши…» [Иное сказание, стб. 118].

В шести случаях из десяти сравнение «аки волкы» сопровождают экспрессивные негативные эпитеты. Убийцы царевича Дмитрия — «юноши» «злочестивыи», «яко волцы немилостивіи» [Иное сказание, стб. 8]. Лжедмитрий I в эпизоде, повествующем о событиях 18 мая 1605 г., уподоблен «зломысленному волку суровому и немилостивому» [Иное сказание, стб. 56–57], в риторическом заключении к эпизоду битвы при Новгороде Северском он претворился в «хищника волка» [Иное сказание, стб. 32]. Мятежники, которых «устрашил» воевода М.В. Скопин-Шуйский, получают наименование в тексте «овцехищныя волки» [Иное сказание, стб. 118]. «Крамолники», собравшиеся в Тушинском лагере, — «вси волцы и хищницы» ([Иное сказание, стб. 121]. «Литовские люди», захватившие Москву, «аки немилостивіи волцы» [Иное сказание, стб. 126].

Восприятие образа волка составителем «Иного сказания» традиционно крайне негативное. Уже в эпитетах, которые сопровождают этот образ в произведении, проглядывает общий настрой составителя по отношению ко всем, кто творил Смуту в Московском государстве. При этом неразличение своих и чужих указывает на то, что в сознании составителя любой убийца вне зависимости от национальности, гражданства и возраста ассоциируется с волком.

Все те, кто нападал, разорял, «поедал» «овча стадо Христово», творили зло. Не случайно расширение контекста использования сравнения практически во всех случаях показывает доминантное звучание мотива зла, характеризующего нравственную суть всех убийц-врагов земли Русской. Так, убийцы царевича Дмитрия названы «злочестивыми» юношами; постоянный мотив, сопровождающий образ Лжедмитрия I в тексте, —– мотив зломыслия; тушинские мятежники, сидя в своем лагере, «зло мыслятъ и творятъ» [Иное сказание, стб. 121].

Другой постоянный мотив, сопутствующий образам врагов-волков в тексте «Иного сказания», — мотив кровожадности, который также очевиден при расширении контекста. Например, в риторическом заключении, завершающем эпизод битвы при Новгороде Северском, составитель еще раз напоминает читателю о том, что Лжедмитрий I «пролія рѣки неповинныя христіянскія крови…» [Иное сказание, стб. 32]. Разбойники под

предводительством Болотникова несколько раз названы в тексте «кровоядцами» и «кровоядливыми прелестницами», которые во время власти расстриги [Иное сказание, стб. 98] «лакнуша крови христіянскія» и дальше на «христіянское кровопролитіе готовляшеся» [Иное сказание, стб. 99]. Аналогичным образом ведут себя те, кто встали под знамена Петрушки Горчакова: «...совокупишася на православныхъ христіянъ, на пролитіе крови ихъ» [Иное сказание, стб. 112]. У литовцев «кровоядные руцѣ» [Иное сказание, стб. 126].

Зачастую составитель вынужден признавать и фиксировать удачливость врагов-волков в сражениях. Но эта удачливость носит необычный характер. Весьма часто военного успеха волкам-врагам удается добиться исключительно благодаря хитрости. Так, Отрепьев смог победить подошедшее на помощь Новгороду Северскому московское войско только после того, как «съ хитростію на бой нарядився»: он велел коней и людей одеть в вывороченные медвежьи и овечьи шкуры. В риторическом заключении к эпизоду составитель вновь повторит эту мысль: «…умысли злохитреными волшествы своими, побѣдивъ отъ полковъ множество воинъ…» [Иное сказание, стб. 32]. В результате кони московского войска «начаша зело мятися», московскую силу, находившуюся «во смятении», воины Лжедмитрия «начаша боле побивати <...> и во смятении томъ много войска побиша» [Иное сказание, стб. 31]; в итоге вся «Московская сила смятеся» [Иное сказание, стб. 31].

Аналогичным образом сочетаются мотивы смятения, битья и смерти, вводимые понятием хитрость, в рассказе об осаде Калуги. Опередив действия осаждающих, разбойники, предводительствуемые И. Болотниковым и П. Горчаковым, «улучивши время своему злому умышленію», ночью зажгли приготовленное не ими под землей зелье. В результате и земля, и дрова, и люди, и щиты, и всякие другие «хитрости», сооруженные для приступа, взлетели на воздух, и «смятеся все войско» [Иное сказание, стб. 113]. Как голодные волки, «разбойницы» «во смятеніи же томъ <…> изъ града напустишася сѣтчи безъ милости <…> вси смятошася <…> воеводы устрашишася и бѣгству вдашася», и все воинство вслед за ними побежало, «разбойницы же <…> вослѣдъ ихъ женуще и бьюще и сѣкуще безъ милости» [Иное сказание, стб. 114].

Столь же необычно соединение понятий хитрость и коварство с мотивами битья и смерти в эпизоде осады Новгорода Северского. Здесь сравнение «аки волцы» использовано весьма необычно, на что первым обратил внимание А.С. Орлов[42]: волкам уподоблены не осаждающие, а обороняющиеся. Жители города «тайно уготовиша щиты, и уставивше пушки и пищали, и сабли вознесше, и всякое оружіе встрѣчу имъ уготовиша, и сами, *яко волцы*, за щиты западше, и въ тайныя мѣста скрышася, и градъ отвориша» [Иное сказание,

[42] *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей… С. 32.

стб. 29]. Воины Лжедмитрия I ворвались в город — и жители «начаша по всему войску бити» и всех, кто вошел, «побиша <…> и убиша» [Иное сказание, стб. 29].

Составитель никак не комментирует поступок жителей Новгорода Северского; перед нами простая констатация факта. Появление же сравнения «аки волцы» в столь необычном для всего памятника контексте, примененное по отношению к положительным в целом персонажам (в сопоставлении с отрицательным образом войска Лжедмитрия I), обусловлено, видимо, тем, что в сознании повествователя присутствовал некий стереотип поведения и стереотипный набор качеств, присущих тому или иному животному. Очевидно, что образ волка был прочно связан не только с жестокостью, сеющей смерть, но и с коварством, хитростью, неестественностью.

Последнее наиболее отчетливо прослеживается еще в одном фрагменте памятника. Уговаривая Бориса Годунова взойти на царство, бояре повелели народу пасть на землю, не желающих это делать «созади въ шею пхающе и бiюще, повелѣвающе на землю падати и, вставъ, неволею плакати; они же и не хотя, *аки волцы*, напрасно завоюще, подъ глазы же слинами могаще, всякъ кождо у себе слезъ сущихъ не имѣя» [Иное сказание, стб. 15]. В этом фрагменте, как и в предыдущих, образ волка связан с хитростью: не имея искренних слез, люди, изображая плач, смачивали кожу под глазами «слинами».

Удивительно, но там, где составитель использует сравнение «аки волцы», часто в тексте появляется глагольная лексика с корнем *пад*-. Избитый народ падает на землю пред Годуновым, жители Новгорода Северского «за щиты западше», Отрепьев «и отторжеся, и падеся», соратники И. Болотникова «нападше на монастырь». Составитель словно играет разными смыслами: те, кто нападают или падают избитые, исполняя чужую злую волю, — нравственно падшие люди.

В целом, использование составителем «Иного сказания» метафоры «волки» – «овцы», восходящей в своей основе к библейским текстам и имеющей давнюю литературную традицию употребления в древнерусских агиографических, ораторских произведениях, воинских повестях, демонстрирует переосмысление хорошо известной древнерусскому читателю антитезы на новом историческом материале. Традиционное уподобление русского народа в публицистических текстах «овцам», «Христову стаду», врагов Русской земли, и своих, и чужих, — «волкам» в тексте «Иного сказания» приобретает дополнительное звучание: старые метафоры насыщаются новым историческим содержанием, конкретными реалиями русской истории начала XVII столетия и осложняются перекличками с сопутствующими этим образам в Библии мотивами, превращающимися в повествовании о русской Смуте в ведущие характеристики конкретных исторических личностей.

Библейский мотив «Содома и Гомора оставшую главню…» в «Ином сказании». Особый вид интертекстуализмов в цикле сочинений о Смуте составляют библейские мотивы, используемые, как правило, в начальной характеристике исторического лица в качестве предсказаний грядущей судьбы персонажа и художественно мотивирующие и одновременно организующие в единое целое разрозненные библейские перифразы. Именно в таком ключе используется мотив «Содома и Гомора оставшей главни» в «Ином сказании».

Библейские метафоры и символы в основном употребляются в первой части произведения, где речь идет о Борисе Годунове и Григории Отрепьеве, и восходят к «Повести, како восхити…» и «Повести, како отомсти…». Вслед за первоисточниками библеизмы используются в риторико-идеологическом ключе, что говорит о традиционности их включения в историческое полотно. Исключений не так уж и много. Одно из них — метафора, предшествующая называнию имени Лжедмитрия I и предвосхищающая рассказ о его происхождении. Появляется она не в основном тексте, повествующем о деяниях и личности Гришки Отрепьева, а в рассказе о наказании за грехи Бориса Годунова: «И попусти на него врага, Содома и Гомора оставшую главню…» [Иное сказание, стб. 17].

Сопоставление анализируемого фрагмента с аналогичными в «Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…» показывает, что библейский образ «Содома и Гомора оставшей главни» отсутствовал в первоисточниках.

«Повесть, како отомсти…»	**«Повесть, како восхити…»**	**«Иное сказание»**
«Видев же сия, недреманное всевидящее око Христос, яко неправдою восхити скифетр Росийския области, и восхоте ему отмстити пролитие неповинные крови новых своих страстотерпцов: просиявшаго в чюдесех царевича Дмитрея и царя и великаго князя Феодора	«Видѣвъ же сія недреманное всевидящее око Христос, яко неправдою восхити Російскія области скифетр, и восхотѣ ему отмстити неповинные крови кровопролитіе новыхъ своихъ страстотерпцовъ: просіявшаго въ чюдесѣхъ царевича Дмитрея, и царя и великого князя Ѳеодора Ивановича всеа Русіи, и	«Видѣвъ же сіе всевидящее недреманное око Христосъ, яко неправдою восхити скипетръ Російскія области, и восхотѣ ему отомстити пролитіе неповинные крови новыхъ своихъ страстотерпцевъ, просіявшаго въ чюдесѣхъ царевича Дмитрія, и царя и великого князя Ѳеодора Ивановича всеа Русіи, и

Ивановича всеа Русии, и неистовство его и злоубивство неправедное обличити, и прочим его родителем образ показати, чтоб не поревновали его лукавному суровству. И попусти на него такова же врага и законопреступника, Росийския же области града, зовомаго Галича, от младыя чади Юшку Яковлева сына Отрепьева, яков сам той святоубийца Борис Годунов»[43].	неистовство его и злоубійство неправедное обличити и прочимъ его рачителемъ образъ показати, чтобы не ревновали его лукавому суровству. И попусти на него такова же врага и законопреступника, Російскія же области града зовомаго Галича, отъ младыя чади сынчишка боярского Юшку Яковлева сына Отрепьева, яковъ и самъ той святоубійца Борисъ Годуновъ» [Повесть, како восхити, стб. 154].	прочихъ неповинно отъ него избіенныхъ, и неистовство его и злоубійство неправелное обличити и прочимъ его рачителемъ образъ показати, чтобы не ревновали его лукавому суровству. И попусти на него такова же врага, Содома и Гомора оставшую главню, или глаголю непогребенаго мертвеца, черньца, — по Иванна Лѣствичника слову: “всякъ чернецъ преже смерти умретъ, гробъ себѣ келію обрѣтъ” — глаголю убо, законопреступника ростригу Гришку Отрепьева, родомъ Російскія же области, града зовомаго Галича, отъ младыя чади Юшку Яковлева сына Отрепьева, яковъ самъ той святоубійца Борисъ Годуновъ» [Иное сказание, стб. 16–17].

Как видно из вышеприведенной таблицы, «Повесть, како восхити…» практически полностью дублирует текст «Повести, како отомсти…», наблюдаются лишь незначительные разночтения, связанные либо с перестановкой слов («восхити скифетр Росийския области» – «восхити Росийския области скифетр»), либо с перестановкой слов и

[43] *Буганов В.И., Корецкий В.И., Станиславский А.Л.* «Повесть, како отомсти…» – памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1974. Т. 28. С. 244.

введением тавтологии («отмстити пролитие неповинные крови» – «отмстити неповинные пролитие крови кровопролитие»), либо с заменой слова («прочим его родителем образ показати» – «прочимъ его рачителемъ образъ показати»), либо с добавлением уменьшительно-уничижительного суффикса к ранее использованному слову и введением дополнительного родословного указателя («от младыя чади Юшку Яковлева сына Отрепьева» – «отъ младыя чади сынчишка боярского Юшку Яковлева сына Отрепьева»).

Те же приемы стилистической правки наблюдаются и в тексте «Иного сказания», но здесь есть и существенное отличие: составитель расширил список новых страстотерпцев за счет указания на «прочихъ неповинно отъ него избиенныхъ», а также ввел дополнительные символические образы, которые отсутствуют и в «Повести, како отомсти…», и в «Повести, како восхити…», — образы «Содома и Гомора оставшей главни», «непогребенаго мертвеца, черньца» и слова Иоанна Лествичника.

На целый ряд текстологических изменений, которые претерпела «Повесть, како отомсти…» и в «Повести, како восхити…», и в «Ином сказании», указывали В.И. Буганов, В.И. Корецкий, А.Л. Станиславский в статье «“Повесть како отомсти” — памятник ранней публицистики Смутного времени»[44]. Однако названные выше изменения не были ими отмечены. Вместе с тем они свидетельствуют об особой авторской интерпретации образа Лжедмитрия I в тексте «Иного сказания». Тем более эта интерпретация становится заметной, если учесть, что другой, также восходящий к Библии образ змия появляется во всех трех памятниках в одном и том же контексте. В связи с этим возникает вопрос: какова цель введения образа «Содома и Гомора оставшей главни» — случайность это, продолжение хорошо просматриваемой в повестях-первоисточниках древней литературной традиции маркирования персонажей и вписывания их в контекст мировой истории и только или особый авторский прием?

При детальном рассмотрении особенностей повествования в «Ином сказании» выясняется, что ветхозаветные сюжеты и образы в памятнике служат для компилятора либо основой повествовательных моделей, либо предопределяют ведущие мотивы в развитии того или иного образа исторического лица. При этом сам восходящий к Библии мотив получает весьма тонкое и не всегда заметное с первого взгляда развитие.

Именно так использована в тексте «Иного сказания» метафора «Содома и Гомора оставшей главни», вырастающая до одного из главных мотивов в развитии образа Гришки Отрепьева. Составитель не только сопоставил Лжедмитрия I с жителями древних городов, но и всю характеристику персонажа построил по аналогии с ветхозаветными текстами.

Согласно Книге Бытия, Господь истребил Содом и Гоморру, поскольку это были самые нечестивые города на земле. Ветхозаветные и новозаветные тексты содержат

[44] Там же. С. 231–254.

развернутые характеристики жителей этих городов, которые повторяются на уровне устойчивых мотивов в «Ином сказании» при характеристике личности Лжедмитрия I. Однако то, что в Библии было отнесено ко всем жителям нечестивых городов, в «Ином сказании» концентрируется вокруг одного персонажа, который и предстает в символическом плане как их потомок или последователь.

Одна из первых характеристик в Библии гласит: «Человецыже иже в содомѣ зли, и грѣшни пред богомъ зѣло»[45] (Бытие 13: 13). Аналогичную постоянную характеристику получает и Гришка Отрепьев в тексте памятника XVII в.: «А онъ зломысленный…» [Иное сказание, стб. 26], «поиде злонравный…» [Иное сказание, стб. 26], «И тако злонравный отъ злаго своего злохитрства и суроваго обычая Гришка Отрепиевъ…» [Иное сказание, стб. 32] и др.

Более пространная характеристика жителей Содома и Гоморры содержится в Книге пророка Иезекииля: «обаче се бе законіе съдомы сестры твоея, гордость въ объяденіи хлѣба, и въ изъобиліи вина и въ праздности напиташеся та <…> и руки оубогому и нищему неподаху и величахуся, и сътвориша безаконія предо мною, и отвръгох я яко видѣ» (Иезекииль 16: 48–50).

Те же самые негативные качества присущи, согласно «Иному сказанию», и Лжедмитрию I. Точно так же составитель обвиняет его в гордости, когда говорит о том, что Гришка Отрепьев добровольно покинул иноческий чин и возжелал власти, приняв на себя имя царевича Дмитрия: «...нача въ безуміи своемъ возноситися и впаде въ прелютую ересь…» [Иное сказание, стб. 18].

Немилосердие жителей Содома и Гоморры превращается в изображении составителя «Иного сказания» в кровожадность, присущую Отрепьеву: «...пролія рѣки неповинныя христіянскія крови…» [Иное сказание, стб. 32], «...на кровопролитіе тщится, лакати крови христіянскія и поядати плоти человѣческія…» [Иное сказание, стб. 32], «...туне и неповинно кровь нашу проливати» [Иное сказание, стб. 57] и др.

Во всех деяниях самозванца усматривается установка на убийство, желание истребить. Так, боярина Василия Шуйского, во всеуслышание обличавшего законопреступника, Лжедмитрий I велел «посредѣ града смерти предати, мечемъ главу ему отсѣкнути предъ всѣмъ множества народа» [Иное сказание, стб. 52]. Иноков, которые осмелились вслед за Шуйским обличать ересь расстриги, «повелѣ <…> имати, и многимъ различнымъ мукамъ предастъ ихъ, и по далнымъ странамъ Російскія области въ темницы затворити многихъ повелѣ, и съ великимъ утверженіемъ заклепа; а иныхъ безъ милости смерти преда» [Иное сказание, стб. 54]. Женившись на «такову же злохитрену» Марине

[45] Библия. Острог, 1581.

Мнишек, Лжедмитрий I и вовсе «умысли <…> маія въ 18 день недѣльный боляръ и гостей и всѣхъ православныхъ христіянъ побити» [Иное сказание, стб. 56].

Как и жители Содома и Гоморры, Отрепьев совершал беззакония. Постоянный эпитет, сопровождающий в памятнике имя Лжедмитрия I, — «законопреступник»: «...того законопреступника ростригу <…> законопреступление его <…> сущий еси законопреступникъ, ростригa, Гришка Богдановъ сынъ Отрепьевъ» [Иное сказание, стб. 51–52]; «...о бестудномъ своемъ законопреступленіи» [Иное сказание, стб. 52]; «еретика и законопреступника» [Иное сказание, стб. 54]; «сущий законопреступникъ и ростригa, проклятый еретикъ» [Иное сказание, стб. 54] и др.

Нечестивости жителей Содома и Гоморры как одной из ведущих характеристик соответствует в тексте желание Гришки Отрепьева искоренить в Московском государстве православную веру и ввести католическую: «...и обѣщася Римскому папѣ вѣровати ихъ Римская вѣра, именуючи ей правую вѣру, а православная христіанская вѣра попрати и церкви Божія разорити и вмѣсто церквей костелы созидати» [Иное сказание, стб. 26]; «...и нача многія пакости въ царствующемъ градѣ творити, православному христіянству содѣвати. И тако отпаде отъ православныя вѣры <…> и самому образу Божію поругатися, и церкви Божія олтари хотѣлъ разорити, и монастыри и обителища иноческая раскопати, и православную христіанскую вѣру во отпадшую вѣру съ собою же равну сотворити, и костелы вмѣсто Божіихъ церквей создати» [Иное сказание, стб. 55] и др.

Намерение Отрепьева «юнныхъ иноковъ и инокинь по злонравію своему образа иноческаго лишати и во свѣтлыя портища облачати: иноковъ умысли окаянный женити, а инокинь замужъ давати…» [Иное сказание, стб. 57], растление юных иноков и инокинь («многихъ черноризицъ юнныхъ осквернилъ, и отроковъ и отроковицъ тако же многихъ растли…» [Иное сказание, стб. 55]) сродни сексуальной развращенности «блудодействующих» в Содоме и Гоморре (Бытие 19: 4–9).

Описание вероотступничества, как ведущего отрицательного качества в характеристике Лжедмитрия I, встречается почти во всех русских памятниках цикла. Исследуя «сакральный мир» самозванца на основе большого количества русских и иностранных источников, В. Ульяновский отметил, что разоблачение антиповедения Лжедмитрия I начал еще Борис Годунов, определив его главную цель как уничтожение православной веры и Церкви при помощи поляков, католиков и еретиков, затем эту идею развил Василий Шуйский, позже восприятие самозванца как «ложного царя, ведомого антихристом, была перенята Романовыми»[46].

Вместе с тем целый ряд иностранных источников о русской Смуте отражает иную точку зрения. Так, Элиас Геркман в «Историческом повествовании о важнейших смутах в

[46] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 363–365.

государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем», отмечал, что заговорщики, во главе которых стояли Василий Иванович Шуйский и его братья, Дмитрий и Иван Иванович, «употребляли средство, которое бывает очень могущественным орудием для низвержения с престола государей и властителей, а именно они обвиняли [Дмитрия] в ереси, в намерении изменить православную веру и вместо нее ввести веру польскую (т. е. римско-католическую)»[47].

Помимо прямых высказываний иностранцев о религиозности Лжедмитрия I, ярким свидетельством в защиту его православности является конфиденциальная переписка Отрепьева с Папой и епископатом Католической церкви в Польше, демонстрирующая исключительно «потребительское отношение Лжедмитрия I к римско-католическому “священству”», поскольку после традиционных формул верности Римскому престолу в этих письмах неизменно далее «следовали прагматические просьбы»[48].

Многие иностранные авторы отмечали также, что, вступив на престол, Лжедмитрий I весьма сильно изменился в вопросах веры. Например, иезуиты Андрей Лавицкий и Николай Чижовский, находившиеся в то время в Москве, жаловались в Рим «на охлаждение к ним царя, невозможность попасть к нему на прием, общение его с протестантами и российским православным окружением»[49]. Ян Велевицкий[50], ссылаясь на записки отца Каспара Савицкого, писал о том, что, став царем, Лжедмитрий I «О вѣрѣ и религіи католической (вопреки столь многимъ обѣщаніямъ) <…> мало думалъ»[51], «О папѣ <…> теперь онъ говорилъ безъ уваженія и даже съ презрѣніемъ»[52]. Папа Павел V пытался увещевать его и в письмах, и через посредство Юрия и Марины Мнишек. Кардинал Боргезе, усомнившийся уже в конце 1605 г. в Лжедмитрии I как адепте католицизма в России, позднее пришел к выводу, что он потерял истинное благочестие и не желает вводить в России католицизм[53].

Наконец, еще два факта свидетельствуют о православности духовного мира самозванца: почитание им Курской Коренной иконы Богоматери и неучастие иерархов Русской православной церкви в заговорах и низвержении Лжедмитрия I, отсутствие с их стороны обвинений в еретичестве после событий 17 мая 1606 г.[54]

Все эти факты указывают на то, что Лжедмитрий I, подобно тому как когда-то Иван IV, вел свою «азиатскую игру» с папской курией. Но свидетельствуют (прямо или

---

[47] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском... С. 223.
[48] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 316.
[49] Там же. С. 368.
[50] Ян Велевицкий (1566–1639) — католический священник из Кракова, описавший события эпохи Смуты на основании записей из дневника духовника Марины Мнишек, ксендза Каспара Савицкого.
[51] Рукопись Яна Велевицкого // Записки гетмана Жолкевского о московской войне. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. Стб. 171.
[52] Там же. Стб. 171–172.
[53] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 367–368.
[54] Там же. С. 319–321, 324.

косвенно) о дипломатической игре Лжедмитрия I с Западом исключительно иностранные источники. Русские авторы уже на самом раннем этапе в угоду интересам Василия Шуйского и, позднее, дома Романовых сознательно превращали Лжедмитрия I в еретика и антигероя, имеющего главной целью своей жизни искоренение в Русской земле православной веры. Уже в первых памятниках, отразивших правление Бориса Годунова и Лжедмитрия I, — «Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…» — последовательно проводится идеологическое низведение самозванца. Составитель «Иного сказания», в основу которого и были положены эти повести, надолго в литературе закрепил мнение о Лжедмитрии I как о еретике, стремящемся уничтожить православие в Московском государстве, введя значимую вневременную оценку, не подлежащую пересмотру в силу ее сакральности.

Таким образом, упомянутый в начале повествования о Гришке Отрепьеве библейский образ предопределяет набор ведущих повторяющихся мотивов, использованных для его характеристики. Выбор же ветхозаветного образа для представления Лжедмитрия I во многом объясняется политическими взглядами составителя «Иного сказания», выполнявшего, очевидно, идеологический заказ новой власти. Политическая установка становится более явной при сопоставлении русских и иностранных источников, посвященных одним и тем же историческим лицам. В «Ином сказании» библейские образы и образ конкретного исторического персонажа тесно связаны друг с другом и опосредованно раскрывают, с одной стороны, авторское отношение к историческим событиям начала XVII в., с другой стороны, выраженные менее явно особенности авторского восприятия событий библейских времен. И в том, и в другом случае демонстрируется негативное отношение составителя «Иного сказания» к злым, гордым, немилосердным, кровожадным, совершающим различного плана мерзости законопреступникам. И если в Библии Содом и Гоморра являются символами разврата и беззакония[55], а сами названия городов стали нарицательными для всякого рода мерзости пред Богом[56], то вполне закономерным кажется обращение составителя «Иного сказания» именно к этим символам для характеристики Лжедмитрия I, поскольку он усмотрел в этих образах, отстоящих друг от друга на много веков, несомненное нравственное сходство. Вероятно, вслед за пророком Иеремией, увидевшим в пророках Самарии и Иерусалима

[55] См.: Бытие (18: 20–21); Послание к Римлянам святого апостола Павла (9: 29).

[56] См.: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!» (Книга пророка Исаии 1: 9–10).

безумие и отождествившим их с Содомом и Гоморрой[57], составитель «Иного сказания» и называет Отрепьева «Содома и Гоморы оставшей главней».

Теперь попробуем разобраться, почему составитель упомянул образ «главни». Самый первый и самый, очевидно, простой ответ напрашивается сам собой. Как известно, нечестие и греховность жителей Содома и Гоморры привели к уничтожению этих городов огнем. Согласно Книге Бытия, «Господь же надождивъ содомъ, и гомор, камы горящіи и огнь от господа съ небеси, и преврати грады и весь предѣл, и все вселеніе въ оградѣхъ, и ився живущая въ градѣхъ, и все прозябъшее от зьмля» (Бытие 19: 24–25). Об этом же способе уничтожения городов Иорданской окрестности говорится и во Второзаконии: «камык, жупелъ и соль съжже всю земли его, не насѣется ни прозябнетъ, ни возникнет на нем всякъ злакъ, якоже исъпровръже содома и гомора и адма и севоима, яже испровръже господь въ ярости гнѣва своего» (Второзаконие 29: 23).

Очевидно, составитель «Иного сказания» включает в свое повествование образ «главни» как следствие прямого восприятия библейского текста, как напоминание своим читателям событий далекого прошлого. Согласно Библии, никому, кроме Лота и его семьи, спастись не удалось, сожженные города оказались погребены на дне Мертвого моря. Следовательно, воскрешая в своем сочинении образ Содома и Гоморры, составитель «Иного сказания» вынужден был искать образ, с одной стороны напоминающий о страшной судьбе древних городов, а с другой — возводящий в символическом плане происхождение Лжедмитрия I к древним нечестивцам. Такой емкий образ был найден.

Однако это не единственное объяснение появления образа «главни» в историческом повествовании XVII столетия. Расширение контекста показывает, что в этом образе не столько заключена косвенная информация-напоминание, как были уничтожены погрязшие в беззаконии города, сколько содержится своеобразное предсказание грядущей судьбы Гришки Отрепьева. Уже в Библии в разных книгах разрушение Содома и Гоморры стало символическим и довольно устойчиво встречающимся примером того, что ожидает безбожников, погрязших в грехе и разврате нечестия. Например, эта мысль звучит и во Втором соборном послании святого апостола Петра: «…и грады съдомъскіа и гоморьскіа съжегъ разореніемъ осуди, образъ хотящимъ нечествовати положивъ» (2: 6); и в Соборном послании святого апостола Иуды: «…якоже съдома и гомора, и окрестъныя ихъ грады подобнымъ их образом преблудивше, и ходивше въслѣдъ плоти иныя, прележатъ в показаніе огню вѣчному» (1: 7).

[57] См.: «И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною — как Содом, и жители его — как Гоморра» (Книга пророка Иеремии 23: 13–14).

Поскольку одним из лейтмотивов всего повествования является дуальная идея «преступление – наказание» и, в частности, ее разновидность «идея Божьего наказания», то эта мысль, очевидно, в наибольшей степени приближает нас к пониманию особенностей мировоззрения составителя «Иного сказания».

Уподобив Гришку Отрепьева «Содома и Гоморы оставшей главне», составитель таким своеобразным способом указал на грядущую судьбу нового самозванца на российском престоле. Причем указание это носит и прямой и символический характер одновременно. Финал жизни Отрепьева в изображении составителя как раз и демонстрирует, и довольно прямолинейно, библейские предсказания. Мало того что он умирает страшной смертью: «…мечемъ и прочимъ убійствомъ, оружіемъ убіенъ бысть», «всяко влекомъ бяше исъ превысочайшихъ пресвѣтлыхъ чертогъ своихъ по земли множайшихъ человѣкъ рукама», так что невозможно было «живаго и прямо лицу его зрѣти, не точію самому ему касатися» [Иное сказание, стб. 58], так еще и после смерти его грешная душа и тело не сразу обрели пристанище.

На протяжении нескольких дней труп нагого Лжедмитрия I лежал на площади, выставленный на всеобщее поругание, к нему никто не прикасался, пока по прошествии некоторого времени его тело не выбросили в поле, а позже по приказу Василия Шуйского не сожгли. Вот как описывает этот момент составитель: Господь указал верному своему слуге Василию Шуйскому «того злого еретика ростриги <…> сожещи всесквернавое проклятое его законопреступничье тѣло, еже и бысть: сожженъ на мѣстѣ, нарицаемомъ Котлѣ, отъ града яко седмь поприщъ» [Иное сказание, стб. 60–61]. Еретик Гришка Отрепьев почти в точности повторил судьбу жителей древних городов — был уничтожен огнем.

Помимо этого, в тексте обнаруживаются совпадения и более частные. Согласно Библии, по истреблении городов Содома и Гоморры земля «не засевается и не произращает», «и не выходит на ней никакой травы» (Второзаконие 29: 23), т. е. уничтожение беззаконных городов сопровождалось весьма странными природными явлениями.

Аналогичный прием использует и составитель «Иного сказания». Пока труп Лжедмитрия I лежал, обнаженный, на площади, не только люди, но и земля гнушались его: «…не точію человѣкомъ гнусно зрѣти нань, но самая та земля возгнушася, отъ нея же взятъ бысть» [Иное сказание, стб. 59]. Будучи выброшен в поле, «сын погибели» вызвал еще более странные природные потрясения: тут и земля «возгнушася на себѣ держати проклятаго <…> еретическаго трупа и аеръ ста неблагонравіе плодити, облацы дождя не даша, не хотяще его злоокаяннаго тѣла омыти, и солнце не восія на землю огрѣвати, и паде мразъ на всеплодіе и отъятъ въ наю тука пшенична и гроздія» [Иное сказание, стб. 59–60].

Разрушительность, катастрофичность последствий для мира природы и для людского сообщества непогребения тела еретика очевидна, как очевидно и то, что составитель переосмыслил и расширил библейский образ не произрастающей на месте гибели Содома и Гоморры травы, стараясь придать апокалипсический размах природным неурядицам, обернувшимся трагедией для людей.

Последняя деталь особенно любопытна, если сопоставить текст «Иного сказания» с иностранными источниками о русской Смуте. Например, капитан Жак Маржерет зафиксировал как исторический факт то, что после похорон Дмитрия неожиданно ударили жестокие заморозки и погибли посевы: «В первую ночь после убийства настал жестокий мороз, который продолжался 8 дней и повредил весь хлеб, деревья и даже луговую траву»[58]. Удручающее природное явление, сопровождающее похороны Лжедмитрия I и не имеющее реалистического объяснения, которые характерны в целом для «Краткого известия о Московии», описал и Исаак Масса: «Когда тело Дмитрия убрали, в ту самую ночь в окрестностях Москвы содеялось великое чудо: все плоды, как злаки, так и деревья, посохли, словно они были опалены огнем на двадцать миль вокруг Москвы, и вершины и ветви сосен, которые все время, и зимой и летом, бывают зелеными, повысохли так, что жалостно было глядеть»[59].

Ссылаясь на слухи, распускаемые русскими, Петр Петрей отразил в «Истории о великом княжестве Московском» еще более невероятные события, сопровождавшие, по выражению В. Ульяновского, «обряд/ритуал антисакрализации»[60] Лжедмитрия I. Мало того что на третью ночь, когда тело Отрепьева было выставлено напоказ на площади, «вышли из земли несколько свеч по обеим сторонам стола и горели»[61], что весьма ужаснуло сторожей, так еще и «в то время как переносили его, поднялся по всему городу неслыханно страшный вихрь, сорвавший кровли с нескольких церквей и башни с городских стен». Но и на этом странные события не закончились. «Когда похоронили Гришку и народ разошелся, — пишет П. Петрей, — на другой день труп опять очутился на месте у рва, а на нем сидят два живые голубя: когда приходил кто-нибудь, голуби улетали, а когда уходил, прилетали снова. Потому и велели сенаторы бросить его опять в яму, навалить в нее земли и закопать ее. Там и лежал он семь дней. Когда прошли эти дни, труп был найден опять в получетверти мили от кладбища. Весь народ в Москве испугался, что такие странные диковинки происходят с трупом: “Это диво дивное, — говорили, — что тело не хочет оставаться в земле”»[62]. Воспроизводя все эти слухи, иностранный автор неоднократно

---

[58] *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского. С. 63.
[59] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 221.
[60] *Ульяновский В.* Смутное время. С. 376.
[61] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 315.
[62] Там же.

замечал, что русские весьма охотно занимаются «такими лжами, баснями и сказками»[63] и оставлял на усмотрение читателя право верить или не верить написанному. В одном он не сомневался: «Гришка убит, похоронен, опять вынут был из могилы и сожжен»[64].

Нечто подобное читается и в книге Конрада Буссова «Московская хроника». В главе седьмой особое внимание уделяется «чудесным знамениям, которые происходили у тела Димитрия»[65]. Буссов последовательно описывает четыре чуда: появление у тела Лжедмитрия I огней из земли; возникновение ужасной бури в тех местах, где провозили по городу покойного, сорванные ветром Серпуховские ворота и крыша с башен ворот на Кулишке; появление возле тела Лжедмитрия I в Божьем доме голубей; неожиданное перемещение мертвого тела с одного кладбища на другое после похорон.

Оставляя в стороне вопрос степени достоверности происходящих событий, а также веры или неверия иностранцев в вероятность подобного, следует отметить нечто общее: и составитель «Иного сказания», и иностранные авторы зафиксировали странные природные явления, сопровождавшие ритуал расправы с Лжедмитрием I. Для нас важно следующее: если писатели-иностранцы описывают необычные природные явления либо как реальный факт, либо как чудо, либо как «басни» русских, либо, как Конрад Буссов, приводят разные точки зрения на странные метаморфозы с телом убитого Лжедмитрия I, то составитель «Иного сказания», нагнетая страх и ужас на своих читателей, выстраивает их в определенном иерархическом порядке, словно стараясь подчеркнуть их бесовский характер.

Данный фрагмент был заимствован составителем из «Повести, како отомсти…»[66] и «Повести, како восхити…»[67], а не явился оригинальным авторским прочтением образа. Но отсутствие подобных описаний в ряде других публицистических сочинений эпохи Смуты (в «Сказании о Гришке Отрепьеве», «Хронографе 1617 года», «Временнике» Ивана Тимофеева, «Летописной книге» и др.) и наличие в «Ином сказании» заставляет предположить, что составитель не случайно перенес текст предшественников в свою «официальную летопись»[68].

Данный фрагмент, будучи включенным в «Иное сказание», вновь заставляет обращаться к первоисточнику в поисках архетипических образов и сюжетных положений. И они действительно обнаруживаются. Так, в Псалтири читаем: «одождитъ на грѣшники сѣти, огнь и жупелъ и духъ буренъ, часть чаша ихъ» (Пс. 10: 6)*;* «положилъ есть рѣкъ в

---

[63] Там же.
[64] Там же.
[65] *Буссов К.* Московская хроника. С. 75.
[66] Ср.: *Буганов В.И., Корецкий В.И., Станиславский А.Л.* «Повесть, како отомсти…» — памятник ранней публицистики Смутного времени. С. 250.
[67] Ср.: Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престолъ Борисъ Годуновъ. Стб. 168.
[68] *Черепнин Л. В.* «Смута» и историография XVII века. С. 102.

пустыня <…> землю плодоносную в слятину, от злоб живущых на ней» (Пс. 106: 33, 34). Таким образом, идея всеобщего «возгнушания» телом самозванца — от людей до всего мироздания — также воспринята составителем, вслед за авторами вышеуказанных повестей, из Библии и реализована на фоне трагических событий эпохи Смутного времени.

Еще одна деталь обращает на себя внимание в тексте. Образ «главни» появляется в повествовании задолго до рассказа о сожжении Гришки Отрепьева. Составитель «Иного сказания» упоминает чудовищное сооружение, созданное Лжедмитрием I для «потехи» на Москве-реке. Сотворение Отрепьевым земного ада описывается как «знамение превечнаго своего домовища»: «адъ превеликъ зѣло, имѣющъ у себе три главы. И содѣла обоюду челюстей его отъ мѣди бряцало веліе: егда же разверзетъ челюсти своя, и извну его яко пламя престоящимъ ту является, и веліе бряцание исходитъ изъ гортани его; зубы же ему имѣющу осклабленѣ, и ногты яко готовы на ухапленіе, и изо ушію его яко пламень распалавшуся» [Иное сказание, стб. 55].

Как и в случае с описанием природных катаклизмов, составитель «Иного сказания» полностью заимствует данный фрагмент из «Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…». В других произведениях цикла также не было обнаружено фрагментов, включающих рассказ о странной крепости, построенной по приказу Лжедмитрия I. Более того, в текстах большинства иностранных авторов тоже отсутствует не только описание, но и упоминание о подобной постройке. Исключение, пожалуй, составляет «Краткое известие о начале происхождения современных войн и смут в Московии…» Исаака Массы.

Однако, в отличие от русских авторов, И. Масса, повествуя о пристрастии Лжедмитрия I к строительству учебных крепостей, описал совершенно иначе сооруженное на Москве-реке чудище: «Однажды повелел сделать чудище — крепость, двигавшуюся на колесах, с многими маленькими полевыми пушками внутри и разного рода огнестрельными припасами, чтобы употребить эту крепость против татар и тем устрашить как их самих, так и их лошадей; поистине это было измышлено им весьма хитроумно. Зимой эту крепость выставили на реке Москве на лед, и Дмитрий повелел отряду польских всадников ее осадить и взять приступом, на что он мог взирать сверху из своих палат и все отлично видеть. Ему мнилось, что эта крепость весьма удобна для выполнения его намерения. Она была весьма искусно сделана и вся раскрашена; на дверях были изображены слоны, а окна подобно тому, как изображают врата ада, и они должны были извергать пламя, и внизу были окошки, подобные головам чертей, где были поставлены маленькие пушки. Поистине, когда бы эту крепость употребили против таких врагов, как татары, то тотчас же

привели бы их в замешательство и они обратились бы в бегство, ибо это было весьма искусно придумано. Поэтому московиты прозвали ее чудищем ада»[69].

Сопоставление двух вышеприведенных текстов показывает различие не только стилевое, но и содержательное. Если И. Масса стремился к объективности описания сооружения, его повествование дает реалистичное представление о внешнем виде и устройстве «крепости», в тексте содержатся сведения о предназначении и возможном дальнейшем использовании этого сооружения, то в русских источниках отсутствует детальное описание, позволившее бы представить и понять, что за сооружение было построено по приказу Лжедмитрия I. В них встречается условно реалистическое описание, являющее в большей степени символическую оценку постройки, нежели действительное представление о ней. Очевидно, русских авторов, в отличие от иностранца, удивляла не сама техническая новинка, а символическое сходство с хорошо известными русскому обществу изображениями ворот ада.

Говоря о возможных причинах включения символического описания крепости в русских текстах, необходимо указать и на текстовые параллели этого описания и описания момента сожжения тела Лжедмитрия I. Подводя итог рассказу о сооруженной крепости, составитель «Иного сказания», вслед за авторами повестей-первоисточников, замечает: «И постави его проклятый онъ прямо себе на Москвѣ-рѣцѣ себѣ во обличеніе, дабы ему исъ превысочайшихъ обиталищихъ своихъ зрѣти нань всегда и готову быти въ нескончаемыя вѣки въонъ на вселеніе и съ прочими единомысленики своими» [Иное сказание, стб. 55–56; Повесть, како отомсти, с. 249; Повесть, како восхити, стб. 164]. Изрыгающая адский огонь крепость знаменует собой будущее вечное обиталище Лжедмитрия I. Фраза эта не только носит риторико-идеологический характер, но и отсылает читателя к финальному повествованию о судьбе Лжедмитрия I.

По приказу Василия Шуйского «того злого еретика ростриги (въ) преждевоспомянутый ему домъ, сотворенный имъ адъ ввергши, сожещи всесквернавое проклятое его законопреступничье тѣло…» [Иное сказание, стб. 60–61]. В данном случае составитель проводит параллель: Лжедмитрия I сжигают в некогда сотворенной им же крепости; ужаснувшее москвичей «чудище ада» становится в тексте не только провозвестником адского огня, в котором окажется после смерти «сын погибели», но и прямо реализует заданную в повествовании метафорику образа «главни».

Примечательно, что в некоторых русских сочинениях, посвященных событиям Смуты, в рассказах о посмертных манипуляциях с телом Лжедмитрия I упоминается факт сожжения тела еретика в им же сотворенном аде, но само описание «чудища ада» в повествованиях отсутствует. Например, в «Сказании о Гришке Отрепьеве» говорится

[69] *Масса И.* Краткое известие о Московии. С. 191–192.

следующее: «И извлеча его злосмрадный трупъ изъ града на площадь среди народу, и тутъ бысть поруганъ 4 дни, въ 5-й же день вземше его и свезоша на поле, на Котелъ место, и тамо его и сожгоша въ его же умышлении, в древяномъ аде» [Сказание о Гришке, стб. 750]. Аналогичным образом описывается данный факт и в «Летописной книге»: «На четвертый ж день повеленно бысть боляры трупъ ево зжещи на всполии града во аде, его же самъ при животе своемъ сотвори» [Летописная книга, с. 380].

Составитель «Иного сказания», заимствовав из повестей-первоисточников описания и страшной смерти Лжедмитрия I, и странных природных явлений, сопровождавших его убийство, и сцены сжигания трупа еретика, ввел необходимый, организующий эти разрозненные фрагменты элемент — образ «Содома и Гомора оставшей главни», — превратив их в единый, исполненный глубокого смысла мотив, значение которого открывается через сопоставление с библейскими текстами.

Не случайно одной из отличительных особенностей повествования в «Ином сказании», раскрывающих авторское отношение, является наличие/отсутствие значимых образов-оценок при первичном упоминании имени того или иного исторического лица. Так, начиная рассказ о Борисе Годунове, составитель пишет: «и уподобися той Борисъ древней зміи» [Иное сказание, стб. 3], Лжедмитрий I — «Содома и Гомора оставшая главня» [Иное сказание, стб. 17], Лжедмитрий II — «звѣрь <…> самъ отецъ лжи сатана <…> злобѣсный кроволакательный песъ или человѣкоядный звѣрь» [Иное сказание, стб. 116–117], князь Дмитрий Михайлович Пожарский — «аки древній Гедеонъ» [Иное сказание, стб. 127] и др.

На этом фоне значимым видится отсутствие подобных образов-оценок при упоминании имен Василия Ивановича Шуйского и Михаила Федоровича Романова, место которых занимают рассказ о древности рода Шуйского и Романова и указания на их родство, пусть и дальнее, с представителями древнейшей правящей династии на Руси [Иное сказание, стб. 60, 129], что объясняется в первую очередь тем, что составитель «Иного сказания» позиционировал их как истинных царей, имеющих право на российский престол.

Для характеристики же самозваных, незаконных правителей, венчанных или претендующих на царский престол, избираются яркие и хорошо известные ветхозаветные образы, каждый из которых имеет вполне определенное символическое наполнение и воспринимается в рамках обширного исторического повествования одновременно и как предчувствие-предвосхищение грядущего рассказа, и как оценка того или иного персонажа, проистекающая из знания событий Смутного времени. Подобный прием не является следствием особого авторского решения трактовки характера того или иного персонажа, в данном случае составитель «Иного сказания» руководствуется древнейшей литературной традицией создания образов исторических лиц.

С другой стороны, уподобление Лжедмитрия I «Содому и Гоморе оставшей главне» действительно является уникальным авторским сравнением. И дело здесь не только в том, что оно отсутствовало в исходных текстах — «Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…», но и в том, что оно почти не встречается в других памятниках цикла.

Исключение составляет Третья редакция Хронографа (по спискам 1-го разряда третьей редакции), составленная на основе двух источников — второй редакции Хронографа и «Иного сказания», что было отмечено издателем А.Н. Поповым[70]. Разночтения оказываются незначительными: «И попусти на него врага, или глаголю Содома и Гомора оставшую главню, да пожжетъ его со всѣмъ домомъ его, понеже ни царя ни человѣка но непогребеннаго мертвеца, чернца, по Ивана Лѣствичника слову: всякъ человѣкъ преже смерти умретъ, гробъ себѣ келію обрѣтъ: сице бо попусти на него законопреступника ростригу Гришку Отрепьева»[71]. По сравнению с исходным текстом составитель третьей редакции Хронографа усилил огненную тематику, разъяснив метафору «главни» как пожелание всему дому Годуновых судьбы жителей нечестивых библейских городов. В данном случае метафора приобретает новое значение, отсутствовавшее в исходном тексте: Лжедмитрий I выступает в роли очистительного огня, сметающего с престола детоубийцу Бориса Годунова, при этом исчезает важный для текста «Иного сказания» смысл: метафора как предсказание грядущей судьбы самого Отрепьева.

В большинстве же русских текстов об эпохе Смуты, созданных как во время нее, так и после, образ «Содома и Гоморы оставшей главни» не упоминается. Более того, сравнение, употребленное составителем «Иного сказания», несколько выбивается из общей массы сопоставительных образов. Так, излюбленным русскими авторами сравнением является уподобление Отрепьева какому-нибудь животному. Например, автор «Летописной книги» уподобляет Отрепьева волку («О волче хищный, ненасытимый!» [Летописная книга, с. 376]), псу [Летописная книга, с. 378]. Аналогичные образы обнаруживаются в Хронографе Сергея Кубасова: «О волче хищный, не насытимый», «ако песъ на царскій престолъ воскочи»[72]. И.А. Хворостинин в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» именует Лжедмитрия I «неукротимым зверем» [Словеса, с. 436]. Дьяк Иван Тимофеев во «Временнике» то называет Отрепьева «скимен лют» [Временник, с. 83], то патетически восклицает: «Весь сатана и антихрист во плоти явлься» [Временник, с. 84]. В «Славянских и Русских летописных статьях второй редакции Хронографа» (по списку Московской Синодальной библиотеки № 135, XVII в.) составитель замечает, что Лжедмитрий I «ядовитъ злобою, аки смертодыхателная скорпія»[73]. Согласно тексту

[70] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей... С. 220.
[71] Там же.
[72] *Попов А.Н.* Изборник славянских и русских сочинений и статей... С. 293.
[73] Там же. С. 192.

«Хронографа 1617 года» многие русские люди примкнули к мятежу — «от прелести кровояднаго лвичнаго щонка Розтриги, его же рехъ преже Григория Отрепьева» [Хронограф, с. 330].

Не остается в стороне от этой литературной традиции и составитель «Иного сказания», уподобляя Лжедмитрия I в рассказе о второй брани при Добрыницах «кровоядному лвичищу» [Иное сказание, стб. 32] и «сатанину угоднику» [Иное сказание, стб. 33]. Однако, в отличие от других авторов, составитель «Иного сказания» использует данные сравнения в процессе рассказа о деяниях Лжедмитрия I, не делая их своего рода заглавиями образа.

Довольно часто русские авторы называют Отрепьева «ложным царем» или вместо имени используют слова «еретик», «расстрига», как, например, автор «Сказания о Гришке Отрепьеве» [Сказание о Гришке, стб. 722, 723 и пр.].

Столь же устойчивы в русских текстах и исторические аналогии. Чаще всего Лжедмитрия I сравнивают с Юлианом Отступником, Фокой мучителем, Константином «Мотылоименитым» (Копронимом), Юлианом Законопреступником[74].

Иностранные источники о русской Смуте, вообще довольно скупые на сравнения, дают иной ряд сопоставительных образов. Так, Петр Петрей сравнивает Лжедмитрия I с Александром Великим: «…он был так горд, честолюбив и надменен, что, подобно Александру Великому, требовал себе уважения от своих служителей и подданных, приличного не императору, королю и государю, а Богу…»[75]. Элиас Геркман, повествуя о замене настоящего Димитрия подставным, вспоминает историю царя Нина, предоставившего «царскую власть на один день своей наложнице и рабыне Семирамиде»[76], и проводит между историями их жизни ряд параллелей.

Конрад Буссов завершает рассказ о Лжедмитрии I, рассуждая о природе власти и судьбе властителей, рядом библейских цитат и образов, порой со ссылками на конкретные библейские книги. Например, подводя итог страшному финалу жизни Отрепьева, К. Буссов замечает, что, подобно Навуходоносору, Павсанию, Крассу, Помпею, Денисию, Ироду, Агриппе и т. д.[77], Господь посрамил возгордившегося Лжедмитрия. Вспоминая о помиловании мятежника Шуйского, воскрешает в памяти читателя историю, «как поступил царь Давид с мятежником Савеем»[78]. Наконец, в финале повествования о кончине Лжедмитрия I цитирует псалмы Давида, указуя на судьбу Отрепьева как на

[74] См. об этом подробнее: *Василик В.В.* Образ самозванца в нарративе первой трети XVII в.: Лжедимитрий как Юлиан Отступник и Антихрист // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2012. С. 29–33; *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси... С. 99–100.

[75] *Петрей П.* История о великом княжестве Московском. С. 314.

[76] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском... С. 228.

[77] См.: *Буссов К.* Московская хроника. С. 77.

[78] Там же. С. 78.

предостережение всем нечестивым властителям и начальникам[79]. И уж совсем странным образом К. Буссов вводит в контекст рассказа об убийстве Лжедмитрия I образ Иисуса Христа и образ евреев: «В этом покое они разыграли с бедным Димитрием действо о муках страстных нисколько не хуже, чем евреи с Иисусом Христом»[80]. Нечто подобное встречается и в «Летописи Московской» Мартина Бера: «Принесшіе Димитрія въ комнату, поступали съ нимъ не лучше Жидовъ…»[81].

На этом фоне использованная составителем «Иного сказания» метафора стоит особняком. В памятнике выстраивается своеобразная иерархия исторических лиц. Повествование открывается рассказом о Борисе Годунове, который, по мысли составителя, и положил начало Смуте, отсюда и значимое уподобление Годунова Адаму и змию из ветхозаветной истории грехопадения первых людей. Лжедмитрий I продолжил его «дело», он — нечестивец и самозванец, у которого в изображении составителя «Иного сказания» нет ни одной положительной черты. Поэтому он уподобляется жителям Содома и Гоморры. Его задумка искоренить православную веру страшнее помыслов о престоле и власти других самозванцев, мелких и крупных, и сулит, по мысли составителя, гибель и всего государства. Не случайно среди постоянных обвинений в адрес Лжедмитрия I в «Ином сказании» — упреки в намерении «Московское государство <…> до основанія разорити» [Иное сказание, стб. 74].

Разрушение Содома и Гоморры, воспринимаемое составителем «Иного сказания» в традиционном библейском смысле как символ грядущей судьбы нечестивцев и как символ конца света, осложняется конкретным историческим материалом. Жизнь и смерть Лжедмитрия I подается по аналогии с судьбой жителей древних городов. Во многом судьба Самозванца в тексте напоминает символическую картину благоденствия и разрушения Содома и Гоморры из Евангелия от Луки: «яко же бысть въ дни лотовы, ядаху, піаху, куповаху, продааху, саждаху злаху, в онь же день изыде лот от содомлянъ, одожди камыкъ горящь, и огнь с небесе, и погуби вся, потомуже будетъ и в день, в онь же сынъ человеческіи явится» (Лука 17: 28–30). Точно так же и Лжедмитрий I: ел, пил, строил, женился… и в день, когда задумал «радостный день Христова Воскресенія» «предложити въ день плачевный» [Иное сказание, стб. 57], погиб, ибо «милосердный, въ Троицы славимый Богъ надъ нами и надо всѣми православнымъ христіянствомъ милость свою показалъ» [Иное сказание, стб. (74].

Таким образом, введенный задолго до подробного рассказа о личности и деяниях мотив «Содома и Гоморы оставшей главни», оригинально огранивший заимствованные из

[79] Там же. С. 79.
[80] Там же. С. 65.
[81] *Бер М.* Летопись Московская, с 1584 года по 1612. С. 84.

«Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…» фрагменты, исполненный в рамках древней литературной традиции и реализовавший библейскую идею о неминуемости грядущего наказания нечестивцев на примере судьбы конкретного исторического лица, явился в тексте «Иного сказания» своеобразным индивидуально-авторским приемом организации повествования. Сопоставление русских и иностранных источников демонстрируют совершенно противоположные подходы к изложению событий эпохи Смутного времени. Если иностранцы стремятся к относительной объективности повествования, то русские авторы, в частности составитель «Иного сказания», во многом руководствуются в создании образов современной им политико-идеологической оценкой тех или иных исторических лиц и используют хорошо известные библейские образы как своеобразное клеймо, определяющее место и оценку конкретной исторической личности в русской истории.

3. Символы царей и самозванцев по «Временнике» Ивана Тимофеева

В основе изображения царей и самозванцев во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева лежит принцип контраста, выстраиваемый как на симметрии самих главных образов, так и на симметрии отдельных черт, по которым сопоставляются и противопоставляются истинные и ложные государи. Так, образ «инорога» используется в памятнике для символического именования истинных царей, образ льва — для характеристики лжецарей.

Символ «инорога»[82]**.** Впервые образ инорога появляется при упоминании имени Ивана Грозного в самом начале «Временника»: «инорога бывша в бранех» [Временник, с. 10], затем используется для характеристики сына Грозного — Ивана Ивановича. Далее образ дважды претерпевает метаморфозу и превращается то в образ «молитвенного рога», которому уподобляется другой сын Грозного — Федор Иванович, то в образ «младорога», под которым подразумевается князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. И, наконец, в финале памятника встречается еще один образ — «святопомазания рог».

Уже на самых первых страницах «Временника» рождаются сопутствующие символу характеристики.

Тимофеев подчеркивает такую важную в контексте произведения о Смуте черту, как законность наследования престола и древность рода, к которому принадлежал Иван Грозный: «…государя Василия Ивановича великого князя и царя *корень по коленству* и

[82] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Символ «инорога» во «Временнике «Ивана Тимофеева» // Древняя Русь. 2008. № 2. С. 118–128.

муж прародителей своих <…> помазан к царству <…>. Не бо точию от Рюрика начало имяху о нем, но от самого Августа Цесаря Римскаго и обладателя вселенною, влечахуся во своя роды <…> *законно* же и *святолепно сынови от отец* доднесь происхождаху» [Временник, с. 10–11]. В итоговой главе «Зачало» снова акцентируется, что Иван Грозный — законный наследник царского престола, ибо он «сын великаго князя Василия» [Временник, с. 150].

Как истинный царь, Иван Грозный носил благодатное имя: «благодатноименнаго царя» [Временник, с. 11]. В главе «Зачало» автор напоминает читателю об иносказательности имени царя — «Благодати же соименный» [Временник, с. 150].

Особое внимание Тимофеев обращает на благочестие, величие и воинские заслуги царя[83].

При всем противоречивом, порой негативном отношении Тимофеева к Ивану Грозному, которого он считал виновным в Смуте, он не может не признать, что тот был истинным собирателем земель русских, продолжателем дела своего отца и в целом своего рода («четырьма краевы вселенныя доныне царствия тех водружена непоколебимо утверждахуся» [Временник, с. 11]). Не может не признать, что Иван Грозный был воином-защитником Русской земли, который устрашал «противных».

Эти исходные характеристики образа «инорога» (величие, благодатное имя, принадлежность к древнему царскому роду, законное наследование престола, благочестие, воинственность) в дальнейшем будут неизменно повторяться при характеристике истинных царей. Схема, обозначенная писателем в начале памятника, предстает довольно ярко в финальной главе «Зачало», резюмирующей все вышеизложенное.

Сопутствующие образу характеристики проясняют значение символа: «инорогом в бранех» Тимофеев называет законного наследника царского престола, благочестивого человека, наделенного при рождении значимым, имеющим высокую положительную оценку именем, воина-защитника Русской земли. Непонятно из этой характеристики другое: почему Тимофеев уподобляет Ивана Грозного именно единорогу, а не какому-то иному животному. Само описание этого зверя[84] не предполагает какой-либо прямой взаимосвязи с образом Ивана Грозного. Но одна характеристика все же позволяет сделать некоторые предположения. Единорог, согласно «Христианской топографии» Козьмы

---

[83] См. подробнее: Глава 1, раздел 3.

[84] Единорог — «животное, изображаемое в виде лошади или оленя с одним рогом на лбу. Единорог есть зверь, подобен коню; един рогъ имать на главе; велми же крепок и страшен». Алф., 101 об. XVII в. // Словарь русского языка. XI–XVII вв. М.: Наука, 1978. Вып. 5: (Е – Зинутие) / сост. Н.Б. Бахилина, Г.А. Богатова, В.Я. Дерягин [и др.]. С. 28. См. также: *Белова О.В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М.: Индрик, 2001. С. 99–102.

Индикоплова, «страшен» и «непобедим»[85]. С самого детства, как свидетельствует Тимофеев, Иван Грозный «к ярости удобь подвижен бе» [Временник, с. 11]. В дальнейшем, описывая ли причины деяний Грозного, характеризуя ли его самого, Тимофеев неизменно будет делать акцент на этом качестве. Так, истоки введения опричнины автор «Временника» видит в «умышления же зельныя ярости на своя рабы» [Временник, с. 11]. Имя Ивана Грозного нередко сопровождается эпитетом «яростиваго царя» [Временник, с. 15]. И по отношению к «сопротивным», и особенно по отношению к «присноверным» он был «суров» и «неприступен» [Временник, с. 11]. Таким образом, символ инорога получает здесь дополнительное значение — это человек не только храбрый и непобедимый, но и страшный.

Второй раз символ «инорога» использует Иван Тимофеев по отношению к одному из сыновей Грозного — Ивану Ивановичу: «…по отцы воста младый инорог…» [Временник, с. 19]. Характеристика Ивана Ивановича во «Временнике» состоит из двух частей. Первая часть представляет собой рассказ о сыне Грозного, каким он виделся Тимофееву в реальной жизни. Вторая часть — предположения автора «Временника», каким мог бы быть князь, если бы не «смертное предварение оному» [Временник, с. 19]. Символ «инорога» появляется именно во второй части. Но характеристики князя, используемые в обеих частях, совпадают почти дословно: «…тепл отцу по всему именем и мудростию купно с храбрости» [Временник, с. 19] — первая часть; «от показания его мудрости и мужески крепости се наручно бысть» [Временник, с. 19] — вторая часть. Мудрость, храбрость и «мужеская крепость» оказываются и здесь отличительными качествами «инорога». Развернутое предположение Тимофеева по поводу возможных деяний Ивана Ивановича, если бы он остался жив, проясняет, в чем же должны были найти свое выражение эти отличительные качества. Прежде всего, долг и обязанность каждого князя-инорога — остановить приближение к родной земле варваров, устрашить неверных, чтобы они не смели причинять обиду Русской земле: «…воста младый инорог на противныя, якоже от востока даже и к западу на нечествующих <…> соседствующим варваром земля своея бывшую ми обиду <…> той плотский инорог самошественне вскоре тех <…> поразити хотя…» [Временник, с. 19]. Святое намерение — защита родной земли — сближает образ реального правителя Ивана Грозного и несостоявшегося вследствие ранней смерти защитника Ивана Ивановича. Очевидно, Тимофееву важно было сблизить с помощью символического образа «инорога» отца и сына, чтобы создать образ идеального, «истинного» царя «всея Руси», царя, наделенного важнейшими качествами. Первое из них

[85] «…телеса его медяна… глаголютъ же о немъ яко страшен е и непобедим, в розе имать всю крепость» // Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина. М.: Индрик, 1997. С. 291.

— благодатное имя, дарованное Богом. Второе — это должен быть человек, «наследующий престол от своих предков»[86]. Третье — это должен быть человек не только храбрый, непобедимый, но и мудрый. По сути, здесь повторяется та же схема описания образа, которую мы наблюдали в связи с образом Ивана Грозного.

Само слово «инорог» оказывается также многозначным. Первичное значение слова «единорог» — «дикое, однорогое, сильное, быстрое, упрямое и опасное животное…»[87]. Однако если посмотреть вторичные значения слова «рог» в славянском языке, то обнаружатся интересные вещи: «рог» означает силу[88], крепость, преимущество[89], власть, могущество, опору[90]. В Библии (во Второй книге Царств и в Псалтири) слово «рог» выступает в двух значениях: как рог спасения, защиты[91] и как рог власти[92], вознесенной волей Господа. Следовательно, отчасти выбор животного для символического наименования истинного царя объясним и игрой слов и значений. Истинный царь — «инорог» — одна опора, одна защита, т. е. «инорог» — воин-защитник. Наше предположение вполне укладывается в рамки последующего рассказа Тимофеева о загробном существовании старшего сына Ивана Грозного. Владычествующий всеми Бог призвал князя-воина к себе, «лучшее ему предъизбра». Там, в вечной своей жизни, он должен быть воином-защитником Отечества вместе с царем Константином, со святыми Борисом и Глебом: «…в веце оном пред лицеем своим Констянтину цареви своинствовати на невидимыя и видимыя враги и з сродными близ ему сущими Владимеричи братома двема и прочими тацеми, в защищении отечества состадуяся, ополчеватися тому повеле» [Временник, с. 20].

Возвеличивая образ князя-защитника, Тимофеев сопоставляет его с необъезженным, не поддающимся обузданию жеребцом, не подчиняющимся никому: «…яко некий невседален жребец и неприступен обуздоватися, не повинуя никому же, свободнее отекая» [Временник, с. 19]. Сравнение весьма значимое для характеристики истинного государя в

---

[86] *Державина О.А.* Дьяк Тимофеев и его «Временник». С. 370.

[87] Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2005. С. 169.

[88] *Мурьянов М.Ф.* К семантическим закономерностям в лексике старославянского языка (рогъ и его связи) // Вопросы языкознания. 1979. № 2. С. 104.

[89] Полный церковно-славянский словарь… С. 551.

[90] Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1997. Вып. 22 (Раскидатися – Ряшенко). С. 175; *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1991. Т. IV. С. 99.

[91] Вторая книга Царств, 22: 3: «И рече господь камени мои, оутверъжение мое, и спаситель мои богъ мои, хранитель бысть мои, оуповая буду на тя защитникъ мои и рогъ спасениа моего, заступникъ мои прибежище спасению моему и от неправды спасеши мя»; Псалтирь, 17: 3: «Възлюблю тя господи крепости моя, господь оутвержение мое, и прибежище мое, и избавитель мой, богъ мой помощникъ мой, и оуповаю нань. Защититель мой, и рогъ спасения моего, и заступникъ мой» // Библия. Острог, 1581.

[92] Псалтирь, 88: 16–18: «Блажени людие въ душеи въскликновение. Господи въ свете лица твоего поидутъ, и о имени твоемъ възрадуются весь день, и правдою твоею възнесутся. Яко похвала силы их ты еси, и въ благоволении твоемъ възнесется рогъ наш»; Псалтирь, 88: 25: «И истина моя и милость моа с нимъ, и о имени моем възнесется рогъ его»; Псалтирь, 91: 11: «И възнесется яко инорога рогъ мой, и старость моа въ елеи мастите»; Псалтирь, 111: 9: «расточи, дастъ оубогымъ, правда его пребываетъ въ векъ века, рогъ его възнесется въ славе» // Библия. Острог, 1581.

контексте всего произведения о Смутном времени. Он должен быть свободным, не подчиняющимся чужому влиянию правителем. Не случайно сопутствующей ему стихией в изображении Тимофеева оказывается стихия огня: «…яростным оком на ня взирая <…> люте на оны дыша огнем ярости своея, пламенны искры на тыя, отрыгая» [Временник, с. 19]. «Пламенность», «яростивость» — отличительные черты не только Ивана Ивановича, но и его отца: весьма часто подчиненные испытывали на себе воздействие его «пламенна гнева» [Временник, с. 11].

Смерть старшего сына Ивана Грозного по-разному восприняли соотечественники и иноплеменники. Враги Русской земли, которых мог бы устрашить огнем ярости Иван Иванович, «восплескаша руками, но яко празник им своих ликовати». Точно так же иноплеменники отреагировали и на смерть Ивана Грозного: «…лишением его, яко приобретением неким велиим, зело обрадовашеся» [Временник, с. 15]. В главе «Зачало» Тимофеев не только описывает реакцию иноземцев на смерть Грозного, но и поясняет причины их ликования: «Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светлее, много сотворися радость, и весело восплескаша руками; успением бо его наветницы странстии в чаянии брани зело почиша, не туне бо мечь своея десница в гнева ярости своея выспрь на ня возводя, ниже с воздуха тщетно сводя» [Временник, с. 151].

Реакция русских людей на преждевременную кончину Ивана Ивановича прямо противоположна: «множеству людцкому срыдая» [Временник, с. 22], ибо другого такого защитника во плоти не было дано Русской земле: «…другий нам толик плотский инорог, по нем не оста» [Временник, с. 22]. В день смерти последнего «инорога» из русских царей вся природа соболезновала «земнородным», по повелению Божьему, и даже солнце покрыло воздух мраком, «воду от недр своих, яко слезоточны капля, испущая» [Временник, с. 22]. Сам усопший князь Иван Иванович уподобляется «свеще мирови», «великой» и «пресветлой», и именуется «всего православия» царем. Со светом ассоциируется и царь Иван Грозный — Тимофеев сравнивает его с «утренней от солнца <…> зарей» [Временник, с. 11]. В свете миропредставления книжников XVI – начала XVII вв. Русская земля была единственно истинно православной страной. Очевидно, Тимофеев придерживался такого же взгляда на роль Русской земли на мировой арене. Поэтому преждевременная смерть последнего «инорога», «благонадежного <…> в заступаемых», воспринимается Тимофеевым как смерть «всего православия» царя. Сам же символ «инорога» приобретает в данном контексте еще одно значение: это православный царь, великая свеча мира.

Другой сын Грозного, Федор, ставший царем «всея Руси», ни разу, несмотря на множество восторженных слов о нем, не удостаивается Тимофеевым возведения до символа «инорога», что вполне закономерно и объяснимо. Сам автор определяет очень четко свою позицию: «Нам же токмо второсамобрат его, иже молитвеный рог крепости

нам по нем бывый <…> зане не бе “брань его к плоти и крови” <…> но молитвою противныя ему одолеваша» [Временник, с. 22]. Исключая первую часть сложного двукорневого символа и оставляя только конец — слово «рог», — Тимофеев проводит важную параллель и важное разграничение. Царь Федор также признается Тимофеевым истинным царем, опорой православия и защитником Русской земли. Схема описания, как будет показано в дальнейшем, будет неизменно повторяться. Но он не воин. Его «крепость» не в силе и храбрости, не в «мужески крепости», а в «молитвенной силе».

Федор Иванович изображается во «Временнике» царем-праведником. Тимофеев неоднократно говорит о его необыкновенном «благочестии»: «паче зело благочестив бе» [Временник, с. 24], «паче всего любя благочестии и благолепие церковное» [Временник, с. 25], «сий Федор Иванович, вправду благочестивый самодержец» [Временник, с. 26], «велик и мног иконопоклонник по прародителех во благочестии явлъся» [Временник, с. 25]; «сего благочестиваго царя Феодора» [Временник, с. 28]; «благочестивне Феодора» [Временник, с. 29]. Эта доминанта звучит и в конце памятника — «весь всем благочестием купно объят быв и всецел» [Временник, с. 151]; «благочестивый сей Феодор царь» [Временник, с. 152]. На протяжении всего повествования Тимофеев делает акценты на молитвенных, духовных подвигах последнего сына Ивана Грозного, на иноческом поведении князя: «…весь возложися Христови <…> иночески в посничестве препроводив, в молитвах и мольбах с коленопреклонения день и нощь, время всея жизни своея в духовных подвизех изнутри» [Временник, с. 25] и др. То же в конце — «мнихолюбец и нищелюбец <...> и воздержник в подвизе явлен от извну кипящих в нем люблением дел иночества» [Временник, с. 151].

Порой царь Федор Иванович наделяется эпитетом «освятованный»: «освятованный же царь Феодор» [Временник, с. 27], «сего святожительнаго в предипреподобии и правде царя» [Временник, с. 26], «о святопомазаннем царе Феодоре» [Временник, с. 26]. В главе «Зачало» эпитет «освятованный» будет усилен: Тимофеев назовет Федора Ивановича «велик предстатель о мире и святоцарь бывая» [Временник, с. 151]. Характеристика царя как святого, в свою очередь, обернется призывом к читателям молиться его имени: «…мню, не убо кто согрешит, аще и в молитвах того призовет» [Временник, с. 151].

14-летнее царствование Федора Ивановича предстает под пером Тимофеева в ореоле святости: «все же житие святаго и преподобнаго своего царствия» [Временник, с. 25], «купно мнишество с царствием соплетено» [Временник, с. 25]; сопровождается эпитетом «пресветлое» («в пресвелыя своея державы дни» [Временник, с. 24]); наделяется эпитетом «благочестивое», уподобляется сиянию: «царство благочестивое, иже от поста просиявши» [Временник, с. 24]. То же самое наблюдается в «Зачале»: «…своея державы благим царствием» [Временник, с. 152].

Будучи сам «кроток, и мног в милостех ко всем, и непорочен», царь Федор Иванович избрал, по мнению Тимофеева, соответствующую манеру править — тихо и безмятежно: «тихо и безмятежно царствова» [Временник, с. 24]. И Русская земля в период его правления пребывала «в покои всяцем и изобилии же и тишине отовсюду» [Временник, с. 24]. Внутри одного большого синтаксического периода Тимофеев неоднократно подчеркивает, что покой и тишина в Русской земле во время правления Федора Ивановича не что иное, как мирожительство, отсутствие войн. Он то использует косвенный указатель — пишет о том, что Русская земля во время царствования Федора Ивановича не подвергалась нашествиям иноземцев: «…во дни бо державы его земля бяше противными не наступаема» [Временник, с. 24]; то прямо говорит, что земля была «мирне и невоеванна» [Временник, с. 25]; то выбирает аллегорическую форму подтверждения своей правоты — так, воины, в связи с прочно установившимся миром, расковали свои мечи и шлемы на мирные орудия сельскохозяйственного труда: «шлемы всяцех мирожительных расковаше ратнии на арала своя и меча на серпы» [Временник, с. 25]; то сопоставляет этот период в истории Руси с аналогичным в истории Иудеи во время правления царя Соломона: «…яко же во дни Соломани» [Временник, с. 25]. Завершается этот длинный пассаж объяснением причин. Оказывается, враги, «противныя», не смели вступать в Русскую землю, так как она была под охраной молитвы царя. Именно молитвой царь Федор Иванович, по мысли Тимофеева, отгонял врагов от Русской земли: «…молитвами к богу от противных навет ту всюду невредно царь мой окружая…» [Временник, с. 25]; «…молитвою противныя ему одолеваша. И толико ему возмогаше молитвеная сила…» [Временник, с. 22]. Но вот что любопытно: Тимофеев нигде на протяжении всей главы, посвященной Федору Ивановичу, не говорит о бедах, постигших Русскую землю во время его правления. Речь об этом писатель ведет в весьма осторожных выражениях в главе «О смерти государя царевича Димитрия Ивановича». Он как будто бы нарочно разрывает повествование, чтобы нарушить исторические и хронологические связи между событиями. Сделать это в предшествующей главе Тимофеев не мог по идеологическим и художественным соображениям — иначе бы разрушился стройный образ идеального правителя и обессмыслился бы его яркий символический знак. Между тем для Тимофеева, несомненно, была важна эта царственная символика.

Таким образом, уподобив Федора Ивановича «молитвенному рогу крепости», в дальнейшем Тимофеев разъясняет символико-метафорический смысл данного образа: он не воин-защитник, каким мог бы стать его старший брат, он святой охранитель Русской земли.

Однако благочестие, защита Русской земли — это только часть повторяемых характеристик. Как и в случае с Иваном Грозным, с Иваном Ивановичем, в памятнике поднимается вопрос о происхождении Федора Ивановича. Несколько раз автор

«Временника» повторяет мысль о том, что Федор Иванович — законный наследник царского престола: «убо брата два, единоотечни убо, по плоти <…> по отчи смерти всех царств престола родителева наследник бысть» [Временник, с. 24], — и дублирует ее в конце: «отечества си престол святолепне наследова» [Временник, с. 151]. Имя «Феодор», как и имя «Иван», получает иносказательное толкование: оно переводится как «Божий дар»: «по толку божия си дара стяжа имя, по дарованней же благодати паче зело благочестив бе» [Временник, с. 24]. В финале — снова повтор: «Тезоименен бо бе он богозрителю Иеремиови по имени» [Временник, с. 152]. И, наконец, Федор Иванович, как и Иван Иванович, сопоставлен со свечой, светом: «…яко свеща всемирная нам возженая, ли звезда пресветлая оставшая <…> бывшая от благодати светлее в роды его царствию вечно возженая!» [Временник, с. 152]. Таким образом, в тексте полностью соблюдается заданная изначально схема описания царствующей особы.

В соотвествии с этой же схемой описывается и Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, но он уже назван «младорогом»: «юнец младорог» [Временник, с. 135]; «юнорогому Михаилу» [Временник, с. 142]; «яко юнец рогами своима, сломи и на землю пасти ту сотвори и от стада божия отгна» [Временник, с. 126]. Его имя тоже получает иносказательное толкование: «божие лицо по толку глаголемо имя его» [Временник, с. 135]. Он потомок княжеского рода, следовательно, принадлежит «преславна корене отрасль» [Временник, с. 135]. Как и Иван Грозный и его старший сын, он храбрый полководец: «Стратигу плотску внутрь мене храбру сущу», который «аще и юн сы телом, но многолетну стяжа ума крепость» [Временник, с. 135]. Настоящий воин-защитник, Скопин-Шуйский, как когда-то Иван Грозный, был непобедим и устрашал врагов Русской земли: «…зверообразно на объемших ю вся волки тыя напад, грознее разпудив и от стада божия отгнах, без вести сотвори, явльсяяко непобедим, враги одолев…» [Временник, с. 135]; «…цветущия юности крепостию сопротивных роги яко гнилые лозья…» [Временник, с. 135]. Он воин-победитель — «по святопервом первый Михаил, яко победе князь» [Временник, с. 142]. Как и законные цари, Скопин-Шуйский умер неестественной смертью — был отравлен своими родными: «Вмале же от сродных си <…> смертным уязвен ядом; угашению жизни его, сказуют нецыи, носяй венец стрый его виновен бе» [Временник, с. 135]. Аналогичным образом во «Временнике» описывается кончина всех законных царей: Тимофеев ссылается на распространенные в народе слухи («сказуют нецыи»), применяет традиционную метафору («угашение жизни»). Ср.: о смерти Ивана Грозного и его детей — «Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той <…> от своих раб подъя угашение своея жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде» [Временник, с. 151]. О смерти Федора Ивановича: «И сего святожительнаго в предипреподобии и правде царя, глаголют нецыи, не еще в настоящем у законоположеныя

ему богом вся жизни его лета к пределу смерти в конец приспеша тогда» [Временник, с. 26], «…от рабских рук нуждно и прежде времени почившаго <…> раб <…> принесе господску животу смертен яд и уби…» [Временник, с. 52]. Реакция народа на смерть героя схожа с реакцией на смерть прежних законных царей и престолонаследников: вся Русская земля исполнилась плача: «…земнороднии со младенцы *вси* при гробе его небоязнено перводесподским *почтоша плачем*, не внемлюще отнюдь владущаго страху, но яко свободителя своего *оплакоша*, надгробное ему *рыдание жалостне со умилными воспеша гласы*, исходную с провожденми песнь и честь по всему, яко долг некак, отдаша за *безгодное время смерти* паче» [Временник, с. 136].

По мнению О.А. Державиной, Тимофеев считал М.В. Скопина-Шуйского «более достойным царского престола, чем его дядю Василия Шуйского»[93]. Вероятно, именно этим объясняется и сходное именование князя «младорогом», и повторение схемы описания законных царей на русском престоле при характеристике народного героя и, наконец, появление еще одного образа — «святопомазания рога» — в связи с этим персонажем.

Если бы «наветницы» не «украсти жизнь его», размышляет Тимофеев, то весь народ («по числу всех родов родове») «поставитися святопомазания рогу на главе его диадимою венчаваему и вручении державна скипетра» [Временник, с. 136]. И далее Тимофеев сравнивает Скопина-Шуйского с библейским царем Давидом, которого по повелению Бога помазал на царство пророк Самуил: «…яко же возлюбленаго богом Давида внезапу древле кротости ради Самуил повелен облияти воскипевшим от рога маслом к совершению царьства…» [Временник, с. 136]. В данном случае автор «Временника» почти без изменений цитирует текст Первой книги Царств: «И рече господь къ самоилу <…> исполни рогъ иелею <…> и помажеши ми его»[94] (Первая книга Царств 16: 1), «И рече господь къ самоилу <…> помажи давыда яко той благодать есть и приатъ самоилъ рогъ сь иелеом и помаза <…> и ношашеся духъ господень над давидомъ от того дьне и потомъ» (Первая книга Царств 16: 13). Аналогичным образом в Третьей книге Царств говорится о помазании на царство Соломона жрецом Садоком: «И взятъ садокъ иереи рогъ съ иелеом <…> и помаза Соломона, и въструбиша рогомъ» (Третья книга Царств 1: 39). Во всех этих случаях «рогъ съ иелеом» выступает в роли атрибута посвящения и является знаком угодности Богу посвящаемого. Таким образом, признавая Михаила Васильевича Скопина-Шуйского достойным быть венчанным на царство «святопомазания рогом», Тимофеев возвышает образ князя, полагая, что он угоден и Богу, и народу.

---

[93] *Державина О.А.* Исторический и географический комментарий // Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной; под ред. члена-корреспондента АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. С. 497.

[94] Библия. Острог, 1581.

Одновременно с этим проясняется еще одно символическое значение слова «рог» в контексте всего произведения. «Рог» означает власть, полученную от Бога. Следовательно, все цари — действительные (Иван Грозный, Федор Иванович) и потенциальные (Иван Иванович, Михаил Скопин-Шуйский), — удостаиваемые характеристики «рог», признаются царями, получившими свою власть от Бога, что вполне укладывается в концепцию политической теории, широко распространенной в XVI–XVII вв.: «…царь — глава государства, получает свою власть от Бога и является хранителем на земле “божественных” законов добра и справедливости»[95]. Царская власть воспринимается как «власть сакральная, обладающая божественной природой»[96]. Идея богоустановленности, богоданности царской власти включает в себя и мысль о том, что не поведение, не образ мыслей, не происхождение, а предназначение[97] определяет истинного царя. В этом смысле все вышеназванные исторические личности изображаются Иваном Тимофеевым как люди достойные и, более того, предназначенные для сакральной власти — для царского престола.

В этом ключе становится понятна трансформация образа «инорога» – «молитвенного рога» – «младорога». Главной во всех случаях является вторая часть именования — «рог», — объединяющая разных по своим человеческим характеристикам, по манере поведения и т. д., но, несомненно, достойных царского престола действительных и вероятных царей Русской земли. Изменение же первой части символа обусловлено индивидуальными особенностями личности того или иного правителя.

Ни в одном более произведении, посвященном эпохе Смутного времени, ни один автор не использует символ инорога для обозначения истинных царей. В связи с этим возникает вопрос: каковы причины обращения дьяка Ивана Тимофеева к теме единорога?

Предположение первое — историческое. Символ «инорога» мог появиться в тексте «Временника» как результат знакомства Тимофеева с русской геральдикой и сфрагистикой. В качестве «государственной эмблемы»[98] единорог впервые начинает использоваться в XV в. При великом князе Московском Иване III в подражание английскому ноблю создается новая золотая монета — «корабельник», — с изображением корабля и креста, в углах которого были помещены единороги[99]. Изображение этого фантастического животного

---

[95] *Державина О.А.* Дьяк Тимофеев и его «Временник». С. 367–368.

[96] *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. С. 76.

[97] Там же. С. 78.

[98] Герб и флаг России X–XX века / авт. кол.: В.А. Артамонов, А.Л. Хорошкевич и др. М.: Юрид. лит., 1997. С. 166.

[99] *Симонов Р.А.* О причине появления единорогов на золотой монете («корабельнике») Ивана III // Гербовед. 1997. № 15. С. 75; *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1976. Вып. 8. С. 115; Герб и флаг России X–XX века. С. 167.

находят и на одной из чарок сына Ивана III — Семена Ивановича Калужского[100], и в миниатюрах Угличской псалтыри 1485 г., и на рукоятях резных царских посохов[101] XV в. В XVI в. единорог начинает использоваться в канонической иконографии[102]. Наконец, изображение единорога можно обнаружить на Большой и Малой печатях Ивана IV. В грамотах бояр, в послании новгородского архиепископа Пимена, адресованных Ивану Васильевичу и датируемых 60-ми гг. XVI в., царь сравнивается с «рогом инрога»[103]. Все эти исторические данные позволили многим исследователям считать единорога личной эмблемой Ивана IV. Эта мысль, впервые прозвучавшая в работе В.Н. Татищева[104], получила свое развитие и подтверждение в работах И.П. Сахарова[105], А.Б. Лакиера[106], И.Г. Спасского[107], Н.А. Соболевой[108], Р.А. Симонова[109] и др. «Для Грозного, — по мысли А.Л. Хорошкевич, — образ единорога имел весьма своеобразный смысл: этот символ утверждал его как носителя истинного православия, как представителя законной царской власти, был для него воплощением силы и непобедимости»[110]. Позднее, в 70-е гг. XVI в., изображение единорога исчезает с государственных печатей, но начинает активно использоваться на печатях центральных государственных учреждений — печатях приказа Большого прихода, Большого дворца, печатях Московского печатного двора[111]. Тогда же, в 70-е гг. XVI в., эмблема единорога в качестве символа царской власти появляется на пушках. Используется символика единорога и после смерти Ивана Грозного: мифический зверь был изображен на золотых монетах Федора Ивановича и его преемников[112], вплоть до конца XVII в.; на дворцовой утвари[113], на знаменах[114], в росписи по дереву[115], на книжных переплетах[116] и т. д. Таким образом, во времена Ивана Тимофеева единорог был геральдическим символом всех московских государей, начиная с Ивана III и кончая

---

[100] Герб и флаг России X–XX века. С. 167.

[101] *Чернецов А.В.* Резные посохи XV в. (работа кремлевских мастеров). М.: Наука, 1987. С. 17.

[102] Герб и флаг России X–XX века. С. 167; *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве... С. 115; *Буслаев Ф.И.* Общие понятия о русской иконописи. М.: Тип. Грачева и К°, 1866. С. 75.

[103] Герб и флаг России X–XX века. С. 168–170.

[104] *Татищев В.Н.* История Российская. Т. 1. С. 370.

[105] *Сахаров И.П.* Записки о русских гербах. 1. Московский герб. СПб.: В тип. Э. Веймара, 1856. С. 67.

[106] *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. М.: Книга, 1990. С. 41, 147.

[107] *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве... С. 115–118.

[108] *Соболева Н.А.* Русские печати. М.: Наука, 1991. С. 166.

[109] *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении древней государственной эмблемы России — единорога // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 1998. Сб. 9 / отв. ред. Е.Б. Рогачевская. С. 310.

[110] Герб и флаг России X–XX века. С. 171.

[111] *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении… С. 318.

[112] *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. С. 148; *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве... С. 118.

[113] *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении… С. 318.

[114] *Вилинбахов Г.В.* Русские знамена XVII века с изображением единорога // Сообщения Государственного Эрмитажа. Л., 1982. Т. 47. С. 22–24.

[115] *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении… С. 318–319; *Жегалова С.К.* Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1975. С. 7–8, 59–60, 65–66.

[116] *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении… С. 319.

Алексеем Михайловичем Романовым, и одновременно одним из важнейших символов, наряду с двуглавым орлом, русской государственности. Поэтому представляется вполне логичным, что для наименования истинных царей всея Руси Тимофеев избирает именно этот символ.

Предположение второе. Согласно астрологическим убеждениям «жидовствующих» в XV в., «управителем» территории Московии, Новгородской земли, Великого княжества Литовского»[117] был Козерог, зодиакальным знаком которого на северо-западе Руси во второй половине XV столетия называли «инорога»[118]. Основываясь на анализе политических устремлений Ивана III, стремившегося объединить все территории с русским населением под эгидой великого князя «всея Руси», на близости воззрений царя к астрологической теории «жидовствующих», Р.А. Симонов приходит к выводу, что изображение единорога «можно рассматривать в качестве тотема — покровителя и объединителя русских земель уже в XV в.»[119] Если допустить мысль, что дьяк Иван Тимофеев был знаком с астрологическим учением «жидовствующих»[120], то становится понятным, почему царя Ивана Грозного и его сына Ивана Ивановича писатель позиционирует как защитников и собирателей русских земель, настоятельно проводя мысль о том, что крепкая царская власть является залогом независимости Руси, источником силы государства. В этом контексте единорог становится символом не только собирательства исконных русских земель, но и символом крепкой, мощной царской власти.

Предположение третье — мистико-религиозное. Многие символико-аллегорические образы, сравнения, появляющиеся на страницах «Временника», восходят, по наблюдению О.А. Державиной[121], к Священному Писанию. Судя по всему, образ единорога не был в этом смысле исключением. Он неоднократно упоминается в Библии: в Книге Иова[122], в Псалтири[123], в Апокалипсисе. Библейские тексты не дают внешнего описания единорога, но достаточно устойчиво указывают на его качества: этот мифический зверь неукротим, силен и быстр. Аналогичными качествами во «Временнике» отличаются Иван IV и его

---

[117] *Симонов Р.А.* О причине появления единорогов… С. 76.

[118] Там же.

[119] Там же. С. 78.

[120] Долгое пребывание Тимофеева на службе в Новгороде, наличие заимствований и реминисценций в тексте «Временника» из сочинений Иосифа Волоцкого, осуждавшего ересь «жидовствующих» (См. подробнее: *Коротченко М.А.* Влияние сочинений Иосифа Волоцкого на исторические повести о Смутном времени. С. 420–421), на наш взгляд, делают это предположение вполне имеющим право на существование.

[121] *Державина О. А.* Историческая повесть первой трети XVII века... С. 384–421.

[122] Книга Иова, 39: 9–12: «похощетъ же ти и инърогъ поработати, или спати въ яслехъ твоих. Привяжеши же ремень инърогу его, и проженетъ ти бразды наполи. Надеешилися нань яко многа крепость его, пустиши же ли нань дела своя. Веруеши же ли яко въздастьти семя, внесе же ли ти въ гумно» // Библия. Острог, 1581.

[123] Псалтирь, 21: 22: «спаси мя от устъ львовъ, и от рогъ единорождь, смирение мое»; Псалтирь, 28: 5–6: «Глас Господень съкрушающаго кедры, и сътрыетъ Господь кедры ливанския. и истънит я яко телець ливанъскии, и възлюблеиным яко сынъ единорождь»; Псалтирь, 91: 11: «и възнесется яко инорога рогъ мои, и старость моа въ елеи мастите» // Библия. Острог, 1581.

старший сын. В Апокалипсисе единорог вступает в борьбу со львом и побеждает его. Та же аллегория прослеживается неоднократно во «Временнике». Все реальные и потенциальные законные цари в памятнике побеждают лжецарей, символом которых в тексте является лев. Библейский единорог сражается со львом-антихристом — «сыном погибели». Все положительные герои «Временника» сражаются с лжецарями, приносящими горе, беды, разорение Русской земле, ведущими Московское государство к гибели. В этом смысле единорог в Библии и единорог во «Временнике» становятся образами тождественными: перед нами, несомненно, образ воинственный и «освятованный». Сам же единорог превращается у Тимофеева в символический образ побед русских праведных царей над внешними и внутренними врагами земли Русской.

Второй семантический пласт образа единорога, берущий свои истоки в Библии, связан с толкованием единорога как символа царя, Богом избранного, и как символа чистоты православной веры. Все законные русские цари отличались особым, одухотворенным благочестием[124]. Со времен Ивана Грозного в Московском государстве культивировалась идея русской державы как третьего Рима, последнего оплота «праведного» христианства. В этом смысле единорог символизировал особое духовное качество Русской земли как своеобразного знака обетованной земли спасения человечества, а законных престолонаследников — как истинных наместников Бога на земле. Не случайно, следовательно, Тимофеев настойчиво и неоднократно указывает на факт законного престолонаследования: только законный наследник российского престола может помочь реализовать предначертанную Русской земле миссию. Таким образом, в тексте «Временника» находит выражение и мистико-символическое восприятие образа единорога, характерное для средневекового мышления.

Предположение четвертое — литературное. По наблюдениям И.Г. Спасского[125], тема единорога была хорошо известна древнерусскому книжнику с древних времен. Так, в «Повести о Варлааме и Иосафе» в одной из притч единорог выступает символом смерти, в «Голубиной книге» индрик (единорог) — «звирь над звирями звирь»[126] — показан распорядителем вод, символом, соединившим в себе змея и змееборца. В греческом «Физиологе» единорог описан как сильный зверь, имеющий «малъ животъ» и «единъ же рогъ <…> посреди главы»[127]. В списках разных групп единорог представляется то

[124] Согласно наблюдениям О.В. Беловой, единорог служил символическим обозначением «человека, не забывающего о Боге», и «человека, вооруженного «крепостью Христовой» против еретиков» // *Белова О.В.* Славянский бестиарий… С. 99–102. Таким образом, выбор символа единорога для обозначения истинных царей в данном случае осуществляется в рамках традиции.

[125] *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве... С. 115–116.

[126] *Бессонов П.* Калеки перехожие: сб. стихов и исследований. СПб.: Тип. А. Семена, 1861. С. 296.

[127] *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб.: Имп. Об-во любителей древней письменности, 1890. С. 302.

животным «в высшей степени злобным», то «в высшей степени кротким»[128]. Его не могут ни приручить, ни поймать охотники, это удается сделать только целомудренной деве Марии. Если допустить мысль, что дьяк Иван Тимофеев был знаком с текстом «Физиолога», знал символико-аллегорическое толкование этого мифического зверя как символа чистоты и силы, как эмблемы меча и слова Божия[129], то в этом случае использование символа «инорога» для наименования законных русских царей оказывается весьма значимым. Признавая законность власти представителей рода Калиты, акцентируя идею богоизбранности царствующих особ, Тимофеев тем самым закреплял в своем тексте актуальную для эпохи Смутного времени дифференциацию царей на истинных и ложных. Истинные цари — цари по Божьему промыслу. Они не всегда справедливы (например, Иван Грозный изображается во «Временнике» как тиран, уничтожающий население своей страны), но они всегда «первосущие», «природные», поскольку «не поведение, но предназначение определяет истинного царя»[130]. Они символизируют собой сильную власть: аналогия весьма прозрачна — физической силе зверя единорога соответствует сильная царская власть, подчиняющая своей воле как соотечественников, так и иноземцев. Истинные цари, получающие власть от Бога, воспринимаются как образ Бога на земле, и в этом смысле со всей отчетливостью проявляется представление Тимофеева о единороге как особом царском знаке, свидетельствующем об избранности «праведных» царей.

С другой стороны, в «Физиологе» достаточно ярко прослеживается тесная взаимосвязь образов единорога и девы Марии[131]. Согласно одному из списков, единорог, приведенный девой в «полатоу», «вселися въ чрево истиныя девица богородица Мария»[132], согласно другому списку, чувствительный к чистоте девицы единорог ложился у ее ног, клал голову ей на колени и засыпал. Так или иначе здесь явно прослеживается связь целомудренного женского начала с образом единорога: единорог служит чистой и непорочной деве, покоряется ее власти. В тексте «Временника» также прослеживается эта взаимосвязь. Россия предстает под пером Тимофеева в образе женщины в главе «О вдовстве Московского государства» и в последующих двух притчах[133]. Подобно «вдове нецей, иже по муже остаеме уподобляема и своеземными рабы разорительно обладаема и разтекаема и яко по жребиом разделяема» [Временник, с. 155], Московское государство разоряется рабами и чужестранцами, гибнет без мужа — истинного царя. И так

---

[128] Там же. С. 303.

[129] Энциклопедия символов, знаков, эмблем / авт.-сост. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. М.: Астрель: МИФ, 2001. С. 179.

[130] *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. I. С. 78.

[131] Эта устойчивая связь прослеживается практически во всех славянских бестиариях XII–XIII вв. См. подробнее: Средневековый бестиарий / автор вступит. ст. и коммент. К. Муратова; пер. на англ. яз. И. Китросской; пер. старофранц. стихов В. Микушевича. М.: Искусство, 1984. С. 82–84.

[132] *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. С. 302.

[133] Временник Ивана Тимофеева. С. 155–161.

продолжается до того момента, пока Русская земля не обретает нового «праведного» царя — «богом воздвиженнаго в наследие царска от рода в роды царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси» [Временник, с. 155]. Следовательно, наблюдается еще одна аналогия «Физиолога» и «Временника»: мифический зверь служит целомудренной деве, цари-единороги служат Русской земле.

Итак, образ инорога во «Временнике» Ивана Тимофеева, выступающий в роли символа русской государственности и символа истинных московских государей, имеет несколько значений. Прежде всего, инорог — законный наследник царского престола, наделенный значимым именем, воин-защитник Русской земли. Его отличительные качества — храбрость, непобедимость, мудрость, внутренняя свобода, пламенность. Во-вторых, инорог — это православный благочестивый царь, святой охранитель Русской земли, получивший свою власть от Бога.

Символ льва[134]**.** Выбор контрастной пары символов власти: единорога (для изображения истинных государей) и льва (для изображения самозванцев) во «Временнике» Ивана Тимофеева обусловлен традицией, уходящей корнями в глубокую древность. Так, например, в «Голубиной книге» борьба единорога и льва осознается как борьба за власть, как «противостояние Индры и других Дыевичей со Сварожичами»[135]:

Единорог-зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец,-
А и ходит он под землею,
А не держут его горы каменны,
А и те-то реки его быстрые;
Когда выйдет он из сырой земли,
А и ищет он сопротивника,
А того ли люта льва-зверя;
Сошлись оне со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, дратися:
Охота им царями быть,
Над всемя зверями взять большину,
И дерутся оне о своей большине.
Единорог-зверь покоряется,

[134] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Символ льва во «Временнике» Ивана Тимофеева // Герменевтика древнерусской литературы Сб. 15 / отв. ред. О.А. Туфанова. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. С. 607–627.

[135] *Силаев А.Г.* Истоки русской геральдики. М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2002. С. 125.

Покоряется он льву-зверю,
А и лев подписан — царем ему быть,
Царю быть над зверями всем...

Противостояние этих зверей у корней Мирового Древа изображено и в клейме Васильевских врат в 1331–1336 гг. по заказу новгородского архиепископа Василия, в росписи коробья, блюд, сделанных в Великом Устюге (XVI–XVII вв.)[136]. Известно изображение каменных львов и единорогов на ярусе декора Спасской башни Московского кремля, на фасаде здания московского Печатного двора, по бокам глобуса Столовой палаты Коломенского дворца, на чернильницах, знаменах[137] и т. д.

Довольно рано символ льва начал толковаться славянами как покровитель власти[138]. В этом же значении эмблема льва искони употреблялась в геральдике и сфрагистике. Присутствие льва обнаруживается на многих гербах русских городов и западных стран: на первом гербе Англии, использованном Ричардом I Львиное сердце (с 1195 г.), на флаге короля скоттов Уильяма Льва (1165–1214)[139], в гербах Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и др., в гербах г. Владимира, г. Львова. Эмблему льва как символа власти можно обнаружить и на печатях Великого князя Василия Темного, Ивана III, на русской печати для скрепления международных актов начала XVII в., созданной по аналогии с перстневой печатью князя Д.М. Пожарского[140], на печати боярина Федора Ивановича Мстиславского, сохранившейся на отписке его 1611 г. к королю Польскому Сигизмунду III и Владиславу Сигизмундовичу[141], наконец, на государственной польской печати[142].

С принятием христианства славяне усвоили и новую амбивалентную трактовку образа льва, который рассматривался и как символ Иисуса Христа, и как символ праведника, и как «персонификация сатаны и пагубных страстей»[143]. Именно эта двойственная трактовка образа льва подробно разработана в храмовых памятниках Владимиро-Суздальской Руси (X–XIII вв.), в частности в скульптурной композиции на

---

[136] Там же. С. 126–127.

[137] См.: *Пчелов Е.В.* Эмблематическая пара «лев и единорог» в русской культуре и солярно-лунная символика // Календарно-хронологическая культура и проблема ее изучения: К 870-летию «Учения» Кирика Новгородца. Материалы научной конференции. М.: РГГУ, 2006. С. 138–141.

[138] *Силаев А. Г.* Истоки русской геральдики. С. 197.

[139] *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов. М.: АО «Вече»: ТКО «АСТ», 1997. С. 214.

[140] *Каменцева Е.И., Устюгов Н.В.* Русская сфрагистика и геральдика. М.: Высшая школа, 1963. С. 122; *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. С. 124.

[141] *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. С. 125.

[142] Там же.

[143] *Гладкова О.В.* Об одной палестинской традиции в Жизнеописании преп. Серафима Саровского (сюжет о происхождении медведя) // Макариевские чтения. Можайск, 2006. Вып. 13. С. 280–293.

фасадах собора Покрова на Нерли[144], в настенных рельефах Успенского и Дмитровского соборов во Владимире[145].

Раннехристианские тексты, например, «Физиолог», содержат ряд аллегорических сюжетов о льве как символе осмотрительности, воскрешения, бдительности, духовной крепости и чистоты, отшельничества[146] и др. И «Физиолог»[147], и «Шестоднев»[148] Иоанна екзарха учили, что лев — царь зверей. В богослужебных текстах, в «Слове о рассечении человеческого естества» льву уподоблялись злые правители[149]. Агиографическая литература (в сюжетах встречи старца со львом, столкновении героя и льва) развивает библейскую трактовку этого образа[150].

В оригинальной отечественной литературе, согласно наблюдениям В.П. Адриановой-Перетц, русские книжники применяли образ льва либо по отношению к «врагам церкви, царям-мучителям первых христиан, еретикам»[151], либо по отношению к доблестным полководцам и воинам[152] как символ храбрости и мужества.

Уподобляя «самозванцев» львам, Тимофеев лишь отчасти следует фольклорно-литературной традиции, делая акцент исключительно на негативной трактовке древнего образа и внося новое содержание в известный символ.

Первым в галерее лжецарей, сравниваемых со львом, пред взором читателя появляется Борис Годунов: «сий убо по естеству лев» [Временник, с. 39]; «яко комар лва не дошед порази», — говорит Тимофеев о свержении Бориса самозванцем [Временник, с. 83]. Сходным образом именуется во «Временнике» и Гришка Отрепьев: «по сем воста от ложа своего скимен лют» [Временник, с. 83]; «скимен злый <…> Гришка Розстрига» [Временник, с. 94]. Близки по своим характеристикам к образам Годунова и Лжедмитрия I образы Василия Ивановича Шуйского и Лжедмитрия II. Эти образы разработаны в памятнике в меньшей степени, что нашло отражение в отсутствии в главах, посвященных им, символа льва; но их исходные характеристики совпадают с характеристиками Годунова и Лжедмитрия I и помогают прояснить семантику символа самозванчества.

Прежде всего следует отметить, что практически нигде на протяжении всего повествования Тимофеев не соотносит имя Бориса Годунова с понятием «государь царь и

---

[144] *Силаев А.Г.* Истоки русской геральдики. С. 53.

[145] См.: *Силаев А.Г.* Истоки русской геральдики. С. 53–56; *Гладкая М. С.* Изображение львов в резьбе Дмитриевского собора во Владимире. Владимир: [Б. и.], 2002. С. 21.

[146] См.: *Белова О.В.* Славянский бестиарий... С. 159–162.

[147] *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. С. 161.

[148] *Дурново Н.Н.* К истории сказаний о животных в старинной русской литературе // Древности. Труды славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1902. Т. 3 / Изд. под ред. М.И. Соколова. С. 66.

[149] Там же.

[150] См.: *Гладкова О.В.* Об одной палестинской традиции… С. 280–293.

[151] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 89.

[152] Там же. С. 87–88.

великий князь». Это наименование Тимофеев прилагает исключительно к образам Ивана Грозного[153] и Федора Ивановича[154]. Если же употребляет только слово «царь» по отношению к Федору Ивановичу, то обязательно добавляет положительные оценочные эпитеты: «благага царя» [Временник, с. 28], «благочестиваго царя» [Временник, с. 28], «освятованный же царь» [Временник, с. 27] и т. д.

Годунова всего один раз, в названии главы, Тимофеев называет царем: «О Борисе же царе» [Временник, с. 72]. Но инверсионное употребление этого понятия, отсутствие положительных эпитетов заставляют звучать это утверждение иронически-презрительно. В большинстве случаев по отношению к Борису Годунову Тимофеев использует определения «лжецарь» [Временник, с. 32], «рабоцарь» [Временник, с. 56]. Аналогичным образом автор «Временника» именует Лжедмитрия I: «Лъже — и самоцарь <…> ростригa богопустный на ны Гришка, порекло Отрепьев» [Временник, с. 72]; «Борисово воцарение; второе Гришки ростриги <…> дву лжецарей» [Временник, с. 32]. Те же оценочные определения используются для характеристики царствования Лжедмитрия II: «лжецарю» [Временник, с. 124]; «ложна царю» [Временник, с. 124]; «ко лжецарю стекахуся» [Временник, с. 127]; «мучителю лжецарю» [Временник, с. 129]. Имя царя Василия Шуйского всегда сопровождают в тексте отрицательные эпитеты: «растлитый умом мнимый царь» [Временник, с. 102]. Следовательно, первичное значение символа льва во «Временнике» — лжецарь.

Второе значение символа льва связано с особенностями трактовки имен правителей. В отличие от значимых имен истинных царей[155], имя Борис не вписано Богом в «животные книги» «богоненавистных <…> дел ради», и потому в тексте отсутствует его толкование. Имя «Григорий» также не имеет иносказательного варианта в памятнике. Назвав себя царским именем — Дмитрием Ивановичем, — Гришка Отрепьев таким способом «всынотворився»: «…преславным именем во образе царска сына вменився <…> всынотворився ему…» [Временник, с. 83]. Он принял на себя чужое имя. Страсть к «переодеванию», перемене имени, социального статуса в образе Отрепьева нарочито подчеркивается в тексте[156]. Во всех его действиях проявляется карнавализация. Он никогда не предстает в истинном виде. Это всегда только видимость, игра, лицедейство. Например, он никогда не был истинным монахом, а только «во мнишеское облещися дерзну»

---

[153] «…царство государя царя и великого князя Ивана Васильевича, всеа Руси самодержца» [Временник, с. 10].

[154] «…царство <…> государя царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Руси» [Временник, с. 24].

[155] Об иносказательности имен см.: *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 405; *Солодкин Я.Г.* Русская публицистика начала XVII века. Проблемы происхождения крупнейших летописных памятников и «Временника» Ивана Тимофеева: дис. … д-ра ист. наук. Кустанай, 1990. С. 276–277.

[156] Об изменчивости образа Гришки Отрепьева см.: *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени... С. 72–74.

[Временник, с. 84]. Принял священнодияконство у патриарха Иова, но при этом «священнодьяконство ему на ся у великаго <…> изолгати» [Временник, с. 84]. Затем отрекся от монашеского сана: «…вкупе обоего чина самоизволне совлечеся, священства, глаголю, и мнишества…» [Временник, с. 84].

Аналогичным образом трактует Тимофеев принятие на себя чужого имени Лжедмитрием II: «…инаго второруга́теля, сущему имени изветом истоваго государя царевича Димитрия сказующе…» [Временник, с. 121–122]. Здесь используется важная в характеристике самозванцев речевая формула — «извет имени» с акцентом на слово «извет». Данное слово превращается в тексте в своеобразный символический знак неистинности, находящей выражение и в принятии на себя чужого имени, и в мнимом благочестии, и в мнимой храбрости и т. д. «Извет» чего-либо — это знак вывороченности, обратная сторона положительных характеристик, присущих истинным государям, и постоянная составляющая характеристик ложных царей. Не случайно «сущим царям» Тимофеев противопоставляет лжецарей-идолов[157] (Лжедмитрий I), лжецарей-кумиров[158] (Лжедмитрий II). Формулы, используемые в обоих случаях, практически идентичны: о Гришке Отрепьеве — «идолу сущу, яко царю, поклонишася» [Временник, с. 84]; о Лжедмитрии II — «яко кумиру, покланяхуся сице сущему царю» [Временник, с. 124]. Речевые клише стирают семантическую разницу понятий «кумир» и «идол» и делают их контекстуальными синонимами.

Таким образом, второе значение символа льва в тексте — правитель, чье имя не имеет сакрального смысла, чей внутренний мир пуст и вследствие этого может быть заполнен любым содержанием.

Третье значение символа льва связано с происхождением властвующих особ и способом получения ими власти. По версии Тимофеева, все законные наследники русского престола принимали царство из рук своих отцов[159]. Самозванцы «самохотящ» [Временник, с. 53] совершали «наскочение на превысокая» [Временник, с. 56]. Тимофеев описывает их как людей, «чрез подобство наскакающих на царство» [Временник, с. 34]. Борис Годунов «дерзостию и прегрешно зело *наскочение* на превысокая сотвори» [Временник, с. 56]. Аналогичный способ захвата власти избрал Лжедмитрий I: «на самый богом помазаных верх безстудие <…> *наскочил*» [Временник, с. 95]. По своей воле, «самохотно» занял царский престол Василий Шуйский: «*самохотно* восхищением *наскочивше* безстудне от болярска чина на царство» [Временник, с. 91]; «*самоизбранна* глаголема всеа Руси царя

[157] «Еще ему вне сущу предел Руския земля, самохотне повинушася вси, идолу сущу, яко царю, поклонишася» [Временник, с. 84].

[158] «Аще и ведуще его прибегшеи тамо ложна царю, яко кумиру, покланяхуся, плотским образом обложену, сице сущему царю» [Временник», с. 124].

[159] Временник Ивана Тимофеева. С. 10–11, 24, 151.

<…> *самоизволне*» [Временник, с. 100]; «*самовенечника*» [Временник, с. 101]; «Внезапно и *самодвижно* воздвигся кроме воли всеа земля и *сам царь поставися*» [Временник, с. 113]. Второй Лжедмитрий также «*самозваным* новобогоотступником» [Временник, с. 98] воссел на царский трон.

Обязательный элемент в характеристике царей — их происхождение. Все законные цари происходили из рода Калиты, все они олицетворяли «богом дарованную мирови в насладие отрасль» [Временник, с. 28], их «корень»[160] уподобляется в тексте «доброй маслине» [Временник, с. 32]. Самозванцы «зело *неблагословна корене*, ни по избранию людей, но от страдническия четы, *безъименных*, мельчайших <…> яко *дивимаслина*» [Временник, с. 32].

Описывая избрание Бориса Годунова на царство, Тимофеев трижды в сравнительно небольшом по объему фрагменте акцентирует внимание читателя на «рабском» происхождении первого из «самозванцев». Годунов, поднявшись на самый верх «земныя чести», сделал своими рабами тех, кто был благороднее его по происхождению, среди которых он ранее занимал среднее место по роду и чину. Лексические повторы, одинаковое словообразование — «средороден и средочинен» [Временник, с. 56] — получают свое продолжение в оценочной характеристике «рабоцарь» [Временник, с. 56], указывающей на происхождение нового царя, и, наконец, находят эмоциональное разрешение в прямом указателе: «рабородства». Негативное звучание данного эпитета усиливается в тексте благодаря упоминанию «величайших» и «прегордых по вселенней» царей [Временник, с. 56], принявших Бориса Годунова «державнаго ради соименства» [Временник, с. 56] и слышавших о его справедливости и благодушии.

Еще негативнее характеризуется Лжедмитрий I. До момента воцарения никто не знал ни рода Гришки Отрепьева, ни имени: «не бе знан ни род сего, ниже имя его» [Временник, с. 83]. «Худородность» происхождения Отрепьева Тимофеев подчеркивает с помощью эмоционально ярких эпитетов, усиливая их звучание превосходной степенью и грубым просторечием: «И сей бо худороден сы и зело плашайша племене пород ему бе, — Галич бо град того изблева» [Временник, с. 83]. «Нечестивое порождение» [Временник, с. 83] — Гришка Отрепьев — называется в тексте то «исчадием» [Временник, с. 83] «Улиана» — римского императора Юлиана (361–363 гг.), отказавшегося от христианской религии и покровительствовавшего язычеству[161]; то сыном «литовского» короля Сигизмунда III «обещанием злобы его» [Временник, с. 121]. А это уже совсем нехорошо, это явная «дивимаслина» на российском престоле, поскольку «великодержавныи <…> искони быша своеземная» [Временник, с. 147].

---

[160] См.: *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени… С. 47–49.
[161] *Державина О.А.* Исторический и географический комментарий. С. 488.

Василий Иванович Шуйский — единственный из всех, кто «самоизбранна» стал царем всея Руси, — «перводержавнейшим сроден бе» [Временник, с. 101]. Но и он «приплетеся» «страстем плотским», «умом растлися», и потому упоминание о его благородном происхождении, родстве с истинными государями звучит как дань исторической объективности и не является отличительной положительной характеристикой.

Таким образом, третье значение символа льва — безродные правители, рабы по происхождению, самовольно захватившие престол путем «наскочения», «дивимаслина» на русском престоле.

Если имена и деяния истинных царей в тексте «Временника» почти всегда сопровождает высокая панегирическая лексика, то по отношению к «самозванцам» Тимофеев использует исключительно сниженную лексику. Постоянный эпитет, сопровождающий имя Бориса Годунова, — «злой»: «злоковарен <…> свою злобу <…> злолютством <…> злобы своей» [Временник, с. 28]; «злых злейша <…> злый раб» [Временник, с. 29]; «всезлый властолюбец» [Временник, с. 31] и т. д. Годунов устилает свой путь к трону трупами законных царей[162] и престолонаследников[163], проливает кровь ни в чем не повинных людей[164]. Царство Бориса Годунова, заключает Тимофеев, было «кроволюбно»: «Борисово <…> насилное во льсти кроволюбное царство <…> неповинных мнозех пролития кровей…» [Временник, с. 84].

Чем больше времени проходит с момента смерти последнего законного царя, тем все более злобные правители претендуют на царский престол, тем большие преступления они совершают. Точно так, как Борис «расчищал» себе путь к царскому престолу убийством, действует и Лжедмитрий I. По приближении к Москве он посылает доверенных лиц убить жену и сына Годунова: «…матерь же ону <…> с сыном ея <…> в дому перваго достояния и безсловесне некако и нуждно обоих убийством осуди, увы, загнетением смерти преда» [Временник, с. 85]. Дочь Бориса облекает «во мнишеский облек» [Временник, с. 85]. В контексте всего произведения насильственный постриг воспринимается как смерть, как убийство. Подчеркивается это постоянно звучащим сравнением девиц, насильственно постриженных в монахини, со срезанными недозревшими колосьями[165]:

---

[162] О смерти Ивана Грозного: «Борис <…> сложившийся купно з двема в тайномыслии о убиении его» [Временник, с. 15]. О смерти Федора Ивановича: «И сего святожительнаго <…> царя <…> той же властолюбец злый и желатель его царствию зломудрием своим некако виновну ему смерти сущу бывша… он же явлен убийца бысть» [Временник, с. 26].

[163] О смерти царевича Дмитрия: «детоубийца Ирода Борис» [Временник, с. 43].

[164] «Он же господскою кровию не удовлеся, приложи к сей рабскую изливати муками кроволитными» [Временник, с. 29].

[165] Аналогичным образом во «Временнике» говорится о заключении матери убиенного царевича Дмитрия в монастырь: «Борис <…> родительницу неповиннаго закланью отрока мнишеским образом ненавистно облече и в лавру некую от мира сего удаляемых стран ту, кроме воля ея, всели в месте пустее,

«Твердозаклепанную же юницу <…> без тоя воля, яко несозрела класса, пожат» [Временник, с. 85].

Злоба Гришки Отрепьева находит выражение не только в убийствах, но и в том, что он хотел сотворить «конечное зло» — уничтожить из памяти Христову веру: «…конечное *зло* хотящеся от него на вся нанести и паче всякого *зла злейши*: <…> Христову веру, православием вечно цветущую, в конец хотя окаянный от памяти испроврещи *зломыслием* врага» [Временник, с. 84]. Не случайно он получает в тексте яркую характеристику: «скимен злый иже священно- и мнихоругатель Гришка Розстрига» [Временник, с. 94].

Создавая неприглядные портреты Лжедмитрия I и Василия Шуйского, Тимофеев не скупится на отрицательные эпитеты, использует прием восходящей градации для усиления звучания негативной характеристики самозванцев: о Лжедмитрии — «Он же, растлитый, <…> грехолюбно поживе, всеблудно же, и беззаконно по всему, и рабско, и скотолепно всяко; <…> во плоти бо, яко в гробищи, пребывая…» [Временник, с. 89]; о Шуйском — «Прочее не глаголю, яко беззаконно, но яко нечестив всяко и скотолепен, царствова во блуде и пиянствах» [Временник, с. 101]. Сходные повторяющиеся характеристики («беззаконно», «всеблудно», «скотолепно»), ругательно-обличительная лексика, представленная через ряды однородных членов и усиленная повторами местоимений «все», «всему», «всяко», символизирующими постоянство, наконец, яркое сравнение («яко в гробищи») делают практически неразличимыми образы Лжедмитрия и Шуйского. Создается впечатление, что для автора принципиально важно было подчеркнуть их одинаковость, чтобы создать единый страшный образ самозванца, символом которого в произведении стал лев.

С этой же целью Тимофеев указывает и на общую для всех самозванцев черту — «кроволюбие». Как и его предшественники, Василий Шуйский, согласно тексту памятника, погряз в «кровопролитиих неповинных кровей» [Временник, с. 101]. Он и его воины все «грады и веси» «в различья смертей до основания низложив, всеродно испровергоша» [Временник, с. 91]. И не было места на Русской земле, «идеже правоверных кровми горы и холми не полияшася, и удолия, и дебри вся наполнишася, и водам естество, ими очервив, згустися» [Временник, с. 91].

Достойным преемником своих «самозваных» предшественников выступает в тексте и Лжедмитрий II: «злоревнителя злу паче инех других себе единакого такова показуя всем» [Временник, с. 98]. Его образ, в меньшей степени разработанный, нежели другие, тем не менее осознается как самый злобный, ибо его злоба — самих бесов злоба во плоти: «во злых недостаточествовати самех злобою бесов» [Временник, с. 98].

непроходне же и безводнее…» [Временник, с. 43], «яко второе убийство по сыне самого того матери сотвори» [Временник, с. 44].

Следовательно, лев в тексте становится и знаком злобных лжецарей, устилающих свой путь к трону трупами, заливающих Русскую землю кровью; символом убийц.

Традиционно в древнерусской литературе, согласно наблюдениям В.П. Адриановой-Перетц, известно уподобление героя льву «по признаку силы и храбрости»[166]. Борис Годунов, в отличие от истинных царей, постоянно демонстрирует в течение всей своей карьеры «немужество» [Временник, с. 41], но при этом страстно желает предстать в глазах людей храбрым человеком: «показуя изветом своея храбрости» [Временник, с. 57]. Но это только видимость, мираж. Причем обманывает таким способом Годунов всех: и царя Федора Ивановича, и врагов земли Русской, и в конечном итоге всех русских людей. Особенно ярко «лжехрабрость» Бориса Годунова проявляется на фоне сопоставления его поступков с деяниями храбрых истинных царей. Тимофеев проводит неявно выраженную параллель между двумя событиями: набегом на Москву крымского хана Казы-Гирея в 1591 г., которого в действительности сумел «устрашить» царь Федор Иванович [Временник, с. 35], и мнимым преследованием бежавшего в страхе хана Борисом Годуновым [Временник, с. 40–41]. Столь же очевидна показная храбрость Годунова (*«яко храбор являяся»* [Временник, с. 57]) и в эпизоде стояния войска «лжецаря» на берегу Оки. В обоих случаях Годунов только имитирует воинскую доблесть и храбрость: в первом случае — погоню за ханом, что подчеркивается ярким сравнением «яко по ветре» [Временник, с. 40]; во втором — устрашением противника, «не наветующаго нам бранью тогда» [Временник, с. 57], с помощью «белосущаго лняноткания снеговиден града» — палаточного городка, разбитого на пустом месте, издалека напоминающего каменный город [Временник, с. 58] и сопоставимого в памятнике с военным чудом времен Федора Ивановича — «гуляй-городом».

Таким образом, сопоставляя Бориса Годунова со львом, Тимофеев разрушает традиционное для древнерусской литературы значение этого образа. В данном контексте лев становится символом немужественного, трусливого по своей сути человека, всеми силами и средствами являющего вид храбрости; не воин-защитник, а его мираж, «извет».

С другой стороны, герои предшествующей литературы приравнивались авторами ко льву не только по «признаку силы и храбрости», но и по «признаку страха», который они вызывали у врагов и подданных[167]. В этом смысле Тимофеев вполне следует литературной традиции.

Страх и ужас внушал всему населению Лжедмитрий I: «страх смерти чаяния по востри меча его одоле» [Временник, с. 84]; «прочих <…> устрашая» [Временник, с. 85]. Бориса Годунова боялись все подданные: и знатнейшие и величайшие князья и бояре,

[166] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 87.
[167] Там же.

ведущие свою родословную с древних времен: «вси величайша отдревле столпы <…> обладании прежде властолюбца страхом <…> они же крыяхуся страхом» [Временник, с. 39]; и простой люд: «вся иже страхом приведшая» [Временник, с. 66], «страхом привед всех с принуждением х клятве» [Временник, с. 68]. Боялись Годунова так сильно, как не страшились и самого царя. «Величайша отдревле столпы» не пугались и не стыдились перед Федором Ивановичем чрезмерно превозносить Годунова: «вси не страшахуся, ни стыдяху хвалами о нем чрезъестественых словес» [Временник, с. 39]. Годунов преобладал над всеми: «Тако той един онех всех преоблада, и множае простирашеся тогда надо всеми преобладание» [Временник, с. 39], над всеми имел власть, поскольку у него была редкая способность страхом омрачать людей, парализовывать их сознание и волю к действию. Бессловесное повиновение людей Годунову Тимофеев объясняет именно омрачением: «Тако той страхом омрачаше люди; мы же и в сем повинухомся ему безсловесне…» [Временник, с. 41].

Однако, омрачая страхом подданных, заставляя льстить, Борис Годунов попал в собственную западню. Любовь к власти (Тимофеев неоднократно в своем повествовании называет Бориса властолюбцем: «всезлый властолюбец» [Временник, с. 31]; «властолюбца злаго» [Временник, с. 30] и др.), любовь к славе («любославия рачитель» [Временник, с. 40], «славоловитель» [Временник, с. 41] и др.), непомерное тщеславие («своего превосходны тщеславия» [Временник, с. 43]) сыграли с ним злую шутку. Надеясь «хвалением словес осияватися начат» [Временник, с. 41], Годунов на самом деле оказался таким же омраченным, как и запуганные им люди. «Славолюбия одежда», сшитая льстецами [Временник, с. 40, 41], ослепила Бориса Годунова: «Оле таковаго ослепша тмою мрака разума» [Временник, с. 45]; «О, омрачения! о, многаго славоослепления» [Временник, с. 59]; «Слепый вож толико стаду быв» [Временник, с. 67]. И, омраченный, ослепленный лживыми льстивыми словами, Борис Годунов устилает свой путь к трону трупами законных царей и престолонаследников.

Но чем больше Годунов хочет достичь желаемого, тем меньше он это желание демонстрирует. Он великолепно разыгрывает пред народом свое мнимое нежелание взойти на царский престол. Здесь все инсценировка: и притворное удаление в покои своей сестры, царицы Ирины, и притворное нежелание принять царство, и попытка с помощью платка на глазах у всего честного народа удавиться, что должно было продемонстрировать нежелание принять царский титул… Но все это лишь «нехотения образ», один из шагов, предпринятых Борисом для достижения желаемой высоты: «в нехотения образе самохотящ нам поставитися» [Временник, с. 53], «прикровеному хотением ко всем купно отвещавающим» [Временник, с. 53], «хотение спокрывающе купно вси» [Временник, с. 54], «спокрывся нехотением» [Временник, с. 54], «о себе показуя разумевати, яко бы удавитися

понуждаемаго ради хотяше <…> своего нехотения притворение людскому множеству показа» [Временник, с. 54], «яко зельне свое нехотение показуя» [Временник, с. 54]. Скрыв таким способом свое единственное и истинное желание, Годунов сумел обольстить людей и добиться главной цели всей своей жизни — стать царем всея Руси. Но каким царством он управляет? Кто его подданные? Молчащий народ, беспрекословно подчиняющийся злодею, уподобляется в тексте «Временника» свиньям («неразумных свиней обычай» [Временник, с. 76]), рыбам («вси тогда онемеша и равно ему попустиша и безгласни бо быша, яко рыбы» [Временник, с. 27]). По сути, «рабоцарь» Борис, так долго омрачавший людей, достиг своей цели: его подданные оказываются «несмысленнее скотов», а сам он управляет не человеческим, а каким-то звериным царством. В данном случае мы наблюдаем невероятную по своей прямоте аллегорию. Лев, как толкует этот образ «Физиолог»[168], считался царем зверей. И Годунов-лев тоже царь бессловесного животно-человеческого мира.

Таким образом, лев становится символом лукавого, хитроумного, кровожадного человека, устрашающего подданных своими преступлениями; символом ослепленного славой и лживыми похвалами человека.

Лжецарей отличает и иное, чем у истинных русских государей, отношение к благочестию и церкви. Все, что делает Борис Годунов в отношении веры, трактуется Тимофеевым как обман: внешнее деяние не отражает истинной сути его внутренних намерений. Например, возведение церкви и Донского монастыря на месте, где стояло против хана московское ополчение, воспринимается писателем как лжеблагодеяние. Снова используется формула «честнолюбивый изветом веры» [Временник, с. 43]. И, чтобы читатель правильно понял его, Тимофеев в дальнейшем разъясняет формулу: «вещи убо видения благоделно, истиною же — паче своего превосходны тщеславия имя о победе сим возвышая в роды» [Временник, с. 43].

Аналогично Борису Годунову поступает и Лжедмитрий. Желая обвенчаться с католичкой Мариной Мнишек, он собирает православный собор, чтобы испросить его, стоит ли ей креститься второй раз. Этот собор истолковывается Тимофеевым как «извет»: «извет творя яко праваго совета» [Временник, с. 87]. Не уважая православную веру, Григорий Отрепьев оскверняет православный храм, превращая его в «просту храмину», наполняя еретиками, читай — «волками», «бесами». Во главе же этого бесовского воинства — сам Лжедмитрий — «пес со всесквернавою сукою» [Временник, с. 88]. В связи с этим постоянной сопутствующей характеристикой личности Лжедмитрия и его деяний становятся эпитеты «скверный», «богоотступный»: «богоотступный» [Временник, с. 86],

[168] «…начнемъ о лве глаголати. о цари зверьстемъ. рекше животному…». См.: *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. С. 161.

«богопротивное крещение» [Временник, с. 87], «осквернив святая богоборне» [Временник, с. 88]; «наскверни́л святая» [Временник, с. 95], «скверни́теля» [Временник, с. 86], «скверно сверстник тоя презлый» [Временник, с. 87].

«Извет» творил и Василий Иванович Шуйский. Будучи «нечестив», он «к потребе своего студожительства» перелил священные сосуды в деньги, «извет творящу» [Временник, с. 103]. Более того, «к бесом прибегая», он «промышлял» в царских покоях «чародеяний творениями» [Временник, с. 102]. В этом смысле фигура Шуйского на царском престоле оказывается идентичной фигурам безродных самозванцев. Не случайно Тимофеев проводит неявно выраженную параллель: если Шуйский лишь уличался автором в связях с нечистой силой, то Гришка Отрепьев прямо уподоблен антихристу: «Весь сатана и антихрист во плоти явлься» [Временник, с. 84], «враг же обаче, а не человек бывая словеснаго существа, оболкся в плоть антихрист» [Временник, с. 83].

Таким образом, еще одно значение символа льва — неблагочестивый человек, творящий «извет» веры, имеющий связи с нечистой силой, враг Церкви. В данном случае Тимофеев следует византийской литературной традиции.

Наконец истинные цари заботились о пополнении царских сокровищниц: «самодержавных сокровичная хранилища <…> от родов в роды наполняема» [Временник, с. 96]. Все они в изображении Тимофеева — собиратели. Самозванцы и в этом противопоставлены законным государям: они — расточители. Так, Лжедмитрий I «сокровичная же хранилища прежде всех бывших царских доброт, даже и златищ и сребрениц самех, увы, *вся истощи* без чина и разсмотрения не в лепоту *разсточительне*» [Временник, с. 89]. Аналогичным образом поступал и Василий Шуйский: «…предивных царских преизрядных и предрагих вещей, от мног лет собранных, — сих всех доброт он *расточитель* и *искоренитель*…» [Временник, с. 102]; «…предварших царей исполненыя до верха царския сокровищныя хранилища *истощи*…» [Временник, с. 102–103]. То есть еще одно значение символа льва в памятнике, связанное с характеристикой отношения к государственному достоянию, — расточитель.

В целом, почти вся палитра семантических значений символа льва оказывается сопоставима с палитрой значений символа «инорога». При этом достаточно четко прослеживается единая сюжетно-композиционная схема, согласно которой характеризуется тот или иной образ государственного деятеля. Практически идентичны параметры, по которым сопоставляются и противополагаются образы истинных и ложных царей.

Однако, помимо различий в семантике данных символов, есть и некоторое сходство. Образы Ивана Грозного и Бориса Годунова получают в тексте «Временника» противоречивые характеристики. Описывая Годунова, Тимофеев специально оговаривает присущие ему положительные качества. Восхваляя Ивана Грозного, книжник критикует его

«яростивый» нрав. В тексте сталкиваются два различных принципа: описание героя «по функции», т. е. в соответствии со средневековым «этикетом поведения» — как подлинного или неподлинного царя, и описание героя по «вúдению» человеческого характера, отражающего внутреннюю суть исторической личности.

Следствием этого принципа явилось необычное употребление символа льва по отношению к Ивану Грозному. Не распознавший лукавого умысла и уничтоживший в состоянии ярости своего брата, князя Владимира Андреевича Старицкого, и его семью, Иван Грозный сравнивается со львом: «яко лев на пути негде срет» [Временник, с. 23]. Преступное убийство возможного законного претендента на царский престол аналогично по функции деяниям самозванцев. Ярость, приведшая к преступлению, сближает его образ с образами лжецарей. А символ льва, имеющий вполне определенную отрицательную семантику и используемый в памятнике по отношению к самозванцам, в данном случае снижает образ Ивана Грозного.

Доминантной характеристикой всех лжецарей была злоба, в качестве постоянного эпитета по отношению к Ивану IV употребляется эпитет «яростивый» [Временник, с. 11, 13]. Одержимый приступами ярости, Иван Грозный «упоил» Новгород «кровми, различными муками вся люди моя умучая» [Временник, с. 13].

Наконец, в рассказах о гибели князя Старицкого и разорении Новгорода Тимофеев использует еще один символический образ — образ «смертной чаши». Тот же образ появляется при описании насильственных смертей подлинных царей, в том числе и самого Ивана Грозного.

Таким образом, случайное на первый взгляд использование сравнения Грозного со львом оказывается на поверку не случайным: целый ряд признаков указывает на строго продуманную семантику символов во «Временнике», каждому из которых соответствует своя палитра значений. В то же время использование для характеристики одного и того же исторического лица контрастных символов наиболее ярко демонстрирует новаторские тенденции литературы первой трети XVII в. Открытие сложности, противоречивости человеческого характера[169] нашло свое отражение и в смешении символов внутри одного произведения.

Еще одно неявное сходство символов «инорога» и льва состоит в том, что они не остаются на протяжении всего повествования неизменными. Образ «инорога» превращается в памятнике то в образ «молитвенного рога», то в образ «младорога», то в «святопомазания рог». Не остается неизменным и символ льва. Но трансформации,

[169] См. подробнее: *Державина О.А.* Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском. С. 30; *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 14–17; *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 355–358.

происходящие с этим образом, отличаются кардинальностью, множественностью и масштабностью. Например, Борис Годунов по степени злобности сравнивается во «Временнике» не только со львом, но и с диким зверем, что вполне соответствует литературной традиции[170]: «превосходный славою, яко в берлозе дивия некако, лестне крыяся» [Временник, с. 53]; «обоих, якоже зверь некий обратився навспять, зубы своими угрызну» [Временник, с. 73].

Весьма значимым является сравнение Бориса Годунова с орлом: «спокрывся нехотением и выспрь, яко орел, превзятся мерою паче» [Временник, с. 54]. Появление этого символа художественно оправдано в тексте. Во-первых, образ орла сопоставим по функциям с образом льва: и тот, и другой — царственные символы. В толковании «Физиолога» «орел царь птицамъ»[171], аналогичным образом говорится о льве: «начнемъ о лве глаголати. О цари зверьстемъ»[172]. Устно-поэтическая традиция также называет орла царем птиц[173]. Но, как и в случае со львом, доминантой оказывается не положительное, а отрицательное в семантике образа. Тимофеев многократно подчеркивал, что у истоков желания Годунова взойти «на верх всея земныя чести», вознестись «на небо от земля» [Временник, с. 56], подобно орлу, у истоков всех поступков первого самозванца (будь то отказ занять царский престол или написание своего имени на главе церкви) стояла гордость: «Толикие бо гордости вознесеся о царствии» [Временник, с. 58]; «превознесеся гордостию серце ему <…> гордостию разствориv <…> прегордое его предзря» [Временник, с. 64]; «сугубство гордости, высокоумие бо вере его одоле» [Временник, с. 65]; «з гордостию вера того слияна бе» [Временник, с. 66]; «гордостне сему сравняяся» [Временник, с. 71] и т. д. Вознесение себя и своего имени гордостью на «превысокая» и рождает в тексте сопоставление Бориса Годунова с орлом. В данном случае Тимофеев отходит от традиций светской средневековой литературы. Согласно наблюдениям В.П. Адриановой-Перетц, уподобление героя орлу делалось «по признаку силы, высоты и быстроты полета этой птицы»[174] и было применимо в основном по отношению к храбрым воинам, т. е. орел выступал метафорой воина. С другой стороны, «высоте и легкости» полета орла в древнерусской литературе уподоблялась «возвышенность мыслей, стремлений истинного христианина, уносящегося от земных забот к небесным, его моральная высота»[175]. Но Годунова нельзя назвать ни воином, ни истинным христианином. Скорее всего, писатель здесь обращается к библейскому символическому толкованию. Не

---

[170] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 93.

[171] *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. С. XXIII.

[172] Там же. С. 161.

[173] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 83; *Гура А.В.* Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. С. 610, 54.

[174] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 83.

[175] Там же. С. 84.

случайно текст «Временника» содержит прямую отсылку к Священному Писанию во фрагменте, описывающем неблаговидное стремление Годунова увековечить свое имя «в позлащеных дцках златописмяными словесы»: «…неведый речения пророческа о таковых: “аще вознесешися, глаголет, яко орел и сотвориши си гнездо посреде звезд, и оттуду свергну тя, глаголет господь”, еже и помале сотвори…» [Временник, с. 72]. Текст Тимофеева здесь практически тождественен библейским текстам Книги пророка Иеремии[176] (48: 16) и Книги пророка Авдия[177] (1: 4). Годунов, вознесшийся на царский престол, уподобляется орлу, свившему гнездо посреди звезд. И точно так же, как орел, он окажется низвержен с высот на землю.

Самый факт свержения Годунова с престола получает во «Временнике» двойственное символическое истолкование. Заняв незаконно царский трон, Годунов сам спровоцировал свою погибель — и духовно-нравственную, и физическую. Причина духовного падения Годунова — «нож гордости»: «Толикие бо гордости вознесеся о царствии <…> яко нож заострен сам принесе своему сердцу, им же себе збод и, низпад, сокрушеся…» [Временник, с. 58]. Физическую смерть Годунов принял в преддверии свержения с трона. Новый самозванец «всеродно низложи» Бориса Годунова, «яко дивий козел овна рогами збод, с самого престола стремглав на землю сверг и не чювствене аще, ругателне же обаче, яко на главе того, свержением посмиявся, нагами ста» [Временник, с. 72]. И в том, и в другом случае употребляется одно и то же слово — «збод». Высокие царственные образы льва и орла, будучи низверженными, претерпевают новое изменение: вместо них появляется овен — образ, явно сниженный по сравнению с первыми. Но и его появление художественно оправдано в тексте. Рассуждая о судьбе гордых, Тимофеев пишет: «Сице бог гордым, уповающим на ся противляется и мысленно сих сламляет роги» [Временник, с. 72]. Трудно сказать, был ли прообразом для формулы «яко дивий козел овна рогами збод» текст Библии, но, вероятнее всего, она восходит к Книге пророка Даниила (8: 3–8). В одном из видений пророка появляются все три образа: и козел, и овен, и рога — «И се козелъ <…> прииде до овна имущаго рога его же видехъ стоаща на оувале, и тече к нему… и доходящь до овна, и съкруши оба рога его, и попраи»[178]. Упоминается, что овен «сътвори по воли своею и возвеличися», т. е. возгордился, вознесся. В другом пророческом сне пророка Даниила появляется образ крылатой львицы (7: 4): «Прьвыи аки львица имущи крыле, крыле же ея аки орлу, изряхъ дондеже простре крыле свои, и бъездвижеся от земля, и на ногу человечу ста, и сердце человече дасться еи». Как видно, происходит совмещение

[176] Ср.: «егда възнесеши яко орелъ гнездо свое, оттоле свергу тя, глаголетъ господь» // Библия. Острог, 1581.

[177] Ср.: «аще вознесешися яко и орелъ, и сътвориши си гнездо среде звездъ, и оттуду свергу тя глаголетъ господь» // Библия. Острог, 1581.

[178] Библия. Острог, 1581.

образов льва и орла. То же совмещение ряда образов мы наблюдаем и в тексте «Временника». Символы льва, орла, овна — это символы-синонимы в памятнике, призванные предотвратить возможность двоякого толкования символа льва (как силы и мощи Христа и как дьявола) и сосредоточить внимание читателя только на негативном толковании семантики ведущего образа, с другой стороны, они подчеркивают одну из главных идей памятника — недолговечность и непрочность власти «самовенечников».

Любопытной представляется еще одна неявно выраженная параллель с библейским текстом. В Ветхом Завете древнееврейский пророк 6 в. н. э. Иезекииль описал видение трона Господа, вокруг которого расположились четыре звериные фигуры, имевшие лики человека, льва, быка, орла. В «Откровении» Иоанна Богослова упоминаются те же четыре зверя. Христианская традиция связала эти образы с изображениями четырех евангелистов и наделила высоким положительным символическим значением[179]. Тимофеев также использует эти четыре образа, но вкладывает в них иное, негативное содержание, играя на предполагаемом контрасте значений этих символов в Библии и в своем историческом повествовании.

Символы, соотносимые с образом Григория Отрепьева, столь же разнообразны. Первичный образ — образ комара: «яко комар лва не дошед порази» [Временник, с. 83], — указывающий на мелкость и незначительность фигуры второго самозванца, на непрочность и мимолетность власти Годунова-льва. Достаточно и комара, чтобы свергнуть ее. К такой трактовке подталкивает и любопытная параллель текста «Временника» с басней Эзопа «О комаре и о льве». В басне речь идет о брани между львом и комаром, в которой победил комар: «И вострубивъ, комаръ полетѣ, угрызая окрестъ носа его, безвласное львово лице грызый. Левъ же своими ногтьми драше самого себе, донелѣже изнемогъ, лежаше. Комаръ же, побѣдивъ лва, вострубы и, побѣдную пѣснь воспѣвъ, полетѣ»[180]. В финале басни съедаемый пауком комар «плакаше»: «Охъ, яко с великими воюяся, от малаго животнаго паука погибохъ!»[181] Притча адресована «к побѣдившимъ великихъ, от малыхъ же низложеннымъ»[182]. Для нас принципиально важны здесь два момента. Во-первых, данная художественная реминисценция помогает прояснить особенности трактовки образа льва-самозванца: тот, кто победил «великих» — истинных царей, — непременно будет низложен «малым». Годунов, виновный, по мнению Тимофеева, в смерти представителей рода Калиты, побежден еще более безродным и имеющим еще меньше прав на престол, чем он сам, Лжедмитрием I. Незаконность его власти обусловливает ее непрочность и

---

[179] *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов. С. 165–166.

[180] О комарѣ и о львѣ // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М.: Худож. лит., 1989. С. 47.

[181] Там же.

[182] Там же.

недолговечность. Во-вторых, «малый» (комар) также недолго будет торжествовать свою победу, он, в свою очередь, будет низложен еще меньшим. Начиная повествование о приходе к власти Лжедмитрия I, Тимофеев уже в первых строках главы предвосхищает рассказ о его падении: «Но убо царствуяй всеми не попусти ему благочестивых престола лето цело осквернevати <…> и бури зело сильнее нань подвигшися, взятся от жизни нежизненый живот его» [Временник, с. 90].

В дальнейшем при описании деяний Лжедмитрия I появляются более серьезные, грозные, страшные символы. Он предстает и в образе льва, и дикого козла («яко дивий козел овна рогами збод» [Временник, с. 72]; «яко козел ногама, збод и с престола долу сверг» [Временник, с. 48]), и «аспида», и «яйца василискова» («пад скимен, аспида же, обаче и яйцо василисково, Гришка Ростригa» [Временник, с. 120–121]); и даже скорпиона: «и яко скорпииным надмен ядом, пущен на ны от пазуху его» [Временник, с. 121]. Каждый из образов имеет довольно древнюю историю использования в библейско-литературной традиции. Имеет весьма определенные и в общем-то однозначные трактовки. Так, «жестокость, злоба и коварство врага уподобляются в древнерусской литературе, преимущественно с XV в., качествам <…> *ехидны* и *аспида*»[183], порой ехидна служила обозначением «дьявола, опустошающего душу»[184], символом зла, вреда и погибели[185]. Скорпион традиционно толкуется как «эмблема предательства», как «символ иудея», как символ палача[186], как символ зла и смерти[187]. Достаточно устойчива в литературе и искусстве зловещая ассоциация козла с дьяволом[188]. Часто в христианской традиции встречается упоминание о козле как символе распущенности, похоти[189]. Наконец, в одном из видений пророка Даниила говорится о том, что козел, победивший овна, возгордился и у него выросли четыре рога, один из которых «уничтожил жертву и правду на земле»[190]. В библейском тексте под этим страшным рогом подразумевается царь Антиох, осквернивший храм и учредивший по городам капища и жертву[191]. Аналогичным образом поступает и Гришка Отрепьев. Уподобляя Лжедмитрия I козлу, Тимофеев в некотором смысле сближает образы Отрепьева и царя Антиоха и, предваряя известный ему ход исторических событий, художественно предсказывает гибель самозванца.

---

[183] *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 92.
[184] *Белова О.В.* Славянский бестиарий... С. 113.
[185] *Шейнина Е.Я.* Энциклопедия символов. М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2001. С. 84.
[186] *Керлот Х.Э.* Словарь символов. М.: REFL-book, 1994. С. 472.
[187] *Шейнина Е.Я.* Энциклопедия символов. С. 106.
[188] *Керлот Х.Э.* Словарь символов. С. 472.
[189] *Шейнина Е.Я.* Энциклопедия символов. С. 88.
[190] *Евсеев И.Е.* Заметки по древнеславянскому переводу Св. Писания. V. Толкования на книгу пророка Даниила в древнеславянской и старинной русской литературе // Древности. Труды славянской комиссии Императорского Московского археологического общества / Изд. под ред. М.И. Соколова. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1902. Т. 3. С. 19.
[191] Там же.

И последнее. Василий Шуйский трижды во «Временнике» сравнивается с птицей, запертой в клетку: «от них же новоцарюющему во граде, яко пернатей в клетце, <…> затворене всеродно» [Временник, с. 114]; «самодержавнаго нашего срамодействена Василия всеродно с сущими яже о нем во граде, яко в клетце парящую, ужасив, затвориша» [Временник, с. 121]; «в нем же (во граде. — *О.Т.)* всеродно своим обстоянием они того затвориша и отъемше и, яко пернатую в клетце» [Временник, с. 153]. Благодаря повторам сравнений с птицей, формулы «во граде всеродно затвориша» в тексте выявляется важный в контексте всего произведения мотив бессилия власти самозванцев, аналогичный мотиву недолговечности, непрочности, наблюдаемому в главах, посвященных Борису Годунову и Лжедмитрию I.

Итак, ведущим символом при изображении самозванцев во «Временнике» является символ льва, который имеет богатую палитру негативных значений, сопоставимых по принципу контраста с семантикой символа инорога: *царь/рабоцарь, лжецарь; сакральное имя/извет имени; законное наследование престола/ «самохотное» «наскочение»; благонравие/злоба, кроволюбие; храбрость воинов-защитников/лжехрабрость; благочестие/извет веры, богоотступничество, связь с нечистой силой; собиратели/расточители*. Дополнительные символы самозванцев в памятнике (символы козла, ехидны, комара, скорпиона, орла и др.) углубляют отрицательную семантику символа льва и позволяют наиболее полно выявить авторское отношение к проблеме власти в эпоху Смутного времени.

4. Гендерный подход как новый принцип изображения героев во «Временнике» Ивана Тимофеева[192]

В исследовательской литературе, посвященной «Временнику» Ивана Тимофеева, неоднократно отмечалось, что в нем, как ни в одном другом произведении об эпохе Смутного времени, отражен «наиболее полно внутренний мир человеческой личности во время исторического кризиса»[193], а основой кумулятивной композиции становится цепочка «психологизированных портретов исторических деятелей эпохи Смуты»[194], начиная с Ивана Грозного и заканчивая Михаилом Романовым. В основе их изображения, как было показано выше, лежит принцип контраста, выстраиваемый как на симметрии главных образов, так и на симметрии отдельных черт, по которым сопоставляются и противопоставляются истинные и ложные правители.

---

[192] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Женские образы во «Временнике» Ивана Тимофеева // Вестник славянских культур. 2011. № 4 (XXII). С. 87–94.

[193] *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени. С. 179.

[194] *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). С. 79.

На фоне этой основной линии раскрытия событий эпохи Смуты (сквозь призму особенностей личностей правителей, их деяний, индивидуальных судеб) женские образы представлены сравнительно скромно, и, как следствие, их роль в художественной структуре памятника практически не привлекала внимание исследователей. Исключение, пожалуй, составляют две работы — О.А. Державиной «Дьяк Иван Тимофеев и его “Временник”»[195] и Л. Боевой «Древнерусские повести (жанры XVII века)»[196], — в которых содержатся лаконичные упоминания о значении и особенностях изображения женских образов в памятнике. Между тем женские образы, пусть и намеченные зачастую пунктирно, предстают в сложных взаимосвязях с мужскими.

Во «Временнике» реализуется принцип гендерной дополнительности, поддерживающий ведущий прием контрастного изображения истинных и ложных царей. Проводя четкое разграничение между истинными царями и самозванцами, Тимофеев в соответствии с этим принципом выстраивает и характеристики цариц — их жен. При этом краткие, но выразительные, по словам О.А. Державиной[197], характеристики цариц, в силу издавна сложившихся в древнерусской литературе представлений о добрых и злых женах, рисуются графически, в черно-белой гамме, они статичны, неэмоциональны, можно сказать, однохарактерны, предельны в своей благостной положительности и порочной отрицательности. Но во всех случаях упоминания в тексте они всегда тесно связаны с именами царей, и на протяжении всего повествования прослеживается одна и та же взаимосвязь: истинным царям сопутствует образ доброй жены, самозванцам — образ злой жены. Причем, как и в случае с самими венчаными царями (законно или незаконно воссевшими на русский престол), царицы противопоставляются по нескольким критериям, которые и формируют набор положительных и отрицательных качеств, рождающих представление о добрых и злых женах правителей.

Одним из важнейших параметров, по которым противополагаются образы цариц эпохи Смуты, является их происхождение и имя. Несомненным достоинством в глазах дьяка И. Тимофеева становится национальная принадлежность: не случайно он открывает краткую главу, посвященную Анастасии Романовне, супруге Ивана Грозного, следующими словами: «…не от стран призва… но своея его земли дому изобрел, от синклитска роду» [Временник, с. 18]. Подчеркивает: «Росийска жребия мирови царицу» [Временник, с. 18]. Аналогичным образом определяет Тимофеев и статус сестры Бориса Годунова, жены Федора Ивановича: «всеа же Росия госпожи» [Временник, с. 62]. Рассказ об Анастасии Романовне во всех случаях упоминания ее имени в тексте ведется исключительно с

[195] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 389–390.
[196] *Боева Л.* Древнерусские повести. С. 81.
[197] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 389.

уважительной интонацией, автор либо почтительно упоминает ее имя-отчество, либо называет «женой», «матерью» [Временник, с. 20–21]; «супругой», «сестрой» именует Тимофеев Ирину Годунова. Эти прямые родственные именования в контексте «сознательной тайнописи дьяка Ивана» (термин О.А. Державиной), склонного к использованию парафразов, иносказаний, метафорических замен, воспринимается как средство возвышения героинь вследствие прозрачности использованных лексем, создающих особую, благостную атмосферу вокруг имен этих русских цариц. Иначе Тимофеев строит рассказ о Марине Мнишек. Ни разу на протяжении всего повествования он не называет ее по имени, но при помощи парафразы подчеркивает ее полное соответствие Гришке Отрепьеву: последний выступает в роли «сквернителя» [Временник, с. 86], и супруга его — «сквернавица» [Временник, с. 86], она иностранка, не избранная от «своея <…> земли дому», а привезенная по обещанию: «Вскоре обещанная оного сквернителя сквернавица и за грехи наша обладателя пославшимся по ню в царский град приводится некоим от синклит стаинником… с отцем <…> в царский град приведеся…» [Временник, с. 86–87].

Характеризуя образы цариц, Тимофеев прибегает внешне к одному и тому же мотиву украшения, но наполняет его разным содержанием в зависимости от того, о какой — русской царице или иностранке — идет речь. Резко контрастна тихому гармоничному сочетанию душевных добродетелей и красоты телесной в облике русских цариц кричащая внешняя красота, а точнее, украшения Марины Мнишек. Ср.: об Анастасии Романовне — «…душевными добродетельми телеснаго благородия пребольшу же, яко ряснами некако украшену всю…» [Временник, с. 18]; М. Мнишек — «Богопротивно, обаче всеукрашене бо та в царских лепотах… огнеподобно же ереси яростию <…> дыша…» [Временник, с. 87].

Столь же резко противоположны и природно-сопоставительные образы, применяемые автором для характеристики внутренних качеств героинь. Если супруги законных царей уподоблялись «горлицам», «голубицам» (например, о супруге Федора Ивановича: «Супруга же его <…> яко твердо заклепанная голубица, горлицы подобяся разлучением подруга…» [Временник, с. 27]), «добрым маслинам» (об Анастасии Романовне: «яко маслина доброплодна» [Временник, с. 18]), то Марина Мнишек — это и «человекообразная аспида», и «ехидна» [Временник, с. 87].

Одна из ведущих бинарных оппозиций в изображении истинных и ложных царей во «Временнике», — мотивы благочестия/богоотступничества, аналогичные мотивы становятся доминантными в создании образов «добрых» и «злых» цариц. Так, Анастасия Романовна сравнивается с Анной, матерью библейского пророка Самуила, которая выпросила себе сына молитвой. В трогательных выражениях описывает Тимофеев горе царствующих родителей в связи с преждевременной смертью царевича Дмитрия (старшего

брата Ивана Ивановича), их совместную покаянную молитву в лавре преподобного чудотворца Никиты, единение в благочестивом горении и дарование второго сына — Ивана Ивановича: «…оного, благодати тезоименного, <…> родителем молитва дарова <…> И егда града Переяславля дошедшу, в лавре преподобнаго чюдотворца Никиты, у целебоноснаго гроба его, вкупосупружное моление прилежно совершив, святому по бозе чада своего лишение и безгодную всяко неже царску смерть богосмотрительнаго прилучения, з горькими рыданьми своего вопля плачь, яко к живу, возвышенными гласы бедне возвестиша вкупе, и своих им грех безсрамие обличение, и неприкладную таковую печаль по бозе нам возложиша всю, могущаго печаль их скоро преложити на радость» [Временник, с. 20–21]. В возвышенно-благочестивых тонах и образах рисует Тимофеев и поведение царицы Ирины, супруги «благочестивого»[198], «освятованного»[199] царя Федора Ивановича, прославившегося своим иноческим поведением и молитвенными, духовными подвигами: «Супруга же его, великаго, по нем умилене, <…> плача и рыдания многа, слышания достойно, от царских изшед чертог во общее сопребывание, ангельскаго великаго сподоблься образа» [Временник, с. 27–28].

Лжедмитрий I уподоблен в памятнике сатане, соответственно, Марина Мнишек сопоставляется с женами, о которых сказано в Откровении Иоанна Богослова, что они «огнеподобно… дыша… благочестиву хотя потопити изо уст водою» [Временник, с. 87]. Но Марина Мнишек не водою — кровью затопила всю Россию: «Но убо ехидна сия аще и не водою, яко же та, но Росия вся, мир наш кровию от нея потоплен бысть» [Временник, с. 87].

Таким образом, традиционный топос противопоставления доброй и злой жены с соответствующим набором стереотипных качеств (работящая – ленивая, праздная; богобоязненная – «сомнительно религиозная и даже стихийно атеистичная»; покорная, смиренная, тихая – непокорная, властная; красивая внутреннею красотой, «светом ума и тихости» – «красавица, знающая себе цену, да к тому же еще и “мажущася”, “красящася”»[200]) существенно переосмысляется на страницах «Временника». Образы цариц, противополагаемых по нескольким критериям (русское и иноземное происхождение, нравственные добродетели и нечестивые пороки, смягчающее воздействие и распаление злобы в царях), самоценны не сами по себе, а как дополнительное средство характеристики истинных и ложных царей. Именно этим объясняется отчасти лаконизм характеристик жен истинных царей и самозванцев, показанных на страницах «Временника», по выражению Н.Л. Пушкаревой, «вне какой-либо “психологии возраста”, в

[198] Временник Ивана Тимофеева. С. 24, 25, 26, 28, 29 и т. д.
[199] Там же. С. 26, 27, 151.
[200] Цит. по: *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX). М.: Ладомир, 1997 // URL: https://www.booksite.ru/fulltext/life/ofw/oman/ (дата обращения: 15.12.2010).

каком-то идеальном, вневременном состоянии», как «образно-символическая конструкция определенных идей»[201], доминирующими среди которых становятся национальная принадлежность и соответствие их по нравственным качествам законным и самовластным правителям. В то же время характеристики цариц в памятнике традиционно статичны и прямолинейны, лишены динамики, заданы изначально и символизированы в привычной для древнерусского читателя дихотомии фольклорно-библейских образов.

Помимо принципа гендерной дополнительности, во «Временнике» находит выражение и принцип гендерной зеркальности, при котором женские образы оказываются противоположны соответствующим им в семейно-брачных отношениях мужским, на что впервые обратила внимание О.А. Державина: «Светлый образ Анастасии Романовны противопоставлен мрачному характеру ее мужа — царя Ивана Грозного. Близка ей Ирина Годунова, жена Федора Ивановича, ушедшая в монастырь после его смерти. Она противопоставлена не Федору, а своему брату Борису: он — неблагодарный злодей, убийца кроткого царя — “святого”; она — преданная жена, верная памяти мужа и после его смерти»[202].

В то же время контрастное сопоставление Ирины и Бориса Годуновых выполнено в акварельных, едва намеченных мотивах. Рассказывая о добровольном принятии Ириной монашества в Новодевичьем монастыре, Тимофеев пишет, что она «умилене <…> от царских изшед чертог во общее сопребывание, ангельскаго великаго сподоблься образа» [Временник, с. 27–28], по своей воле, словно исполняя завет царственного супруга, шесть лет «житие в посничестве препроводив» [Временник, с. 28]. Искренности, чистоте, духовно-нравственной высоте Ирины, чьи даже рыдания по муже «слышания достойны» [Временник, с. 28], Тимофеев противополагает «злоковарство», «лукавство» ее брата, Бориса Годунова, который «в милостивне образе дел свою злобу ото всех крыя, злолютством в прикровении злобы своея всех благороднейших себе во царство превозшед» [Временник, с. 28]. И если для Ирины монашеское служение — это путь к Богу, путь к соединению в будущей жизни с умершим благочестивым супругом и дочерью, которую еще «в пеленах, уневестив Христови», царь Федор «в вечное царство преди себе послав уготовати ему на небесах жилище» [Временник, с. 27], то для Бориса Годунова постриг — это способ избавления от неугодных. Например, Марию Нагую после гибели царевича Дмитрия «детоубийца» «мнишеским образом ненавистно облече» [Временник, с. 43]. Наконец, Ирина, выражает надежду Тимофеев, в награду за подвижническую жизнь после смерти соединилась с Богом венчанным супругом и умершей в младенчестве дочерью. Благочестивое семейство, по мнению дьяка, оказывается удостоено пребывания в раю: «…в

[201] Там же.
[202] *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник». С. 389.

независнем царствии купно веселятся вечно вси…» [Временник, с. 28]. В отличие от сестры, Борис Годунов не то что рая не будет удостоен, но даже его имя не имеет истолкования: «…писания толку не имать, яве, яко ни в животных книгах, богоненавистных си дел ради, не вписася от бога» [Временник, с. 28].

Немаловажным представляется в художественном пространстве памятника и изображение душевных переживаний женщин. Конечно, это еще не полнокровное раскрытие переживаний в связи с тем или иным событием, но интересная попытка обрисовать, пусть и в общих чертах, природу испытываемых эмоций. Непосредственное описание эмоций не является главной художественной целью автора «Временника», они вписываются в повествовательную канву рассказа о конкретных событиях. Чувства получают довольно четкую атрибуцию, которая выполняет двойственную функцию в тексте: с одной стороны, она характеризует силу переживаний героини, а с другой — служит своеобразным обвинением в адрес организатора вызвавших их событий. Таковы, например, психологические зарисовки Марии Нагой.

Повествуя об исполнении злодейского замысла Бориса Годунова погубить царевича Дмитрия, Тимофеев довольно резко прерывает сравнительно динамичный рассказ о подготовке убийства, насыщенный традиционными библейскими образами, метафорическими выражениями, неожиданной статичной картиной, где в центре внимания оказываются два ярких образа — царевича и его матери: «…сугубы возрастам четверица осмодневнаго ради по матери осмолетен ножем послушатели на зло заклан бысть предо очима своя ему матере» [Временник, с. 29]. В этом предельно лаконичном рассказе об убийстве поражает отсутствие привычных для повествовательной манеры Тимофеева эмоциональных прямых или переносных определений, самое отсутствие которых и делает специфику сцены «говорящей»: онемевшая, оцепеневшая фигура матери, видящей убийство сына. И далее в тексте эта сдержанная внешне статика взрывается глубоко эмоциональным риторическим вопросом: «Како тогда ея утроба не разседеся о бывшем?» [Временник, с. 29]. Образ «распавшейся утробы», этично-корректно высказанный как предположение, приоткрывает особенности метода дьяка Ивана Тимофеева: невозможность выразить словом весь сложный трагический комплекс эмоций, всю силу переживаний матери. И тем не менее в следующем же предложении автор атрибутирует ее состояние как «болезнь»: «…едино рожшей того о сем болезнь бе тогда сведома…» [Временник, с. 29].

Чуть позже Тимофеев, вернувшийся к рассказу о деяниях Бориса Годунова, вновь прервет свое повествование обращением к образу Марии Нагой и теперь уже открыто выразит свою мысль: «…преумножением скорби и зельством горести тогда той яко упившися, едва душа у державней безгласна и вне себе бывши, яко бездушна зряшеся» [Временник, с. 33]. Еще более конкретно Тимофеев высказывается о состоянии и

мироощущении матери убиенного царевича в главе «О пострижении Борисом царицы Марии…», отождествляя насильственный постриг и ссылку со «вторым убийством по сыне» [Временник, с. 44].

Психологическое состояние героини раскрывается путем скрытой драматургии немой сцены: статичный внешне образ разорван ужасом и болью изнутри, а целостная телесная оболочка не означает живой жизни внутри — убит не только царевич, убита и его мать. Не случайно Тимофеев трижды в памятнике вводит тему смерти через образы «распавшейся утробы», «безгласной души», «бездушия» и, наконец, психологического «убийства». Такая, с одной стороны, мощь в описании испытываемых героиней чувств, а с другой стороны, лаконичность находят свое объяснение в тексте: по мнению автора, сила и глубина переживаний, которые испытывают державные, несравнима с теми, что могут ощущать подчиненные, «яко же капля дождя к велицей пучине моря» [Временник, с. 33].

Более детально и в то же время более традиционно Тимофеев описывает чувства Марии Нагой в связи с насильственным постригом. И в этом фрагменте доминирующим мотивом в характеристике чувств героини становится мотив печали и скорби, охватывающий и внешнее положение, в котором оказалась «бывшая <…> мирообладателю свенешница», и внутреннее ее состояние. Но подводит автор к этому мотиву постепенно, начиная с ярких деталей, каждая из которых формирует мотив пустоты и скудости, который и объясняет видимые причины ее «двойной печали»: «…в лавру некую от мира сего удаляемых стран ту, кроме воли ея, всели в месте пусте, непроходне же и безводне, отстоямо свене всякого утешения телеснаго, и в скудости телесных потреб тамо затворити ю повеле <…> нужных улишив <…> даже до пища сосуд же и одежд и протчих <…> потребами оскудил…» [Временник, с. 44–45]. Но эта скудость быта, удаленность от мира, отсутствие даже необходимого для жизни не более чем «приложение досадом» к глубокой скорби убитой горем матери. Даже если бы после убийства сына, рассуждает Тимофеев, Борис Годунов «премнога земного покоя ей сотворил», даровал все блага земного царства, этот «тленный земный покой» не утолил бы ее печали и скорби, ибо он не просто «сыноубиением оскорбил» ее, а совершил «второе убийство по сыне» [Временник, с. 45]. По сути, Тимофеев ничего нового к характеристике психологического состояния героини и не добавляет в этом фрагменте, лишь еще раз описывает силу горестных чувств, испытываемых героиней, подчеркивая, что виновником ее страданий, является «самозваный правитель» Борис Годунов. Это выводит нас на еще одну важную микротему в изображении женских образов во «Временнике».

При внимательном прочтении памятника поражает множество показанных сравнительно подробно или намеченных пунктирно трагических судеб женщин. Как правило, причиной сломленной женской судьбы, согласно тексту «Временника», является

нрав правителя. Так, царевич Иван Иванович «троебрачен же быв отца волею», поскольку «за гнев еже нань они свекром своим постризаеми суть» [Временник, с. 19]. Дочь убитого князя Владимира Андреевича Старицкого, Мария, по приказу Ивана Грозного, была выдана замуж за датского принца Магнуса (в 1573 г.), этот брак оценивается Тимофеевым как худой, датский принц именуется «Еллином», который «истинною же <…> нечестива, худа, яко не бы изволил за таковаго вдати своея крове» [Временник, с. 24]. Один и тот же мотив «оскорбления скорбью» использует Тимофеев для обозначения роли Бориса Годунова в судьбе и Марии Нагой, и своей сестры Ирины. Мать царевича Дмитрия он «сыноубиением оскорбил» и «потребами оскудил» [Временник, с. 44]. Не пожалел царь Борис и «соутробныя ему сестры <…> сицевою како зелною скорбию ту оскорбити» [Временник, с. 62], разлучив с супругом, умершим неестественной смертью[203]. «Скорбь и болезнь вечну творяше» Борис Годунов многим опальным боярам, дочерей которых он «нуждею от зависти» велел «постризати, яко несозрелыя класы срезовати», ибо не было на то их согласия. То же, что сделал он чужим детям, и «о сестре сотвори» [Временник, с. 62].

Убийства, насильственные постриги, совершаемые по повелению правителей, не остаются безнаказанными. Расплачиваются за их грехи жены и дети, повторяя трагический путь жертв своих мужей и отцов, что подчеркивается в тексте не только сходством судеб, повторением мотива насилия, но и прямыми авторскими комментариями, например: «По прехождению же времен и дщери его (Бориса Годунова. — *О.Т.*) не от коего тожде бысть невольное пременение риз…» [Временник, с. 62]. Таков финал жизни жены и сына Бориса Годунова, которых, по повелению Лжедмитрия I, «нужно бо удавиша» [Временник, с. 62], «безсловесне некако и нуждно обоих убиством осуди, увы, загнетанием смерти преда» [Временник, с. 85]. Порой участь дочерей правителей оказывается более жестокой и страшной, чем та, которая была их отцами уготовлена чужим дочерям. Так, повествуя о Ксении Годуновой, Тимофеев повторяет ту же речевую формулу трагического пути, что и в случае с другими аналогичными безымянными женскими судьбами: «…без тоя воля, яко несозрела класа, пожат, — во мнишеская облек» [Временник, с. 85], осторожно вводя дополнительный трагический мотив надругательства над «твердозаклепанной» «юницей»: «…и со студом всяко» [Временник, с. 62], «И чюдо, аще не бе ото отступника той тайноругательно что!» [Временник, с. 85], «И оттуда на лета к болшему безчестию продолжися живот ея… И до толика безславия жизнь ея протяжеся, яко и до сего, — яко и иноплеменных язык, самых врагов отца ея, ту уничижене руки осязаша» [Временник, с. 86]. Подводя итог рассказу о судьбе Ксении Годуновой, Тимофеев вновь, как и при первом

[203] Тимофеев, ссылаясь на слухи, неоднократно пишет о причастности Бориса Годунова не только к смерти царевича Дмитрия, но и к смерти Ивана IV, его сына Федора Ивановича, которым он, как говорили «нецыи», подсыпал яд.

упоминании о ней, подчеркнет, что таковое бесчестие приняла она за грехи родителя: «Яве, яко за грехи родивших ю и сродных всех едина та за всех безчестие подъя» [Временник, с. 86]. Дьяк встает на защиту чести дочери царя Бориса, настаивая на ее невинности, на том, что все произошло не по ее воле: «И да никто же иже от зде глагол сопротивно некое тоя чистоте вознепщует, еже бы по изволению ея. Не буди то, — разве насилия многа от попущения, предисогрешившим ея родителем, той и неповинне сущи» [Временник, с. 86].

Таким образом, судьбы жен и дочерей «злых» правителей словно отражают слова апостола Павла: все мы должны «носить бремена друг друга» (Гал. 6: 2); на уровне идей — это плата за грехи мужей и отцов, на уровне композиционных приемов — это художественная реализация принципа зеркальности и взаимозависимости, что подтверждает сходство используемых речевых формул. При этом не новые метафоры наполняются вполне конкретным жизненным материалом и приобретают трагический оттенок.

В целом, изображение женских образов во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева подчинено трем основным принципам: гендерной дополнительности, зеркальности и зависимости. Дихотомия образов супруг истинных и ложных царей восходит в своих мотивных характеристиках к топосу противопоставления доброй и злой жены, но переосмысляется в соответствии с конкретными историческими событиями, выдвигающими на первый план вопрос национальной принадлежности и веры. В памятнике предпринимается попытка проникнуть и во внутренний мир женщины через неявно выраженную драматургию сцен, сопровождаемую эмоциональными авторскими комментариями. Запечатленная во «Временнике» палитра трагических женских судеб вписывается в общую интонационную канву всего повествования, обусловленную трагическим восприятием событий Смутного времени в России начала XVII в., и служит своеобразным средством оценки не только личности того или иного правителя, но эпохи в целом.

5. Орнаментальные и реалистические приемы создания образа в «Повести о победах Московского государства»[204]

В программной статье «О художественной специфике древнерусской литературы» И.П. Еремин отмечал, что «в древнерусской литературе можно установить два основных

[204] В основе раздела — первые публикации материала: *Туфанова О.А.* 1) Кузьма Минин в «Повести о победах Московского государства» (к вопросу о способах изображения героя) // Вестник славянских культур. 2019. Т. 52. С. 132–142; 2) Орнаментальные стилистические приемы создания художественного образа в «Повести известна о победах Московского государства» // Славянский мир в третьем тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов. Сб. ст. М., 2011. С. 408–416; 3) Князь М.В. Скопин-Шуйский — «богоданный» воин земли Русской // Макариевские чтения. «Воинство земное – воинство небесное». Материалы XVIII Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. Можайск, 2011. Вып. XVIII. С. 189–200.

способа изображения жизни. Первый ставил своей задачей с наибольшей достоверностью воспроизвести единичные факты действительности <…>; второй — отражал не действительность, а порожденные ею идеалы»[205]. Против схематизации «специфики» древнерусской литературы выступила в свое время В.П. Адрианова-Перетц[206], указав на многочисленные отступления в памятниках древнерусской литературы от предложенных методов. В частности, исследовательница писала: «Когда жизнь ставила перед древнерусским писателем особо серьезную задачу — общественно-политического или морального характера, он стремился наиболее убедительными средствами выражения привести читателя к своей точке зрения на описываемое событие и его участников, приблизить к жизни идеально преображенный образ. В таких случаях писатель, рисуя жизнь “какая он есть”, стремился не просто точно (“с протокольной точностью”), но и художественно правдиво воспроизвести ход событий, раскрыть хотя бы основное в психологии их участников, сделать изображение воздействующим и на сознание и на эмоции читателя, способствующим усвоению и авторской оценки. С той же целью — самым способом изображения подчинить сознание читателя своему идейному замыслу — писатель иногда индивидуализировал характеристику героя, построенную методом идеального преображения жизни, вводил в нее реальные исторические черты, приближал к конкретной исторической действительности»[207]. В начале XVII в. был «открыт» человеческий характер[208]. Но это открытие не означало отказа книжников от традиционных приемов изображения исторических лиц. В поздних текстах, написанных в период 1613–1630/1632 гг., авторы, как правило, сочетают различные способы изображения действительности и героев.

Один из таких поздних памятников — «Повесть о победах Московского государства». Созданная «в конце 1620-х или на рубеже 1620-х и 1630-х гг.»[209], она дошла до нас в единственном списке середины XVIII в. (ГПБ, Собрание М.П. Погодина, № 1501)[210] и охватывает период 1606–1625 гг.

Одним из ярчайших способов организации художественного пространства в памятнике является использование различных видов повторов, синтезирующих определенное семантическое поле вокруг одного персонажа. Так, образ талантливого русского воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, оставшегося в памяти

---

[205] *Еремин И.П.* О художественной специфике древнерусской литературы // Русская литература. 1958. № 1. С. 81.

[206] *Адрианова-Перетц В.П.* Об основах художественного метода древнерусской литературы // Русская литература. 1958. № 4. С. 61–70.

[207] *Адрианова-Перетц В.П.* О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.). С. 9.

[208] Там же. С. 30; *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 6–26.

[209] *Енин Г.П.* Повесть о победах Московского государства. С. 165.

[210] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 96.

народной, по выражению профессора В.С. Иконникова, «незапятнанным героем в кратком эпизоде целой драмы»[211], создается в «Повести о победах…» при помощи орнаментальных приемов.

Преждевременная смерть воеводы потрясла очевидцев и участников событий Смуты, как соотечественников, так и иностранцев, восхищавшихся его блистательными достоинствами. Гетман Жолкевский свидетельствовал: «Сей Шуйскій-Скопинъ <…> былъ наделенъ отличными дарованіями души и тѣла, великимъ разумомъ не по лѣтамъ, не имѣлъ недостатка въ мужественномъ духѣ, и былъ прекрасной наружности…»[212]. Элиас Геркман утверждал, что Скопин-Шуйский «прекрасно» исполнял свои обязанности, «как следовало храброму человеку»[213] и делал «превосходные распоряжения в делах военных»[214], что «он, благодаря своему благоразумному и осторожному управлению, глубоко чтим и уважаем всеми (как иностранцами, так и русскими)»[215]. И даже Конрад Буссов, в целом не склонный восхвалять русских воевод, писал, что «немцы и другие народности, а также и множества самих московитов уважали его за мудрость и храбрость больше, чем Шуйского»[216].

Для соотечественников же Скопин-Шуйский был «богоданным» воином земли Русской. Многие считали его более достойным царского престола, чем его дядю Василия Шуйского. Такова, например, точка зрения дьяка Ивана Тимофеева, повторившего при характеристике воеводы в своем «Временнике» схему описания «истинных» царей — Ивана Грозного и его сыновей Ивана Ивановича и Федора Ивановича.

Отсюда берет свои истоки и наиболее яркий принцип изображения героя в «Повести о победах…» — прием лейтмотивной амплификации положительных эпитетов, восходящий к агиографической орнаментальной традиции «плетения словес», создающий панегирический портрет героя эпохи Смуты.

В повести встречаются три типа эпитетов:

1) сложные и составные эпитеты: «благочестив, многосмыслен, и доброумен» [Повесть о победах, с. 6]; «многоумна, и доброразсудна» [Повесть о победах, с. 9], «доброразумным смыслом» [Повесть о победах, с. 13] и др.;

2) эпитеты с усиливающей положительный оттенок приставкой *пре-*: «премудра <…> премудрости» [Повесть о победах, с. 9]; «боярская премудрость» [Повесть о победах, с. 12], «предивную <…> милость», «пресветлыя храбрости» [Повесть о победах, с. 15] и т.д.;

---

[211] *Иконников В.С.* Князь М.В. Скопин-Шуйский. Критико-биографический очерк. С. 133.

[212] Записки гетмана Жолкевского о Московской войне, изданныя Павлом Александровичем Мухановым. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. С. 25.

[213] *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском... С. 247.

[214] Там же. С. 248.

[215] Там же. С. 247.

[216] *Буссов К.* Московская хроника. С. 124.

3) простые, «прозрачные» по своей семантике эпитеты: «бодра, и храбра» [Повесть о победах, с. 9]; «силу и храбрость» [Повесть о победах, с. 12] и т. п.

Как правило, в каждом эпитете содержится характеристика какого-либо особого качества народного героя. Они выстраиваются в определенной смысловой последовательности: на первое место ставятся группы эпитетов с лексемой «ум», на втором месте — с лексемой «храбрость», на третьем — с лексемой «доброжелательность, приветливость, обходительность», на четвертом — с лексемой «милосердие».

Частый элемент в цепочке характерологических эпитетов — упоминание о даровании Богом Скопину-Шуйскому разных качеств. Чаще всего это либо мудрость к ратному делу («…многою мудростию от бога одарен к ратному делу…» [Повесть о победах, с. 6]), либо красота («…и многою красотою от господа одарена…» [Повесть о победах, с. 9]), либо сочетание мудрости и воинского таланта («…данною ему от бога мудростию и грозою…» [Повесть о победах, с. 14]).

Приведем один из многочисленных примеров амплификации положительных эпитетов: «…воевода князь Михайло Васильевич благочестив, и многосмыслен, и доброумен, и разсуден, и многою мудростию от бога одарен к ратному делу, стройством и храбростию и красотою, приветом и милостию ко всем сияя, яко милосердный отец и чадолюбивый» [Повесть о победах, с. 6].

Количественно преобладают эпитеты, восхваляющие ум и мудрость князя. Однако тема ума звучит не только в общих характеристиках Скопина-Шуйского, построенных по принципу эмоциональной и семантической градации постепенного усиления экспрессии, но и в однословных характеристиках его речей: «многосмысленные словеса» [Повесть о победах, с. 9], «от уст своих премудрыя своя, и добросмысленныя, и жалования словеса» [Повесть о победах, с. 11], «премудрых его словес» [Повесть о победах, с. 11], «благоразумъными словесы» [Повесть о победах, с. 12], — и в пространных характеристиках его полководческого таланта: «…вся полки своя премудро и стройно учредив <…> и своим боярским премудрым смыслом утверждаше их…» [Повесть о победах, с. 12].

Порой тема ума тесно переплетается с темой храбрости. Стилистически это выглядит или как использование слов «ум» и «храбрость» в качестве однородных членов предложения («боярским промыслом и храбростию» [Повесть о победах, с. 11], «боярскую премудрость и многую его силу и храбрость» [Повесть о победах, с. 12], «премудраго и храбраго» [Повесть о победах, с. 12], «предивной его мудрости и храбрости» [Повесть о победах, с. 15], «храбрость и премудрость» [Повесть о победах, с. 16], или одно из слов выступает в роли эпитета по отношению к другому («премудрые храбрости» [Повесть о победах, с. 16], «премудрыя храбрости» [Повесть о победах, с. 18]). Такое соединение

разноплановых качеств, отличающееся постоянством в тексте, говорит о том, что автору было трудно выделить одну доминантную черту.

Реже среди эпитетов встречаются отглагольные существительные, связанные с государственной оценкой дел Скопина-Шуйского и сферой человеческих чувств граждан. Они появляются в описаниях пребывания Скопина-Шуйского в Москве. Например, описывая встречу москвичами воеводы, автор завершает уже привычную цепочку положительных эпитетов сначала существительными, определяющими государственную значимость побед воеводы: «…Московскому государству оборонителя, и государевым неприятелем устрашителя, и ко врагам огрозителя», а затем приводит существительные, характеризующие особенности восприятия героя простыми людьми: «…от многая скорби и печали утешения ждуще, и от многия своя скудости богатества чающе, и от глада насыщения, и от разорителей Московскому государству избавления» [Повесть о победах, с. 14].

Таким образом, благодаря умелому использованию приема амплификации автору повести удается сконцентрированно представить основные добродетели князя.

Впервые автор «Повести о победах…» прибегает к этому приему, вводя в повествование имя воеводы. Нагнетание положительных эпитетов выполняет в исходной характеристике роль визитной карточки, однозначно представляющей героя и диктующей дальнейшее его восприятие читателем.

В дальнейшем градационные цепочки используются с целью подчеркнуть, что Скопин-Шуйский — Христов воин. Первый эпитет в повести, характеризующий героя, — «благочестив» [Повесть о победах, с. 6]. Он сам уповает на помощь Бога и советует также поступать и своим ратным людям. Он сам «много молящися умиленною душею и сокрушенным сердцем» [Повесть о победах, с. 14] Господу Богу, Богоматери и чудотворцу Сергию о даровании победы над врагами земли Русской. И так же воевода советует поступить и смолянам, чей город осадили иноземцы: «…повеле <…> ждати от бога милости и одарения на государевы неприятели» [Повесть о победах, с. 13]. В конце рассказа о Скопине-Шуйском усиливается религиозная характеристика. Автор сосредоточивает внимание на истинно христианском поведении и отношении воеводы к себе и людям: «Он же, милосердый и незлобивый и от бога посланны воевода, не высокоумием возношаяся, ни гордостию гордяся, но паче себе уничижаше и многою честию всех почиташе, и ко всем приятелей, и приветлив, и сладкоглаголив бываше, и добросмысленным своим разумоме всех утешаше, любовию и благочестием…» [Повесть о победах, с. 17].

Одним из важных и многократно упомянутых в повести качеств князя является милость, милосердие. Значимость его в характеристике воеводы подчеркивается разными

художественными средствами. Как самостоятельная стилистическая единица эпитет «милостив» появляется в конце рассказа о Скопине-Шуйском. Повествуя о зависти бояр к чести и славе воеводы, автор пишет: «хотяще поглотити <…> ко всем милостива доброразсудителя» [Повесть о победах, с. 17]. И далее — «Он же, милосердый…» [Повесть о победах, с. 17]. Наконец, последний эпитет в рассказе о дне смерти воеводы («милостивый государев боярин» [Повесть о победах, с. 17]) по принципу антитезы подчеркивает немилосердность, жестокость бояр, задумавших погубить любимого народом полководца. Порой эпитет «милостив» усиливается дополнительным положительным эпитетом с приставкой *пре-* и местоимением «ко всем», носящим характер всеохватности: «предивная его милость ко всем» [Повесть о победах, с. 15]. Иногда он обогащается дополнительным оттенком смысла путем введения сравнения героя с чадолюбивым отцом, при этом сам эпитет «милостив» может вовсе отсутствовать: «…милостию ко всем сияя, яко милосердый отец и чадолюбивый» [Повесть о победах, с. 6], «Благоумильными словесы утешати их, яко чадолюбивый отец <…> и на безпечалие их превращаше» [Повесть о победах, с. 13].

Довольно часто автор повести, описывая поступки Скопина-Шуйского, замечает, что князь «силою божию вооруживша» [Повесть о победах, с. 12]. В особо тягостные минуты боя, когда поляки и литовцы начинали одолевать русское войско, Скопин-Шуйский обращается за поддержкой к Богу. Так, например, было под Тверью: «Князь Михайло же Василевич от бога силою свыше укрепися и многою храбростию вооружися…» [Повесть о победах, с. 11].

В повести намеренно создается ощущение, что именно Господь руководит всеми действиями Скопина-Шуйского: «…мудрым промыслом боярина князя Михаила Васильевича многи победы бог дарова…» [Повесть о победах, с. 13]. В то же время воевода показан человеком, способным очень чутко улавливать Божье наставление. Так, автор замечает: «…князь Михайло Васильевич, видевше велию помощь божию и одоление на государевы неприятели…» [Повесть о победах, с. 12]. Многократно в повести звучат значимые повторы: «от бога одарен» [Повесть о победах, с. 6], «от господа одарена» [Повесть о победах, с. 9], «от бога одаренный» [Повесть о победах, с. 14], «от бога дарованным» [Повесть о победах, с. 15], «от бога посланны» [Повесть о победах, с. 17]. Наконец, в рассказе о смерти: «богомудрый, и богопосланный» [Повесть о победах, с. 17].

Довольно часто прием амплификации положительных эпитетов используется для того, чтобы объяснить причины радости людей. Скопин-Шуйский предстает под пером автора как «человек-праздник», поскольку он несет всем без исключения радость и утешение. Это касается и «своих», и «чужих». Немцы, которых воевода призывал по приказу Василия Ивановича Шуйского на помощь, увидев его несомненные достоинства:

ум, премудрость, «боярской привет», «многосмысленные словеса», храбрость, — «почудишася многой его премудрости и привету» и «с радостию приидоша» к нему и «наипаче возрадовашася и з болшим радением ему послужиша» [Повесть о победах, с. 9]. Автор дважды повторяет в рядом стоящих предложениях с незначительными перестановками и добавлениями один и тот же набор положительных качеств русского воеводы и дважды пишет о радости, испытываемой иноземцами при виде Скопина-Шуйского.

Собравшиеся в Торжке русские и немецкие ратные люди «с радостию послушаша» «премудрых <…> словес» Скопина-Шуйского и вскоре «под Тверь поидоша» [Повесть о победах, с. 11]. Под Александровой слободой, когда был «бой велик и сеча зла», воевода «благоразумъными словесы полки своя утешаше» [Повесть о победах, с. 12]. Конечно, Скопин-Шуйский воздействовал на своих воинов не только силой мудрого, приносящего утешение слова. Главное средство его психологического воздействия на ратных — личный пример силы и храбрости, против которой «никия… полки» врагов не могли устоять.

Особенно эмоционально описывает автор повести чувства москвичей, приветствовавших приезд воеводы. Царь Василий Иванович Шуйский, узнав о пришествии воеводы, «многою радостию возрадовася». Народ «от мала даже и до велика <…> вси вострепеташа сердцы своими, свозрадовася радостию неизглаголанною и от многия радости не можаху удержатися от слез. И вси с радостию поидоша на всретение ему…» [Повесть о победах, с. 14], «вси с радостию возопиша <…>. Се уже печалная наша на радость преложишася <…> и безпечалныи быша <…> ина многа радостная словеса испущающе, и вси радости многи исполнишася» [Повесть о победах, с. 15].

В этом смысле прием тавтологической звукописи, построенный на нанизывании однокорневых слов, отнюдь не свидетельствует об авторском неумении описывать сильные чувства людей, на что указывает отсутствие подобных фрагментов в других местах повести. Подобные риторические излишества встречаются исключительно во фрагментах повести, отражающих восторженные встречу и приятие Скопина-Шуйского простыми людьми, которые воспринимают его как избавителя от иноземной интервенции, как человека, который печаль «преложил» в радость. И дело здесь не только в хорошо известном русским книжникам искусстве «плетения словес» при создании панегирических характеристик, но и в том, чтобы оттенить прямо противоположные чувства врагов земли Русской. Они всегда испытывают при встрече со Скопиным-Шуйским страх и ужас.

Так, под Александровой слободой польские и литовские люди, видя его премудрость и храбрость, «*страхом* и *ужасом* многим *ужасошася* и *устрашишася*, трепетни быша, и падоша…» [Повесть о победах, с. 12]. Тавтологические повторы, обычные при описании чувств врагов, усиливают впечатление величественности и

непобедимости Скопина-Шуйского. Этому же способствует и повтор одного и того же сравнения: враги «яко дым изчезающе» [Повесть о победах, с. 12]. Этот же художественный эффект имеют и повторы семантически и эмоционально близких слов в одном предложении: «… нападе на полских и литовских людей *страх* и *ужас* велик во всех их полках, *страх* и *трепет* от многия к ним грозы…» [Повесть о победах, с. 12]. Когда слава о Скопине-Шуйском распространилась «во все окрестныя государства», «бысть на всех государевых неприятелей страх и ужас велик» [Повесть о победах, с. 15]. Король Сигизмунд III, осадивший Смоленск, «*страхом* и *трепетом* одержим бяше, *ужасался* помощи и обороны граду Смоленску» [Повесть о победах, с. 15]. Потому и от града отступить хотел, что «боящися» воеводы, «страшныя грозы устрашаясь» [Повесть о победах, с. 16]. Такие же чувства испытывает и тушинский вор: «страхом многим и ужасом трепеташе» [Повесть о победах, с. 16].

Наконец, прием амплификации используется в плачах матери, жены, царя, народа, иноземцев по поводу кончины Скопина-Шуйского. Однако, как справедливо было замечено Г.П. Ениным, «ничего существенно нового» в них «не добавляется к сказанному», поскольку «идеализированная характеристика Скопина, многократно приводимая по разным поводам, вобрала в себя еще до рассказа о его кончине все детали портрета князя»[217].

С другой стороны, градационные цепочки положительных эпитетов вовсе отсутствуют в документально-сухих фрагментах, повествующих о самих военных действиях, автор упоминает только имя воеводы. В этих эпизодах появляется своя система повторов, восходящая в своей основе к летописному стилю и фразеологии воинских повестей, что вкупе с выше описанным приемом создает «сверхсмысл» в трактовке образа. Так, во всех «воинских» фрагментах упоминается одно и то же выражение «поиде», которое не только используется в прямом значении как указатель на передвижение Скопина-Шуйского с войском из одного географического пункта в другой, но и наполняется определенным смыслом, несмотря на предельный лаконизм. В целом, в повести прослеживаются два варианта семантической наполненности этого повторяющегося глагола:

1) «Поиде» — и победил. Список освобожденных городов, монастырей получается довольно внушительным;

2) «Поидоша люди ко князю» — воевода является центром притяжения разрозненных русских сил, несомненным и абсолютным лидером.

---

[217] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 110.

Этим двум повторяющимся формулам, подчеркивающим самостоятельность передвижения, противопоставлена в повести формула «посла», например: «И посла государь с Москвы боярина своего князя Михаила Васильевича Шуйскаго-Скопина в Велик Нов град…» [Повесть о победах, с. 9]. Царь «посылает» воеводу всегда туда, где всего труднее, поэтому данный повтор можно также рассматривать как своеобразное средство возвышения героя.

Все эти цепочки многократных повторов нельзя объяснить только литературной традицией создания панегирических портретов-характеристик персонажей. Автор повести сознательно таким способом выделяет «богоданность» воеводы как главное качество, отличающее его от других защитников земли Русской. Эта мысль находит подтверждение при сопоставлении приемов создания образа Скопина-Шуйского и образов других знаковых фигур периода Смутного времени, упомянутых в повести.

Так, характеристика царя Феодора Ивановича состоит всего из одного эпитета «благочестивый» [Повесть о победах, с. 35, 36]. Имя польского короля Сигизмунда III автор повести и вовсе не сопровождает эпитетами: «Корол же Жигимонт полски…» [Повесть о победах, с. 15]; «Король же полский…» [Повесть о победах, с. 21, 23, 27 и др.]; «…полски король Жигимонт…» [Повесть о победах, с. 25]. Аналогичен подход сочинителя к изображению князя Д.М. Пожарского: «…князь Димитрей Михайлович Пожарский…» [Повесть о победах, с. 31, 32 и др.].

Оценочная характеристика царя Василия Ивановича Шуйского сведена в повести до минимума. Чаще всего автор употребляет традиционную речевую этикетную формулу именования правителей государства: «…государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея России…» [Повесть о победах, с. 5, 6, 7 и др.], порой в тексте отсутствует даже эта пространная титульная формула, вместо нее используется короткое «государь». И только изредка имя царя автор сопровождает положительными эпитетами, как, например, в самом начале повести: «Той же благоверный государь царь Василей Иванович всея России, благочестив и милостив ко всем…» [Повесть о победах, с. 5]. Но принцип расположения эпитетов иной. Либо имени Шуйского предшествует один эпитет, выполняющий роль основной характеристики, а последующие два эпитета развивают заданное качество, на что указывает повтор первой части сложного прилагательного. Либо титульной формуле предшествует один эпитет: «…благоверный царь государь и велики князь Василей Иванович всея Руси…» [Повесть о победах, с. 19], «благочестивый государь» [Повесть о победах, с. 19, 22 и др.]. Во втором случае повторяется выборочно один из трех уже озвученных в повести эпитетов.

Короткая амплификация положительных эпитетов, характеризующих Василия Ивановича Шуйского, появляется уже после сообщения о смерти воеводы, однако она не

воспринимается в тексте в качестве индивидуальной положительной характеристики царя: «Видя бо государя царя Василья Ивановича благочестива и смиренна и ко всем милостива и не стерпе многих к богу добродетелей его, злоненавистный и враг, диавол, их попущающи на царство его и многими ратными раздоры и бранми междоусобными» [Повесть о победах, с. 22].

Наиболее близок в художественном плане к образу Скопина-Шуйского образ царя Михаила Федоровича Романова, который тоже создается при помощи приема амплификации положительных эпитетов. Таких случаев в тексте всего два. Первый раз прием используется в рассказе о приходе царя Михаила Федоровича в Москву: «…видев его, государя, премудра, и разумна, и милостива, и милосердна ко всем, и от царскаго коренив возсиявшаго благочестивых царей…» [Повесть о победах, с. 36]. Второй раз — в финале, где кратко сообщается о его царствовании: «…от бога дарованнаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея России, премудра и разумна, благочестива и милосердна…» [Повесть о победах, с. 41].

Очевидно, что автор повести применяет прием амплификации положительных эпитетов, создающий особый орнаментальный стиль в изображении персонажей, исключительно в тех случаях, когда очень высоко оценивает ту или иную историческую личность. В повести только воевода М.В. Скопин-Шуйский и царь Михаил Федорович Романов удостаиваются характеристики «богоданный». Именно она предопределяет и принцип изображения персонажа. Выделенность именно этих исторических фигур объясняется сугубо политической идеей автора, основанной на реальных исторических событиях. Скопин-Шуйский сумел консолидировать русское общество для борьбы с интервентами, в его лице, по мысли С.М. Соловьева, «расшатавшееся в своих основах общество русское» обрело необходимую «точку опоры»[218]. Он предстает под пером автора как «богоданный» воин земли Русской, как великий полководец, как защитник христианства перед лицом иноземной опасности, исходящей от поляков-католиков, как устроитель земли Русской в том смысле, что он сумел, по выражению Н.М. Карамзина, «восстановить целость России от запада до востока, рассеять неприятелей многочисленных и взять одною угрозою крепкие, годовые их станы…»[219]. При Михаиле Федоровиче «Его же благочестивою державою все Московское государство в мире и в тишине от бога устроено бысть» [Повесть о победах, с. 41].

В целом, анализ разных систем повторов в «Повести известна о победах Московского государства» позволяет говорить об особом типе орнаментальности, сочетающей в себе черты разных жанрово-стилистических систем в рамках одного

[218] *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. IV, т. 7–8. С. 564.
[219] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. IX–XII. С. 538.

повествования и ведущей к «сверхсмыслам» в трактовке тех или иных исторических личностей. По сути, при создании образа М.В. Скопина-Шуйского автор «Повести о победах…» использовал хорошо знакомый древнерусской литературе «метод идеального преображения жизни».

Иначе обрисован образ Кузьмы Минина, который, наряду «с идеальными качествами», «имеет явные признаки реалистического изображения»[220], отчасти восходящие к уже сложившейся к этому времени традиции изображения героев народного ополчения в исторических сочинениях первой трети XVII в., отчасти имеющие оригинальный характер.

Какие же традиционные и новаторские для цикла сочинений о Смуте приемы изображения Кузьмы Минина использовал автор «Повести о победах…»? Анализ ряда памятников, таких как «Пискаревский летописец», «Хронограф 1617 года», «Иное сказание», «Летописная книга», «Рукопись Филарета», «Бельский летописец», показал, что их авторы практически отказываются от использования оценочных эпитетов, сравнений, метафор. Главным способом создания образов становятся реалистические мотивы сбора казны, раздачи жалования, патриотизма, действенного милосердия и др.[221]

В отличие от названных выше исторических сочинений, автор «Повести о победах…» весьма активно применяет для характеристики исторических лиц оценочные эпитеты. Кузьма Минин чаще всего, как верно отмечал Г.П. Енин, «рисуется эпитетами, образованными <…> от слова “добро”»[222]. Они появляются уже при первом упоминании Кузьмы Минина: «некий муж благолюбив и добросмыслен зело, именем Козма Минин» [Повесть о победах, с. 29] — и далее, незначительно варьируясь, повторяются почти при каждом упоминании его имени: «Доброприветливный же Козма…» [Повесть о победах, с. 30], «Они же, видев его добросмысленнаго…» [Повесть о победах, с. 30–31], «Той же добролюбный муж Козма Минин…» [Повесть о победах, с. 31], «…той благоразсудный Козма…» [Повесть о победах, с. 31], «Он же, добросмысленный…» [Повесть о победах, с. 32], «Добромысленный же Козма Минин…» [Повесть о победах, с. 35]. Редкий случай в тексте, когда имя Кузьмы Минина не сопровождает оценочный эпитет.

Практически на всем протяжении фрагмента, посвященного народному ополчению, автор постоянно применяет оценочные эпитеты и для характеристики его речей с аналогичными доминантами: «…нача доброумными своими словесы глаголати…» [Повесть о победах, с. 30], «…добросмысленными своими словесы… много доброприветных к ним словес изрече…» [Повесть о победах, с. 30], «Он же много тязав их

---

[220] Там же.

[221] См. подробнее последний раздел главы.

[222] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 128.

своими доброумными словесы…» [Повесть о победах, с. 32], «…своими доброприветными словесы… доброумными словесы...» [Повесть о победах, с. 35]. То же самое касается и характеристики его советов: «доброй его совет» [Повесть о победах, с. 30], «Козмина доброприветнаго совета» [Повесть о победах, с. 32], «доброрассудному росказанию» [Повесть о победах, с. 31]. Подчеркивая доброе начало в облике и деяниях Кузьмы Минина, автор обращается и к тавтологическим сочетаниям, одному из излюбленных приемов в «Повести…» при создании идеализированных образов исторических лиц[223]: «Доброприветный же Козма добрыми, добросмысленными своими словесы прохвалив бога…» [Повесть о победах, с. 30].

Любопытно, что, описывая реакцию людей, к которым Кузьма Минин обращается с речами, автор тоже использует в основном одну доминантную характеристику. Они постоянно испытывают «радость», и эта радость друг по отношению к другу, к деяниям и словам взаимна. Так, встречая смолян, пришедших в Нижний Новгород, Кузьма Минин «многою радостию возрадовашася» и «со многою радостию и со слезами рекуще» [Повесть о победах, с. 30]. Смоляне, увидев его, «многою радостию возрадовашася о таковем добросмысленом мужи» [Повесть о победах, с. 31].

Вместе с тем, прибегая к традиционному способу возвеличивания и идеализации героя, автор «Повести о победах…» не оставляет эпитет без реалистического обоснования. И в этом случае мы, очевидно, можем говорить о сочетании традиционных и новаторских элементов, когда, с одной стороны, автор использует приемы, характерные для «метода идеального преображения жизни», а с другой стороны, обосновывает эту высокую положительную оценку при помощи реалистических мотивов, отражающих конкретные деяния героя. Например, в одном из фрагментов рассказа эпитет «добролюбный» подтверждается типичным в характеристике Кузьмы Минина для цикла сочинений о Смуте мотивом сбора казны для войска: «Той же добролюбный муж Козма Минин прежде всех разделив имение свое на три части, и взяв две части имения своего, и со многою радостию принесе на собрание казны ратным людем, себе же на потребу едину часть имения своего остави» [Повесть о победах, с. 31]. Эпитет «благоразсудный» подкрепляется мотивом раздачи жалованья войску: «И собрав казны множество, той благоразсудный Козма разобрав же дворян града Смоленска против их дорянския чести на три стати, учинив первую статью, и среднюю, и меншую, и вместо государева жалованья даде им полныя оброки против их дворянской чести» [Повесть о победах, с. 31].

Образ Кузьмы Минина, как и других положительных героев, выписан «по единой схеме, состоящей из определенных элементов. Первым таким безусловным элементом является патриотизм, т. е. подтвержденная делом готовность сражаться за

[223] Там же.

самостоятельность православного государства. Второй обязательный элемент — христианские добродетели. Третий непременный элемент выражается в формуле “служба и радение”, понимаемой в зависимости от общественного положения героя: для царей это неустанная забота о всей стране, для людей, стоящих во главе войск, — организация рати и мудрое руководство ею, для смольнян — верность и воинская доблесть»[224]. Г.П. Енин показал это на примере образа М.В. Скопина-Шуйского и смолян. Но эта схема применима и к Кузьме Минину.

В характеристике его деяний и устремлений так же, как и в других сочинениях о Смуте, доминирует мотив патриотизма, нашедший реализацию прежде всего в речах героя. Таковых в памятнике три.

Первую речь, согласно тексту, Кузьма Минин произносит «созвав» «всех нижегородцев». Как и в других памятниках, предложению встать на защиту Московского государства, собрать казну для войска, автор «Повести о победах…» предпосылает высокую положительную характеристику — «доброумными своими словесы глаголати к ним, рекуще» [Повесть о победах, с. 30]; как и в «Хронографе 1617 года», «Летописной книге», «Пискаревском летописце» и в других текстах, мотивы сбора казны и раздачи жалования ратным подчеркивают здесь добрый ум, добрый смысл, присущие Кузьме Минину.

Речь представляет собой удивительное смешение стилей. Начинается она в высоком церковном стиле обращением к «братие и друзи, вси нижегородстии народи» [Повесть о победах, с. 30] и рядом эмоциональных вопросительных предложений: «Что сотворим ныне, видяще Московское государство в велицем разорении? Откуду себе чаем помощи и заступления граду нашему, разве милости божий?» [Повесть о победах, с. 30]. Далее она ритмизируется в стиле «плетения словес» при помощи гомеотелевтов, придающих фразе торжественно-трагический характер:

Видехом, братие, многих градов российскаго государства разорение,
и православных христиан побиение,
и жен их и чад в плен ведение,
и всего богатства их лишение [Повесть о победах, с. 30].

А затем приводится цель созыва нижегородцев; ее формулировка, хотя и носит вполне конкретный характер, весьма сильно отличается от тех, которые читаются в других памятниках. Если в «Пискаревском летописце» Минин предлагал задуматься, «како бы им пособити Московскому государьству» [Пискаревский летописец, с. 217], в «Новом

[224] Там же. С. 127.

летописце» он изрекал: «Будет нам похотеть помочи Московскому государству»[225], то в «Повести о победах Московского государства» он предложил призвать на помощь «храбрых» и «мужественных» «достоверных дворян града Смоленска» [Повесть о победах, с. 30]. И это отнюдь не случайно. Перед тем, как привести пространную речь Минина, автор «Повести о победах…» пишет: «Той бо Козма издавна слышав про храбрость смоленскую и про мужество дворян града Смоленска, колики помощи Московскому государству учиниша, государю верно послужиша, и многи грады побраша, и велию храбрость и радение показаша, за православную христианскую веру много постояша, и многи противных полки побиша, и во всем непоколебимы, и помощию всесилнаго бога вооружении, и храбри быша. Слышав же, яко смольяне в Арзамасе, близ Нижнева Нова града, и многою радастию возрадовася» [Повесть о победах, с. 29–30]. Здесь так же, как и в речи, автор ритмизирует фразу с помощью концевых созвучий отдельных фрагментов, и это наводит на мысль, что приводимая в «Повести о победах…» прямая речь Минина в действительности принадлежит не ему, а автору, который на разных художественных уровнях создает панегирик в честь смолян, точнее, в честь «достоверных дворян града Смоленска»[226] [Повесть о победах, с. 30], сыгравших, согласно тексту, значительную роль в событиях Смуты. Поэтому, в отличие от других памятников, мотив патриотизма ослаблен в первой речи Минина, дающего нижегородцам совет призвать храбрых смолян для «заступления граду нашему». И если в изображении других авторов исторических сочинений о Смуте первой трети XVII в. Кузьма Минин выступает с самого начала организатором народного ополчения и ратует за «очищение» Московского государства, то в «Повести о победах…» он инициирует в первой речи сбор казны для призвания смолян, чтобы они защитили город. При этом автор снова прибегает к приему ритмизации: «Лутче бо есть нам имения своя им отдать, а самим от иноверных поругания свободным бы**ти**, и в вере правой жи**ти**, и единоверным работа**ти** и оброки дава**ти**, нежели от иноверных наития и разорения на себе жда**ти**, и себе, и жены, и детей своих в велицей беде, и в плене, и

[225] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Изд-е 2-е. М.: Наука, 1965. Т. XIV. С. 116.

[226] А.А. Кузнецов и А.В. Морохин в работе «Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени» отмечали, что речь «нижегородского земского старосты известна по нескольким источникам», в частности по «Повести о победах Московского государства», «Новому летописцу», «Книге о чудесах преподобного Сергия» Симона Азарьина, косвенно — по «Пискаревскому летописцу» (См.: *Кузнецов А.А., Морохин А.В.* Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. С. 10–12). «Все версии “мининского призыва”, — справедливо пишут исследователи, — были созданы через несколько десятилетий после описываемых событий и разнятся между собой. Это обстоятельство вызывает сомнения в их достоверности. Между тем источник информации, зафиксированной в летописных памятниках, определяется в грамотах, рассылавшихся руководством Второго ополчения в российские города с призывом поддержать инициативу Нижнего Новгорода» (См.: *Кузнецов А.А., Морохин А.В.* Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. С. 12). Оставляя вопрос достоверности речи Минина коллегам-историкам, мы обратимся к художественной ее стороне.

поругании виде**ти**, и животов своих неволею отста**ти**» (выделено нами. — *О.Т.*) [Повесть о победах, с. 30].

Речь Кузьмы Минина достигает внешнего перлокутивного эффекта[227], который находит выражение в ответной реакции и реплике людей: «Людие же Нижнева Нова града вси похвалиша доброй его совет и поединогласно глаголюще: “И добро есть нам тако сотворити, единоверных призывати, нежели от иноверных наития в разорении быти”. И послаша к смольяном…» [Повесть о победах, с. 30]. Смоляне, послушав «Козмина доброприветнаго совета», отправляются из Арзамаса в Нижний Новгород.

Таким образом, мы можем наблюдать довольно странный художественный эффект: с одной стороны, автор явно возвеличивает образ Кузьмы Минина, используя высокие положительные эпитеты, отдавая ему инициативу призыва ратных в город, сбора казны для них, а с другой стороны, приводимая прямая речь, коррелирующая с обстоятельствами, в которых она произносится в тексте, низводит высокую любовь к родине и стремление очистить Московское государство, о котором писали другие авторы, до любви к родному городу и стремлению его защитить. Это тоже патриотизм, но это любовь не к большой, а к малой родине, а значит, в некотором смысле речь снижает высокую патетику образа одного из организаторов народного ополчения.

Вторую речь Минин произносит во время встречи смолян, тоже при стечении всего народа: «…честными иконами и со всем собором Нижнева Нова града, со всеми народы выхождаху из града на встретение их (смолян. — *О.Т.*) и со многою радостию и со слезами рекуще: “Се ныне, братие, грядет к нам христолюбивое воинство града Смоленка на утешение граду нашему и на очищение Московскому государству”»[228] [Повесть о победах, с. 30]. И снова она приводится отнюдь не с целью охарактеризовать патриотизм Кузьмы Минина. Она подчеркивает решающую роль смолян в деле защиты Нижнего Новгорода и освобождения всего Московского государства от «иноверных».

И только третья речь, никоим образом не связанная со смолянами, демонстрирует не только «добромыслие», «разсудие» Кузьмы Минина, но и его глубокую любовь к родине. Она обращена к войску князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, которое «зряще» нижегородское ополчение во время сражения с гетманом Ходкевичем и «не восхотеша» помочь: «Той бо Козма видев их на другой стране реки Москвы стоящих и не помогающих. Он же, поезжая по брегу Москвы-реки, со слезами вопияше к ним, рекуще сице: “О братие, христианстии народи! Видите велию помощь божию православному и богособранному

---

[227] То есть «изменений, которые речевой акт вызывает в ситуации общения, и в первую очередь в мыслях, чувствах и поведении адресата». См.: *Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика. С. 260.

[228] Г.П. Енин полагал, что эти слова принадлежат в «Повести о победах…» нижегородцам. Но тематика и стилистика речи свидетельствуют о том, что эти слова мог произнести в данной ситуации только Кузьма Минин, взявший на себя роль организатора.

воинству христианскому и победу на противных врагов и разорителей православной христианской вере и святых божиих церквей, на полских людей. А вы, праздны стояще, кую честь себе получите и кую славу обрящете, единоверным помощи учинити не хощете, и божию помощь учинити не хощете, и вражде-злобе работаете? Ныне бо от единоверных отлучаетеся, впредь к кому прибегнете и от кого себе помощи чаете, презревше, велию сию помощь божию православным христианом на супостаты Московскаго государства?”» [Повесть о победах, с. 34]

В этой речи собраны воедино все три элемента схемы изображения положительного героя, описанной Г.П. Ениным: «патриотизм», «христианские добродетели», «служба и радение». Комментируя этот фрагмент, исследователь отметил, что «Повесть о победах…» — это «второй источник, в котором заслуга призвания казаков Д.Т. Трубецкого на помощь войскам Д.М. Пожарского в самый трудный момент сражения под Москвой приписывается одному Козьме Минину. До нее такая версия события содержалась только в Псковской летописи <…>. Авраамий Палицын в своем “Сказании” утверждает, что казаки пошли в бой благодаря его уговорам и нравоучениям <…>. Симон Азарьин представил еще один вариант этого же события. В его рассказе Козьма Минин и Авраамий Палицын вместе уговаривали казаков помочь ополченцам Д.М. Пожарского» [Повесть о победах, с. 150, коммент. 78]. В «Повести о победах…» этот эпизод выстраивается в соответствии с традицией объяснять все происходящие события воздействием на людей высших сил. Так, он пишет: «Злокозненный же враг, искони ненавидяй добра рода человеческому, вложи злу мысль полку боярина князя Димитряя Тимофеевича Трубецкова: не хотяше бо полк его князь Димитриеву полку Михайловича Пожарскаго, с полскими и с литовскими людми биющимся, помощи…» [Повесть о победах, с. 34]. В этом аспекте доминантная в характеристике черта Кузьмы Минина обретает совершенно иной смысл: его добрая мысль («добросмысленный», «крепкоумием» и др.) противостоит злой мысли тех, кто не радеет об общем деле очищения Московского государства («злу мысль», «злокозненную вражию ненависть», «всякую злобу их» [Повесть о победах, с. 34]). И он, «яко некий разсекатель», своими «доброприветными словесы и всяку злобу их» побеждает «разсудием» [Повесть о победах, с. 34]. Добро, заключенное в его словах, привносит свет в души казаков и заставляет забыть злобу: «…и своими доброумными словесы аки не в светимей тме светлу свещу возже. Они же словесы его, аки светом, озаришася, и яко от тмы во свет уклонишася, всю вражию злобу забывше, и чрез Москву-реку вброд вскоре поидоша…» [Повесть о победах, с. 34]. Он снова «доброприветными словесы» достигает внешнего перлокутивного эффекта.

Помимо прямой речи, важную роль в характеристике Кузьмы Минина играют реалистические мотивы сбора казны и раздачи жалования ратным, которые встречаются

практически во всем корпусе сочинений о Смуте, созданных в первой трети XVII в. Важным для автора «Повести о победах…» в реализации этих мотивов является принцип сбора казны, который неоднократно повторяется в тексте. Впервые он был озвучен Мининым в первой речи: «Се же, братие, разделим на три части имения своя: две убо христолюбивому воинству, себе же едину часть на потребу оставим» [Повесть о победах, с. 30]. Далее автор сообщает, что Минин «прежде всех разделив имение свое на три части, и взяв две части имения своего, и со многою радостию принесе на собрание казны ратным людем, себе же на потребу едину часть имения своего остави» [Повесть о победах, с. 31]. Его личный пример побуждает остальных отдавать в таких же пропорциях свое «имение»: «…вси граждане такожде сотвориша: две части имения своего в казну принесоша, третию же часть имения на потребу себе оставиша» [Повесть о победах, с. 30]. Но не всегда и не во всех городах. Автор «Повести о победах…» приводит следующий эпизод: пришедши в Балахну, Минин повелел посадским людям «по нижегороцкому уставу две части имения своего в казну ратным людем отдати, себе же на потребу третию часть имения оставити» [Повесть о победах, с. 32]. Многие так и поступили, но были и те, которые «восхотеша утаити имения своя, и принесоша не противу его окладу, и скудни называющеся» [Повесть о победах, с. 30]. Видя «пронырство» этих людей, Кузьма Минин «повелевая им руце отсещи» [Повесть о победах, с. 32]. До казни, судя по тексту, дело не дошло, ибо «проныры» «не восхотеша в велицей скорби быти, наипаче принесоша по его окладу» [Повесть о победах, с. 32]. В Ярославле посадские люди тоже «послушати его не восхотеша», и тогда Минин «повеле жывоты их напрасно брати» [Повесть о победах, с. 32]. И снова, как и в Балахне, люди, «видевше от него велику жестокость и свою неправду, ужасни быша, и вся вскоре с покорением приидоша, имение свое принесоша…» [Повесть о победах, с. 32]. Жестокость Минина в обоих случаях имеет мотивировку: она обусловлена «пронырством» «посацких» людей, пожелавших утаить имение. Но в обоих эпизодах дальше словесных угроз, судя по тексту, Минин не идет. Завершая рассказ о ярославцах, автор пишет: «Он же, добросмысленный, своими словесы много наказав их и повеле отпустити их» [Повесть о победах, с. 32]. Слово и дело — таковы главные рычаги управления, которыми пользуется Минин. Он добрым, умным словом противостоит злым деяниям и вдохновляет на правильные в условиях того времени поступки. Делом доказывает чистоту своих намерений, щедро вместе с князем Д.М. Пожарским раздавая жалование ратным, чтобы у них «никакие скудости не было» («ратные же люди никоей скудости имеюще») [Повесть о победах, с. 31]. Великая цель — «очищение» Московского государства — достигается «добросмысленными словесы» и «благорассудными» поступками.

Таким образом, изображая героя народного ополчения Кузьму Минина, автор «Повести о победах…» сочетает традиционные и новаторские способы характеристики героя. Руководствуясь «методом идеального преображения жизни», он рисует при помощи высоких положительных эпитетов, тавтологических сочетаний, в соответствии с выработанной схемой (патриотизм – «христианские добродетели» – «служба и радение»), образ идеального героя. Все абстрактные положительные характеристики подтверждаются в тексте реалистическими мотивами, сходными с теми, которые обнаруживаются и в других сочинениях о Смутном времени. Благодаря этому идеальный образ обретает «реальные исторические черты», приближается «к конкретной исторической действительности»[229]. Введение в характеристику героя прямой речи (двух пространных и одного короткого монологов) мотивируется в тексте конкретными историческими обстоятельствами, объясняющими причины подобного поведения. Доброе расположение по отношению ко всем людям, как доминантное свойство натуры Кузьмы Минина, не является исчерпывающей его характеристикой. Столкнувшись со злом, Минин способен изменить своему доброму нраву и применить крутые карательные меры по отношению к «пронырам», не осознающим величие цели, во имя которой и совершается подвиг. В некотором смысле мы можем здесь говорить о том, что в фигуре Минина нашли отражение общие тенденции изображения человека в литературе начала XVII в., а именно то, что «в одном человеке могут сосуществовать и хорошие и плохие черты»[230], и такое сочетание не мешает быть ему при этом идеальным героем своего времени. «Простое происхождение и невысокое социальное положение Козьмы Минина не требовали обязательной условной идеализации, как образы царей Василия Шуйского и Михаила Романова и князя Скопина, в чьих характеристиках автор не хотел отойти от строгих этикетных канонов»[231]. И потому в образе Кузьмы Минина, несмотря на идеализацию в традиционной стилистике, обнаруживаются реалистические черты, которые в сочетании с идеальными качествами делают фигуру героя народного ополчения фактурной и яркой.

---

[229] *Адрианова-Перетц В.П.* О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.). С. 9.

[230] *Державина О.А.* К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести начала XVII века. С. 78.

[231] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 103–104.

6. Изображение народа в «Повести о победах Московского государства»[232]

В большинстве произведений, входящих в цикл сочинений о Смуте, в центре внимания оказываются цари и самозванцы, последовательно сменявшие друг друга; многие авторы начинают рассказ издалека, с краткого упоминания о правлении Ивана Грозного, но практически во всех памятниках представлена относительно полная галерея портретных характеристик законных и незаконных правителей[233]. В «Повести о победах…» упомянуты только два царя — Василий Шуйский и Михаил Романов, но не их деяния являются главным предметом изображения. Сравнительно развернутые характеристики воевод М.В. Скопина-Шуйского, Кузьмы Минина, появляющиеся во второй части, также не составляют ведущей сюжетной линии в повести. В центре внимания автора, в отличие от всех памятников о Смуте, оказывается изображение народа. В.И. Попков, рассматривавший демократические тенденции русской литературы XVII в., писал: «Почти все авторы в той или иной степени касались темы положения народа, особенно во время голода 1601–1603 гг., тем восстаний крестьянства и городских посадских низов, борьбы с иноземными захватчиками»[234]. Но ни один автор не делал главным героем произведения о Смуте народ, как это наблюдается в «Повести о победах…».

В произведении нет единого образа народа, автор сознательно разграничивает разные категории населения Московского государства, вводя различное, правда не всегда выдержанное от начала до конца именование. Так, в «Повести о победах…» обнаруживаются следующие именования: «воры» (и вариант — «русские воры») и «государевы изменники», «смольяны», «разных чинов служивые люди», «ратные люди», «государевы люди», «народ града Москвы», «российсти людие», «брянчяня», «арзамасцы», «людие Нижнева Нова града» и т. д. Уже этот неполный перечень именований разных категорий населения позволяет выделить три основные группы, которые оказываются в центре внимания в «Повести о победах…»: первая — «русские воры» и «государевы изменники», вторая — «ратные люди», третья — народ или люди конкретного города. При этом такие понятия, как «смольяны», «брянчяня» и т. п., входят во вторую группу, поскольку автор «Повести о победах…» так именует ополчения, «ратных людей» из разных городов, обычные жители обозначены в произведении иначе: «народ» или «люди». В зависимости от того, о ком идет речь в памятнике, меняется и принцип изображения.

---

[232] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* Изображение народа в «Повести о победах Московского государства» // Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской письменности. Книга 1. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2013. С. 278–287.

[233] *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. С. 355–360.

[234] *Попков В.И.* Демократические тенденции русской литературы первой трети XVII века. С. 21.

Под «ворами» и «государевыми изменниками» подразумеваются руководители крестьянского восстания, бывшего в период правления Василия Шуйского («вор, холоп Телятевских, именем Ивашко Болотников» [Повесть о победах, с. 5], «его же воровской советник, неки вор Юшко Зубцев» [Повесть о победах, с. 6]) и их соратники: «своими приборными со многими воры, с украинскими мужики с северы» [Повесть о победах, с. 5], «множество собравшихся воров руских с северы» [Повесть о победах, с. 7] и пр. Основной изобразительный мотив этой группы — мотив воровства, который и определяет самих участников восстания, и характеризует их действия. Имена предводителей постоянно сопровождает эпитет «вор»: «вор Ивашко Болотников» [Повесть о победах, с. 6], «вору Ивашку Болотникову» [Повесть о победах, с. 7], «предрекомый вор Ивашко Болотников» [Повесть о победах, с. 7], «неки вор Юшко Зубцев» [Повесть о победах, с. 6] и др. Его приспешники также на протяжении всего текста именуются исключительно «ворами»: «со многими воры <…> с воровскими своими умышленники» [Повесть о победах, с. 6], «многое воровское собрание <…> с своими воровскими полки» [Повесть о победах, с. 7], «окаянни государевы изменники и воры» [Повесть о победах, с. 8], «воровским своим людем» [Повесть о победах, с. 8] и пр. Характеризуя их образ действий, автор постоянно употребляет этот же эпитет: «И умысли своим воровством, и прииде под царствующий град Москву…» [Повесть о победах, с. 5–6], «их злое воровство и умышление» [Повесть о победах, с. 7], «Той же предрекомый вор Ивашко Болотников, собрався с своими воровскими полки, поиде из Калуги и засел государев город Тулу, взял из воров своих некотораго вора именем Петрушку и своим воровским умыслом назвал его царевичем…» [Повесть о победах, с. 7] и пр. Неоднократно автор говорит о соблазнительности «воровской прелести» для многих русских людей, которые по мере разрастания крестьянского восстания примыкали к войску И. Болотникова: «И видя его воровскую прелесть, многие русские люди к ево воровству приложишася…» [Повесть о победах, с. 7], «И за умножение грех наших тогда восташа множество собравшихся воров <…> хотяху тому вору Ивашку Болотникову помощь учинити, и приидоша на государевых людей на Пчелне и многих побили» [Повесть о победах, с. 7] и др. Вся деятельность войска И. Болотникова, по мысли автора, сводилась, с одной стороны, к бунту против «государевых людей», под которыми подразумеваются верные царю Василию Шуйскому «ратные» («Неки именем Чика, атаман казачей, со многими казаки пристали к воровскому смыслу и восташа на государевых людей» [Повесть о победах, с. 7], «государевых людей побивати» [Повесть о победах, с. 7], «…государевы изменники и воры <…> нача из града (Тулы. — *О.Т.*) многи пакости государевым людем творити, из града выходити и побивати» [Повесть о победах, с. 8] и пр.), с другой — к воровскому разорению городов и уездов: «…начаша разоряти грады и уезды и села своим воровством» [Повесть о победах, с. 7]. Но

главная их вина состоит в непокорении воле царя: «их воровское жестокосердие и непокорение <…> их воровские козни и непокорство» [Повесть о победах, с. 8], «государевых изменников и врагов, не покаряющихся его царской державе» [Повесть о победах, с. 6], в нарушении закона. Не случайно, завершая рассказ о восстании, автор «Повести о победах…» однозначно определяет, за что они были наказаны государем: «Тогда за беззаконие свое вси погибоша, и весь совет их погибе, и суетно сотворися умышление их» [Повесть о победах, с. 8].

К этой группе по формальным признакам примыкает и упомянутый в произведении «тушинский вор», к которому точно так же, как в свое время к И. Болотникову, «множество руских людей приложишася, к ево прелести» [Повесть о победах, с. 8]. Однако в этом текстовом фрагменте отсутствует педалирование мотива воровства. Примечательно здесь только упоминание «русских воров», которые вступили в союз с «польскими и литовскими людьми» и «многое разорение» принесли Московскому государству.

В целом, изображение «русских воров» и «государевых изменников» сводится к одному мотиву — мотиву воровства — и призвано показать смуту и разделение, которые существовали внутри русского народа, отсутствие единения.

Вторая группа, условно нами обозначенная как «ратные люди», в отличие от первой, не имеет однозначного именования. Довольно устойчиво в тексте «ратные» именуются «государевыми людьми» в противопоставление «ворам и государевым изменникам», что означает верность царю Василию Шуйскому. В одном из фрагментов «Повести о победах…» автор, употребив понятие «государевы люди», далее расшифровывает его: «…со своими государевыми людми, с смольяны, и з дорогобужаны, и с ростовцы, и з брянчаны, и з беляны» [Повесть о победах, с. 9]. Но такая подробная расшифровка понятия — явление редкое; как правило, в памятнике она носит более узкий характер и сводится к упоминанию смолян и прочих «ратных» из различных городов: «государевы люди, смольяне и иные городы» [Повесть о победах, с. 9], «смольяны, с ратными людми и с иными городы со многими полки» [Повесть о победах, с. 31] и др.

Среди прочих «ратных» автор «Повести о победах…» особо выделяет смолян. Под смолянами в тексте понимаются воины города Смоленска [Повесть о победах, с. 28], в повести пояснен даже их социальный состав: это «дворяне и земцы и все ратные люди» [Повесть о победах, с. 6]. По аналогии с этим авторским комментарием можно предположить, что и под «ростовцами», «брянчанами» и другими автор понимал тоже исключительно «ратных» людей, среди которых особо выделял дворянское сословие. Сосредоточенность автора на изображении подвигов именно смолян в годы Смуты,

убедительно показанная и доказанная Г.П. Ениным[235], позволила исследователю прийти к выводу, что замысел автора повести «в том и состоял, чтобы показать чрезвычайные заслуги смоленского дворянства перед русским самодержавием»[236]. Г.П. Енин справедливо указал на то, что смоляне всегда в тексте первыми упоминаются среди ратных людей, что автор отводит им решающую роль в освобождении Москвы и вообще всей страны от всякого рода своих и чужих «воров», интервентов, в том числе и в составе нижегородского ополчения, возглавляемого Мининым и Пожарским, особо подчеркивает верность смолян Василию Шуйскому, их мужество, храбрость, бесстрашие в боях. Продолжая эту характеристику, следует отметить, что смоляне, по сравнению со всеми остальными упомянутыми в «Повести о победах…» «ратными» людьми, проявляют невероятную активность, высокую гражданскую сознательность и самостоятельность. Так, узнав о восстании Ивана Болотникова, что «царь Василий Иванович в велицей печали и Московское государство в великом разорении», «начаша в Смоленске дворяне и земцы и все ратные люди совет совещати, како бы им государю царю помощи подати, и государство Московское очистити от тех воров, и от Москвы отгнати» [Повесть о победах, с. 6]. Болезненно переживая взятие Смоленска интервентами, «смоляне»-воины «всю печаль свою и разорение забывающе, токмо пекущеся о православной христианъской вере и о очищении Московскаго государства» [Повесть о победах, с. 28], отправляются в Нижний Новгород, где собирает ополчение для борьбы с интервентами Кузьма Минин.

На протяжении всего текста автор не устает создавать вокруг смолян ореол победоносной харизматичности. Их непобедимость подчеркивается в «Повести о победах…» емкой, но весьма показательной в содержательном плане глагольной формулой «поидоша <…> побили», например: «И приидоша полския люди и государев град Дорогобуш взяша. Смоляне же уведав и поидоша под Дорогобуш, и, пришедши, полских людей побили, и город государев от них очистили…» [Повесть о победах, с. 10]; «И поидоша смольяне от града Смоленска на помощь ко князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, и с ними разных градов, которые от града Смоленска дорогобужаня, и брянчане, и ростовцы, и серепьяна, и вязмичи, и иных градов люди. И приидоша под Дорогобуш, и в Дорогобуже полских и литовских людей побили, и Дорогобуж взяли. И оттоле пошли к Вязме, и в Вязме литовских людей побили же, и град взяли же. И оттоле поидоша к Белой, и, пришед, Белую взяли, и литовских людей побили…» [Повесть о победах, с. 10].

---

[235] *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы. С. 97–102.

[236] Там же. С. 102.

Важно отметить и тот факт, что нигде на протяжении всего текста ни разу не упоминается руководитель смолян, их гражданская сознательность настолько высока, что их не требуется, в отличие от других «ратных», не проявляющих подобной самостоятельности и выступающих практически во всех фрагментах памятника в качестве ведомых, воодушевлять на подвиг. В приведенном выше примере именно смолянам отводится неявно выраженная роль ведущих. В другом эпизоде «ратных» «просит» о подвиге воевода М.В. Скопин-Шуйский: «И боярин князь Михайло Василевич повеле призвати всех ратных людей своя, и нача испущати от уст своих премудрыя своя, и добромысленныя, и жалованя словеса ко всем своим ратным людем, и просил у всех ратных своих, чтобы идти подо Тверь на полския и литовския люди вскоре… Тогда вси ратные люди премудрых его словес с радостию послушаша, и на его боярское повеление устремишася, и вскоре под Тверь поидоша» [Повесть о победах, с. 11]. Единственный случай в «Повести о победах…», когда смоляне обращаются к воеводе с молитвой и, выслушав его «благоразумные словеса», «послушаша его», связан с получением известия об осаде Смоленска. Но и здесь молитвенная просьба сводится к тому, чтобы Скопин-Шуйский отпустил смолян «ко граду Смоленску полскаго короля от града отогнати и град очистити» [Повесть о победах, с. 13], т. е. опять просят позволить исполнить гражданский долг.

В «Повести о победах…» смоляне настолько высоко поставлены над прочими «ратными», что сам король польский, согласно тексту, держит о них совет, обращаясь к своим людям: «Аще побием смольян, то не будет никто противен нам от руских людей…» [Повесть о победах, с. 26]. Кузьма Минин пришедшим в Нижний Новгород смолянам воздает почести, сравнимые с теми, которые обычно оказывали патриарху и царю: «Козма же Минин учинив встречу смольяном со многою честию — честными иконами и со всем собором Нижнева Нова града, со всеми народы выхождаху из града на встретение их и со многою радостию и со слезами рекуще: “Се ныне, братие, грядет к нам христолюбивое воинство града Смоленска на утешение граду нашему и на очищение Московскому государству”» [Повесть о победах, с. 30]. А тяжело раненный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который «от великия своея скорби и от раны ходити не можаше», «слышав же о смольянех», пришедших в Нижний Новгород, «не презре моления их и поиде, от раны скорбен, в Нижней Нов град» [Повесть о победах, с. 31].

«Ратные» люди из других городов охарактеризованы весьма скупо по сравнению со смолянами. Во всех случаях им отводится второстепенная роль, поэтому в большинстве фрагментов памятника они только называются как участники того или иного сражения, но не характеризуются даже как воины. Более того, авторская оценка «ратных» зависит напрямую от того, как воинские люди разных городов относятся к смолянам. Так,

«брянчяня», которые исполнили приказание воеводы Василия Петровича Шереметева и «кормы и запасы смольяном даша» [Повесть о победах, с. 29], осознаются как положительные персонажи в сравнении с «неразумными» «арзамасцами», не понявшими высокой миссии смолян, не захотевшими дать им «кормов и запасов» и пошедшими против них на бой. Поэтому характеристика «арзамасцев» в тексте сводится к обвинению их в безумии: «…арзамасцы же неразумнии <…> не разумеша <…> арзамасцы безумен совет сотвориша… Смольяне же, видев их многое безумие и непокорение… арзамасцы же, разумеете свое безумие и непокорство… Тогда бо сами о своем безумии после размыслиша и много потужиша» [Повесть о победах, с. 29].

Если собирательный образ народа в первых двух группах в основном представляется в конкретных действиях и характеризуется какими-либо постоянными эпитетами, то главным средством создания персонажей третьей группы становится в «Повести о победах…» изображение чувств, которые испытывают люди и народы разных городов в связи с тем или иным событием. Во всех этих фрагментах лирическая взволнованность повествования достигается при помощи многократных тавтологических повторений слитых практически воедино мотивов какого-либо одного сильного чувства и единства народа в нем.

Так, москвичи с великой радостью встречают воеводу М.В. Скопина-Шуйского: «Народ же града Москвы, уведав его приезд боярской, от мала до велика вси вострепеташа сердцы своими, свозрадовася радостию неизглаголанною и от многия радости не можаху удержатися от слез. И вси с радостию поидоша на всретение ему…» [Повесть о победах, с. 14]. По пришествии воеводы «Людие же града Москвы <…> возрадовашася вси радостию неизреченною» [Повесть о победах, с. 15]. Аналогичным образом описывает автор и чувства вообще всех людей в Московском государстве по поводу талантливого воеводы Скопина-Шуйского: «Бысть же тогда в Московском государстве по всем градом и весем радость велия, и вси правовернии людие возрадовашася, от многия скорби и туги-беды на веселие превращашеся, видяще храбрость, и мудрость, и милость ко всем князя Михаила Васильевича…» [Повесть о победах, с. 16]. Когда же завистливые бояре отравили Богом посланного, как пишет автор, воеводу, любимого всеми за то, что он был и «оборонитель, и управитель, и окормитель, питатель и обогатитель» [Повесть о победах, с. 15], «государевым неприятелем устрашитель» [Повесть о победах, с. 14], народ всего государства Московского столь же горестно оплакивает его кончину, как ранее сильно радовался освободителю: «Народи ж вси воскликнуша и возопиша со слезами, от сердца рыдающа и со многим воздыханием безутешно плачуще…» [Повесть о победах, с. 20]. И точно так же, как до этого, автор сначала сравнительно развернуто характеризует неутешный плач москвичей: «И бысть по всему царствующему граду Москве клик и зык и

плач неутешимы от многаго стонания и жалости православных христиан, от мала даже и до великаго плачуще и рыдающе. И не бысть такова человека, иже бы в то время не плакал и не рыдал о смерти его и о преставлении» [Повесть о победах, с. 20]. А затем уже более кратко, но в тех же самых сильных выражениях описывает чувства и всех «ратных» людей: «Вси его ратные люди, россие полки, и вси московстии людие и слезно плаката, и от многих сердец воздыхающе, тужаще и недоумевающеся, что сотворити» [Повесть о победах, с. 20].

Более широкое представление о переживаниях своих современников автор дает, описывая чувства жителей осажденного Смоленска. Пока был жив Скопин-Шуйский, «осадные» люди, терпевшие «многую осадную нужду», имели «неослабну надежду» на помощь Бога, «чающе» «его боярскаго приходу на очищение граду» [Повесть о победах, с. 16]. Воодушевляясь слухом о храбрости и премудрости воеводы, сами многократно выходили из города и «литовских людей побивающе» [Повесть о победах, с. 16]. Когда же и до них дошла весть о преждевременной кончине воеводы, «осадные» люди «много слезно плакате и ниоткуду помощи чающе, токмо упование свое на бога возложише. Народи же града Смоленска в велицей печали бяху…» [Повесть о победах, с. 21]. Столь же великую печаль и недоумение, что делать дальше, испытывают жители Смоленска в связи с пленением царя Василия Шуйского: «Смольяне же тогда, видевше государя своего ведома от иноверных, в велицей печали бывше, много слезно от сердца безутешно рыдающе и недоумевающеся, что сотворити…» [Повесть о победах, с. 25]. Сильное отчаяние жителей Смоленска, обусловленное и смертью Скопина-Шуйского, и пленением царя Василия Шуйского, предваряет подробный рассказ о героической обороне и взятии Смоленска, по стилистике и композиции напоминающий «Повесть о взятии Царьграда в 1453 г.» Нестора Искандера, на что указывал Г.П. Енин. Примечательно, что в этом эпизоде, несмотря на появление героев (архиепископа, боярина М.Б. Шеина, посадника Андрея Беляницына), а также расшифровку социального состава жителей («и многия боярини, и дворянские жены града Смоленска и иных градов, и мнози народы з женами и з детьми» [Повесть о победах, с. 27]), которую нельзя назвать исчерпывающей, нигде не описываются чувства «осадных» людей (за исключением одного упоминания об испытанном ужасе в связи с тем, что Богородичная икона «слезы испусти»), что становится особенно заметно при сопоставлении с вышеприведенными фрагментами. Очевидно, что разыгравшаяся трагедия должна была более потрясать самими фактами, чем гиперболизированной характеристикой чувств жителей.

Вместе с тем необходимо отметить, что преувеличенное изображение чувств не является собственно открытием автора «Повести о победах…». Это — общая черта литературы о Смутном времени, на что справедливо указывал А.С. Демин:

«…распространение новой манеры повествования о чувствах во многом было обусловлено сложившейся тяжелой обстановкой, породившей в стране ощущения неуверенности, недоверчивости и страха… Авторы использовали преувеличения, чтобы разоблачать тайное и раскрывать скрытое… Даже в документах упоминания о преувеличенных проявлениях чувств, например, обильных слезах, считались своеобразным доказательством истинности высказываний»[237]. Но в «Повести о победах…» широкое использование традиционной для древнерусской литературы и типичной для памятников Смуты, в частности, фразеологии, помимо указанных выше функций, служит главным средством характеристики определенной группы населения, единой в выражении радости или горя по поводу того или иного события.

В целом, автор «Повести о победах Московского государства» использует типичные для древнерусской литературы приемы изображения народа, стараясь индивидуализировать характеристику разных групп населения, правда, представляет их в основном в соответствии с традицией как единую массу внутри отдельно взятой группы. Но сама попытка сделать главным героем произведения о Смуте народ, ввести различия в описании представляется весьма плодотворной для дальнейшего развития русской литературы.

7. «Буіи народ» и «добрые люди» в псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства»[238]

В цикле произведений о Смутном времени псковская летописная повесть «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства» занимает особое место, поскольку автор дает оригинальную оценку того, что «произошло в период Смуты как в Пскове, так и в других русских землях»[239]. Д.С. Лихачев относил ее к группе повествований, в которых «сказалось непосредственное отношение к событиям писателей, ставивших себе целью простую информацию о фактической стороне событий»[240]. Аналогичным образом определял ее специфику и С.Ф. Платонов, отмечавший, что «с литературной стороны» автор был «самостоятелен» и в произведении «можно найти много

[237] Цит. по: *Архангельская А.В.* Литература Смутного времени. URL: https://www.portal-slovo.ru/philology/37365.php (дата обращения: 22.03.2013).

[238] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* «Буіи народ» и «добрые люди» в псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства» // Новый филологический вестник. 2017. № 4 (43). С. 59–69.

[239] *Охотникова В.* Псковские летописи как литературно-исторические памятники. Летопись. Глава 12-я, часть 3 // Псковская губерния. Газета № 41 (61 от 18 октября – 24 октября 2001. URL: http://gubernia.pskovregion.org/number_61/14.php (дата обращения: 12.01.2017).

[240] Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков. С. 11.

впечатлений очевидца»[241]. Но главное, что отличает повесть от большинства памятников (исключение составляет «Временник» Ивана Тимофеева), — это сосредоточенность автора на событиях родного города и его окраин.

Если в других памятниках цикла в повествование о борьбе за русский престол законных и незаконных претендентов, интервенции история городов земли Русской встраивалась чаще всего с целью продемонстрировать на конкретном примере особенности правления какого бы то ни было царя или самозванца, показать роль города в череде событий Смутного времени, то в повести «О смятении и междоусобии…» в центре внимания оказывается не политическая борьба царей и самозванцев, а «смятение» и «междоусобие» среди самих псковичей. Такой подход к изложению событий объясняется прежде всего тем, что Псков, в силу своего географического положения, не был «в эпицентре событий и в сложной политической борьбе этого времени занимал независимую позицию»[242] и «только по мере разрастания повстанческого движения оказывался втянутым в Смуту»[243]. В то же время изображенные автором «смятение» и «междоусобие» — это не что иное, как яркий, но субъективный рассказ о классовых противоречиях, которые в эпоху общего «нестроения» Русской земли, во многом обусловленного династическим и социальным кризисом, приводят к гражданской войне между «верхами» и «низами», к противостоянию народа и знати. И в этом смысле памятник поддерживает и продолжает тему многих произведений цикла: «Города — это прежде всего люди»[244].

История Пскова подается в двух аспектах: 1) как классово маркированная, когда речь идет о «смятении» и «междоусобии» среди горожан, и 2) как патриотическая, когда речь идет о попытках захватить город, об интервенции.

Формальные истоки гражданского «нестроения» в Пскове, упомянутые в повести, — «смутные грамоты отъ вора изъ подъ Москвы»[245] [О смятении, с. 67], появившиеся сначала в «Псковскихъ пригородѣхъ». Как и в других памятниках цикла, автор напрямую связывает их с «прельщением» и «возмущением» людей «малодушных»: «Въ то же время, мѣсяца августа, явишася во Псковскихъ пригородѣхъ смутные грамоты отъ вора изъ подъ Москвы, на прелесть малодушнымъ, и возмутишася людіе и начаша крестъ ему цѣловати; въ то же время вскорѣ преставися епископъ Генадеі отъ кручины, слышавъ такую прелесть, также и во Псковѣ смятошася людіе, слышавше нѣкоего грядуща отъ ложнаго царя съ малою ратію» [О смятении, с. 67]. Комментируя этот факт псковской истории на основе иных записей в псковской летописи, В.А. Аракчеев отмечал, что «12 июля 1608 г. три города с

---

[241] *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести... С. 500–501.
[242] Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков. С. 566.
[243] *Аракчеев В.А.* «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.) // Псков. 2003. № 18. С. 50.
[244] *Фукидид.* История. С. 348 (кн. VII, 77, 7).
[245] Полное собрание русских летописей. Т. VI: Псковские и Софийские летописи. С. 67.

уездами — Великие Луки, Невель и Заволочье — принесли присягу самозванцу. Ф. Плещеев стал великолукским наместником <…>. С другой стороны, дворяне и стрельцы псковских пригородов — организованная сила, явно симпатизировавшая самозванцу, — в августе 1608 г. также перешли на сторону Плещеева и активно участвовали в принесении присяги Лжедмитрию»[246].

Автор повести «О смятении и междоусобии…», в отличие, например, от составителя «Иного сказания», не приводит перечень перешедших на сторону Лжедмитрия II пригородов, остается не до конца понятна изолированность города от южных уездов. Автор намеренно подчеркивает прямолинейную причинно-следственную связь между «смутными грамотами» и «смятением» людей, максимально очищая текст от деталей, которые могли бы помешать такому восприятию. В повести отсутствуют и читаемые во многих памятниках цикла упоминания о раздумьях людей, попытках рассудочно или эмоционально объяснить их переход на сторону «ложного» царя. Единственная причина, которая называется, — «малодушнии» прельстились на «смутные грамоты» и «возмутишася». Подобное объяснение обнаруживается и в других произведениях о Смутном времени, но ни в одном тексте не является исчерпывающим с точки зрения автора, как в повести «О смятении и междоусобии…».

Более того, судя по тексту, «смутные грамоты» вызвали разную реакцию у жителей «Псковскихъ пригородѣхъ» и самого Пскова. Первые «возмутишася <…> и начаша крестъ ему (самозванцу. — *О.Т.*) цѣловати» [О смятении, с. 67]. Вторые тоже «смятошася» и «возмутишася» — но кто? И как? — «…смятошася людіе… смятеніе в народѣ…» [О смятении, с. 67]. «Воеводы же видѣвше толико смятеніе въ народѣ, и много укрѣпляху ихъ, и не могоша увѣщати…» [О смятении, с. 67]. Уже в начале рассказа о смуте в Пскове, таким образом, намечается противостояние народа и власти.

При этом если причину возмущения «малодушных» в псковских пригородах автор хотя бы формально называет, то о причинах возмущения псковичей сказано еще более лапидарно и завуалированно. Они даже грамот, судя по тексту, не читали, а только «слышавше нѣкоего грядуща отъ ложнаго царя съ малою ратію» [О смятении, с. 67]. Очевидно, что истинные причины «смятения» не интересовали автора, для него гораздо важнее было подчеркнуть, кто «смятошася» и «возмутишася». «Смятошася» народ — «людіе», а воеводы «укрѣпляху ихъ».

Судя по тексту, первоначально народ и не помышлял о присяге «ложному» царю. Общее «смятение» в Московском государстве, появление нового самозванца, к тому же осадившего «царствующий» град, дало возможность народу расправиться с теми, кто притеснял и жил иначе, нежели простой люд: «…въ то же время народи похваташа лутчихъ

[246] *Аракчеев В.А.* «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.). С. 50–51.

людей, гостей, и пометаша я въ темницу…» [О смятении, с. 67]. Дальнейшие события развивались стремительно: «…воеводы же послаша въ Новгородъ, дабы прислати рати въ помощъ во Псковъ» [О смятении, с. 67]. Народ же, распаленный «нѣцыи мятежницы», решил, что воеводы послали за немцами. Автор дает этому традиционное средневековое объяснение: «...нѣкто врагъ креста Христова вложи имъ то слово, что Нѣмцы будутъ во Псковъ…» [О смятении, с. 67]. Но в контексте всего эпизода подобное объяснение выглядит искусственным и явно включается как традиционный и для литературы эпохи Смутного времени, и для всей древнерусской словесности в целом объяснительный элемент. Главное здесь другое: в рассматриваемом фрагменте речи о присяге псковичей «ложному» царю вообще не идет. Слух о посланной им «малой рати» послужил поводом для народа посадить «лутчихъ людей, гостей» в темницу. Почему? Автор умалчивает настоящие причины.

Но если посмотреть эту повесть в контексте всех памятников цикла, то обнаружится интересная закономерность: во многих произведениях говорится о том, что решение о присяге «ложному» царю принимали «лучшие» люди, т. е. те, кто отвечал перед «царствующим» градом за город. В этой связи логично предположить, что псковичи посадили «лутчихъ людей, гостей» в темницу для того, чтобы они не уподобились жителям «Псковскихъ пригородѣхъ». И только когда среди народа распространился слух о том, что царь послал за немцами, но они еще не пришли в Великий Новгород, но стоят на мосту у Великой реки, что «Нѣмцы будутъ во Псковъ» [О смятении, с. 67], народ «похваташа воеводъ, всадиша в темницу, а сами послаша по воровского воеводу по Ѳедку Плещеева и цѣловаша крестъ вору ложно…» [О смятении, с. 67]. Слух о возможном приходе немцев заставляет народ вновь предпринять активное действие: следом за «лутчими» людьми в темницу отправляются и воеводы. В обоих случаях основной причиной «боевых» действий народа против власти становятся слухи, причем слухи о возможном предательстве города, о его захвате! И в обоих случаях эффект от слухов один и тот же — самовластие народа: «и начаша быти въ своей воли» [О смятении, с. 67], — имеющее не выраженную автором прямо цель защиты города от каких-либо захватчиков.

Таким образом, в начале повествования выстраивается любопытная диспозиция взаимозависимости между происходящими событиями и деяниями народа. Текст таит в себе много странностей из-за отсутствия деталей, всерьез объясняющих происходящее: народ «смятошася», ибо прошел слух о надвигающейся на город «малой» рати. В «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского отмечено несколько значений глагола «съмѣстисѣ»: «смешаться, спутаться», «смутиться», «прийти в беспорядок», «испугаться», «быть в смятении», «быть пораженным», «сразиться», а глагол

«смѣтати» толкуется как «смущать, тревожить»[247]. В «Словаре древнего славянского языка, составленного по Остромирову евангелию» для глагола «смѣтатисѣ» приводится похожее толкование: «1) возмущаться, приходить в смятение, в замешательство; 2) перемещаться»[248]. В этой же словарной статье дается значение прилагательного «смѣтенъ» — «ослабленный, обессиленный, изнуренный». В каком значении употребляет этот глагол автор псковской повести? Явно не в значении «возмущаться», ибо этот глагол автор использует, характеризуя активное поведение жителей псковских пригородов: «…и возмутишася людіе и начаша крестъ ему цѣловати…» [О смятении, с. 67]; и не в значении «перемещаться», ибо повесть не дает оснований говорить об исходе людей из города. Тогда получается, что автор употребляет этот глагол в значении «пребывать в беспокойстве и замешательстве», т. е. народ был обеспокоен/встревожен приближением к городу рати, что в ситуации того времени могло означать только одно — неизбежные военные действия со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как в этой ситуации ведут себя воеводы, в ведении которых, начиная с XVI в., были военные, дипломатические, финансовые, хозяйственные, судебные дела, а также заботы о благосостоянии и безопасности народа? Предпринимают ли они что-либо, как, например, воеводы Новгорода Северского, когда узнают о приближении рати Лжедмитрия I, о чем красочно поведал составитель «Иного сказания»? Нет, ничего подобного! Они уговаривают народ не волноваться, но при этом ничего не делают, городская власть ведет себя пассивно, конкретные действия, которые, казалось бы, необходимо было в связи с надвигающейся угрозой предпринять, отсутствуют, вместо них — слова, увещевание народа. Ответная реакция не заставила себя ждать — «лучшие» люди оказались в темнице. Автор повести, выражающий господскую точку зрения, осуждая народ за доверие к слухам и давая этому трансцендентное объяснение, намеренно и целенаправленно создает образ неразумного народа, но, не желая того, словно случайно проговаривается. Он невольно демонстрирует своеобразную попытку простого люда привести власть, пусть и путем насильственных мер по отношению к «лучшим» людям и «гостям», в сознание. Но воеводы опять бездействуют, их послание в Великий Новгород за помощью — это снова слова, условное действие, невольно демонстрирующее слабость и неспособность (или нежелание) действовать самостоятельно.

Основываясь на материалах Псковской летописи, исследователь В.А. Аракчеев писал: «Воевода Шереметев настаивал на сопротивлении тушинцам, призывая дождаться помощи из Новгорода, где собирал вооруженные силы М.В. Скопин-Шуйский.

---

[247] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. III: Р – Я. Стб. 769–770.

[248] Словарь древняго славянскаго языка, составленный по Остромирову Евангелію. С. 774.

Большинство псковичей категорически отказалось принимать шведский отряд <…>. Положение Шереметева осложняло отсутствие поддержки даже со стороны дворян: Богдан Неведреев, сын боярский, распространял сведения о том, что якобы в Москву отправлен список из 70 имен посадских людей, обвиненных в измене, которых наряду со стрельцами ждет смертная казнь»[249]. Но в повести «О смятении и междоусобии…» об этом и речи нет. Скупые упоминания о слухах, будораживших народ, свидетельствуют о печальной ситуации: у московского царя Василия Шуйского нет войска, ибо он послал за немцами, у псковских воевод тоже нет войска или хотя бы верных сподвижников и стрельцов, которые могли бы навести порядок в городе. Власть пассивна и беспомощна. В результате инициативу действия — а в данном контексте читай: защиты города — берет народ: «…возмутишася вси и похваташа воеводъ, всадиша въ темницу…» [О смятении, с. 67]. Народ превращается в активную силу, действующую сообразно своему усмотрению, и впускает, убоявшись прихода немцев, в город ратных людей Федора Плещеева (стольник и воевода, затем окольничий, сторонник Лжедмитрия II, принимавший деятельное участие в событиях эпохи Смутного времени, — заставил псковичей в начале сентября 1608 г. присягнуть «ложному» царю и заключил псковского воеводу Шереметева в тюрьму[250]), присягает «ложному» царю и «начаша быти въ своей воли и отложишася отъ Московского государства» [О смятении, с. 67].

Своеволие народа расценивается автором повести как малоумие, бесовство, лихоимство, желание поживиться чужим имением: «и быша в своей воли возбѣснѣвше и лихоимствомъ разгорѣшася на чюждее имѣніе <…> повѣдающе малоумнымъ…» [О смятении, с. 67]. Понятен гнев автора на народ, отложившийся от Московского государства, типичны в контексте цикла памятников о Смутном времени определения псковичей, добровольно присягнувших Лжедмитрию II. С болью и гневом он описывает пребывание в темнице «началниковъ градскихъ» и «нарочитыхъ града мужей», называя их «боголюбцами» и «страдальцами», с ужасом повествует об их мученической гибели от рук «лютых зверей» — посланников «вора». С негодованием пишет о том, как вел себя народ пред посланными от «вора»: «…тіи же окаянніи воздаша хвалу прелестнѣй и темнѣй державѣ его, и начаша хвалитися предъ ними своимъ радѣніемъ къ вору…» [О смятении, с. 67].

Далее на протяжении всей повести автор, по выражению М.Н. Тихомирова, не щадит «ругательных эпитетов для обозначения восставших посадских людей и

---

[249] *Аракчеев В.А.* «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.). С. 51.

[250] *Богуславский В.В.* Славянская энциклопедия: XVII век: в 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. Т. 2: Н – Я. С. 159–160.

крестьян»[251]. И действительно, вот далеко не полный перечень определений, которыми награждает автор «буи народ»:

- в связи с пожаром в Пскове: «глаголюще безумніи… окаянніи мятежницы и началники Жидовской сонмицы… буи народъ» [О смятении, с. 68];
- в связи с приходом под стены Пскова атамана Тимофея Шарова с казаками, против которых народ «не бѣ ни наряду, ни зелія, но мало бѣ и оружія ручнаго, но коліе заострівъ выходиша изъ града» и в результате столкновения с которым «много побиша гражанъ» [О смятении, с. 68]: «псковичи же, яко вторыи Жиды разъярився…» [О смятении, с. 68];
- в связи с убийством купца Алексея Семенова, сына Хозина, которого автор возводит в ранг «праведного»: «…суровство и кровопролитіе мятежникъ… буихъ отъ народа…» [О смятении, с. 67];
- в связи с желанием псковских начальников вновь приклониться к Московскому государству: «…побѣгоша по всему граду мятежницы и развратницы, прежреченніи самоначалницы, кличницы, кровопивцы, мучащіи безъ правды, похищающіи чужая имѣнія и не хотящіи подъ властми жити, и ристающе по граду, вопіюще, таковымъ же убо навѣгласомъ и смердомъ… буій народъ, малодушніи и неразумніи…» [О смятении, с. 68–69];
- в связи с собранием народа на вече после бегства из города правителей, купцов, дворян, некоторых знатных людей: «…собрася буій народъ несмысленніи и поселяне, яко скоти безсловесніи и сами не свѣдуще, чесо ради собрани… паче вторыя Жиды…» [О смятении, с. 69];
- в связи с приходом князя Владимира Долгорукова, которому Василий Шуйский велел «пострашити» «смердовъ самовластіе», с новгородскими войсками под Псков: «яко бѣшеніи буіи» [О смятении, с. 69].

Автор повести не устает повторять, что причиной действий народа было желание поживиться чужим имением: «…лихоимствомъ разгорѣшася на чюждее имѣніе» [О смятении, с. 67] — в первом эпизоде, описывающем самовластие народа, «…начаша чюжая имѣнія грабити у нарочитыхъ людей…» [О смятении, с. 68] — в эпизоде пожара, и т. д.

По контрасту с мучителями — «окаянніми» мятежниками — во всех упомянутых выше эпизодах псковские начальники, знатные, «нарочитые» люди изображаются и именуются невинными страдальцами, радетелями интересов Московского государства. На протяжении всей повести автор использует прием антитезы, контрастно подчеркивающий его отношение к «буему» народу и «лутчим» людям: «…а все то окаянніи мятежницы и началники Жидовской сонмицы затѣяша на добрыхъ людей, дабы имѣніе ихъ взяти, а буи

[251] *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. С. 20.

народъ всуе во слѣдъ ихъ бяху послѣдующе <…> и тогда мнозѣй крови неповинной во градѣ ліющися, по вся дни мучаще окаянніи» [О смятении, с. 68]. Примечателен и прием цветописи, применяемый автором для контрастно-оценочного именования противоборствующих сторон: народ — «чернь», а «нарочитые» мужи — «бѣлые люди» [О смятении, с. 68]. В эпизоде неудачной попытки градских начальников вновь «приклониться» к Московскому государству автор, прибегая к традиционным для древнерусской литературы сравнениям и метафорам, уподобляет народ зверям, которые только и жаждут «крови человѣческія»: «…они же паче звѣрей суровѣйши свирѣпо распыхахуся, яко лвы собрашася средѣ града… яко скоти безсловесніи… И поскочиша по домомъ, ищуще ловъ обрѣсти и насытитися крови человѣческія…» [О смятении, с. 69]. Но традиционное для древнерусских воинских повестей сравнение врагов с дикими зверями автор использует совершенно иначе, применяя его не к внешним врагам, а по отношению к простым горожанам. И это отнюдь не случайно. Именно в этом эпизоде автор, вкладывая в уста мятежных «начальников» от «буего» народа мысль о мщении «белых» людей народу, сам того не желая, показывает всю остроту конфликта: каждая из противоборствующих сторон жаждет крови и мести — «…всѣ бѣлые люди хотятъ крестъ цѣловати и мстити свою обиду… яко вчера ищущеи тіи крови нашей (речь идет о бегстве из города всех начальников, гостей, дворян. — *О.Т.*) побѣжаша; и мы ихъ оставшая совѣтники изберемъ и въ темницу заключимъ…» [О смятении, с. 68–69].

Во всех описанных в повести случаях противостояния народ нещадно расправляется с власть предержащими, «злѣ мучаху» их [О смятении, с. 69]. Так, например, решив, что в страшном пожаре города, в результате которого вырвало часть Кремля, попалило весь город, да и людей много камнями побило и погорело, виноваты «нарочитые дворяне и гости», народ «начаша» их «мучити и казнити и въ темницы сажати» [О смятении, с. 68]. В связи со столкновением под стенами Пскова с казаками атамана Тимофея Шарова, в результате которого погибло много простых граждан, псковичи, решив, что новгородцев на них призвали «добрые люди» (дворяне), «имающе изъ темницы добрыхъ людей, злѣ мучаше…» [О смятении, с. 68]. И т. д.

Во всех эпизодах автор использует одну и ту же композиционную схему: сообщение о каком-либо действительном или вероятном страшном, разрушительном событии (слух о движении «малой» рати «ложного» царя к городу, или пожар, или столкновение с противником, жаждущим захватить город, или нападение своих либо чужих) → краткий рассказ-упоминание об ответном действии «буего народа» → объяснение его поведения путем введения прямой речи → сравнительно подробное повествование об агрессивных по отношению к «лучшим» людям города действиях.

Почему псковичи так жестоко расправляются с ними, не щадя порой даже их жен и детей? Дело здесь не только в вековом противостоянии народа и власти, обусловленном социальной несправедливостью. Будучи очевидцем событий, автор, как справедливо отмечала В.П. Адрианова-Перетц, «рисует живые картины, передает характерные детали. Он отмечает, что плохо вооруженный народ не знал ратного дела, что “неурядное их воинство” выходило против новгородских казаков без воеводы и нарядника, “яко на борьбу или на кулачный бой”, что псковичи действовали иногда “со щиты рыбницкими на возех”, “кричаще и вопиюще, и ничтоже знающе ратного дела”»[252]. Несмотря на все это, псковичи выходили «всѣмъ градомъ» [О смятении, с. 69], чтобы защитить свой город. Они льстили посланным от Лжедмитрия II, всячески выражая свою лояльность «ложному» царю, чтобы избежать кровопролития и разорения града. Прослышав о том, что пан Лисовский и Иван Просовецкий с русскими мучителями и грабителями разорили многие города, они поспешили упредить угрозу, обратившись за помощью к пану Хоткевичу [О смятении, с. 70]. Поняв, что он не успел собрать войско, дабы прийти им на помощь, псковичи решают сами пригласить в город пана Лисовского с русскими людьми, а «Литву» оставить за городом [О смятении, с. 70]. К сожалению, их расчет оказался неверным. С болью повествует автор «о притеснениях, которые испытывали псковичи от возвращавшейся на родину “убегом” из Руси польской рати Лисовского. Поляки, <…> проиграв в зерние (в кости) и пропив награбленные ими русские богатства, начали грозить псковичам: “мы уже многия грады пленили и разорили, такоже будет от нас граду сему Пскову, понеже убо живот [богатство] наш весь зде положен в корчме”»[253].

Во всех подобных случаях автор, как бы невольно, вынужден признавать, что неразумное поведение «малодушного» «буего народа», зло расправляющегося с власть предержащими, было направлено на сохранение и защиту от какого-либо врага города и горожан. Если же псковичи и призывали в свой город сторонних правителей (Ф. Плещеева, пана Ходкевича, пана Лисовского, «лжецаря» Матюшку), то делали это исключительно с одной целью — в надежде избежать кровопролития и захвата города немцами, шведами, новгородцами… Наиболее ярко эта мысль выражена в эпизоде призвания Матюшки: «Гражане же Псковстіи недоумѣющеся, что сотворити и куда приклонитися, ниоткуду же помощи надѣющеся, понеже Москва бѣ за Литвою, а въ Новѣградѣ Нѣмцы, яко окружени отовсюду, и положиша на томъ, еже призвати къ собѣ ложного царя» [О смятении, с. 72]. Постоянный в эпизодах призвания очередного «ложного» царя или «вора» в Псков мотив отсутствия надежды на помощь в силу объективных обстоятельств подчеркивает, что

---

[252] *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. С. 75.

[253] Там же.

подобные решения принимались вынужденно. Как очевидец, автор, не желая того, каждый раз представляет народ в повести как думающего хранителя города от всякого рода напастей, но, как представитель господствующего класса, он не устает при этом назидательно, в духе всех памятников цикла, комментировать поступок народа как безумие и малодушие: «Оле безумія послѣдняго!» [О смятении, с. 72].

Сухие исторические факты свидетельствуют, что «Псков проявил завидное упорство, поддерживая на протяжении четырех лет самозванцев»[254], на стороне которых сражались и дворяне, и средние слои городского населения, и казаки, и стрельцы. Благодаря этому в истории Смуты за Псковом закрепилась слава «воровского» города, но текст повести «О смятении и междоусобии…» с художественной точки зрения иначе представляет смуту в городе. По верному замечанию В.А. Аракчеева, «модель поведения населения Пскова в начале XVII в. была абсолютно нетипичной для России в целом. <…> в отличие от ряда крупных городов центральной России, идея самозванчества стала для Пскова знаменем борьбы с иностранной интервенцией»[255].

Таким образом, сложные перипетии классовых взаимоотношений «буего народа» и «добрых», «лутчих» людей в Пскове оказываются в действительности борьбой за свободу и независимость от интервенции любого типа, будь это свои (новгородцы) или чужие (немцы, шведы, литовцы и др.). А сама повесть «О смятении и междоусобии…», написанная с позиций привилегированных псковичей и направленная на осуждение поведения простых горожан, становится невольно своеобразным гимном отчаянности и дипломатии «малоумных», стремившихся в условиях общего «нестроения» сохранить свой город и не дать его разорить и уничтожить.

8. «Негеройские» герои: Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский в исторических повествованиях первой трети XVII в.[256]

«В блестящей плеяде борцов за независимость Русского национального государства, — писал Р.Г. Скрынников, — Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому принадлежит свое особое место. Их имена навсегда связаны с подвигом, который совершил русский народ во имя освобождения родины в 1612 году»[257]. Как отмечали А.В. Кузнецов и А.В. Морохин в обобщающем историографическом труде «Историография ополчения Минина и

---

[254] *Аракчеев В.А.* «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.). С. 59.

[255] Там же.

[256] Первая публикация материала: *Туфанова О.А.* «Негеройские» герои: Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский в исторических повествованиях первой трети XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 3 (77). С. 125–135.

[257] *Скрынников Р.Г.* Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени. М.: Молодая гвардия, 1981. С. 5.

Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени», их деяния принято рассматривать «в связи с преодолением социокультурного, политического кризиса в России начала XVII в. и со спасением страны, судьбоносным утверждением новой династии и изгнанием интервентов»[258]. Начиная с XVIII столетия в трудах отечественных историков сложилась «патриотическая» традиция «освещения истории ополчения под предводительством Минина и Пожарского»[259], во многом опирающаяся на труды И.И. Голикова (1734–1801)[260] и продолженная в историографии XIX, XX и XXI вв.

Круг источников первой трети XVII в., в которых описывается история народного ополчения и на основе которых его организаторы Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский объявляются героями, довольно скуден. Специфика рассказывания о событии и способы изображения героев позволяют разделить эти памятники на две группы. К первой группе относятся «Пискаревский летописец», «Хронограф 1617 года», «Иное сказание», «Летописная книга», «Рукопись Филарета», «Бельский летописец», в которых содержится весьма краткий рассказ об истории ополчения и наблюдается непривычный для древнерусской литературы, почти безоценочный способ изображения героев. Ко второй группе можно отнести «Новый летописец», в котором история ополчения излагается, по сравнению с другими летописными памятниками, довольно подробно, и «Повесть о победах Московского государства», отличающуюся от других источников развитой системой эпитетов, применяемой к героям. Ни одного произведения, специально посвященного Минину и Пожарскому, собранному ими ополчению, нет.

В этом разделе мы остановимся на способах изображения Минина и Пожарского в первой группе памятников, поскольку они представляют собой довольно любопытное явление.

Прежде всего необходимо отметить, что, за исключением «Бельского летописца», в рассматриваемой группе на первый план авторы выдвигают фигуру Кузьмы Минина.

В «Хронографе 1617 года» рассказ о Минине предваряется почти апокалипсическим контекстом, обусловленным смертью другого защитника Русской земли — Прокопия Ляпунова: «И бысть тогда велико уныние и мятежъ во всей земли Русъстей» [Хронограф, с. 352]. И далее автор многократно при общем лаконизме повествования отмечает, что Минина даровал Господь тем, кто его призывал (соответствующие места подчеркнуты): «Но есть <u>бог</u> близ всѣмъ, призывающимъ его. Воистиннѣ по *великой* возпростираемѣй убо <u>милости</u> своей <u>даруетъ</u> ко здравию врачевание. <u>Воздвизаетъ</u> бо нѣкоего <u>от христианска</u>

[258] *Кузнецов А.А., Морохин А.В.* Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. С. 10.

[259] Там же. С. 18.

[260] *Голиков И.И.* Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1840. Т. XII. С. 443–486.

народа, мужа от рода неславна… его же прозваниемъ нарицаху Козма Мининъ, *художествомъ* бяше преже говядаръ» [Хронограф, с. 352].

Аналогичным образом реализуется мотив участия Бога в выдвижении представителя из простого народа в «Пискаревском летописце»: «И некоим смотрением божиим лета 7120-го в Нижнем Новгороде некий торговый человек от простых людей, имянем Козьма, прозвище Минин… почал советовати с своею братьею с нижегородцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити Московскому государьству» [Пискаревский летописец, с. 217].

В других памятниках наблюдается иное сочетание мотивов. Практически все авторы начинают рассказ о Минине с упоминания о его неродовитости, при помощи различных деталей заостряя внимание на том, что он представитель народа, который воспринял «велемудрое разумѣніе». Так, в «Летописной книге» читаем: «В то же время человекъ нѣкий в Нижнемъ Новѣгороде убогою куплею питаяся, сирѣчь продавец мясу и рыбе в требания и в снѣдь людемъ, имя ему Кузма. Той же Кузма отложи свое дѣло и восприемлет велемудрое разумение и смыслъ…» [Летописная книга, с. 414]. Почти дословно эта характеристика повторяется в «Рукописи Филарета» [Рукопись Филарета, с. 55]. Мудрость, направленная на защиту Московского государства, для всех авторов оказывается важнее родовитости, многие из них подчеркивают, что Минин не воин, не воевода, не князь, а торговец, человек из простого народа, который «смыслом мудр» [Хронограф, с. 352], «восприемлет велемудрое разумие и смыслъ» [Летописная книга, с. 424; Рукопись Филарета, с. 55–56], «смышлен и язычен» [Пискаревский летописец, с. 217].

И только в одном памятнике — Бельском летописце — Минин упоминается после князя Д.М. Пожарского. Но и здесь автор отмечает его неродовитое происхождение: «…да от молодчих от торговых людей с ним посацкой человек нижегородец Кузьма Минин…» [Бельский летописец, с. 259].

Не менее важен при создании образа Минина для ряда авторов мотив скорби и болезни души по поводу страданий русских людей и в целом Московского государства. Так, автор «Хронографа 1617 года» пишет: «Видѣ тогда насилуемы многи и зѣло оскорбися и поболѣ Зоровавелски душею за люди господня, всемогущаго бога на помощь призва и молву безчисленых печалей на ся приятъ» [Хронограф, с. 352–354]. Минин изображается как печальник за людей, который искренне переживает душой и сердцем людские бедствия. Патриотизм и действенное милосердие Минина подчеркиваются сравнением с предводителем первого отряда иудеев из Вавилонского плена в Иерусалиме Зоровавелем (1 Езд 2: 64, 65), предваряющим рассказ о его созидательной деятельности в деле грядущего освобождения Москвы. Однако развития данное сравнение не получает, явных и скрытых параллелей не обнаруживается; очевидно, автор «Хронографа 1617 года»

использует традиционный прием укрупнения и возвышения персонажа, но за счет отсутствия полноценной реализации уподобления это сравнение воспринимается как дань традиции, а не как способ героизации и поэтизации личности Минина.

В «Пискаревском летописце» мотив патриотизма и действенного милосердия распространяется не только на Минина, но и на всех нижегородцев: «И почал советовати с своею братьею с нижегородцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити Московскому государьству» [Пискаревский летописец, с. 217]. Сравнение с библейским персонажем отсутствует, образ не героизируется и не выделяется еще из общей народной массы.

В «Летописной книге» мотив патриотизма и действенного милосердия представлен еще более скупо и выражен через конкретное действие: «Той ж Кузма отложи свое дѣло…» [Летописная книга, с. 414]. Аналогично в «Рукописи Филарета»: «Той жъ Козму отложаше своей вещи дѣло…» [Рукопись Филарета, с. 55].

В «Бельском летописце» мотив отсутствует вовсе.

Примечательно, что мотивы мудрости и патриотизма — это два традиционных мотива, которые используются в цикле сочинений о Смуте для создания положительных образов защитников Русской земли. Именно эти мотивы, как правило, применяли авторы для характеристики, например, Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, Прокопия Ляпунова. Но если в отношении воевод эти приемы служили средством героизации и поэтизации образов, то в случае с Кузьмой Мининым эти положительные мотивы используются для объяснения дальнейших его действий, имеющих сугубо практический характер. Почти все авторы пишут далее о том, что он, уповая на Божью помощь, начинает собирать казну для организации войска. Авторы подчеркивают его разумный, рационалистический подход к решению общерусской проблемы. Практический склад ума, род занятий обусловили четкий, последовательный план действий. На первом этапе главным было собрать казну, ибо есть деньги — есть войско. Не случайно все авторы уделяют этому факту большое внимание, правда, с разной степенью детализации. Так, в «Хронографе 1617 года» мотив сбора казны тесно связан с мотивом раздачи жалованья ратным: «Собравъ убо от народа многая сокровища сребра, и одари люди ратныя оброки доволными» [Хронограф, с. 354]. В «Рукописи Филарета» и в «Летописной книге» эти мотивы также связаны, но авторы детализируют, как с помощью денег Минин собирает войско: «…уроки многія собираетъ и изыскуетъ во градѣ людей воинскихъ, которые избыша отъ посѣченія иноплеменныхъ, и сихъ изыскуетъ, жаждущая серца ихъ утоляетъ, наготу ихъ прикрываетъ, и на кони ихъ восаждаетъ, и сими дѣлы собираетъ воинство не мало» [Рукопись Филарета, с. 56; Летописная книга, с. 414].

В «Пискаревском летописце» мотивы, столь же тесно сопряженные, представлены более развернуто, им предшествует упоминание о том, что Кузьма Минин занимался сбором казны и раздачей жалованья «по некоему божию смотрению и по своему умышлению» [Пискаревский летописец, с. 217]: «…и почал в Новегороде казну збирати з гостей и с торговых людей, хто чего стоен: с ыного рубль, с ыного пять и шесть, с ыного десять и дватцать, и пятьдесят, и сто, и двести, и триста, и пятьсот, и тысячю, и болшыи. И свою казну дал тут же всю. И почал давати ту казну бедным разорении людям: бояром и дворяном, и детем боярским, и казаком, и стрельцом, и всяким ратным людем. <…> И почали к нему съезжатись в Нижней Новгород и со всего Московсково государьства бояре, и стрельцы, и всякие служилые люди. А тот Козьма почал жалованье давати, хто чего достоин. <…> и тут к нему почали и достальные люди съежатца: бояре и дворяне, и дети боярские всяких розных городов. И тот Козьма по тем по всем городом повольским и поморским почал казну збирать з гостей и со всяких торговых людей, и жалованье почял давать и поруки иметь, что им служба служить и з [с]лужбы не збежать» [Пискаревский летописец, с. 217].

Автор «Пискаревского летописца» использует в данном случае прием перечней, благодаря которому возникает ощущение масштабности и всеохватности деятельности Минина по сбору средств для войска. Это перечни тех, с кого он собирает казну; перечень-конкретизация, какую «казну» собирал, в виде последовательного перечисления числительных; перечень тех, кто стал приезжать в Нижний Новгород; наконец, перечень тех, кому потом давал жалованье. С этой же целью, очевидно, в тексте повторяются определительные местоимения обобщающего характера: «…со всяких тамошних житейских людей… и всяким ратным людем… всякие служилые люди… всяких розных городов… по всем городом…» [Пискаревский летописец, с. 217]. Эти приемы свидетельствуют не только о размахе деятельности Кузьмы Минина, решившего «пособити Московскому государству», но и об использовании приемов депоэтизации, дегероизации образа Минина, нивелирующих поэтико-героическое звучание мотивов мудрости и патриотизма.

В «Бельском летописце» и вовсе выпущен мотив сбора казны, автор использует только мотив раздачи денежного жалованья, причем делает это Минин не один, а вместе с Д.М. Пожарским, имя которого стоит на первом месте: «И учали им давать князь Дмитрей Михайлович Пожарской да Кузма Минин многие столовые запасы и денежное великое жалованье по тритцати по пяти рублев, смотря по человеку и по службе своим презрением, и учинили ратных людей сытых и конных, и вооруженных, и покойных, и запасных» [Бельский летописец, с. 259]. На первый план здесь выдвинута сама идея сбора боеспособного войска посредством денежного жалованья ратным. Ни Минин, ни

Пожарский при этом не удостаиваются каких-либо положительных характеристик, автор просто констатирует факт: раздали жалованье — и собрали войско. Ни прямых, ни косвенных оценок автор не дает Минину и Пожарскому, следовательно, не приходится говорить о том, что он воспринимает их поступок как героический в сложившихся условиях.

Таким образом, мотивы сбора казны и раздачи жалованья ратным подчеркивают «велемудрое разумие» Минина и Пожарского, но вместе с тем депоэтизируют и дегероизируют их образы, ибо они ведут себя в высшей степени разумно, но не героично.

За исключением «Бельского летописца», во всех текстах активно действует Кузьма Минин, проявляя инициативу и вдохновляя своими идеями нижегородцев, а князь Д.М. Пожарский оказывается ведомым на первом этапе организации народного ополчения и, более того, приглашенным участвовать в «великом деле». Так, в «Пискаревском летописце» отчетливо звучит мотив выбора военачальника: Минин «почал всем градом выбирати к тем ратным людем воеводу» [Пискаревский летописец, с. 217]. Согласно «Хронографу 1617 года», Минин, собрав многие полки, сам уговорил князя Д.М. Пожарского стать во главе войска: «И сице собра полъки многия и военачалника изкусна во бранехъ — князя Дмитрея Михайловича Пожарского над всѣми быти совосприподоби» [Хронограф, с. 354]. Минин уговаривает князя и поручает тому собранное войско и в «Летописной книге», и в «Рукописи Филарета»: «Той же Кузма, слышавше о нем, посылает послов своих, да молят его дабы ѣхал в великий Нижний Новгород, и поручает ему все собранное войско» [Летописная книга, с. 414–416; Рукопись Филарета, с. 56].

Далее во всех рассматриваемых памятниках князь Д.М. Пожарский и Кузьма Минин изображаются как два единомышленника, но образ Минина разработан лучше, чем образ князя Д.М. Пожарского.

Например, в «Хронографе 1617 года» содержится лаконичная и довольно обобщенная характеристика князя как военачальника «изкусна во бранехъ», который «никогда отлучаяся, аки древний Гедеонъ всѣхъ сердца на супротивныя укрѣпляя. И тако со многими вои под Москву приде и благимъ добронравиемъ своим, аки солнечным любовнаго луча свѣтом военачалники совокупи, и всѣхъ храбрых благочестиваго воиньства во едино собра» [Хронограф, с. 354]. Для характеристики князя используется образ библейского героя Гедеона, который, исполняя волю Господа, победил мадианитян[261]. Нигде более в тексте, в повествовании о Смуте, не встречается подобное сравнение. Оно

[261] «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. [Гедеон] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в [колене] Манасенином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как единого человека» (Суд 6: 14–16).

избрано специально для характеристики князя Д.М. Пожарского как удачливого полководца, десница которого оказалась непобедима «содѣтелевым промысломъ» [Хронограф, с. 354]. И сравнение с Гедеоном здесь играет важную, но неоднозначную роль.

С одной стороны, таким способом автор показывает, что Пожарский исполнял Божью волю, и, соответственно, он вроде бы его возвеличивает, указывая, хоть и скрытно, на избранность князя. С другой стороны, его образ неочевидным способом снижается, если вспомнить, что до того, как Господь отправил ветхозаветного героя на битву с мадианитянами, он «выколачивал… пшеницу в точиле» (Суд 6: 14), т. е. явно не собирался этого делать сам и был призван Ангелом Господним на служение. Точно так же и Пожарский был призван Мининым на служение и исполнил свое предназначение. Но исполнил так, что ему поверили. Поверили, поскольку он никуда не отлучался от войска и «благимъ добронравиемъ» объединил разрозненные силы для борьбы с врагом. При этом автор «Хронографа 1617 года» не показывает князя Пожарского в бою, не характеризует его как воина. Главное для него другое — личное присутствие, личный пример и добронравие, которые укрепили сердца ратных «на супротивныя».

Более того, рассказ об освобождении Москвы и Кремля сводится в «Хронографе 1617 года» к лаконичной констатации факта, и главным действующим лицом здесь выступает не князь Д.М. Пожарский, а русские воины: «…приступиша тогда со устроенными на брань орудми ко стѣнамъ града и прияша вои русъския паки Москву в лѣто 7121-го, октября въ 24 день… Потом же и крѣпкий Кремль градъ прияша и множество полскихъ и литовъскихъ людей побиша…» [Хронограф, с. 354].

Таким образом, положительная характеристика князя Пожарского в «Хронографе 1617 года» носит условный характер, выбор падает на него, поскольку он искусный в бранех полководец. Но отсутствие рассказа о его действиях как полководца заставляет предположить, что настоящими героями для автора были отнюдь не Минин и Пожарский, а русские воины. Руководители же народного ополчения честно и дерзновенно исполнили Божью волю и дарованы были «ко здравию» [Хронограф, с. 352].

В «Бельском летописце» князь Д.М. Пожарский и Кузьма Минин изображаются как два единомышленника, которые постоянно действуют вместе, при этом имя князя всегда стоит на первом месте, какие-либо характеристики, авторские комментарии отсутствуют. И весь рассказ об их деятельности и личностях сводится к тому, что они сначала «учали збиратца», а затем шли то в один город, то в другой.

Автор «Бельского летописца» не устает повторять раз за разом на сравнительно небольшом интервале текста полностью имена князя Д.М. Пожарского и Кузьмы Минина. Они постоянно находятся в движении, и это неустанное движение становится их своеобразной совместной характеристикой. При этом только однажды автор «Бельского

летописца» отступает от принципа минимализма, когда повествование о конкретном историческом событии максимально освобождается от каких-либо авторских комментариев и характеристик, факт оказывается важнее сопутствующих рассуждений, и дает опять же общую, одну на двоих, характеристику: «И слыша их строение и доброту ко всем служилым людем, многая рать к ним в Ярославль собралась и учала быть вельми стройна и покойна» [Бельский летописец, с. 259]. Однако данная характеристика появляется в тексте, очевидно, в связи с необходимостью объяснить, как удалось Пожарскому и Минину собрать большую рать, почему люди поверили им и почему они стояли в Ярославле до лета. Как видим, мотив доброты по отношению к ратным, звучавший в «Хронографе 1617 года», повторяется и в этом памятнике, и опять в связи с объяснением, как удалось собрать «многая рать». При этом автор не разделяет Минина и Пожарского, подчеркивая косвенно согласие в их действиях.

Любопытно, что далее в тексте именная «цепочка» увеличивается, но автор, называя имена воевод, тех, кто руководил действиями ополчения, не выделяет особо никого. Так, описывая приход гетмана Хоткевича под Москву, он пишет: «И Московского государьства бояре и воеводы князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да князь Дмитрей Михайлович Пожарской, да Иван Заруцкой, да Козма Минин со всеми ратными людми… встретили его, гетмана Хоткевичя, под Москвою… и был с ними бой велик зело. И… побили и языки поймали и запасы все от них отбили» [Бельский летописец, с. 261]. Аналогичным образом в «Бельском летописце» рассказывается об освобождении Китай-города: «…Московского государьства бояре и воеводы князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да князь Дмитрей Михайлович Пожарской с товарыщы и со всеми Московского государьства ратными людми город Китай приступом взяли и польских и литовских людей много побили и живых поимали» [Бельский летописец, с. 261].

Автор ни разу не нарушает избранную в начале повествования об этом периоде Смуты иерархию и строго ее придерживается: бояре – князья-воеводы – воевода (может упоминаться, а может и отсутствовать имя) – посадский человек – ратные. Никому из них не отводится первостепенной роли, летописец подчеркивает, что действуют они сообща. Не случайно в начале рассказа о совместных действиях князя Пожарского и Минина приводится целый перечень тех, кто начал «сбираться» вместе с ними: «…[с] смольняны, и з беляны, и з дорогобужаны, и вязмечи, и брянчаны, и с рославцы, и с ыными со многими с порубежными с разоренными городами» [Бельский летописец, с. 259]. Далее автор уже не конкретизирует, кто принимал участие в решающих судьбу страны событиях, но методично отмечает: «со всеми ратными… многая рать… со многою силою… со всеми ратными людми… со всеми Московского государьства ратными людми… все ратные люди Московского государьства…» [Бельский летописец, с. 259–261]. Данный факт, очевидно,

свидетельствует о том, что и в сознании автора «Бельского летописца», как и в представлении автора «Хронографа 1617 года», битва за Москву стала всенародным делом, когда на борьбу с врагом поднялись из последних сил все «разоренные» города. И, несмотря на церемониальное и дотошное постоянное перечисление имен руководителей ополчения, их роль в деле освобождения Москвы весьма условна, их имена как руководителей достойны запечатления в истории, но сами их личности не героизируются и не возвеличиваются.

Единственная доминантная характеристика всех руководителей ополчения в памятнике — это их вера. Так, князь Д.М. Пожарский и Кузьма Минин, придя под Москву, «призывая бога на помощь и пречистую богородицу, скорую помощницу… учинили литовским людем… тесноту…» [Бельский летописец, с. 259]. Накануне боя с гетманом Хоткевичем они вместе с другими руководителями ополчения «прося у бога милости и у пречистыя богородицы и у всех московских чюдотворцов» [Бельский летописец, с. 261] — и побили его. Завершая краткий рассказ об освобождении Кремля и Китай-города, автор пишет: «И тако очистил бог дом пречистые Богородицы вселенской и всех московских чюдотворцов от безбожные литвы» [Бельский летописец, с. 261]. Наконец, автор замечает: «И тут ему, королю Жигимонту, ведомо учинилось, что Московское государьство бог очисти…» [Бельский летописец, с. 261].

В «Бельском летописце» мы не найдем подробного рассказа о битве за Москву, Кремль, вместо этого автор приводит текст пространного тайного обращения-поучения патриарха Гермогена «к боярам и к воеводам, и ко всем служилым людем» (та же иерархия, но без имен), в конце которого он говорит: «И поборает по нас господь сам бог…» [Бельский летописец, с. 259–260]. Отсюда становится понятна и главная мысль автора. Победа над врагом одержана благодаря помощи Бога, Богородицы и всех святых; бояре, князья-воеводы (и среди них Пожарский), посадский человек Минин и ратные лишь орудие Божьей помощи, исполнители молитв всего исстрадавшегося народа.

Идея всеобщего единства русских людей в борьбе с врагом важна и для автора «Пискаревского летописца». Используя прием коротких перечней, а также местоимения обобщающего характера, указывающие на всеобщность, всеохватность, он изображает Пожарского среди людского множества: «…и тут к нему (Пожарскому. — *О.Т.*) почали и достальные люди съежатца: бояре и дворяне, и дети боярские всяких розных городов. И тот Козьма по тем по всем городом повольским и поморским почал казну збирать з гостей и со всяких торговых людей… Да в то же время в Ярославле и под Москвою, и в городах крест целовали бояре и дворяне, и казаки, и стрельцы, и всякие служивые и желецкие люди…» [Пискаревский летописец, с. 217]; Пожарский пошел под Москву «со многою силою» [Пискаревский летописец, с. 218]. То же — в рассказе о борьбе за Москву: «…совокупяся

все бояре и воеводы тмочисленными полки Московского государьства, литовских людей побили и языки многия поймали… И город взяли…» [Пискаревский летописец, с. 218]. И в этом памятнике победителем выступают «тмочисленные полки», при этом автор даже не удосуживается конкретизировать имена руководителей ополчения, говоря о них предельно обобщенно: «все бояре и воеводы» [Пискаревский летописец, с. 218].

Таким образом, автор «Пискаревского летописца», можно сказать, и вовсе отказывает князю Д.М. Пожарскому в героизме и упоминает его имя потому, что его выбрали вместе с Мининым нижегородцы и он был в числе тех, кто освобождал Москву. Для него, так же как и для авторов «Хронографа 1617 года», «Бельского летописца», главным героем-освободителем Москвы и в целом Русской земли является народ.

В «Летописной книге» и в «Рукописи Филарета», в отличие от других памятников, содержится любопытный мотив поиска ратных, которые избежали смерти от интервентов. Так, Кузьма Минин, собирая большие налоги, одновременно «изыскует во граде людей воинских, каторыя избыша от посечения иноплеменных» [Летописная книга, с. 414]. Среди них оказывается князь Д.М. Пожарский: «В то ж время случися быть князю Дмитрею Пожарскому на селѣ своемъ, от разорения московского избѣжавшу, понеже раненъ бысть, и от тоѣ раны закоснѣвшу ему на селѣ своем» [Летописная книга, с. 414]. Согласно тексту, князь Д.М. Пожарский случайно оказался в поле зрения Минина, который «слышавше о нем, посылает послов своих, да молят его, дабы ѣхал в великий Нижний Новгород и поручает ему все собранное воинство» [Летописная книга, с. 414–416]. Как видно из приведенных примеров, и в этом памятнике отсутствует характеристика князя, но содержится объяснение, что он делал в своем селе во время «разорения московского».

Далее в «Летописной книге» о действиях князя Пожарского рассказывается буквально в трех предложениях: «Той же князь Дмитрей *прошения их* радостно восприемлет и дѣлу толикая вещи направляет себя охотно… И посемъ воинство пространное собирает, и поидоша с ними *до* града Ярославля, и ту стояху время не мало» [Летописная книга, с. 416]. С.И. Шаховской изображает князя человеком, который с радостью посвящает себя важному делу. Косвенно из контекста следует, что между Мининым и Пожарским было строгое распределение забот. Минин собирал казну для ратных и обеспечивал всем необходимым войско — это его дело: «…уроки многие собирает… и жаждущая сердца их утоляет, и наготу их прикрывает — и сими дѣлы собирает воинство не мало» [Летописная книга, с. 414]; «Той же Кузма о своемъ дѣле непрестанно попечение имѣя, во всѣ грады Росѣйского царства посылает, множества сребра збирает и раздает воинству в пребывание» [Летописная книга, с. 416]. Дело Пожарского — руководство ратными. Ему «поручает» Минин «все собранное войско», которое Пожарский, придя в Нижний Новгород, доукомплектовывает («воинство

пространно собирает»). Затем князь вместе с Мининым и войском приходит к Москве и выходит на «брань смертную» с гетманом Хоткевичем.

Далее С.И. Шаховской ни разу не упоминает имена Пожарского и Минина. Судя по тексту, их главным делом было собрать боеспособное войско и привести его к Москве, что они с успехом и сделали. При этом более подробно говорится о деяниях Минина, и именно его Шаховской характеризует как человека, который «восприемлет велемудрое разумие и смыслъ» [Летописная книга, с. 414]. Князь Д.М. Пожарский не получает даже минимальной характеристики, что резко контрастирует в тексте с хвалебными эпитетами, которыми автор сопровождает, например, имя Прокопия Ляпунова: «И тако паде мертвъ на землю славный сей бодренный воевода Прокофей. <…> началный воевода московского воинства, изрядный властель, предан от своих смерти…» [Летописная книга, с. 414]. По отношению к князю Пожарскому Шаховской единственный раз использует социальную характеристику — «Московского ж воинства воевода и началникъ…» [Летописная книга, с. 414], — подобную той, которую он применяет по отношению к князю Дмитрию Трубецкому и Ивану Заруцкому: «Московстии ж началницы и воеводы, князь Дмитрей Трубецкой и Иванъ Заруцкой…» [Летописная книга, с. 414], — указывающую на должность и род деятельности, но не выражающую авторского отношения к тем, к кому она применяется.

Отсутствие даже оценочных эпитетов, не говоря уже об отсутствии других характеристик, является в «Летописной книге» своеобразным приемом, косвенно выражающим авторское отношение к героям. Если Ляпунов удостаивается положительных эпитетов (Шаховской явно симпатизирует ему, восхищается им как воеводой), то иные московские предводители, чьи имена оставлены без комментариев, очевидно, не вызывают у него подобных эмоций. Они, исходя из меняющихся обстоятельств, выводят войска на бой, автор использует для сообщения об этом почти одни и те же выражения: Пожарский «со всѣми полки своими приходит на брань»; Трубецкой «с полки своими с казаки приходит на брань» [Летописная книга, с. 416].

Во всех случаях мы видим обобщенный образ воевод и предводителей, которые организуют освобождение Москвы, но нигде почти не характеризуются, в отличие от воинов объединенного московского ополчения, от поляков. И в этом памятнике наблюдается, несмотря на пространность рассказа об освобождении Москвы, тот же принцип изображения, та же идея, что и в «Хронографе 1617 года», и в «Бельском летописце», и в «Пискаревском летописце», и то же отношение к князю Д.М. Пожарскому с той лишь разницей, что в этом тексте заслуги воеводы и вовсе не удостаиваются положительных оценок, в отличие от деятельности Минина, который очевидным образом вызывает уважение автора. Князь — фигура более пассивная, нежели продавец мяса и рыбы, его образ практически не разработан, хотя и образ Минина не поэтизируется в

«Летописной книге». Вместе с тем однозначно утверждать это тоже неверно, так как в «Летописной книге» воеводы и руководители московского ополчения, их действия постоянно находятся под пристальным вниманием автора, а поскольку одним из руководителей московского ополчения был Д.М. Пожарский, то данная характеристика может быть распространена и на него. Но это весьма косвенная оценка, индивидуальной характеристики в тексте нет.

Подведем итоги.

1. В большинстве памятников инициатором создания ополчения выступает Кузьма Минин. И это отнюдь не случайность. Во всех текстах, за исключением «Бельского летописца», главная роль в «очищении Московского государства» отводится не начальникам и воеводам, а ратным и простому народу. Вдохновить людей, измученных годами интервенции и гражданской войны, очевидно, мог только представитель народа, не запятнавший свое имя «изменой», готовый отстать от своего дела и полностью посвятить себя освобождению Московского государства[262]. Таковым и явился Кузьма Минин, поэтому его образ в анализируемой группе памятников разработан лучше, нежели образ князя Пожарского, что нашло отражение и в немногих оценочных характеристиках, и в рассказе о его деяниях.

2. В исторических повествованиях первой трети XVII в., во фрагментах, посвященных Кузьме Минину и князю Д.М. Пожарскому, наблюдается сочетание традиционных и новаторских приемов и способов создания образов. Авторы практически отказываются от использования оценочных эпитетов, сравнений, метафор, комментариев и выстраивают характеристики героев путем рассказа о конкретных деяниях, поэтому главным способом создания образов становятся реалистические мотивы сбора казны, раздачи жалованья, патриотизма и действенного милосердия и др. Но благодаря их качественному содержанию у читателя формируется положительный образ организаторов народного ополчения.

3. В широком смысле героическое, отмечал Р.Л. Красильников, — это «репрезентация в литературе самоотверженного преодоления человеком себя, выхода за рамки своих возможностей во имя высокой (не низменной) цели, зачастую требующего от индивида смерти и осмысляемого как подвиг лишь после гибели»[263]. Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский подчинили свои деяния высокой цели «очищения Московского государства», явив «героизм исторической миссии», по терминологии П.А. Сапронова. Но современники событий 1611–1612 г. не им отводят главную роль в «очищении

---

[262] *Забелин И.Е.* Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М.: Тип. В.Ф. Рихтер, 1883. С. 11.

[263] *Красильников Р.Л.* К проблеме героического в теории и истории литературы // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2010. № 2. С. 73.

Московского государства». Об их «радении» пишут все авторы, но ни один из них не использует традиционные приемы и способы героизации и поэтизации, отдавая предпочтение принципу обобщенного документализма и выдвигая на первый план идею единения ратных и руководителей, служение великой цели и благородное, достойное поведение.

П.А. Сапронов в работе «Феномен героизма» обратил внимание на то, что герой, «как и святой, только после смерти завершенно становится героем. Пока он жив, баланс героического и негероического в нем колеблется и не предрешен. Одна смерть ставит все на свои места»[264]. Ранняя смерть от рук завистников сделала абсолютным героем в глазах современников князя М.В. Скопина-Шуйского, что нашло отражение в памятниках эпохи. Иначе сложилась судьба Кузьмы Минина и князя Д.М. Пожарского, эта участь их миновала и, как ни странно, лишила героического ореола в глазах современников. И если в Утвержденной грамоте об избрании Михаила Романова «взятие Москвы» еще «описывается как именно их (вместе с Трубецким) подвиг», то к концу XVII в., согласно «Большой Государственной книге» 1672 г., «просто свершилась воля Божья»[265]. И даже «“народное воображение” не было так уж сильно потрясено подвигом Минина и Пожарского, чему доказательство — отсутствие песен о них, как современных событиям, так и более поздних»[266].

Вместе с тем феномен героического не исчерпывается своим соотношением с проблемой смерти, он, по мнению В.Е. Хализева, многообразен, и не последнюю роль в этом многообразии играют исторические и психологические факторы[267]. В большинстве летописных текстов первой группы авторы довольно быстро от рассказа о действиях Минина и Пожарского переходят к обобщенному повествованию о действиях ратных и к собирательному образу начальников. Вполне вероятно, что в этих памятниках начинают формироваться новые для древнерусской литературы принципы рассказывания о важнейших исторических событиях, кардинально меняющих судьбу страны. Авторы, отказываясь от оценок и прямых характеристик, предоставляют читателю свободу и одновременно таким способом выводят на первый план нового героя — народ, по-прежнему безликий, но великий в служении высокой цели.

Таким образом, в исторических повествованиях первой трети XVII в., во фрагментах, посвященных завершающему этапу Смуты, по-разному акцентированная и реализованная, господствует новая идея: судьбу страны решают не столько единичные личности, сколько народ, ведомый достойными людьми. Именно такими руководителями и

---

[264] *Сапронов П.А.* Феномен героизма. СПб.: Гуманитарная академия, 2005. С. 72.
[265] *Эскин Ю.М.* Дмитрий Михайлович Пожарский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Квадрига, 2018. С. 216.
[266] Там же. С. 217.
[267] См.: *Хализев В.Е.* Теория литературы. С. 76–78.

были Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский в изображении авторов XVII в. И потому их личности не поэтизируются, а деяния не героизируются. Они действительно «негеройские» Герои в литературе первой трети XVII столетия.

***

Итог. Сочинения разных авторов эпохи Смутного времени, несомненно, представляют один из интереснейших этапов развития русской литературы. Осмысляя кризисные трагические события первой четверти XVII столетия, книжники Смуты наполняли свои исторические повествования множеством библейских образов, объясняя современникам через систему хорошо известных, издревле укоренившихся в культуре идей происходящее, а порой и выстраивая на символическом уровне сложную повествовательную модель, позволяющую максимально точно раскрыть и внутренний мир конкретных исторических лиц, так, как он представлялся тому или иному автору, и противоречивую сложность феномена самозванчества на Руси, на символическом уровне возвращающего к бытийным первоистокам, изложенным в Священном Писании. Именно поэтому в произведениях самых разных авторов эпохи Смуты вновь актуализируется прием абстрагирования, но используется в сочинениях по-разному. Большая часть библейских интертекстуализмов и символов носит традиционный характер и вводится в тексты исключительно в качестве готовой вневременной оценки, зачастую механически, изредка превращаясь в сквозной образ-маркер, применяемый по отношению к разным историческим лицам, сходным по своей роли в тех или иных исторических событиях. Меньшая часть интертекстуализмов, развиваемая в памятниках до уровня повествовательной модели изображения того или иного исторического образа или до уровня тонко используемого прогностического мотива, становится ключом к пониманию художественного метода и идей автора. В цикле сочинений о Смуте сталкиваются два подхода в использовании библейских образов и символов: традиционное включение оценочных культурных библейских топосов в конкретное историческое повествование и изысканно-тонкое их вплетение в рассказ о судьбах самозваных правителей, в частности Бориса Годунова и Лжедмитрия I, поразивших современников самой дерзостью слома привычного устоявшегося миропорядка. При этом прием абстрагирования сочетается в цикле сочинений о Смуте с реалистическими приемами изображения персонажей, использование которых иногда приводит к парадоксальным художественным явлениям — дегероизации и депоэтизации прославляемых героев.

События Смутного времени, по верному замечанию Д.С. Лихачева, «перемешали общественное положение людей. И родовитые и неродовитые люди стали играть

значительную роль, если только они обладали способностями политических деятелей»[268]. Это привело не только к «самовыявлению» и «самооправданию» авторов, но и к появлению в памятниках о Смуте нового героя. Наряду с яркими образами царей, самозванцев, иерархов церкви, воевод, главным героем во многих памятниках цикла становится народ, грешный в своих преступлениях перед властью и великий в деле освобождения Московского государства.

[268] *Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. С. 145.

Заключение

Русская литература первой трети XVII в., запечатлевшая события Смутного времени, представляет собой уникальное явление в истории словесности Древней Руси. Посвященная одной главной теме — теме Смуты, — она повествует о важнейших исторических событиях 1598–1613 гг., произошедших вследствие общественно-политического и культурного кризиса, разразившегося в Московском государстве.

Прерывание династии Рюриковичей, чреда самозванцев на русском престоле, польско-литовская интервенция, гражданская война, разделившая общество на разные партии и группировки, принесли беды и скорби всем сословиям Московского государства, но одновременно послужили причиной бурного развития публицистики в период Смуты и исторической литературы в последующие два десятилетия.

Созданные представителями различных сословий эти памятники с разных идейных позиций освещают взволновавшие общество события. Множество точек зрения на причины Смуты, явление самозванства, общественное разделение, различные события этого периода, пути выхода из общегосударственного кризиса, про- или антибоярская направленность произведений обусловили полифонический характер корпуса текстов, написанных в первой трети XVII столетия.

Вместе с тем идейное и художественное многообразие памятников, объединенных одной темой, не исключает их внутреннего единства. Собранные в одно целое, они представляют собой уникальный древнерусский литературный макроцикл, главным структурообразующим элементом которого являются исторические события начала XVII в. Отличаясь друг от друга по времени создания, предназначению, полноте и специфике освещаемых событий, жанрам, памятники имеют внутренние скрепы. Темы роковой вины царей и самозванцев перед русским обществом, общенародного греха и необходимости покаяния, горькое чувство безысходности и порой безвыходности положения, идеи богоустановленности царской власти, Божьего батога, патриотизма, которые пронизывают все памятники макроцикла, предопределили выработанные книжниками свои художественные каноны рассказа об исторических событиях.

Эти каноны во многом сформированы установкой писателей Смуты на правдивость повествования, овеяны стремлением как можно полнее запечатлеть во имя памяти и в назидание потомкам важнейшие моменты одного из сложнейших периодов в истории Руси. Стремление к объективности, открыто продекларированное во многих памятниках цикла, не приводит к обезличиванию манеры повествования. Самые яркие авторские и анонимные произведения («Временник» Ивана Тимофеева, «Сказание» Авраамия Палицына, «Повесть о преславном Росийском царстве», «Повесть о победах Московского государства» и многие

другие) отличает субъективность подачи исторического материала. Благодаря этому макроцикл отличает полифонизм в освещении важнейших событий Смуты.

Внутри макроцикла формируются микроциклы, структурообразующим элементом которых является либо историческое лицо, чья личность или судьба потрясли современников (например, князь М.В. Скопин-Шуйский, Лжедмитрий I, царевич Дмитрий и др.), либо событие, затронувшее все русское общество (например, голод 1601–1603 гг., пленение и освобождение Москвы и др.). Эти микроциклы складываются из отдельных памятников, посвященных тем или иным историческим лицам, и пространных фрагментов и даже целых глав внутри больших исторических сочинений.

Несомненным открытием литературы первой трети XVII в. можно считать трагический цикл, посвященный городам земли Русской, история и своеобразный портрет которых подается сквозь призму конкретных исторических событий. Безусловно, урбанистическая тема не является главной в цикле памятников о Смуте, во многих произведениях рассказы о том или ином городе сводятся к лаконичным эпизодам, а жители оцениваются в их отношении к царям и самозванцам. Но в ряде источников («Временник» Ивана Тимофеева, «Иное сказание») отдельные города предстают полноценными художественными образами, персонифицированными как «правильные» и «неправильные» по отношению к власти.

Глубоко личностное восприятие Ивана Тимофеева трагедии Великого Новгорода, в судьбе которого символично отразилась история других городов земли Московского государства эпохи Смуты, плач от лица города, страдания которого передаются через телесный код, приводит к тому, что город выступает в роли самостоятельного художественного образа. Оригинальный подход Тимофеева к его изображению, по сути, предвосхищает будущее полнокровное развитие «петербургского», «московского» и др. текстов в русской литературе последующего периода.

Но главным городом, о судьбе которого писали практически все авторы Смуты, за исключением отдельных публицистических текстов, была Москва. Сопоставление русских и иностранных источников позволило выявить различное восприятие «царующего» города и отношение к нему. Если для иностранных авторов Москва, оснащенная стратегическими объектами, украшенная церквями, хранительница богатств и сокровищ, является лакомой добычей, то для русских авторов она — матерь городов земли Русской, символ политического притяжения. Покорение «царствующего» города — вожделенная цель и всевозможных претендентов на власть, и интервентов. Его падение — всенародная боль, заставляющая подняться всех, кому не безразлична судьба государства, на борьбу с внешними и внутренними врагами. Отсюда и разные приемы изображения образа города в русских и иностранных сочинениях, тяготеющих, соответственно, либо к религиозно-

символическому методу, либо к стилистике путевых заметок и отчетов тайных агентов. Повышенное внимание к Москве в цикле памятников о Смуте стоит, таким образом, у истоков одной из главных тем в русской литературе.

Трагические события Смуты и истории городов не заслоняют в сознании книжников главное. О чем бы ни повествовали писатели первой трети XVII в., в центре внимания всегда оказывался человек. И драматические истории городов Московского государства предстают под их пером как трагедии людей, свидетельствуя о том, что человек, его индивидуальная и общеродовая судьба являются мерой исторической событий. Это не означает, что авторы сочинений о Смуте отказываются от оценки событий и исторических лиц с позиций вечности. Одной из доминантных идейных установок всех книжников по-прежнему является освещение истории с точки зрения воздействия на нее трансцендентных сил, о чем свидетельствуют сквозные мотивы Божьего участия, Божьей помощи, дьявольского наваждения и зависти. Но, наряду с этими древнейшими объяснениями причин и следствий всего происходящего, огромное внимание книжники первой трети XVII в. уделяют человеку. И микроцикл, посвященный истории городов, не является в этом смысле исключением.

Идейно-тематическое своеобразие памятников о Смуте повлияло и на их жанровую специфику. Многие текстов, какой бы характер они ни носили, публицистический, биографический, исторический, атрибутированы в названии самими книжниками как повесть. Но нечеткость этого понятия применительно к древнерусской словесности, синкретичный жанровый характер большинства произведений, овеянный средневековой литературной традицией создания исторических жанров, обусловил признаваемую всеми медиевистами условность названия цикла («повести Смутного времени») и побудил искать более точное определение. Все чаще в исследовательских работах корпус текстов о Смуте получает общее описательное название — исторические повествования, что представляется справедливым.

В нашем исследовании была предложена классификация по жанровому признаку, позволяющая отразить важнейшие тенденции в литературе первой трети XVII в.: продолжение жанровых традиций древнерусской литературы, начавшуюся трансформацию жанровой системы, что наиболее ярко проявилось в обретении самостоятельности и нового событийного канона рядом «малых» жанров (видение, плач), и, главное, мучительные поиски новых форм запечатления исторических событий. Обращение к неисследованным или недостаточно исследованным памятникам с точки зрения их жанровой природы («Рукопись Филарета», повесть «О бедах и скорбех и напастех…», «Повесть о победах Московского государства» и др.) позволило прийти к следующему заключению. В недрах традиционного жанра исторической повести, взрываемого изнутри введением необычных

«малых» жанров (таких, например, как политическая легенда и новелла), трансформацией веками апробированных жанров (например, повестей о княжеских преступлениях), размыванием устойчивых жанровых канонов воинских повестей, политизацией содержания отдельных «малых» жанровых форм (таких, например, как плач), зарождается новый вид исторического повествования. Нечеткость его формы, равнодушие книжников к устоявшимся в предшествующий период развития жанровым канонам, творческие искания свидетельствует о том, что цикл сочинений о Смуте следует рассматривать как своеобразную зарю, предвосхищающую в дальнейшем развитие ранней Новой литературы и будущие истории государства Российского.

В то же время жанровый синкретизм и нечеткость, новизна трактовок не приводят к полному порыванию с традицией, скорее, наоборот, в них наблюдается синтез стилей, восходящих к различным периодам развития древнерусской литературы. В цикле сочинений о Смутном времени обнаруживаются приемы изображения исторических событий, характерные для стиля «монументального историзма», экспрессивно-эмоционального стиля.

Современные книжникам события по традиции вписываются в контекст общемировой истории, в памятниках актуализируется древний прием абстрагирования. При изображении многих исторических событий используются библейские повествовательные модели. Этот факт свидетельствует не только о литературном мастерстве отдельных книжников, но и о «защитной реакции» (В.В. Бычков) творческого сознания от общественно-политического и культурного кризиса.

Охранительная позиция, религиозно-мистические настроения, обращение к древнейшим приемам и способам изображения исторических событий и лиц удерживают русских авторов в границах высокой нравственности и уважения к человеку, в отличие от иностранцев, оставивших заметки и воспоминания о Смутном времени, с их тяготением к грубому натурализму и увлечением картинными сценами, демонстрирующими недостойное поведение изнуренных и измученных людей.

Принадлежность книжников к той или иной партии делает изображение исторических событий и лиц политически ангажированным. Но политический мифологизм, наследник и продолжатель «информационных войн», знакомых литературе Древней Руси с XI столетия, уживается в памятниках с реалистическими тенденциями, набирающими силу и предвосхищающими развитие реализма.

Главным открытием литературы первой трети XVII столетия, что неоднократно отмечалось в исследовательской литературе, стал человеческий характер. Противоречивые характеристики, портреты исторических лиц, влияние обстоятельств личной жизни на поступки человека, гиперболизация в изображении чувств — все эти новаторские приемы

открывают новую веху в истории русской литературы, подготавливая почву для появления и развития поэтики барокко.

Вместе с тем одним из ведущих методов в изображении исторических лиц в цикле сочинений о Смуте является религиозно-символический. Продолжая традиции древнерусской литературы, книжники, писавшие о событиях 1598–1613 гг., разработали разветвленную систему оценочных метафор и сравнений исторических лиц с библейскими образами, многие их них получили полноценное развитие (например, образы библейского змия и кровоядного лвичища, с которыми сопоставляются Борис Годунов и Лжедмитрий I). Порой библейские мотивы не только используются в качестве оценочной характеристики личности и деяний исторического лица, но и предсказывают его судьбу, являются связующим звеном для разрозненных библейских интертектуализмов. Именно такую роль играет, например, мотив «Содома и Гомора оставшей главни» в ряде памятников.

Многие исторические и публицистические повествования о Смуте пронизывает сложная система символов, иногда образующих контрастные пары, как, например, символы «инорога» и льва во «Временнике» Ивана Тимофеева. Каждый из символов имеет богатую палитру сопоставимых друг с другом отрицательных или положительных значений. В целом же, литературу о Смуте отличает стремление книжников наполнить традиционные символы новым, политически актуальным содержанием.

Продолжая традиции древнерусской литературы, авторы произведений о Смуте основное внимание сосредоточивают на изображении царей, самозванцев, воевод, иерархов церкви. Но в то же время в ряде памятников книжники повествуют о трагических судьбах их жен и детей. Яркой новаторской находкой является использованный во «Временнике» гендерный подход, восходящий к традиции изображения в древнерусской литературе добрых и злых жен. Едва ли не впервые в средневековой словесности дьяк Иван Тимофеев создает психологизированные женские портреты, поданные сквозь призму гендерной дополнительности, зеркальности, зависимости от соответствующих мужских образов.

Страницы произведений о Смуте испещрены именами участников различных исторических событий, главными злодеями времени объявляются лжецари и самозванцы, для изображения которых используются древнейшие приемы, ореолом мученичества окутан образ убиенного царевича Дмитрия, Божественным провидением объясняется обретение его нетленных мощей и прославление нового страстотерпца чудесами исцеления. Казалось бы, в литературе, освещающей историю государства, терпящего бедствия от польско-литовской интервенции, раздираемого гражданской войной, должны были бы появиться безусловные положительные герои-воеводы. Но ничего подобного не наблюдается в цикле сочинений о Смуте. Точнее, при характеристике отдельных воевод, например, Прокопия Ляпунова, используются приемы изображения, восходящие к

воинским повестям и летописям. Но единственный безусловный положительный герой в цикле сочинений о Смуте, при изображении которого используются древнейшие орнаментальные приемы, берущие истоки в ораторской, житийной, исторической литературе, — это князь М.В. Скопин-Шуйский. Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский, организовавшие народное ополчение на борьбу за независимость и свободу Московского государства, не героизируются и не поэтизируются в памятниках о Смуте. Изображая их личности и деяния, практически все авторы отказываются от традиционных для древнерусской литературы оценочных средств, впервые в истории развития средневековой словесности образы «негеройских» Героев создаются на основе большой палитры реалистических мотивов. Актуализация не новой для древнерусской литературы идеи единения ратных и руководителей, служение великой цели приводит к совершенно неожиданным идейно-художественным новациям: судьбу страны решают не единичные личности, а народ, ведомый достойными людьми, и потому не воеводы становятся главными героями рассказов о народном ополчении 1611–1612 гг., а народ.

В памятниках, посвященных событиям Смуты, таким образом, был открыт новый герой — народ, который уже не изображается как молчаливый свидетель деяний правителей и покорный воле власть предержащих участник исторических событий. От его воли, что показали все авторы, зависит царская власть. От его воли зависит бытие государства. Обвиняемый в грехах всеми книжниками, представителями разных сословий, этот народ мучительно решал для себя вопросы веры и неверия в чудесное спасение царевича Дмитрия, правдами и неправдами защищал свои семьи и города, организовывал себя на защиту государства, передавая рассказы о видениях, укреплявших покаянные настроения и боевой дух. Его героизм и стойкость были воспеты немногими авторами («Повесть о победах Московского государства»). А попытки осудить «буий» народ за обращение с «лучшими» людьми привели к иным результатам — созданию гимна в честь «малоумных» (повесть «О смятении и междоусобии…»), которые на протяжении всего Смутного времени, колеблясь между царями и самозванцами, вставая под знамена И. Болотникова, и пр. и пр., стремились сохранить и защитить православную веру, свои семьи и дома, спасти Московское государство.

Исследование цикла сочинений о Смуте привело к еще одному неожиданному открытию, связанному с мало изученными псковскими летописными повестями. Рассматривая повесть «О бедах и скорбех и напастех…», ученые, сосредоточив внимание на антибоярской направленности памятника, что было во многом обусловлено спецификой политической ситуации в нашей стране в конце XIX – первой половине XX вв., включили в ее состав отдельный текст — повесть «О царском избрании на Московское государство». Между тем анализ пространных названий произведений, тематические и временные

границы, специфика жанровых форм и набор используемых в текстах изобразительно-выразительных приемов показал, что повесть «О царском избрании на Московское государство» представляет собой самостоятельный текст, который не входит в состав повести «О бедах и скорбех и напастех…».

В целом, в древнерусской литературе первой трети XVII в., посвященной событиям Смутного времени, наблюдается сложное переплетение и взаимодействие новаторских подходов к изображению важнейших исторических событий и лиц с традиционными стилями и приемами, характерными для средневековой словесности XI–XVI вв. Две основные противоположные тенденции определяют художественное своеобразие цикла сочинений о Смуте — стремление сохранить литературную традицию и разрушение канонов изобразительности. Трансформации традиционных моделей повествования и жанровых канонов, наполнение типичных приемов актуальным общественно-политическим содержанием, противоречивое множество изобразительно-выразительных средств внутри каждого текста и цикла как общего свидетельствуют о поиске новых форм запечатления исторических событий. А сама древнерусская литература этого периода открывает новую страницу в развитии русской исторической прозы и в целом русской литературы и в этом смысле действительно представляет собой художественный феномен.

Список литературы

1. *Абишева С.Д.* Поэтическая система «Мир природы»: структура и семантика. Алматы: Алматинский гос. ун-т им. Абая, 2002. 268 с.
2. *Абрамович Г.В.* Князья Шуйские и Российский трон. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. 192 с.
3. *Адрианова-Перетц В.П.* Исторические песни XVII века и устное народное творчество // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 9. С. 67–96.
4. *Адрианова-Перетц В.П.* О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI–XV вв.) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 16. С. 5–35.
5. *Адрианова-Перетц В.П.* Об основах художественного метода древнерусской литературы // Русская литература. 1958. № 4. С. 61–70.
6. *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 188 с.
7. *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* Литература 1590–1612 гг. // История русской литературы: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. II, ч. 2: Литература 1590-х – 1690-х гг. С. 28–44.
8. *Адрианова-Перетц В.П., Боровский Б.М., Воронин Н.Н., Еремин И.П., Комарович В.Л., Лихачев Д.С., Покровская В.Ф., Скрипиль М.О., Шамбинаго С.К.* «Смутное время» в изображении литературных памятников 1612–1630 гг. // История русской литературы: в 10 т. / ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 2, ч. 2: Литература 1590–1690 гг. С. 45–77.
9. Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. Т. 4: 1588–1632. 584 с.
10. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836. Т. 2. 413 с.
11. *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси: Эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII века. М.: РГГУ, 2009. 424 с.
12. *Анциферов Н.П.* Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций / сост., подгот. текста, послесловие Д.С. Московской. М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2009. 584 с.

13. *Аракчеев В.А.* «Смутное время» и Псковская земля (1608–1612 гг.) // Псков. 2003. № 18. С. 49–60.
14. *Архангельская А.В.* Литература Смутного времени. URL: https://www.portal-slovo.ru/philology/37365.php (дата обращения: 22.03.2013).
15. *Архимандрит Макарий (Веретенников).* Монахиня Ольга (Годунова) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 3 (9). С. 92–97.
16. *Афанасьев А.Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М.: Изд-е К. Солдатенкова, 1865. Т. I. 804 с.
17. *Афонина Е.Ю.* Поэтика авторского прозаического цикла: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2005. 24 с.
18. *Белоброва О.А.* К изучению «Повести о некоей брани» и ее автора Евстратия // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1970. Т. 25. С. 150–161.
19. *Белоброва О.А.* Кипрский цикл в древнерусской литературе. М.: Наука, 1972. 112 с.
20. *Белова О.В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М.: Индрик, 2001. 318 с.
21. *Белоусова О.О., Дашевская А.А.* Поэтика цикла и книги в современном литературоведении // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. С. 6–14.
22. Бельский летописец // Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1978. Т. 34. С. 238–271.
23. *Бер М.* Летопись Московская, с 1584 года по 1612 // Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. I. СПб.: Тип. Имп. Рос. Акад., 1831. С. 79–85.
24. *Бессонов П.* Калеки перехожие: сб. стихов и исследований. СПб.: Тип. А. Семена, 1861. 852 с.
25. Библия. Острог, 1581.
26. *Биленкин В.* «Чтение» прп. Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 47. С. 54–64.
27. Благовещенский собор // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: http://www.pravenc.ru/text/149295.html (дата обращения: 31.08.2011).
28. *Боброва Е.В.* Функция мотива в лирическом цикле (на примере цикла стихотворений «Курганная царевна» Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 818–820.
29. *Богуславский В.В.* Славянская энциклопедия: XVII век: в 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. Т. 2: Н – Я. 783 с.

30. *Боева Л.* Древнерусские повести (жанры XVII века). София: Университетское изд-во им. «Св. Климента Охридского», 1992. 220 с.

31. *Борисова И.Н.* Русский разговорный диалог. Структура и динамика. М.: Либроком, 2005. 320 с.

32. *Бочкарев В.Н.* Современники и смута // Смутное время в Московском государстве: сб. ст. с иллюстрациями. М.: Задруга: Тип. П.П. Рябушинского, 1913. С. 258–284.

33. *Буганов В.И., Корецкий В.И., Станиславский А.Л.* «Повесть, како отомсти…» – памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1974. Т. 28. С. 231–254.

34. *Бугославский С.А.* Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе: историко-литературное исследование // *Бугославский С.А.* Текстология Древней Руси. М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. 2: Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе / сост. Ю.А. Артамонов. С. 7–360.

35. *Буланин Д.М., Панченко А.М.* Фуников Иван // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т – Я. С. 187–190.

36. *Буслаев Ф.И.* Общие понятия о русской иконописи. М.: Тип. Грачева и К°, 1866. 106 с.

37. *Буссов К.* Московская хроника // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 9–158.

38. *Бушуев С.В., Миронов Г.Е.* История государства Российского: в 2 кн. М.: Книжная палата, 1991. Кн. 1: IX–XVI вв. 542 с.

39. *Бычков В.В.* Древнерусская эстетика. СПб.: Центр гуманитарных исследований, 2011. 832 с.

40. *Васенко П.Г.* «Забелинская» редакция первых шести глав «Истории» Палицына // Сборник статей в честь А.И. Соболевского / под ред. В.Н. Перетца. Л.: АН СССР, 1928. С. 100–102.

41. *Васенко П.Г.* Дьяк Иван Тимофеев — автор «Временника» (к истории перелома в развитии древнерусской исторической мысли) // Журнал министерства народного просвещения. 1908. Новая серия, Ч. XIV. С. 88–121.

42. *Васенко П.* Заметки к статьям о Смуте, включенным в Хронограф редакции 1617 года // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пб.: Огни, 1922. С. 248–269.

43. *Васенко П.* Общественное разложение в Смутное время (в изображении Авраамия Палицына) // Русское прошлое. Ист. сб., V / под ред. С.Ф. Платонова, А.Е. Преснякова и Юлия Гессена. М.; Пг.: Петроград, 1923. С. 24–34.

44. *Василик В.В.* Образ самозванца в нарративе первой трети XVII в.: Лжедимитрий как Юлиан Отступник и Антихрист // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2012. С. 29–33.

45. *Васильев А.Г.* Композиционные особенности похоронных причитаний // Русский фольклор. Л.: Наука, 1971. Т. XII. С. 91–101.

46. *Вилинбахов Г.В.* Русские знамена XVII века с изображением единорога // Сообщения Государственного Эрмитажа. Л., 1982. Т. 47. С. 22–24.

47. *Виноградов В.В.* Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. 516 с.

48. *Вовина В.Г.* Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского летописания // Отечественная история. М., 1992. № 5. С. 117–130.

49. *Вовина В.Г.* Новый летописец. Итоги и проблемы изучения // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: сб. ст. М.: Ин-т истории СССР, 1987. С. 61–88.

50. *Вовина-Лебедева В.Г.* Новый летописец: история текста. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. 400 с.

51. *Воскобойник Н.И.* Отражение общественного сознания Смутного времени в агиографии: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993. 19 с.

52. Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной; под ред. члена-корреспондента АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. 509 с.

53. *Гареева Л.Н.* Вопросы теории цикла (лирического и прозаического) // «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева: Вопросы поэтики. Ижевск: УдГУ, 2004. С. 19–82.

54. Герб и флаг России X–XX века / авт. кол.: В.А. Артамонов, А.Л. Хорошкевич и др. М.: Юрид. лит., 1997. 558 с.

55. *Геркман Э.* Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый самозванцем // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 211–262.

56. *Гладкая М.С.* Изображение львов в резьбе Дмитриевского собора во Владимире. Владимир: [Б. и.], 2002. 153 с.

57. *Гладкова О.В.* Об одной палестинской традиции в Жизнеописании преп. Серафима Саровского (сюжет о происхождении медведя) // Макариевские чтения. Можайск, 2006. Вып. 13. С. 280–293.

58. *Голиков И.И.* Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1840. Т. XII. 620 с.

59. *Головенченко А.* Цикл // Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. С. 456.

60. *Гордеев Н.П.* Риторика обличителей и почитателей Дмитрия Самозванца // Вестник Общества исследователей Древней Руси за 2001 г. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 76–80.

61. *Гудзий Н.К.* К вопросу о составе «Летописной книги» приписываемой князю Катыреву-Ростовскому // Труды Отдела древнерусской литературы М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. Т. 14. С. 290–297.

62. *Гумилев Л.Н.* От Руси до России. URL: http://gumilev.narod.ru/p3ch02.htm (дата обращения: 19.01.2015).

63. *Гура А.В.* Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 910 с.

64. *Гурари М.Н., Лащенко Н.С.* Москва — лицо России, материализованный компонент общенациональной идеи // Национальная идея России: материалы Всеросс. науч. конф., 12 ноября 2010 г. М.: Научный эксперт, 2010. С. 483–487.

65. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1991.

66. *Данилевский И.Н.* Библеизмы Повести временных лет // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Тип Мин-ва культуры СССР, 1997. Сб. 3 / отв. ред. А.Н. Ужанков. С. 75–103.

67. *Даннинг Ч.* Была ли в России в начале XVII века крестьянская война? // Вопросы истории. 1994. № 9. С. 21–33.

68. *Дарвин М.Н.* Лирический цикл: часть и целое («Северное море» Г. Гейне) // Типологические категории в анализе литературного произведения как целого. Кемерово: КемГУ, 1983. С. 21–43.

69. *Дарвин М.Н.* Русский лирический цикл: проблемы истории и теории. На материале поэзии первой половины XIX века. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 137 с.

70. *Дарвин М.Н.* Цикл // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: учеб. пособие / Л.В. Чернец [и др.]. М.: Высшая школа, Академия, 1999. С. 482–496.

71. *Дарвин М.Н., Тюпа В.И.* Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, 2001. 292 с.

72. *Демин А.С.* Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и изображения) / отв. ред. д-р филол. наук В.П. Гребенюк. М.: Языки славянской культуры, 2015. 488 с.

73. *Демин А.С.* Древнерусские рукописные книжные предисловия XI–XII вв. (на пути к массовому читателю) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 12–26.

74. *Демин А.С.* Материалы для монографии о художественной эволюции древнерусской литературы // Герменевтика древнерусской литературы. М.: [Б.и.], 2014. Сб. 16–17 / отв. ред. М.В. Первушин. С. 585–690.

75. *Демин А.С.* О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона до Ломоносова. М.: Языки славянской культуры, 2003. 760 с.

76. *Демин А.С.* О художественности древнерусской литературы / отв. ред. В.П. Гребенюк. М.: Языки русской культуры, 1998. 848 с.

77. *Демин А.С.* Русские старопечатные предисловия и послесловия начала XVII в. («великая слабость» в Смутное время) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 188–203.

78. *Демин А.С.* Художественная семантика древнерусских литературных форм и средств (часть монографии) // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О.А. Туфанова. С. 181–273.

79. *Демкова Н.С.* Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники: сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. 219 с.

80. *Державина О.А.* К истории создания «Летописной книги», приписываемой кн. Катыреву-Ростовскому // Ученые записки Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. М., 1955. Т. XLVIII, вып. 5. С. 29–45.

81. *Державина О.А.* «Сказание» Авраамия Палицына и его автор // Палицын Авраамий. Сказание Авраамия Палицына / подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и Е.В. Колосовой; под ред. Л.В. Черепнина; Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 16–63.

82. *Державина О.А.* Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском // Ученые записки МГПИ. Каф. рус. лит. М.: МГПИ, 1946. Т. 7, вып. 1. С. 21–34.

83. *Державина О.А.* Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник» // Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной / под ред. члена-

корреспондента АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. С. 351–409.

84. *Державина О.А.* Историческая повесть первой трети XVII века (Опыт литературного анализа «Летописной книги», приписываемой И.М. Катыреву-Ростовскому, «Временника» дьяка Ивана Тимофеева и «Сказания» Авраамия Палицына): дис. … д-ра филол. наук. М., 1958.

85. *Державина О.А.* Исторический и географический комментарий // Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной; под ред. члена-корреспондента АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. Репринтное воспроизведение издания 1951 года. СПб.: Наука, 2004. С. 451–505.

86. *Державина О.А.* К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской исторической повести начала XVII века // Ученые записки Московского городского педагогического института имени В.П. Потемкина. М., 1957. Т. LXVII, вып. 6. С. 77–91.

87. *Державина О.А.* К проблеме поэтического стиля исторической повести начала XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 14. С. 298–303.

88. *Державина О.А.* Повесть древнерусская // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1965. Т. 5. С. 818–820.

89. *Дмитриев Л.А.* Литературная история памятников Куликовского цикла // Сказания и повести о Куликовской битве. Л.: Наука, 1982. С. 306–359.

90. *Дмитрий Юревич, свящ.* Библейские основания Таинства Покаяния // V Международная богословская конференция Русской православной церкви «Православное учение о церковных таинствах. Москва, 13–16 ноября 2007. URL: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/pokayanie2/pokayanie1-all.shtml (дата обращения: 11.06.2015).

91. *Дробленкова Н.Ф.* «Новая повесть о преславном Российском царстве» и современная ей агитационная письменность. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 239 с.

92. *Дудко А.П.* Мемуарно-биографическое начало в исторических повестях начала XVII века о Смуте: автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2013. 18 с.

93. *Дудко А.П.* Портрет как средство выражения субъективного начала в повестях о Смутном времени // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 5 (68). С. 99–105.

94. *Дурново Н.Н.* К истории сказаний о животных в старинной русской литературе // Древности. Труды славянской комиссии Императорского Московского

археологического общества. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1902. Т. 3 / Изд. под ред. М.И. Соколова. С. 45–118.

95. *Евсеев И.Е.* Заметки по древнеславянскому переводу Св. Писания. V. Толкования на книгу пророка Даниила в древнеславянской и старинной русской литературе // Древности. Труды славянской комиссии Императорского Московского археологического общества / Изд. под ред. М.И. Соколова. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1902. Т. 3. С. 1–44.
96. *Егорова О.Г.* Проблема циклизации в русской прозе первой половины XX века: дис. … д-ра филол. наук. Астрахань, 2004. 529 с.
97. *Елассонский А.* Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени / Конрад Буссов. Арсений Елассонский. Элиас Геркман. «Новый летописец». М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 163–204.
98. *Енин Г.П.* Евстратий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 1: А – З. С. 285.
99. *Енин Г.П.* О Выдубецком списке «Повести о некоей брани» и ее авторе // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 237–241.
100. *Енин Г.П.* «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 36–38.
101. *Енин Г. П.* Писатель начала XVII в. протопоп Терентий и его сочинения о смуте в рукописях Публичной библиотеки // Исследования памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Л.: ГПБ, 1988. С. 18–30.
102. *Енин Г.П.* Повесть о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 136–138.
103. *Енин Г.П.* Повесть о победах Московского государства // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.),ч. 3: П – С. С. 165–167.
104. *Енин Г.П.* «Повесть о победах Московского государства» — новонайденный памятник древнерусской литературы // Повесть о победах Московского государства. Л.: Наука, 1982. С. 73–134.
105. *Енин Г.П.* «Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Москве, и о разстриге Гришке Отрепьеве, и о похождении его» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 386–388.

106. *Еремин И.П.* Лекции по древней русской литературе. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 208 с.

107. *Еремин И.П.* О художественной специфике древнерусской литературы // Русская литература. 1958. № 1. С. 75–82.

108. *Жарков И.А.* «Новый летописец» по списку М.А. Оболенского // Летописи и хроники. 1973 г. М.: Наука, 1974. С. 293–298.

109. *Жегалова С.К.* Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1975. 192 с.

110. *Забелин И.Е.* Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М.: Тип. В.Ф. Рихтер, 1883. 329 с.

111. Законъ Божий для семьи и школы / сост. Протоиерей Серафимъ Слободской. Репринт. изд-е Николо-Волосовского монастыря, 1999. 722 с.

112. Записки гетмана Жолкевского о Московской войне, изданныя Павлом Александровичем Мухановым. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. 298 с.

113. *Зенкин С.Н.* Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 368 с.

114. *Зиборов В.К.* Об авторе так называемой повести Катырева-Ростовского // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 244–250.

115. *Зиборов В.К.* Рукопись Филарета // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 318–320.

116. *Зотов А.М.* «Новый летописец» как памятник литературы первой трети XVII века: дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 1999. 228 с.

117. *Иванов Ф., свящ.* Церковь в эпоху Смутного времени на Руси. Екатеринослав: Типо-Литография Губернского Правления, 1906. 276 с.

118. *Иванова М.В.* Древнерусская житийная традиция как основа последующей русской прозы // Функциональная семантика, семиотика знаковых систем и методы их изучения. М.: РУДН, 2009. С. 186–189.

119. Из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия» // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1999. Т. 2: XI–XII века. С. 254–293.

120. Из хронографа 1617 года // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 318–357.

121. *Иконников В.С.* Князь М.В. Скопин-Шуйский. Критико-биографический очерк // Древняя и новая Россия. Иллюстрированный ежемесячный исторический сборник. СПб., 1875. Т. II, № 5. С. 20–32. № 6. С. 129–140. № 7. С. 217–231.

122. *Иконников В.С.* Новые исследования по истории Смутного времени Московского государства. Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1889. 101 с.

123. *Иловайский Д.И.* История России: в 5 т. М.: тип. Грачева и К°, 1876–1905.

124. *Иоанн Златоуст.* Беседа XVI. О падении первозданных // Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского избранные творения. Беседы на Книгу Бытия. Т. 1. Репринтное издание. М.: Издат. отдел Московского Патриархата, 1993. С. 126–137.

125. *Иов.* Повесть о житии царя Федора Ивановича // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 74–129.

126. История русской литературы XI–XVII веков / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др.; под ред. Д.С. Лихачева. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. 432 с.

127. *Каменцева Е.И., Устюгов Н.В.* Русская сфрагистика и геральдика. М.: Высшая школа, 1963. 224 с.

128. *Каравашкин А.В.* Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). Изд. 2-е, доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 720 с.

129. *Каравашкин А.В.* Риторика Смуты: «Временник» Ивана Тимофеева // Древняя Русь: Пространство книжного слова. Историко-филологические исследования / отв. ред. В.М. Кириллин. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 334–350.

130. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1997. Т. V–VIII. 576 с.

131. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1997. Т. IX–XII. 592 с.

132. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов: в 3 кн. Изд. 5-е. М., 1988. Кн. 3. Т. IX, X, XI, XII. 213 с.

133. *Каргалов В.В.* Московские воеводы XVI–XVII вв. 2 изд-е. М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2006. 336 с.

134. *Карнеев А.Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб.: Имп. Об-во любителей древней письменности, 1890. 463 с. разд. паг.

135. *Квирквелия О.* История и методы ее измерения. URL: http://libed.ru/knigi-nauka/877954-4-o-kvirkveliya-istoriya-metodi-izmereniya-vvedenie-istoriya-nauka-ponimayuschaya-ili-obyasnyayuschaya-osoznanie-specifiki.php (дата обращения: 02.09.2019).

136. *Керлот Х. Э.* Словарь символов. М.: REFL-book, 1994. 601 с.

137. *Кириллин В.М.* Именования Владимира Великого в прославляющих его гимнографических текстах как рефлекс восприятия русским общественным сознанием исторического и инобытийного служения князя // Studia Litterarum. 2019. Т. 4, № 1. С. 176–201.

138. *Кириллин В.М.* Оценки Владимира Святославича посредством исторических аналогий в ранних русских гомилиях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2016. № 2 (64). С. 90–97.

139. *Кириллин В.М.* Развитие состава эпитетов, характеризующих Владимира Святого в посвященной ему древнерусской гимнографии // Вестник славянских культур. 2018. Т. 48. С. 113–136.

140. *Ключевский В.О.* Курс русской истории: в 5 ч. СПб., 1904–1922.

141. Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В.С. Голышенко, В.Ф. Дубровина. М.: Индрик, 1997. 774 с.

142. *Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.

143. *Коваленко А.Г.* Циклизация в современной прозе (Проблема целостности) // Филологические науки. 1987. № 3. С. 3–9.

144. *Козляков В.Н.* Рец.: Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича / Институт российской истории РАН. М.: Наука, 2005. 467 с. 700 экз. // Отечественные архивы. 2006. № 2. С. 109–114.

145. *Козляков В.Н.* Смута в России. XVII век. М.: Омега, 2007. 528 с.

146. *Кондратьев А.* О так называемой Рукописи Филарета // Журнал Министерства народного просвещения. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1878. Ч. CXCIX. С. 22–83.

147. *Конявская Е.Л.* Комплексный подход и основные направления в изучении древнерусской литературы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 3 (9). С. 18–21.

148. *Копанев А.И.* Новые списки «Повести о видении некоему мужу духовному» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. 16. С. 477–480.

149. *Корецкий В.И.* Формирование крепостного права и первая Крестьянская война в России. М.: Наука, 1975. 390 с.

150. *Корнель П.* Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. СПб.: Азбука, 1999. 168 с.

151. *Коротченко М.А.* Влияние сочинений Иосифа Волоцкого на исторические повести о Смутном времени // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 2000. Сб. 10 / отв. ред. М.Ю. Люстров. С. 396–428.

152. *Коротченко М.А.* Композиционная роль повторяющихся мотивов в «истории в память предидущим родом» Авраамия Палицына // Вестник общества исследователей Древней Руси за 2000 г. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 16–30.

153. *Коротченко М.А.* Повести о Смутном времени // История древнерусской литературы: Аналитическое пособие / отв. ред. А.С. Демин. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 150–203.

154. *Коротченко М.А.* Публицистика смутного времени (проблематика, проблема авторской позиции, влияние церковной публицистики конца XV – начала XVI вв.): дис. … канд. филол. наук. М., 1998. 224 с.

155. *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2009. 1024 с.

156. *Красильников Р.Л.* К проблеме героического в теории и истории литературы // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2010. № 2. С. 70–80.

157. *Кремлева И.А.* Похоронно-поминальные обряды у русских: связь живых и умерших // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков. Итоги этнографических исследований. М.: Наука, 2001. С. 72–87.

158. *Кремлева И.А.* Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М.: Наука, 2005. С. 517–532.

159. *Кузнецов А.А., Морохин А.В.* Историография ополчения Минина и Пожарского в контексте изучения истории Смутного времени. URL: http://www.unn.ru/books/met_files/opolch.pdf (дата обращения: 12.01.2019).

160. *Кузнецов Б.В.* Видения и знамения в контексте массовых представлений в Смутное время в России. URL: http://www.portal-slovo.ru/history/43770.php (дата обращения: 12.02.2012).

161. *Кузнецов Б.В.* События Смутного времени в массовых представлениях современников: «Видения» и «Знамения», их значение в этот период: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997. 16 с.

162. *Кукушкина М.В.* Семен Шаховской — автор Повести о Смуте // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М.: Наука, 1975. С. 75–78.

163. *Кулик А.Г.* Лирическая циклизация как особый тип текстопостроения (на материале третьего тома «Лирической трилогии» А. Блока): дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2007. 167 с.

164. *Кусков В.В.* Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII в.: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1980.

165. *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. 5-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1989. 304 с.

166. *Кушева Е.Н.* Из истории публицистики Смутного времени XVII века // Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1926. Т. V. С. 21–97.

167. *Лазуткина М.Г.* Формирование художественного образа самозванца Лжедмитрия I в русской литературе XVII–XIX веков: дис. … канд. филол. наук. М., 2003. 208 с.

168. *Лакиер А.Б.* Русская геральдика. М.: Книга, 1990. 397 с.

169. *Ламкина Г.П.* Самозванство в XVII веке: идеологическое и социально-политическое содержание: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2012. 28 с.

170. *Ле Гофф Ж.* Средневековый мир воображаемого / пер. с фр. Е.В. Морозовой; общ. ред. С.К. Цатуровой. М.: Издат. группа «Прогресс», 2001. 440 с.

171. *Левшун Л.В.* Категория жанра в средневековой восточнославянской книжности: жанр и канон // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 4 (26). С. 101–116.

172. *Линч К.* Образ города / пер. с англ. В.Л. Глазычева; сост. А.В. Иконников; под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982. 328 с.

173. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 1600 с.

174. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. / под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Т. 2: П – Я. Стб. 577–1198.

175. *Лихачев Д.С.* Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси // *Лихачев Д.С.* Избранные работы: в 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 2. С. 3–342.

176. *Лихачев Д.С.* Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. 406 с.

177. *Лихачев Д.С.* К изучению художественных методов русской литературы XI–XVII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 20. С. 5–28.

178. *Лихачев Д.С.* Повести о Николе Заразском (тексты) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. Т. 7. С. 257–406.

179. *Лихачев Д.С.* Подступы к решительным переменам в строении литературы // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 5–22.

180. *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 360 с.

181. *Лихачев Д.С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.

182. *Лихачев Д.С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 499 с.

183. *Лихачев Д.С.* Система литературных жанров Древней Руси // Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 47–70.

184. *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. 3-е изд. М.: Наука, 2006. 202 с.

185. *Лихачев Д.С.* Черты подражательности «Задонщины» (к вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве») // Русская литература. 1964. № 3. С. 84–107.

186. *Лихолат С.В.* Сказание о Гришке Отрепьеве как историко-публицистический памятник начала XVII века // Збірник наукових працъ аспірантів в філології Київсъкого держ. ун-ту. 1963. № 18. С. 46–52.

187. *Логинова А.С.* Провинциальные «лжецаревичи» Смутного времени и отражение самозванчества в русской общественной мысли первой трети XVII века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Нижневартовск, 2004. 25 с.

188. *Логунова Е.В.* Поэтика русского исторического повествования 20-х годов XVII века: Топика и библеизмы: дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 170 с.

189. *Ложкова Т.А.* «Ямбы» В.К. Кюхельбеккера как лирический цикл // Уральский филологический вестник. 2016. № 4. С. 56–69.

190. *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа // *Лосев А.Ф.* Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 21–186.

191. *Лурье Я.С.* Общерусские летописи XIV–XV вв. Л.: Наука, 1976. 283 с.

192. *Ляпина Л.Е.* Жанровая специфика литературного цикла как проблема исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1990. С. 220–230.

193. *Ляпина Л.Е.* Лирический цикл в русской поэзии1840–1860-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1977. 11 с.

194. *Ляпина Л.Е.* Литературная циклизация: (К истории изучения) // Русская литература. 1998. № 1. С. 170–179.

195. *Ляпина Л.Е.* Проблема целостности лирического цикла // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. Донецк: Изд-во «Радянська Донеччина», 1977. С. 164–166.

196. *Ляпина Л.Е.* Русские литературные циклы (1840–1860 гг.). СПб.: Изд-во РГПУ, 1993. 114 с.

197. *Маландин В.В.* Церковь и государство в патриаршество Филарета: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996. 16 с.

198. *Малиновский Н.Л.* Причитания или заплачки по умершим // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1886. Вып. 2. Отд. 2. С. 42–47.

199. *Маржерет Ж.* Состояние Российской державы и великого княжества Московского // Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск: Русич, 2003. С. 10–76.

200. *Масса И.* Краткое известие о Московии // Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск: Русич, 2003. С. 77–256.

201. *Медведев А.В.* Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. 152 с.

202. *Менделеева Д.С.* Древнерусский «судебный цикл»: «Повесть о Петре царевиче Ордынском» и «Повесть о Ерше Ершовиче» // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О.А. Туфанова. С. 446–451.

203. *Мильков В. В.* Осмысление истории в средневековой Руси. Изд-е 2-е, испр., доп. СПб.: Алетейя, 2000. 384 с.

204. *Митрофорный протоиерей Александр Соколов.* Поборник Российской Державы в смутное время: (о жизни князя М.В. Скопина-Шуйского). Изд. 2-е. Нижний Новгород: [Б. и.], 2009. 351 с.

205. *Михайлова Т.В.* Свидетельства праведности царской власти в повестях Смутного времени // Религия и нравственность в секулярном мире. Материалы научной конференции. 28–30 ноября 2001 года. Санкт-Петербург. Вып. 20. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 209–214.

206. *Могилев М.С.* Русское духовенство в Смутное время. Петрозаводск: Олонец. губ. тип., 1905. 20 с.

207. *Мокляк В.И.* Поэтика фантастического в древнерусских житийных циклах // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 4 (15). С. 8–12.

208. *Морозова Л.Е.* Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича. М.: Наука, 2005. 467 с.

209. *Морозова Л.Е.* Смута начала XVII века глазами современников. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2000. 463 с.

210. *Мурьянов М.Ф.* К семантическим закономерностям в лексике старославянского языка (рогъ и его связи) // Вопросы языкознания. 1979. № 2. С. 101–114.

211. *Назаревский А.А.* О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1961. 80 с.

212. *Назаревский А.А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII в. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1958. 184 с.

213. *Нестерова С.В.* Циклическое текстопостроение в малой эпической прозе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2012. 23 с.

214. *Никольская А.Б.* К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литературе // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А.С. Орлова / Акад. наук СССР, Ин-т русской лит. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1934. С. 191–200.

215. Новая повесть о преславном Российском царстве // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 24–57.

216. Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Изд-е 2-е. М.: Наука, 1965. Т. XIV. С. 23–154 (1-й пагинации).

217. Новый летописец, составленный в царствование Михаила Федоровича, издан по списку князя Оболенского. М.: В Университетской тип., 1855. 190 с.

218. *Нольте Г.-Г.* Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы истории. 1994. № 11. С. 31–38.

219. О бедах и скорбех и напастех… // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 55–62.

220. О горе, горе! URL: http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/p10/p1040564.htm?cmd=2 (дата обращения: 09.08.2017).

221. О комарѣ и о львѣ // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М.: Худож. лит., 1989. С. 47.

222. О смятении и междоусобии и отступлении Псковичъ от Московского государства… // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 66–73.

223. О царском избрании на Московское государство // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 62–66.

224. *Орлов А.С.* Исторические и поэтические повести об Азове (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.). Тексты. М.: Синод. тип., 1906. 236 с.

225. *Орлов А.С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М.: Имп. Об-во истории и древностей рос. при Московском ун-те, 1902. 50 с.

226. *Орлов А.С.* Повесть кн. Катырева Ростовского и Троянская История Гвидо де Колумна // Сборник статей в честь Матвея Кузмича Любавского. Пг.: Тип. Б.Д. Брукера, 1917. С. 73–98.

227. *Охотникова В.* Псковские летописи как литературно-исторические памятники. Летопись. Глава 12-я, часть 3 // Псковская губерния. Газета № 41 (61 от 18 октября –

24 октября 2001. URL: http://gubernia.pskovregion.org/number_61/14.php (дата обращения: 12.01.2017).

228. Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н.С. Тихомирова. М.: Тип. О. Гербека, 1892. 208 с.

229. *Панченко А.М.* Литература «переходного века» // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. С. 291–407.

230. *Панченко А.М.* Литература первой половины XVII столетия. Агитационная письменность Смутного времени // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. URL: http://panchenko.pushkinskijdom.ru (дата обращения: 20.08.2019).

231. *Панченко А.М.* Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. Работы разных лет. СПб.: ЗАО «Журнал “Звезда”», 2008. 544 с.

232. *Парамонова М.Ю.* Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: Сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М.: ИВИ РАН, 2003. 405 с.

233. *Пауткин А.А.* Батальные описания «Повести временных лет» (своеобразие и разновидности) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 1981. Т. 9, № 5. С. 13–21.

234. *Пауткин А.А.* Воинские описания в «Повести временных лет» // Русская речь. 1980. № 3. С. 104–108.

235. *Пауткин А.А.* Горизонты прочтения: Историко-филологические заметки и размышления. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 328 с.

236. *Пепеляева Е.В.* Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема // Вестник Пермского университета. 2012. Вып. 2 (18). С. 174–180.

237. *Первушин М.В.* Информационная война в Древней Руси // Вестник славянских культур. 2016. № 3 (41). С. 24–36.

238. *Перевезенцев С.В.* Уроки Смуты: народ и вера. URL: http://www.pravmir.ru/uroki-smuty-narod-i-vera/ (дата обращения: 15.02.2015).

239. *Петрей П.* История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии / Исаак Масса. Петр Петрей. М.: Фонд Сергея Дубова. Рита-Принт, 1997. С. 151–464.

240. *Петров Г.В.* Патриотические мотивы в памятниках древнепсковской культуры // Псков. 2003. № 18. С. 14–19.

241. *Пиккио Р.* История древнерусской литературы. М.: Кругъ, 2002. 352 с.

242. Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, по прозвищу Скопина // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало

XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 58–73.

243. Пискаревский летописец // Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1978. Т. 34. С. 31–220.

244. *Платонов С.Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник // *Платонов С.Ф.* Собр. соч.: в 6 т. М.: Наука, 2010. Т. 1 / сост. В.В. Морозов, А.В. Смирнов. С. 187–528.

245. *Платонов С.Ф.* Московское правительство при первых Романовых. СПб.: Сенат. тип., 1906. 56 с. Из журн. Мин-ва народ. просв. за 1906 г.

246. Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 130–145.

247. Повести книги сея от прежних лет // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 559–624.

248. Повести о чудесных видениях в Нижнем Новгороде и Владимире // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 235–242.

249. Повесть о видении некоему мужу духовну // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 177–186.

250. Повесть о некоей брани, с предисловием проф. С.Ф. Платонова // Старина и новизна. Исторический сборник, издаваемый при обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. Кн. 15. С. 20–33.

251. Повесть о победах Московского государства. Л.: Наука, 1982. 166 с.

252. Повесть о разорении Рязани Батыем // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 5: XIII век. С. 140–155.

253. Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престолъ Борисъ Годуновъ // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 145–176.

254. *Покровский М.Н.* Русская история в самом сжатом очерке: От древнейших времен до конца XIX столетия. 4-е изд., стер. М.: Гос. изд-во, [1924]. 251 с.

255. Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1848. Т. 4: IV.V. Новгородские и Псковские летописи. 380 с.

256. Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. 275 с.

257. Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2005. 1160 с.

258. *Полосин И.И.* Иван Тимофеев — русский мыслитель, историк и дьяк XVII века // Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. М., 1949. Т. 60, вып. 2. С. 135–192.

259. *Померанц Г.С.* История в сослагательном наклонении // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 55–66.

260. *Попков В.И.* Демократические тенденции русской литературы первой трети XVII века. М.: МОПИ, 1984. 91 с.

261. *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869. 541 с.

262. *Попов А.* Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869. 293 с.

263. Послание Данила Заточенаго к великому князю Ярославу Всеволодичю // Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII вв. / сост. Н.К. Гудзий, коммент. А.М. Ранчина. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 137–145.

264. Послание дворянина к дворянину // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 533–535.

265. Поучение Владимира Мономаха // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII века. 543 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874 (дата обращения: 22.05.2015).

266. *Прокофьев Н.И.* «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVII века (Из истории жанров литературы русского средневековья): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1949. 32 с.

267. *Прокофьев Н.И.* Видение как жанр в древнерусской литературе // Ученые записки МГПИ имени В.И. Ленина. Вопросы стиля художественной литературы. М., 1964. Т. 231. С. 35–56.

268. *Прокофьев Н.И.* О мировоззрении русского средневековья и системе жанров русской литературы XI–XVI вв. // Литература Древней Руси. М., 1975. Вып. 1. С. 5–39.

269. *Прокофьев Н.И.* Образ повествователя в жанре «видений» литературы Древней Руси // Ученые записки МГПИ имени В.И. Ленина. Очерки по истории русской литературы. М., 1967. Т. 256. С. 36–53.

270. *Прокофьев Н.И.* Символико-аллегорическая образность в литературе начала XVII века // Вопросы русской литературы: Ученые записки / МГПИ имени В.И. Ленина. М., 1966. Т. 248. С. 29–44.

271. *Пропп В.Я.* Русская сказка. М.: Лабиринт, 2005. 384 с.

272. Псковские летописи. Выпуск первый / изд. подгот. А. Насонов; отв. ред. изд. акад. Б.Д. Греков. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941. 146 с.

273. *Пушкарев Л.Н.* Ментальность русского общественного сознания на рубеже XVI–XVII веков (Эпоха Смуты) // Ментальность в эпохи потрясений и преобразований. М.: Ин-т российской истории РАН, 2003. Вып. 4: Мировосприятие и сознание русского общества. С. 11–22.

274. *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX). М.: Ладомир, 1997 // URL: https://www.booksite.ru/fulltext/life/ofw/oman/ (дата обращения: 15.12.2010).

275. *Пушкин А.С.* Соч.: в 3 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 2: Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения. 527 с.

276. *Пчелов Е.В.* Эмблематическая пара «лев и единорог» в русской культуре и солярно-лунная символика // Календарно-хронологическая культура и проблема ее изучения: К 870-летию «Учения» Кирика Новгородца. Материалы научной конференции. М.: РГГУ, 2006. С. 138–141.

277. *Рабинович Я.Н.* Малые города Новгородской земли в смутное время / под ред. Г.М. Коваленко. Великий Новгород: НовГУ, 2013. 433 с.

278. *Рабинович Я.Н.* Малые города Псковской земли в Смутное время. Псков: Псковская обл. тип., 2014. 253 с.

279. *Ранчин А.М.* Вертоград Златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 576 с.

280. *Ранчин А.М.* Памятники Борисоглебского цикла: текстология, поэтика, религиозно-культурный контекст. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 512 с.

281. *Ранчин А.М.* Символика «младшинства» в памятниках борисоглебского цикла: библейский и древнерусский контексты // Авраамиевская седмица. Материалы II

Международной научной конференции / под ред. Л.В. Павловой, И.В. Романовой. 2018. С. 69–77.

282. *Ржига В.Ф.* Повесть и песни о князе Михаиле Скопине-Шуйском // Известия по отделению русского языка и словесности. 1928. Т. 1, кн. 1. С. 81–107.

283. *Робинсон А.Н.* Историография славянского Возрождения и Паисий Хилендарский: Вопросы литературно-исторической типологии. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 143 с.

284. *Робинсон А.Н.* Повести об азовском взятии и осадном сидении. Исследование и тексты // Воинские повести Древней Руси / ред. В.П. Адрианова-Перетц. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 47–112, 166–243.

285. *Робинсон А.Н.* Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве // Куликовская битва в литературе и искусстве. М.: Наука, 1980. С. 10–38.

286. *Рогачевская Е.Б.* The Concept of Sin in Kirill of Turov's Writings' // Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer. Slavica Bergensia 2, Univeristy of Bergen, 2000. Pp. 204–220.

287. *Рогачевская Е.Б.* Житие Леонтия Ростовского в программном цикле Андрея Боголюбского. URL: https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1994g-rostov-1995/e-b-rogachevskaya-zhitie-leontiya-rostovskogo-v-programmnom-tsikle-andreya-bogolyubskogo-s-42-45/ (дата обращения: 11.08.2019).

288. *Рогачевская Е.Б.* Цикл молитв Кирилла Туровского в южнославянских рукописях, хранящихся в Болгарии // Palaeobulgarica, XX-3, 1996. Pp. 76–84.

289. *Рогачевская Е.Б.* Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М.: Языки славянской культуры, 1999. 268 с.

290. *Ромодановская Е.К.* Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск: Наука, 2002. 390 с.

291. *Рудаков В.В.* Восприятие монголо-татар в летописных повестях о нашествии Батыя // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 2000. Сб. 10 / отв. ред. М.Ю. Люстров. С. 135–175.

292. Рукопись Филарета, патриарха Московского и всея Руси. М.: В тип. Лазаревых Ин-та восточных языков, 1837. [2], X, 79 с., 6 л. ил.

293. Рукопись Яна Велевицкого // Записки гетмана Жолкевского о московской войне. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. Стб. 175–184.

294. Русский хронограф (Полное собрание русских летописей. Т. XXII). М.: Языки славянских культур, 2005. 896 с.

295. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия для филолог. фак-тов пед. ин-тов / под ред. проф. Н.И. Кравцова. М.: Просвещение, 1971. 415 с.

296. *Рыбаков Д.А.* «Временник Ивана Тимофеева» — несостоявшийся историографический проект начала XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). С. 60–65.

297. *Савельев В.С.* Коммуникативное событие в представлении древнерусского книжника (по материалам «Повести временных лет») // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Сб. 14 / отв. ред. Ф.С. Капица. С. 484–516.

298. *Сазонова Л.И.* Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Языки славянских культур, 2006. 896 с.

299. *Сазонова Л.И.* Украинские старопечатные предисловия конца XVI– первой половины XVII в. (особенности литературной формы) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 153–187.

300. *Салмина М.А.* Летописная повесть о Куликовской битве и «Задонщина» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л.: Наука, 1966. С. 344–384.

301. *Сапогов В.А.* Цикл // Литературный энциклопедический словарь / под общ ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева; редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 492.

302. *Сапронов П.А.* Феномен героизма. СПб.: Гуманитарная академия, 2005. 509 с.

303. *Саркисова Г.П.* Повести о «Смутном времени»: к проблеме авторства И. Хворостинина, И. Катырева-Ростовского, С. Шаховского // От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства / [Л.В. Милов, Л.И. Бородкин, Т.В. Иванова и др.]; под ред. Л.В. Милова. М.: Прогресс, 1994. С. 282–290.

304. *Сахаров И.П.* Записки о русских гербах. 1. Московский герб. СПб.: В тип. Э. Веймара, 1856. 30 с.

305. *Свт. Кирилл Александрийский.* Слово о исходе души и страшном суде // Святоотеческое наследие. URL: http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.v.k_02_0031 (дата обращения: 09.08.2017).

306. Севрюки — коренное население Северской земли // Сборник статей и материалов, посвященный деревне Любощь и местам, ее окружающим. РГАДА. URL: http://diderix.petergen.com/rgd-svr.htm (дата обращения: 19.01.2015).

307. *Селин А.А.* Смутное время в историографии последних лет // Смутное время в России. Конфликт и диалог культур. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2012. С. 255–262.

308. *Семенова Е.П.* Русская общественная мысль первой половины XVII века: творчество С.И. Шаховского и И.А. Хворостинина: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1982. 19 с.

309. *Серова И.Ю.* «Летописная книга» (из истории русской литературы первой трети XVII века): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1992. 21 с.

310. *Серова И.Ю.* «Летописная книга» Катырева-Ростовского и «Троянская история» Гвидо де Колумна // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 107–114.

311. *Серова И.Ю.* История текста «Летописной книги» // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1990. Т. 44. С. 269–283.

312. *Серова И.Ю.* Новые списки Повести о М.В. Скопине-Шуйском // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 1992. Т. 45. С. 44–46.

313. *Силаев А.Г.* Истоки русской геральдики. М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2002. 238 с.

314. *Симонов Р.А.* О причине появления единорогов на золотой монете («корабельнике») Ивана III // Гербовед. 1997. № 15. С. 75–79.

315. *Симонов Р.А.* Об астрологическом происхождении древней государственной эмблемы России — единорога // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 1998. Сб. 9 / отв. ред. Е.Б. Рогачевская. С. 310–337.

316. Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 162–281.

317. Сказание о Гришке Отрепьеве // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 713–754.

318. *Скафтымов А.П.* Поэтика художественного произведения / сост. В.В. Прозоров, Ю.Н. Борисов; вступит. ст. В.В. Прозорова. М.: Высшая школа, 2007. 535 с.

319. *Скрынников Р.Г.* Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени. М.: Молодая гвардия, 1981. 352 с.

320. *Скрынников Р.Г.* Россия в начале XVII в. «Смута». М.: Мысль, 1988. 283 с.

321. *Скрынников Р. Г.* Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1990. 238 с.

322. *Скрынников Р.Г.* Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. 327 с.

323. Словарь древнего славянского языка, составленный по Остромирову Евангелию. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1899. 946 с.

324. Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1997. Вып. 22 (Раскидатися – Ряшенко). 298 с.

325. Словарь русского языка. XI–XVII вв. М.: Наука, 1978. Вып. 5: (Е – Зинутие) / сост. Н.Б. Бахилина, Г.А. Богатова, В.Я. Дерягин [и др.]. 392 с.

326. *Смирнов А.П.* Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России. М.: Тип. и лит. А.В. Кудрявцева, 1874. [2], II с., 135, 233; 22.

327. *Смирнов И.И.* Восстание Болотникова. 1606–1607. Л.: Лениздат, 1949. 528 с.

328. *Соболева Н.А.* Русские печати. М.: Наука, 1991. 259 с.

329. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. Кн. IV, т. 7–8. 778 с.

330. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Изд-во социально-экономической лит., 1961. Кн. V, т. 9–10. 754 с.

331. *Солодкин Я.Г.* «Временник» Ивана Тимофеева и «История» Авраамия Палицына: (К вопросу об источниках произведений) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма России. Новосибирск: Наука, 1984. Вып. 8. С. 12–23.

332. *Солодкин Я.Г.* «Временник» Ивана Тимофеева: Источниковедческое исследование. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2002. 179 с.

333. *Солодкин Я.Г.* Авраамий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 1: А – З. С. 36–44.

334. *Солодкин Я.Г.* История Авраамия Палицына в рукописной традиции // Рукописная и печатная книга в России: Проблема создания и распространения: сб. науч. тр. Л.: БАН СССР, 1988. С. 109–117.

335. *Солодкин Я.Г.* К вопросу об источниках «Временника» Ивана Тимофеева // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 115–127.

336. *Солодкин Я.Г.* К датировке и атрибуции «Новой повести о преславном Росийском царстве» // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1981. Т. 36. С. 103–113.

337. *Солодкин Я.Г.* К истории Повести о видении некоему мужу духовну // Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск: Наука, 1988. С. 14–23.

338. *Солодкин Я.Г.* Летописец Новый // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII в.), ч. 2: И – О. С. 257–263.

339. *Солодкин Я.Г.* О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1977. Т. 32. С. 290–304.

340. *Солодкин Я.Г.* О спорных вопросах происхождения Истории Авраамия Палицына // Источники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма. Новосибирск: Наука, 1991. С. 13–36.

341. *Солодкин Я.Г.* Очерки по истории общерусского летописания конца XVI – первой трети XVII веков. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. 237 с.

342. *Солодкин Я.Г.* Повесть о убиении царевича Димитрия Угличского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 203–204.

343. *Солодкин Я.Г.* Рец.: Л.Е. Морозова. Смута начала XVII века глазами современников. М.: Изд-во «Наука», 2000. 464 с. // Вопросы истории. 2002. № 3. С. 168–171.

344. *Солодкин Я.Г.* Русская публицистика начала XVII века. Проблемы происхождения крупнейших летописных памятников и «Временника» Ивана Тимофеева: дис. … д-ра ист. наук. Кустанай, 1990. 493 с.

345. *Солодкин Я.Г.* Сказание о приходе польско-литовских войск под Устюжну Железопольскую // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П – С. С. 435–437.

346. *Солодкин Я.Г.* Философско-исторические взгляды Авраамия Палицына // Историографический сборник. Саратов, 1983. Вып. 10. С. 49–63.

347. *Софронова Л.А.* Польские старопечатные предисловия XVI–XVII вв. (литературные и филологические функции) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М.: Наука, 1981. С. 100–128.

348. *Сочнева Н.А.* К проблеме жанрово-литературной типологии исторической повести в древнерусском летописании домонгольского периода // Вестник Омского государственного университета. 2013. № 3. С. 148–154.

349. *Спасский И.Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1976. Вып. 8. С. 110–131.

350. Средневековый бестиарий / автор вступит. ст. и коммент. К. Муратова; пер. на англ. яз. И. Китросской; пер. старофранц. стихов В. Микушевича. М.: Искусство, 1984. 243 с.

351. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1893. Т. 1: А – К. IX с. + 1420 стб. + 49 с.

352. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1902. Т. II: Л – П. [3] + 15 с. + 1802 стб.

353. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1912. Т. III: Р – Я. 1684 стб. + 272 стб. + 13 с.

354. *Строев П.М.* Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, правоведения, до начала XVIII столетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. 1. С. 336–373 (152–188).

355. Такъ называемое Иное сказание // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. (Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. XIII.) Стб. 1–144.

356. *Татищев В.Н.* История Российская: в 7 т. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. Т. 1. 500 с.

357. *Творогов О.В*. Литература Киевской Руси (XI – начало XIII в.) // История русской литература XI–XVII веков / под ред. Д.С. Лихачева. М.: Просвещение, 1985. С. 32–125.

358. *Терешкина Д.Б.* «На Господа уповал — и не погибну»: Будущее в мотиве испытания в древнерусской воинской повести // Будущее как сюжет: Статьи и материалы. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2014. С. 13–21.

359. *Титова Л.В.* Жанр «Видения» в историко-публицистических текстах XVII в.: Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиевой лавры и Послание дьякона Федора сыну Максиму // Труды Отдела древнерусской литературы. М.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 248–253.

360. *Тихомиров М.Н.* Классовая борьба в России XVII в. М.: Наука, 1969. 449 с.

361. *Тихомиров М.Н.* Сказания о начале Москвы // Исторические записки. 1950. Т. 32. С. 233–241.

362. *Топоров В.Н.* Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста: сб. ст. / под ред. Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1987. С. 121–132.

363. *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* История русской литературы. М.: Дрофа, 2007. 510 с.

364. *Травников С.Н., Ольшевская Л.А.* Русская литература XVII века: трансформация средневековой системы жанров и зарождение новых литературных форм // Древнерусская литература. XI–XVII вв. / под ред. В.И. Коровина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. С. 306–442.

365. *Трофимова Н.В.* Древнерусская литература. Воинская повесть XI–XVII вв.: Курс лекций; Развитие исторических жанров: Материалы к спецсеминару. М.: Флинта: Наука, 2000. 208 с.

366. *Трофимова Н.В.* Поэтика древнерусского воинского повествования. М.: МПГУ, 2017. 276 с.

367. *Туфанова О.А.* Библейские сюжеты и образы в литературе Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 129–181.

368. *Туфанова О.А.* «Буіи народ» и «добрые люди» в псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и отступлении псковичь от Московского государства» // Новый филологический вестник. 2017. № 4 (43). С. 59–69.

369. *Туфанова О.А.* Великий Новгород и новгородцы в литературе XVII в. о Смуте / Материалы международной научной конференции «Первые московские анциферовские чтения» Н. П. Анциферов. Филология прошлого и будущего ИМЛИ РАН, 25–27 сентября 2012 г. Тезисы докладов // Новые российские гуманитарные исследования. 2012. № 7. 0, 005 п.л.

370. *Туфанова О.А.* Великий Новгород и новгородцы в литературе XVII в. о Смуте // Н.П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. По материалам международной научной конференции «Первые московские Анциферовские чтения». Москва, 25–27 сентября 2012 г. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 339–343.

371. *Туфанова О.А.* Ветхозаветный сюжет о грехопадении во «Временнике» И. Тимофеева и в «Словесах дней, и царей, и святителей московских» И.А. Хворостинина // Славянский филологический сборник. Выпуск II. Традиция в развитии славянских культур. НИЦ «ЭСТРИКА» (Славянские Культуры: Корни и Крона) / отв. ред. и сост. И.И. Калиганов. М.: ИСл РАН, ГАСК, 2012. С. 114–125.

372. *Туфанова О.А.* Воинские повести об осаде городов Северской земли в составе «Иного сказания» (тезисы) // Древняя Русь. 2015. № 3 (61), сентябрь. С. 119–120.

373. *Туфанова О.А.* Идейно-художественное своеобразие повестей об осаде в так называемом «Ином сказании» (статья) // Преподобный Иосиф Волоцкий и Московская Русь. Материалы Российской научной конференции «Макариевские чтения». 25–27 июня. Можайск: [Б.и.], 2016. Вып. 23. С. 386–394.

374. *Туфанова О.А.* Изображение голода 1601–1603 гг. в русских и иностранных источниках о Смутном времени // Вестник славянских культур. 2012. № 2 (XXIV). С. 77–83.

375. *Туфанова О.А.* Женские образы во «Временнике» Ивана Тимофеева // Вестник славянских культур. 2011. № 4 (XXII). С. 87–94.

376. *Туфанова О.А.* Женские образы во «Временнике» Ивана Тимофеева сквозь призму гендерного подхода. Тезисы доклада // Древняя Русь. 2011. № 3 (45). С. 114–115.

377. *Туфанова О.А.* Загадка псковской летописной повести «О бедах и скорбех…»: предисловие и текст // Вестник славянских культур. 2018. Т. 47. С. 159–168.

378. *Туфанова О.А.* «Иду на престол»: Москва как символ политического притяжения в так называемом «Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2016. № 2 (40). С. 193–202.

379. *Туфанова О.А.* Изображение городов и населенных пунктов в «Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2015. № 3 (37). С. 144–154.

380. *Туфанова О.А.* Изображение народа в «Повести о победах Московского государства» // Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской письменности. Книга 1. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2013. С. 278–287.

381. *Туфанова О.А.* Интерпретация сюжета об Адаме и Еве в «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов…» // Филологические науки. 2009. № 3. С. 94–102.

382. *Туфанова О.А.* Князь М. В. Скопин-Шуйский — «богоданный» воин земли Русской // Макариевские чтения. «Воинство земное – воинство небесное». Материалы XVIII Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. Можайск, 2011. Вып. XVIII. С. 189–200.

383. *Туфанова О.А.* «Кровоядный лвичищ» Гришка Отрепьев // Вестник славянских культур. 2009. № 1 (XI). С. 89–103.

384. *Туфанова О.А.* Кузьма Минин в «Повести о победах Московского государства» (к вопросу о способах изображения героя) // Вестник славянских культур. 2019. Т. 52. С. 132–142.

385. *Туфанова О.А.* Легендарный политический эпизод в «Повести о победах Московского государства» // Вестник Костромского государственного университета. 2019. Т. 25, № 2. С. 98–101.

386. *Туфанова О.А.* Летописная повесть «О бедах и скорбех…»: особенности включения прямой речи // Русская речь. 2019. № 3. С. 96–104.

387. *Туфанова О.А.* Литературный облик протопопа Терентия // Писатель в контексте времени: проблема научного комментария: сб. статей / отв. ред. и сост. В.И. Мельник; ред. О.А. Туфанова. М.: ГАСК, 2011. С. 6–20.

388. *Туфанова О.А.* Мотив безысходности в «Повести о некоей брани» // Макариевские чтения. Священные войны России. Можайск: ООО «ИПК Р+Парето-Принт», 2013. Вып. XX: Материалы XX Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. С. 436–444.

389. *Туфанова О.А.* Мотив покаяния в общегосударственных видениях Смутного времени // Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения – 2015): материалы научной конференции (20–23 сентября 2015) / Московский городской психолого-педагогический университет; [сост. И.В. Дергачева]. М.: Буки Веди, 2015. С. 70–75.

390. *Туфанова О.А.* Мотив «Содома и Гомора оставшую главню…» в «Так называемом ином сказании» // Герменевтика древнерусской литературы: Сб. 16–17 / отв. ред. М.В. Первушин. М.: [Б.и.], 2014. С. 1065–1085.

391. *Туфанова О.А.* «Негеройские» герои: Кузьма Минин и князь Д. М. Пожарский в исторических повествованиях первой трети XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019.

392. *Туфанова О.А.* «Несостоявшаяся» новелла в составе псковской летописной повести «О бедах и скорбех…» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2019. Т. 78, № 1. С. 64–71.

393. *Туфанова О.А.* Образ Ивана Грозного во «Временнике» Ивана Тимофеева // Альманах современной науки и образования. Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы: в 3 ч. Тамбов: Грамота, 2008. Ч. 2 (9). С. 218–221.

394. *Туфанова О.А.* О «древнем змии» или Борисе Годунове (на материале «Иного сказания») // Макариевские чтения. Можайск: [Б.и.], 2009. Вып. XVI: Христианская символика: Материалы XVI Российской научной конференции, посвященной памяти Святителя Макария. С. 517–524.

395. *Туфанова О.А.* Образ Москвы в литературе эпохи Смутного времени // Литература Древней Руси и Нового времени. Сборник материалов VIII научно-практической конференции «Древнерусская литература и литература Нового времени», посвященной памяти профессора Николая Ивановича Прокофьева. М.: МПГУ, 2015. С. 94–113.

396. *Туфанова О.А.* Орнаментальные стилистические приемы создания художественного образа в «Повести известна о победах Московского государства» // Славянский мир в третьем тысячелетии. Межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов. Сб. ст. М., 2011. С. 408–416.

397. *Туфанова О.А.* Повесть о преступлениях царя в составе исторического нарратива «О бедах и скорбех...» // Литература Древней Руси: материалы X Всероссийской конференции «Древнерусская литература и ее традиции в литературе Нового времени», посвященной памяти профессора Николая Ивановича Прокофьева, г. Москва, 6–7 декабря 2018 г. / сост. Н.В. Трофимова. М.: МПГУ, 2019. С. 65–77.

398. *Туфанова О.А.* Политическая легенда в исторических повествованиях первой трети XVII в. // Новый филологический вестник. 2019. № 4. 0,8 п.л.

399. *Туфанова О.А.* Предвидения протопопа Терентия в контексте сочинений современников о Смутном времени // Герменевтика древнерусской литературы. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. Сб. 18 / отв. ред. О. А. Туфанова. С. 413–438.

400. *Туфанова О.А.* Рассказы о смерти Дмитрия Самозванца: раскадровка и символика // Научные и учебные тетради Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова. Тетрадь № 2, январь – май 2010 г. / сост. В.Т. Третьяков. М.: Алгоритм, 2010. С. 164–176.

401. *Туфанова О.А.* Семантика и особенности употребления метафоры «волки» – «овцы» в «Так называемом Ином сказании» // Вестник славянских культур. 2011. № 1 (XIX). С. 75–81.

402. *Туфанова О.А.* Символ «инорога» во «Временнике «Ивана Тимофеева» // Древняя Русь. 2008. № 2. С. 118–128.

403. *Туфанова О.А.* Символ льва во «Временнике» Ивана Тимофеева // Герменевтика древнерусской литературы Сб. 15 / отв. ред. О.А. Туфанова. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. С. 607–627.

404. *Туфанова О.А.* Символика литературы Смутного времени // Библейские сюжеты в древнерусской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 250–312.

405. *Туфанова О.А.* Специфика рассказов об избрании на царство в «Рукописи Филарета» // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2019. № 2 (20). 0,4 п.л. URL: http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1503633

406. *Туфанова О.А.* Традиции воинской повести в «Ином сказании» (на примере анализа эпизода осады Новгорода Северского) // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве: сб. ст. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2009. С. 237–250.

407. *Туфанова О.А.* Христианские мотивы в рассказе о народном ополчении 1611–1612 гг. в «Новом летописце» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. Т. 24, № 2. С. 171–178.

408. *Тюменцев И.О.* Авраамия Палицын — портрет писателя и церковного деятеля Смутного времени // Мир православия. Волгоград, 2000. Вып. 3. С. 101–128.

409. *Тюменцев И.О.* Датировка и атрибуция первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицына // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2000. Т. 27. С. 64–69.

410. *Тюменцев И.О.* Из истории создания «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 234–247.

411. *Тюменцев И.О.* Смутное время в России начала XVII столетия. Движение Лжедмитрия II. М.: Наука, 2008. 686 с.

412. *Тюпа В.И., Фуксон Л.Ю., Дарвин М.Н.* Литературное произведение: проблемы теории и анализа. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. Вып. 1. 165 с.

413. *Ульяновский В.* Смутное время. М.: Европа, 2006. 456 с.

414. *Успенский Б.А.* Избранные труды. М.: Гнозис, 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. 432 с.

415. *Успенский Д.И.* Видения Смутного времени // Вестник Европы. 1914. Вып. V (май). С. 134–171.

416. *Успенский Д.И.* Похоронные причитания // Этнографическое обозрение. 1892. № 2–3. С. 98–111.

417. Успенский сборник XII–XIII вв. М.: Наука, 1971. 770 с.

418. *Флёрко Л.В.* Классификация и типология лирических циклов в литературоведении // Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2011. № 1 (131). С. 61–65.

419. *Флоря Б.Н.* Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М.: Индрик, 2005. 416 с.

420. *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов. М.: АО «Вече»: ТКО «АСТ», 1997. 428 с.

421. *Фоменко И.В.* Поэтика лирического цикла: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М.: Изд. центр «Академия», 1990. 63 с.

422. *Франк-Каменецкий И.Г.* Колесница Иеговы. Труды по библейской мифологии. М.: Лабиринт, 2004. 320 с.

423. *Фукидид.* История / пер. и примеч. Г.А. Стратановского. М.: Наука, 1981. 545 с.

424. *Хазанова С.И.* Пискаревский летописец: происхождение, источники, проблемы авторства: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. 22 с.

425. *Хайдеггер М.* Отрешенность. Перевод с издания: Heidegger Martin. Gelassenheit. Gunther Neske. Pfullingen, 1959. S. 11–281 / пер. А. Г. Солодовникова, 1991. URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/gelassen.txt (дата обращения: 19.01.2015).

426. *Хализев В.Е.* Теория литературы. 4-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2004. 405 с.

427. *Харитонова В.И.* К вопросу о функциях причети в обрядах и вне их // Полифункциональность фольклора / сост. М.В. Потявина. Новосибирск: НГПИ, 1983. С. 20–32.

428. *Хворостинин И.А.* Словеса дней, и царей, и святителей московских // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 428–463.

429. Царская грамота в Пермь Великую… 6 июня 1606 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб., 1836. Т. 2. 417 с. С. 107, № 48.

430. *Черепнин Л.В.* «Смута» и историография XVII века (из истории древнерусского летописания) // Исторические записки. М., 1945. № 14. С. 81–128.

431. *Черепнин Л.В.* Тема государства в русской публицистике начала XVII в. // Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции). М.: Наука, 1976. С. 175–178.

432. *Чернецов А.В.* Резные посохи XV в. (работа кремлевских мастеров). М.: Наука, 1987. 77 с.

433. *Чистов В.К.* Русская причеть // Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учеб. пособие / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. Круглов, Т.В. Смирнова; под ред. Ю.Г. Круглова. М.: Высшая школа, 2003. С. 111–117.

434. *Чистов К.В.* Причитания у славянских и финно-угорских народов (некоторые итоги и проблемы) // *Чистов К.В.* Фольклор. Текст. Традиция. М.: ОГИ, 2005. С. 186–198.

435. Чудо, бывшее с святымъ великомученикомъ Георгиемъ о змии // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 5: XIII век. С. 448–455.

436. *Шайкин А.А.* Авторские позиции в борисоглебских текстах: летопись и анонимное сказание // Древняя Русь. Вопросы Медиевистики. 2015. № 3 (61). С. 141.

437. *Шайкин А.А.* Духовное и телесное как элементы повествования в «Сказании о Борисе и Глебе» и других борисоглебских текстах // Вестник славянских культур. 2015. № 3 (37). С. 129–143.

438. *Шайкин А.А.* Способы и формы проявлений авторской позиции в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора // Ученые записки Орловского государственного университета. 2018. № 3 (80). С. 166–172.

439. *Шайкин А.А.* Способы характеристики героев и осмысления событий в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2017. № 5. С. 55–62.

440. *Шалак М.Е.* И.А. Хворостинин как создатель образа Смуты // Человек второго плана в истории: сб. науч. ст. Ростов н/Д: Ростовский гос. ун-т, 2005. Вып. 2. С. 266–277.

441. *Шалак М.Е.* Смутное время в оценках русских современников и историческое сознание российского общества XVII века // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов н/Д, 2004. № 1 (125). С. 36–40.

442. *Шалак М.Н.* Русская Смута и общественная мысль XVII века: суждения, оценки, концепции: дис. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2004. 183 с.

443. *Шамбинаго С.К.* Повести о начале Москвы // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1936. Т. 3. С. 59–98.

444. *Шаховской С.И.* Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII веков / вступит. ст. Д. Лихачева; сост. и общ. ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. С. 358–427.

445. *Шейнина Е.Я.* Энциклопедия символов. М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2001. 591 с.

446. *Шульц Э.Э.* Отношения церкви и государства в России в первой трети XVII века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2001. 23 с.

447. *Эйхенбаум Б.М.* О. Генри и теория новеллы. URL: http://www.opojaz.ru/ohenry/ohenry02.html (дата обращения: 25.04.2018).

448. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / авт.-сост. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. М.: Астрель: МИФ, 2001. 556 с.

449. *Эскин Ю.М.* Дмитрий Михайлович Пожарский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Квадрига, 2018. 384 с.

450. *Яковлев А.И.* «Безумное молчание» // Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому. М.: Тов-во «Печатня С. П. Яковлева», 1909. С. 651–678.

451. *Янушкевич А.С.* Три эпохи литературной циклизации: Боккаччо — Гофман — Гоголь // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 2. С. 63–81.

452. *Ingham N.W.* Genre-Theory and Old Russian Literature // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 238–341.

453. *Lenhoff G.* Categories of Early Russian Writing // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 259–271.

454. *Lenhoff G.* The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts. Columbus: Ohio, 1989. 168 p. (UCLA Slavic Studies. Vol. 19.)

455. *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Orthodox Slavdom // American Contributions to the Seventh Congress of Slavists. II. The Hague – Paris, 1973. P. 439–467.

456. *Revelli G.* Monumenti letterari su Boris e Gleb / Univ. degli studi di Genova. Dip. di ling. e lett. straniere mod. Sez. di slavistica. Genova: La Quercia, Cop. 1993. XI, 706 c.

457. *Seemann K.-D.* Genres and the Alterity of Old Russian Literature // Slavic and East European Journal. 1987. Vol. 31, № 2. P. 246–258.